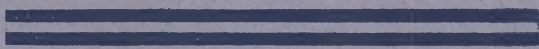


ЖЕ О В Ы И Т Ы
М И Р



ЖЕ О В Ы И М И Р



1957

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIII

№ 1

Январь, 1957 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ — В Будапеште, стихи	Стр. 3
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
Я. ТАВРОВ — Люди, план, резервы	5
НИКОЛАИ ДАМДИНОВ — Песнь степей, стихи. Перевод с бурят-мон- гольского Юрия Левитанского	25
НОРА АДАМЯН — У синих гор, повесть	29
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Два стихотворения	86
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
ГЕНРИ ЛОУСОН — Стихи разных лет. Перевод с английского Н. Раз- говорова	87
Л. ШЕЙНИН — Записки следователя (Из второй книги)	94
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
БОРИС СМЕРНОВ — Испанский ветер. Из воспоминаний добровольца	133
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ	
А. МАРКИН — Стратегия великих работ (Заметки инженера)	225
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	238
Александр Марьямов. «Нет» и «да». — В. Борисов. Съезд в Дамаске.	
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА — Живое единство	250
МАРК ЩЕГЛОВ — Верность деталей	258
ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ	
ПАВЕЛ НИЛИН — По поводу романа Ф. Таурина «Ангара»	272
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	276
С. Макашин. Встреча с Достоевским. — И. Вайсфельд. Шаг сделан... — С. Корытная. Строители новых дорог. — А. Диригера. Пьеса Леона Кручковского. — С. Востокова. Пробуждение гражданина Бриха.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	294
Доктор юридических наук Н. Полянский . В защиту мира. — Е. Ковалев . Китайская деревня на новом пути. — Академик М. Тихомиров . Новое о «Слове о полку Игореве». — Г. Марягин . Шестьдесят лет в труде.	
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	302
Ш. Богатырев . К истории русско-чешских связей. — Ф. Кузнецов . Судьба пропавшей статьи Писарева.	
ОТҚЛИҚИ НА РЕПЛИКИ (Обзор читательских писем)	306
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	312
Т. С. Ошибка БСЭ? — Л. Герасимович . «Силен старик!»	
КОРОТКО О КНИГАХ	314
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	318

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

★

В БУДАПЕШТЕ

В ноябре 1956 года в нетопленном зале рабочего клуба Чепеля по предложению старого рабочего Бадь Имре партийный актив комбината в знак протеста против разрушения фашистами памятника советским солдатам на горе Геллерт почтил память советских воинов, павших за освобождение Венгрии, вставанием.

(Из газет)

Отвоевав свою Россию,
поцеловав жену и мать,
пошел солдат края чужие
от ига Гитлера спасать.

Его вели звезда и знамя,
а не нагайка и орел,
и он с тяжелыми боями
до сердца Венгрии дошел.

Он шел туда от боя к бою,
хотя близ дедовских могил
сожженной хаты не отстроил
и ран своих не долечил.

Жила в душе его надежда,
что он еще придет назад.

...У стен горящих Будапешта
геройской смертью пал солдат.

Крестьянкой русскою рожденный,
он далеко оттуда жил,
но город, им освобожденный,
его, как сына, схоронил.

И всякий год, когда трубили
освобождение полки,
шел Будапешт к его могиле
и клал у ног его венки.

А в нем была такая сила,
что, если правду говорят,
он встал, как в сказке, из могилы,
Советской Армии солдат.

Он встал в простреленной шинели
из немоты и темноты,
и только лишь окаменели
лица победные черты.

Фашистскою сраженный пулей
холодным утром, на заре,
он стал в почетном карауле
у монумента на горе.

В дни мятежа к его могиле
бандиты ринулись толпой,
ударом в спину повалили,
рубили фомкой и киркой.

Теснились молча и толкались,
боясь народа своего,
тайком, постыдно надругались
над прахом каменным его.

...Рабочих чепельских собрание,
чтоб тот позор кровавый смыть,
решило памятным вставаньем
солдата русского почтить.

Я не был в том холодном зале,
но поклянусь, что сам видал,—
когда рабочие вставали,
он вместе с ними тоже встал.

Он встал, со смертью не смиряясь,
не забывая ничего,
в собрание этом растворяясь
и возникая из него.

Он встал опять в шинели чистой,
под красным заревом знамен,—
погибший от руки фашиста,
рукой рабочей воскрешен.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Я. ТАВРОВ

★

ЛЮДИ, ПЛАН, РЕЗЕРВЫ

Пленум ЦК КПСС призывает все партийные организации, всех коммунистов неуклонно претворять в жизнь задачи, поставленные XX съездом КПСС в области дальнейшего развития социалистической экономики СССР, улучшения организаторской работы, совершенствования методов руководства хозяйственным строительством на основе ленинских принципов социалистического хозяйствования, всемерного развития творческой инициативы и активности масс трудящихся.

(Из решений декабрьского Пленума
Центрального Комитета КПСС)

Заводские думы

Красноярский завод самоходных комбайнов расположен на левом берегу Енисея. Фасады заводских зданий глядят на приземистые, потемневшие от времени рубленые дома старой сибирской улочки. А за ней сразу, с разбегу, во весь свой многоэтажный рост встает обновленный город, перепоясанный строительными лесами. Своими тылами предприятие опускается почти к самому Енисею, и когда глядишь снизу, то кажется, что все оно устремлено к могучей реке.

После войны завод выпускал несколько сот комбайнов в год. Сейчас он дает такое количество машин за один только месяц. Но и этого теперь мало. В будущем мощность предприятия должна быть примерно утроена.

Увеличился не только выпуск комбайнов, но и запасных частей к ним. Именно с запасными частями произошла любопытная история.

На старых площадях, без дополнительного оборудования, комбайностроители резко увеличили выпуск многих ходовых деталей. В этом в первую очередь заслуга заводских конструкторов и технологов: вложив много изобретательности и таланта, они создали небольшие поточные линии. Но как ни остроумно включено в поточные линии действующее оборудование, речь пойдет сейчас не об этом.

«Любопытное» заключено не в самом потоке, а в сопутствующих обстоятельствах. О них-то и рассказал мне директор завода, высокий, длиннолицый и сдержанный человек, с очень идущим к нему строгим именем Тихон — Тихон Федорович Шибаев.

— Опоздали мы здесь, — сказал он, и его лицо нахмурилось. — План мешал. Вы удивлены? Что ж, бывает и так. Особенно когда запланирован выпуск почти трехсот деталей.

Так начался у конвейера разговор о планировании. Он продолжался в директорском кабинете. Тихон Федорович вспомнил о недавнем времени, когда завод мог за месяц выполнить квартальный план по многим деталям, а затем в сжатые сроки выпустить и остальные. Мог, но не делал

этого. Заводу предписывалось каждый месяц давать треть в с е й номенклатуры. Обманчивая равномерность обрекала на выпуск деталей мелкими партиями. К чему был поток? Получалась нелепость: план ставил рогаки внедрению прогрессивной технологии. И если бы директор даже решился разрубить этот гордиев узел и перейти на конвейер, банк до утверждения сметы в министерстве не выдал бы ему на реализацию новшеств ни копейки.

Дух опеки пронизывал планирование. Стремление предусмотреть все и вся сверху, разнести по графам многообразную, как сама жизнь, производственную деятельность завода, приводило к плановым парадоксам.

Завод имел мощный литейный цех, но он не обладал правом помочь соседу, взять у него заказ, а у того литье было тем узким местом, которое мешало ему широко расправить плечи. Чтобы оказать такую взаимовыгодную помощь, существовал сложный, усеянный бюрократическими терниями путь, — им практически редко кто пользовался.

— Вот так-то мы и жили, — говорит Тихон Федорович. — Полухозяином, вот кем я был.

В голосе Шибаева звучала горечь. Он невольно бередил еще не забытые обиды. Эти мысли в свое время рождались в самом опыте хозяйствования, и уйти от них было некуда. С ними он ехал в Кремль на памятное совещание работников промышленности в мае 1955 года. Вскоре обстановка в промышленности изменилась. Директорам дали новый объем прав. Шла ли речь о месячном плане, собственном капитальном строительстве или финансовых делах, руководители предприятия решали теперь то, чего не могли решать раньше.

Почему же нахмурил лоб Тихон Федорович? Быть может, он не рад новому обороту дел? Нет, очень рад. Он недоволен другим. По его мнению, у директора не до конца развязаны руки. Теперь его не назовешь полухозяином, но и полноправным командиром он не стал. В штатах еще осталась ненужная опека, директор не всегда волен расставлять силы своих работников, оплачивать должным образом их знания и опыт — финансовые органы тотчас же применят свое «вето». А премирование! Снижать премию — пожалуйста, а оценить выдающийся успех новатора и полную меру, материально поощрить в том размере, как это следовало бы, — тебе дорога заказана, и здесь ограничивают рамки регламентации.

Шибаев очень озабочен. Права — это доверие, надо его оправдать. Самостоятельность, инициатива — чего лучше! Но все это требуется спрятать, нацелить так, чтобы от каждой удачи завода выигрывало государство.

Взять те же запасные части. Поток нельзя не приветствовать, но если увлечешься массовым выпуском и забыть об ассортименте, что произойдет тогда в мастерских, где ремонтируются к летней страде комбайны?

А кооперирование! Оно невозможно без правильного понимания общей задачи, без твердой дисциплины всех смежников. Короче говоря, если хочешь работать по-новому, надо уметь и по-новому планировать, более гибко, более зорко, чем прежде. По существу большому кругу людей предстоит теперь сдать своего рода экзамен на аттестат экономической зрелости.

— И не только нашему брату, директору, — говорит Тихон Федорович. — Что мы одни, без коллектива! Учиться следует всем.

Самые значительные явления, становясь повседневными, не привлекают к себе внимания. Но иногда к людям приходит как бы второе зрение, приходит и открывает большой смысл в обычном, давно примелькавшемся. Это, очевидно, и случилось на том занятии по конкретной экономике, которое мне довелось посетить в день беседы с Тихоном Федоровичем.

Происходило это прямо в цехе. Семинар вела начальник планового отдела завода Татьяна Михайловна Попова, вела умно, темпераментно, ее явно воодушевляли жадное внимание и активность слушателей. Впрочем, слушателей, в обычном понимании этого слова, тут и не существовало. Да и на семинар это походило не много. Скорее заседал какой-то не облеченный официальными полномочиями орган. Рабочие, инженеры, техники сообща обсуждали способы улучшения планирования и организации производства.

Немолодой мужчина в синей спецовке, со шрамом на виске, — очевидно, отметины войны — убедительно доказывал, что действующий порядок планирования себестоимости очень громоздок и не «поощряет» предприятие осваивать новые конструкции.

— Был раньше такой грех в сельском хозяйстве, — говорил он. — Стоит колхоз прочно на ногах — значит, отдувайся за отстающих, вытягивай на хлебозаготовках весь район. Вали кулем, потом разберем. На селе такой «порядок» поломали. А в промышленности он и поныне здравствует. Снизило предприятие себестоимость — с него еще больший спрос. Работает в убыток — ему поблажки.

— Верно. Так и делают, — подхватил кто-то с места. — С производственным заданием та же картина. В этом году поднатужились — перевыполнили план, на будущий год министерство «подвалит» программу в полтора раза большую. Вы, мол, передовые! Когда же, спрашивается, закреплять уже достигнутое, новую технику осваивать? Планировать надо с толком, так, чтобы завод работал не рывками, а из года в год наращивал свои силы.

— Дали заводу права. Прекрасно! — развивал свою мысль третий. — Теперь надо поразмыслить о другом: как подковать инициативу, заинтересовать материально.

Люди принимали как должное уже сделанное и шли дальше. Их высказывания относились к фактам, почерпнутым из личного опыта, носили предметный характер. Но, говоря о своем близком, участники семинара затрагивали коренные вопросы планирования, экономики, которые вот так же сообща обсуждались, конечно, и на других заводах.

И вдруг мне открылось главное в том, что происходило в тесной конторке. Здесь буднично и просто раскрывалось удивительное явление — новое чувство советского человека, чувство плана. Когда оно возникло и в чем его сила?

Умножение возможностей

В Государственной библиотеке имени В. И. Ленина хранится одна стенограмма. Ее берешь в руки с тем волнением, какое всегда будят страницы, документальность которых воскрешает прошлое с полнотой, недоступной самому смелому воображению.

...7 сентября 1918 года. В это утро газеты сообщали о состоянии здоровья В. И. Ленина, тяжело раненного пулей эсерки-террористки Каплан, о боях на пяти фронтах, о только что раскрытом заговоре английского посла Локкарта, о страшном диверсионном взрыве пороховых складов... Выстрел из-за угла и шуршащие ассигнации, фитиль диверсанта и паспорт дипломата, засылка шпионов и высадка целых корпусов — все пущено в ход врагами молодой Советской республики.

В этот день питерские большевики и беспартийные рабочие-металлисты пришли на многолюдное открытое заседание пленума Совета народного хозяйства Северного района. Они собрались, чтобы утвердить производственную программу для петроградской промышленности.

По сути дела, перед нами один из первых советских планов. Он рассчитан всего на четыре месяца. Речь идет о координированной работе пя-

тисязти металлообрабатывающих заводов Петрограда. Они находятся в таком состоянии, что даже ремонт паровозов и автомобилей представляется для них сложной задачей. Среди новых изделий преобладающее место занимают несложные сельскохозяйственные машины, гвозди, подковы, лопаты. Сырья для этой продукции неоткуда ждать. Его надо найти в Петрограде. И оно уже найдено самими рабочими на складах, среди отходов.

Перед нами детство советского планирования. Первые планы покрыты «белыми пятнами», их расчеты еще технически не обоснованы. Важно другое. «Первым уроком практического строительства социалистического хозяйства» назвал В. М. Молотов в своей речи на этом пленуме план петроградских металлостов.

В плане не было и не могло быть многих элементов научных обоснований, но в его приближенных выкладках есть нечто большее, чем точность цифр, — это твердая и деловитая уверенность в том, что мы можем перейти и, как говорилось на пленуме, «уже окончательно переходим от капиталистической слепоты к социалистическому сознанию».

Чем больше вчитываешься в стенограмму, вдумываешься в выступления участников этого пленума, тем больше поражаешься тому, с какой зоркостью люди представляли себе историческую значимость своей работы, ее немедленные практические последствия.

Может случиться так, что наш план и не будет выполнен, что его сорвет гражданская война, говорили на пленуме, но даже и в этих трудных условиях он колоссально умножает наши возможности.

Умножение возможностей! Оно сказалось уже в том, что в этот грозный час разрухи дело экономического возрождения страны стало делом самих масс. Это стало возможным потому, что в октябре 1917 года на земле начал действовать новый вид энергии — энергии общего, коллективного труда.

Обращаясь к молодежи, Владимир Ильич говорил: «Сразу общего труда не создашь. Этого быть не может. Это с неба не сваливается. Это нужно заработать, выстрадать, создать».

Наш народ выстрадал «общий труд». Он преобразил страну и превратил в промышленного гиганта аграрно-сермяжную Русь. На советской земле появился новый человек — рядовой труженик, размышляющий о том, как, работая совместно, добиться больших результатов с теми же средствами. Появился новый герой нашего времени, так же как был им когда-то «человек с ружьем».

Мы несправедливо мало анализируем психологическую основу советских планов. Планы для нас — и долгий путь к великой цели и ближайшая основа наших личных радостей, успехов, благополучия. «Цель, бесконечно далекая, — не цель», — в свое время говорил Герцен. Для нас близкое и далекое слиты воедино.

Борьба за план, за ближние задачи всегда была для советского человека борьбой за выигрыш исторических сроков, за уплотнение времени, за умножение возможностей, за приближение коммунизма. Поэтому во всех сферах нашего общества закономерен интерес к тому, как строится и совершенствуется единый плановый механизм, в создании которого Ленин видел одну из гигантских задач революции.

В Госплане

В далекой Шумихе, на площадке будущей Красноярской ГЭС, я слышал, как буровики говорили о своем начальнике: «Не голова — госплан».

Госплан — одно из тех слов, которые, относясь к точным понятиям, обладают большой образной и эмоциональной силой. Но сейчас мы будем говорить не о госплане — образе, а Госплане — государственном органе.

Войдем в монументальное, строгое здание с выложенной золотыми буквами надписью на фронтоне — Дом Совета Министров СССР. Здесь работает Госплан.

Бывает, что свет на большие проблемы проливают очень незначительные события. Несколько лет назад в Госплане при мне разгорелся жаркий спор. Спорили два экономиста: женщина средних лет, с твердым взглядом ясных глаз, и пожилой, мудрствующий мужчина, с остренькой профессорской бородкой.

— Да это же ересь! — возмущалась женщина, поднимая голову от только что прочитанной бумаги. — Вы подумайте, до чего дошло. Директор завода Уралмаш без разрешения Москвы не может передать своему соседу, заводу «Электроаппарат», пять станков! Предприятия, видите ли, принадлежат разным министерствам. А свои головы для чего? Ведь этим людям не станки доверили, а уникальные заводы.

— Вы, милая, этак далеко зайдете! Только дайте им волю, и пойдет карусель. Кто во что горазд. А хозяйство-то у нас единое, план-то единый, — чеканил слова старый экономист. — Я помню время, Екатерина Николаевна, — продолжал он, — когда мы планировали выпуск угля, нефти, стали, еще десяток названий, и обчелся. А сейчас в этом перечне — тысячи наименований. Может, и здесь прикажете пойти назад? Хозяйство будет расти, а план — сокращаться!.. — Лицо его выразило неподдельный ужас.

— Вот и даем мы этому растущему хозяйству годовой план с опозданием чуть ли не на квартал, — горько усмехнулась Екатерина Николаевна. — А почему? Все делаем сами, наверху.

— И должны делать, товарищ Микулина!..

Эта яростная защита всеохватывающего регулирования кое-кому в то время казалась убедительной.

Бесспорно, что проникновение плана во все поры нашей жизни заложено в самой природе советского общества. Но значит ли это, что в план надо заверстывать выпуск, скажем, девяноста сортов бумаги или ста двадцати пяти типо-размеров насосов? А ведь так и делали. В результате номенклатура изделий, включенных в план, достигла в 1953 году пяти тысяч и возросла с 1940 года более чем в два раза.

План явно разбухал. Но ведь чем шире план охватывает жизнь, тем больше надо оберегать его от всего не главного, не решающего. Чрезмерный объем также противопоказан плану, как излишний вес человеку, — теряется гибкость. Громоздкий план всегда таит опасность бюрократизации планирования. Ее обнаружила партия. В 1953 году объем показателей на однохозяйственного плана был резко сокращен. В частности, число планируемых изделий уменьшилось втрое. Затем произошла еще более коренная очистка плана от излишних показателей. Конечно, в стране не стали выпускать меньше сортов бумаги. И с насосами все обстояло по-прежнему. Но теперь за ассортимент отвечали министерства. Вскоре стало известно, что министры наделяются новыми, еще более обширными правами, в особенности в области планирования.

События обгоняли одно другое. Расширенные права получили начальники главков, директора заводов. Новый порядок планирования в сельском хозяйстве снял путы с колхозной инициативы.

Оковы излишнего администрирования падали и в промышленности. К концу 1956 года в ведение союзных республик передано пятнадцать тысяч предприятий. Партия берет далеко идущий курс на то, чтобы восстановить и расширить ленинский принцип демократического централизма в управлении народным хозяйством и шире, чем когда-либо, привлечь массы к участию в планировании.

Планировать — значит управлять. Более того, речь идет об одной из самых широких сфер для всенародного творчества в самом главном —

организации хозяйственной жизни. И потому перемены к лучшему в плановом деле открывали новую главу в активности масс, постоянно совершенствующую созданную ими социалистическую жизнь.

Непростительно, что наша публицистика как-то прошла мимо этих черт нового. Да, прошла и не показала, насколько глубоко проявляются в них сила советской демократии и плодотворность советского централизма, который, говоря ленинскими словами, «предполагает в первый раз историей созданную возможность полного и беспрепятственного развития не только местных особенностей, но и местного почина, местной инициативы, разнообразия путей, приемов и средств движения к общей цели».

Как убого в свете этой замечательной мысли выглядят «мудрецы», которым кажется, что несколько сот человек, собранных в «руководящем органе», могут планировать все и для всех. Еще В. В. Куйбышев стремился к тому, чтобы новое, возникающее на предприятиях и стройках, врывалось в Госплан и чтобы научность плановых расчетов проверялась и дополнялась опытом «низов». При составлении первой пятилетки широко применялась прямая связь с заводами.

Но шли годы, и постепенно у госплановцев, по-видимому, не стало хватать времени для живого контакта с предприятиями. Многое упускалось, а план все же запаздывал. Он выходил порой в свет в январе планируемого года. Его «раскручивали» в министерствах, потом в главных управлениях, и на предприятия он попадал уже после начала года. И не в силу возможных иногда чрезвычайных обстоятельств, а по традиционному обыкновению.

Так дальше продолжаться не могло.

...Август 1955 года. Знойный день. В Госплане СССР, в большой, затененной шторами комнате, люди с пристальным вниманием знакомились с документом государственного значения. Он посвящен шестой пятилетке, и в нем словно итожится, поднимается до степени глубокого обобщения все то, о чем не раз с тревогой размышляли Екатерина Николаевна Микулина и ее товарищи, о чем по всей стране думали тысячи хозяйственников, экономистов.

В постановлении с большевистской прямоотой высказывалась суровая правда о некоторых недостатках в планировании. Оно осуждало практику, при которой и в Госплане и в министерствах государственные задания разрабатывались узким кругом лиц без изучения местного опыта, без широкого привлечения научных сил, без прямой связи с предприятиями.

Постановление требовало, чтобы впредь государственные планы по отраслям промышленности строились на основе заводских планов, творчески разрабатываемых с участием масс.

Каждый день самолеты, поезда уносили госплановцев во все концы страны, на предприятия, шахты, рудники, нефтепромыслы. Когда же спустя некоторое время госплановцы вернулись в Москву, вместе с ними в массивные двери дома в Охотном ряду вошел бесценный спутник — опыт самой жизни. Это возникали первые нити живой связи с предприятиями. Требовалось немало времени, чтобы они упрочились, умножились.

— Словно в живую воду окунулись, — сказала Екатерина Николаевна Микулина.

«Живая вода» прибывала в Госплан и по почте. Девять тысяч предприятий прислали сюда свои перспективные планы. На Ленинградском металлическом заводе была намечена строгая специализация завода. Она позволяла настолько увеличить выпуск гидротурбин, что отпала необходимость в строительстве нового большого предприятия; одновременно возрастала вдвое производительность труда и наполовину снижалась себестоимость. Минские тракторостроители сочли возможным запроектировать к 1960 году снижение трудоемкости трактора почти в три раза.

Под напором коллективно обоснованных предложений рушились первоначальные наброски некоторых министерств.

А итог? Он очень убедителен. Выявленные резервы позволяют получить в 1960 году с тех же производственных площадей дополнительно не менее семи миллионов тонн чугуна, одиннадцать миллионов тонн стали, семьдесят миллионов тонн угля, около ста тысяч тракторов, свыше десяти миллионов тонн цемента, сорок два миллиона пар кожаной обуви и так далее. В сельском хозяйстве творческое планирование масс дало основание определить валовой сбор зерновых культур в 1960 году в одиннадцать миллиардов пудов вместо десяти.

Этими цифрами справедливо гордятся в Госплане.

Зайдем в один из его отделов. Он помещается на восьмом этаже Дома Совета Министров. Нельзя сказать, чтобы отсюда открывался широкий вид на столицу. Горизонт загораживает десятиэтажная гостиница — творение Щусева. И все же в большое, в полстены, окно виден клочок светло-синего неба, а в него словно вклеен цветной купол маленькой кремлевской башенки.

— Красиво? — спрашивает меня немолодая женщина с очень свежим обветренным лицом.

Где я слышал этот приятно вибрирующий, низкий голос, где видел умные, насмешливые глаза, крутой лоб и тяжелый узел светлых волос?

Где? Да здесь же, в Госплане. Случай снова свел меня с Екатериной Николаевной Микулиной. Она только что вернулась из очередной длительной поездки. Она соскучилась по привычной обстановке, по друзьям и по этой маленькой башенке.

Только одна башенка, а за ней — весь Кремль, Москва, Россия, двухматериковый простор советской Родины. Очень хорошо, что разноцветный точеный купол виден из здания, где идет жаркая беседа о близких и дальних краях: об алмазных россыпях далекой Якутии, о сказочных нефтяных дарах Татарии, о редчайших рудах Сихотэ-Алиня, о неумной силе сибирских рек.

Глядишь на древнюю маленькую башенку, а видишь весь большой новый мир. Далеко от Москвы совместными усилиями советских и китайских ученых создается схема использования гидроэнергетических ресурсов Амура и экономического преобразования всего бассейна великой реки. Румынский газ служит сырьем для химических заводов Венгрии, из венгерских бокситов вырабатывается чехословацкий алюминий. Чешские тяжелые станки можно встретить на Урале. Советским оборудованием оснащаются заводы на берегах Янцзы, Вислы и Дуная. Вагоны, изготовленные в Польше, обслуживают линию Москва — Пекин.

Отныне каждая из социалистических стран может развивать наиболее свойственные ей отрасли промышленности. Между социалистическими странами уже существуют соглашения о специализации выпуска проката. Возникло планомерно осуществляемое общественное разделение труда внутри мировой социалистической системы. Это означает новое умножение возможностей, заложенных в плане. Пройдет немного времени, и весь мир увидит, что в то время, как физики в гигантских синхрофазотронах развивали до невероятных пределов энергию элементарных частиц, укрепленные народы открыли новый могучий ускоритель исторического развития — согласование своих экономических усилий.

Как всегда после командировки, Екатерина Николаевна полна впечатлений. Она увидела много отрадного. За полгода уже на деле подтверждена реальность многих заводских пятилеток. Больше того, размах народного творчества так велик, что можно двигаться вперед быстрее, чем предполагалось. И тем обиднее, что страна несет значительные потери из-за существенных просчетов и пробелов в планировании. Если бы мы

планировали лучше, успехи нашего хозяйственного строительства могли бы быть еще большими.

Нередко бывает так, что некоторые разумные предложения с мест не реализуются из-за отсутствия генеральных планов комплексного развития экономических районов. Это очень важная сторона дела. В нашей стране создана новая география размещения производительных сил и сделано очень много для «гармонического расселения» промышленности. Однако есть и частные неувязки. Они приводят к нерациональной транспортировке продукции, особенно угля и металла. Последние годы мы завозим из Кузбасса и Караганды миллионы тонн угля в европейскую часть Союза. Кроме того, в самой Сибири не установлены наиболее экономичные зоны распространения хакасского и черемховского угля. У нас еще немало встречных перевозок. Только в Горький ежегодно ввозятся десятки тысяч тонн металла, столько же проката вывозится из Горького.

Но что обиднее всего — даже там, где имеется полный промышленный комплекс, полному использованию производственной мощности заводов, их специализации и кооперированию препятствует «ведомственная чересполосица». Она преодолевается очень медленно, с большим «скрипом».

Об этих и других несовершенствах народнохозяйственного планирования говорилось с трибуны XX съезда КПСС.

— Да, в те дни мы выслушивали немало горьких упреков, — замечает Микулина, — и чем дальше, тем яснее видишь, какими глубокими причинами была вызвана тревога партии по поводу состояния перспективного планирования.

Екатерина Николаевна задумывается. Кажется, что ее мысли очень далеко. Они далеко и близко.

— Только подумать, — говорит она, — вот мы начнем работу над долгосрочным планом развития народного хозяйства, рассчитанным на десять—пятнадцать лет. Какая огромная ответственность! Наверное, то же самое чувствовали те, кого тридцать пять лет назад в их работе окрыляла бессмертная романтика плана ГОЭЛРО. Теперь мы начинаем с других рубежей... Где застанет нас, ну, хотя бы 1970 год? Вот о чем надо думать уже сейчас, думать вдохновенно, увлекая этой перспективой весь народ. От нас, экономистов, предстоящий труд требует громадной теоретической подготовки, совершенствования всего дела планирования...

В свое время сотни ученых участвовали в составлении плана ГОЭЛРО. Какие же силы нужны сегодня, чтобы заглянуть в коммунистическое завтра, рассчитать, выверить наперед необъятную, взятую в движение мощь страны, шагнувшей из вековой отсталости на второе место в мире по объему промышленного производства!

План ГОЭЛРО составлялся в ту пору, когда Советской республике еще предстояло восстановить тот уровень, при котором в царской России промышленной продукции производилось на душу населения в двадцать один раз меньше, чем в США. Сейчас эта дистанция сократилась в восемь-девять раз. Мы вступили в такой период развития, когда можем «съесть» оставшееся расстояние все быстрее и быстрее, когда советский человек что ни год будет все полнее и полнее вознаграждаться обилием материальных и духовных благ за перенесенные тяготы. К этому ведет действие основного экономического закона социализма. Конечно, в нашей экономике, как и во всякой другой, ничто не совершается автоматически; многое здесь зависит от степени обоснованности наших планов. И любой огрех в этой сложной и тонкой работе болезненно отдается во всех звеньях народного хозяйства.

Возьмем такой важный сектор экономики, как строительство. В начале шестой пятилетки предполагалось построить 205 миллионов квадратных метров жилой площади. Надо найти средства и дать стране еще больше

домов — таково решение декабрьского Пленума ЦК КПСС. За счет чего? Источников много. В частности, многое может дать прекращение весьма распространенной практики распыления средств.

В Новосибирске неподалеку друг от друга в течение ряда лет сооружаются два больших завода сборного железобетона. Строятся они очень медленно. Не проще ли и дешевле построить сначала один, потом уж другой? Миллионы рублей были бы тогда спасены от омертвления. Это на двух заводах. А в масштабе всей страны?

Партия высказалась и против неоправданного перенапряжения в темпах капитальных вложений. Оно зачастую приводит к тому, что план не подкрепляется ресурсами.

Чтобы правильно планировать, надо постоянно увязывать, балансировать ресурсы и потребности.

В шестой пятилетке есть два примечательных показателя. При росте выпуска металла на 51—52 процента продукция машиностроения и металлообработки увеличивается примерно на 80 процентов. Чем же покрывается этот резерв, составляющий миллионы тонн чугуна, стали, проката? Главным образом экономией металла, если так можно назвать глубочайшую революцию в методах проката и обработки металла.

— Бывает так — заготовку ставишь краном, а готовую деталь снимаешь руками, — говорил на XX съезде партии токарь-новатор Кузьмин, имея в виду трансформацию изделия в процессе производства.

На машиностроительных заводах около половины металла идет в стружку. Этому «горю» может помочь только другая точность отливок, замена литья в землю литьем в выплавляемые формы, массовое внедрение горячей штамповки, высадки и так далее. На наших глазах эпоха резания металла сменяется веком обработки металла давлением.

Открывается новая глава и в энергетике. Только одно применение на тепловых электростанциях сверхвысоких параметров пара уже принесет 14—15 процентов экономии. Около ста миллионов тонн топлива будет сэкономлено в 1960 году в результате внедрения передовой техники во всех отраслях теплоэнергетического хозяйства.

За каждым таким итогом стоит работа десятков научных коллективов, сложные обоснования, непрерывные поиски новых решений, сотни и тысячи нормативов, проверенных на двойном оселке теории и практики. И здесь тоже проявляется научность планирования.

«Но это же чистая техника», — может быть, скажет читатель. Это в такой же мере и чистый план. Наши планы тем совершеннее, чем громче отдается в них каждое «последнее слово» современной науки. Вот почему в плановых материальных балансах проступают все линии технического прогресса.

Чем шире масштаб хозяйствования, тем обоснованнее, дотошнее должен быть счет наших ресурсов. Сегодня недоучесть на один процент потребность в топливе — значит составить топливный баланс, заниженный на миллионы тонн. Если промышленность не получит их, она останется без топлива на 3,6 полновесных советских дня. За такой срок в конце нынешней пятилетки будет производиться 3,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, то есть столько же, сколько вырабатывалось за полтора года в царской России.

Как же добиться того, чтобы наши планы, все их показатели были «дальнобойнее», точнее?

— Основное — сверху донизу повысить научность планирования, — таково мнение экономиста Екатерины Николаевны Микулиной.

Ту же мысль на другой день я услышал в соседней комнате. Но это было уже не в Госплане.

Главный пульт

Государственная экономическая комиссия СССР по текущему планированию находится в том же здании, что и Госплан. Это внешнее обстоятельство как бы символизирует глубокую внутреннюю связь двух высших плановых органов.

Одни и те же экономические законы определяют и перспективное и текущее планирование. И то и другое имеет своим предметом одну и ту же конкретную экономическую действительность.

В дальних планах она берется с известной дистанции. Это как бы карта, где протянуты лишь мощные горные хребты. Иное дело текущие планы. В них те же горные цепи предстают во всем своеобразие своей топографии. Здесь завтрашний день экономики рассматривается в упор, и те особенности, которые незачем и нельзя предвидеть вперед на пятилетку, приобретают важное значение. Даже год становится слишком крупной единицей измерения, и появляется квартальный разрез плана.

Текущие планы — творческая реализация перспективных заданий. Эти два вида планового руководства дополняют друг друга, немислимы один без другого.

В последнее время партия пересмотрела постановку всего дела государственного планирования. На XX съезде было установлено, что наши планы еще далеко не совершенны, что они не всегда отражают требования закона пропорционального развития народного хозяйства.

Вопросы планирования были вновь подняты на недавнем Пленуме Центрального Комитета. Подвергнув суровой критике работу Госплана и Госэкономкомиссии, Пленум дал программу всемерного улучшения руководства народным хозяйством и ликвидации серьезных упущений при разработке государственных планов, в первую очередь текущих. Не случайно в решениях Пленума так часто упоминается Госэкономкомиссия.

В Госэкономкомиссии как бы расположен главный пульт оперативно-планового руководства народным хозяйством. Отсюда «дирижируют» также и материально-техническим снабжением промышленности, сельского хозяйства. Здесь создают необходимые резервы, без которых нельзя планировать, отсюда же распределяют их в нужных случаях.

Разработка текущих годовых планов и проверка их выполнения — первейшая задача Госэкономкомиссии. Понятие «проверка» следует уточнить. Она отнюдь не сводится к тому, чтобы зафиксировать отставание какой-то отрасли промышленности, просигнализировать о нем. «Сигнализатор» едва ли не бранное слово среди экономистов. Однако проверка выполнения плана, понимаемая как воздействие на события, как прямое вмешательство в ход производства, отнюдь еще не сильная сторона руководящих плановых органов. Здесь мы, в частности, подходим к очень важной черте текущего планирования. Оно переплетается с управлением хозяйством. До последнего времени Госэкономкомиссия могла фиксировать неполадки в осуществлении производственных программ. Но она не могла сама их устранять, даже в тех случаях, когда корни неполадков «уходили в план», в необеспеченность финансами, материалами. Именно по этой причине, а также из-за неполного знания жизни предприятий контроль за выполнением планов был одним из уязвимых мест в работе Госэкономкомиссии. Трудно переоценить последствия перестройки этого органа. Меняется характер планового руководства. Оно отныне предоставляет право оперативно решать вопросы, связанные с выполнением плана. Отныне дать план — значит и отвечать за обеспечение его материальными ресурсами. Это неминуемо должно усилить единое плановое начало, привести к большей реальности и обоснованности плановых проектировок.

Для этого надо серьезно изучать, быть в курсе дела не только работы всех отраслей промышленности, но и отдельных производств. Здесь взгля-

дом из окна московского кабинета все не окинешь, нужно видеть, подхватывать все передовое, что возникает на предприятиях, знать, какие есть резервы для повышения производительности труда.

Выработка рабочего. Через нее проходит главная линия мирного соревнования двух систем. Не победив здесь, нельзя построить коммунизм. Этому учил В. И. Ленин. И народ уже ответил на это тем, что в восемь раз увеличил производительность труда. За советский период, несмотря на войны, мы, начав с очень низкого уровня, обогнали по выработке «мастерскую мира» — Англию. За тот же срок мы вчетверо сократили в этой области расстояние между нами и США, хотя оно еще остается весьма значительным.

Но здесь, как и всюду, наше решающее преимущество — темп. В послевоенные годы мы опередили США по среднегодовому приросту производительности труда примерно в три раза.

На память об одной из бесед в Госплане у меня хранится листок из блокнота. Живо помню, как мой собеседник — видный экономист — оборвал на середине фразу и быстро вывел на бумаге четыре загадочные цифры:

310
511
1 472
2 520

Триста десять миллионов рублей продукции в год — вот что означал один процент производительности общественного труда в весну нашей индустриализации — в 1930 году. Тогда еще только сходились с чертежей цехи Сталинградского тракторного, а белки-летяги перемахивали с дерева на дерево там, где сейчас раскинулись над Амуром эллинги. Но вот новосотворенная техника начинает работать на социализм, и во второй пятилетке один процент производительности труда уже дает объем продукции стоимостью в 511 миллионов рублей, в четвертой — 1 миллиард 472 миллиона. В пятой пятилетке тот же процент означал увеличение продукции на два с половиной миллиарда рублей.

В нынешней пятилетке производительная сила общественного труда возрастет еще в полтора раза. Нетрудно представить себе, что же значит сегодня всей страной работать на одну сотую лучше. Эти цифры должны не умилять, а будить страстную нетерпимость ко всему, что мешает нам двигаться вперед как можно быстрее.

— Необходимейшее чувство, — так сформулировал эту сторону проблемы Николай Павлович Касимов, один из сотрудников отдела Госэкономкомиссии, который занимается самыми жгучими из плановых показателей — показателями по труду. — Планирование должно теперь стать больше, чем когда-либо, делом миллионов, а раз так — в нем с особой силой будет действовать закон любого массового действия: чем шире круг участников, тем богаче плоды их усилий.

В своей статье «Пессимизм как отражение экономической действительности» Г. В. Плеханов убедительно показал, что у человека, который с горечью видит, как на его лучшие порывы, на его гневный протест против отвергаемой им действительности история отвечает «не суйся», остается один выход: отчаяние и безнадежность.

Нашим писателям, инженерам человеческих душ, пора бы заняться исследованием важной проблемы: как возникает между людьми в самых массовых и решающих связях — в производственных социалистических отношениях — и как расширенно воспроизводится вместе с ними новый мажорный строй мыслей и чувств, твердая уверенность в своей власти над будущим. Наш оптимизм родился в испытаниях, и потому он чужд

прекраснодушия, он всегда готов к борьбе и потому суров и героичен. Это он движет советских людей на покорение целины, на промышленное освоение необъятных пространств Сибири и на другие подвиги, которым «несть числа». Для трудового воодушевления нет граф ни в одном балансе, и все же оно включается во все плановые расчеты.

— Хотите знать, как это происходит? — сказали мне в Госплане. — Поезжайте на любой завод.

«Тихая профессия»

Когда Гера Сотников, живой и романтично настроенный юноша, спортсмен и весельчак, решил стать экономистом, его желание не встретило одобрения друзей. «Не по себе профессию выбираешь, — осуждающе говорили они. — Очень она тихая».

С тех пор прошло немало лет. Если бы собрать сейчас все планы и отчеты, составленные пожилым человеком, которого некогда звали Герой, а теперь Герасимом Яковлевичем, они заполнили бы не одну книжную полку. Глядя на них, кое-кто из его прежних товарищей, может быть, с грустью сказал бы: «На что ушли твои лучшие годы!»

Но Сотников никогда и не считал, что в этих бесчисленных таблицах заключено главное дело его жизни. Главное всегда было в той работе, которая предшествовала цифрам и следовала за ними. Эта деятельность, по самой своей природе бесконечно далекая от того, что в народе презрительно именуют «бумаготворчеством», состояла в неразрывном общении с множеством людей, в постоянной и кропотливой организации выполнения плана.

Можно бы многое рассказать о том, сколько несправедливых упреков приходится выслушивать плановику, который всегда стремится воздействовать на ход производства. Недавно, побывав на Первом шарикоподшипниковом заводе, я «заснял» два часа работы цехового экономиста Герасима Яковлевича Сотникова. Утро началось крупным объяснением с мастером, который пытался увильнуть от ответственности за перерасход фонда зарплаты. Мастер был виноват и потому шумел. Сотников был внешне спокоен, но разговор явно волновал его. Уплыла всего тысяча рублей! Она, казалось бы, не так уж много значила для цеха роликовых подшипников, где счет заработной платы идет на миллионы. Но ведь в цехе не один мастер, а в году, как известно, двенадцать месяцев. Вот и считайте! Короче говоря, мастер ушел не солоно хлебавши. Тотчас разгорелась новая баталия. Начальник инструментального хозяйства сделал заказ на энное количество гаек, Герасим Яковлевич не пропустил заказа. Инструментальщик, по подсчетам плановика, хотел обеспечить себя гайками на всю пятилетку вперед. Завизируешь такой заказ, и он ляжет бременем на цеховые расходы. Начальник инструментального хозяйства имел свои взгляды по этому поводу. Он обозвал Герасима Яковлевича скопидомом и ушел, хлопнув дверью. Сотников нисколько не обиделся. Плох экономист, если он не «скопидомствует» ради интересов государства.

— Какое он слово сказал? — спросил кто-то позади меня, старательно выговаривая все слоги.

Я оглянулся. За мной стоял молодой китаец. Его лицо выражало пристальное внимание. Он оказался начальником цеха роликовых подшипников на заводе, который возводится где-то у берегов Желтого моря. Вот уже несколько месяцев Цзинь Дэ-юань перенимает у Сотникова опыт, необходимый ему для будущей работы. Цзинь Дэ-юань сносно понимает по-русски, но ни на минуту не расстается со словарем. Он нашел в нем слово «скопидом» и широко улыбнулся. Ученик одобрил учителя.

Прошло всего два часа работы экономиста Сотникова. А за день будет еще немало и споров, и подсчетов, и размышлений, и трудных минут, когда сам не знаешь, какое принять решение.

Как будто бы немудреная профессия — заводской экономист. А работать ему очень трудно. Наше хозяйство растет так быстро, что молодая плановая наука не поспевает за ним. Особенно слабо разрабатываются проблемы внутризаводского планирования. Побеседуйте с десятью плановиками, и вы услышите один и тот же «стон души». Как работать, если до сих пор существует несколько способов расчета производственной мощности и ни один из них не общепринят? Необходим единый методологический центр по внутризаводскому планированию. Нужны монографии по отраслевой экономике. Наконец, и это главное, в очень серьезных поправках нуждаются действующие системы показателей плана. Некоторые из них, как это ни парадоксально, не стимулируют, а тормозят подъем производства.

Сколько слов, чернил и типографской краски затрачено на неустанные обличения хозяйственников, заботящихся об одном: выполнить план в тоннах, в рублях. Но ведь директору менее выгодно производить (с точки зрения экономических показателей работы его предприятия) абразивные круги из обычного электрокорунда, так как из белого они стоят дороже, а затраты рабочей силы те же. К чему нажимать на производство тонкостенных труб малых диаметров, если все показатели завода тянут вверх не они, а толстостенные трубы больших размеров? Давно установлено, что учет выполнения плана в тоннах — одна из основных причин недопустимо медленного освоения экономичных профилей проката. То же происходит и с мебелью и с детскими костюмчиками. При нынешней системе оценки работы предприятиям интереснее выпускать продукцию из дорогостоящего материала. В строительстве стремление выполнять план погонными работами оборачивается вчерне законченными домами, которые нельзя заселить из-за недоделок.

На эту тему уже не раз выступала наша печать, но, увы, до сих пор дело идет по-старому. И в худшем положении оказывается тот, кто работает честнее. Все дело в том, что научная методология, которая позволила бы определять объем продукции, исходя из трудоемкости и отвлекаясь от влияния цен на материалы, все еще не разработана.

Нельзя также мириться с тем, что принятый показатель средней выработки рабочего, исчисляемый в рублях, не дает возможности сопоставлять производительность даже на заводах одного профиля. Этого нельзя сделать потому, что в объем валовой продукции включается стоимость изделий, получаемых от заводов-смежников. Чем меньше «чистой продукции» дает сам завод, тем выше у него выработка.

Но при «чистой продукции» остается в силе «искажающая роль» ценностных факторов. Есть попытки ниспровергнуть всю систему ценностного учета выполнения плана. Они справедливо не встречают поддержки. Но ясно, что назрела безусловная необходимость дополнить денежные измерители производительности труда более прозрачными показателями как трудовыми (нормо-часы), так и в ряде случаев натуральными. Этого властно требуют интересы производства.

Чем больше любит человек свое дело, тем вернее он чувствует в нем «живинку», то самое сокровенное, близкое, благодаря чему это дело стало его делом. В планировании такая живинка — непрерывные поиски неучтенных возможностей.

Герасим Яковлевич Сотников живо помнит свой первый техпромфинплан. Он был очень далек от совершенства. Но в нем жила аккумулярованная в цифрах забота лучших людей предприятия о благе производства. Так было повсюду.

Шли годы. Молодой экономист приобрел опыт. Предприятие стало для него открытой книгой. Но все равно до конца определить потенциальную силу коллектива ему не удавалось. Каждая осуществленная идея влекла за собой десятки новых. Это была цепная творческая реакция. Она-то и привела к тому, что за десять послевоенных лет «Шарик», как любовно называют свой завод рабочие, увеличил выпуск подшипников в семь раз.

В пятой пятилетке трудовые затраты на один подшипник снизились в среднем почти наполовину. За счет чего? Может быть, за счет новых высокопроизводительных станков? В планово-экономическом отделе завода есть соответствующая таблица. В ней семь рубрик. В них новое оборудование стоит на шестом, то есть предпоследнем месте. На «Шарике» очень много «великовозрастных» станков. И все же рост производительности труда достигнут на заводе благодаря развитию новой техники. Этот путь заключался в массовом омоложении оборудования, в его глубокой модернизации. Она производилась в самых разнообразных формах, начиная с мелких приспособлений и кончая превращением обычных станков в полуавтоматы. «Шарик» все больше и больше становится заводом автооператоров — «механических рук». В результате половина станочного парка автоматизирована в той или иной степени.

Но если этот процесс зашел так далеко, то что же позволит заводу на тех же площадях увеличить выпуск продукции к 1960 году еще в полтора раза и тем самым превысить уровень 1946 года уже не в семь, а примерно в двенадцать раз?

— Посмотрите линию Сигодзинского, — сказал мне Герасим Яковлевич.

Я долго стоял у небольшой автоматизированной линии, поражающей простотой и изяществом технического замысла. Линия шлифует роликовую дорожку наружных колец. К началу 1956 года таких линий в цехе роликовых подшипников имелось две. В шестой пятилетке их будет десять. Именно они составляют основу проекта комплексной автоматизации цеха. Это значит, что, стремясь работать как можно лучше, заводской коллектив еще в пятой пятилетке опытным путем создал «островки» высшей технической базы.

Конечно, как и прежде, на завод будет поступать новая техника извне. Уже вступил в строй цех-автомат. Но важно то, что, независимо от всего этого, здесь собственными силами осуществляется полная микро-реконструкция завода. Ее не планировало государство. Ее запланировал сам коллектив в порядке проведения так называемых организационно-технических мероприятий.

Этот процесс в несколько иных формах можно наблюдать и на многих других предприятиях, в частности на том же Красноярском комбайновом заводе. Здесь наряду с широким внедрением поточности осуществлена почти полная пневматизация станочного парка.

Как известно, наша промышленность в пятой пятилетке на шесть процентов недовыполнила задание по повышению производительности труда. А красноярские комбайностроители превысили этот показатель на двадцать с лишним процентов. То же произошло и на «Шарике» и на многих других заводах. Какие огромные пласты резервов таятся за этим разрывом!

Однако как ни высока выработка, достигнутая на передовых предприятиях, она не вполне соответствует размаху осуществленных технических усовершенствований. Это явление знакомо всем производственникам. Если сопоставить на любом предприятии выигрыш в производительности, полученный на рабочих местах, и ее конечный итог по заводу в целом, то мы обязательно столкнемся с очень большим несоответствием.

В чем же здесь дело?

На многих предприятиях упорядоченность всего заводского хозяйства, включая его тылы — подсобные цехи, отстает от уровня организации основных производственных процессов.

Я до сих пор слышу ту нежданную горечь, с какой Александр Николаевич Корольков, начальник планового отдела Первого шарикоподшипникового завода, говорит о «тылах» родного предприятия:

— «Шарик» — самое крупное предприятие в Европе. Это ли не специализация? Но обойдите весь завод, и вы обнаружите сплошное натуральное хозяйство. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся все еще по старинке. Инструмент, метизы, капитальный ремонт — все мы делаем сами. Возьмем простой болт. С револьверного станка можно снять за час пятнадцать болтов, а специальный комбинированный высадочно-нарезной станок дает две тысячи пятьсот — три тысячи болтов в час. Вы понимаете, о чем идет речь? Ведь такой станок можно загрузить только на специализированном предприятии. Вот почему при централизованном производстве типовых деталей их стоимость снижается в два—два с половиной раза. И теперь уже можно кое-что получить извне. Но этого не делают. Доверия к поставщикам нет, вот и рождается порочная психология — пусть дороже, но зато надежнее. У нас недавно были гости из Чехословакии. Они знакомились с организацией производства, с планированием. Многое им очень понравилось. А капитальный ремонт, мне думается, ведется у наших друзей лучше, чем у нас. Там поступают просто: если станок пора «подлечить», его снимают с фундамента и отправляют на ремонтный завод, а оттуда сразу же привозят другой, отремонтированный. Так мы могли бы сберечь миллиарды.

На лице Александра Николаевича тихое упоение. Он высказал затаенные мечты экономиста. Его чувства можно понять. Ему-то известно, как задерживается, во что обходится доморощенный ремонт станков и какой ущерб наносится тем самым производству. Конечно, нельзя сразу и всюду сломать сложившийся порядок. Но его надо ломать, и как можно смелее. Форсирование строительства специальных ремонтных заводов, сужение «самостийных» тенденций — все это предусмотрено в шестой пятилетке. Но время не ждет.

В индустрии кое-где возникла этакая «хуторская система». Тенденция к максимальной независимости с ложным принципом «надейся сам на себя» закрепляла универсальность предприятия. Достаточно сказать, что даже на Горьковском автозаводе имени Молотова удельный вес автомобилей в общем выпуске продукции снизился за последние годы до 67 процентов.

Специализация заводов на производстве определенных машин — пройденный этап. Сегодня надо приспособлять предприятия либо к выпуску технологически однородной продукции, либо к сборке узлов и деталей.

Специализация и ее неразлучный спутник — кооперирование — это переход на высокопроизводительные агрегаты, поточность, автоматизацию. Даже то техническое нормирование, которое, как насущный хлеб, необходимо заводам, может быть осуществлено наиболее полным образом лишь на специализированных предприятиях.

Развитие технического прогресса требует устранения противоречий между новой техникой и застоявшимися формами организации промышленности. Это тоже вопрос научного планирования. Новая обстановка выдвигает экономистов на «передний край» производства.

Элементарной частицей заводского плана служит техническая норма, устанавливающая трудовые затраты на данное изделие при данной прогрессивной технологии. Но, к сожалению, пока что на многих предприятиях преобладают не технические, а опытно-статистические нормы. Вме-

сте с ними в промтехфинплан проникает пресловутая «средняя цифра». Если к этому добавить, что министерства и главки в своей работе также опираются на среднестатистические отчетные показатели предприятий, то нетрудно представить себе, в какой степени вносятся в таких случаях элемент приближенности и даже произвольности в заводской план.

Зло этим не кончается. Ориентировка на «достигнутый уровень» легализирует запущенность отстающих предприятий и ставит в тяжелые условия передовые заводы, которые получают из года в год повышенные задания. Они нередко «прикинуты на глазок», и потому их оспаривают, и часто в этих спорах побеждает не тот, кто прав, а тот, к кому больше «благоволят» в главке или министерстве. А что случается, если дело происходит далеко от Москвы? Тогда бывает вот что.

Рассказ о семи миллионах

Это будет очень короткий рассказ.

С хорошим чувством честно исполненного долга подписывала уже знакомая читателю Татьяна Михайловна Попова техпромфинплан завода самоходных комбайнов на 1956 год. И директор тоже был доволен. В тоненькой папке был заключен неторопливый и большой труд всего коллектива. Все, чем располагал завод, все, что он рассчитывал осуществить, было честно, без утайки вложено в план. Его показатели звенели, как туго натянутая тетива. И в то же время они были реальны и обоснованны.

Особенно много внимания уделила Татьяна Михайловна тщательному и обоснованному калькулированию стоимости изделий. Себестоимость — это синтетический показатель. Он вбирает в себя все, и все в нем выражается в рубле: и увеличение программы, и рост производительности труда, и повышение коэффициента использования оборудования. Иными словами, это результат всей борьбы за ужесточение норм, и сюда, точно ручьи в один поток, сливаются сбереженные человеко-часы, сэкономленная легированная сталь и как будто бы грошовая экономия на обтирочных концах.

В главке техпромфинплан Красноярского комбайнового завода не вызвал никаких возражений. Но когда разверстывали лимиты и определяли «долю» каждого завода в общем котле, не хватило семи миллионов рублей. Тогда взяли смету производства красноярских комбайностроителей и, ничтоже сумняшеся, снизили ее как раз на эту сумму.

— Они просто в чем-то ошиблись, — сказала Татьяна Михайловна, узнав об этом решении, и поехала в Москву, в министерство. Ее прекрасно приняли. Похвалили промтехфинплан, но в деньгах отказали.

— Проверьте мои расчеты, — потребовала Попова в главке.

— А мы проверяли, — невозмутимо ответили ей. — К расчетам претензии нет. А денег тоже нет.

— Но ведь я не могу уменьшить ни фонд зарплаты, ни материалы, ни какую-либо другую статью.

— Да, не можете.

Что тут поделаешь? Уж на что напориста Татьяна Михайловна и та растерялась. В Москву прилетел директор и тоже ничего не добился.

Так и по сей день работает завод в убыток. Этого не могут понять рабочие. И этого и вправду нельзя понять.

В науке есть понятие доминанты. Так называется величина, от которой зависят все другие величины. В нашей жизни и в наших планах доминантой является производительность труда. «К экономии времени придается в конечном счете вся экономия», — писал К. Маркс. Если на предприятии растет производительность труда, если оно идет по пути техни-

ческого прогресса, если все средства расходуются бережно, то откуда быть убыткам? Их порождает не работа, а искаженный план. Такой план наносит огромный вред. Ведь нельзя понять неиссякаемую силу советских планов, не отдавая себе отчета в той вере, с какой их встречают, осуществляя и дорабатывают сами рабочие.

Самое важное

Формально цикл производственного планирования заканчивается сменным заданием. Оно — мельчайшая клетка народнохозяйственного плана.

К сменному заданию можно подойти по-разному. Его можно принять механически, его можно продумать творчески, оценить, исходя из своего умения «прессовать» время. Так и поступают передовики производства.

На первых порах, пока устранялись явные потери времени — простои, прогулы, перекуры, — борьба шла за такой минимум, как правильная организация рабочего места, бесперебойное снабжение инструментом, материалом, своевременная наладка станка и прочее. Короче говоря, задача сводилась к тому, чтобы не терять ни одной минуты. В сущности, рабочий планировал свое рабочее время.

Теперь новатор планирует не только свое время, но и режим работы оборудования. Он глубоко вторгается в технику. Тут требуются серьезные знания.

Возьмем такое не новое явление, как одновременная работа на нескольких станках. Для нее необходимо строго рассчитать ручное и машинное время станка, построить график совмещенной работы станков. Если рабочий «ведет» несколько однородных станков — эта задача уже достаточно сложна. Ну, а если станки разные? Тогда мы вступаем в область серьезных технических расчетов. Такие расчеты характерны и для Быкова, Борткевича и всей плеяды выдающихся скоростников, сосредоточивших свое внимание на творческом пересмотре технологии производимых ими операций.

Новаторская мысль от поисков резервов в пооперационной технологии поднимается до стремления ускорить темп всего производственного процесса.

Сократить весь производственный цикл — такую цель поставили перед собой передовые работницы завода «Красный пролетарий» Нина Ющина и Настасья Малюткина. Недавно на Кировском заводе в Ленинграде фрезеровщик Логинов и другие выдвинули новую идею, поддержанную коллективом, — план комплексного совершенствования каждого рабочего места. На заводе уже создано семьсот таких планов. На Первом шарикоподшипниковом заводе ведется соревнование за выпуск продукции из сэкономленного материала. Тысяча шестьсот рационализаторских предложений привели к тому, что за шесть месяцев 1956 года произведено полмиллиона подшипников из сбереженной стали.

Этот перечень нетрудно продолжить. Но нет нужды инвентаризировать все формы плановой инициативы, проявленной рабочими в последние годы. Тем более, что для нее характерна одна общая черта — удивительно целостное восприятие своего труда во всех явных и подспудных связях с экономикой и культурой. Эта широта видения и есть чувство плана.

Каковы его истоки? Когда я думаю об этом, мне вспоминается недавняя сибирская встреча.

...Краса и гордость Енисейского флота, большой, комфортабельный теплоход «Матросов» вез в воскресный день отдыхающих красноярцев в Шумиху, еще недавно безвестный поселок лесорубов, ставший ныне

строительной площадкой Красноярской ГЭС. В одном из салонов, отведенных под библиотеку, мое внимание привлек молодой, крепко сбитый мужчина. У него было одно из тех умных, порывистых лиц, которым не дано утаить ни одно душевное движение.

Он то жадно читал книгу, то отводил взгляд к медленно проплывавшим в иллюминаторе скалистым берегам, и чувствовалось, что прочитанное и виденное сливаются для него в одно сильное впечатление.

Вдруг незнакомец бросил на меня быстрый взгляд горячих, внимательных глаз и сказал, словно отвечал на мой немой вопрос:

— «Фому Гордеева» читаю. Про то, как поднимали бурлаки со дна Волги затонувшую баржу. Спасли они ее. Осилили реку. А толк-то какой? «Ежели нам и Волгу досуха выпить да еще вот этой горой закусить,— тихо и выразительно прочел незнакомец поразившие его слова одного из бурлаков,— и это забудется, ваше степенство. Все забудется,— жизнь-то длинна... Таких делов, чтобы высоко торчали,— не нам делать...»

Мой собеседник умолк, и его глаза потемнели, словно на миг им передалась тоска бурлачивших на Волге богородских мужиков.

— Как страшно жили люди,— сказал человек, закрывая томик Горького.

Я снова увидел его несколько позже. Он стоял на палубе и с увлечением смотрел на кружащиеся пары. По его улыбающемуся лицу было видно, что музыка, река, веселящаяся молодежь искренне радуют его.

Больше я не встречал незнакомца. И так бы и не узнал о нем, если бы, случайно остановившись у городской доски почета, не увидел запомнившееся мне сильное, резко очерченное лицо. «С. Е. Лозовский — токарь завода самоходных комбайнов» — гласила подпись под портретом. Я пошел по найденному следу, встретился с Семеном Емельяновичем Лозовским, и мы познакомились ближе.

В конце 1955 года вышла в свет брошюра Лозовского «За токарным станком». Маленькая и очень емкая книжечка красноярского новатора стоит в большом ряду такого же рода работ. Ее значительность заключается не в каких-нибудь технических открытиях. Их пока нет у Лозовского. Его опыт радует планомерным и комплексным использованием всех средств для уплотнения как рабочего, так и вспомогательного времени. Лозовский использует опыт многих новаторов, он применяет и скоростной и силовой методы резания, и керамические резцы, и виброгашение, но все, что он берет у других, разрабатывается им в измененных условиях, и потому принадлежит ему. В машиностроении вспомогательные и подготовительные работы занимают три четверти всего рабочего времени. Понятно значение успеха Лозовского, если он втрое сократил вспомогательное время. Три года Семен Емельянович обтачивал за смену тридцать шестеренок, теперь — сто сорок. Борьба за выигрыш времени стала подлинной страстью этого человека.

Встречаясь с Семеном Емельяновичем в цехе, в библиотеке, в домашнем кругу, всегда удивляешься тому, как полно сливаются в нем самые разнородные ощущения в одно радостное чувство внутреннего согласия.

Однажды я заговорил с Лозовским о его брошюре.

— Мне хочется написать,— сказал он,— новую книгу, написать так, чтобы было видно, как работаю и я, и мои товарищи, и весь цех. Знаю, кое-кто обидится на меня за такую книжку, а я ее все-таки напишу.

Какие неминуемые обиды предвидит Лозовский? До сих пор всегда рассказывали о передовиках, уплотняющих время. Семен Емельянович хочет повести речь и о тех, кто его «разуплотняет».

По сводкам, на комбайновом заводе все благополучно. На деле же происходит вот что. Производительность труда выводится на заводе не к сменному заданию, а к тем же пресловутым «опытным» нормам, чья

заниженность и устарелость давно признана. Теперь мы видим, к чему приводит отставание от жизни самой элементарной плановой частицы — нормы. Она не может служить своему прямому назначению — стимулированию роста выработки, потому что сменное задание включает примерно две нормы. Однако заработок рабочего и моральная оценка его труда поставлены в связь не с заданием, а с той же опытно-статистической нормой. Стоит перевыполнить ее в полтора раза, и ты формально передовик. Такой ложный успех не нужен сознательному рабочему. Он требует устранения всех помех для подъема производства — основы общенародного благополучия.

— Несообразнейшее дело мы допускаем, — сокрушался Лозовский. — Если рабочий дает меньше, чем с него спрашивается, — он меньше и получает. Но когда по нерасторопности начальника цеха или кого повыше простаивают сотни людей, тут рублем никто не отвечает.

И об этом тоже пойдет речь в задуманной книжке.

Чем внимательнее я слушал Лозовского, тем яснее проступал основной замысел его книги. В ней простой человек сердцем, разумом, опытом откликался на призыв партии к дальнейшему развитию народной инициативы.

За толками незаметно прошел вечер. Уже передвинулась за десять стрелка на стенных часах. Но в просторной, блестящей порядком и чистой комнате совсем светло. Коротки июльские ночи в Красноярске. Еще и сейчас можно читать альбомы резцов и приспособлений, разложенные на столе. На один из них склонил голову сладко похрапывающий Витёк, баловень отца.

Глядя на Лозовского, я думал о том, что вот передо мной бесспорно счастливый человек. Больше того, передо мной человек, твердо уверенный в том, что семья, любовь к ней, творческий труд и награда за него — не только материальная, а та, главная, которую несешь в самом себе, — все это будет приносить чем дальше, тем больше радостей.

Сейчас в Красноярске мороз, звонко хрустит снег. Когда в Москве полдень, на сибирском быстро темнеющем небе зажигаются первые звезды.

В это время, в установленный день, Татьяна Михайловна Попова, опущенная белым платком, идет в цех к своим слушателям. О чем она будет говорить? Конечно, о декабрьском Пленуме ЦК КПСС. Партия снова сказала свое слово о плановых делах, указала пути улучшения управления народным хозяйством, призвала к дальнейшему повышению творческой инициативы масс.

У решений партии есть одна особенность. Они предельно сжаты, обобщены, отвлечены от частных. Но в этом «общем» чувствуешь жизнь во всей ее плоти и крови, оно вызывает рой ассоциаций, десятки образов.

Я вижу Екатерину Николаевну Микулину. Я вспоминаю, как она ополчалась тогда против попыток зарегламентировать сверху всё и вся. Представляю себе, как радуется она теперь, изучая решения Пленума, видя, с каким далеко идущим замыслом распаивает партия все пути-дороги для местной инициативы в планировании.

Эти документы читает и цеховой экономист Герасим Сотников, тихий, скромный человек, в котором мне открылся пафос незаметной, будничной, но такой важной для народа борьбы за выкладывание на государственный стол всех резервов.

Думы десятков тысяч хозяйственников, экономистов, рабочих людей и есть тот коллективный опыт, взятый у «низов», вернувшийся к нам многократно обогащенным, переработанным в тигле теории.

Так в действии проявляется одна из основ социалистической экономики — сочетание единого планового руководства и творческой деятельности, инициативы миллионов.

Потому-то во всех концах страны, куда приводит тебя долг или случай, повсюду встречаешь ту же великолепную целеустремленность, то же горячее стремление улучшить работу — свою, товарищей, всего коллектива. Люди, как и Семен Лозовский, хотят ясности в производственной обстановке. Ясной, то есть технически обоснованной нормы, ясной системы заработной платы, где решающая роль принадлежала бы тарифной ставке. Рабочие хотят понятных, сопоставимых показателей всей работы предприятия, облегчающих социалистическое соревнование, борьбу за производительность труда, за экономию.

Знаменем времени стала всенародная забота о лучшем хозяйствовании, об извлечении на поверхность и использовании всех скрытых резервов любого залегания. Одни из них лежат почти на поверхности, нужны лишь хозяйский глаз и умелые руки, чтобы взять их. Есть и «срединные» резервы; ими нельзя овладеть без совершенствования всего предприятия. И, наконец, существуют еще более глубинные неиспользованные возможности, многие из которых, и притом самые обширные, связаны с коренными направлениями технического прогресса, с комплексным развитием экономических районов и так далее.

Эти подспудные пласты нельзя поднять одним рычагом местной инициативы. Вот почему так велико значение последних решений партии об улучшении управления промышленностью, о некоторой перестройке системы текущего планирования. Вот почему предъясняется сейчас такой острый счет плановым органам и так нетерпимы массы к малейшим провращениям отсталости, рутинности в плановом деле. В том и могущество советских планов, что их судьбу берет в свои руки сам народ.

— Сколько у вас в цехе плановиков? — спросил я как-то на одном заводе.

— Девятьсот, — ответили мне, не задумываясь, и пояснили: — В нашем цехе работают девятьсот рабочих, инженеров и техников. Каждый из них стремится дать Родине больше продукции лучшего качества.

Почти сорок лет тому назад ленинградские рабочие, приступая к первому плановому опыту, справедливо увидели в нем начало «перехода от капиталистической слепоты к социалистическому сознанию». Сейчас это сознание побуждает советских рабочих ежедневно, ежечасно «уплотнять время», работать как можно лучше. Но когда секунду за секундой сберегают миллионы, то ведь это же приводит к ускорению истории!..

Быть может, сегодня в США есть рабочие, которые живут комфортабельнее, чем токарь Лозовский. Но никакой недостаток не может возместить уверенность в будущем. Наша сила в том, что мы работаем на время, время работает на нас, ни одно трудовое усилие каждого советского труженика не пропадает зря.

«Ежели нам и Волгу досуха выпить да еще вот этой горой закусить, — и это забудется, ваше степенство... Таких делов, чтобы высоко торчали, — не нам делать...» — говорит богородский мужик у Горького.

— Всё у нас будет жить, ничто не забудется! Большие дела у нас уже за спиной стоят, а завтра дальше шагнем вперед. Всего лишь один процент сверх плана и то громада, — утверждает простой советский рабочий Семен Емельянович Лозовский.

Он прав.



НИКОЛАЙ ДАМДИНОВ

★

ПЕСНЬ СТЕПЕЙ

1

Как степью широкой,
по жизни хочу пройти.
Вместе с утренним солнцем
я встал не случайно.
Со всеми простился,
и вот я уже в пути.
Только родные
вслед мне глядят печально.
Чуть повлажневшим взглядом
смотрю вокруг.
Травы и листья
в росинках
отяжелели.
Травы и листья,
что же вы, милые, вдруг?
Или меня пожалели?
Мама, прости меня!
И ты извини, отец!
Спасибо за мир,
который вы мне открыли.
Теперь ухожу.
Птенец уже не птенец,
когда за спиною трепещут крылья.
Вы мне подарили здоровье
для дальних дорог —
мало ли там какие
будут невзгоды!
Движенья мои уверенны,
шаг широк.
Так и шагать мне,
так и шагать мне
долгие годы.
Но есть у меня подарок
еще ценней:
вы мне подарили
будущей песни начало,
чтоб голос отца
грубоватый
слышался в ней

и материнская нежность
вечно звучала.
...Так вот, дерзнув,
на раннем рассвете,
в пути,
я пробую голос.
Теперь, моя песня, лети!

2

Как степью широкой,
по жизни пройти хочу.
Мне не надо лишнего
в моем необъятном доме.
Кроме одежды и обуви,
лишь песню
да хлеб захвачу.
Вы незнакомы со мною?
Вот я,
как на ладони.
В юрте меня родили.
Пеленали в шкуру баранью.
Кожа баранья —
первых одежд моих матерьял.
В пустые глазницы голода
смотрел я мальчишечьей ранью.
А близких людей —
разве мало
я близких людей потерял?
Не изучал я жизни
от случая к случаю.
Сам я — жизнь,
и каждая клетка во мне
распевает.
Не мучился я, конфликты ища, —
сами они меня мучили.
Конфликты — они не любят шутить.
Они сердца разбивают.
Вот я и думаю,
оглядевшись за далью лет,
что смогу кое-что рассказать,
и это не будет забыто.
Но у стоящих на месте
ничего-то, в сущности, нет.
И я убегаю прочь
от неподвижного быта.
Где воздух струится в грудь,
как прохладный сок?
Где мысли
полет соколиный напомнят,
свободно кочуя?
И где потолка не почувствуешь,
даже если ростом высок?
...Как степью широкой,
по жизни пройти хочу я.

НОРА АДАМЯН

★

У СИНИХ ГОР

Повесть

✠

Маше было жалко всех людей, которых она встречала на пути. Автобус проезжал мимо небольшого селения. У домика, обсаженного молодыми деревьями, женщина рыхлила землю. Маша подумала: «Что эта женщина испытала в жизни? Знает ли, какое счастье бывает на свете?» На шоссе стоял маленький замурзанный мальчик. «Ну, какие радости его ждут? Останется здесь, побегает, поужинает, ляжет спать... Прощай, мальчик! Может быть, потом когда-нибудь ты поймешь... Прощайте, деревья! Прощай, старичок на телеге! Пусть вам всем будет хорошо».

Но про себя Маша знала, что никому не может быть так хорошо, как ей.

Автобус ехал и ехал. Дорога была видна далеко вперед. Она поднималась к невысоким холмикам, опоясывала их тоненькой светлой ниточкой, и казалось, что до холмиков доедешь не скоро. Но упорный, выносливый автобус настойчиво добирался до них, объезжал — и снова впереди лежала дорога.

На заднем сиденье покачивались женщины в платочках. Сперва они разговаривали вполголоса, потом закусывали соленой рыбой, а потом задремали.

В открытое окно машины била струя свежего воздуха. Вдруг обдавало запахами земли, трав, солнца.

От ощущения счастья Маша зажмурилась, стиснула зубы и вытянулась. Ее ноги уперлись во что-то твердое. Было очень удобно. Не открывая глаз, Маша представила себе встречу с Андреем. Думать об этом было тревожно. Она не могла увидеть его лица, но отчетливо вспомнила руки — большие, уверенные и нежные.

Во время болезни эти руки лежали на одеяле всегда вверх ладонями, будто Андрей просил что-то. Пальцы были беспомощными, неподвижными. Но глаза всегда смотрели спокойно и насмешливо.

Теперь очень скоро она поднимет к нему лицо, увидит его, тронет его волосы, лоб, руки. Лучше не надо об этом думать, а просто знать, что впереди — счастье. Маша вздохнула и глубже устроилась на сиденье.

— Ничего, — сказал ей сосед, сидевший напротив, — смело опирайтесь на мою ногу, гражданка, если вам хорошо.

Маша открыла глаза. Действительно, ее коричневые лодочки с бантиками упирались в черный кавказский сапог. Она быстро поджала ноги под скамейку, покраснела и стала извиняться.

— При чем ваше извинение? — Сосед пожал плечами. — Я для вас специально удобство создавал. Вижу, человек отдыхает, — пожалуйста! Конечно, я не для каждого так сделаю.

Маше стало смешно. Она улыбнулась и взглянула на своего попутчика. Тот охотно ответил ей улыбкой. Поправил на голове низенькую каракулевую папаху и погладил ладонью массивную черную прядь волос, нависавшую на лоб.

— На курорт едешь? — уверенно спросил он.

— Да, — быстро ответила Маша.

Ей не хотелось разговаривать, и, высунув голову в окно, она сообщила:

— Вон уже горы видны...

Так далеко, что, казалось, туда и не доехать, стояли темно-синие угловатые горы.

— Горы будут, — снисходительно сказал сосед. — Первое селение в горах наше. Значит, ты там сойдешь — и ко мне домой. Барашка зарежу. Будешь у нас жить, гостить, потом дальше поедешь.

— Что вы? — изумилась Маша. — Это совершенно невозможно.

— Совершенно возможно, — спокойно ответил молодой человек. — Гостеприимство понимаешь? Мы, горцы, народ гостеприимный. Ты наш гость.

«Кто их знает, — с опаской подумала Маша, — а вдруг в этих горах еще сохранились старинные обычаи? Все же Кавказ!»

— Может быть, при других обстоятельствах, в другой раз... — Она старалась говорить очень вежливо. — Но, понимаете, меня ждут.

— Что значит — ждут? А мы разве не люди? — Горец обиженно сощурил черные живые глаза.

Маша с опаской посмотрела, не потянется ли его рука к кинжалу, но под обычным синим пиджаком, застегнутым на одну пуговку, кинжала как будто не было. Тут ей опять стало смешно. Очевидно, ее спутник понял эту улыбку по-своему. Он радостно подмигнул Маше.

Этого еще не хватало! Она резко отвернулась и снова выглянула в окно. Горы увеличились. Отчетливее проступили их грани, но дорога все так же тянулась перед машиной ровной полосой.

— Все по равнине едем, — разочарованно, ни к кому не обращаясь, сказала Маша.

— А вы не очень наблюдательны. — Человек, сидящий рядом, повернулся и посмотрел в окно. Он был в брезентовом плаще, запачканном известью, и Маша тщательно оберегала от соприкосновения с ним свое клетчатое пальто. — Разве вы не видите, что мы все время едем против течения реки? Все время на подъем. А вот уже и горы.

Он указал рукой на противоположное окно, и Маша увидела, что над автобусом возвышается каменистая гряда, поросшая кустарником. Мелкая быстрая река бежала навстречу машине, перекатываясь по камушкам.

Маше было неприятно, что ее назвали ненаблюдательной, но разговор с человеком в плаще обрывать не хотелось. Она решила спросить: «А вы тоже на курорт едете?» Но в это время с заднего сиденья поднялась одна из женщин и подошла к соседу Маши.

— Степан Ильич, — окликнула она, — ты уж Витюшку моего возьми обратно на стройку этим летом, а?

Человек в плаще полез в карман за папиросами.

— Я еще давеча в Лещинке тебя увидела. Хотела подойти, да ты известь принимал. Я Витюшке написала — езжай на каникулы прямо домой. Степан Ильич не откажет, даст подработать на зиму.

— Для себя-то вы правильно рассудили, — ответил Степан Ильич, разминая в руках папиросу, — а я студентов решил не брать. У меня в конце августа разгар работ, а их хочешь не хочешь отпускать надо.

— Ну да из-за одного моего Витюшки дело не поломается, — возразила женщина. — Пусть последний год здесь поработает. Будущее лето на практику поедет, а там, глядишь, он и сам прораб.

Она засмеялась и пошла на свое место.

«Не может быть, чтоб все это случайно, — думала Маша. — В одном автобусе, рядом. Это как будто специально для того, чтоб устроить нашу жизнь».

— Простите, вы на курорте работаете? — спросила она.

— На курорте, — ответил Степан Ильич, — круглый год на курорте.

— Знаете, — волнуясь, сказала Маша, — вот у меня есть знакомый... — Она постеснялась сказать: муж. — Он студент политехнического института. Строитель. Но он будет жить здесь и зимой. Во всяком случае, эту зиму...

Автобус сильно тряхнуло. Жалобно скрежеща, он протащился еще несколько метров и замер. Шофер вышел из кабины, спрыгнул на землю и почти тотчас вернулся обратно.

— Постоим несколько времени, — сообщил он, — советую выйти размяться.

Горец в папахе первым выскочил из машины и ждал у подножки. Он ловко подхватил Машу, приподнял ее и, осторожно поставив на землю, тотчас деловито и крепко взял под руку.

— Ты его не слушай, — зашептал он, нагнувшись к Машину уху, — ты меня слушай. Сейчас к нам приедем, гулять будем, отдыхать будем. Меня Юсуп зовут. А тебя?

— Оставьте, пожалуйста! — Маша старалась высвободить руку. — Я вас совсем не знаю.

— Ничего, узнаешь. У меня дома патефон есть. Пластинки Бейбутова слышала?

Маша страдала и не находила сил сказать что-нибудь грубое, вроде: «Отстаньте от меня!», «Убирайтесь прочь!» Ей было трудно обидеть человека и в то же время невыносимо чувствовать чужую руку у своего локтя и чужое плечо у своего плеча.

Резко дернувшись, она высвободилась и подняла руки как будто для того, чтобы поправить шарфик. В это время Степан Ильич, не торопясь, сделал несколько шагов и остановился между Машей и Юсупом.

«Он хочет за меня заступиться», — решила Маша. Ей стало жутковато и весело.

Степан Ильич стоял перед парнем, широко расставив ноги в кавказских сапогах. Он смотрел на свою папиросу, с которой кончиком ногтя осторожно сбивал пепел.

«Сейчас начнется», — подумала Маша и шагнула вперед, чтобы в случае чего помочь Степану Ильичу.

— Ты, друг, из Верхней Осетиновки? — спросил Степан Ильич. — Похоже, я тебя там в правлении видел. Так вот что, передай вашему председателю, пусть завтра приедет дранку забирать. Скажи, Рассохин велел. Прораб с курорта.

— А доски не дашь? — заинтересованно спросил Юсуп.

И Маша отошла от них подальше. Сразу стало тихо-тихо. Только острый ветерок с легким свистом пролетал мимо да кто-то одиноко стрекотал в молоденькой весенней траве.

На солнце налетали облака, и когда оно скрывалось, то делалось холодно. Над дорогой росли коренастые дубки, покрытые блестящими листиками. Автобус стоял без колеса. Возле покрышки, лежавшей на дороге, сутились люди. А над зелеными дубками, над Машей, над автобусом поднимались синие, туманные горы.

«Он меня ждет, — сама себе сказала Маша, — он целый день думает обо мне. И я еду. А все остальное пустяки и ничего не стоит».

Она тихо засмеялась и, заметив проходившего Степана Ильича, стала напевать песенку.

— Петь-то поем, а как бы потом не заплакать. — Рассохин покачал головой.

— Почему?

— Да вот задержались. И солнышко уже садится. Только к ночи доедем.

«Пусть, — решила Маша, — какая разница?» Все равно она будет там, где Андрей, она едет к нему. А задержка только продлит чудесное предвкушение счастья.

— Я очень благодарна вам, что вы меня избавили от этого пошляка, — церемонно сказала она Степану Ильичу.

— Ну, какой он пошляк, — строго оборвал Степан Ильич, — парень как парень. Молодой, веселый. А тут красивая девушка всю дорогу ему улыбается. Как он это должен понимать?

— Я ему улыбалась? Да это неправда!

— Мне на мои глаза свидетелей не надо. Сам видел.

Маша вскинула голову и гневно посмотрела на Рассохина. До сих пор у нее было только общее впечатление о нем: немолодой, небритый, загорелый.

Сейчас она увидела темное горбоносое лицо, очень голубые, почти синие глаза, круто очерченные губы. Умное, интересное лицо.

— Что вы! — убеждающе сказала она. — Я своим мыслям улыбалась. Я к мужу еду.

Она подождала секунду, надеясь, что Степан Ильич ее о чем-нибудь спросит, но он стоял, по-прежнему усмехаясь. И тогда Маша стала рассказывать ему, как заболел Андрей сначала гриппом, потом воспалением легких и долго не поправлялся. Только когда пошла горлом кровь, поняли, что болезнь запущена. И, конечно, по старым временам это было бы ужасно. Но сейчас есть такие прекрасные средства, что все может пройти бесследно. Особенно если при этом год пожить здесь, в горах. Все врачи так говорят.

Даже теперь, через много месяцев, Машенька старалась не вспоминать лицо Андрея на белых подушках, захлебывающийся звук кашля и красные пятна крови на полотенцах, которые она подкладывала ему к подбородку. И длинные, очень холодные ночи, черные дома за окном, слабое постукивание наколстых льдинок в супнике. Андрюша глотал эти льдинки, глотал противный, приторный гоголь-моголь. Что еще можно было для него сделать?

Иногда он слегка улыбался ей, и, не в силах вынести эту улыбку, Маша бежала в ванную комнату и, прислонившись лбом к холодной стене, плакала вполголоса, затыкая рот платком. На этот случай под ванной была спрятана пудреница. Пудра размазывалась по влажным щекам, оставляя полосы, и Андрей все равно знал...

Маше казалось, что после ее слов Степан Ильич все это увидел, понял и уже готов полюбить Андрея, восхищаться им.

Степан Ильич молчал, смотрел на дорогу.

— Я вам говорила, — Маша тронула его за рукав брезентового балахона, — ведь строители все время на свежем воздухе. Может быть, это ему будет полезно даже — поработать немного... Как вы думаете? А ведь иначе мы не сможем...

— Что ж, — вздохнув, громко сказал Рассохин, — ему-то, пожалуй, полезно. Только для работы как это будет — полезно или нет? Для дела? Вот ведь в чем вопрос!

Он вразвалку пошел к автобусу, потому что все уже занимали свои места. Если бы это было возможно, Маша осталась бы в лесу, пошла пешком, только бы не видеть его спокойного, безразличного лица. Не видеть этого горца. Оба они были ей одинаково неприятны.

Но Степан Ильич сидел, глубоко опустив подбородок в воротник своего негнувшегося плаща, полузакрыв глаза, а горец Юсуп пересел ближе к кабине и на первой же остановке выпрыгнул, даже не посмотрев в сторону Маши.

Она сидела подавленная, с чувством, знакомым с самого детства. когда, бывало, в разгар игры строгое замечание или окрик взрослых рассеивали все очарование выдумки и надолго возвращали в привычный мир.

И сейчас, глядя, как сгущаются сумерки в ущелье, ощущая холод, веющий от пенной реки, и горечь обиды в сердце, Маша увидела действительность такой, как она есть.

На неведомом курорте, который должен был открыться за одной из этих гор, ждал ее муж, едва оправившийся от вспышки тяжелой болезни. Что ожидало их впереди? О перспективах работы Андрей писал: «Что-нибудь подвернется». Его пренебрежение к материальным сторонам жизни всегда казалось Маше достойным восхищения, но сейчас именно эта черта его характера вызывала в ней опасение за их будущее.

Каким ясным, каким продуманным казалось это будущее, пока болезнь Андрея не перепутала планов всей жизни! А уж тогда важно было только одно — отвести от Андрея опасность.

И сейчас многие отговаривали Машу брать академический отпуск с третьего курса, да еще до весенней сессии. Но она не могла себе представить, как Андрей, едва поднявшийся с постели, будет жить где-то вдали от нее. И она не могла без него.

Чтобы подбодрить себя, Маша просунула руку под пальто и нащупала пачечку денег, подшитую к пояске лифчика. Это были ее сбережения за месяцы, которые Андрей провел в санатории. Товарищи по университету устроили Машу на работу в кабинет истории народов СССР.

Было очень удобно и не так трудно работать в своем университете, по своей специальности. Разумно ли, что она от всего этого отказалась?

А денег могло хватить на месяц. Если очень беречь, то на полтора.

Совсем стемнело. Машина въехала в туннель из густых черных деревьев. Ветки задевали за крышу автобуса, и он, будто сдерживаемый ими, продвигался медленно, сотрясаясь, переваливаясь через невидимые препятствия.

Маша была уверена, что за одним из поворотов дороги засияют огни, откроется глазам освещенная курортная станция. Почему-то казалось, что обязательно будет играть музыка.

Автобус остановился, и вокруг еще более сгустился тихий и прохладный лес.

Женщины на заднем сиденье заворочались, стали переключать мешки.

— Приехали, что ли?

— Приехали, — хмуро отозвался шофер.

— А до поселка не довезешь? — спросил Рассохин.

— Куда ж еще до поселка? До курорта не знаю сам, как дотянул. Две покрышки отказали, — раздраженно ответил шофер, выходя из кабины.

Женщины быстро выволокли мешки и уверенно ушли куда-то в темноту. Маша выглянула из автобуса. В нескольких шагах от машины маячил желтый тусклый фонарик. Может быть, это Андрей?

Маша прыгнула в сырую траву. Она чуть не крикнула: «Андрюша!..» Но человек с фонариком подошел ближе. Это был невысокий старичок в стеганой телогрейке.

— Ваши вещи под лавкой остались? — спросил шофер. — Забирайте. Я в санаторный гараж машину угоняю.

Автобус ушел. Маша осталась в лесу одна, если не считать старичка с фонарем. Он подошел ближе и остановился, не обращая на нее внимания.

— Скажите, пожалуйста, где здесь гостиница? — осведомилась Маша.

— На той стороне гостиница, — ответил старик, но не изъявил желания продолжать разговор.

Маша была рада и тому, что он не уходит.

— Значит, это пока еще не курорт?

Надо же было узнать, куда ее доставили.

— Какого еще курорта надо? — ворчливо ответил старик. — Санаторий на этой стороне, почта. Доктора кое-кто живут. Еще какого курорта...

«А приедем человеку куда деваться?» — хотела спросить Маша, но раздумала.

Над ее головой тихо шумели деревья, ноги промокли от росы. В тишине неприветливо и глухо рокотала река.

«Сяду на чемодан, укутаюсь в одеяло и просижу до утра», — решила она. Но опуститься в сырую траву было неудобно.

В конце концов что страшного? Она приехала. Где-то очень близко ждет ее Андрюша. Мысль об этом подбадривала.

— А санаторий сейчас на ремонте. Не сезон, — вдруг сказал старичок с фонарем и снова умолк.

К рокоту реки примешались посторонние звуки. Маша поняла, что это голоса людей. Казалось, говорят далеко, но очень скоро на дороге появились две тени.

— Идут, — встрепенулся старик, поднимая фонарь.

В неярком желтом свете Маша узнала Степана Ильича. Рядом с ним шла высокая женщина. В сумерках она была, как белое облако, — пышная светлая голова, пушистый белый платок на плечах. Она остановилась в сторонке, а Степан Ильич подошел к Маше и взял один из ее чемоданов.

— Ехали — песни пели, — сказал он, усмехаясь.

Старичок с фонарем подхватил портплед и быстро пошел вперед. Маша двинулась было за ним, но обернулась.

— Куда вы меня ведете? — спросила она, вглядываясь в темноту.

— Да уж куда-нибудь приведем, — ответил насмешливый женский голос.

Старичок освещал дорогу. Они шли довольно долго, свернули с шоссе на тропинку. Навстречу выплывали белые стволы березок и снова уходили во тьму. Наконец фонарик осветил каменные, позеленевшие от мха ступени, и Маша увидела темный дом.

Старик бережно положил вещи Маши на каменные плиты крыльца.

— Ну, стало быть, я пошел, — объявил он.

— Спасибо, Иван Лукич, иди сторожи, — кивнул ему прораб. Затем поднялся по лестнице, поставил чемодан у дверей и приложил руку к козырьку.

— Так и не останетесь? — спросила женщина. — Ну куда вы ночью пойдете? Оставайтесь...

— Да нет, Тосенька, пойду к себе, — ответил Степан Ильич.

— Что ж, — пожала плечами женщина, — я ведь уговаривать не умею.

— А меня уговаривать не надо.

Они беседовали, будто были совсем одни. Степан Ильич даже не потрудился познакомить Машу с этой Тосей. Он кивнул им обеим головой:

— Ну, пожелаю спокойной ночи! — и ушел.

Пока были слышны его шаги, пока хрустывали веточки под его ногами, женщина стояла на крыльце. Потом она толкнула дверь и коротко сказала:

— Пойдемте.

Маша втащила вещи в длинный коридор.

Тося вынесла из комнаты небольшую керосиновую лампу, подушку и распахнула одну из дверей.

— Света нет! — Она говорила коротко и отрывисто. — Ремонт в санатории, линию повредили.

В пустой комнате у стены стояла койка, покрытая грубым одеялом. Швырнув на нее подушку, Тося подошла к окну и, заслонив лампу рукой, долго всматривалась в темноту.

Маша села на краешек кровати. В ушах у нее шумело, все вокруг покачивалось. При свете лампы Тося казалась еще более крупной и пышной. Маша не могла понять, сколько ей может быть лет. Тося отвернулась от окна и посмотрела на свою гостью, склонив набок голову.

— Вы что ж, больная или отдыхающая? — спросила она.

— Ни то, ни другое, — сухо ответила Маша. — Приехала по своим делам.

Она решила, что больше никогда ни с кем не будет глупо откровенна.

— А с Рассохиным давно знакомы?

— Часа три.

Насмешку в ее голосе Тося не пожелала расслышать.

— Ложитесь, что же вы, — помолчав, сказала она. — Лампа-то у меня единственная, я ее унесу.

Комната была чужая, все вокруг чужое. Незнакомые запахи, незнакомые шорохи обступили Машеньку в темноте. Сон не приходил. Только иногда она забывалась и тут же, вздрагивая, открывала глаза. Мерещилось, что она куда-то опаздывает, не увидит Андрея. В одно из таких пробуждений квадрат окна из черного стал прозрачно-синим. Только тут Маша заснула без снов и видений, а когда опять открыла глаза, в комнате было светло.

Машенька вскочила с кровати. Наступал день, о котором она будет помнить всю жизнь. Входная дверь была закрыта. Маша бесшумно распахнула ее.

Розовый свет зари лежал на земле, покрытой опавшей хвоей, на ровных, уходящих высоко вверх стволах сосен, на руках и платье Машеньки. Вокруг поднимались горы, одетые в зеленый туман. Первые лучи солнца уже освещали их снежные верхушки. Очерченные солнцем пихты стояли на скалах, уходя корнями в камни. По ложбинам и ущельям среди темной хвои ярко зеленел лиственный лес, и от этого ущелья казались светлыми дорогами, ведущими ввысь.

Маша стояла на ступеньках крыльца, не трогаясь с места. Она дождалась минуты, когда солнце будто спрыгнуло в долину и у ее ног заторопились, забегали золотые блики, отсветы, пятна. По вершинам деревьев сейчас же пробежал ветерок. И Маша, которую тоже осветило солнце, сразу почувствовала его тепло.

Перед домом росли маленькие треугольные елочки и кудрявились высокие пышные папоротники. Пахло травой и лесной прелью.

От бессонной ночи у Маши кружилась голова. Окружающий мир казался слишком необычным, чтобы быть настоящим. Шум реки, трепетный крик птицы, шорох в папоротниках — все было волшебством.

И когда, осторожно раздвигая еловые ветки, из-за деревьев выглянул гномик, Машенька даже не очень удивилась. У гномика были круглые серые глазки, красный вязаный колпачок. Он посмотрел на Машу и широко улыбнулся, растягивая большой рот.

«Ведь не сплю же я? — сказала себе Маша. — И если это гномик, то их должно быть много...»

Зашевелился большой лопух, и вылез второй человечек, точно такой же, только колпачок на нем был зеленый. Он наклонил набок голову и скосил круглые глаза.

Маша присела на корточки и протянула руки маленьким людям.

— Идите ко мне, — позвала она.

И в эту минуту чудо кончилось. Среди деревьев она увидела другой дом, дорожку, по которой шла полная женщина.

— Боренька, Семочка, домой, какао кушать, какао! — звала она монотонным голосом.

Гномики быстро юркнули в заросли папоротника, но, прежде чем они исчезли, Маша поняла, что это были маленькие дети.

Женщина вышла к соснам и огляделась. Увидев Машу, она приветливо улыбнулась ей. И тут же стало понятно, что мальчики очень похожи на мать. У них были такие же круглые серые глаза и старообразные лица.

— Они там, в папоротниках, — указала Маша.

Женщина закивала головой.

— Знаете, с близнецами так трудно, — вздохнула она, будто в чем-то оправдываясь, — и главное — плохо кушают...

— Очень уж они у вас одинаковые, — улыбнулась Маша.

— Правда? — почему-то обрадовалась женщина. — Знаете, не только вы, все от них в восторге. Конечно, мне, как матери, неудобно хвалить, но все люди говорят. И такие способные дети. Все книжки наизусть знают. Только плохо кушают, очень плохо...

Скрипнула дверь. Вышла Тося, одетая в цветастый халат. Теперь Маша увидела, что она красивая, хотя сейчас лицо у нее было помятое и сонное.

Мать близнецов скрылась за деревьями.

— Боренька, Семочка, завтракать! — звала она.

— Клуша, — презрительно сказала ей вслед Тося. — Вы думаете, за день причешется? А муж — главврач.

— Ну и что? — возразила Маша. — А он, может, ее вот такую, расстреланную, и любит без памяти.

— Любит! — усмехнулась Тося. — Где это вы видели, чтоб жен любили? Лишь начинается семейная жизнь — стирка, обед варить да деньги считать, — так и любви конец.

«У тебя, может, и конец, — недоброжелательно подумала Маша, — а у меня не конец».

— Вы мне не скажете, как дойти до гостиницы? — сухо спросила она. — И можно попросить, чтобы мои вещи пока лежали у вас? Потом их заберет мой муж.

Дорога, проложенная в лесу, сперва привела к широкой зеленой поляне. Отсюда открывалось глазам все ущелье, разделенное рекой, и цепь ледников, врезанная в синее небо.

Воды kloкочущей реки хранили зеленовато-синий цвет льда. Маша недолго постояла на мосту, окутанная пронзительной свежестью. Сразу за мостом начинался поселок — белые небольшие дома под гигантскими соснами.

Никого не спрашивая, будто она век тут жила, вошла Машенька в полутемный коридор двухэтажной гостиницы, стоявшей на краю леса.

Ее встретила невысокая, очень стройная старушка. Маша ничего не успела ей объяснить. Старушка сказала:

— Ага, приехали... А он за вами пошел.

— Как он выглядит? — спросила Маша, не поняв несурзанности вопроса.

Но старушка не удивилась.

— Выглядит по здоровью, — сказала она, — а здоровья-то нет... Ну и вот. А вы идите. Ключ у меня.

Комната была маленькая, полутемная от высоких елей, закрывающих окно мохнатыми лапами. Большой букет ландышей стоял на столе.

— Ваш хозяин вчера по лесу собирал, — пояснила старушка.

Постепенно Маша стала узнавать вещи Андрея — маленькие дорожные шахматы, чашку с голубыми цветочками, серый шерстяной свитер, перекинутый через спинку кровати.

— Может, чаю вскипятить? — предложила старушка.

Маша покачала головой — не надо.

— Ну, пока отдыхайте. Он скоро воротится. Если что — крикните в коридор Дарью Ивановну. Я услышу.

Маша подошла к столу, тронула ландыши, подержала в руках чашку. Больше никуда не надо торопиться, больше ничего не надо искать. Она взяла в руки свитер и прижала его к лицу. Отрадно было свернуться в клубок на кровати и ждать, напряженно прислушиваясь ко всякому шороху. Каждая минута этого ожидания была драгоценна. И Маша не понимала потом, как она могла уснуть!

Андрей позвал ее шепотом:

— Маша, Машенька... Машенька моя...

Она открыла глаза и увидела над собой его лицо, дрожащие от волнения губы, светлые пряди волос, упавшие на лоб, и не улыбающиеся, строгие глаза.

Маша протянула руки, чтобы тронуть его и понять, что это уже не сон. Ее рука коснулась плеча Андрея, и она ощутила, как гулко, отчаянными толчками бьется его сердце.

2

Каждый день был праздником. Просыпаясь, Маша сразу вспоминала, что Андрей рядом. Она лежала, не шевелясь, и рассматривала большой лоб, глубоко запавшие глаза, подбородок с ямочкой.

«Это мой муж, вот он какой», — повторяла Машенька про себя с гордостью, потому что все в этом лице казалось ей красивым.

Она любила поймать миг, когда Андрей открывал глаза и улыбался ей.

— Спи, миленький, — говорила Маша, — спи, пока я тебе приготовлю завтрак.

В гостинице постояльцев почти не было.

— Не сезон. Через месяц наедут курортники — хоть коридор койками заставляй. А сейчас вон один землемер с подручным живет да вы. Не сезон, — поясняла Дарья Ивановна.

Землемер был старичок, а его помощник — мальчишка. Однако Машенька, прежде чем выйти из комнаты, наклоняла голову перед зеркалом на один бок, на другой, взмахивала гребенкой по волосам, не расчесывая, а придавая завитушкам нужное направление. Потом накидывала голубой ситцевый халатик. Она с удовольствием рассматривала бы себя по частям в маленьком зеркале, которое не могло вместить всю Машеньку сразу, но не было времени. Дарья Ивановна с первого дня установила строгий порядок.

— Печку топлю утром с восьми до девяти. Кто проспит — на меня не гневайтесь. Дров подкладывать не буду.

Кухня с обмазанной и выбеленной печкой помещалась рядом с комнатой Дарьи Ивановны. В комнату Машеньку не пускали, но в открытую дверь она видела яркий, будто только что появившийся на свет, коврик над кроватью и замысловатые часы в виде домика на столе.

Эта комната и маленькие чугунные горшки, в которых Дарья Ивановна варила себе обед, и холщовые мешочки, из которых она отсыпала крупу и соль, были какие-то особенные, очень аккуратные и недоступные.

У Маши кастрюльки покрывались сажей. Манка, рис и сахарный песок сыпались в прорехи растрепанных кульков, и с этим ничего нельзя было поделаться.

По утрам Дарья Ивановна, сидя на скамеечке, подкладывала в печку щепочки и сучья, а Машенька варила Андрею манную кашу. В этот час она разговаривала с Дарьей Ивановной рассудительно, не своими, а будто подслушанными словами. Маше казалось, что именно такая солидная, заботливая женщина должна вызвать симпатию и одобрение старушки.

— Для моего мужа самое главное — питание. Ах, он так плохо ест! Доктор мне прямо сказал: процесс приостановлен, теперь необходимо поддерживать организм. Я вот сейчас кашу сварю, туда масла сливочного кусок, два желтка...

Машенька была довольна собой, у нее это выходило недурно. Но Дарья Ивановна молча смотрела на печку и отвечала обычно коротко:

— Можно и таким манером...

Маше никак не удавалось вызвать ее на разговор.

— Вы были замужем, Дарья Ивановна?

— Ага.

— И дети у вас были?

— Были.

— А где они сейчас?

— Нету.

— Умерли?

— Ага. Ну как, вы чайник надумали ставить? А то ведь печка у меня прогорает.

— Ты подумай только! — говорила Машенька Андрею. — Так спокойно вспоминать своих умерших детей! Что это, черствое сердце? Как ты думаешь?

— Да с тех пор сорок лет прошло...

— Все равно, я этого не понимаю!

Они завтракали на узкой терраске, огибающей второй этаж гостиницы. После завтрака Маша забирала коврик, подушку и уводила Андрея в парк под сосны — дышать целебным воздухом.

В парке стояли ровные, как колонны, сосны. Мягко пружинила под ногами земля, усыпанная иглами. В солнечный день от стволов, от хвои густо и душисто пахло смолой. Маше казалось, что при каждом вздохе в грудь Андрею вливается лекарство.

— Дыши глубже, — приказывала она.

Чаще всего они усаживались на обрыве над рекой. Отсюда была видна вся долина, замкнутая горами и обрезанная цепью белоголовых вершин.

Маша, обуреваемая хозяйственным рвением, в надежде завоевать расположение Дарьи Ивановны, собирала для печки шишки, сучки и раскапывала в хвое небольшие, тяжелые чурочки, которые назывались смоляками и высоко ценились как растопка. Когда это занятие ей надоело, она ложилась рядом с Андреем и, глядя в голубое небо, спрашивала:

— Вот интересно, променял бы ты меня на кандидатское звание и кругосветное путешествие, скажи?

— Променял бы, — сонно отвечал Андрей.

— Нет, ты серьезно!

Андрей притягивал ее к себе за крутой завиток и целовал большие карие глаза, которые медленно закрывались под его губами.

— Машенька, ты мой дурачок!

— Ладно, — удовлетворенно говорила Маша, — я, собственно, насчет этого не беспокоюсь. И звание и путешествие все равно у нас будут. А знаешь, что у нас еще будет? Такая низкая тахта, мягкая, мягкая. И около нее лампа на одной ножке. Торшер, что ли, она называется?

Рядом непрерывно и монотонно рокотала река. Ветер бесшумно раскачивал сосны, стволы двигались назад и вперед. Машенька смотрела на пушистые кисточки сосновых ветвей и удовлетворенно думала, что она очень хорошая жена Андрею, что ей, такой способной, не жалко было бросить университет, город, привычную жизнь. И ничего ей не надо — только бы он ее любил, одну на всю жизнь.

Обедали они в столовой-закусочной, где кухарка готовила простые, похожие на домашние кушанья. Маша приносила с собой в столовую ба-

ночку масла и с непреклонным видом добавляла его в суп Андрея, и в голубцы, и в пюре.

Перед вечером они уходили гулять в просторное, широкое ущелье, больше других открытое солнцу.

— Ты, историк, смотри — здесь определенно были древние поселения, — говорил Маше Андрей. — Видишь, какие ровные навалы камней и сколько одичавших фруктовых деревьев... Разве тебе это не интересно?

А Машенька смотрела на камни, покрытые голубым лишайником и нагроможденные друг на друга. Смотрела на ветви диких яблонь, усыпанные зеленой завязью, на кусты шиповника, похожие на бело-розовые букеты.

— Ничего никогда не было, — говорила она, — никого не было, кроме нас. Никто никого не мог любить больше, чем я люблю тебя. Хочешь, я потанцую тебе?

Она усаживала Андрея под деревом и начинала кружиться по полянке под мелодию, которая тут же рождалась у нее в голове. И у ног Машеньки расступались согретые солнцем, пахнущие медом цветы и травы.

Из поселка тянуло дымком и теплым парным молоком. Андрей терпеть не мог парного молока, но каждый вечер выпивал пол-литра во дворе беленького домика, напротив гостиницы. «Стой, Московка, тпру!» — уговаривала хозяйка корову. Пока Андрей пил молоко, Маша стояла у забора и смотрела, как на светлом небе появляются звезды.

Беспокойство о том, что же будет дальше, подкрадывалось в самые счастливые минуты. Они оба отгоняли его, как люди прогоняют мысль о смерти.

В первый день Андрей сказал, что ему обещают работу, но человек, от которого это зависит, не то заболел, не то уехал. Маша больше ничего не спрашивала. Она знала, что ей нельзя выражать беспокойство об их будущей жизни и нельзя высказывать недовольство судьбой.

Андрей мог вспоминать:

— А сейчас наши ребята готовятся к последней практике. Уже, верно, и темы дипломные обдумывают.

Он мог позволить себе быть в дурном настроении:

— Два года потеряно! И сиди на курортном положении, как таракан в щели...

Маше нельзя было ни вспоминать, ни жаловаться. Она предлагала:

— Давай в подкидного дурака поиграем! Или в морской бой. Только на что-нибудь.

Проигравший должен был мыть посуду после завтрака, ходить за хлебом или выполнять какое-нибудь желание.

Маше никогда ничего не удавалось выиграть. Андрей играл лучше да к тому же еще и жульничал.

Главный врач санатория Вениамин Борисович Вайнтрауб каждую неделю выслушивал Андрея. Санаторий еще не открылся, и доктор принимал больных у себя дома. Машенька и Андрей обычно ловили его где-нибудь около главного корпуса или возле застекленного павильона столовой. Доктор кричал, и его круглая голова наливалась кровью, как помидор.

— Я через десять дней должен открыться! Мне наплевать, что Рассохин лежит. Я, между прочим, сам его уложил. А если он завтра умрет, тогда как? Санаторий закроем? Где рамы? Что вы мне паркет в нос тычете? Без паркета я больных приму, а без оконных рам вы их примете...

Гонорара доктор Вайнтрауб с пациентов не брал. А принимая больного, он, конечно, делал одолжение. Андрей с Машенькой понимали это. Они скромно стояли в сторонке и ждали, когда доктор их заметит.

Накричавшись, он воинственно пробежал мимо них, и полы его белого халата отлетали назад.

— Вы ко мне? — спрашивал он, на секунду приостановившись. — Попрошу домой.

Берта Семеновна, жена доктора, встречала Машу, как знакомую.

— Здравствуйте, — говорила она, глядя на Машеньку круглыми добрыми глазами, — садитесь, пожалуйста.

Но, прежде чем сесть, Машенька тщательно осматривала стул. Однажды она уже села на блюде с водой, в котором вторые сутки мокла блоха. Близнецы утверждали, что блоха, пролежав в воде три дня, снова оживает. Они с горестными воплями ползали по полу, отыскивая блоху, тербели Машину измокшую юбку, а Берта Семеновна улыбалась.

— Такие наблюдательные дети, такие исследователи...

Доктор пробежал через застекленную веранду в комнату.

— Берта, можно тебя на минутку? — звал он жену.

Берта Семеновна не закрывала дверей в комнату, и Машенька с Андреем видели, как доктор молча протянутым пальцем указывал на детскую шапочку, валявшуюся на полу, на чашку с недопитым молоком на столе.

Когда все было прибрано, в комнату входил Андрей. Маша больше не слышала слов Берты Семеновны. Она смотрела на лицо доктора. Оттопырив нижнюю губу, он привычным движением всовывал в уши металлические концы своего аппарата. Андрей стоял перед ним, обнаженный до пояса, беспомощный и покорный.

Совсем юной девушкой Маша представляла себе своего будущего мужа крепким и сильным, как герои Джека Лондона, уверенным в себе и гордым, как граф Монте-Кристо.

Теперь она знает, что сила только в стойкости духа. А ее муж был таким стойким! Он умел улыбаться, когда ему грозила смерть. Каждую неделю он идет сюда, не зная, что ему скажет доктор.

Как хорошо, что у Андрея такие широкие плечи! Он чудесно сложен, только как ни старайся, чем ни корми, а ребра все равно видны.

«Пусть все будет хорошо!» — требовала Машенька.

Она смотрела на доктора. Что-то слишком он сосредоточен, задумчив...

— Дышите... Не дышите... Еще...

Почему он нахмурил брови? Вот вытащил из ушей бляшки и приложил к груди Андрея голое ухо. Хорошо это или плохо?

Ухо перелезло на другое место. Вот он положил на спину Андрея два пальца одной руки и бьет по ним указательным пальцем другой. А это к чему? Хорошо ли? Как узнать?

— Ну что ж, пока все идет нормально, — говорит доктор.

Маше этого было мало. Она хотела спросить: «А почему вы поморщились? Что вы там слышали? Когда он будет совсем здоров?»

Она вспомнила, что доктора не говорят больным правды в глаза. Нарочно забыла на столе сумочку и примчалась за ней, оставив Андрея в санаторном парке.

Доктор, без халата, в сиреневой майке и парусиновых брюках, открывал бутылку боржома.

— Доктор, — умоляюще попросила Маша, — скажите мне правду, всю правду, я умею держать себя в руках...

Ей очень хотелось слов утешения, но доктор Вайнтрауб сказал:

— От легочных больных мы, как правило, ничего не скрываем. От сердечников — да, скрываем. А легочный больной должен знать свое состояние. Он сам должен себе помочь.

Берта Семеновна проводила Машу на крыльцо.

— Не надо так волноваться. Ваш супруг обязательно поправится, — утешала она Машу. — Это же молодой организм. Главное — питайте. Знаете, есть такой хороший рецепт: яйца, масло, какао и мед — все смешать,

и по столовой ложке. Я своим детям так делала. Главное, поддержите организм питанием.

Это Маша знала и сама. Знала она также, что ни на какое питание у них скоро не будет денег.

Родные не могли им помочь. Отец Андрея получал пенсию. Овдовев очень рано, он вырастил сына и женился вторично на вздорной молодой женщине. Жил он в Казани, и Андрей, чтобы не расстраивать старика, даже не писал ему подробно о своей болезни. Маша рано лишилась родителей и росла в доме старшей сестры. Семья была большая, и, кроме того, сестра очень не хотела, чтобы Маша уезжала.

— От ученья оторвешься, работу бросишь, а чем ты ему там поможешь? Еще и сама заболешь,— убеждала она.

Но Маша решила по-своему.

Все бы ничего, но Андрей совершенно не умел обращаться с деньгами. Маша теперь раскаивалась, что все деньги положила на его сберегательную книжку.

Андрей вдруг приносил из магазина дорогие шоколадные конфеты, совершенно обесцвеченные временем, потом купил шелковую косынку с узором из коричневых цветов и синих листьев.

— Я думал, это подойдет к твоим глазам.

Маша сказала: «Спасибо, дорогой!», но пришла в отчаяние.

А вот по воскресеньям, когда бывал большой базар, где масло, яйца, мясо закупались на неделю, Андрей забывал вовремя снять с книжки деньги, и Маше приходилось напоминать ему об этом.

В это воскресенье она три раза сказала: «Андрюша, сегодня базар!»

Он промолчал и куда-то исчез. Может быть, он пошел прямо на рынок?

Маша взяла кошелку и побежала на опушку леса. Здесь, на вытоптанной площадке, стояли длинные деревянные столы на тонких березовых ножках. В воскресные дни приезжали колхозники с продуктами. Санаторий, имеющий большое подсобное хозяйство, торговал овощами. Маша любила базарные дни, но ходить по рынку без денег было очень обидно.

Как назло, масло подешевело, первый раз в году продавали свежие огурцы, какой-то колхоз привез кадку меда.

Когда народ стал расходиться, Маша вернулась домой.

В палисаднике перед гостиницей Дарья Ивановна спорила с соседкой. Разговор шел об огромном рыже-зеленом петухе, которого Дарья Ивановна подобрала где-то цыпленком, выкормила и считала своим. А соседка утверждала, что петух принадлежит ей.

— Если он ваш, то скажите, где он ночует? — ехидно допрашивала она.— Вот скажите, где ночует?

— А где хочет, там и ночует, я в это не вникаю,— с достоинством отвечала Дарья Ивановна.

Петух будто понимал, что речь идет о нем. Он стоял перед гостиницей, хлопал крыльями и гордо вертел головой.

Соседка ушла ни с чем.

— Вы не видели Андрея Петровича? — спросила Маша.

Дарья Ивановна посмотрела на пустую кошелку.

— Видела. В клубе он. В шашки играет.

— В шахматы, наверное?

— А не все едино?

В комнате Маша зашвырнула кошелку в угол и села к столу. Конечно, можно было сбежать за Андреем, но Маша обиделась. К тому же все равно рынок уже кончился.

«Никуда не пойду, — решила она, — какая безответственность! Сидит, передвигает по доске деревяшки и забыл все мои просьбы! Тысячу раз

говорила, как мне трудно, если я не сделаю запасов в воскресенье. Ну, где теперь достать картошку или яйца? Придется бегать по дворам и покупать гораздо дороже. И масла на доньшке осталось. Это просто невнимание ко мне».

И, как всегда бывает в минуту горечи, пришло на ум все самое грустное: и деньги кончаются, и работы не предвидится, и неизвестно, что и как со здоровьем...

Перед Машей лежала книга. Привалившись к столу, подперев кулаком щеку, она проглядывала страницы глазами и злилась на то, что читала.

— «Искушение святого Антония»... Подумаешь, искушали жабами да чудищами... А не дай ему денек-другой есть да покажи булку с колбасой... Это было бы искушение!

Солнце заглянуло в комнату. По всем признакам приближался час обеда. Андрея все не было.

Отрывисто постучав, вошла Дарья Ивановна. Она принесла на тарелке огромную петушиную ногу с бедрышком. Нога была сырая, с желтой жировой прослойкой и нежно-розовым мясом.

— Мой петух я и зарубила,— победно сказала Дарья Ивановна,— а это вам. Сейчас печку топить буду. Варите суп.

Суп, по совету Дарьи Ивановны приправленный рисом, укропом и зеленым луком, доваривался — «настаивался» — на краешке плиты.

Маша ходила взад и вперед по своему номеру. Не то чтобы у нее была потребность в движении, но когда человек волнуется, то он «мерит шагами комнату». Особенно волноваться, правда, не приходилось. Андрей сидел все в том же клубе — читал газеты. Его видела Дарья Ивановна. Легкая на ногу, она постоянно бегала по каким-то своим делам и все знала.

«Может быть, ему нравится библиотечка? — растревляла себя Машенька.— Он сказал, у этой девушки милое, простое лицо. Наверное, любитесь и забыл все на свете».

Маша знала, что это неправда, но ей нравилось так думать. При таких обстоятельствах уже невозможно было перебежать улицу, войти в дощатый сарай, именуемый клубом, и спросить у Андрея: «Родной мой, что случилось? Почему ты сидишь здесь с самого утра?»

Она остановилась у окна и стала смотреть на желтую, ярко освещенную солнцем дорогу. Дорога вела к гостинице, разветвлялась и поднималась в горку к домам поселка. В этот полуденный час все сидели дома. Мимо прошла только Анна Павловна.

Маша давно приметила эту женщину. Андрей тогда пояснил: это медицинская сестра нашего санатория.

Дарья Ивановна сказала:

— Анна Павловна? Это человек известный.

— Чем известный? — допытывалась Маша.

— Всем известный. Все знают, где она живет, где работает.

Андрей всегда здоровался с Анной Павловной. Здоровалась и Маша. И сейчас Анна Павловна взглянула на распахнутое окно, и Маша, сделав ясные глаза, широко улыбнулась.

«Вот как я умею притворяться,— подумала она.— Вероятно, Анна Павловна сейчас скажет: «Счастливая женщина, эта Машенька».

Дверь раскрылась, вошел Андрей. Он постоял у порога и молча лег на кровать, заложив руки за голову.

«Молчишь? И я буду молчать»,— решила Маша. Она притянула к себе книгу и стала смотреть на строчки.

Это было похоже на ссору, хотя Маша ни в чем не чувствовала себя виноватой. По опыту она знала, что не хватит выдержки перемолчать Андрея. Спросила голосом, дрогнувшим и слегка охрипшим от волнения:

— Может быть, ты все-таки объяснишь, в чем дело?

— А что? — нехотя отозвался Андрей.

— Значит, ничего? Все нормально? Все как надо?

Маша готова была заплакать.

— Знаешь, Маша,— сказал Андрей,— мне казалось, что я имею основания ждать от тебя больше, ну, чуткости, что ли...

— Чуткости? — переспросила Машенька. — «Может быть, он меня разлюбил?» — подумала она.

— Или такта. Не знаю. Неужели ты не могла догадаться?..

«Что он сейчас скажет?» — терзалась Машенька.

Андрей замолчал.

— Я не хочу догадываться, — закричала она, рыдая, — я не буду догадываться...

— Да... — сказал Андрей с тем же неприступным лицом, — ты меня не очень щадишь. Ну, я скажу. Денег у нас больше нет.

Маша спросила:

— Каких денег?

— Никаких денег на книжке нет.

Ей снова захотелось плакать, но уже совсем другими слезами.

— Как нет? Там еще должны быть.

— Что ж, — холодно отрезал Андрей, — могу дать тебе подробный отчет.

— Там еще должны быть! Двести пятьдесят рублей.

— Двести, — уточнил Андрей, — и я их отдал одному парню. Какие-то сволочи в санатории обыграли его в очко, и ему не на что было уехать домой. Я ему отдал эти деньги. Теперь ты получила полный отчет.

Маша сидела подавленная и притихшая.

Эти двести рублей казались ей надежным барьером, предохранявшим их судьбу от случайностей. Пока деньги еще имелись, можно было жить, пусть короткое время, прежней счастливой жизнью. Ведь до сих пор ни Андрей, ни сама Машенька не прилагали никаких серьезных усилий, чтобы получить работу. За это время можно было походить, поискать. И так легко отдать эти деньги, последние деньги, которые Маша копила, откалывая себе в паре чулок! Отдать какому-то неизвестному растяпе!

— Что ж, кроме тебя, ему никто не мог помочь? — спросила она отчужденно и неприязненно.

— Очевидно, нет, — коротко ответил Андрей.

— Значит, ты самый богатый был? — не унималась Машенька.

Андрей резко встал с кровати.

— Мне это надоело. И я тебе вот что хотел сказать. Совершенно независимо от этих денег. Я в тебе вообще замечаю какие-то неприятные мне наклонности. Имей в виду — той жизни, о которой ты мечтаешь, вообще не будет. Мне эти обывательские идеалы не подходят. Советую тебе это обдумать.

— Какие идеалы? — задыхаясь, спросила Машенька.

— Всякие лампы на одной ножке, — брезгливо сказал Андрей. — Не будет этого!

Он порывисто вышел из комнаты. Было слышно, как хлопнула внизу входная дверь. Машенька сидела и, часто моргая, старалась вогнать обратно наплывающие слезы. Когда слезы все же перелились и потекли по щекам, она вскочила со стула и бросилась на колени перед кроватью, уткнувшись лицом в подушку.

— Идеалы... — тихонько причитала она сквозь рыдания. — Какие же у меня идеалы... Только был бы здоров, поставить на ноги, вот и все идеалы... Если б я была, как другие, если бы я хотела жить, как Рита...

Машенькина подруга Рита вышла замуж за сына академика. Разве Маша позавидовала шубке из канадской цигейки или туфелькам на то-

неньких, как кривые гвоздики, каблуках? Единственное, что она позволила себе похвалить в доме подружки, была эта лампа на одной ножке. За что же, за что? Или эти деньги. Что, они разве ей одной нужны? Она только об Андрее думала. Она сама может не есть хоть пять дней подряд, и ей ничего не будет. А ему надо через каждые три часа питаться.

И тут, вспомнив, что Андрей сегодня не завтракал и не обедал, Маша зарыдала еще отчаяннее, а потом сразу умолкла.

Она быстренько вскочила, вымыла лицо холодной водой, причесалась и, секунду подумав, переменяла платье, накинув на себя свое любимое — кораллового цвета.

Ведь если вдуматься, то, конечно, она обидела Андрея. Стыдно вспомнить, как она его допрашивала: «Где деньги, куда делись деньги?» Будто намекала, что не он их заработал. Гадость какая! Конечно, Андрюша имел право сделать с ними, что хотел, хоть бы их там и тысяча была!

Маша бежала лесной дорожкой. Она знала, где найти мужа. И точно. Он сидел на их любимом месте, над обрывом, прислонившись к розовому стволу сосны. Закатное солнце освещало его лицо, оно было грустным, прядь волос отделилась и упала на лоб. Маша тихо опустилась на траву рядом с ним.

Андрей не двигался и смотрел на блестящую речку, на лес, на озаренные снега. Он только нашел рукой Машенькину руку, поднес ее к своему лицу и стал целовать — не так, как обычно целуют женщинам руки, а каждый палец, и ладонь, и запястье.

— А я боялся, что ты не придешь, а я тебя ждал, я тебя очень ждал...

«Больше мне ничего и не надо», — думала Машенька, глубоко и прерывисто вздыхая. Так они сидели, пока не зашло солнце.

На обратном пути Маша очень оживленно ругала Ритиного мужа. Андрей этого Леонида совершенно не знал, не очень интересовался его существованием, но сейчас охотно поддакивал Маше.

— Знаешь, Леонид в общем ничего. Даже интересный, хотя не в моем вкусе. Немного женственный. Рита говорит — томный. Она его берет с собой к портнихе. Он все понимает, указывает — здесь подшить, здесь отпустить...

— Ну и шел бы в ателье работать...

— Что ты! Папа — академик. Леонид каждую минуту: «Мой старик сказал», «Мой старик считает»... Это про своего отца. Рита меня спрашивает: «Ну, как тебе Леонид?» Я ей только одно сказала: «Маловато чувства юмора», а она говорит: «Ну, без этого прожить можно».

Почти у дома они встретили Анну Павловну. Поравнявшись с ними, она остановилась.

— Что ж это вы, Андрей Петрович, не хотите меня с женой познакомиться?

— А я вас уже знаю, — весело сказала Маша, — вы человек известный, как говорит Дарья Ивановна.

— Все мы тут известные, — подтвердила Анна Павловна. — Вот и мне известно, что днем вы были грустная, а сейчас веселая.

— Разве? — протянула Маша, но больше не нашла, что сказать.

Ее выручила внезапно появившаяся Тося. Она подошла — большая и красивая — в малиновом шелковом платье, с большими серьгами. Быстро взглядев Андрея, слегка кивнув Машеньке, Тося остановилась и сказала Анне Павловне громко и раздраженно:

— Нет, вы видели такого психа ненормального? Не пустил!

— Вы же знаете Степана Ильича, Тонечка. — Анна Павловна пожала плечами.

На щеках Тоси горели красные пятна.

— Что значит — знаю! За три недели один раз пришла проведать — и не пустил! Через закрытую дверь разговаривает. Монашка там эта у него хозяйничает. Не иначе они человека вместе убили.

— С Дарьей Ивановной они старые друзья. Но как вы не хотите его понять? Именно вам он не может показаться немощным, больным, в постели...

— Ах, оставьте, Анна Павловна! Уж сказала бы я, да не хочется. А вы всегда под все теорию подводите. Просто характер такой самодурный. Нет, вы подумайте! Как девчонку, заставил под дверью стоять!

Она с досадой махнула рукой и пошла по улице, высоко подняв светлую пышную голову. Анна Павловна, чуть улыбаясь, смотрела ей вслед.

— Скажите, скоро Рассохин встанет? — вдруг неожиданно спросил Андрей.

— Встанет на днях, — ответила Анна Павловна. — Очень тяжелое обострение было. Думали, не вытянет. Как съездит вниз, в город, — так болен.

— Какой это Рассохин? — спросила Машенька у Андрея, после того как Анна Павловна ушла.

— Прораб курорта. Он может дать мне работу, — пояснил Андрей.

Машенька вспомнила слова Степана Ильича: «А для дела как? Полезно это будет для дела?» Рухнул еще один карточный домик их надежды. Но сейчас в сердце у нее был такой могучий источник энергии, силы, любви, что она сказала:

— Ты не думай. Все будет хорошо. Вот увидишь.

Андрей засмеялся.

— А пока что нам уже с сегодняшнего дня подтягивать пояса? — бодро спросил он.

— Что ты! У нас есть чудесный суп из петушиной ноги! — торжествующе объявила Машенька.

3

Солнце, тишина, и только вдруг монотонное жужжание — тоненькое, противное.

Пока его слышишь — еще ничего. Но только оно затихло, тут немедля ищи, куда сел подлый комар. И так все руки по локоть в красных волдырях.

Но комары еще ничего. Есть такая гнусность — овод. Он неслышно опускается на плечи, на шею — и жалит. Хорошо, если удастся шлепком сбросить его на траву, а сядет на спину, между лопатками, просто хоть платье с себя сдирай. Один раз Маша чуть ягоды не рассыпала.

А собирать землянику все-таки приятно. На открытых местах, у каменных россыпей, она расстелена невысоким, красноватым ковриком. Тяжелые, прижаренные солнцем ягоды лежат почти на земле. Они круглые и очень сладкие. Иной раз попадается почти коричневая — так бы и съесть! Но Машенька ест только те, которые от спелости раздавливаются в руках. Остальные — в кастрюлю.

Среди травы, у спадающего с ледниковых высот водопада, — земляника крупная, алая, на высокой ножке. Куда ни помотришь — и тут краснеет и там. Переползаешь за ней незаметно все выше и выше, а потом на минутку распрямисься, оглянись и видишь, что стоишь высоко над всей долиной. Внизу, разветвленная на несколько рукавов, в белых каменных россыпях река, светлые пятна — березовые рощи, темные купы — сосновые леса. И домики — маленькие, аккуратные, как на макете.

А рядом пролетает облитая солнцем белая бабочка, садится на большой лиловый колокольчик и медленно распахивает и складывает крылья. Здесь свой мир, неторопливый, насыщенный запахами земляники и цветов, звучащий стрекотом кузнечиков и жужжанием шмелей.

Но долго отдыхать не приходится.

— Землянику собирать — не малину рвать. Каждой яголке в ножки поклонисься, — предупредила Дарья Ивановна.

Эта старушка не была склонна ни успокаивать, ни улучшать настроение собеседника ласковым, утешительным разговором.

Когда Машенька спросила ее: «А вы, Дарья Ивановна, оказывается, были монашкой?», та вскинулась и сразу сделалась похожа на зверька, который приготовился защищаться.

— Ну и что? Не та ж голова, два глаза, не те ж руки? — с вызовом спросила она.

Маша виновато залепетала, что вовсе не хотела обидеть; конечно, монахини такие же люди, как и все, и ничего особенного...

Старушка походила по кухне, поглядывая, как Маша чистит кастрюльку из-под куриного супа.

— Опять вы меня сегодня оскорбили, — заявила она, — закопченной миской воду из бочки зачерпнули. Сажка так поверху кусками и плавает.

— Я свежей наношу, — покорно согласилась Маша.

Дарья Ивановна примостилась подбелить печку. Маша теперь с особым интересом следила за каждым ее движением. С монашкой она встречалась впервые в жизни. Но расспрашивать Дарью Ивановну было невозможно. Старуха заговорила сама:

— И куда ни пойду, что ни сделаю, каждый в тебя пальцем — монашка, монашка. За свое горе, да еще от людей наплачешься.

Она гневно шлепала мочальной кистью по печке.

— А отчего вы пошли в монастырь, от несчастной любви? — не утерпела Маша.

— От несчастного случая, вот отчего... Да и не пошла — отдали.

Кисть все так же сердито танцевала по стенке.

— Кто меня спрашивал? Обещанная я. Через пожар. Отец только новую избу срубил, как вдруг на селе пожар. Он и обещал: какой ребенок будет — в монастырь отдам. Изба-то на пригорке стояла, ну и обошлось. А тут я на свет заявилась. И отдали.

— Совсем маленькую? — ужаснулась Маша.

— Ну, маленькие там не больно нужны. Как немного в ум вошла — что-нибудь работать стала, так и отдали. Сперва гусей монастырских пасла. И, скажите, с тех пор я эту птицу никак не уважаю. Потом в кельи взяли. В кельях никакой разговор не допускался, особенно девчонкам. Только «господи спаси» да «господи помилуй». Других слов и не услышишь.

— Так вы и жили в келье?

— В кельях-то я не удержалась. Там служить надо тихо, поклонно, а я озорничала. Мать Анфимья сварила кисель да поставила на окно остывать. А я рукой стронула — корочка от киселя отстала. Я ее живым манером в рот. А сама испугалась, стою над киселем, поклоны бью: «Господи, господи, натяни на кисель корочку, господи, натяни на кисель корочку!» А мать Анфимья за дверью стоит, это дело наблюдает. Ну, конечно, меня за шкирку из келий долой.

— Куда долой?

— Ну, куда? На работы. Монастырь огромный был. Земельных угодий, садов, бахчей — невидимо. Целое лето в степи в балаганах жили.

Этот рассказ никак не вязался с Машиними представлениями о монашеской жизни.

— А зимой? — спросила она.

— И на зиму хватало. Лед с реки возили, погреба набивали. Лес рубили, дрова пилили. Которые рукодельничать умели — бисером или шелком, тех вовсе с четырех часов утра на работу ставили. Ну, конечно, за кого взносы шли, тому полегче было.

Дарья Ивановна кончила подбеливать и помыла у рукомойника широкие потрескавшиеся руки.

— Что же это,— сказала Маша,— значит, всю жизнь ни любви, ни мужа, ни детей — ничего не было?

— Если сказать правду, так что-то и было.— Дарья Ивановна тряпочкой вытирала руки.— Вроде бы сонное видение. А чтоб для устройства жизни — не было. Какая жизнь, посудите, — черные от работы делались, кость об кость стучала. Только и утешались, что замолили под старость теплый угол да кусок. А когда смотришь — вот тебе и нет ничего. Да еще всяк тебя норовит уязвить: «монашка». Я это не терплю.

Человеку трудно начать говорить о чем-нибудь сокровенном, но, начав, хочется выговорить все до конца. Поэтому не успела Маша войти к себе, как Дарья Ивановна отрывисто постучала в дверь.

На этот раз Машу пригласили «почаевать». В крохотной чистенькой комнате настольные часы, заведенные в честь гостыи, мелодично протреникали наивный старинный вальс. Картинки с видом лазурного моря и зеленого острова изображали монастырь на Новом Афоне. Коврик, блиставший яркостью красок, был подарен Дарье Ивановне подругой, в свое время побывавшей в Иерусалиме.

— У черного араба приобретен,— сообщила старушка.

Каждую вещь она трогала бережно, с сознанием ее высокой ценности, и Машенька поняла, что бисерная туфелька, играющие часы и высохший мандарин с гремящими внутри косточками — единственные памятки одинокой и трудной жизни.

Маша хвалила комнату, каждую вещицу, пила чай, настоящий на шиповнике, и томилась желанием поделиться с Дарьей Ивановной своими заботами.

Выпив два стаканчика, Дарья Ивановна удовлетворенно вздохнула, развязала белую головную косынку, провела крупным гребнем по реденьким волосам и спросила:

— Ну, что ж будем делать-то?

Может быть, вопрос и не относился прямо к Маше, но она откликнулась на него всем сердцем.

— Работу мне надо искать, Дарья Ивановна, да поскорее.

Старушка быстренько взглянула на Машу и, снова опустив глаза, стала расправлять косынку.

— Чего ж ее искать? Человек молодой, никаких концов-хвостов нет. В нынешнее время работа таких ищет.

— Да ведь куда пойти?

Дарья Ивановна ответила не сразу.

— Учительницей разве? — спросила она и тут же отвергла: — Так ведь сейчас лето. Вот в клубе зимой как человека в библиотеку искали!

— Я пошла бы,— откликнулась Машенька.

— На живое место не больно пойдешь. Теперь в санаторий если? Сестрой-хозяйкой — рационы знать надо, повара приструнить, ежели что. Это вам не по силам. Кастиляншей если, так вы там не то что зарабатаете, еще и доложите. Характер у вас не тот. Аккуратности в вас нет.

— Вероятно,— вздохнула Машенька.

— Культурницей если? Так их на месте не берут. Их с центра назначают. Только одно и остается — официанткой, подавальщицей. Но я против, — решительно объявила Дарья Ивановна.

— Почему?

— В официантки идут девушки одинокие. Им расчет есть. Они там сыты. Хоть и не полагается это дело, ну ведь у воды стоять — каждый замочится. Стало быть, деньжонки какие-никакие — все целы. А у вас есть расчет там покушать? Нет. Вам надо Андрея Петровича прокормить. Официантка, она целый день крутится: завтрак не успеет убрать — обед

накрывай, а тут тебе полдник, а тут тебе ужин. А ночью, изволь, опять готовь столы к завтраку. Да еще какой человек попадется — иной из тебя душу вынет: «Почему у меня помидор не красный? Почему у меня пирожное маленькое?» И какие силы надо, чтоб ему тарелку в лицо не кинуть. Ну, зубы сцепишь. Я это дело знаю. Опять же вас от зари до ночи дома не будет. А в получку хорошо если рублей двести принесете.

— Да, это мне тоже не подходит,— грустно сказала Маша.

Старушка вздохнула.

— А вот можно каждый день пятьдесят рублей взять, и сама себе хозяйка. Только это — дело кропотливое.

— Ну, скажите,— попросила Машенька,— я ведь труда не боюсь.

— Ягоды,— значительно сказала Дарья Ивановна.— Пораньше встать, поселок пройти, да за старой мельницей в горку. Ягод по горам много. Сейчас земляника началась, там и малина доспеет. Значит, часов до трех поползть по горке и живым манером в санаторий. Или вон турбаза вчера открылась. По руб-двадцать стаканчик в момент растащат. Люди и по полтора берут.

— Знаете, Дарья Ивановна,— оживилась Маша,— я буду собирать, вы — продавать, а деньги пополам.

— Да нет, так-то не получится. — Старушка собрала со стола посуду.— Мне никакую торговлю вести нельзя, что вы! Это на меня опять всех собак навешают. А заработать хорошо можно. Вон санитарка Ксения — на одних ягодах себе дом поставила.

Маша не могла себе представить, как это она будет чем-то торговать! Лежа в постели, она убеждала себя, что, в общем, это совсем не позорно, что стыдно только воровать. Потом решила: ведь хотела когда-то стать артисткой, вот и сыграть бы роль торговки, будто на сцене. Ничего не получалось.

Наутро Машенька отнесла в магазин косынку, подаренную Андреем. Она долго убеждала продавщицу, что вещь ей не подходит.

— Было б смотреть, когда покупали,— наставительно отвечала девушка за прилавком.

Маша сказала себе: «Будь настойчивее».

— Во всех магазинах при предъявлении чека товар принимают,— убеждала она.

— А где у вас чек?

— Так ведь в вашем магазине чеков не дают,— смутилась Маша.

— Ну, значит, об чем и разговор?

Так они спорили долго и бестолково. Наконец Маша решилась:

— Знаете, косынка мне настолько не нравится, что я согласна взять за нее хоть пятьдесят рублей, хотя она стоит восемьдесят.

Продавщицу это предложение оскорбило.

— Здесь спекулянтов нет,— ядовито сказала она, вырвала у Маши из рук покупку и швырнула на прилавок восемь десятков.

Но когда денег мало, как быстро они уходят!

Хорошо еще, что за гостиницу и молоко было уплачено до конца месяца. Маша купила сахару, масла, крупы и рассчитала, что хватит еще на три обеда.

А в довершение всего у Андрея повысилась температура. Градусник показывал тридцать семь и одну десятую. Маша уложила мужа в постель, и он лежал сосредоточенный и молчаливый. Маша мучилась о чем он думает?

— Не сидел бы ночью у открытого окна за шахматами. Вот и надуло, вот и бронхит... — нарочно говорила она ворчливо-беспечным тоном.

— А знаешь,— отвечал Андрей,— похоже, что я действительно простыл. Что-то ломит меня.

И оба делали вид, будто верят в простуду.

На третий день к вечеру Маша вытащила из чемодана старенькое ситцевое платье, приготовила прорезиненные тапки и большую эмалированную кастрюлю.

Дарья Ивановна стукнула в дверь в пять часов утра. Всю ночь Машенька ждала этого стука. Окно еще только слабо обрисовывалось, прохлада тянула под одеяло.

Андрей спал. Маша нагнулась и приложила щеку к его руке. Есть ли жар? Рука была прохладная. Ну, да ведь эту подлую маленькую температуру и не нащупаешь.

Она подоткнула со всех сторон одеяло, посмотрела на спокойное во сне лицо мужа и пообещала:

— Я тебя поправлю, вот разорвусь, а поправлю.

Во дворе от утренней свежести и волнения Машу забил озноб. Она вышла из гостиницы и не увидела ни гор, ни неба. Ущелье наполнили плотные серые облака. Они лежали низко, скрывая вершины, даже деревья. Казалось, что вокруг равнина, над которой низко нависло небо.

С Маши будто тяжесть упала. В дождь какие ягоды? Можно остаться дома, снова залезть в постель и спать, спать.

— Это ничего,— объявила Дарья Ивановна, оглядевшись вокруг и потрогав траву,— роса выпала. Дождя вроде не будет. Вот сейчас по холодку самое и дойти до места.

Она оглядела Машин костюм и осталась недовольна.

— Чулки надо. Крапива пострекает — не возрадуешься.

Подходящих чулок у Маши не оказалось. Две пары капронов и одна бережно хранимая «паутинка» в счет не шли.

Дарья Ивановна принесла черные толстые нитяные чулки с большими заплатами на пятках.

— Таких нынче и не купишь нигде,— с гордостью сказала она.

Маша покорно натянула чулки.

— Значит, как мельницу пройдете, тут тропочкой, тропочкой ходу вверх. Да обратно домой не забегайте. Прямо горкой до турбазы. Вчера туда народу наехало — без счета. Весь день по поселку молоко спрашивают.

У ворот она сунула Маше граненый стакан.

— Дно вдвое против обыкновенного толще. Им и меряйте.

От озера в парке поднялся густой пар. Вода стояла будто стеклянная. Даже лягушки, всегда призывно рокочущие на берегах озера, в этот час молчали. Облака плыли низко над головой, цепляясь за сосновые лапы, разрывались и падали на землю беловатой туманной росой.

Сперва было холодно. Потом от быстрой ходьбы Маша согрелась. Дорога вела в гору, но Маша почти все время бежала, размахивая своей кастрюлькой.

Миновав последние дома поселка, она увидела остов старой водяной мельницы. Тут перешла через мостик, свернула с дороги на тропу. Подъем стал круче, тропка петляла и вводила все выше в горы. Поднявшись до каменной россыпи, Маша остановилась. Издалека донесся заглушенный расстоянием петушиный крик. И в ту же минуту из-за невидимых в тумане гор вырвались солнечные лучи. Серые облака вдруг потеряли свою плотность, четкие очертания и превратились в сквозной золотистый туман, который быстро-быстро, как огромный тюлевый занавес, стал отрываться от земли, открывая ее свежую красоту.

Отставшее от других круглое облако поползло по лесу, остановилось у обнаженной скалы, обессиленно прижалось к корням сосен, стало уменьшаться, редеть и неуловимо растворилось в свете зари.

Скоро весь туман, все облака, заполнявшие огромное ущелье, превратились в небольшую синеватую тучку.

А снежные горы возвышались величественные и чистые, будто присыпанные свежим снегом в честь наступающего дня.

Опустив глаза, Маша увидела землянику, краснеющую у каменной россыпи.

Самым трудным оказалось покрыть дно кастрюли. На земле и в руках ягоды были крупные, красные. В кастрюльке они сейчас же делались маленькими, незаметными и одиноко катались по дну. Но, поднимаясь все выше, Маша находила никем не тронутые коврики земляники и уже не замечала, как наполняется ее посуда.

Когда солнце поднялось и стало жечь спину, Маша перешла от россыпи в высокие травы, к водопаду. Здесь она съела кусок хлеба и крутое яйцо, запила водой из граненого стаканчика и, вставая с места, почувствовала, как больно заныли у нее натруженные спина и ноги.

Было большое искушение — свернуть к своему дому! Маша уже совсем решила это сделать. Где-то она читала, что земляника — очень полезная ягода. В ней и железо, и витамины, и еще что-то. Вот пусть Андрей и ест ее столовой ложкой, точно кашу.

Но, постояв у дороги, ведущей к дому, Маша раздумала и двинулась дальше. В конце концов никто не мешал ей дойти до турбазы, а там поглядеть по обстоятельствам. На ней не написано, что она идет продавать ягоды.

У изгороди турбазы Маша за большим камнем подобрала все волосы под косынку, натянула ее на самые брови и спустилась к воротам. Вход на территорию турбазы был украшен хвойными ветвями, зеленью березок и красным полотнищем с надписью: «Да здравствуют туристы! Добро пожаловать!»

Надпись не имела в виду Машеньку, которая никогда не была туристкой, и, может быть, потому она почувствовала себя еще более одинокой и несчастной.

Несколько дней назад здесь было тихо и безлюдно. Большой дом стоял с закрытыми окнами, двор зарос травой. Сейчас вся трава уже втоптана, все окна и двери главного корпуса раскрыты настежь. Всюду сновали люди.

Был час обеда.

Из столовой — большого деревянного навеса с настланным полом — доносилось гудение, звяканье посуды, вкусные запахи борща со свежей капустой.

Но обеды не все. Мимо Маши прошли девушки в лыжных штанах и пыльных ботинках. Через плечи у них были перекинuty полотенца. «Под душ, с похода», — догадалась Маша.

— Борька, иди сюда! — орал какой-то парень, высунувшись из окна главного корпуса. — Иди сюда скорей, мы комнату отхватили!.. Иди вещи перетаскивать...

Гуськом промаршировала группа, возглавляемая инструктором — юношей со значком альпиниста на спортивной куртке.

Инструктор выстроил свою команду под старой, развесистой березой и деловито стал рассказывать план завтрашнего похода к большому водопаду, а также, что можно и чего нельзя делать.

— Не забегать вперед... Идти, глядя друг другу в затылок... Отдыхать по моей команде... Дышать только носом...

Маша стояла в кустах за большим буковым деревом и понимала, что никому не предложит своих ягод.

«Может, кто-нибудь из нашего города здесь... — подумала она. — Угостила бы и пошла домой...»

Обед кончился. Из столовой группами выходили люди, большей частью очень молодые. Вероятно, многие впервые щеголяли спортивным

снаряжением и в летний день стойко не снимали курток, подбитых байкой, и тяжелых ботинок на толстой подошве.

Возле букового дерева остановились двое. Один — худой, остролицый, другой — рыжеватый, на голову выше своего спутника. Его лица Маша не рассмотрела. Оба были одеты по-летнему — в светлых брюках и рубашках без всяких значков.

— Черт тебя знает, Аркадий, у тебя какие-то повышенные требования, что ли? — говорил худой.

— То-олько в морду. — Рыжий убежденно замотал головой.

— А я не уверен. У Пашки срывался ответственный доклад в министерстве. Что он мог сделать?

— Я не знаю. Ругаться, землю грызть. Да ты понимаешь, что это значит — бросить двух женщин и товарища с поврежденной ногой на Увалае под угрозой лавины? Тем более, он их сам туда затащил. Хотя почему я сказал «тем более»? Это все равно.

— Да ты пойми, у него каждый час был рассчитан. Он спустился в лагерь белый, как эта рубаха. Что он мог?

— На себе тащить. Это элементарно. И я вам удивляюсь, лично тебе, Михаил, удивляюсь, что ты Пашке этого не объяснил наглядно, как мужчина.

— Ну, черт с ним! Лучше скажи, ты в этом году куда-нибудь далеко едешь?

— Может быть, в Женеву, попозже, осенью. Там совещание.

— Вот здорово! Везет вам, электрикам! Это как, решено уже? Точно?

— Ну, знаешь, в таких делах до последней минуты ничего точного нет.

— Правильно. Как у нас. Три года готовились к конференции по древневосточным диалектам. Должны были в Индию поехать. И вот на тебе — в Ташкенте решили проводить. И решение вынесли двадцатого апреля, в день моего рождения, подарочек... Как назло, понимаешь...

Дальнейшей беседы Маша не слышала. У кастрюли, которую она поставила на землю, остановился молодой человек с двумя девушками. Он осторожно приподнял лист лопуха, прикрывавший ягоды, и радостно провозгласил:

— Земляника! А почему стаканчик?

Легче всего Машеньке было ответить: «Да нипочем. Берите, пожалуйста...» Но она заставила себя шепотом назвать цену.

— Дайте нам по стаканчику...

Ягоды слежались и сыпались мимо стакана в траву. Кто-то подостлал под кастрюлю газету. Машенька взяла деньги дрожащими пальцами. Потом подошли еще две девушки, им Маша насыпала три стакана. Ягоды продавались, но радости не было. Больше всего хотелось все бросить и уйти, но тут один турист, толстенький, в круглых очках, сказал:

— Что-то стаканчик у вас, мамаша, какой-то маленький...

И Маше сразу стало смешно.

— Это, сынок, не стаканчик, а вроде бы мерочка, — ответила она голосом Дарьи Ивановны.

Когда у нее осталось меньше четверти кастрюльки, мимо снова прошли Аркадий, остролицый Михаил и с ними девушка. Теперь Машенька рассмотрела этого Аркадия, который ездит в Женеву. И ничего особенного. Лицо скуластое. Андрей в тысячу раз красивее. А девушку Машенька сразу определила: «Прелесть!» Личико беленькое, волосы золотые, брючки коротенькие, модные, узкой дудочкой. Блузка — чистый нейлон. Конечно, если носить такие красивые вещи, можно идти уверенно, засунав руки в карманы и покачиваясь на ходу.

Аркадий что-то говорил, и Маша расслышала только конец его фразы:

— Спать надо под звездами. Тогда или ничего не снится, или видишь прекрасные сны.

— И я к тебе присоединяюсь, пожалуй,— сказал Михаил.

— Присоединяйся. Палатку разобьем на случай дождя. А спать — в мешках. И будем всю ночь смотреть на звезды.

— И пить вино! Ах, Омар Хайям! — подхватил Михаил и залопотал что-то певуче и гнусаво.— Вы чувствуете музыку этих стихов? Или вам, людям грубой техники, поэзия недоступна?

— А меня вы не приглашаете? — спросила девушка.

Она не поднимала глаз от еловой шишки, которую подталкивала перед собой носком спортивной туфли.

— Мы будем безмерно счастливы,— галантно ответил Михаил.

— Да. А вы? — Девушка, подняв вверх лицо, посмотрела на Аркадия. «Лисичка сероглазая»,— подумала Маша.

Михаил метнулся к кастрюльке с земляникой.

— Пару стаканов, поживей...

Машенька насыпала ягоды. Бросив ей смятую трешку, Михаил подбежал к девушке.

— Я не ем земляники,— сказала она.

— Лидочка, ну сделайте мне удовольствие, одну ягодуку...

— Миша, я земляники не ем,— повторила Лида,— и вообще, мне надо взглянуть, как нас в этом корпусе разместили.

Она повернулась и ушла.

— Нет, ты нынче лопух,— разочарованно сказал Михаил,— тут тебе такие авансы делаются...

— Брось,— лениво ответил Аркадий,— какие авансы? Кажется тебе. А вообще, я не очень люблю, когда мне делают авансы.

— Что ж ты любишь?

— Ну, как альпинист — трудные вершины, естественно.

У Маши было странное ощущение. Вот она стоит тут рядом — и как будто нет ее, никто не замечает, никто не обращает на нее внимания. Последние ягоды купили девушки, которые выскочили из душевой.

Переодетые в пестрые платья, свежие, веселые, они без умолку болтали: «Девочки, сегодня у нас в клубе торжественное открытие...», «А танцы будут?», «Кто знает, на Синие озера ботинки с шипами или нет?», «Говорят, сегодня артисты приедут», «А танцы будут?», «Девочки, вы постели получили?», «А танцы...»

Из турбазы Маша выбиралась через хозяйственный двор. Ей повстречался культурник турбазы. Он нес перед собой большой лист бумаги, на котором черной и красной тушью было выведено: «Сегодня открытие туристской базы. Концерт. Игры, аттракционы. Танцы. Вход свободный».

«Ну, пусть,— подумала Маша,— я свое дело сделала».

Она не считала скомканных бумажек, завернутых в носовой платок. Дома сочтутся.

Только вбежав в коридор гостиницы, она сдернула косынку и в пустой кухне быстро стащила с ног чулки. Дарья Ивановны не было. Ее комната снаружи была приперта метлой. Поднимаясь по лестнице, Маша услышала голоса — в гостинице теперь было много постояльцев.

Где-то громко говорили, спорили. Машенька торопливо, на цыпочках добежала до своей двери, открыла с нажимом, чтоб не скрипнула, и проскользнула к себе.

Сперва ей показалось, что она ошиблась номером. В комнате плавали чужие запахи — пахло вином, чем-то жареным. За столом сидел незнакомый человек, напротив него — Андрей. Дарья Ивановна возилась у полочки с посудой. А на столе возвышались бутылки, стояла сковорода с жареной рыбой, огурцы.

— Вот и дождался хозяйку! — громко сказал Рассохин, вставая на встречу Машеньке.— А то как-то нескладно было.

Маша протянула ему загорелую, измазанную ягодами руку. Ей было досадно, что этот человек всегда видит ее при невыгодных обстоятельствах: то она ненаблюдательная, то беспомощная, а сейчас и того хуже.

Еще и Андрей вмешался.

— А где ягоды? Ты ведь за ягодами ходила, Машенька!

Маша сдвинула брови и строго посмотрела на мужа, но Андрей ничего не заметил, выхватил у нее кастрюлю и перевернул ее вверх дном.

— Ай, оплошала,— засмеялся он,— как же это ты так, а, Маша? А я хвалюсь — жена ягод принесет!

— Бывает. Это ничего,— примиряюще кивал головой Рассохин, а сам все поглядывал на Машу.

Он, конечно, заметил и ягодку, прилипшую к стенке кастрюли, и граненый стакан, который Маша до сих пор держала в руках.

— Что теперь сделаешь, Андрей Петрович, ягоды поедим в другой раз. Вы садьте, выпьем с Марьей Владимировной за ее здоровье,— и Рассохин разлил пиво по стаканам.

Степан Ильич мало изменился. Только по рукам, бледным и вялым, с синеватыми ногтями, можно было догадаться, что он тяжело болел.

Дарья Ивановна распрямилась, как хозяйка. Она быстро поставила перед Машей тарелку.

— Хоть руки вымою,— сказала Машенька и подмигнула старушке.

В кухне она сразу спросила: «Зачем он пришел?»

— Как это — зачем? — ответила Дарья Ивановна. — На работу ставить Андрея Петровича.

— Дарья Ивановна, правда? — Маша обхватила худенькие плечи старушки.

— Истинный крест. Ему теперь помощник нужен. Ну, а вы как? С успехом?

Маша высыпала на стол кучу бумажек. Сейчас в ее глазах они уже не имели никакой ценности. Налаживалась настоящая жизнь.

— Ну, когда деньги есть, сбегайте в магазин. Хлеб возьмите да от себя пару бутылок пивка. Те бутылки да форель Степан Ильич принес.

Теперь Маше было нипочем выскочить на улицу в своем лесном одеянии. Она не смутилась даже и тогда, когда с бутылками в руках встретила Анну Павловну и Тося.

— Вот как у нас,— сказала Тося,— пиво пьют, а в гости не зовут.

— Зову,— весело ответила Машенька,— честное слово, зову!

— Некогда нам по гостям ходить,— усмехнулась Тоська.

— Была я помоложе, очень любила, когда меня приглашали, а под старость жмешься к своему углу,— сказала Анна Павловна.

— Право, пойдем,— еще раз предложила Маша,— я и конфет купила. Мужчины будут пиво пить, а мы чай.

— Какие ж это мужчины, что-то я не знаю? — глядя в сторону, небрежно спросила Тося.

— Муж мой,— с достоинством ответила Маша,— Степан Ильич у нас.

— Рассохин, что ли? — протянула Тося и, обращаясь к Анне Павловне, предложила: — Зайдем, раз приглашают.

Перед входом в гостиницу Тося вдруг что-то сообразила, крикнула: «Обождите меня!» — и побежала обратно.

— Вы сегодня не такая, как всегда,— сказала Анна Павловна, оглядывая Машу.

— Потому что я в ситцевом платье? — спросила Маша. — Так ситец сейчас самый модный. В Москве даже ситцевые балы устраивают. И очень хорошо.

— В молодости все хорошо,— согласилась Анна Павловна. — И вы, Машенька, каждую минутку помните, что молоды. Это поможет немного удержать время.

«Не надо его удерживать! Пусть скорей проходит этот год»,— подумала Маша.

Тося вышла из магазина, еле удерживая руками бутылки.

— Швыряетесь деньгами, Тонечка,— покачала головой Анна Павловна.

— Мне их не солить.— Тося пожала плечами.

Войдя в комнату, она объявила:

— Принимайте в компанию. Мы со своим угощением,— и поставила на стол сладкую сливянку, бутылку зверобоя, рябиновую.

— Тонечка, это больные люди, вы их погубите,— возмутилась Анна Павловна.

Тося ответила дерзко:

— Они у меня по описи не числятся. Мне за них не отвечать...

Гостям не хватило стульев. Андрей пошел из комнаты, Маша кинулась было вперед, но Степан Ильич придержал ее за руку:

— Не очень-то балуйте мужа,— сказал он и усадил Машу возле себя.

Выпили за хозяйку, выпили за гостей. Рассохин уважительно называл Машу по имени-отчеству.

— А знаете, Марья Владимировна, что я советую вашему мужу? Прежде всего разбить градусник. Вот, хотя тут представители медицины, я все равно повторяю: температуру мерить не надо. Это самое вредное.

— А какую тогда запись показывать доктору?— спросила Маша, и все засмеялись.

— Бросьте!— крикнула Тося.— Надоело. На работе одни эти градусники да анализы, в гости придешь — и все то же. Вот еще...

— Правильно, Антонина Сергеевна,— подтвердил Рассохин,— болезнь — дело скучное, а здоровым людям жить надо весело.

Маша выпила сливянки, и у нее сразу закружилась голова. Сердце будто выкупалось в теплой ванне. Случилось что-то очень хорошее. Она поймала взгляд Андрея и лукаво подмигнула ему карим глазом.

Андрей улыбнулся ей в ответ той улыбкой, которую Машенька любила, — бесхитростной и любовной.

— Ты слышала, Машенька, меня Степан Ильич работать зовет.

— Работать он позовет,— сказала Тося,— на этот счет он добрый.

— Я мужик добрый,— охотно подтвердил Степан Ильич.

— Ой ли?— не унималась Тося.— Это еще спросить надо, сколько из-за тебя, доброго, бабьих слез пролито?

— Лучше один раз поплакать, чем всю жизнь мучиться,— твердо ответил Степан Ильич.

Маша рассердилась. Она была в этом доме хозяйкой, а ей даже рта раскрыть не давали.

— А по-моему, Степан Ильич не нашел еще для себя настоящей женщины,— рассудительно заявила она.

— Маша!— укоризненно крикнул Андрей.

— А что я такого сказала?

Степан Ильич резко поднял голову.

— Неверно!— Он налил себе полный стакан водки. Рука у него дрожала, водка пролилась мимо, и он с досадой смахнул ее на пол широкой ладонью.— Неверно,— повторил он,— были настоящие женщины, добрые женщины, щедрые. Прекрасные женщины были! Вот я за них выпью, чтоб хорошо им жилось на свете, чтоб никто им рук не связывал...

Рассохин залпом выпил стакан и налил еще.

— Будет, Степан Ильич,— предупредила Анна Павловна.

— Пусть пьет!— крикнула Тося.— И вы пейте! Все выпьем, на поминках...

— Тоня,—строго сказала Анна Павловна,— нехорошо. Несдержанно.

— Несдержанно? — Тося стукнула стаканом о стол.— Ну да. У вас на все дисциплина. Я знаю, вы сейчас мне скажете: «Это жизнь». А я не мирюсь. Не могу я...

— Перед детьми-то,— сурово сказала Дарья Ивановна.

— Андрюша, это мы с тобой дети, — шепнула Машенька мужу, — как тебе нравится? Ничего себе детки! — Она хихикнула.

Андрей погрозил ей пальцем.

Тося встала.

— Больше ничего не будет? — спросила она.

— Да вроде уж хватит,— отозвался Степан Ильич.

— Спасибо,— неизвестно кого поблагодарила Тося, наклонила голову и отодвинула стул.

Анна Павловна ушла за ней. Дарья Ивановна, тихая и незаметная, убирала посуду.

Рассохин заговорил спокойно, будто продолжая прерванный разговор:

— Насчет условий я вам так скажу — особенно не разгуляетесь, а прожить проживете. У коммунхоза подсобное хозяйство есть, молоко, творог, овощи будете получать. Комнату я вам завтра подберу. Теперь ходим в контору, наряды посмотрите, с объемом работ познакомитесь...

Прощаясь с Машей, Рассохин сказал:

— А уж в другой раз чтоб ягоды были. Как хотите, а чтоб ягоды мне были.

Мужчины ушли по своим делам. Впервые за полтора года Андрей ушел не к врачу, не на рентген, а по своим мужским делам!

Разве можно было усидеть дома?

— Дарья Ивановна, есть у нас горячая вода?

— А то нет, с обеда грела.

Маша вымылась в цинковом тазу, расчесала волосы, подколола отросшие кудряшки, так что сразу не поймешь: не то стрижка, не то прическа. Потом надела розовое платье с цыганской юбкой и ниточку кораллов на шею.

Только снова пришлось влезать в старые тапочки. Свои единственные нарядные туфли с бантиками Маша несла в руках. Не стаптывать же их на горных дорожках! У турбазы в кустах можно переобуться.

— Пожалуйста, скажите Андрею Петровичу, что я ушла на турбазу. Там сегодня концерт и танцы.

Дарья Ивановна кивнула головой.

«Не набегалась еще, танцы ей нужны, господи прости!» — подумала она.

И тут же вспомнила, что много лет назад, после целого дня работы, в осеннюю распутицу, тайно бегала в соседнее село взглянуть, как чужие люди пляшут на чужой свадьбе.

Большой зал клуба турбазы был набит народом. Маша едва протиснулась. Теперь она чувствовала себя здесь, как равная среди равных. Одно-го толкнула, перед другим извинилась и, наконец, отвоевала себе место на краешке скамейки. На нее зашипели: «Занято»...

— Что значит «занято»? — возмутилась Маша.— Люди будут стоять, а места гулять?

На сцене артист московского театра кончил читать стихи Маяковского. Девушка, сидевшая рядом с Машей, оглядела ее и спросила:

— Ты вечером приехала?

— Да,— сказала Маша.

— А где тебя устроили? На камчатке?

Машенька не знала, что такое «камчатка».

— В главном корпусе, — важно сказала она.

— Безобразие! — возмутилась девушка. — А нас на камчатке... И одеяла дали?

— Два, — подтвердила Маша, — одно пуховое, одно байковое.

Девушка заволновалась, стала что-то говорить подругам, но на сцену уже вышла певица. Пока она объясняла, как хорошо встречать рассвет на Ленинских горах, Маша рассматривала туристов. Многих она узнавала — вон очкастый толстяк, который назвал ее «мамашей», вот девушки из душевой. Туристы самые разные и по возрасту и по национальности. Маша заметила тоненьких китайнок и каких-то смуглых юношей, с которыми был переводчик.

Позже Маша не могла дать себе отчета, видела ли она, что Аркадий и Михаил стояли за ее спиной или ей просто хотелось пошутить. Но когда девушка-соседка снова заговорила об одеялах, Машенька ей ответила:

— Хотите, я вам их уступлю? Летом надо спать прямо на земле, под звездами. Только тогда снятся прекрасные сны.

Через секунду кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась. Аркадий смотрел на нее. Михаил нагнулся и зашептал:

— Простите, вы сказали сейчас очень интересную вещь!..

— Такое со мной иногда бывает, — скромно ответила Машенька.

— Честное слово, я готов этому верить! — воскликнул Аркадий.

Объявили, что концерт окончен, и весь зал облегченно вздохнул. На сцену выскочил культурник — паренек с уверенной и деловитой ухваткой. Он торопливо прокричал:

— Сейчас начнутся игры, аттракционы, танцы! Прошу не лениться, не самоуспокаиваться. Разбирать скамейки, расчищать место для веселья!

Маша не стала таскать скамейки. Пусть это делают мужчины. Нечего их бзловать.

— У нас неважные ребята, — сказала ей девушка с пухлым личиком, — все какие-то белоручки.

Девушка сама ухватила за скамейку, но Маша возмутилась.

— А ну беритесь, беритесь! — скомандовала она. И мужчины взялись за дело.

— Сядьте с нами, — предложил ей Аркадий, в минуту раскидав ряды скамеек и составив их у стены. Ничего не скажешь, он это сделал очень ловко.

Машенька села. В зале стояли гомон и неразбериха, хотя культурник уже надрывался у сцены.

— Когда вы приехали? — спросил Михаил.

— Час тому назад.

— Вечером автобусов не было.

— А это меня не волнует. У меня свой способ передвижения.

— Машина «Победа»? — не унимался Михаил.

— Туфли-скороходы, — сказала Машенька, — они спрятаны в кустах сирени. И я исчезну так же, как появилась.

— Но имя-то у вас есть? — воскликнул Аркадий.

— Ах, да! — с сожалением протянула Маша. — Вы же не умеете отгадывать имена. Придется вам сказать: меня зовут Машей.

— А вы умеете отгадывать имена?

— Это — самое легкое, — засмеялась Машенька. — У вас просто на лице написано ваше имя: Аркадий. А вас я буду называть Мика, вам не очень подходит ваше имя — Михаил.

— Ну, — скептически фыркнул Михаил, — это еще не так трудно — узнать, как нас зовут.

— Да? — обиделась Машенька. — Смотрите, я рассержусь и превращу вас в лягушку. Но так как у меня сегодня хорошее настроение, то я еще

назову вам день вашего рождения. Вы родились в апреле...— Она подумала.— Двадцатого числа.

— Это черт знает что! — удивился Михаил.

— Смотрите аттракцион, иначе будете квакать.

Культурник уже вывел в круг добровольцев, которые с закрученными назад и связанными руками старались ртом ухватить с тарелки огурец и съесть его как можно быстрее.

Победителю полагался приз — кусок душистого мыла. Высоко подняв это мыло, культурник ходил между соревнующимися и подбодрял их. Один торопился захватить в рот сразу весь огурец, другой откусывал маленькими кусочками. Вокруг хохотали.

Включили радиолу. Машенька пошла танцевать вальс с Аркадием. Он был неважный танцор, но в ритм попал, а больше ничего не было нужно. Только она не любила разговаривать во время танцев, а Аркадий все время пытался ее о чем-то расспрашивать.

— Замолчите! — приказала Машенька.

— А не то вы и меня превратите в лягушку?

— Нет, — сказала Маша, — просто не пушу в Женеву.

Аркадий внезапно остановился и сбил танцующих.

— Маша, — жалобно сказал он, — ответьте мне честно, есть ли у нас с вами общие знакомые или вы от кого-нибудь обо мне слышали? Не допускаю мысли, что мы были раньше знакомы, я не забыл бы вас.

— Вот несчастье! Один раз в год выпала возможность потанцевать, и то не удалось! — сетовала Машенька.

Они подошли к двери клуба. Оттуда тянуло свежестью горной ночи.

Аркадий ждал ответа.

— Я вам даю честное слово, что у нас нет с вами общих знакомых и до сегодняшнего дня я не видела вас и ничего о вас не знала, — очень искренне сказала Маша.

— Тогда я ничего не понимаю. — Аркадий перестал улыбаться. — Но ведь чудес не бывает.

— Как сказать, — хитро покачала головой Маша, — иногда бывают.

Аттракционы были очень шумные. Ребята с завязанными глазами пытались ударять один другого жгутами, связанными из полотенец. Борющихся разводили в разные стороны, а культурник, подмигивая публике, с маху шлепал жгутом по спинам противников, и все покатывались со смеху, глядя, как они бестолково машут руками.

Машенька хохотала. Ей было весело.

Аркадий сказал:

— Это все чепуха! Хотите, я покажу вам настоящий номер?

— Хочу, — кивнула Маша.

Он вышел на круг и секунду пошептался с культурником.

— Внимание! — объявил культурник. — Сейчас альпинист второго разряда Аркадий Ногайцев продемонстрирует аттракцион. Прыжок через три стула без разбега. Вызываем желающих последовать примеру.

Составили рядом три стула. Аркадий для чего-то тронул каждый из них, будто проверил устойчивость, потом потоптался на месте, присел и, легко отделившись от земли, разом перемахнул через стулья. Он повторил это еще раз. Потом стали пробовать другие. С разбегом получалось у многих. Без разбега — ни у кого.

— Ну как? — спросил запыхавшийся, красный Аркадий, подходя к Маше. Ему очень хотелось, чтобы она похвалила.

— Это тоже маленькое чудо, — охотно признала Машенька.

Убежала она, когда ее пригласил танцевать турист, назвавший ее «мамашей». Доплясав с ним до дверей, она сказала: «Ох, голова что-то закружилась» — и выбралась во двор. Ей пришлось помедлить у кустов си-

реши, где были спрятаны тапочки. Скрытая зеленью, она слышала, как рядом затрещали сучья, узнала голос Аркадия:

— Но не могла же она в самом деле исчезнуть?

Маша закрыла руками рот, чтобы не рассмеяться. Ей очень нравилась эта игра.

— Пойдем, Аркадий,— мрачно позвал Михаил,— мы ее не найдем. Айда спать.

— Спать! Тут мировоззрение рушится, а ты говоришь: спать! Разве можно спокойно заниматься наукой, если на планете в наши дни совершаются чудеса. Надо ее разыскать...

Они долго еще топтались у ворот и мешали Машеньке уйти. Зато потом из-за горы выкатилась луна, и Маша побежала по освещенной дорожке.

Дарья Ивановна сказала Андрею, что Маша на турбазе. Вечер был свежий. Андрей взял теплый платок и пошел встречать жену.

Теперь лишь несколько часов отделяло Андрея от новой жизни, в которой он должен принимать решения, что-то делать своими руками.

До сих пор он только учился. И это было естественно. Потом пришла болезнь, и нужно было только одно — удержаться, не уйти совсем в черную ночь. Он уже испытал это, когда сознание меркло от потери крови.

И ему было все равно, кто и как брал на себя заботы о его лечении, существовании. Главное, и самое трудное, было удержаться, не уходить, жить.

Кто-то нес тяготы, которые казались ему такими легкими по сравнению с тем, что испытывал он, Андрей. Много делали для него товарищи, но ведь иначе какие же они товарищи? Жена... Но ведь она его любила! В институте люди хлопотали о его путевке — и это тоже было нормально.

Теперь он сам должен заботиться о своей жизни. К чему он готов? Что он знает? Соппротивление материалов? Высшую математику? А накладные, наряды, обмеры, сметы, осты... Это он знает? Сможет ли с этим справиться? Легче это или труднее?

Андрею вдруг показалось, что он остался один. Ему принимать решения, ему за все отвечать...

Почему же раньше, когда он был совсем беспомощный и бессильный, ему было легче от присутствия Машеньки, от того, что они вдвоем? А сейчас он должен взять в свои руки и ее судьбу — под силу ли ему такая ответственность?

Машенька крикнула из темноты:

— Это ты, Андрюша?

Она узнала его издали, подбежала, прижалась к нему, горячая и нежная, его жена, его друг, его опора. Разве можно было жить без нее? Ему надо выйти из этой проклятой болезни в жизнь — и для себя и для нее. Для нее даже больше, чем для себя.

А ночь была тихая, светлая, и снежная цепь гор блестела под луной, как под солнцем.

4

С новым жильем у Маши сперва были одни огорчения. Две комнаты — одна побольше, другая совсем маленькая — в отдельном домике показались ей такими ободранными, запущенными и грязными, что она сперва растерялась.

Но Дарья Ивановна рассудила иначе.

— Завидный особняк,— одобрительно сказала она,— и дворик свой. Не то что курочек — поросенка держать можно. Подмазать да подбелить, только и делов.

Казалось бы, чего проще строителю прислать часа на два штукатуров и маляров? Но Андрей отмалчивался. Была у него привычка отвечать: «посмотрим», «там видно будет».

Машенька терпеть не могла этих ничего не выражающих слов.

— Что ж, мы так и будем в гостинице жить? — спросила она к концу третьего дня работы Андрея.

Он удивленно ответил:

— А разве я в этом виноват?

Как будто совсем забыл про маляров и про все, о чем ему каждый день твердила Машенька! У нее и руки опустились.

— Ты пойми, — раздраженно внушал ей Андрей, — на что это похоже, человек еще не начал как следует работать, а уже отрывает людей с производства для каких-то своих личных побелок? Я этого не могу. Как хочешь. Найми кого-нибудь.

Это было так похоже на него. Маша негодовала, сердилась, но, когда улеглось раздражение, поняла, что он действительно иначе не может.

— Для своей пользы пальцем не шевельнет, — говорила она, и в этих словах сквозь наигранную досаду звучала неподдельная гордость. Свои торговые ягодные дела Маша от Андрея утаила.

— Тут смолчишь, там недоскажешь, глядишь, оно и к лучшему, — одобрила Дарья Ивановна.

И все-таки нанять человека было не на что. До первой полочки Андрея оставалось еще больше недели. Надо было как-то продержаться. Андрей совершенно не задумывался о том, как Маша ухитрится вести хозяйство. Вероятно, ему казалось, что молоко и картошка, которые выдавали сотрудникам коммунального хозяйства, вполне покрывают все их потребности.

— Может, Степана Ильича попросить? — предложила Дарья Ивановна. — Ведь в тот раз как я обмолвилась, что проводила вас по ягоды, так он молчком с постели вскинулся да пошел до Андрея Петровича...

Кругом Маша была обязана Рассохину, да чтоб опять его о чем-то просить! Ни в коем случае!

— Ладно, обойдется, — решила Дарья Ивановна, — дело нехитрое. Ну, однако, грязное.

Месить ногами глину было весело. Маша танцевала в мокрой скользкой каше, и ноги у нее по колени были будто в коричневых блестящих сапожках.

Дарья Ивановна подсыпала песок и солому, подливала воду, а потом уносила это месиво в комнаты, подмазывала облупившуюся штукатурку и подправляла развалившуюся печку. К этой тонкой работе Маша не допускалась. Она весело перебирала ногами по чавкающей глине и напевала песенку:

Зеленький кузнечик
С коленками назад
Все прыгает на солнышке
И все чему-то рад.

Но есть же на свете люди, которым обязательно надо бродить по закоулкам! Что понадобилось этим троицким туристам на тропинке, ведущей к Машинному дому? Почему они подошли и встали у забора?

— Машенька! — крикнул Аркадий. — Посмотрите, ведь это Машенька!

Он легко перепрыгнул через забор, а за ним, будто его звали, заторопился Михаил, и только Лидочка в войлочной шляпе с широкими полями стояла, не двигаясь, как большой гриб на тонкой ножке.

Первым чувством Маши была досада. Не ко времени сейчас появились эти люди. Вообще, с ними все получилось мило, забавно, и пусть бы оно так и оставалось. Продолжения не нужно.

Но раз уж они появились, надо встретить их достойно, как это ни трудно сейчас.

Аркадий стоял у кучи жидкой грязи, будто готов был влезть в нее прямо в своих белых туфлях и брюках.

Маша пошла ему навстречу, высоко, как цапля, поднимая коричневые ноги.

— Здравствуйте,— приветствовала она гостей,— к сожалению, я сегодня не могу пригласить вас в дом. Он еще не достроен.

Аркадий все стоял и смотрел на нее, обрадованно улыбаясь. Михаил высоко поднял брови. Его узкое лицо стало еще длиннее и смешнее, а девушка все так же неподвижно стояла у забора.

— Идите сюда, Лида,— позвала ее Машенька,— если так все получилось, то нам надо познакомиться по-настоящему.

Она села на большое бревно, валявшееся посередине двора. Михаил открыл калитку. Лида вошла, постегивая себя по брючкам прутиком.

— Машенька,— сказал Аркадий,— вы не можете себе представить, как я рад, что отыскал вас.

Он действительно был рад. Маша видела и понимала, что его совершенно не смущают обстоятельства, при которых он ее увидел, и в благодарность за это она улыбнулась ему одному.

— Теперь уж вы не увильнете! — радостно кричал Михаил.— Теперь уж мы потребуем объяснения, каким образом вы нас так блистательно разыграли!

«Скажу, что случайно подслушала их разговор»,— подумала Машенька.

Лида подняла на нее серые глаза.

— Вы торговали ягодами,— небрежно сказала она.

Маша молчала.

— Что вы, Лидочка,— растерянно протянул Михаил.

«Уж сказала бы «продавала»,— с горечью думала Маша. Ей не к чему было отрицать Лидины слова, да и подтверждать тоже ни к чему.

На крыльцо вышла Дарья Ивановна.

— Это что-то уж больно рано гости на новоселье пришли,— недовольно сказала она,— управиться бы дали.

Не обращая на нее внимания, Лида негромко заговорила с Аркадием:

— Ластунов будет ждать нашей телеграммы с побережья. Он немедленно вылетит с работой этого Переверзева. Там есть интересные положения... Я так, предварительно, ознакомилась...

Нельзя было точнее выключить Машу из мира этих людей. Но ей было все равно. Она стояла и ждала, когда гости уйдут, чтоб снова продолжать свою работу. Михаил готов был сорваться с места в любую минуту. Аркадий расставил ноги, наклонил голову и смотрел в землю.

А с дороги, все приближаясь, доносилась песня. Не пели, а будто гудели чьи-то низкие, хриплые голоса. Гудели заунывно, протяжно, но при этом слаженно. Песня звучала торжественно и диковато. Скоро стали слышны слова:

Кубань, Кубань, река родная,
Куда волну стремишь свою...

А в это протяжное, задумчивое пение вплетался некрепкий, срывающийся голос. Человек явно не знал ни мотива, ни слов. Он подтягивал что-то отдаленно напоминающее: «Каким ты был, таким остался», пел не в лад, но упорно тянул за всеми.

Маша подбежала к забору. Она привыкла узнавать голос Андрея, его шепот, крик, стон. Только давно не слышала она его пения, к которому и сам Андрей относился очень критически.

Издали Маша увидела Андрея. Это было так хорошо, что он шел к ней сейчас. Пусть все увидят ее мужа. Здесь нет никого, кто мог бы с ним сравниться!

Андрей шел, окруженный кряжистыми боролатыми стариками. Старики несли в руках пилы, топоры в холщовых футлярах, туго набитые торбочки, фанерные чемоданы. Шли они медленно и гудели истоиво, с настроением:

Кубань, Кубань, река родная,
Твои неровны берега...

Андрей вошел во двор, снял фуражку и откинул назад волосы.

— О, да у нас и здесь компания! Вот славно! Знакомь, жинка...

Все было не похоже на Андрея. И слово «жинка» и то, как он преувеличенно вежливо склонился к Лидочке, с размаху ударил ладонью о ладочку Аркадия и развязно хлопнул по плечу Михаила.

Потом он одобрительно-залихватски крикнул своим спутникам:

— Входите, товарищи, чего там, тут все люди свои!

А старики и без его предложения входили, степенно наклоняя головы в сторону Маши, и располагались во дворе по-хозяйски. Одни примостились на бревнах, другие на крыльчке — плотные старики, от которых во дворе сразу запахло дегтем и почему-то пчелиным воском.

— Баню в поселке строить будем, — сообщил Андрей, как будто это была самая радостная новость на свете. — Вот бригада, старинные умельцы, мастера, плотнички-рабочники...

— Так, так, так, — охотной скороговоркой подтвердил сухонький старичок с простодушным лицом. Он держался рядом с Андреем и кивал головой в ответ на каждое его слово.

— Андрей, — с тоской позвала Машенька.

Он не понял жены.

— Ты опять за меня боишься? Ну, выпили. От водки не умирают. А баня будет, я тебе доложу, отменная. Верно, Василий Тимофееч?

— Так, так, так, — закивал Василий Тимофеевич.

— И поставим мы ее на склоне, под самым водопадом.

— Так, так, так.

Маша заставила себя взглянуть на гостей. Лидочке все было безразлично. Она только ждала, когда ее спутникам надоест этот спектакль, этот пьяный человек и его жена. Ни осуждения, ни интереса не было в ее серых глазах.

Михаилу было любопытно. Его длинное лицо кривилось то улыбкой, то выжидательной гримасой. Аркадий, не отрываясь, смотрел на Машеньку, и это ее очень стесняло.

Чтобы прервать тягостное ощущение, Маша протянула руку Аркадию и постаралась как можно непринужденнее и проще сказать:

— До свидания.

Аркадий не должен был целовать ее загорелую исцарапанную руку, здесь, на глазах у этих невозмутимых стариков, в минуту, когда сердце Маши было в таком смятении. Но он низко склонил перед ней свою рыжеватую вихрастую голову. Даже нельзя было назвать поцелуем легкое прикосновение его губ. Он не сказал ничего, и, к счастью, Михаил не вздумал прощаться с Машей таким же образом. Аркадий увлек его за собой, легко перепрыгнув через забор. Лидочка отворила калитку.

Машенька больше не смотрела в их сторону. Она присела на ступеньки крыльца и опустила на колени внезапно уставшие руки.

Андрей все беседовал с маленьким старичком, которого звали Василием Тимофеевичем, и тот по-прежнему поддакивал каждому его слову. Один только раз Василий Тимофеевич осторожно спросил:

— Это, значит, ваше местожительство тут будет?

— Да,— отмахнулся Андрей,— жена белить вздумала.

— Так, так, так... А ну, Тимка, взгляни.

Крупный седобородый дед, не торопясь, встал и затопал в дом. Маша пошла за ним. Дарья Ивановна оторвалась от работы и молча встала у печки, которую она обмазывала.

Дед Тимка походил по комнатам, потом вплотную подошел к стене, которую Дарья Ивановна в нескольких местах «подлатала». Он колупнул ногтем в одном месте, колупнул в другом, слегка стукнул раза два кулаком, и вся штукатурка обрушилась со стены на пол, подняв тучу пыли и обнажив переплет из дранок и досок. Потом дед Тимка молча подошел к другой стене, повторил те же действия и с тем же успехом, вытер ладонь о холщовые брюки и вышел во двор.

К удивлению Маши, Дарья Ивановна отнеслась к этому разбою довольно спокойно.

— Оно и к лучшему,— успокоительно сказала старушка,— вся стена, прости господи, пузырем вздутая была. Дед — он дело понимает.

А во дворе шел уже другой разговор. Андрей не то устал, не то протрезвел. Он сидел на бревнышке, обмахиваясь фуражкой, а Василий Тимофеевич стоял перед ним и что-то ему доказывал. Остальные старики занимались каждый своим делом, будто разговор их совсем не касался. Один пришивал к торбочке лямку, другой закусывал, третий грелся на солнышке...

— А вот я тебя успоряю, Андрей Петрович,— вкрадчиво, но твердо доказывал старик,— мы ведь тоже не кто-нибудь. Мы люди все колхозные, артельные. Ну, конечно, не молодые — деды, одним словом. Какой с нас спрос? Ты каждый день будешь обмеривать да высчитывать — устанешь. Давай все гамузом, на круг. Через прошествие времени примешь работу — и вся.

— Я на незаконное дело не пойду,— упрямо мотал головой Андрей,— по нормам, по государственным расценкам, сколько заработаете — столько вам и выпишут.

Василий Тимофеевич минуточку помолчал, будто набирался сил для убеждения бестолкового человека. На это время он даже перестал улыбаться. Потом его лицо снова озарилось улыбкой, как солнышком.

— То ж на то и выйдет, Андрей Петрович. К примеру, мы мост на Салыджу ставили или, скажем, турбазу на Поляне. Рассохин Степан Ильич и близко не подходил. Я, говорит, вам, деды, доверяю. Имел, значит, к нам доверие. Сейчас, к примеру, выпиши нам задаток на харчи, а там остальное. Мы люди известные, документы у нас от колхоза правильные, насчет этого не сомневайся.

— Не сомневаюсь,— сказал Андрей,— но аккордная оплата не разрешается.

Василий Тимофеевич вздохнул.

— Баньку что ж? Баньку срубим, поставим. Как скажешь. Если по плану — мы и по плану можем. План дай — работу прими, только твоих делов. А насчет твоего жительствова — это я тебе предлагаю: не задумывайся. Одноминутное дело. Сейчас начать и кончить.

Андрей будто этого и ждал — окрысился.

— Не выйдет,— жестко сказал он,— хотите работать — работайте, как все. По закону.

Он засунул руки в карманы и насунился. Маша по опыту знала, что теперь из него слова не вытянешь.

Василий Тимофеевич еще секунду подождал, потом сделал знак своим товарищам. Старики поднялись, собирая пожитки.

— Ладно, не обижайся, Андрей Петрович, все же ты еще молодой, а мы поработали на веку,— приговаривал Василий Тимофеевич, поглядывая на Андрея.

Но Андрей молчал, не меняя позы, и только слегка приподнял фуражку, когда старики выходили со двора.

Маша ждала, что в последнюю минуту он их сам позовет или они вернутся, но ничего этого не произошло.

Дарья Ивановна спустилась со ступенек во двор и, опуская закатанные рукава, сказала:

— Пойду я. Теперь там и хорошему штукатуру не управиться.

Муж и жена остались одни.

Маша понимала, что надо встать, умыться, разогреть обед, но не трогалась с места. Все стало безразлично.

Андрей заглянул в комнаты.

— Да-а, вид неприглядный. Обстановка усложнилась.

Маша все молчала.

— Да что с тобой?

— Ничего особенного,— горько ответила Машенька.

Он бросился к ней и, как она ни упиралась, поднял ее лицо к своему.

— Машуня,— сказал он тихо,— ты ведь не из-за дома...

— Пусти, люди увидят!

Он обхватил ее еще крепче, оторвал от земли, внес в комнату и посадил на печку.

— Что нам люди? — сказал он.— Маша, родная ты моя, что нам люди? И какое нам дело, что они подумают? Ведь ты все знаешь про меня, а я про тебя. Разве ты думаешь обо мне плохо?

Маша покачала головой.

Андрей взял ее левую руку.

— А другую я сегодня не люблю,— прошептал он,— ты думаешь, если муж выпил, так он ничего и не видит? Имей в виду — от меня не укрылось твое поведение.

Он снова обнял и крепко прижал Машу к груди.

— Вся ты моя радость. Помни это,— еле слышно сказал он.

И Машенька закрыла глаза, чтоб полнее были их близость, их счастье.

Рано утром в гостиницу пришел Рассохин. Маша и Андрей еще спали, когда Степан Ильич приоткрыл дверь и крикнул в щелку:

— Через две минуты вхожу!..

Маша едва успела набросить платье, Андрей еще и не проснулся как следует, а Рассохин уже хозяйничал в комнате — первым делом распахнул окно.

— Спать надо при открытых окнах,— наставительно сказал он.

И Маша тотчас вспомнила: «Спать надо под звездами, только тогда снятся прекрасные сны». Почему-то с этой пришедшей на ум фразой возникло ощущение поцелуя, вернее — прикосновения губ Аркадия к ее руке. Она тряхнула головой.

— Завтракать с нами, Степан Ильич..

— Это можно,— охотно согласился Рассохин,— там Дарья Ивановна сейчас рыбку изжарит.

Степан Ильич опять принес с собой связку серебристо-серых, осыпанных красными пятнышками форелек.

Когда Маша внесла в комнату завтрак, Андрей, уже одетый и умытый, сидел у стола. Маша сейчас же заметила, что муж чем-то недоволен. Он не поднимал на собеседника глаз. Степан Ильич, наоборот, необычно много говорил, будто в чем-то оправдывался.

— Да ты пойми, Андрей Петрович,— убеждал он,— эти старики такой народ, что на них управы не найдешь. Другой дед посильней десяти молодых, а лет ему восьмой десяток. Он по закону в колхозе от всякой работы освобожден. С них взятки гладки.

— Не надо брать,— мрачно возразил Андрей.

— Рад бы не брать, Андрей Петрович, да ведь постоянных рабочих у нас с вами всего сто сорок шесть человек. А строительство разбросанное, объектов много. Или вот, есть у нас сезонники — учащиеся, молодежь, кой-кто из соседних селений. Так это какие работники? Их надо учить инструмент в руках держать. А деды — это народ надежный. Вы специально другой раз посмотрите, как они работают. Сердце радуется.

— Не буду я смотреть.

Степан Ильич точно не слышал.

— Вообще-то, конечно, аккордно платить не рекомендуется. Но у нас выхода нет. Если мы этих стариков не возьмем, их геологическое управление завтра же переманит. И тогда нам план не выполнить. Старцы это отлично знают, вот и диктуют свои условия. И упрямством тут не много возьмешь.

— Они наш дом развалили, — обиженно сказала Маша. — Как трахнет кулаком по стенке — так вся штукатурка упала.

— Нет, ты стой, — перебил ее Андрей, — дом ни при чем. И упрямство ни при чем. Тут вопрос принципиальный. Если им аккордно, то и другим бригадам надо аккордно. Где справедливость?

— Не кипи, Андрей Петрович, — остановил его Рассохин, — она у тебя непродуманна, принципиальность твоя. Было бы тебе ведомо, что наши постоянные рабочие на аккордную плату и не пойдут. Им она неудобна. Они живут семейно, оседло. А в этих стариках еще кулацкая жилка трепещет — сорвать, где можно. У каждого из них дом, хозяйство, внуки, а здесь они будут все лето сухие корки грызть да в шалаше жить. Их в своем колхозе не умолишь хату срубить — там они немощные, а за двести километров идут за лишним рублем. Это их психология.

— Мне такая психология противна, — не сдавался Андрей.

— Во, во! — ответил Рассохин. — Займись перевоспитанием. Лекцию им прочитай, беседу проведи. Авошь они на сотом году жизни перестроятся.

Маша рассмеялась.

— Значит, Андрей Петрович, мы с вами определим эту бригаду на строительство бани. Я так примерно с Василием Тимофеевичем прикинул вчера — к концу августа управятся.

— Я отказал, а вы их приняли, — угрюмо сказал Андрей, — какой после этого у меня будет авторитет?

— Насчет авторитета не сомневайся. Василий Тимофеевич — старик хитрый, он расценки сам производит.

Рассохин уже шагал к двери, и Маша не выдержала.

— Степан Ильич, — позвала она, — всю штукатурку дед обвалил...

— Маша, — рассердился Андрей, — сколько тебе говорить...

— Стой, Андрей Петрович, коммунальное хозяйство мы ремонтировать обязаны. Ладно, Марья Владимировна, сейчас пришлю вам орлов.

Через полчаса Дарья Ивановна заглянула в дверь.

— Идите уж, — сказала она, — работники явились.

Маша помчалась к своему особняку. Во дворе стояли двое молодых людей. Веснушчатый паренек, не глядя на Машу, тряхнул ее руку и сухо отрекомендовался: «Виктор». Другого Машенька в первую минуту не узнала, а потом ахнула. Это был горец, ее спутник по автобусу. Сейчас, без папахи и сапог, он казался ниже ростом — обыкновенный паренек с густыми блестящими волосами и живыми глазами. Явно подражая Виктору, он тоже протянул Маше руку и важно сказал: «Юсуп». Маша сделала строгое лицо, и Юсуп вдруг узнал ее, почему-то очень испугался, съезился и потускнел.

Виктор вытащил из кармана книжечку, карандаш, складной метр и молча, сосредоточенно стал что-то записывать. Он обошел дом снаружи,

затем обследовал каждую комнату, измерял стены метром и, временами останавливаясь, закатывал глаза и шевелил губами — делал вычисления.

Маша ходила за ним, а сзади плелся Юсуп и вздыхал. Один раз он жалобно спросил:

— Мужу будешь жаловаться?

На что Машенька строго ответила:

— Вас прислали работать, значит работайте. Какие могут быть разговоры?

Через час-полтора Виктор кончил свои расчеты и объявил, по-прежнему не глядя на Машу:

— Согласно правилам строительной инструкции потребуются ободрать оставшуюся штукатурку со всего помещения, а затем доставить на строительную площадку тонну шлама, тридцать пудов песку и соответственное количество воды. А предварительно необходимо будет вызвать плотника, подбить кое-где под штукатурку свежих горбылей.

Маша покорно слушала его и молчала. Юсуп тоже молчал и вздыхал. Выручила Дарья Ивановна. Она быстро вошла во двор своей легкой, девичьей походкой и, услышав требования Виктора, сказала:

— Еще чего! Скинь-ка пиджак да отправляйся за глиной. А напарника твоего по воду наладим. А ну, живей!

— Как хотите, — пожал плечами Виктор, — я все определил согласно утвержденной инструкции, а вы как хотите, конечно.

— Ага, мы по старинке, — ответила Дарья Ивановна, — с инструкцией тут месяц прокопаешься, а людям жить надо.

Она покрикивала на всех троих — и на Машу, и на Виктора, и на Юсупа:

— Работнички, куда воду льешь, прости господи... Песку, песку больше подсыпай...

За ее спиной все перемигивались, но команды слушались. Виктор и Юсуп, в одних трусах, заляпанные грязью, месили глину и обмазывали стены. Дарья Ивановна клала печку. Маша помогала всем понемногу. Она мечтала в тот же день побелить, но Виктор воспротивился, и на этот раз Дарья Ивановна его поддержала.

— Что нельзя, то уж нельзя.

В обед пришла Фрося, мать Виктора. С Машенькой она поздоровалась. Как же, знакомые, вместе ехали в автобусе! Она принесла пирожков с картошкой и откинутого кислого молока.

Виктор сказал:

— Я один не стану...

— Кушайте, пирогов хватит, — пригласила Фрося, а когда все уселись закусывать, сказала, обиженно поглядывая в сторону Маши: — Это почему ж ученых-то людей, студентов, на грязную работу ставят?

— Обижается за сына, — шепнул Виктор Машеньке. И громко пояснил: — Теперь, мама, такое правило, чтоб каждый строитель все стадии работ изучил.

— Чего ж тут изучать? — возразила Фрося. — Это мазать-то? Вот я сейчас, ничего не изучавши, лучше вас вымажу.

Она разулась, сняла жакетку и быстрыми движениями, красиво и ловко нашлепывая комья глины, размазала ее по стене, будто расстелила гладкий коричневый ковер.

— Украинка, — одобительно сказала Дарья Ивановна, — сразу видно ухватку. Они у себя наострились — каждую неделю всю хату наново обмазывают.

На второй день к вечеру квартира была готова. Когда уже совсем стемнело, Андрей привез на грузовике вещи, отпущенные ему из кладовой коммунхоза. Две кровати, стол, стулья, тумбочку и небольшой шкафчик

для посуды выгрузили и беспорядочно составили в большой комнате. Андрей очень устал, и Маша наскоро застелила кровати.

Сама она почти не спала. Ей хотелось как можно скорее привести в порядок, убрать и украсить этот первый дом, заработанный, добытый своими руками. Ночью, лежа без сна, она обдумывала, не сделать ли из отреза желтого ситца занавески? Или на занавески изрезать свой старый халат, а из ситца сшить новый сарафан? Кусок пестрого шелка, который она давно хранила на отделку, мог сойти за абажур. Не беда, что он не квадратный. Хорошо, что есть розовая скатерть, — размером она как раз подойдет к столу...

В доме еще пахло известкой и сыростью. Когда втаскивали вещи, снова затоптали грязью пол. При свете утра беспорядок казался еще ужаснее. Андрей жалобно морщился, но Маша его уверяла:

— К твоему приходу все будет замечательно. Вот поверь мне!

Растаскивая вещи по местам, она громко пела — благо домик стоял на отшибе, шуми сколько угодно.

В маленькой комнате поместились только кровати и тумбочка. Свои платья и костюм мужа Машенька повесила на стену и прикрыла простыней. В первой комнате, где была печка, поместились столовая и кабинет. Когда была расставлена мебель, Маша начисто выскоблила пол и занялась украшением своего дома.

Облупленную, порыжевшую тумбочку закрыла вышитая салфеточка. На окнах появились голубые занавески — халат был принесен в жертву. Абажур и розовая скатерть на столе необычайно украсили столовую.

Всю свою посуду Маша начистила до блеска и поставила в кухонный шкафчик.

К полудню пришла Дарья Ивановна. Она положила на стол несколько сдобных пышек и, поклонившись, сказала:

— Вот и слепили домик на доброе здоровье...

Потом заглянула в спальню и вздохнула:

— В изголовье-то пусто. Как бы от стены не надуло...

— Ну что вы, Дарья Ивановна! Не простудимся...

Поджав губы, старушка вытащила из-под полы жакета сверток и сдернула с него тряпочку. Семицветный иерусалимский коврик заиграл своими ярчайшими красками.

— Не совсем дарю, — строго заявила Дарья Ивановна, — на время даю. Пусть повисит, пока живете.

С ковриком получилась такая красота — куда там лампа-торшер! Теперь не хватало только цветов, но за ними не надо было далеко идти. Проводив Дарью Ивановну, Машенька, даже не притворив распахнутых окон, на один поворот ключа заперла дверь и побежала к лесной опушке, где у ручья росли особенно пышные травы.

Она рвала крупные, глазастые ромашки, малиновую гвоздику и воздушную кружевную травку.

Когда, вернувшись, Маша открыла дверь, то сразу почувствовала, что в комнате необычно пахнет. Острый, сладостный аромат спелых плодов перебил запах свежей извести и мокрого дерева. Он совсем не был похож и на полевые запахи цветов, которые Маша держала в руках.

На подоконнике возвышалась тростниковая корзинка, полная крупных оранжевых абрикосов. Поверх фруктов лежала большая роза.

«Это Степан Ильич, — сказала себе Маша. — Степан Ильич принес», — убеждала она себя, стоя над корзинкой. Потом взяла розу и поняла: не к чему себя обманывать. Степан Ильич не положил бы розы и не стал бы ничего делать тайком.

— Не надо этого, — сказала Маша вслух. И когда из-за деревьев вышел Аркадий, она повторила, глядя на него: — Я не хочу этого!

— Почему? — спросил Аркадий и шутливо поклонился. — Не отвергайте ничтожного подношения джинов...

Маша покачала головой:

— Нет, Аркадий, волшебство кончилось...

— Боюсь, что для меня оно только начинается, — тихо ответил он.

И почему, если все твои помыслы, вся любовь с другим, такие слова все же заставляют дрогнуть сердце?

— Маша, — сказал Аркадий, — я вас прошу, приходите вечером в клуб, у нас сегодня кино. Обещают картину об альпинистах. Приходите, хорошо?

Голос его умолял, а лицо было грустное.

«Проще надо держаться, проще, ничего этого не видеть», — подумала Маша и весело улыбнулась.

— Спасибо. Вероятно, мы придем.

Аркадий закусил нижнюю губу.

— Да. Все равно, — отрывисто сказал он, — я буду ждать.

Машенька не позвала его в дом. Пусть первым в комнаты войдет Андрей. Ведь то, что кажется им красивым и уютным, вероятно на взгляд постороннего человека выглядит совсем иначе. Кто поймет, что они оба приехали сюда, не имея ни одного знакомого, с тяжелым грузом болезни, а вот уже нашли себе друзей, создали свой угол, определили свое место в жизни. Конечно, хорошему нет конца, но для Маши хорошо то, чего она добилась своими усилиями. И другого ей не надо.

Она смотрела, как Аркадий отступал от окна, пятился, хватаясь за ветви деревьев, пятился до тех пор, пока она не отошла в глубь комнаты. Может быть, она была недостаточно внимательна к нему? Может быть, надо было протянуть ему руку, ободрить, утешить, развеселить этого счастливого с гладкой жизнью и здоровыми легкими?

Корзину Маша с трудом засунула в глубь шкафчика и заставила тарелками.

Андрей пришел поздно, усталый. Он ездил в Осетиновку за цементом, и тонкая серая пыль лежала на его куртке, ботинках и даже на лице. И пахло от него свежими опилками и смолой.

— Ну, какая ты у меня умница, — крикнул он еще с порога, — какая ты у меня хозяйка! А знаешь, я сперва к гостинице свернул по привычке, а потом вспомнил: э, нет! Теперь у нас своя хата есть!

Он долго вытирал ноги, чтоб не наследить в комнатах.

— Нет, как ты все это ловко устроила, Машенька! — восторгался Андрей. — Красиво, уютно! Вот мы теперь с тобой заживем!

Маша спрашивала:

— Нравится тебе? В самом деле нравится?

Она видела, что у Андрея сейчас ясно и хорошо на сердце. Стоило ли рассказывать ему, что приходил Аркадий со своим подношением? Это могло все испортить. И хотя она убеждала себя, что приходиться на новоселье с подарками принято и ничего особенного тут нет, но отлично знала — Андрея такими доводами не убедишь.

И вот эти ничтожные, как казалось Машеньке, сомнения отнимали у нее частицу радости.

Андрей сказал:

— Ты грустная? Ты устала?

Он подхватил ее и посадил на стол, а сам уселся перед ней на табурете.

— Угадай, что я тебе принес?

— Красивое или вкусное? — спросила Маша.

— И то и другое, — засмеялся Андрей.

Из карманов своей рабочей куртки он стал вынимать один за другим крупные абрикосы. Их было штук десять.

— Полкило, — вздохнул Андрей, — больше денег не хватило. Ты ведь их любишь?

— Люблю, — ответила Маша, — очень люблю. Спасибо, милый.

«Вот это уже мое», — подумала она, перебирая оранжевые шарики.

И все решилось само собой. Теперь невозможно было показать Андрею корзину, наполненную абрикосами. И не надо объяснять, откуда остальные. Доставай их на сладкое к обеду каждый день — Андрей все будет считать, что это и есть те полкило, которые он принес.

И, поджаривая к обеду картошку, Маша сказала полуправду, которая почти ничем не отличается от правды:

— Тут приходили мои знакомые с турбазы, звали нас в кино. Говорят, сегодня хорошая картина.

— Тебя приглашали? — живо переспросил Андрей.

— Почему меня? Обоих нас. Я одна не пойду. Мне хочется показаться с мужем.

— Не очень твой муж котируется, — усмехнулся Андрей, — а сегодня его и вовсе забраковали.

— Кто это? Кто? — ревниво спросила Машенька.

— Жена, давай обедать. Я голодный.

— Нет, сперва скажи кто? — Маша поставила на стол чугунную сковороду с жареной картошкой, залитой яйцами, тарелку редиски и кувшин молока.

— Роскошная еда! — одобрил Андрей. — Теперь если бы еще вилку — и все было бы отлично.

Маша знала, что он ее дразнит.

— Ну, Андрюша... — протянула она жалобно.

— Ладно, — согласился Андрей, — расскажу. Мы сегодня с доктором Вайнтраубом лошадей в колхозе брали, мне в Осетиновку, ему куда-то за пять километров к больному. Ну, я сел, как умею...

— Не скромничай, — повела головой Маша.

Отец Андрея был зоотехником большого коневодческого совхоза и растил сына «в седле и без седла», как любил говорить сам Андрей.

— Это что! Ты слушай дальше. Тут явилась эта пава Антонина Сергеевна. Носик подняла и заявляет: «У Андрея Петровича посадка против доктора никуда не годится. Андрей Петрович, — говорит, — как гвоздь в седле торчит, а настоящая, — говорит, — кавалерийская посадка, с наклоном, у доктора». А доктор еле на коня втащился, сидит, как коза на корове.

— Андрюшка...

— А что? Ни слова не соврал. И главное, победоносно вокруг поглядывает, гордится, что дама им восхищается...

— Не умеет она восхищаться! — сквозь смех крикнула Маша.

— Очень умеет. «Ах, доктор, какой у вас мужественный вид, если б вам лошадь получше, так прямо картинку пиши...» За точность выражений не ручаюсь, но в этом роде.

— Врешь, врешь... — негодовала Машенька.

— Ну что тебе, честное слово дать? Еще он поехал, а она ему ручкой, ручкой, жесты в воздухе. А в мою сторону одно презрение.

Маша сказала убежденно:

— Пусть не старается. Ничего не выйдет.

— Ну да, то, что твоего мужа обхамили, — это тебе безразлично, — возмутился Андрей, — а взаимоотношения доктора с Антониной Сергеевной живо волнуют. Интересно!

— Никаких там взаимоотношений нет и не может быть! У доктора Берта Семеновна и близнецы.

— Ох! А тебя все это касается?

— Каса́ется, — горячо сказала Маша. Она и сама не могла понять, что ее так разволновало.

— Смотри! — предостерегающе сказал Андрей. — Место тут маленькое, все друг друга знают. Верно, немало охотников сплетничать. Так вот я тебя предупреждаю — не опускайся до сплетни. Ты что-то большую дружбу с этой монашкой завела...

Никогда не видел Андрей своей жены в таком гневе! Тут он впервые услышал о своей нечуткости, о том, что он никогда не понимал людей, о том, что именно для таких, как Дарья Ивановна, делалась революция, и только тупые, ничего не понимающие чиновники приклеили ей ярлык, с которым она мучилась всю жизнь! И надо быть ослом, чтоб не видеть душевного такта, доброты, благородства...

— Хватит, Маша, хватит, — несколько раз прерывал ее Андрей.

— Выслушаешь все! — кричала Маша.

Потом она сидела на ступеньках крыльца, и ей было все равно, рассердился Андрей или нет, пойдут они в кино или нет. Она огорчалась тем, что Андрей проявил такую черствость. И если он сейчас дуется, то тем хуже.

Но Андрей вышел за ней и спросил растерянно, как маленький:

— Машенька, собираться мне в кино или как? — И добавил: — Ты что, сердиться на меня?

— Сержусь, — непреклонно сказала Маша. И тут же торопливо крикнула: — Собирайся, а то опоздаем!

Она сама повязала Андрею галстук, красный в серую полоску, в тон серому костюму. Причесала его. Придирчиво вертела во все стороны.

— Голову выше. Не горбись.

Андрей взмолился:

— Машенька, я уже очень хорош сам собою...

— Дурак ты! — не унималась Маша.

— Ну хочешь, я Дарье Ивановне ручку поцелую в знак раскаяния?

— Не паясничай. Я с тобой не шутя говорила, — холодно отрезала Маша, и он замолчал.

Хорошо иногда взять верх над мужем! Машенька всю дорогу измывалась: то он ее некрепко держит под руку, то плохой дорогой ведет, то надо спешить — опаздываем, то куда летишь — каблук сломаю...

И Андрей все терпел.

Не опоздали. Пришли даже рано. Маша знала, что Аркадий будет ее ждать где-нибудь у входа. Она нарочно не смотрела по сторонам. Андрей сказал: «Вон твои знакомые». Маша ответила: «Ну и пусть» — и, не оборачиваясь, потащила его в клуб.

Народу в зале было еще не много. По помещению взад и вперед метался культурник. Он ретиво таскал в задние ряды стулья и устанавливал их, переговариваясь с механиком, голос которого глухо доносился из будки.

— Ну как, Трошка, не подведешь меня сегодня?

— Кто зна... — доносилось из будки.

— Смотри, Трошка... Зарежешь... Начальство придет. Поаккуратней демонстрируй.

— Как аппарат, — отвечал Трошка, — аппарат дрянь. Развалюшка старая...

— Но, но, ты не очень... Товарищи, проходите вперед! Вперед, вперед проходите, — убеждал культурник туристов, входивших в клуб.

— Чего ж вперед, — сказала Машенька, — это если на концерт, тогда вперед, а когда кино, лучше назад.

— Под самым аппаратом тоже плохо, — возразил Андрей.

Они сели на стуле в середине ряда. В ту же минуту к ним подбежал культурник. Он оглядел Андрея и внушительно сказал:

— Товарищи, последние три ряда не занимать. Места особого назначения.

— Гостей ждете? — спросил Андрей добродушно. — Да ведь и мы тоже вроде гости у вас.

Он уже собрался пересесть, но культурник, распираемый важностью предстоящего посещения, нагнулся и доверительно сказал:

— Инструктор всесоюзного комитета физкультуры и, возможно, представители райкома...

— Сколько же человек? — громко спросил Андрей.

Культурник пожал плечами.

— Директор турбазы с супругой. А пол непокатый, так что впереди будут головы мелькать — кому это понравится? Согласитесь, неудобно. Или рядом будет теснить неизвестно кто...

— Известно кто, — сказал Андрей, — я буду теснить.

Вокруг засмеялись.

— Товарищи, — задохнулся культурник, — прошу спокойненько, а не то вынужденно примем меры...

Маше стало неприятно.

— Пойдем, Андрюша, — сказала она, вставая.

— Сиди! — Андрей крепкой рукой взял ее за локоть и усадил на стул. — Всем места хватит.

— Верно, всем должно хватить места и счастья, — прозвучал над Машиной головой знакомый голос. Аркадий пропустил вперед Лидочку, Михаила и сел так, что Андрей оказался в середине между ним и Машей. — Уважая начальство, будем уважать и друг друга, — сказал он культурнику.

Тот нервно пожал плечами.

— Если все так будут рассуждать, что ж получится? — обиженно сказал он.

— Отлично получится! — подтвердил Андрей.

Маша так и не узнала, явилось в этот вечер начальство или нет. Лучше бы оно не являлось. На середине картины, в самый трагический момент, экран вдруг задергался, заплесал и померк. Зажегся свет, и минуту спустя на сцене перед белым полотном появился высокий человек, который уныло и привычно произнес:

— Ввиду полной неисправности аппарата демонстрация картины прекращается. Для желающих могу досказать своими словами.

И, не обращая внимания на шум, выкрики и свистки, несущиеся из зала, продолжал:

— Роскошное утро осветило цепь гор, и безнадежное положение застигнутых лавиной определилось с беспощадной очевидностью. Они остались живые, но прикованные на карнизе отвесной скалы, не в силах пошевелиться. Спасут ли их — вот в чем вопрос?..

— Мурá, — сказал Аркадий, — деньги обратно!

Маша была очень разочарована. Она склонялась к тому, чтоб остаться хоть дослушать, чем все кончилось. Но ее никто не поддержал.

— Товарищи, — предложил Аркадий, когда они вышли на воздух, — пойдём к нам в палатку и выпьем по стакану вина.

Маша знала, что Андрей не пойдет. И он не пошел бы, но Аркадий протянул ему руку и сказал:

— Хорошо, когда человек вдруг оборачивается своей настоящей сущностью. И вдруг его узнаешь. Выпьем за такое.

— Всегда ли хорошо? — усмехнулся Андрей.

Но пошел.

Маша первый раз в жизни сидела в палатке. Это было очень приятно, особенно когда закрыли дверцу и казалось, что они в маленькой комнатке. Спальные мешки, на которые усадили Машу и Лиду, были мягкие,

пушистые. На пол Михаил постелил маленький красный коврик, и все уселись вокруг него. Аркадий так весело и шумно смеялся, что Маша подумала: «А может быть, мне только показалось! Ничего нет, и отлично!»

Она выпила стакан шампанского. Ей стало очень весело. Михаил, поджав под себя ноги и раскачиваясь, читал Хайяма. Аркадий и Андрей чокнулись и выпили, глядя друг другу в глаза. Лидочка сидела тихая и какая-то сонная. Маша снова выпила шампанского и съела целую плитку шоколада.

Аркадий сказал:

— Андрей, отпустите Машу с нами на Синие озера.

— А это уж пусть она решит сама.

И Маша согласилась.

5

Утром Андрей спросил:

— Ты что, вправду собираешься на озера?

Маша быстро ответила:

— Если ты не хочешь, я не пойду.

— Что за детский разговор, — недовольно сказал Андрей, — какое это имеет значение, хочу я или не хочу? И почему я должен хотеть или не хотеть?..

Потом он еще спросил:

— Эта экскурсия, кажется, с ночевкой?

— Довольно тебе! Никуда я не пойду.

Андрей походил по комнате.

«Стыдно стало», — подумала Маша.

Ему вправду стало стыдно. Он сказал:

— Только не простудись. Если пойдешь, надень мой лыжный костюм.

Это уже больше походило на согласие, и Маша им воспользовалась.

— Ключ будет под ступеньками, — сказала она деловито, — а пообедаешь в столовой.

Андрей ушел, не взглянув на нее, не улыбнувшись ей с порога.

Маша чуть было не крикнула: «Андрюша, я никуда не пойду!» Но в окно она увидела, как он прошел, высоко подняв голову, и на лице у него было выражение, которое Маша называла: «Не подходи ко мне».

«А что, в самом деле, — подумала она, — разве всегда должно быть так, как ему хочется?»

Впереди было огромное удовольствие, а разобраться во всем можно будет и позже.

В коричневых лыжных штанах и куртке Маша показалась себе похожей на плюшевого медвежонка. Положение немного спасла розовая кофточка, небрежно повязанная на макушке.

Михаил сказал: «Прелестно, прелестно!»

Аркадий посмотрел и широко улыбнулся:

— Отлично, Машенька!

Лидочка держала под уздцы небольшую горную лошадку, нагруженную палатками, спальными мешками и провизией. Маше позволили взять только сырой картошки.

Потом был переход через заросший глухой лес, где на голых сучьях старых сосен висели зеленые космы — «ведьмины волосы», а ноги тонули в глубоком мху. Был переход через деревья, поваленные лавиной.

Белые березки, пригнутые к земле, с вывороченными корнями, еще пытались жить, листья на них зеленели, ветви поднимались прямо вверх, как свечи, но это был уже мертвый лес. Под ногами трухляво оседали гниющие стволы, цеплялись за одежду сухие коряги. Полосой, уходящей высоко в горы, валялись в беспорядке стволы больших сосен и пихт. Снизу они были похожи на рассыпанные спички.

Аркадий не делал никакого различия между Машей и Лидочкой. Через горные реки с ледяной стремительной водой он всегда первой переводил Лиду. Круглый ствол, перекинутый через речку, был мокрым и скользким, голова кружилась, ноги срывались. Но Аркадий, ловко балансируя, бегал взад и вперед, доставлял на другой берег Лидочку, возвращался за Машей, шел к ней с протянутыми руками, и она бежала ему навстречу по гнущемуся бревну со счастливым сознанием своей безопасности.

Каждую минуту Маша чувствовала на себе радостный взгляд Аркадия. Всегда были рядом его руки, которые поддерживали ее, его плечо, на которое она могла опереться. И от одного этого сознания Маша делалась легкой, ловкой, и ей не надо было никакой помощи.

Больше четырех километров в гору поднимались они по лесным зарослям. Высокие травы скрывали с головой не только людей, но и смешную мохнатую лошадку, которую вел Михаил. Лошадь отлично знала дорогу, сама находила брод на реках и, ловко перебирая ногами, поднималась по узенькой тропе.

Маша говорила:

— Этому восхождению не будет конца. Заблудились мы, что ли?

И знала, что они не заблудились, потому что с Аркадием нельзя заблудиться и рядом с ним ни о чем не надо беспокоиться.

Они поднимались по толстым переплетенным корневищам, выпирающим из земли будто для того, чтобы легче было восходить на крутизну.

И наконец сквозь красноватые глыбы камня, нагроможденные в незапамятные времена «при художественном оформлении земли», как объяснил Михаил, сквозь темные стволы сосен мелькнул фосфорически-яркий голубовато-зеленый просвет. Это была вода озер, лежащих одно над другим. К последнему, круглому, как чаша, сползал белый язык ледника. В зеленых водах четко отражались горы, деревья и снега.

Вблизи вода казалась черной и была совершенно ледяной, но Аркадий в одну секунду разделся и поплыл по озеру, раздвигая воду широкими движениями крепких рук.

Маша чуть не крикнула ему: «Что вы делаете! У вас будет обострение!» — но вовремя поправилась:

— Вы простудитесь...

— Никогда, — смеялся он, выбираясь на берег.

Две маленькие палатки установили в лесу у третьего озера. Развели костер. Лидочка хозяйничать не умела. Она сидела на камне и смотрела на озеро, а подходя к палатке, чуть не затоптала целое семейство чудесных белых грибов. Хорошо, что Маша их заметила.

— Лида, что ж вы под ноги не смотрите? — крикнула она, опускаясь на колени.

— Грибы? — спросила Лидочка. — Но ведь мы не за этим сюда пришли...

Она даже не остановилась, но к Маше сейчас же подбежал Аркадий, и они стали вместе выбирать из мха тугие, толстобокие боровики.

— Как же это мимо пройти? — удивлялась Маша.

— Лидочка? — спросил Аркадий. — Вы ее не поймете, Маша. Она человек целеустремленный. Вот идем на озеро, она безропотно и упорно будет идти до озер. Но уж больше с нее не спрашивайте. И во всем так.

— Но ведь это хорошо — целеустремленность. А я не такая. Мне все по пути надо захватить. И то и другое...

— И чудесно, — сказал Аркадий, — и, пожалуйста, ничего не меняйте в себе, Машенька, прошу вас!

Маша вспомнила эти слова, когда ночью они с Лидой лежали в палатке, погруженные в спальные мешки.

К вечеру погода испортилась. Сваренный над костром суп с грибами и картошкой пришлось есть в палатке, потому что вдруг заморосил мелкий холодный дождь.

— Это еще уютнее, — решил Аркадий, когда вокруг зашуршали в листьях дождевые капли. Под большой пихтой было сухо, дождь не проходил сквозь ее густые ветви. Костер догорал, и душистый дымок залетал в палатку. Где-то рядом фыркала стреноженная лошадь.

Маша пила сладкий розовый ликер — это было очень вкусно, хотя Михаил сказал: «Черт знает, что за пойло, парфюмерия какая-то...»

Она с удовольствием ела консервы из ананасов и, очень довольная, легла спать в мешке — теплом и мягком, как гнездо.

Аркадий и Михаил ушли в другую палатку. Лида лежала неслышно. Странная девушка! С ней нельзя было ни поговорить по душам, ни подружиться. Маша понимала, что у Лиды нет оснований относиться к ней хорошо, ну хоть бы уж отгрызнулась разок!

Упорный дождик все же пробился сквозь пихту и застучал по палатке — кап, кап...

Маша зажмурила глаза. Спит сейчас Андрей или не спит? В чем ее вина перед ним? И если нет вины, то почему ей не хочется сейчас вспоминать о нем?

Потом она подумала, как защищенно, как легко будет жить жена Аркадия. И не только потому, что он такой сильный, ловкий и все умеет. Он ей скажет: «Ничего не меняй в себе, дорогая, я люблю тебя такой, какая ты есть...» Если ей не понравятся горы — он увезет ее на море, не понравится море — они поедут куда угодно. Для него все так просто. И она отдохнет от всех забот, от всех волнений, если они у нее были...

Лида тихо спросила:

— Маша, вы спите?

— Не сплю, — ответила Машенька. — Дождь...

— Вы спали, — настаивала Лида. — К палатке подходил Аркадий Николаевич, постоял у двери и пожелал вам спокойной ночи. А вы не слышали.

— Почему же он мне пожелал?

— Вам, — твердо сказала Лида и, помолчав, добавила: — Вы знаете, что я на днях уезжаю?

— Знаю. Вы едете к морю.

— Нет. Уезжаю только я. Домой. И, может быть, Михаил. Аркадий Николаевич раздумал. Он не поедет на побережье.

Маша молчала.

— Он никуда не поедет, — тихо говорила Лида. — И вот я все думаю, думаю и не понимаю...

Она повернулась лицом к Маше и придвинулась к ней.

— Людей должны сближать общие интересы, — сказала она, — общее дело. Два года я работаю с Аркадием Николаевичем. Под его руководством. Мне казалось, что он ко мне хорошо относится. Нет, вы не думайте, что я дура, но ведь должна быть какая-то закономерность...

— В чем? — спросила Машенька.

— Во всем, — убежденно ответила Лида. — Я поняла бы, если б вы были очень красивы или умны. Но ведь вы даже не можете говорить с ним о том, что составляет дело его жизни. Он знает вас считанные дни. Что же это?

Такая горькая искренность была в голосе Лиды, что Машеньке стало невозможно ответить фальшивыми словами: «Я вас не понимаю», или: «Да ничего такого нет». Она сказала:

— Все это пройдет. У меня своя жизнь.

— Теперь это не имеет значения.— Голос Лиды дрогнул.— Для меня,— добавила она.— Но вы все-таки скажите мне. Вот у вас муж, своя жизнь и вот еще Аркадий Николаевич. Как вы этого добились?

— Никак,— прошептала Машенька,— никак, честное слово...

По палатке барабанил дождь. Вокруг бродил кто-то тяжелый, трещал сучьями.

Медведь! Маше стало жутко и смешно.

— Друзья мои, вы не промокли? — раздался голос Аркадия.

Друзья! Разве они не могли быть друзьями? На следующий день вечером, прощаясь у переулка своего дома, Маша тихо сказала Аркадию: «Спасибо». Она благодарила его за то, что он не сказал ей ни одного слова, не сделал ни одного движения, которые легли бы на сердце тяжелой ношей.

В комнате стол был завален бумагами. Расчерченные химическим карандашом, покрытые цифрами, с обтрепанными углами, эти бумаги каждый вечер появлялись на столе. Андрей сидел над ними допоздна. Сейчас с ним в комнате был Степан Ильич.

— Прибыла, путешественница? Ну как, Синие озера на месте? — спросил Рассохин.

Андрей посмотрел холодными глазами. Он был слишком спокоен и даже не заметил, что стопка бумаг, сдвинутая его локтем, веером разлетелась по полу.

Маша вспомнила, какими были озера, когда она их покидала. День выдался хмурый, но и под серым небом они лежали зеленовато-голубые, зеркальные, сказочные.

— Озера на месте, — ответила Маша, — вот бумаги ваши на полу. — И она прошла в спальню.

Степан Ильич засиделся до глубокой ночи. Маша переоделась, напоила мужчин чаем и легла в постель, а они все сидели, щелкали на счетах и негромко разговаривали. Иногда Андрей смеялся, и Маша думала: «Мне он небось не улыбнулся».

Она сердилась на Андрея. Если бы он встретил ее ласково, с нежностью, которая так нужна сейчас, ей было бы много легче побороть в себе тревогу сердца. Почему он этого не понимал? Почему?

Сколько раз в дни болезни Андрея, когда он лежал, собирая последние силы, Машенька ставила себя на его место, думала, чувствовала за него и готова была взять на себя его боль. Почему же сейчас она могла думать только о себе?

Андрей вошел и, стоя в ногах Машиной кровати, посмотрел на жену. Она открыла глаза.

— Спи, спи, — сказал он торопливо.

Может быть, от пестрого абажура он казался таким бледным?

— Мы с тобой две недели не были у доктора...

Андрей молчал.

— Пойдем завтра.

— Посмотрим...

Два дня не было Маши дома. А ведь, бывало, стоило ей отлучиться на час, как ровно на тот же час хватало разговоров о том, что она делала без мужа.

— Спи, — повторил Андрей и потушил свет.

Да, но теперь попасть на прием к доктору Вайнтраубу оказалось не так-то просто. Они прошли мимо дома доктора. Берта Семеновна сидела на веранде и шпилькой вынимала косточки из вишен.

— Доктор в санатории, — сказала она, — сейчас столько больных, наплыв. Он там у себя в кабинете даже ночует.

Маша знала, как вызвать улыбку на лице Берты Семеновны.

— Как поживают дети? — спросила она.

— Дети, — задумчиво повторила Берта Семеновна, — что ж, дети растут. Лишь бы здоровенькие.

— Пойдем, — позвал Андрей.

— До свидания, — попрощалась Машенька.

Берта Семеновна рассеянно посмотрела на нее.

— Ах да, — ответила она, — до свидания...

Маша еще не успела отойти, как Берта Семеновна ее окликнула.

— Вы его увидите, — сказала она, — передайте, пусть придет домой обедать. Сегодня вареники с вишнями, он любит...

Снова Маша и Андрей пошли рядом, перекидываясь ничем не согретыми словами: «Здесь больше березы, чем сосны», «Зря ты не надела пальто — кажется, будет дождь», «Мне не холодно», «Пожалуйста, подшей обшлага на моих старых брюках, мне надо съездить в Лещинку»...

Они уже прошли хозяйственный двор, когда их догнала Берта Семеновна. Задыхаясь от быстрых движений, она отозвала Машу в сторону.

— Не надо, — сказала она, — пожалуйста, ничего не говорите про вареники. Не надо! Хорошо?

— Что она опять? — недовольно спросил Андрей.

Маша промолчала.

В длинном коридоре главного корпуса пахло, как всегда пахнет в санаториях, слегка лекарствами, цветами. И особой, не домашней чистотой.

У двери с надписью «Главный врач» Маша постучала. Она привыкла вызывать к Андрею врачей, водить его на рентген, договариваться с сестрами — это были ее дела.

В дверь выглянула Тося. Увидев Машеньку и Андрея, она совсем вышла из кабинета и небрежно поздоровалась:

— Драсте...

В накрахмаленном хрустящем халате, с белой шапочкой на пышных волосах она была просто красавица.

— Доктор у себя? — спросила Маша.

— У себя-то он точно, — медленно сказала Тося, — да вот не знаю, сможет ли он принять.

— Я его больной, — угрюмо напомнил Андрей.

— У него нынче сто человек больных. Подождите.

Тося ушла обратно в кабинет, плотно притворив за собой дверь. Маша и Андрей долго стояли в коридоре. Андрей наконец сказал:

— Я уйду.

— Ну, уж раз собрались, подожди, — упрашивала Машенька.

— Уйду, — раздраженно повторил Андрей, — я на работе. Тут три обеденных перерыва просидишь.

— Твоя работа от зари до зари, так ты никогда к врачу не выберешься, — сердитым шепотом убеждала Маша.

Наконец Тося открыла дверь и крикнула:

— Ну, кто там ждет? Войдите!

Она стояла у застекленного шкафчика, перебирая какие-то блестящие инструменты, а доктор Вайнтрауб, нахмуренный и важный, сидел за своим столом.

— Ну, на что жалуетесь? — встретил он Андрея своей обычной фразой.

— На лице написано, на что жалуетесь, — вмешалась Тося.

Доктор не выставил Тоську из кабинета, как этого хотелось Машеньке. Он спросил:

— Когда последний раз были на рентгене? Что принимаете? — и приступил к осмотру.

Машу сердило, что Тося поглядывает на обнаженного по пояс Андрея и усмехается своей ленивой усмешкой. И вообще, для чего она торчит в кабинете?

— Тут одно местечко мне не нравится,— сказал доктор Вайнтрауб, морща круглое лицо,— а в общем сдвиги есть. Весьма положительные. Да. Что вы принимаете? Ну так вот, теперь будете принимать...

Он стал выписывать назначение, а Маша сказала, поглядывая на Тосю:

— Доктор, а у вас дома сегодня вареники с вишнями, и Берта Семеновна велела вам обязательно прийти к обеду.

Тоська не моргнула глазом. Доктор Вайнтрауб посмотрел на Машу, набрал в грудь воздуха, чтобы ответить, открыл и снова закрыл рот.

— Что за еда для мужчины — вареники, — насмешливо проговорила Тося.— Это, верно, вы своего мужа варениками закармлили до болезни...

И, усмехнувшись Маше в лицо, она вышла из комнаты, не взглянув на доктора Вайнтрауба. А он, бедный, сжался, заметался и поспешил выставить Машу и Андрея из кабинета:

— Ну все, товарищи, все! Об остальном в другой раз,— и выбежал догонять Тоську.

Маша ждала, что Андрей скажет: «Допрыгалась? Надо тебе мешаться в чужие дела!»

Но он и на этот раз промолчал. Ушел на работу, а утром уехал в Лещинку. Маша приготовила его любимый завтрак — разбила три яйца всмятку, сильно посолила, поперчила, перемешала с кусочками хлеба. Андрей ел, не поднимая лица от газеты. И Маша думала: «Вот, наверное, так, день ото дня, люди перестают разговаривать, перестают понимать друг друга, перестают любить...»

Ей было нестерпимо это молчаливое отчуждение. Лучше уж поссориться, накричать, выговориться. Она стояла над грязной посудой и водила пальцем по столу, задумчиво глядя в одну точку.

Андрей уже оделся, переступил порог, а потом торопливо вернулся, подошел к Маше, взял обеими руками ее голову, поднял к себе, посмотрел, поцеловал и так же молча ушел.

Маша глубоко вздохнула.

После ухода мужа на нее напала жажда деятельности. Лучше всего такие порывы удовлетворяла стирка. Содрав с постелей простыни и наволочки, Машенька поставила на печку бачок с водой и помчалась к Дарье Ивановне за корытом.

Она прибежала как раз в то время, когда Дарья Ивановна во дворе заливала корыто водой. Маленькое деревянное корытце — предмет зависти Машеньки и гордости Дарьи Ивановны — выглядело печально: дерево рассохлось и через большие щели фонтанчиками выливалась вода.

— А я как раз стирку наладила,— разочарованно протянула Маша.

Дарья Ивановна с сердцем плеснула в корыто очередное ведро.

— Верно хорошие люди говорят: «Не дашь — один раз сволочью будешь, дашь — сорок раз будешь». Пожалела соседку — хорошую вещь одолжила. Неделю жду, другую жду. Когда пошла — смотрю, корыто у нее без воды в сарае валяется. Молчком и унесла. А теперь стану требовать — каково ей будет?..

Машенька повернула было обратно.

— Цинковое возьмите! — крикнула вслед Дарья Ивановна.— Только чтоб мне его на огонь не ставить.

К вечеру все было перестирано, высушено, выглажено. Андрей обычно приезжал последним автобусом, часов в одиннадцать. Маша поставила в духовку чайник и стопку блинчиков.

Весь день, пока руки были заняты работой, она вспоминала Синие озера, ночь в палатке. Твердила себе: «Все ушло, все кончилось, осталось»

только воспоминание — и хорошо, и ничего больше не надо...» Но воспоминание было еще таким близким... Когда на закате Маша села на ступеньку своего крыльца, ей захотелось снова испытать на себе счастливый взгляд Аркадия, услышать его голос. Стоило ей пройти несколько десятков шагов, и — она знала! — каким желанным будет ее приход.

«Пожалеешь потом, — сказала себе Маша. — А почему? Повидаюсь, попрощаюсь... Скучно сидеть одной весь вечер... Нет! Никуда ты не пойдешь... Ну, хоть в березовую рощу... Вон какое небо зеленое... Пойду...»

Березовая роща раскинулась на берегу реки. В вечернем сумраке от белых стволов исходило сияние, будто березки за день набрались солнца и теперь излучали его свет.

Маша не удивилась, когда ей навстречу вышел Аркадий. И он не удивился.

— Вот я вас и увидел, Машенька, — сказал он ликующим голосом.

Он взял Машу под руку, повел среди березок к реке, и ее стиснутые в кулак пальцы лежали в его большой крепкой ладони.

— Машенька, — иногда повторял Аркадий.

Тогда она, склонив голову, лукаво посматривала на него. И он, поймав этот взгляд, умолкал. А потом снова говорил:

— Машенька...

Они остановились на самом берегу, у двух березок, которые росли из одного корня. Маша встала между белыми стволами, прислонившись к шероховатой теплой коре.

— Нет мне без вас воздуха, Машенька. Мне темно без вас...

Она слушала и не находила в себе силы ответить: «Мне этого не нужно, я ничего не хочу об этом знать».

Аркадий сказал еще:

— Я полюбил вас, Машенька.

Он нагнулся и поцеловал ее, поцеловал в щеки, в лоб, в губы.

...Видела ли это Тоська? Она внезапно вышла из леса — вся белая, как ствол березы. За ней, держа ее за руку, шел доктор Вайнтрауб. Тоська оглядела Машеньку, усмехнулась, как всегда — будто нехотя, и скрылась, исчезла среди берез.

Маша рванулась в сторону. Аркадий держал ее, крепко схватив за плечи.

— Ты больше никогда не увидишь этих людей, — сурово сказал он, — я увезу тебя.

Маша снова прислонилась к дереву. Рядом шумела река, а на той стороне чернел лес. И в этом лесу сквозь деревья пробивался маленький огонек. Он то исчезал, то появлялся, придвигался все ближе — яркий, искрящийся во тьме.

Маша подумала: «Это ночной автобус». И вспомнила: «Это едет Андрей». Она увидела строгое родное лицо Андрея, его требовательные и нежные глаза. Почему его жена, его радость, стоит тут и позволяет чужому человеку гладить себя по голове, почему слушает его ласковые слова? Какая же цена ее любви, ее верности? Какая цена ей самой?

— Машенька, — шептал Аркадий, — поверь мне — чем скорее, тем лучше. Завтра же ты уедешь со мной!

Он все решил. А жизнь Машеньки и Андрея, их разговоры, их планы, их большая общая судьба? Что он об этом знал?

Аркадий протянул к ней руки. Она отодвинулась. Ей стало неприятно его прикосновение.

— Я жена Андрея, — сказала Маша.

— Тебе будет очень хорошо со мной...

— Но ведь я не люблю вас! — сказала Маша.

В ее голосе была такая искренность, что Аркадий не двинулся с места, когда она повернулась и ушла ровным и твердым шагом.

Только выйдя из рощи, Маша побежала, чтобы успеть зажечь огонь в доме, чтобы успеть открыть дверь мужу и услышать его голос:

— Машенька, посмотри, какой хлеб я привез... подовый! Нигде так вкусно не пекут, как в Лещинке...

Маша понимала, что Андрей готов забыть и Синие озера и все, что томило их обоих в эти дни. Он смотрел на нее с улыбкой, на которую Маша сейчас не могла ответить. Он стоял перед ней, готовый ее обнять, — она отошла к столу и занялась посудой.

Андрей снова помрачнел — «не хочешь, не надо». Конечно, он обиделся, но Маша не смела быть с ним ласковой после березовой рощи...

Она лежала в постели и смотрела сквозь открытую дверь, как он читает, сидя за столом, как знакомым движением головы отбрасывает назад волосы, как проводит рукой по лбу. Это счастье, что он был рядом с ней, что он никуда не уйдет, а если уйдет, то всегда вернется домой, к Маше.

Она думала: «Сейчас позову и скажу: «Андрюша, вот что я надела-ла!» Мне станет легче. А ему? Ему станет горько, невыносимо. А его жаль больше всех на свете. Его жаль, потому что с ним так поступила его жена. А он ничего не знает. Сидит и читает газету...»

— Андрюша, — позвала Машенька.

Он весь встрепенулся, торопливо встал и подошел к ней.

Как он был ей дорог!

— Закрой окно, на меня дует, — тихо сказала Маша.

Утром пришла Дарья Ивановна.

— Подворачивается случай вам недорого купить корыто, — сообщила она. — Докторша уезжает, распродает кое-чего. Сходили бы.

Машенька сидела удрученная, не зная, куда себя девать. У нее никогда не болела голова, но если ей бывало грустно, она придумывала себе головную боль. Ей нравилось, что Андрей ходил на цыпочках и каждую минуту спрашивал:

— Ну как, легче тебе?

И в этот день она с утра пожаловалась на головную боль. Ей и вправду было не по себе.

Андрей сказал:

— Не вставай, я все сам сделаю.

Маше хотелось остаться одной, чтобы, лежа с закрытыми глазами, обдумать свою жизнь и понять, в какой день, в какой миг она перестала быть достойной своей любви. Когда она нанесла ей первую царапину, запачкала ее первым пятном? И хотя сейчас она любила Андрея больше, чем прежде, она ощущала свою вину и перед ним и перед собой.

Ничего не удалось додумать. Пришла Дарья Ивановна.

— А у докторши, говорят, корыто приличное. И таз эмалированный. Детей она в нем купала.

Машенька спросила:

— А почему она уезжает?

— Нас не касается, почему уезжает, — вздохнула Дарья Ивановна. — Люди болтают на Антонину Сергеевну. Будто докторша ее в любви с мужем застала. Конечно, не каждая женщина стерпит. Ну, это их дело. А вам необходимо корыто захватить.

Целый день Машенька протомилась — идти ей к Берте Семеновне или нет? Ее пугало, что жена доктора примет ее участие за скверное мелкое любопытство. Но потом она вспомнила, что никогда не видела у Берты Семеновны ни подруг, ни приятельниц. Может быть, она сейчас одна и ей нужно чем-нибудь помочь.

Близнецы встретили Машу в лесу, возле своего дома. Теперь, когда Маша знала здесь каждую тропочку, она видела эти ели, папоротники и сосны совсем другими, чем в первое утро своего приезда. Они были не

менее красивыми, но другими. Другими были и близнецы, которые подбежали к Маше и радостно сообщили:

— Ага, мы к дедушке в Симферополь едем...

— К дедушке!

— А там белая кошка... Ага, ага!

В опустевшей, странно прибранной комнате перед раскрытым сундуком сидела Берта Семеновна и думала, положив на колени руки.

Она подняла на Машу выпуклые серые глаза и попыталась улыбнуться.

— Это вы? А то все ходят, покупают...

— Нет, я пришла помочь, если надо...

— Что мне помогать? — покачала головой Берта Семеновна. — Уложить чемоданы? Это я умею. Когда мы были молодые, всю жизнь ездили. Год поработаем на одном месте — опять перемена. Молодым легко.

Берта Семеновна говорила медленно. И Маша подумала: «Ей, наверное, сорок лет, а дети маленькие...»

Жена доктора будто ответила на ее мысли:

— У нас долго детей не было. А без детей я семьи не признавала. Лечилась... В Цхалугубо работали, в Эссентуках работали — лечилась... И такие дети, такие мальчики.

Она вынимала из буфета посуду, оглядывала каждую вещь и, заворачивая в тряпки, укладывала в сундук или же снова ставила в буфет на старое место. Положила обратно тарелки с золотым ободком, хрустальные бокалы. Нерешительно подержала в руках большую старинную чашку с позолотой, хотела уложить в сундучок, потом раздумала и сунула в буфет.

— Берта Семеновна, не уезжайте, — горячо сказала Маша, — может быть, еще все уладится.

Женщина выпрямилась, и лицо ее стало непреклонным.

— Можно есть черный хлеб с землей, с соломой, но нельзя есть чужие объедки, — сказала она.

Машенька опустила голову.

— Мама, — радостно закричали во дворе близнецы, — иди! Барахло покупают...

— Я сейчас. — Берта Семеновна вышла.

Недолго думая, Машенька вытащила из буфета позолоченную чашку, какую-то вазу — все, что казалось ей покрасивее и подороже. Она торопливо заворачивала вещи и рассовывала их в сундучок поглубже.

Жена доктора вернулась, держа в руке смятые деньги. Будто оправдываясь, она сказала:

— Там всякие банки, посуда, детские кроватки. Они здесь никому не будут нужны, а мне их трудно везти в Симферополь.

— Кто у вас в Симферополе? — спросила Маша.

— Отец у меня. Он старенький, но, в добрый час сказать, здоровый. Теперь хорошую пенсию получает. Я тоже буду работать. Нет, скатерть не надо класть! — заторопилась она, видя, что Машенька закладывает в сундук большую синюю скатерть. — Эту, новую, я здесь оставляю, может быть, гостей принять...

Машенька все-таки ухитрилась за ее спиной сунуть в сундук и скатерть.

Возвращаясь домой, Маша посмотрела на Тоськины окна. Вот здесь она ночевала в первую ночь приезда — как давно это было!

Лето перевалило за половину, дни заметно стали короче. В домах уже зажигали огни, но Тоськины окна оставались темными. Она, верно, в саунатории. На что ей доктор Вайнтрауб? Как жестоко она оторвала от семьи этого маленького хлопотливого человека. Если бы Маша могла сейчас пойти к ней и высказать все, что думает, — пусть Тоське станет стыд-

но! Но после вчерашней встречи Тоська посмотрит ей в глаза, усмехнется и спросит: «А что вам, с вашей большой любовью, понадобилось в березовой роще?»

Кто-то кричал позади на дороге:

— Марья Владимировна!

Так ее называл только Рассохин. Но голос был низкий, хриплый. Машенька обернулась. По дороге медленно двигалась бричка. Крепкая рабочая лошадь с мохнатыми ногами, сдерживаемая возницей, в котором Маша узнала сторожа со строительства — Ивана Лукича. На бричке в странно скованной позе полулежал Степан Ильич.

— Насилу вас докричались, — сказал старик. — Садитесь, подвезем.

Степан Ильич посмотрел на Машу, улыбнулся и чуть кивнул головой. «Чего это он молчит?» — подумала Маша, усаживаясь на сиденье. Рассохин и тут не пошевелился, а только чуть скосил глаз — посмотрел, устроилась ли Маша.

Он, конечно, все знал — про Тоську и про доктора, — все знал и все мог сделать, если б захотел. Пожалуй, он был единственным человеком, которого послушалась бы эта взбалмошная баба. Чем виноваты маленькие близнецы? Ведь нельзя же так! Надо кому-то вмешаться и помочь.

Маша не подумала, удобно ли говорить об этом Степану Ильичу. Когда ей казалось, что она права, ее уж ничто не могло остановить.

Он выслушал и долго молчал. Потом ответил медленно, с расстановкой:

— Слишком много помощников было, вот ведь беда в чем. И докторше нашлись охотники глаза открыть. Плохо...

Он замолчал. И только теперь Маша увидела, что он болен, тяжело болен. Каждый толчок повозки, каждое слово причиняли ему мучения. Но он все-таки еще сказал:

— Теперь Андрей Петрович закрутится... Я уже не помощник ему. Ценный он у вас мужик. Из настоящей человечины сделан. Это вы не ошиблись...

Дрожки подъехали к дому Рассохина. Иван Лукич быстро соскочил на землю, подошел к сиденью и подставил Степану Ильичу плечо. Очень медленно, соразмеряя каждое движение со своими силами, Рассохин стал подниматься на ноги. Маша хотела ему помочь, но он сказал свистящим шепотом:

— Не надо... — И добавил: — Дарью Ивановну пошлите...

Утренние автобусы уходили в семь часов. Еще вечером Маша напекла сладных коржиков близнецам на дорогу.

Андрей пробурчал:

— Не ходила бы. Плохо выглядишь, зеленая какая-то...

Сам он накануне до поздней ночи просидел у Рассохина. Только Дарью Ивановну и Андрея допускал к себе Степан Ильич в дни болезни. Андрей вернулся домой угрюмый и подавленный.

Машенька неуверенно сказала:

— Но ведь у него часто так бывает...

Андрей покачал головой:

— На этот раз совсем плохо.

Маша не выпалась. И в самом деле, может быть, лучше ей не ходить? Но Берта Семеновна вчера сказала: «Дети будут рады, если вы придете. Вы их так любите».

На автостанции уже толпился народ. Берта Семеновна сидела на скамеечке, окруженная чемоданами, свертками, авоськами. Близнецы в парусиновых матросских костюмчиках вертелись возле автобуса.

Отъезд жены доктора вызвал большой интерес в поселке. Санитарки и подавальщицы санатория, жены строительных рабочих, какие-то ста-

рушки, сбившись в кучу, горестно смотрели на Берту Семеновну, вздыхали и покачивали головами.

Среди них Машенька заметила мать Виктора — Фросю. Подперев щеку рукой, та громко рассуждала:

— Это просто не на того человека она напала. Доведись до меня, я бы в жисть не уехала. Я сейчас на людях ей полные глаза наплевала бы да за кудери об стенку, об стенку... Не разбивай семью, не сироти детей, подлюга!

Берта Семеновна ничего не слышала. Ее глаза повсюду следовали за мальчиками: «Боренька, детка, не лезь под машину! Семочка, иди сюда, я тебе ручки вытру...»

Машенька присела рядом с ней на скамейку. Последние минуты, самые тягостные, когда не знаешь, о чем говорить, скоро, к счастью, были прерваны необходимостью занимать в автобусе места, рассовывать вещи, усаживать детей. Когда Берта Семеновна уже устроилась у окошка, на станцию быстрой деловой походкой вошел доктор Вайнтрауб. Женщины, переглядываясь и одергивая друг друга, замолчали и отступили. Доктор неуверенно искал глазами жену. Она его окликнула:

— Веня...

Он подошел и встал у автобуса, не зная, что сказать, что сделать.

Это было так тягостно, что Маша отвернулась. И сейчас же она увидела Лидочку и Михаила. Они вошли в ворота станции — Лидочка в сером дорожном костюме с клетчатой сумкой в руках, Михаил в кофейном макинтоше, мягкой шляпе, с двумя чемоданами.

Лидочка подошла к Маше со своей обычной бледной улыбкой.

— Вы здесь? А я думала, вы тоже на поляне...

Маша поняла: Аркадий ушел на высокогорную поляну.

— Как видите, я дома, — ответила она.

Михаил поставил чемоданы на землю.

— Да... Не вышло у нас съездить к морю в этом сезоне, — проговорил он, укоризненно покачивая головой. — Кто-то перепутал все наши планы...

Маша строго посмотрела на него, и он залопотал:

— Кланяйтесь Аркадию. Скажите, пусть даст телеграмму, когда примерно его ждать...

Маша хотела ответить: «Вряд ли я его увижу», но промолчала.

Автобус тронулся. Шофер уже вывел машину за ворота и прибавил скорость. Маша махала рукой Берте Семеновне, близнецам, Лидочке.

Доктор Вайнтрауб стоял один посередине двора станции. Вдруг он спохватился, заметался и побежал за автобусом, размахивая руками.

— Остановите! — кричал он. — Пойдите!..

Кто-то из шедших навстречу увидел его и сделал знак шоферу. Машина замедлила ход. Доктор подбежал к автобусу.

— Берта! — крикнул он и беспомощно огляделся. Вокруг были люди. Из окон автобуса смотрели чужие любопытные лица.

— Береги детей, — упавшим голосом сказал доктор. — Береги детей, — повторил он.

И, отвернувшись, пошел, почти побежал...

Маше было невозможно полно и счастливо жить без душевной близости с Андреем, когда она не могла рассказать ему о каждой своей мысли. Она как-то ослабла. Иногда совсем не хотелось вставать с постели. Пропал аппетит ко всему, даже к конфетам, что было уже просто удивительно.

И ничто не радовало. Даже небольшое, легонькое деревянное корыто, которое не купишь ни в одном магазине и в котором так приятно стирать.

Корыто принесла Дарья Ивановна.

— Опять вам посчастливилось. У докторши не удалось, ну уж теперь пользуйтесь.

— Откуда такое, Дарья Ивановна? Сколько стоит?

— А сказать по правде, так ничего не стоит. Антонины Сергеевны вещь. У меня теперь и стиральная досочка к нему есть и рубель со скалкой. Это вместе будем пользоваться.

— С кем вместе?

— Вы со мной. Это все мне подарено. На новое положение переходит Антонина Сергеевна. Ей теперь хозяйством заниматься не придется. Обед, завтрак, ужин — все полагается. И подадут и примут. Стирать-то ей и раньше в прачечной стирали...

— Не нужны мне ее вещи!

— Ладно. Не вам дарено — мне. Это я как бы от себя даю. А ее положение не шибко завидное. Ходи да оглядывайся. Вчера заявила ко мне — худая, от красоты мало чего осталось. «Обрыдло, — говорит, — мне все. Иди, — говорит, — забери, что там тебе нужно, всякие хуры-муры». Ну, я кой-чего взяла. Керосинка у нее почти что новая, это, возможно, я в получку ей отдам сколько-нибудь.

Маша знала, что Дарья Ивановна любит кофе. Она заставила себя подняться с кровати, заварила кофейничек.

— А сама что ж? — спросила Дарья Ивановна, аккуратно берясь за чашку.

— Да ничего не хочется. Тошнит даже.

— Ага, — спокойно сказала Дарья Ивановна. — От этого все ваше томление и есть. Добежали бы до Анны Павловны, она эти дела понимает.

— Чего там понимать? Просто тоска какая-то... Степан Ильич больной, Андрюша дотемна на работе...

— Что ж Степан Ильич, прощаться скоро будем со Степаном Ильичем...

Дарья Ивановна сказала это с такой беспощадной простотой, что у Маши закололо в сердце.

— Что вы, Дарья Ивановна! Как можно так говорить! Неужели вы его совсем не любите?

Дарья Ивановна горько усмехнулась.

— Степан Ильич — дорогой человек, — сказала она. — Когда меня как вредоносную религиозную заразу определили, он один не побоялся — даром что партийный человек. К себе на строительство взял. Я через него в трудящиеся вышла. А только смерть разума не приемлет.

И обе они — Маша и Дарья Ивановна — сидели молча над остывающим кофейником...

Под вечер Маше пришлось побежать в санаторий за доктором. Рассохну стало совсем плохо. Анна Павловна в белом халате постучала Маше в окошко.

— Попросите Вениамина Борисовича прийти...

«Не пойду я туда, к Тоське», — хотела ответить Маша, но Анна Павловна добавила:

— Боюсь я этой ночи... — И Маша вдруг поняла, чего она боится. Ей сразу стало все равно — Тоська не Тоська, лишь бы только хоть что-нибудь сделать для Рассохина, который мог умереть в этот теплый, озаренный закатным солнцем вечер.

Она сразу же побежала на ту сторону.

Сейчас Маше легко было отлучиться из дому. Раньше она говорила:

— Андрюша, я уйду, ты без меня не скучай...

— Куда ты пойдешь?

— Куда хочу, туда пойду.

— А может, лучше не ходить?

— Нет, пойду!

— А я не отпускаю!

Теперь все было иначе. Со строительства Андрей приходил домой только обедать. Потом он отдыхал — на этом Маша настаивала всеми силами. А затем отправлялся в контору — и уже допоздна. Делай, что хочешь!

Сперва Машенька забежала в санаторий. Кабинет был на замке:

— Он, поди, дома, — сказала ей санитарка. — Нынче он дома и спит и ест. Завтрак, полдник — все туда носим.

«Ну да, — подумала Маша, — теперь он ходит домой, теперь он дома ест».

Все больше ожесточаясь, она постучала в знакомую дверь. «Не поклонись ей, и головой не кивну...»

На стук никто не отозвался. Тогда Маша вошла, громко топая ногами. Все двери маленькой квартиры были распахнуты. В комнатах — чисто и пусто. На круглом столе стояла тарелка с пирожными. Пирожные были разные — санаторий славился кондитером, — некоторые уже засохли, сморщились.

Доктор Вайнтрауб лежал на диване. Лицо его было покрыто газетой. Он всхрапывал.

Машенька немного посидела у стола. Тоськи нигде не было видно. Доктор вдруг перестал храпеть, сдвинул с лица газету и посмотрел на Машу. Сперва он ничего не понял, а когда сообразил, кто перед ним, то протер глаза, не спеша сел и вздохнул:

— По ночам не сплю. Бессонница.

Маша изложила ему свое дело.

— Приду, — ответил доктор. — После вечернего обхода приду. Хотя это совершенно бесполезно. Для успокоения больного... Знаете, есть такой термин — «для успокоения больного»?..

— Доктор, — умоляюще сказала Машенька, — но ведь сейчас столько новых средств, так хорошо лечат легкие...

— Лечат! Было бы что лечить — и мы вылечили бы. Вот вашего мужа вылечили. А тут нечего лечить. Нет легких. Он их отбил, когда с самолета падал... в боях на Курской дуге... Самолет берег, видите ли... Другой после этого через год умер бы, а он двенадцать лет протянул. Сверх лимита. И лечить нечего.

Доктор поднялся с дивана, оглядел комнату и хмуро кивнул Маше на пирожные:

— Берите. Теперь их некому кушать...

«А Тоська?» — чуть не спросила Маша.

— Семочка любил с кремом, а Боря в меня — он их совсем в рот не брал.

Он думал о детях, тосковал о них! Маша готова была все простить ему в эту минуту.

— У вас такие чудные мальчики, — горячо сказала она, — такие прелестные, такие умненькие...

Доктор посмотрел на нее исподлобья выпуклыми, налитыми кровью глазами. Потом не то кашлянул, не то хмыкнул.

— Да. К больному приду. После вечернего обхода.

Окна дома, в котором Маша провела первую ночь после приезда, выделялись черными квадратами на побеленной стене. Тоська сидела на своем крыльце в белом пушистом платке, сидела неподвижно, прижавшись светлой головой к деревянным перилам. Когда Маша поравнялась с ней, Тоська проговорила, как всегда — будто лениво:

— Ну, что там у вас?

«Значит, не перешла еще к доктору», — прежде всего сообразила Маша. Промолчать на прямой вопрос было трудно. Она неопределенно мотнула головой и пожала плечами. Тоська бесшумно и быстро соскользнула с крыльца и догнала Машу.

— Живой еще? — спросила она, нагнувшись и заглядывая Маше в лицо. И, не дождавшись ответа, все уже зная, схватилась руками за ствол березы. — О господи! Глаза бы мои ни на что здесь не смотрели! Что же мне делать с собой? Да люди вы все кругом или камни бездушные?!

Машу вдруг до сердца потряс крик Тоськи, которую она сама всегда считала «камнем бездушным».

Ей показалось, что от этого крика качнулось все вокруг и земля ушла у нее из-под ног. Ей стало дурно.

Андрей сидел за столом у себя дома, подсчитывая объем каменных работ на строительстве нового корпуса санатория.

Он не позволял себе думать о болезни Степана Ильича, от которого только что ушел. Там сейчас сестра, ждут врача. И он, Андрей, ничем не может помочь. Уже Рассохину и говорить трудно. Сегодня он позвонил к себе Андрея, чуть улыбнулся, сказал:

— Вот ведь какое дело...

А потом без улыбки, будто задумался, сдвинул брови и махнул рукой:

— Нет. Что-то хотел, уже не припомню... — и отвернулся к стене.

Об этом нельзя думать. И не надо думать о Машеньке — о ее милом лице, которое в последнее время осунулось и побледнело. Нельзя думать о ее глазах — они сейчас точно испуганные. Андрей должен быть мягче с ней. Она так отзывается на каждое ласковое слово...

Машенька, Машенька!

Андрей придвинул счеты. Завтра сто человек рабочих будут простаивать, если прораб углубится в свои переживания. Он поворошил листочки нарядов, застучал костяшками.

А Маша в это время шла знакомой лесной дорожкой, шла осторожно, чтобы как-нибудь не оступиться, шла, твердо ставя ноги на землю, прижимая к груди крепко стиснутые кулаки. Ей скоро предстояло пережить столько необыкновенного, и трудного, и прекрасного, что перед этим отступили все ее тревоги.

В лесу, среди деревьев, она увидела лошадь и человека, который неподвижно стоял, держа в руках уздечку. Маша ни о чем не подумала, ничему не удивилась, она сразу поняла — это Аркадий. Он прискакал с поляны, чтобы еще раз увидеть ее, и, может быть, захочет говорить с ней, а это ни к чему.

Не замедлив, не изменив шага, не сделав ни одного движения, она прошла мимо к своему дому.

Пропустив ее вперед, Аркадий двинулся за ней, держась в отдалении. Он уверял себя, что не вправе оставить здесь Машу, такую неустроенную, среди лишений и забот. Ему казалось, что он больше всего думает о ней. Ведь ему надо, чтобы Маша, только Маша, была счастлива.

Она остановилась у дома. Не хотелось обижать человека, который был виноват только в том, что она ему позволила себя полюбить. Аркадий молча склонил перед ней рыжеватую вихрастую голову.

— Я хочу, чтоб вам было хорошо, — мягко сказала она и подождала на крыльце, пока не затих вдали топот коня.

Андрей стоял около стола. Его лицо было напряжено.

— С кем ты сейчас говорила?

Она не ответила.

— Ты меня предала, не подходи ко мне! — крикнул он, когда Маша тронулась с места.

— Я хочу чаю,— сказала она.

Андрей дико взглянул на нее.

— Что ж, тебе было мало моей любви? Или он лучше меня? Так ведь на свете много людей лучше меня.

Маша опустилась на стул. Она очень устала.

— И лучше тебя есть женщины,— говорил Андрей,— красивые и всякие. Но ведь для меня ты одна. И если что-нибудь изменится, я тебе прямо скажу об этом.

— Не надо, чтоб менялось,— тихо проговорила Маша.

Андрей стоял перед ней измученный, страдающий. Она должна была тут же, сейчас же сделать его счастливым.

— Иди сюда. Встань со мной рядом. Обними меня.

Удивленный, он подчинился ее спокойным словам.

И, прижавшись к мужу, Маша сказала ему то, что рано или поздно говорят все женщины своим мужьям:

— У нас будет ребенок.

Пески Московские.

Июнь — сентябрь 1956 г.



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ШЕЛКОВАЯ НИТЬ

Где зной перемешан с тенью,
Есть тутовый лист резной,
И шелковой нити рожденью
Там радуются весной,
Чтоб легкое, как дыханье
Весеннего холодка,
Шуршание шелковых тканей
Почувствовала рука.
Мы платьям, из них пошитым,
Доверим любимых красу.
Эх, жаль, что бездельницам сытым
Они будут тоже к лицу!

В СОКОЛЬНИКАХ

Еще грохотало вдали за окном,
Но ливень пронесся, размыв небеса.
Мы вышли с тобой перед сном,
И хлынула свежесть, ночная в глаза.

Когда это было? Я помню крыльцо,
Как тополь промокший стоял, шелестя,
И светлое ночи лицо
Забрызгали звезды и капли дождя.

Соседи все спали младенческим сном,
Забыв о заботах, о прожитом дне,
И мы на крылечке резном
Стояли... с той ночью наедине.

Поди, уж и сломано то крыльцо
И тополь тот срублен — не сыщешь и пня,
А ночи той светлой лицо,
Как молодость наша, глядит на меня.



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ГЕНРИ ЛОУСОН

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Австралийский писатель Генри Лоусон (1867—1922) знаком советским читателям как автор сборника новелл «Шапка по кругу». Эта книга дважды выходила на русском языке, последний раз в 1954 году тиражом в 150 тысяч экземпляров. Известие о выходе «Шапки по кругу» принесло прогрессивным австралийским литераторам и радость и огорчение. Радость от того, что произведения основоположника новой, демократической литературы Австралии пользуются широкой популярностью в Советском Союзе. Огорчение потому, что выход книги еще раз напомнил, как мало и как редко издаются книги Лоусона на родине писателя. Одновременно с сообщением об издании «Шапки по кругу» в Москве в Сидней пришло известие о подготовке к печати сборника новелл Генри Лоусона в Венгрии. Австралийский поэт и публицист Лен Фокс писал по этому поводу: «Если мы и дальше будем позволять американским «комиксам» наводнять Австралию, то недалек день, когда для того, чтобы читать нашего собственного Лоусона, нам придется изучать русский или венгерский язык и читать его в переводах!»

Генри Лоусон оставил своему народу поистине живое литературное наследство. Значительную часть его составляют поэтические произведения, проникнутые боевым демократическим духом. При составлении тех редких сборников стихов Лоусона, которые время от времени все же появляются на книжном рынке Австралии, буржуазные издатели старательно избегают включать в них стихи, где поэт призывает свой народ бороться за свободу, за демократические права. Однако полностью скрыть эти страницы творчества Лоусона не удается. Прогрессивная пресса разрушает «заговор молчания»: «запрещенные» стихи поэта нередко можно видеть в газете «Трибюн» — органе демократических сил Австралии. В течение 1954—1955 годов газета «Трибюн» опубликовала несколько таких стихотворений, в том числе «Красный флаг», написанный поэтом в 1893 году для австралийской рабочей газеты «Уоркер».

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей ряд стихотворений Генри Лоусона.

Стихи Генри Лоусона переводятся на русский язык впервые.

КРАСНЫЙ ФЛАГ

Идет жестокая судьба
За нами по пятам.
Друзья! От стачек пользы нет,
Так что же делать нам?

Что делать нам?
Скажу я вам,
Но нет ли здесь хозяйских слуг?
О том, что в голове моей,
Лишь самым верным из парней
Могу сказать я вслух.

Не может дальше мир идти
По этой борозде.
Миллионы ждут, чтоб красный флаг
Затрепетал везде.

Мне этой ночью снился сон,
 Мне снилось, что сюда
 Явилась девушка с лицом
 Прекрасным, как звезда.
 Она склонилась надо мной,
 Держа копье в руках,
 И на копье ее горел
 Багряно-красный флаг.
 С улыбкой молвила она:
 «Иди, вставай скорей!
 Под этот флаг, под красный флаг,
 Зови своих друзей!»

НОВЫЙ ДЖОН БУЛЬ

Высокий тощий джентльмен
 Любезен бесконечно:
 Вам руку вежливо пожмет,
 Приветствуя сердечно,
 Но о любезности его
 Заморские владенья,
 Как это ни печально нам,
 Совсем другого мненья.

Высокий тощий джентльмен —
 Поборник гигиены:
 За чистотой своих ногтей
 Следит он неизменно.
 Его тяжелых пушек гром
 Приносит смерть и пламя,
 Но этих грязных пушек сам
 Не трогал он руками.

Благопристойный и простой,
 Не помнит он обиды,
 И коль в Египте полетят
 На воздух пирамиды,
 Он скажет только: «Ай-яй-яй» —
 И, посмотрев под ноги,
 Прикажет поскорей убрать
 Обломки их с дороги.

Он посещает иногда
 Страну меньшого брата:
 Брат младший льет кровавый пот,
 Чтоб старший жил богато.
 И если замертво упал
 Изнеможенный кули, —
 Вина его: ведь есть врачи,
 Сиделки и пилюли.

Готов служить наш джентльмен
 Отчеству и трону.
 И коль мартышка возопит
 К британскому закону,
 Наш джентльмен уж тут как тут:
 Спешит скорее к клетке,
 Чтобы нотацию прочесть
 Мартышкиной соседке.

Таков английский джентльмен,
 Что предками гордится,
 Готов он каждому помочь,
 За каждого вступиться,
 Воспитан и со всеми прост,
 Дурного в нем не видно;
 И не придет ему на ум,
 Как за него мне стыдно.

ТЕ, КЕМ МОГЛИ Б МЫ СТАТЬ

Когда печаль, и горе,
 И боль в груди моей,
 И день вчерашний черен,
 А завтрашний — черней,
 Находится немало
 Любителей сказать:
 «Ах, жизнь его пропала...
 А кем бы мог он стать!..»

Богат и горд осанкой
 Тот «я», кем я не стал,
 Давно имеет в банке
 Солидный капитал.
 Его везде встречают,
 Стараясь угодить,
 И все грехи прощают
 Тому, кем я мог быть!

Ему почет и слава,
 И слава и почет,
 Но мне та слава, право,
 Боюсь, не подойдет.
 Мой друг, мой друг надежный,
 Тебе ль того не знать:
 Всю жизнь я лез из кожи,
 Чтобы не стать — о боже! —
 Тем, кем бы мог я стать.

Да что же тут хвалиться!
 Ведь так и нужно жить.
 Давайте лучше биться
 За то, чем должно быть!
 За честность, верность, смелость
 Стоять —

 так уж стоять!
 Из нас вовек не сделать
 Тех, кем могли б мы стать!

МОЙ ПЕС

Было радостно, было тягостно,
 Все изведаль я, все перенес.
 И про все про то знаю только я
 И мой верный старый пес.
 Отдохнем часок, да и в путь опять
 Зашагали три пары ног.
 Все умел мой пес — не умел болтать,
 Ни о чем говорить не мог.

У костра сидим, на огонь глядим,
 В синем небе крупинки звезд.
 Мои мысли знаю лишь я один
 И мой старый верный пес.
 Велика ль беда, что скудна еда?
 Приправляет ее дымок.
 Все умел мой пес, но молчал всегда,
 Все умел, говорить не мог.

Я курю табак, пес мой дремлет так,
 Я из кружки тяну вино,
 Пропущу глоток (или весь пяток) —
 Пес молчит: ему все равно.
 Когда я дремал, он добро стерег
 И за труд того не считал.
 Все умел мой пес, говорить не мог,
 Да и если бы мог — не стал!

...ВЫ ДУМАЕТЕ, Я НЕ ЗНАЮ?

Говорят, что любовь не сумел я воспеть
 Ни одной настоящей строкой.
 Говорят, что ни разу заветной струны
 Не коснулся умелой рукой.
 Говорят, ничего я в любви не постиг
 И в сердцах у людей не читаю.
 Говорят, должен трепет проникнуть в мой стих.
 ...Вы думаете, я не знаю?

Я любил. Как сиянье весеннего дня,
 В мою душу вошел ее взгляд.
 И казался святая святых для меня
 Ее девичий скромный наряд.
 Если рук ее парень касался другой,
 Мне казалось, что я умираю.
 Сердце, полное счастьем, надеждой, тоской...
 ...Вы думаете, я не знаю?

За деревьями — ферм огоньки вдалеке.
 Что сказал я ей? Что спросил?
 Я держу ее теплую руку в руке
 И в испуге глаза опустил.
 Робко вздрогнули кончики пальцев в ответ.
 Как сквозь сон, я слова различаю.
 Горячей этих губ ничего в мире нет.
 ...Вы думаете, я не знаю?

Похоронена в Брайтоне. Был я в те дни
 Далеко от родимых краев.
 Старый сад, грустный сад нашу тайну хранит,
 Никому не расскажет ее.
 Что осталось?.. Письмо. Только несколько слов.
 В них шумит океан без конца и без краю.
 Знали вы, как душа разбивается в кровь.
 ...Вы думаете, я не знаю?

Я стоял над могилой. Холодный закат.
 В небе клочьями белого дыма
 Проплывали, куда-то спеша, облака,
 Я стоял, отвечая любимой.
 Годы шли. Но ее позабыть я не мог.
 Где б я ни был — о ней вспоминаю.
 Все могло быть, могло быть, и нет ничего.
 ...Вы думаете, я не знаю?

ЕСЛИ БРЮКИ РАЗОРВАЛИСЬ

Если не на что побриться,
 Если чистой нет рубашки,
 Если ночью вам не спится
 От долгов и мыслей тяжких,
 Не скажу, что вы счастливец:
 К вам нужда полна вниманья,
 Но еще вы не знакомы
 С черным Демоном Страданья.
 У страданья много стадий,
 Но всего страшнее муки
 От сознания, что сзади
 Разорвались ваши брюки.

Я заметил: чуть несчастьем
 Поражен герой на сцене —
 Он немедленно на части
 Рвет одежды в испугенье,
 И галерка одобряет
 Этот жест, где столько страсти,
 И притом не замечает,
 Что не все он рвет на части.
 Да и прав! Ведь мы б смеялись,
 Видя, как в слезах и муке
 Невоздержанный страдалец
 Разрывает в клочья — брюки...

Без труда вы сохраните
 Независимость в походке,
 Ощущая мостовую
 Сквозь дыру в своей подметке.
 Ну, а если даже кто-то
 Что-то вдруг и заприметит,
 На его косые взгляды
 Шутка меткая ответит.

Ничего не стоит также
Просто стать к нему спиной,
Но труднее сделать это
При штанах с большой дырою.

Если счастье вам не хочет
Показать себя с фасада,
Скажут многие: «Ну что же,
Значит, так ему и надо!
Сам всему виной, бездельник.
Он подохнет под забором...»
Можно эти предсказания
Полагать чистейшим вздором,
Были б лишь костюм и шляпа,
Не горюй и жди успеха...
Но, увы, робеет смертный,
Если сзади есть прореха.

Пусть о завтрашнем обеде
Трудно думать вам без вздоха,
Лучше говорить соседям,
Что дела идут неплохо.
Так уж принято, и эта
Ложь мужчины не порочит,
Просто он в свои заботы
Посвящать других не хочет.
Но, однако, очень сложно
Бодрость сохранять во взгляде,
Если ваше настроенье
Выдает прореха сзади.

Если с вами так случится,
Будет вам не в шутку туго,
То должны вы положиться
На испытанного друга.
Вы к нему явитесь смело.
Осмотрев наряды ваши,
Скажет он: «Пустое дело,
И мои штаны не краше!»
И пускай на вас повсюду
Будут лишь одни заплатки,
Он вам честью поклянется,
Что костюм у вас в порядке.

Братья! Времена суровы!
Унывать не стоит все же.
Стойте твердо и боритесь.
Смейтесь! Смех нам силы множит.
Если хлеба нет в Египте,
Все ж он в Африке найдется.
Так тесней ряды сплотите,
Лучших дней восходит солнце.
Победив, мы посмеемся
Над дурными временами
И к портным придем
И скажем:

«Мы — за новыми штанами!»

СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДЖИМУ

Усталый взор, вечерний час —
Я греюсь у камина
И оторвать не в силах глаз
От маленького сына.
Скрестил он руки за спиной
И сжал их крепко-крепко,
Напоминая мне порой
Своих далеких предков.

Я на него смотрю, и грудь
Стеснила мне тревога;
Ведь перед ним тяжелый путь,
Далекая дорога.
Через моря, через поля
Она бежит по свету,
Цыган и странник, знаю я
Насквозь дорогу эту.

А у тебя в глазах, мой Джим,
Ни страха, ни сомнений.
Какие грезятся, скажи,
Тебе, мой Джим, виденья?
Ты сын морей и сын лугов:
И кровь цыган строптивых
И кровь норвежских моряков
В твоих струится жилах.

Сейчас тебя влекут мечты,
Легко на их просторе,
Но день придет — узнаешь ты
И грусть, и боль, и горе.
Но ты иди за правду в бой
С надеждою во взгляде
И победишь в борьбе с судьбой,
С которой я не сладил.

Я стар, и прежней силы нет,
Слеза мой взор туманит;
Поймешь ты через много лет,
Что так мне сердце ранит.
Я знаю, голос клеветы
И до тебя домчится,
Но день придет — и будешь ты
Своим отцом гордиться.

*Перевод с английского
Н. Разговорова.*



Л. ШЕЙНИН

★

ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

(Из второй книги)

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПУТЕВКА

1

Сегодня, спустя тридцать с лишним лет, мне вспомнилась Москва 1923 года и тот студеный февральский день, когда меня, комсомольца, студента Высшего литературно-художественного института имени В. Я. Брюсова, зачем-то срочно вызвали в Краснопресненский райком комсомола.

Никогда не забыть мне Москву моей юности. Я закрываю глаза и вижу заснеженные улицы, узенькую Тверскую с часовенкой Иверской божьей матери у ворот, ведущих на Красную площадь, стонущие редкие трамваи, сонных извозчиков на перекрестках, лошадей, жующих овес в подвязанных торбах; продавщиц Моссельпрома в затейливых форменных шапках с золотым шитьем, их лотки с папиросами и шоколадом; дымную чайную у Зацепского рынка, где всегда грелись торговцы и студенты, карманники, зацепские мясники и пышногрудые, румяные молочницы, дожидавшиеся поезда по Павелецкой линии; кинотеатр «Великий немой» на Тверском бульваре — ведь кино и в самом деле было тогда еще немым...

Удивительное это было время, и удивительной была та Москва. В ней уживались рядом кипящая Сухаревка с ее бесконечными палатками и ларьками, похожая на огромный развороченный муравейник, и комсомольские клубы в бывших купеческих особняках; сверкавшие свежим лаком вывески магазинов и контор первых нэпманов и аудитория рабфака имени Покровского в здании университета на Моховой; клуб АУИ (анархо-универсалистов интериндивидуалистов) на Тверской против Глазной больницы и кафе поэтов «Стойло Пегаса» у Страстной площади, где читали очень разношерстной и не очень трезвой публике свои стихи поэты-имажинисты.

Летом того года открылась первая сельскохозяйственная выставка. Город еще только начинал приходить в себя после многих лет войны и разрухи. Трамваи, в недалеком прошлом ходившие лишь по бульварному кольцу, — «аннушки», как их тогда называли, — освоили новые маршруты. Прошло более года, как появились белые французские булочки. Открылись новые роскошные рестораны — «Амьпир», «Авангард», «Мавритания» — и уйма кафе, закусных,пельменных, пивных и чайных. На улицах появились хорошо одетые, холеные, кокетливые женщины и мужчины с бобровыми воротниками и надменными, самоуверенными лицами.

Чуть ли не во всех переулках выросли, как шампиньоны на навозе, театральные и балетные студии, школы танцев, салоны и кабаре всякого рода и пошиба: «Не рыдай», «Коробочка», «Кинь грусть» и «Забвенье».

Только что выпущенные червонцы шуршали на зеленых столах казино; в дорогих ресторанах к нэпманам подходили профессиональные пожилые сводни в черных шелковых платьях, с золотыми лорнетками, и шепотком, но с большим достоинством сулили неслыханных красавиц с княжескими титулами и замужних «светских» дам, «впер-

вые решившихся изменить мужу». На Тверской, у кафе Филиппова, и на Трубной площади стаями разгуливали проститутки.

Невест как вдруг повылзла из всех щелей всяческая нечисть — профессиональные шулера и кокетки, наркоманы и бандиты с аристократическими замашками и бывшие аристократы, ставшие бандитами, спекулянты и просто жулики всех оттенков и разновидностей.

А в комсомольских клубах пели «Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян», изучали эсперанто на предмет максимального ускорения мировой революции путем создания единого языка международного пролетариата, вгрызались в политграмоту и люто ненавидели нэпманов.

Ежедневно возникали и с треском лопались какие-то частные анонимные акционерные общества и компании, успевая, однако, предварительно надуть только что созданные государственные тресты, с которыми эти компании заключали договоры на всякого рода поставки и подряды. Суды и арбитражи были завалены исками и претензиями. Появились первые иностранные концессии — лесные, золотопромышленные, трикотажные, галантерейные, карандашные. Господа концессионеры — всякого рода Гаммеры и Мильтоны, Петерсены и Шульцы, Ван-Берги и Хьюгессены, англичане и американцы, норвежские лесопромышленники и чешские коммерсанты, голландские купцы и лондонские биржевики — обосновывались в Москве и в других городах уютно и прочно, тайно скупали бриллианты и меха, древние рублевские иконы и кустодиевские полотна, золото и хрусталь, потихоньку, вопреки таможенным правилам, отправляли добычу за границу, а между коммерческими делами увлекались балетом, кутили в ресторанах, вербовали агентуру и вздыхали о «бедных русских», которых захватили врасплох коммунисты, отрицающие нормальный человеческий порядок, но теперь как будто взявшиеся наконец за ум.

2

В два часа дня, как и было мне назначено, я пришел в райком, ломая себе голову над вопросом, зачем я понадобился. Осипов — заведующий орготделом райкома — только загадочно ухмыльнулся в ответ на мой вопрос и сказал, что мне ответит на него секретарь райкома Саша Грамп. Мы вместе прошли в кабинет Грампа, которого я хорошо знал, так как был членом райкома.

— Здорово, Лева,— сказал мне Грамп. — Садись, серьезный разговор...

Я сел против него, и он рассказал, что есть решение Московского комитета комсомола о мобилизации группы старых комсомольцев на советскую работу.

— Очень нужны надежные фининспектора и следователи, — говорил Грамп, пыхивая огромной трубкой, которая, как он считал, придавала ему вполне «руководящий вид». — Фининспектора ведают обложением налогами нэпманов, те находят к ним всякие подходы, а бюджет страдает... Понятно?

— Понятно. Только какое это имеет отношение ко мне? — неуверенно спросил я.

— Не лезь вперед батьки в пекло, — строго произнес Грамп и угрожающе запыхтел трубкой. — Еще больше, чем фининспектора, нужны следователи. В Московском губсуде, оказывается, две трети следователей — беспартийные, и даже есть несколько старых, царских следователей... С ума сойти! В общем, пора создать свои кадры фининспекторов и следователей. Понятно?

— Саша, но я не собирался стать ни фининспектором, ни следователем, — осторожно начал я. — В финансах я вообще ни черта не смыслю, а что касается следователей, то в детстве я читал Конан-Дойля и помню, что Шерлок Холмс курил трубку, жил на Беккер-стрит и пользовался дедуктивным методом. Был у него приятель, доктор Ватсон, который всегда задавал ему глупые вопросы, для того чтобы Шерлок Холмс мог ему умно отвечать... Но главное не в этом. Я учусь в литературном институте, собираюсь, как тебе известно, посвятить себя литературе и...

— Глупо! — перебил меня Грамп. — Если ты всерьез собираешься, дурень, посвятить себя литературе, так именно в этом случае тебе необходимо стать фининспектором, а еще лучше — следователем. Сюжеты, характеры, человеческие драмы — вот где литература! Что же касается твоего института, то, по-моему, Толстой и Горький не имели никакого понятия о литературных институтах, и ничего, стали писателями...

Писателем надо родиться, я в этом глубоко убежден!.. Но это между прочим. Главное то, что партии и Советской власти сегодня нужны кадры фининспекторов и следователей, и мы должны их дать. И ты один из тех, кого мы даем. И точка. И восклицательный знак. И никаких вопросительных. Куда выписывать путевку — в губфинотдел или в губсуд?

— Ты же только что сказал, что никаких вопросительных знаков, — пытался я отшутиться.

Но не таков был Сашка Грамп, чтобы от него можно было отделаться, если уж он что-нибудь решил.

— Товарищ Шейнин, — произнес он ледяным тоном, — речь идет о комсомольской мобилизации по заданию партии, и нечего разводить трепотню. Бюро райкома приняло решение, и кончен разговор! Можешь до вечера подумать, куда пойдешь, и потом приходи за путевкой. До вечера, Байрон!

Байроном Грамп величал меня потому, что в те годы у меня была буйная шевелюра и я носил рубашки с отложными воротниками.

Так я стал следователем Московского губернского суда.

3

В наши дни трудно понять, как могли назначить следователем юношу в семнадцать лет, да к тому же еще и не имевшего юридического образования. Но слова из песни не выкинешь — что было, то было.

В те годы следователи состояли при судах и делились на народных следователей, работавших в уездах Московской губернии и районах города Москвы, которых тогда было всего шесть, и старших следователей губсуда, производивших расследования по особо сложным делам, главным образом хозяйственным, как их тогда называли. Это были дела о крупных мошенничествах и аферах, подкупе должностных лиц, всякого рода преступных нэпманских комбинациях, направленных против интересов только создаваемой государственной промышленности и торговли. Кроме того, старшие следователи вели дела и об особо значительных уголовных и сексуальных преступлениях.

Надзор за старшими следователями осуществляли губернский прокурор и его помощники, а за народными — соответствующие районные прокуроры. Однако административно ни старшие, ни народные следователи прокуратуре подчинены тогда не были, и прокурорский надзор сводился лишь к наблюдению за законностью действий следователей.

Справедливость требует отметить, что еще совсем молодая тогда советская прокуратура, основанная по инициативе В. И. Ленина в 1922 году, была укомплектована преимущественно людьми способными, горячо увлеченными своей работой и в большинстве случаев уже прошедшими хорошую судебную школу в системе ревтрибуналов, действовавших в первые годы революции.

В числе московских следователей, как правильно сказал мне Грамп, было довольно много беспартийных, и среди них несколько старых, «царских» следователей, из которых мне особенно запомнились Павел Александрович Голунский, совсем уже пожилой, седой человек, в синих очках, очень аккуратный и внимательный, вдумчивый следователь, и Иван Маркович Снитовский, коренастый крепыш лет за шестьдесят, украинец, с лукавым добродушным лицом и темными, всегда смеющимися глазами. Он имел за плечами почти тридцатилетний опыт работы и перед самой революцией занимал в Московской судебной палате пост следователя по особо важным делам. После революции, в отличие от многих своих коллег, Иван Маркович не эмигрировал за границу и стал честно служить народу. Несмотря на свое дворянское происхождение, он сразу принял революцию и поверил в нее. Это был энтузиаст своего дела и глубокий его знаток. Своим огромным опытом он охотно делился с молодыми товарищами, многие из которых сели за следовательский стол непосредственно от станка или партийной работы.

Однажды, когда Снитовский был дежурным следователем по городу и в одном из районов Москвы был совершен вооруженный налет на сберкассу, он выехал на место преступления на машине с группой дежурных агентов МУРа, куда один из сотрудников сберкасс успел незаметно для налетчиков позвонить по телефону. Машина приехала к сберкассе, грабители выскочили во двор, быстро поднялись по брандмауэру

на крышу дома и оттуда стали отстреливаться. И шестидесятилетний Снитовский был первым, кто, невзирая на подагру и брюшко, с портфелем в руках, под выстрелами полез по тому же брандмауэру.

В другом случае я был свидетелем того, как дочь Снитовского позвонила ему о том, что загорелся небольшой деревянный дом в Гагаринском переулке, где он жил. Выслушав взволнованное сообщение, Снитовский сказал:

— Зоинька, детка, у меня вопрос...

И, положив трубку, как ни в чем не бывало задал очередной вопрос обвиняемому.

После моего назначения в губсуд я был прикреплен в качестве стажера к двум старшим следователям — Снитовскому и Ласкину. Последний начал свою деятельность в качестве следователя уже после революции, в 1918 году, придя в ревтрибунал студентом. Невысокий, очень живой, быстрый, находчивый, Ласкин тоже без памяти любил свою профессию и был одним из лучших следователей Московского губсуда.

Президиум губсуда, не без основания несколько обеспокоенный моим возрастом, поручил этим двум следователям в течение полугода поработать со мной, чтобы выяснить, как выразился председатель губсуда, «что получится из этого рискованного эксперимента».

Следственная часть губсуда помещалась тогда в доме номер три по Столешникову переулку. Четыре этажа занимала губернская прокуратура, а пятый — следственная часть.

Когда я вошел в кабинет Снитовского, он уже был предупрежден о приходе нового прикомандированного. Как только я появился на пороге, Снитовский быстро встал и, улыбаясь, подошел ко мне.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, молодой человек, — произнес он, пожимая мне руку. — Чай, осьмнадцать еще не стукнуло, а?

— Через год стукнет, — сказал я, сразу проникаясь симпатией к этому приветливому, веселому человеку со смуглым крепким лицом, освещенным сиянием больших темных глаз.

— Ну, ну, не беда, не смущайтесь. Молодость — это недостаток, который уменьшается с каждым часом. Давайте присаживайтесь вот здесь, в кресле, и чувствуйте себя как дома.

И через час, незаметно для меня, с самым простодушным и веселым видом Снитовский уже узнал обо мне чуть ли не все, что можно было узнать. Только потом я оценил эту поразительную способность выяснять с необыкновенной быстротой все интересующие его вопросы, отнюдь при этом как бы и не расспрашивая, не прожигая собеседника «проницательным» взглядом, а как-то весело и непринужденно, даже не разговаривая, а болтая, смеясь и шутя и необыкновенно при этом к себе располагаю.

Нужно ли говорить, что к концу нашего первого разговора я уже был по-мальчишески влюблен в этого человека и мне очень хотелось заслужить его симпатию и заставить поверить в мои молодые силы.

В тот же день я познакомился и со вторым своим шефом — Ласкиным. Оказалось, что мы с ним земляки по городу Торопцу, Псковской губернии, где я провел детские годы и вступил в комсомол, и что Ласкин отлично знал и хорошо помнит моих старших сестер, кончавших торопецкую гимназию в то самое время, когда он кончал там же реальное училище.

Иван Маркович и Минай Израилевич (так звали Ласкина) отнесли к поручению проверить, «что получится из этого эксперимента», с большой добросовестностью, и я многим обязан им обоим. Они вместе разработали целую программу моего обучения, включавшую освоение элементарных основ уголовного права и процесса и чисто практических навыков следственной работы. После полугодовой стажировки мне предстояло держать экзамен в аттестационной комиссии губсуда; тут-то и должна была решиться окончательно моя следовательская участь.

Может быть, именно потому, что я попал в заботливые руки этих умных, хороших людей, сразу сумевших пробудить во мне интерес и уважение к своей профессии, потому, что статьи уголовного и процессуального закона, которые я изучал, ежедневно оживали передо мной в лицах подсудимых, допросах обвиняемых, свидетелей и экспертов, в осмотрах, судебно-медицинских вскрытиях, — может быть, именно поэтому

я жадно впитывал все премудрости следственного искусства, и месяца через три Иван Маркович обнял меня за плечи и очень серьезно и тихо, глядя мне прямо в глаза, сказал:

— А ну, лопни мои очи, хлопчик, если из тебя не выйдет толк... Лицея не кончал, от роду всего семнадцать, кандидатом на судебные должности в судебной палате, аки аз грешный, не был, в общем, зеленый, как огурец, а следователем я тебя все-таки сделаю, всем правилам божеским и человеческим вопреки!.. Сде-ла-ю!.. — И, заметив вошедшего в кабинет Ласкина, обратился к нему: — Минай, скажи по совести, майн клугер коф, не лукавь: быть ему слідчим по найважливіших справах, как говорят на Украине, или не быть?

— Обидный вопрос,— улыбнулся Ласкин.— Разве ты не видишь этого по мне? А ведь он тоже торопчан... С тех пор как в Торопце венчался Александр Невский, у торопчан все выходит как надо...

4

А через полгода я держал экзамен в аттестационной комиссии губсуда, и ее председатель Дегтярев, мрачный, бородатый, очень строгий старик, безжалостно «гонял» меня по всем главам и разделам уголовного, процессуального, трудового и гражданского кодексов, сердито что-то ворча себе под нос, выслушивал мои ответы и время от времени произносил:

— Это тебе, мил-человек, не в лапту играть... А скажи-ка ты мне, орел, что такое принцип презумпции невиновности и с чем его кушают?

— Принцип презумпции невиновности в уголовном праве,— отвечал я,— подразумевает, что органы следствия и суда должны исходить из презумпции невиновности обвиняемого. Это значит, что не он обязан доказывать свою невиновность, а они обязаны, если имеют для этого достаточно данных, доказать его вину... И пока эта вина не доказана в законном порядке, человек считается невиновным.

— Гм... Так... А вот скажи ты мне, сделай милость, как допрашивают малолетних?

— При допросе малолетних следователь должен избегать навоящих вопросов, чтобы невольно не внушить ребенку того, что рассчитывает получить в его показаниях. С другой стороны, показания детей о приметах преступника, его поведении, одежде и т. п. заслуживают особого внимания, так как дети очень наблюдательны и их восприятие внешнего мира очень свежо. Допрашивая детей, надо разговаривать с ними серьезно, как со взрослыми, а не подлаживаться под детский язык, что всегдастораживает ребенка. Если ребенок допрашивается в качестве потерпевшего, например по делу о его растлении или развращении, следователь обязан выяснять интересующие его детали очень осторожно, чтобы самый допрос не превратился по существу в развитие этого развращения и не травмировал дополнительно ребенка...

— Гм... Дело говоришь... И вот что, милочек. На следователя мы тебя аттестуем, хоть ты и вовсе еще воробей-подлетьш... Запомни посему раз и навсегда для своей работы: спокойствие прежде всего. Это раз! Презумпцию невиновности надо не по учебнику вызубрить, а всем сердцем понять. Это два! Допрашивая человека, всегда помни, что ты делаешь привычное и хорошо знакомое тебе дело, а он, может, запомнит этот допрос на всю жизнь. Это три! Знай, что первая версия по делу еще не всегда самая верная. Это четыре! А самое главное, допрашивая грабителей и налетчиков, воров и мошенников, никогда не забывай, что они родились на свет такими же голенькими, как мы с тобой, и еще могут стать людьми не хуже нашего... А если когда-нибудь станет тебе скучно на нашей нелегкой работе или извернешься в людях вообще,— тикай, малец, тикай, ни дня не оставайся следователем и скорее подавай рапорт, что к дальнейшему прохождению следственной службы непригоден...

И старик Дегтярев, с его мрачным видом, старый большевик и политкаторжанин, которого все в губсуде уважали, но побаивались за острый язык и резкость суждений, непримиримость к проступкам судебных работников (Дегтярев был, кроме того, и председателем дисциплинарной коллегии губсуда), встал из-за стола, пожал мне руку, испытующе на меня поглядел и даже — чего я никогда еще не видел — улыбнулся.

Когда я вышел из его кабинета, то увидел Снитовского и Ласкина, беспокойно расхаживающих по коридору. Не стерпели мои дорогие шефы, и оба прибежали со

Столешникова переулка на Тверской бульвар, где помещался губсуд, и здесь, дожидаясь моего выхода, кляли на чем свет стоит «бороду», как называли Дегтярева, который, по всему виду, придирается к их воспитаннику и того и гляди провалит его на экзамене.

Увидев мое взволнованное, но сияющее лицо, они сразу с облегчением вздохнули и начали наперебой расспрашивать, долго ли и как именно мучил меня этот «бородатый тигр и лютый скорпион».

А «тигр» этот в последующие годы моей следственной работы, до самого перевода в 1927 году в Ленинград, очень внимательно следил за моей работой, потихоньку от меня изучал все расследованные мною дела, поступавшие на рассмотрение в губсуд, и частенько приглашал меня к себе домой, поил чаем с лимоном и с тем же мрачным и ворчливым видом, сердито покашливая в черную с сединой бороду, внушал все «десять заповедей» советского судебного деятеля.

Но я уже не боялся ни его мрачного вида, ни сердитого кашля, ни его бороды, хорошо поняв и на всю жизнь запомнив этого умного, доброго, прожившего чистую, но очень трудную жизнь человека.

Но понимал это не я один. И когда через несколько лет Иван Тимофеевич Дегтярев умер от разрыва сердца, весь губсуд шел за его гробом, и на кладбище, стоя рядом со Снитовским и Ласкиным, я видел сквозь слезы, что так же искренне плачут и они и многие другие работники губсуда, среди которых было немало и тех, кого в свое время безжалостно «шерстил» за те или иные проступки покойный председатель дисциплинарной коллегии.

И вспомнился мне тогда и мой проступок, за который я тоже предстал перед дисциплинарной коллегией, в страхе, что вылетчу за него со следственной работы, которую уже успел горячо и на всю жизнь полюбить.

Случилась со мною эта беда в 1924 году, и была она связана с неким делом о динарах с дырками и, как это ни странно, с «Адмиралом Нельсоном».

ДИНАРЫ С ДЫРКАМИ

1

Если верить в поговорку, что беда никогда не приходит одна, то, прежде чем перейти к динарам с дырками и Адмиралу Нельсону, я должен рассказать о печальном происшествии с делом ювелира Высоцкого.

После того как я прошел аттестационную комиссию, меня назначили народным следователем Орехово-Зуевского уезда. Полгода я прожил в этом подмосковном городке, расследуя свои первые дела: о конокрадах, растратах в потребсоюзе, об одном случае самоубийства на почве безнадежной любви и одном убийстве «по пьяному делу» на сельской свадьбе. Я старательно исполнял все «десять заповедей» следователя, преподанные мне Дегтяревым, Снитовским и Ласкиным, то есть не забывал, что «спокойствие прежде всего», что искусство допроса состоит не только в том, чтобы уметь спрашивать, но и в том, чтобы уметь выслушивать, что первая версия не всегда самая верная, что человек волнуется на допросе не только тогда, когда он виновен, но и тогда, когда он не виновен, и что еще Достоевский верно заметил, что так же, как из ста кроликов невозможно составить лошадь, так и из ста мелких и разрозненных улик невозможно сложить веское доказательство виновности последственного.

Через полгода я внезапно был отозван в Москву и прикомандирован к следственной части, где скопилось много дел. Весна 1924 года была очень слякотной, а жил я тогда на Зацепе, откуда и ездил в Столешников переулочек на работу. Я решил обзавестись калошами и приобрел их в фирменном магазине «Проводник». Это были великоленные, как мне казалось, калоши на роскошной красной, чуть ли не плюшевой подкладке.

Приехав на работу и сев за стол в своем маленьком кабинете, я поставил свои новые калоши в угол и стал заниматься делом, но время от времени бросал довольные взгляды на свое «выдающееся» приобретение.

Снитовский в то время вел среди других дел и дело о некоем ювелире Высоцком, о котором имелись данные, что он скупает бриллианты для одного иностранного концессионера и участвует в контрабандной переправке этих бриллиантов за границу. Снитовский потратил много труда на то, чтобы собрать доказательства о преступной деятельности этого очень ловкого человека и его связях; наконец набралось достаточно данных для того, чтобы принять решение о его аресте. Будучи занятым рядом других дел, Иван Маркович поручил мне вызвать Высоцкого, допросить и объявить ему постановление об аресте, после чего отправить в тюрьму.

Высоцкий был вызван, явился точно в назначенное время, и я начал его допрашивать. Это был человек лет сорока, очень элегантный и даже немного фатоватый, с золотыми зубами и сладенькой улыбочкой, которую, похоже было, раз наклеив, он так и не снимал со своего лица и даже, возможно, ложился с нею спать.

Он очень любил светские, как ему казалось, обороты речи и через два часа страшно надоел мне своими «позволю себе обратить ваше внимание», «если мне будет милостиво позволено», «отнюдь не желая утомлять вас, я просил бы, тем не менее, и однако» и «учтите, если вас не затруднит»...

Окончив допрос и предъявив Высоцкому постановление об аресте в порядке статьи 145 УПК, разрешавшей в исключительных случаях арестовывать подозреваемых без предъявления обвинения, но на срок не более чем четырнадцать суток, я стал терпеливо выслушивать его заявления, что он «абсолютно фраппирован», находится в совершеннейшем смятении и рассматривает случившееся как крайнее, «если позволите быть откровенным, недоразумение», которое, как он «всеми фибрами души надеется, вскоре разъяснится».

При всем том этот довольно бывалый и ловкий проходимец оставался абсолютно спокойным, видимо рассчитывая, что ему и впрямь удастся вывернуться из дела, тем более, что по совету Снитовского я ему еще не выложил всех доказательств, почему, собственно, предъявление обвинения и было нарочито отложено.

Дав Высоцкому расписаться в том, что постановление о мере пресечения ему объявлено, я оставил его в кабинете, предварительно заперев в сейф дело, и вышел в коридор, чтобы поручить старшему секретарю следственной части вызвать конвой и тюремную карету. Старший секретарь, когда я вошел в канцелярию, был мною обнаружен взбравшимся на высокий подоконник и дико кричащим из-за того, что по канцелярии бегала крыса, а этот очень аккуратный и уже немолодой человек страшно боялся крыс. Я стал его успокаивать. Пока крыса не юркнула в дыру, секретарь не мог прийти в себя, и мне пришлось ему довольно долго растолковывать, что надо сделать.

Нетрудно вообразить себе мое состояние, когда, вернувшись в кабинет, я не обнаружил, увы, ни Высоцкого, ни моих новых калош...

Зато на моем столе лежал лист бумаги, на котором рукой Высоцкого было размашисто написано: «Надеюсь, что вы будете далеки от мысли, уважаемый следователь, что я, человек интеллигентный, украл ваши калоши. Нет, я просто взял их взаимы, так как на дворе очень сыро, а мне предстоит, не без вашей вины, большой путь... Привет! Высоцкий».

Я в ужасе бросился к Снитовскому.

Едва взглянув на эту записку, Иван Маркович, мгновенно сообразив, что надо делать, поднял трубку телефона и позвонил в МУР. Дело в том, что следствию были известны имя и адрес любовницы Высоцкого (а сам Высоцкий об этой осведомленности следствия подозревать не мог, ибо, будучи человеком семейным, тщательно скрывал свою связь). Снитовский дал указание МУРу установить наблюдение за квартирой этой женщины, верно решив, что Высоцкий, прежде чем скрыться из Москвы, не преминет проститься с возлюбленной.

Лишь дав все необходимые указания, Снитовский обратился ко мне.

— Вот что, Левушка, — сказал он, — я уверен, что прохвоста задержат, но пусть печальная история с калошами запомнится вам как символ того, что следователю не к лицу самому садиться в калошу...

Я не мог найти себе места от конфуза и успокоился только вечером, когда агенты МУРа доставили задержанного ими Высоцкого, который, как и предвидел Снитовский, зашел к возлюбленной. Высоцкий, опять-таки не теряя спокойствия, снял в кабинете мои калоши, галантно сказав при этом: «Пardon, но было очень сыро, а я этого, с вашего позволения, совершенно не переношу. Еще раз pardon!»

Очень скоро после этого происшествия я был назначен народным следователем Краснопресненского района города Москвы. В мой участок входила вся улица Горького — от Охотного ряда до Белорусского вокзала, Красная Пресня, Ленинградское шоссе и примыкающие к ним улицы и переулки. МУР — Московский уголовный розыск — тогда помещался в Большом Гнезниковском переулке и, следовательно, тоже входил в мой следственный участок. В те годы за органами дознания наблюдали следователи, а дела, вскрытые угрозыском, потом передавались по подследственности народным следователям. Вскоре у меня завязались самые близкие, товарищеские отношения со многими работниками МУРа.

Особенно я подружился с начальником бандгруппы МУРа, как она тогда называлась, Николаем Филипповичем Осиповым и его заместителем Георгием Федоровичем Тильнером. Осипову было тридцать с чем-то лет, а Тильнер был лет на пять старше меня.

Бандгруппа МУРа занималась расследованием убийств, вооруженных грабежей и налетов и таким образом являлась сердцем уголовного розыска. Если учесть, что в те годы была довольно значительная уголовная преступность и еще много профессиональных преступников-рецидивистов, то станет понятным, что мои друзья были по горло заняты работой.

Осипов и Тильнер были очень талантливыми криминалистами, любили свое дело и отлично работали. Николай Филиппович, сухощавый, стройный блондин с внимательным, быстрым взглядом чуть прищуренных глаз, отличался удивительной, очень цепкой наблюдательностью, поразительно быстро и верно разбирался в людях, хорошо знал психологию и жаргон уголовников и страстно увлекался, помимо своей профессии, мотоциклетными гонками.

Мне, совсем еще юному, начинающему следователю, дружба с этими людьми была не только приятна, но и очень полезна. Я многому у них учился и жадно слушал их рассказы о всякого рода запутанных уголовных делах, происшествиях и раскрытиях. Приходилось мне не раз присутствовать и при том, как Осипов или Тильнер допрашивали уголовников. В первое время я вообще не мог понять, о чем они говорили, так как в вопросах и ответах было столько «блатной музыки», то есть жаргонно-воровских словечек и профессиональных терминов, что создавалось впечатление, будто эти люди беседуют на каком-то неизвестном иностранном языке.

Надо сказать, что в мире профессиональных уголовных преступников, естественно, хорошо знали как Осипова, так и Тильнера. И если уголовники, как правило, работников угрозыска не любили, то к Осипову они относились с нескрываемым уважением и даже питали к нему, как ни странно, известные симпатии. Объяснялось это тем, что Осипов, как они выражались, «в нашем деле мерекает», тем, что общеизвестна была его справедливость, и, наконец, тем, что он был очень храбрым человеком и, случалось, один шел на задержание двух вооруженных налетчиков. Кроме того, Осипов, хорошо знавший этот своеобразный мир, никогда не позволял себе издеваться над подследственными, не унижал их человеческого достоинства и, неуклонно соблюдая требования закона и не делая никаких скидок, в то же время умел по-человечески с ними говорить, будя у некоторых из них давно, казалось, заснувшие и заглохшие чувства.

Тильнер, очень воспитанный, красивый и неизменно корректный человек, славился совершенно феноменальной памятью и, как говорили в МУРе, «держал в голове» чуть ли не все фамилии, клички, приметы и судимости всех московских уголовников. Последние хорошо об этом знали и говорили, что «барону Тильнеру лучше не попадаться, ему горбатого не слепишь», то есть под чужой фамилией у Тильнера не пройдешь.

2

В мой участок входил и Благовещенский переулок, примыкающий к улице Горького. В этом переулке в те годы стоял, да стоит и поныне, роскошный, облицованный кафельной плиткой дом, в котором жили главным образом ответственные работники. В частности, в этом доме находилась квартира наркома С.

И вот однажды июльской ночью воры забрались в квартиру С., находившегося на даче, и среди прочих домашних вещей «увели» большой кожаный мешок с коллекцией старинных монет, собиравшейся С. в течение многих лет.

Поднялся страшный шум. Во второй бригаде МУРа, занимавшейся расследованием квартирных краж, поняли, что, кроме неприятностей, это дело ничего не сулит. Начальник второй бригады Степанов — высокий, весьма обходительный и очень респектабельный мужчина, большой дипломат, — получив это дело, до такой степени расстроился, что выкурил вне установленного расписания лишнюю папиросу (Степанов все в жизни делал по раз и навсегда установленному расписанию, никогда не торопился и не спешил, считая, что поспешность губительна для здоровья, которое он очень оберегал, и в связи с этим был известен в среде уголовников под кличкой «Вася Тихоход»), долго разглядывал свои до блеска отполированные ногти и потом медленно сказал своему помощнику Кротову:

— Миша, не кажется ли вам, что это не простая, а квалифицированная кража, а?

Хитроумный Кротов, молниеносно оценив этот ход (дела о простых кражах должны были заканчивать органы угрозыска, а дела о кражах квалифицированных в силу статьи 108 УПК подлежали передаче народным следователям), начал клясться и божиться, что за всю свою жизнь он не встречал кражи более квалифицированной.

Но дело в том, что по точному смыслу закона квалифицированной считалась кража со взломом или с применением технических средств, чего в данном случае не было, так как вор или воры забрались в квартиру через форточку и, таким образом, несомненно, принадлежали к категории квартирных воров, соответственно именуемых «форточниками». Поэтому Степанов, иронически поглядев на продолжавшего божиться Кротова, пламенно стремившегося избавиться от хлопотливого дела, процедил:

— Миша, в статье 162 УК в числе признаков, определяющих квалифицированную кражу, почему-то нет ссылки на заверения Кротова. Кража-то, голубчик, форточная... А?

Кротов запнулся, опустил очи долу, но окончательно не сдался.

— Да, но ведь форточку открыли с применением технических средств, — выразительно произнес он, глядя в лицо своему начальнику необычайно ясными глазами.

— Разве? Что-то я не помню, — ответил Степанов. — Если вы, голубчик, докажете, что пальцы — это технические средства, то тогда, конечно...

— Василий Яковлевич, при чем тут пальцы? — горячо выпалил Кротов. — Все данные дела говорят за то, что форточку открыли с применением стамески, а шпингалет сломали. Налицо и технические средства и элемент взлома...

— Да? Жаль, жаль... Конечно, грустно расставаться с таким любопытным делом, но закон есть закон, Миша... — И Степанов вновь нарушил расписание и закурил папиросу, на этот раз уже от удовольствия. — Да, голубчик, ничего не поделаешь. Направьте дело, согласно статье 108, народному следователю. Подготовьте постановление.

И на следующий день ко мне поступило дело с весьма витиеватым постановлением, в котором Кротов с большим темпераментом и чувством живописал и «применение технических средств в виде специальной стамески, что можно заключить из протокола осмотра форточки», и «типичные следы взлома, выраженные в изломе форточного шпингалета, приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства».

Через час после поступления дела ко мне позвонил Степанов и самым любезным образом трогательно справился о моем здоровье, самочувствии и делах, затем долго расхваливал погоду и Татьяну Бах в «Сильве», настоятельно советуя мне ее посмотреть, и, наконец, уже в конце долгого разговора, небрежно бросил:

— Да, там мы вам одно дельце направили, так уж вы не посетуйте. Ничего не попишешь — закон. Но мы, конечно, можете не сомневаться, будем помогать... Все-

мерно будем помогать... Не откажите, дорогой, дать справочку, что вы это дело приняли к своему производству, мне для отчета нужна. А за справочкой заедет Кротов.

Положив после этого разговора трубку телефона, я еще, увы, не понял, какая беда свалена на мою доверчивую голову лукавым Тихоходом, и выдал справку подзрительно быстро приехавшему Кротову.

Понял я это на следующее утро, когда мне позвонил губернский прокурор Сергей Николаевич Шевердин, добрейший и умнейший старик, в прошлом тоже, как и Дегтярев, политкаторжанин. Он попросил меня немедленно к нему приехать с делом о краже в Благовещенском переулке.

Перед выездом я тщательно ознакомился с делом, увидел, как притянуты за волосы «квалифицирующие признаки», но уже был связан по рукам вынесенным мною постановлением о принятии дела к производству и справкой, унесенной Кротовым.

Выслушав мой доклад и ознакомившись с делом, состоявшим в основном из документов, иллюстрирующих, как МУР «спихнул» его мне, Сергей Николаевич улыбнулся и сказал:

— Так, так, очень любопытно... Спихнул это дело Степанов, не будь дурак, вам, а вы, розоволицый сын мой, поспешили принять его к производству. Вы находитесь в том счастье, хотя и опасном возрасте, когда уже усвоили, что делать, но еще не научились, чего не делать. А Степанов обучен не столько первому, сколько второму... Так как же теперь нам быть? Форточная кража почти безнадежное для раскрытия дело. А С. уже рвет и мечет, рычит, аки лев, и требует нас с докладом. Поедем, сын мой, предвижу уйму неприятностей, ибо ведом мне характер потерпевшего...

Когда мы вошли в кабинет С. и Шевердин представил меня как следователя, занимающегося делом о краже, С. раздраженно проворчал:

— Ах, это и есть следователь? Ну, тогда мне понятно, почему жулики безнаказанно обворовывают квартиры наркомов! Товарищ Шевердин, у вас детский сад или прокуратура?

Шевердин вежливо, но с достоинством возразил, что я хотя и молодой, но подающий надежды следователь, работаю хорошо, а что касается до обращенного к нему вопроса, так ведь он не спрашивает товарища наркома, какого возраста его работники.

С. еще больше рассердился и стал кричать, что будет жаловаться в правительство, если в три дня не будет раскрыта эта кража, что ему наплевать на домашние вещи, но он нумизмат, всю жизнь собирал коллекцию древних монет, что это удивительная коллекция, в которой имелись даже динары с дырками времен Александра Македонского, что это не шутка и что он не понимает спокойствия губернского прокурора, не верит в следователей, у которых молоко на губах не обсохло, и вообще более трех суток, считая с этой минуты, ждать не намерен...

Шевердин, тоже не на шутку разозлясь, но, видимо, не считая возможным продолжать разговор при молодом следователе, попросил меня подождать в приемной, а через полчаса, багровый от ярости, вышел из кабинета С. и увез меня к себе.

По дороге, а потом в кабинете старик ворчал на С. за «барские замашки» и «не нашу фанатерию», бормотал что-то насчет ЦКК, куда не худо бы сходить С.

(Сам того не думая, Шевердин оказался пророком: через некоторое время С., как не оправдавший доверия, был снят с поста наркома.)

Когда мы вернулись в прокуратуру, Шевердин, немного успокоившись, сказал:

— В одном он, конечно, прав. Мы обязаны раскрыть преступление, и дело с концом... На что вы рассчитываете, молодой человек?

Я, запинаясь от волнения, ответил Шевердину, что, как он правильно заметил, дела о квартирных кражах наиболее трудные и процент их раскрываемости весьма низок, что я, как следователь, не располагаю никакими оперативными и агентурными возможностями, а раскрыть такое преступление чисто следственным путем не берусь...

Было решено, что я направлюсь в МУР и договорюсь со Степановым, чтобы они мобилизовали все свои возможности, для того чтобы помочь в раскрытии этой проклятой кражи. Увы, Степанов, когда я обратился к нему, прямо мне сказал, что относится к этому делу пессимистически.

— Поймите, дорогой, — сказал он, — кража-то форточная, и вор, забираясь в эту квартиру, даже не знал, кого обворовывает. Толковый профессиональный вор вообще не полез бы в этот дом, это надо понять! Следовательно, в данном случае действовал какой-то новичок, одним словом, не рецидивист. Черта с два его найдешь!.. Мы уж с Кротовым и так наводили справки, прежде чем это дельце вам сплавить, хороший мой...

И Степанов с милой непосредственностью улыбнулся.

В самом скверном настроении я пошел к своим друзьям из бандгруппы. Подробно меня расспросив, Осипов только покачал головой и стал ругать на все корки «этого проклятого Тихохода, который всегда умеет за чужой счет вылезти сухим из воды».

Ребята из бандгруппы не любили Степанова и его «дипломатических методов». Осипов очень хорошо понимал, в какое тяжелое положение я поставлен, и искренне хотел мне помочь, но как опытный работник видел, что дело почти безнадежное. Он подтвердил слова Степанова, что «настоящий, деловой вор» ни в коем случае не полез бы в квартиру наркома.

— Прямо не знаю, как тебе помочь, друг, — говорил Осипов. — Судя по всему, этот нумизмат от тебя не отстанет. Ничего нет хуже, чем иметь дело с коллекционерами, — это почти всегда маньяки. А тут еще какие-то динары с дырками... Будь они еще без дырок — полбеда, но с дырками — полная беда...

В этот момент к Осипову подошла секретарша и протянула ему шифровку из Одессы. Осипов прочитал телеграмму, о чем-то задумался и потом с внезапно просветлевшим лицом протянул мне телеграмму.

— Прочти, старик, — сказал он, — это имеет отношение к интересующему нас вопросу. Ты родился в сорочке...

Я схватил телеграмму, дважды ее прочел, но так и не понял, почему она свидетельствует, что я родился в сорочке. В телеграмме было написано:

«Начальнику МУРа Емельянову. В порядке оперативной информации сообщая, что сегодня выехал скорым в Москву в международном вагоне известный медвежатник Адмирал Нельсон. Не исключаю возможности серьезных гастролей. Адмирал Нельсон год назад освобожден досрочно от наказания согласно амнистии. Оснований к его задержанию не имеем. Адмирал Нельсон проходил до революции по фамилиям Херсонский, он же Ястржембский, он же Романеску, он же Шульц. Начальник Одесского губрозыска Николаев».

— Коля, какое это имеет отношение к динарам с дырками? — робко спросил я Осипова.

— Имеет, — весело ответил он. — Имеет, друже, и вот почему. Я хорошо знаю Адмирала Нельсона. Это крупнейший специалист по вскрытию стальных сейфов, работал еще в царское время, медвежатник с европейским именем, одним словом, последний из могикан. Он король в уголовном мире, и его слово — закон. В общем, он нам поможет... Завтра утром приходи ко мне, поедем его встречать.

На следующее утро мы встречали на Киевском вокзале одесский скорый. Когда поезд пошел, мы остановились у международного вагона и стали поджидать Адмирала Нельсона. Он появился в соломенном канотье, с роскошным, перекинутым через руку коверкотовым плащом, держа солидную палку с большим, слоновой кости набалдашником в виде львиной головы. Адмирал был уже немолод, сухощав, рыжеват, с единственным веселым, уверенным глазом, второй был закрыт черной шелковой повязкой. Его можно было принять и за преуспевающего негодяя, и за старого морского волка, и за иностранного концессионера, и за международного злодея из фильмов выпуска киностудии «Русь».

— Здорово, Адмирал! — подошел к нему Осипов. — С благополучным прибытием в столицу.

— Николай Филиппович, какими судьбами? — весело воскликнул Адмирал и стал трясти Осипову руку с таким видом, будто накануне он провел бессонную ночь в ожидании этой встречи. — Давненько мы с вами не видались. Я вижу, что наши фразеры из губрозыска уже накапали вам о моем приезде. Больше им нечего делать, как беспокоить занятого человека, ай-ай-ай!.. Я же приехал голый, как ребенок, — без багажа, без инструмента, так что они подымают шум, я вас спрашиваю? Я приехал встрях-

нуться, осмотреться, прийти в себя после кичмана, так эти дураки вас беспокоят! С другой стороны, спасибо им и за это, я вас все-таки повидал...

— Адмирал, есть серьезное дело,— перебил его Осипов.— Пойдем посидим в ресторане.

— Если пристав говорит садитесь, как-то неудобно стоять, говаривали когда-то в Одессе,— улыбнулся Адмирал.— Пойдемте хлопнем по кружке пива и поговорим о жизни... А кто этот молодой человек? — указал он на меня.

— Это мой друг,— ответил Осипов.— У нас общее дело...

В ресторане, выслушав от Осипова историю динаров с дырками, Адмирал забушевал от негодования.

— Что у вас тут делается, в столице? — восклицал он с пеной на губах.— Надо иметь нахальство забраться в квартиру наркома! Это же позор!.. Что, им мало нэпманов, частных контор, иностранных концессий? Так нет, они лезут прямо на Советскую власть!.. Николай Филиппович, вы знаете мое курикулюм витэ, или как это там говорят, я не очень силен в латыни, вы знаете все, и я спрашиваю: после Великой Октябрьской революции взял ли Адмирал Нельсон на бордаж хоть один государственный или даже кооперативный сейф? Да или нет?

— Ни одного, Адмирал,— согласился Осипов.— Это факт.

— Факт? Это не факт, а вопрос мировоззрения и мое профессион де фуа, как говорят французы. Вы слышите, молодой человек, вам это полезно знать, вы только начинаете жизнь: мировоззрения!.. С моими руками, о которых в 1913 году берлинский полицейспрезидент говорил на всемирном конгрессе криминалистов в Вене, как о явлении выдающемся, — вы слышите, он так и сказал: «Майне либе геррен, дize хэндэ зинд айн вельтвундер», — с моими руками взял ли я хоть одну сберкассу или хотя бы уездную контору Госбанка? Боже меня упаси!.. Я сказал себе так: Адмирал, лучше отруби себе руки, чем взять хоть одну народную копейку! Жми на частный капитал... Вот почему я возмущен до глубины души!..

— О чем же мы договоримся, Адмирал? — прервал Осипов этот поток возмущения.

Адмирал Нельсон очень выразительно посмотрел на Осипова, потом сказал:

— Вам известны мои принципы, Николай Филиппович? Короче: монеты будут, человека не будет... Ясно?

— Вполне,— ответил Осипов, вставая из-за стола и давая этим понять, что «высокие договаривающиеся стороны» пришли к соглашению.

Простившись с Адмиралом, записавшим на прощание телефон Осипова и заверившим, что он немедленно кое с кем встретится, чтобы «сделать демарш и предъявить ультиматум», мы сели в машину и поехали в МУР.

— И ты веришь, что этот одесский жулик что-нибудь сделает? — уныло спросил я Николая Филипповича.

— Если только эти монеты украл человек, а не привидение,— спокойно ответил он,— то в течение максимум двух суток они будут у нас. Ты не знаешь Адмирала. Уже самый его приезд в Москву — событие для уголовников, а он рассердился не на шутку. Я себе представляю, какой шум он поднимет!.. Адмирал Нельсон никогда не был и никогда не станет осведомителем угрозыска — за это я ручаюсь, но если к нему обратились как к человеку, он лучше умрет, чем не сделает того, что обещал.

— Мне он показался хвастливым болтуном,— произнес я.— Эта легенда насчет восторгов берлинского полицейспрезидента...

— Легенда? — сердито переспросил Осипов.— Ну, так едем ко мне, я тебе покажу, что это за легенда. У этого человека действительно феноменальные руки.

Полчаса спустя я перелистывал пожелтевшие страницы формуляра московской сысской полиции, на обложке которого было написано:

«Ястржембский Казимир Станиславович, он же Романеску Жан, он же Шульц Вильгельм,— опаснейший медвежатник международного класса, гастролирует в империи и за границей, проходит по донесениям С.-Петербургской, Одесской, Московской, Ростовской-на-Дону и Нахичеванской, а также Царства Польского сысских полиций».

Формуляр содержал многочисленные донесения, запросы и рапорты всех этих сысских полиций, излагавших похождения неуловимого Адмирала Нельсона.

Из них особенно подробным был «меморандум» директора департамента полиции министерства внутренних дел С. П. Белецкого, адресованный «его высокопревосходительству господину министру внутренних дел Н. А. Маклакову», датированный 12 марта 1913 года и согласно резолюции министра в копиях разосланный начальникам сыскных отделений полиции ряда крупнейших городов Российской империи «для сведения и руководства», примерно следующего содержания.

«Согласно приказанию вашего высокопревосходительства, сим докладываю о злоумышленной деятельности известного специалиста по взламыванию и расплавлению стальных сейфов, одесского мещанина, проходившего под фамилиями: Ястржембский, Романеску, Шульц, неоднократно судившегося за совершенные им уголовно-наказуемые деяния указанного выше характера.

В текущем, как и в минувшем годах, по данным департамента полиции Министерства внутренних дел, дерзкие ограбления и взломы банковских сейфов имели место в разных городах империи, но особого внимания заслуживают случаи, зарегистрированные в Нижнем-Новгороде и Самаре.

В Нижнем-Новгороде 12 августа минувшего года ночью неизвестный злоумышленник проник в помещение местного отделения Волжско-Камского банка, где и вскрыл два сейфа особой конструкции, выписанные вышеназванным банком из Лейпцига у известной фирмы по изготовлению банковских сейфов «Отто Гриль и К°».

Как установлено полицейским дознанием, произведенным по этому делу чинами нижегородской полиции при участии чиновника для особых поручений при нижегородском губернаторе, злоумышленник находился в помещении банка не более тридцати минут, на которые самовольно отлучился с поста ночной сторож мещанин Иван Прохоров Козолуп, каковой ввиду давности его безупречной дотоле службы в банке, а также ввиду весьма лестных о нем отзывов местной полиции и нижегородского отделения Союза русского народа от всяких подозрений освобожден.

По показаниям Козолупа, он в начале второго часа ночи, видя, что городское движение затихло, прохожих нет и даже в ресторане гостиницы «Россия» погасли огни, решил на время отлучиться со своего поста, дабы напиться дома чаю. Поскольку квартира Козолупа находилась неподалеку, он запер двери подъезда и пошел к себе, причем по дороге встретил неизвестного ему молодого человека в котелке, которому, по его просьбе, дал прикурить. При этом Козолуп заметил, что этот неизвестный не имеет одного глаза.

Когда по прошествии тридцати минут Козолуп вернулся на пост, то обнаружил подъезд уже открытым, а также открытыми стальные двери, ведущие в подвал, где хранятся банковские сейфы. Козолуп немедленно вызвал полицию. Как в дальнейшем выяснилось, злоумышленник с необыкновенной ловкостью и отменным знанием дела открыл два сейфа, несмотря на то, что они снабжены секретными и вполне оригинальной конструкции замками. Похитив из упомянутых сейфов около ста тысяч рублей государственными ассигновками, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Поскольку лейпцигская фирма «Отто Гриль и К°» выдала дирекции Волжско-Камского банка фирменную гарантию, что ее сейфы ввиду особой секретности замков посторонними вскрыты быть не могут, директор названного банка господин Голошекин немедленно уведомил о случившемся по телеграфу главу фирмы немецкого купца Гриля, каковой в тот же день ответил телеграфно, что командует в Нижний-Новгород старшего инженера фирмы и расходы по его выезду фирма принимает на себя. Через несколько дней представитель фирмы действительно прибыл в Нижний-Новгород, детально, в присутствии директора банка и чинов полиции, осмотрел оба сейфа и публично заявил, что даже он сам, автор этой конструкции и специалист по сейфам, не сумел бы вскрыть эти сейфы в течение тридцати минут, а минимум затратил бы на это не менее пяти часов, да и то при наличии специальных инструментов.

Затем в частной беседе с нижегородским полицмейстером Шмаковым представитель фирмы Гриль заявил, что в случае, если злоумышленник будет обнаружен полицией и понесет заслуженное наказание, то по отбытии им такового фирма «Отто Гриль и К°» охотно предложила бы указанному злоумышленнику работу на своих предприятиях на самых выгодных условиях.

Между тем в результате принятых местной полицией мер удалось установить, что 13 августа на пароход «Великая княжна Татьяна» волжского пароходного общества «Кавказ и Меркурий», отправлявшийся вниз по Волге, вступил в качестве пассажира первого класса неизвестный молодой человек в котелке, отменно одетый, рыжеватый и с одним глазом, каковой в тот же вечер в салоне первого класса принял участие в азартной картежной игре в обществе других пассажиров. Как потом выяснилось, среди играющих был известный пароходный шулер Зигмунд Пшедецкий, возвращавшийся с нижегородской ярмарки, где он выдавал себя за польского графа Ланкевича и также играл в ряде игорных домов. На пароходе, заметив ряд крупных русских и персидских купцов, возвращавшихся с ярмарки, Пшедецкий снова затеял азартную игру, в которой принял участие и упомянутый выше молодой человек в котелке.

По свидетельству лакея пароходной кухни Мурзаева, обслуживавшего игроков, игра шла очень крупно, на десятки тысяч, и Пшедецкий обыграл самарского купца первой гильдии известного мукомола Прохорова, а также персидских купцов Гуссейна Хаджара и Сулеймана Айрома и, кроме того, хвалынского уездного председателя дворянства графа Кушелева и в общей сложности выиграл не менее тридцати тысяч рублей.

Что же до молодого человека в котелке, то и он, по свидетельству Мурзаева, сильно проигрался и, расплачиваясь, вынимал из большого кожаного портфеля, с которым не расставался, деньги, причем Мурзаев заметил, что портфель набит до отказа ассигнациями.

По окончании игры, когда пассажиры разошлись по каютам, Мурзаев, убиравший салон, услышал какой-то шум в третьей каюте и, подойдя к ее дверям, подсмотрел в замочную скважину Пшедецкого-Ланкевича и молодого человека в котелке, причем последний основательно тряс Пшедецкого за ворот и кричал: «Отдай, жулик, полвыигрыша, а то я из тебя душу выну!» — на что Пшедецкий отвечал, что согласен вернуть молодому человеку лишь его проигрыш. В конце концов между ними началась драка, и молодой человек в котелке начал бить Пшедецкого спасательным кругом по голове, после чего Пшедецкий отдал молодому человеку половину всего выигрыша и тут же, захватив свой саквояж, высадился на первой же глухой пристани, несмотря на позднюю ночь.

На следующий день после прибытия вышеупомянутого парохода «Великая княжна Татьяна» в Самару, где молодой человек в котелке высадился, там же ночью было произведено неизвестным злоумышленником дерзкое ограбление самарского купеческого банка, где также были вскрыты два сейфа и похищены семьдесят тысяч рублей. При этом, как и в Нижнем-Новгороде, злоумышленник произвел вскрытие сейфов в удивительно короткий срок.

По начатии полицейского дознания по этому делу было установлено, что в вечер прибытия парохода «Великая княжна Татьяна» в Самару в гостиницу «Волга» явился рыжеватый молодой человек в котелке и, предъявив паспорт на имя Казимира Ястржембского, занял номер. На следующие сутки около трех часов ночи он вернулся из города в гостиницу с саквояжем в руке и дал коридорной Аграфене Горинной, открывшей ему дверь, пять рублей на чай. При этом, как показала на дознании Горина, он был вполне трезв, но явно утомлен.

Именно эти данные и пролили известный свет на это дело, поскольку, по данным Харьковской сыскной полиции, известный медвежатник Шульц и Романеску проходил у них под фамилией Ястржембского.

Однако по получении и проверке этих данных Шульц-Ястржембский скрылся из Самары в неизвестном направлении.

И лишь через восемь месяцев следы Шульца-Романеску-Ястржембского всплыли в Берлине, откуда поступило сообщение берлинского полицейпрезидиума о нижеследующем обратившем на себя внимание немецкой полиции происшествии.

В феврале текущего, 1913 года в Берлине была открыта техническая выставка, на которой как германские, так и другие европейские фирмы демонстрировали свои товары. В частности, в павильоне «банковское и торговое оборудование» ряд фирм демонстрировал новые стальные сейфы с секретными замками. В том числе демон-

стрировались и сейфы фирмы «Отто Гриль и К°». В целях рекламы как эта фирма, так и германская электротехническая фирма «Симменс-Шуккерт», демонстрировавшая сейфы с секретной электрической сигнализацией, объявили большой денежный приз тому из посетителей, который сумеет в первом случае вообще открыть сейф, а во втором — открыть его без того, чтобы автоматически включилась электрическая сирена.

Седьмого февраля в присутствии многочисленной публики некий рыжеватый одноглазый молодой человек в котелке подошел к администратору павильона и заявил, что сейчас он попытается открыть как сейф лейпцигской фирмы «Отто Гриль и К°», так и сейф «Симменс-Шуккерт». Его предложение было принято, и он, к вящему удивлению представителей фирм и полному восторгу многочисленной публики, в течение двадцати двух минут открыл оба сейфа, причем во втором случае сумел предварительно отключить секретную сигнализацию.

Ему тут же были выданы денежные призы, и он на плохом немецком языке пригласил всех присутствующих в пивную «Вагнер», где и угощал их за свой счет, а сам, довольно сильно выпив, танцевал четку и провозглашал тосты за город Одессу.

Между тем инженер фирмы «Отто Гриль и К°», упомянутый выше, позвонил в Берлинскую полицию и сообщил, что способ, которым неизвестный открыл сейф, очень напоминает ему происшествие, случившееся в нижегородском отделении Волжско-Камского банка.

Тогда представители берлинского полицейпрезидиума спешно явились в пивную «Вагнер» и потребовали у неизвестного молодого человека предъявления документов. Он показал им русский паспорт на фамилию Ястржембского с визой на выезд за границу. Чины берлинской полиции, тем не менее, предложили ему следовать за собой на предмет дальнейшего выяснения его личности, но Ястржембский от этого категорически отказался и стал просить защиты у публики, уже основательно подвыпившей за его счет. Публика единодушно встала на его защиту и оттеснила чинов полиции, а сам Ястржембский скрылся.

Докладывая о вышеизложенном вашему высокопревосходительству, со своей стороны полагал бы необходимым войти в сношение с министром иностранных дел его высокопревосходительством господином Сазоновым на предмет обращения в установленном порядке к германской полиции с просьбой об обнаружении, задержании и выдаче названного Ястржембского-Шульца-Романеску как серьезного уголовного преступника. — Директор департамента полиции Министерства внутренних дел, действительный статский советник С. Белецкий».

Из дальнейшей переписки, содержащейся в этом архивном деле, можно было понять, что в течение почти года царское министерство внутренних дел через министерство иностранных дел связывалось с германской полицией, которая разыскивала или делала вид, что разыскивает, Адмирала Нельсона. Потом разразилась война, и эта переписка прекратилась.

Был уже вечер, когда я, закончив ознакомление с этими пожелтевшими документами и списав на память наиболее интересные выдержки из них, пошел с Осиповым в кинотеатр «Арс», где теперь находится Драматический театр имени Станиславского.

Взяв билеты, мы решили погулять, так как до начала сеанса еще оставалось около часа.

— Скажи, Николай, чем может кончиться этот Адмирал Нельсон? — спросил я Осипова.

— Я сам часто думаю о нем и таких, как он, — ответил Осипов. — Как тебе сказать, старик, это очень сложный и трудный вопрос. Мы получили в наследство от прошлого довольно большой уголовный мир с его навыками, традициями, различными «школами» и специальностями. Сейчас, в годы нэпа, уголовщина опять получила питательную среду. Рестораны, бега, частные магазины, торговля, кабаре, наконец, весь образ жизни самих нэпманов — все это, конечно, питает уголовщину. Есть еще немало старых «специалистов» — грабителей, воров, содержателей всевозможных притонов и т. п. Среди них есть и люди ответые — опаснейшие и уже неисправимые преступники. Мы обязаны быть к ним беспощадными, иного выхода нет. Думаю, что большинство из них будет нами рано или поздно поймано и отправлено по назначению,

Другая часть, вероятно, «перекуется» и начнет трудовую жизнь. Куда пойдет Адмирал — трудно сказать... Но то, что он никогда не берет государственных и кооперативных сейфов, — факт... А в общем, проживем — увидим...

3

Утро следующего дня началось с телефонного звонка секретарши С., передавшей, что нарком продолжает волноваться и велел напомнить, что осталось два дня. Нельзя сказать, чтобы это сообщение привело меня в радостное настроение. В два часа со мной связался Осипов и сообщил, что ему только что позвонил по телефону Адмирал Нельсон и сказал, что работа кипит, но монет пока нет.

В конце дня позвонил Шевердин, и по тревоге, с которой этот добрый старик справлялся о ходе дел, я понял, что он искренне обеспокоен и считает, что, если монеты не найдутся, мне не сдобровать. Я в самых общих словах доложил Шевердину, что товарищи из МУРа приняли такие-то меры, но пока результатов нет.

— Жаль, жаль, — вздохнул Шевердин, — уж очень бушует наш потерпевший... Старайтесь, дорогой, старайтесь изо всех сил, а то влипнем мы с вами в историю с географией...

Нетрудно представить себе мое состояние, когда в тот же день вечером под окнами моей комнаты, в Дегтярном переулке, загудела знакомая сирена осиповского «лежо». Я пулей выскочил на улицу и еще издали увидел улыбающееся лицо моего друга, рядом с которым сидел один из самых талантливых его помощников — Николай Леонтьевич Ножницкий.

— Садись, едем! — крикнул мне Осипов. — Звонил Адмирал и просил срочно приехать в «Культурный уголок»...

Я сел в машину, и мы помчались на Тверскую, где на углу Малого Гнездиковского, в невысоком доме, который давно уж снесен, чтобы очистить место для новых корпусов, помещалась пивная, называвшаяся «Культурный уголок», но славившаяся не столько культурой, сколько отличными вареными раками и совершенно необыкновенной вяленой воблой, подававшимися вместе с моченым горохом к пиву.

Адмирал Нельсон поджидал нас за столиком в углу, сидя в модном, отлично выуженном костюме с самым торжественным выражением лица.

— Добрый вечер, джентльмены, — с достоинством протянул он. — Не правда ли, отличная погода и самые добрые предчувствия?.. Садитесь, прошу вас, охладите свое нетерпение пивом, а скорбь — надеждами...

— Как с монетами? — спокойно перебил его Осипов, не любивший напрасно терять время.

— Будь прокляты эти монеты! — воскликнул Адмирал, сделав страдальческое лицо. — Ох и задали же вы мне работку, Николай Филиппович!.. Это называется, человек приехал в столицу встряхнуться и отдохнуть... «Семочка, никогда не гонись за развлечениями и живи тихо», — говорил мой покойный папа, а человека умнее его в Одессе не было и теперь уж, безусловно, не будет... Между прочим, он был лучшим механиком в этом великом городе, и я убедился по себе, что законы наследственности не выдумка шарлатанов... Один раз, не сойти мне с этого места...

— Нельзя ли ближе к существу дела? — ледяным тоном произнес Осипов. — Исто-рия с покойным папашей я слышал уже не раз и знаю ее наизусть.

— Пардон, я забыл, что уже рассказывал вам про своего папу, — извинился Адмирал. — Значит, переходим к делу. Вчера я прямо с вокзала собрал кого следует и провел пленарное заседание. Я произнес такую речь, что многие заплакали... «Гидры контрреволюции», — сказал я, — у вас хватило совести кинуться на квартиру наркома и свистнуть у него коллекцию, которую он собирал всю свою жизнь!.. Из-за каких-то ржавых монет вы отрываете члена правительства от важнейших государственных дел, денкинци!.. Я бросил все свои дела в Одессе и примчался, чтобы сказать вам свое «фэ!». Я говорил полчаса, не меньше, и мне три раза подавали воду, так я волновался. И тогда встал король домушников, вы его знаете, Николай Филиппович.

— Сенька Барс, знаю, — произнес Осипов.

— Именно. Обливаясь горячими слезами, он поклялся, что это не его работа. Что вам много говорить?.. Там были сливки Москвы, и все поклялись бросить работу, пока не найдут этих проклятых монет, из-за которых мы так опозорены.. И кому, как не вам, знать, что они действительно сдержали слово..

— Это верно, — подтвердил Осипов. — За эти сутки, впервые за последние годы, не было совершено ни одной кражи..

— Что значит — кражи? — обиженно спросил Адмирал. — Что значит — кражи, когда сутки вообще никто не работает. Ведь пришлось мобилизовать всех — и фармазонов, и уличных грабителей, и кукольников, — всех, всех!.. Был ли раздет хоть один нэпман, вырвана ли хоть одна сумка у какой-нибудь дамочки, вытащен ли хотя бы один бумажник? Да что говорить, когда город объявлен на осадном положении.. Нам недешево обошлись эти динары с дырками! Может быть, вы думаете, что хоть один человек спал хоть десять минут? Если вы это думаете, я перестану вас уважать..

— Нет, я этого не думаю, — поспешил заявить Осипов.

— Так вы-таки умный человек!.. Скажу больше: всю ночь я сам провел на главной малине..

— Зоологический переулок, одиннадцать? — улыбнулся Осипов.

— Николай Филиппович, этого я от вас не ожидал. Адмирал Нельсон за всю свою жизнь не завалил ни одной малины, и такие вопросы — это не по конвенции.. В общем, я ничего не скажу..

— Ладно, — усмехнулся Осипов. — Продолжаем заседание..

— Продолжаем. Всю ночь я просидел на малине, каждые полчаса прибегали люди со всех концов города, и каждый говорил: нет.. В семь часов утра ни один профессор на свете не дал бы за мою жизнь ломаного гроша, так меня трясло от волнения..

— Ближе к делу, Адмирал, — неумолимо произнес Осипов.

— Мы как раз к нему подходим, и сейчас я брошу якорь, — сказал Адмирал. — Кто, вы думаете, меня спас? Вбежал Колька Кролик из Марьиной рощи с криками и с таким видом, как будто он только что украл в трамвае линии «Б» британскую корону. «Что ты орешь?» — спросил я, а он все продолжал кричать, пока Сенька Барс не вытряс из него сути дела. Оказалось, нашли этого проклятого воруго и узнали, что он, во-первых, не москвич, во-вторых, — что еще более важно — не одессит, а в-третьих, даже не настоящий вор, а какой-то приезжий болван из Тулы.. После этого я вас спрашиваю: можно жить на этом странном свете?

— Где монеты? — спокойно спросил Осипов, пристально глядя прямо в глаза Адмиралу.

— Как раз этот вопрос, не будучи оригиналом, я задал Кольке Кролику, — довольно язвительно ответил Адмирал. — Монеты в Туле, куда этот тип успел их отвезти. Теперь за ними поехала туда такая делегация, что если в этом городе останется хотя бы знаменитый оружейный завод, так горсовет может устроить торжественное заседание.. Скоро монеты привезут сюда..

Тут даже Осипов не выдержал и вздохнул с облегчением. У меня от радости кружилась голова.

4

И тут кто-то бросил камешек в окно, у которого мы сидели. Адмирал Нельсон моментально вскочил и, воскликнув: «Послы прибыли! Музыка играет туш!» — выбежал из пивной.

Через несколько минут он возвратился в пивную, торжественно неся в руках довольно большой кожаный мешок с медными застежками.

— Вот они, — произнес Адмирал, и его единственный глаз гордо засверкал. — Могу дать голову на отсечение, что, если б даже все полиции мира совместно с участниками венского всемирного конгресса криминалистов, на котором берлинский полицейпрезидент так заслуженно тепло отозвался о моих руках, приехали бы сюда, чтобы найти эти монеты, им бы пришлось организованно утопиться в Москве-реке от неслыханного конфуза.. Молодой человек, — обратился он ко мне, — вы только вслушаетесь в жизнь и глубоко мне симпатичны, смотрите, любуйтесь, запоминайте: вот на что

способны вору, когда задета их честь... Вот каков Адмирал Нельсон и его неслыханный авторитет!..

И, расстегнув застёжки, он открыл мешок, внутри которого в специальных ячейках сидели, как голуби в гнездах, монеты.

Мы стали их разглядывать. Их насчитывалось около двухсот, и все они были медные, зеленые и ржавые от древности, маленькие и большие, с вычеканенными на них быками и змеями, орлами и козлами, сфинксами и журавлями.

— Прошу встать перед лицом тысячелетий! — торжественно произнес Адмирал и действительно встал. — Видите, вот, судя по дыркам, эти самые динары, из-за которых поднялся такой страшный шумер... Боже мой, какая гримаса жизни! Действительно гримаса — эти монеты противно взять в руки... Из-за такой дряни лучшие люди великого города носились, как коты, нанюхавшиеся валерьянки... Стоило волноваться наркому из-за этой ржавой меди! Поистине, и большие люди бывают глупцами, как говорил Спиноза, хотя, возможно, что он этого и не говорил...

Из вежливости — все-таки этот человек нам помог — мы не перебивали Адмирала. Осипов заметно погрузтел: он очень не любил болтовни. А на нас сыпались философские сентенции и хвастливые воспоминания старого медвежатника, лирические отступления и воровской фольклор одесской Молдаванки.

Наконец, воспользовавшись минутной паузой, мы простились с уставшим Адмиралом Нельсоном. Неожиданно он сказал в заключение:

— И знаете, что самое странное в этом деле? Впервые в жизни Адмирал Нельсон занимался розыском вместо краж. Оказывается, это гораздо интереснее. Честное слово старого медвежатника, это были самые счастливые сутки в моей жизни...

И, внезапно отрезвав, Адмирал посмотрел на нас печальным взглядом немолодого человека, понявшего вдруг, что он зря растратил свою жизнь.

Осипов сразу встрепенулся и пристально на него поглядел.

— Из всего, что вы нам сегодня сказали, Семен Михайлович, — серьезно произнес он, впервые называя так Адмирала, — это самое стоящее и умное. И если, найдя эти монеты, вы еще сумеете найти и свою новую судьбу, — а это никогда не поздно, пока человек еще видит, дышит и думает, — то я ваш верный союзник. Был бы рад сквитаться таким образом...

По тому, как внезапно и густо покраснел Адмирал, я понял, что Осипов, как всегда, попал в цель. Установилось то общее молчание, которое нередко говорит больше, нежели любые слова.

Адмирал сидел, опустив голову, о чем-то думая. Осипов не сводил с него глаз, и в них светилось то теплое, человеческое участие, без которого, как и без веры в людей, криминалист всегда ограничен и слеп. Увы, как нередко мне приходилось встречать потом иных следователей, страдавших этой куриной слепотой и потому причинявших страдания, в которых не было нужды!..

После затянувшейся паузы Адмирал поднял голову и тихо сказал:

— Кажется, Архимед сказал, что, если ему дадут точку опоры, он может перевернуть мир... Я не Архимед, и мир перевернулся без меня... Но так как я вижу, что он действительно перевернулся правильно, то что-то переворачивается и во мне... Мне уже много лет, Николай Филиппович, и в мои годы трудно начинать жизнь снова... Но вы оказали мне доверие, и это тоже точка опоры, о которой мечтал Архимед... Попробую перевернуть и свой старый, вонючий мир... Попробую расплавить тот ржавый сейф, который я ношу в себе... Кто знает, может быть, в нем еще сохранилось что-нибудь стоящее... Может быть...

И, неожиданно встав, он, не прощаясь, вышел из пивной.

5

Когда я приехал к Шевердину и рассказал обо всем, что было, старик начал так хохотать, что я за него испугался. Потом, совершенно неожиданно для меня, он очень строго сказал:

— А все-таки, голубчик, я вот тут посоветовался с товарищами и с вашими учителями, в частности, да-с, и решили мы единогласно, что придется вам предстать перед дисциплинарной коллегией губсуда... Можете идти...

В полной растерянности я вышел из кабинета Шевердина и бросился к Снитовскому, у которого сидел и Ласкин. Оба были заметно расстроены. Ласкин, нехотя буркнув «здрассте», барабанил пальцами по столу. Снитовский был холоден как лед. Кроме них, в кабинете находился и помощник губернского прокурора по надзору за следствием М. В. Острогорский — высокий, красивый человек со светлой пышной шевелюрой и большими серыми глазами, смотревшими на этот раз весьма строго.

— Маленькие дети — маленькие неприятности, большие дети — большие неприятности, — начал Снитовский. — Так вот, Лев Романович (никогда раньше он меня не называл по отчеству), скорблю, всей душой скорблю по поводу странного вашего поведения. Нехорошо, милостивый государь, нехорошо и даже, позволю себе сказать, стыдно!.. Тому ли мы вас учили, сударь, тому ль?..

— Иван Маркович, позвольте... — пролепетал я.

— Не позволю! — стукнул Снитовский кулаком по столу. — Не позволю! Ай-ай-ай, судебный следователь вступает в сделку с каким-то рецидивистом!.. Ужас, ужас!..

— Кошмар! — поддержал его Ласкин.

— Это просто непостижимо, — процедил Острогорский.

— Когда нам Шевердин все рассказал, мы решили, что так это не пройдет, не должно пройти. Пусть вам наперед наука будет. Да, наука, как нашу корпорацию марать...

И через неделю я стоял перед большим, крытым зеленым сукном столом, за которым восседала дисциплинарная коллегия губсуда в полном своем составе, с мрачным бородатым Дегтяревым во главе.

К тому времени дорогие мои наставники успели вполне внушить мне, что я совершил великий и непростительный грех, и я со всей искренностью лепетал членам дисциплинарной коллегии обо всем, что было, как было и почему. Ах, как мне было худо!..

Дегтярев слушал меня очень внимательно, а в его глазах, как ни странно, светилось в самой глубине что-то ласковое и даже, кажется, веселое. Не потому ли он так сердито жевал свою бороду и время от времени зловеще бросал:

— Рассказывай, все рассказывай, орел!.. Ишь какой ловкий!.. Хорош, нечего сказать, хорош!.. Шерлоком Холмсом захотел стать!.. Чужими руками каштаны таскать!..

Но обо всем этом я вспоминал уже потом, а тогда мне было не до размышлений, и я только очень боялся из-за волнения хоть что-нибудь утаить. Но я не утаил ничего.

Судьи совещались всего двадцать минут, но мне они показались вечностью. И когда Дегтярев стал зачитывать решение, я с трудом, в тумане, застилавшем голову, расслышал главное: что меня не увольняют с работы и что коллегия ввиду моей молодости и искреннего раскаяния решила ограничиться устным, но строгим внушением.

И тут я, дело прошлое, заплакал, на что Дегтярев в очень ласковом, удивительном для него тоне тихо сказал:

— Ничего, ничего, не стесняйся, поплачь, милочка, и пусть это будет твое последнее в жизни горе...

6

А через много лет, где-то в середине тридцатых годов, судьба снова столкнула меня с Адмиралом Нельсоном. Я работал тогда в Прокуратуре СССР в качестве начальника следственного отдела и однажды, придя в кабинет Прокурора СССР И. А. Акулова, застал последнего в очень взволнованном состоянии.

— Вот полюбуитесь, какое несчастье, — обратился ко мне Акулов. — Потерял я ключ от своего сейфа, а через два часа мой доклад в правительстве, и все материалы в сейфе. Наш механик открыть не берется, потому что сейф сложный, с каким-то замысловатым замком. Механик говорит, что надо сугки с ним биться...

Я посмотрел на массивный стальной сейф и сразу вспомнил, что, как несколько лет назад мне рассказывал Осипов, Адмирал Нельсон окончательно порвал с прошлым,

перебрался на жительство в Москву и мирно трудится в качестве технорука одной механической артели.

— Одну минуту, Иван Алексеевич, — сказал я Акулову. — Попытаюсь вам помочь.

И я тут же, позвонив Осипову, работавшему уже в Центророзыске, рассказал ему о беде, постигшей Прокурора Союза.

— Все ясно, старина, сейчас попробую разыскать Семена Михайловича и, если найду, приеду вместе с ним, — сказал Осипов, — Но я его давно не встречал, не знаю, жив ли...

Иван Алексеевич, всегда и все понимавший с полуслова, едва я положил телефонную трубку, спросил:

— Скажите, это не тот Адмирал Нельсон, о котором вы мне рассказывали?

— Он, Иван Алексеевич.

— Ну, этот, судя по всему, поможет...

И Иван Алексеевич улыбнулся своей лукавой улыбкой, которую так хорошо знали его подчиненные.

Не прошло и получаса, как появился несколько запыхавшийся, но все еще тогда крепкий Николай Филиппович, за которым следовал чистенький, аккуратный старичок с небольшим саквояжем в руке, одноглазый, с такой же аккуратной, как весь он, черной повязкой над глазицей. Прямо скажем, Адмирала было трудно узнать, так постарел он за эти годы, и только в самой глубине его единственного глаза все еще тлел тот живой огонек, который запомнился мне с первой встречи.

Иван Алексеевич встретил Адмирала с обычной корректностью и тактом.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Мне говорили, что вы один из лучших... гм... механиков... Не так ли?

— В свое время так считали почти все полиции Европы, товарищ Акулов, — ответил с достоинством Адмирал. — Но ведь полиция свойственно ошибаться более, чем кому-либо... Впрочем, как будто я действительно немного разобрался в сейфах... Речь идет об этой гробнице? — И он указал на злополучный сейф.

— Совершенно верно. Это, если я не ошибаюсь, немецкий?

— Да, лейпцигской работы, — ответил Адмирал, быстро оглядывая сейф. — Однако это не «прима», как говорят немцы. Это сейф фирмы «Отто Гриль и К°», и я немного знаком с этой фирмой. Мы имеем здесь двойную шеколку нержавеющей стали с внутренней пружиной и автоматическим боковым тормозом, вот здесь, слева, который задерживает замок, если не знать секрета. А вот и самый секрет, он довольно музыкальный... Что делать, немцы любят музыку...

И Адмирал Нельсон нажал головку одного из пяти медных болтов, которыми был заклепан замок. Головка сразу же подалась и с мелодичным звоном отошла в сторону.

— Совершенно верно, — улыбаясь, произнес Акулов. — Я вижу, что полиция не всегда ошибалась, Семен Михайлович. Вы действительно крупный специалист...

— Не хвалите раньше времени, а то можно сглазить, — ответил Адмирал. — Сейчас мы подружimsя с этим немцем как следует...

И, вытащив из саквояжа какой-то тонкий стальной прут и длинный ключ с передвигающимися бородками, Адмирал начал совершенно бесшумно ими оперировать.

— Замки сейфов не переносят грубости, — говорил он, продолжая работать. — С ними нужно деликатно обращаться, и они, как женщины, больше ценят внимание, чем силу... Конечно, когда такая старая калоша, как я, говорит о женщинах, это может показаться смешным, но в молодости бывший Адмирал Нельсон разобрался не только в сейфах, несмотря на то, что имел всего один глаз... Кстати, товарищ Акулов, именно благодаря этому меня и прозвали «Адмиралом Нельсоном». Ведь он тоже был одноглазым. В 1905 году я гастролировал в Амстердаме и, дело пршлое, взял там один хороший сейф. На следующий день я прочел в газетах, что через неделю — это было в октябре — в Англии будет отмечаться сто лет со дня гибели Горацио Нельсона, павшего, как вы знаете, 21 октября, после сражения у Трафальгарского мыса, где он разгромил франко-испанский флот. Я решил, что должен оказать дань внимания тезке. Я скупил в Амстердаме уйму знаменитых голландских тюльпанов, погрузил их на па-

роход и выехал в Англию. Три грузовых фургона доставили мои тюльпаны на кладбище, а сам я был в новом фраке и цилиндре... Клянусь вам честью бывшего медвежатника, что, когда публика увидела мои тюльпаны, на меня стали смотреть больше, чем на первого лорда адмиралтейства... Да, на старости нам остаются одни воспоминания, как сказал Кант, в чем я, впрочем, не уверен...

— В том, что остаются одни воспоминания, или в том, что это сказал Кант? — быстро спросил Акулов.

— Николай Филиппович вам может подтвердить, что речь идет только о втором. А в том, что, кроме воспоминаний, у меня уже давно ничего нет, уверен, помимо меня, и весь угрозыск.

— Верно, — произнес Осипов.

И в этот самый момент Адмирал со словами: «Ну вот, спасибо, крошка» — распахнул сейф.

Акулов поблагодарил Адмирала и деликатно осведомился, «сколько он должен», но Адмирал так отчаянно замахал руками, что этот вопрос сразу отпал.

— Еще раз благодарю, Семен Михайлович, — очень серьезно произнес Акулов. — Я искренне рад, что познакомился с вами теперь, когда уже можно сказать, что вы выдержали трудный, может быть самый трудный на свете, экзамен. Я имею в виду не сейф...

— Я вас понимаю, товарищ Акулов, — тихо ответил Адмирал.

ВОЛЧЬЯ СТАЯ

В начале 1928 года, в ту пору, когда я уже был переведен в Ленинград, тамошние следователи были завалены всевозможными делами. В городе неистовствовал нэп. Он отличался от московского нэпа прежде всего самими нэпманами. В большинстве своем они были здесь представителями дореволюционной коммерческой знати, тесно связанной с еще сохранившимися обломками столичной аристократии. Ленинградские нэпманы охотно женились на невестах с княжескими и графскими титулами и в своем образе жизни и манерах всячески подражали старому петербургскому «свету».

Нэпманы нередко обманывали руководителей государственных трестов и предприятий, заключая с ними всевозможные договоры и соглашения. Стремясь разложить тех советских работников, с которыми они имели дело, действуя подкупом и всякого рода мелкими услугами, угощениями и «подарками», нэпманы старались пробудить в них стремление к «легкой жизни». А соблазнов было много. Открылись роскошные ночные рестораны. В знаменитом Владимирском клубе, занимавшем на проспекте Нахимсона роскошный дом с колоннами, функционировало фешенебельное казино с лощеными крупье в смокингах и дорогими кокетками. Знаменитый до революции ресторатор Федоров, великан с лицом, напоминавшим выставочную тыкву, вновь открыл свой ресторан и демонстрировал в нем чудеса кулинарии. С ним конкурировали всевозможные «Сан-Суси», «Италия», «Слон», «Палермо», «Квисисана», «Забвение» и «Услава».

По вечерам открывался в огромных подвалах Европейской гостиницы и бушевал до рассвета знаменитый бар с его трехэтажным, лишенным внутренних перекрытий залом, с тремя оркестрами и уймой столиков, за которыми сидели, пили, пели, ели, смеялись и ссорились художники и нэпманы, бывшие князья и налетчики, румяные моряки и студенты. Между столиками сновали ошалевшие от криков, музыки и пестроты лиц, красок, костюмов официанты в белых кителях и кокетливые цветочницы.

«Короли» ленинградского нэпа — всякого рода Кюны, Магиды, Симановы, Сальманы, Крафты, Федоровы — обычно кутили в дорогих ресторанах: «Первом товариществе» на Садовой, у Федорова, в «Астории» или на «крыше» Европейской гостиницы. Летом славился ресторан курзала Сестрорецкого курорта с его огромной, открытой, выходящей на море террасой и только входившим тогда в моду джазом. Сюда любили приезжать на машинах ночью после премьер в Театре комедии, арендованном в порядке частной антрепризы Надеждиным и Грановской, очень талантливыми комедийными актерами, любимцами города.

Здесь за роскошно сервированными столиками, под тихий рокот прибоа «короли» завершали миллионные сделки, торговались, вступали в соглашения и коммерческие

альянсы и тщательно обсуждали «общую ситуацию», которая, по их мнению, в 1928 году складывалась весьма тревожно.

Самые дальновидные из них начинали понимать, что «временное отступление» подходит к концу и что молодая, но уже окрепшая государственная промышленность, кооперация и торговля начинают наступать на частный сектор. Нэпманов особенно беспокоила система налогового обложения их доходов, и они наперебой проклинали начальника налогового управления Ленинградского облфинотдела Сергея Степановича Тер-Аванесова, руководившего работой фининспекторов и известного тем, что к нему «подобрать ключи невозможно».

Правда, в самом конце 1927 года прополз слухок, что лакокрасочник Николай Артурович Кюн и шоколадник Альберт Карлович Крафт сумели каким-то загадочным путем добиться благосклонности Тер-Аванесова, но сами они в ответ на вопросы знакомых «королей» так горячо и искренне уверяли, будто эти слухи — сущий вздор, что им в конце концов поверили.

И вдруг в начале 1928 года начались грозные события: были арестованы в течение одной ночи и Тер-Аванесов, и более десятка фининспекторов, и многие крупные нэпманы, в том числе Крафт и Сальман, Магид и Федоров и другие. По городу поползли слухи, что следственные органы вскрыли многочисленные факты взяток, принятых фининспекторами от нэпманов за снижение налогов. Знаменитый Кюн сбежал в неизвестном направлении. На его фабрику лакокрасок был наложен арест. Чуть ли не в ту же ночь сбежал и мебельщик Янаки, грек из Одессы, в чьих руках была сосредоточена почти вся торговля антикварной мебелью. Вместо арестованных фининспекторов были назначены другие, и подступиться к ним уже было абсолютно невозможно.

«Вечерняя Красная газета» поместила заметку о том, что следствие по делу группы фининспекторов, незаконно снижавших нэпманам налоги, успешно разворачивается и выясняются новые лица, причастные к этим преступлениям. Ночные поездки в Сестрорецк и кутежи в «Астории» и на «крыше» прекратились. Начали закрываться многие частные магазины и товарищества. Лихачи и владельцы машин с желтым кругом на борту, обозначавшим, что машина работает на прокате, простаивали на стоянках без дела: пассажиров почти не было.

«Линия фронта» была прорвана во многих направлениях.

Большое групповое дело фининспекторов и нэпманов, получавших и дававших взятки, поступило в мое производство. В этом многотомном деле были десятки эпизодов, тысячи всякого рода документов, много обвиняемых. Работать приходилось напряженно, и областной прокурор, наблюдавший за следствием, торопил с его окончанием, так как дело вызывало большой общественный интерес.

Существует мнение, столь же распространенное, сколь и ошибочное, что по так называемым хозяйственным и должностным делам, то есть делам о преступлениях хозяйственных и должностных, следователю редко приходится встречаться с человеческими драмами, психологическими конфликтами и большими чувствами. Это далеко не так. Конечно, по делам о преступлениях бытовых, вроде убийств на почве ревности, доведения до самоубийства и т. п., самая «фабула» дела выдвигает перед следователем прежде всего вопросы психологические, связанные с любовью, ревностью, мстостью, коварством, обманом, насилием над чужой волей и прочим. По таким делам невозможно закончить следствие, не выяснив до конца именно этих вопросов, освещающих мотивы преступления, причины и обстоятельства возникновения преступного умысла и подготовку к его осуществлению.

В делах о взяточничестве подобные вопросы иногда вовсе отсутствуют, и следствие прежде всего, выяснив самый факт преступления, должно ответить на вопрос, за что была дана и получена взятка. Как и в каждом уголовном деле, здесь нельзя ограничиваться признанием обвиняемых, давших и получивших взятку, ибо ставка на признание обвиняемых, как «царицу всех доказательств», всегда свидетельствует либо о юридической и психологической тупости следователя, либо о его нежелании или неумении справиться со своими обязанностями. В деле фининспекторов и нэпманов почти все обвиняемые признались. Но это признание надо было объективно проверить и подтвер-

дить документами, фактами, точно установленными цифрами, поскольку речь шла о незаконном снижении налогов.

Не менее важным был вопрос, имевший, как я был убежден, и социально-психологическое значение: как могло случиться, что значительная группа людей, в том числе и коммунистов, поставленных на ответственные посты нашего финансового фронта, встала по существу на путь измены, оказавшись в одних случаях перебежчиками, в других — лазутчиками врага? Я старался найти ответ на этот вопрос в биографии, характере, условиях жизни каждого из фининспекторов, привлеченных по этому делу. Постепенно вскрылись разные причины, мотивы и обстоятельства. Один становился взяточником потому, что никогда не имел за душой ни искренних убеждений, ни твердых взглядов, ни веры в дело, которому должен был служить. Другой начал пьянствовать и постепенно, незаметно для самого себя, стал алкоголиком и гропил и свою честь и свою судьбу. Третий, будучи раньше человеком честным, подпал под влияние дурной среды и, начав с мелких подношений и одолжений, которые он принимал от нэпманов, сумевших к нему подойти, потом уже стал матерым взяточником, махнувшим на все рукой по известной формуле «пропади все пропадом». Четвертый, подпав под влияние жены — цепкой и жадной бабенки, неустанно укоряющей за то, что «все люди как люди живут, а я одна, несчастная, мучаюсь, даже котиковой шубки себе справиться не могу», — принимал в конце концов эту котиковую шубку от налогоплательщика и оказывался у черта в лапах.

Я хорошо помню, как тогда и в последующие годы презирал этих людей, помимо прочего, за их тупую, какую-то скотскую, недостойную человека безропотность, превращавшую их в рабов. Безволие нередко приводит к преступлению, и, как часто мне приходилось наблюдать, это — злое сочетание!..

Западня

Но именно по этому делу мне довелось столкнуться с одним особенно разительным фактом, когда любовь и безволие превратили честного до того человека в серьезного и опасного преступника, а его долгая, до того безупречная жизнь была в результате исколечена. Таким человеком оказался Сергей Степанович Тер-Аванесов.

В Ленинградском облфинотделе Тер-Аванесов работал чуть ли не с первых дней революции. Экономист по образованию, он был, бесспорно, крупным финансистом и отличным работником. Он не состоял в партии, но, как принято было тогда выражаться, «вполне стоял на платформе Советской власти».

Он был немолод и одинок. Так сложилась его жизнь, что сначала наука, а затем сутолока повседневной и напряженной работы поглощали его с головой, и в день своего пятидесятилетия Сергей Степанович обнаружил, что жизнь-то уже почти прожита, а у него нет и никогда не было смьви, детей, даже серьезных увлечений.

— В тот день, Лев Романович, — рассказывал мне Тер-Аванесов, — я, знаете ли, подошел к зеркалу и очень внимательно, как бы со стороны, на себя поглядел.. Мне не понравился тот пожилой, маленький, толстый человек с большой лысиной и отечным лицом, который уныло смотрел на меня из зеркала и как бы говорил: «Э, брат, видишь, до чего ты меня довел? Старик, совсем старик, а на старости и вспомнить нечего, финансовая крыса!.. Что ты видел, осел, кроме своих параграфов и статей бюджета, начислений и пени?.. Был ли у тебя хоть один настоящий роман с настоящей женщиной — с сердцеебанием, бессонницей, ревностью, прогулками в белые ночи по набережной Невы, горечью от ее равнодушия и счастьем от ее первого «да»?.. В общем, Лев Романович, это был скверный день с весьма печальным подведением весьма печальных итогов..

Тер-Аванесов вздохнул, закурил папиросу и задумался. За распахнутыми окнами моего кабинета, выходящими на Фонтанку, шумел солнечный майский день. Из Летнего сада доносились веселые крики играющих детей.

— А в общем, — внезапно сказал Тер-Аванесов, — все это не имеет решительно никакого отношения к моему делу. Я признал себя виновным в том, что получил взятки от Кюна и Крафта и за это снизил им налог. А все прочее — изящная словесность и повод для размышлений в тюремной камере..

— Но до этого вы взятки получали хоть когда-нибудь, от кого-нибудь, хоть что-нибудь?!

— Честное слово, нет!.. До осени тысяча девятьсот двадцать седьмого года мне не за что краснеть!.. Даю вам честное слово!..

Это вырвалось у него так горячо и искренне, что я сразу ему поверил. Поверил еще и потому, что в деле не было ни малейших, даже косвенных указаний на то, что Тер-Аванесов за многие годы своей работы в финотделе совершил хотя бы один проступок. Напротив, его отношение к своим служебным обязанностям было безупречным, и это признавали все.

Что же могло столкнуть этого образованного, в прошлом честного и вполне зрелого человека с пути, по которому он твердо шел вот уже столько лет?

Ответ на этот вопрос мог дать только он один, а он явно не хотел этого делать. Несколько раз после окончания допроса я пытался завести разговор на эту тему, объяснял Тер-Аванесову, что интересуюсь этим «не для протокола», но он только грустно усмехался и тактично, но решительно уклонялся от ответа.

Между тем следствие подходило к концу. Женам обвиняемых были разрешены еженедельные свидания с мужьями, и каждый четверг ко мне приходили эти женщины за ордерами на свидание. Являлась и жена Тер-Аванесова, на которой он женился за два года до своего ареста, — очень красивая молодая женщина. Она, как и все жены обвиняемых, держалась скромно, справлялась о здоровье мужа, получала ордер и, кивнув головой, удалялась. Я заметил, что всякий раз она приходила в сопровождении молодого элегантного блондина, примерно одного с нею возраста, который всегда ожидал ее в коридоре, а потом уходил вместе с нею. Раза два я случайно увидел из окна, как они шли по набережной Фонтанки под руку; она смеялась, а он что-то ей весело рассказывал. Потом я заметил, что, приходя за ордером на свидание, Тер-Аванесова обычно приносила с собой обшитый полотном сверток с продуктами, который передавала мужу через администрацию тюрьмы. Я обратил внимание на то, что надпись на свертках всегда была отлично выписана синей краской — уверенными, твердыми, профессиональными штрихами.

— Кто это вам так лихо рисует надписи на передачах? — спросил я ее однажды, когда она вошла в мой кабинет, держа такой сверток в руках.

— Это один наш друг, — ответила она, чуть покраснев.

— Тот самый, который вас обычно сопровождает? — спросил я.

— Да, — не очень охотно ответила она.

Я не стал ее расспрашивать, тем более, что вопрос этот не имел прямого отношения к делу, но про себя подумал, что Тер-Аванесов расплачивается за то, что женился на женщине, которая лет на двадцать пять моложе его. В данном случае такая ситуация, весьма опасная сама по себе, осложнялась еще и тем, что муж этой женщины находился в тюрьме и она знала, что минимум, на который он может рассчитывать, — это десять лет лагеря, а в худшем случае не исключен расстрел, ибо в те годы статья 114 (часть вторая), ему предъявленная, предусматривала и такую карательную санкцию.

Роль, которую сыграл в жизни этой семьи друг Тер-Аванесовой — светлоглазый элегантный блондин, приходивший с нею за ордерами на свидания, стала мне ясна только в день окончания следствия. Подписав протокол о том, что с материалами дела он ознакомился и дополнить следствие ничем не может, Тер-Аванесов вдруг сказал:

— Несколько раз вы спрашивали меня насчет причин, по которым я, вопреки всей своей биографии, взглядам, убеждениям, стал взяточником. Под разными предложениями я уклонялся от ответа. Но вот сегодня мы с вами видимся в последний раз, впереди — суд и приговор. Возможно, что приговор этот закончится коротким словом «расстрелять». Мне хочется на прощание объяснить вам, почему же Тер-Аванесов стал преступником. Можно?

— Конечно. Я давно хотел это понять.

— Ну, так слушайте!..

И Тер-Аванесов рассказал мне о том, как он стал взяточником,

— Через полгода после того, как мне стукнуло пятьдесят, — помните, я вам об этом как-то начал рассказывать, — мне пришлось однажды поздно задержаться на работе. Надо было продиктовать срочный доклад в Москву. Был самый конец мая — начало белых ночей. Должен заметить, что я никогда не разделял поэтических восторгов по поводу этой поры года в Ленинграде. Это беспринципное, я бы сказал, смещение дня и ночи, призрачная мгла, окутывающая ночной город и, в сущности, мешающая людям спать, это бледное, больное солнце, медленно встающее в мутном рассвете, — все это, знаете ли, решительно мне не нравилось и очень мешало работать. Вероятно, когда-нибудь наука подтвердит, что в белых ночах есть нечто болезненное и тлетворное. И характерно, что именно в белую ночь началась и моя беда. Словом, мне надо было срочно диктовать доклад, и так как машинистки моего управления уже ушли, то я вызвал машинистку из дежурной комнаты. Через несколько минут ко мне вошла хорошенькая молодая девушка. За нею вахтер внес ее машинку, и я начал диктовать...

Тут Тер-Аванесов прервал рассказ и стал раскуривать папиросу. Он зажигал спичку за спичкой, но пальцы его дрожали, и огонек угасал, прежде чем он успевал прикурить. Было заметно, что он взволнован, но не хочет, чтобы я это увидел. Поэтому я не стал помогать ему прикурить и сидел с таким видом, будто его неудачи с гаснущими спичками вполне естественны и обычны.

— Сырые спички, Сергей Степанович, — сказал я все же наконец. — Позвольте предложить свою...

Я зажег спичку. Он прикурив, сделал несколько затяжек, а потом, резко повернувшись ко мне, сказал:

— Короче, через два месяца я женился на этой девушке. Как вы знаете, я старше ее на много лет. Тем не менее я был счастлив и, если говорить откровенно, — а иначе сейчас говорить нет смысла — не жалел, что решился на этот шаг. Да, не жалел. Но я был очень занят на работе, приходил домой поздно, и жене, естественно, было скучно... В этом смысле доля жены ответственного работника — незавидная доля... Признаться, я до сих пор не понимаю, кто и зачем выдумал эти ночные бдения, бесконечные заседания, совещания, вечерние доклады начальству... Но дело не в этом. Галя начала тосковать... А я, приходя поздно с работы, усталый, едва успевал поесть и сразу заваливался спать... Однажды, после большого разговора с женой, прямо сказавшей, что ей томительна такая жизнь, я предложил ей завести знакомства, бывать в театрах без меня. Другого выхода у меня не было... В общем, жена однажды познакомила меня с одним молодым человеком, с которым встретила в доме подруги... Он оказался молодым художником, видимо не очень способным, потому что работал в Ленрекламе, немного рисовал сам, а больше принимал заказы на рекламу, вел расчеты с художниками и заказчиками и, судя по всему, был вполне доволен своей участью...

Тер-Аванесов внезапно замолчал и, барабая пальцами по столу, посмотрел на меня.

— Вам еще не наскучила эта история? — спросил он. — Она носит довольно тривиальный характер, не так ли?..

— Нет, нет, я слушаю вас с интересом.

По тому, как Тер-Аванесов выглядел в этот момент, я понял, что он задал последний вопрос, чтобы объяснить паузу, вызванную волнением от нахлынувших воспоминаний.

— Да, так вот, — снова стал он рассказывать, — Георгий Михайлович, так зовут этого субъекта, начал бывать в нашем доме все чаще. Я запомнил его, вероятно, на всю жизнь — неизменно корректного, очень обязательного, даже приторного, с этикими голубыми прозрачными глазами патентованного подлеца и чуть вытянутым вперед, как бы приплюснутым носом... Сказать по совести, мне был очень противен этот фатоватый пошляк, с его манерой говорить в напыщенном стиле, с его парикмахерским шиком, подбодренными ужимками и декламацией о «святом искусстве», которому будто бы он служит... Я догадывался, что этот тип является современной формой сутенера, но не хотел делиться своими мыслями с женой... По многим мотивам не хотел... Я видел, что она очень ему симпатизирует. Но, честное слово,

я не допускал, что это может зайти чересчур далеко... Впрочем, люди обычно не очень верят в то, чего им не хочется... Не так ли?..

Было уже совсем поздно, когда Тер-Аванесов закончил свой рассказ. Признаться, он поразил меня. Но я еще не знал, что рассказанная обвиняемым история потрясающей человеческой подлости приведет в дальнейшем к западне, хитроумно устроенной нэпманами для Тер-Аванесова. Тем более не знал и не мог знать этого сам Тер-Аванесов. Знал он только то, что рассказал мне. А рассказал он вот что.

Через полгода после того, как жена Тер-Аванесова начала встречаться с Георгием Михайловичем, он пришел к ней в слезах и произнес целый монолог, уверяя, что пришел «проститься навеки», так как проиграл во Владимирском клубе десять тысяч казенных денег, «не может перенести позора и неизбежной тюрьмы и потому твердо решил покончить с собой»...

В тот же день, поздним вечером, когда Тер-Аванесов пришел с работы домой, он застал жену в истерике. Он долго приводил ее в чувство, расспрашивал, что с нею случилось, и наконец услышал, что жена любит Георгия Михайловича и не может перенести его несчастья. На Тер-Аванесова сразу свалилось два неожиданных удара: известие о том, что жена его любит другого, и ее угроза покончить с собой, если человек, которого она полюбила, не будет спасен.

— Теперь я понимаю, что в ту страшную ночь, — рассказывал мне Тер-Аванесов, — Галина угроза покончить с собой ослабила даже мою реакцию на факт ее измены. Как это ни покажется странным, мне, вероятно, было бы тяжелее, если б я тогда узнал только о том, что Галя мне изменила... И когда она решительно мне заявила, что, если я не выручу Георгия Михайловича, она покончит с собой, я понял, как бесконечно дорога мне эта женщина. Она умоляла меня спасти человека, которого полюбила, обещала порвать эту связь, если я его спасу. И я обещал ей сделать это — любыми путями достать деньги. Но где я мог их достать? Мои скромные сбережения растаяли после женитьбы с удивительной быстротой, потому что появились большие расходы — я не хотел отказывать Гале ни в чем. Друзей, у которых я мог бы занять такую сумму, у меня не было... И вот в конце рабочего дня, когда я ломал себе голову, думая, как найти эти проклятые деньги, ко мне явился с жалобой на обложение лакокрасочник Кюн, один из крупных ленинградских нэпманов. Этот дьявол сразу почему-то заметил, что я не в себе. Он ведь, как и все нэпманы, знал меня много лет... Он сочувственно спросил, что со мной. Я ответил, что устал... И вдруг, впервые в жизни, мне пришла в голову страшная мысль: вот передо мной сидит человек, который сразу, без особых просьб и с полным удовольствием, немедленно даст мне десять тысяч, и никто на свете, кроме нас двоих, не будет этого знать, ибо он так же заинтересован в тайне, как и я. А проклятый немец — этот Кюн из остзейских немцев — все не уходил, не уходил, видимо почуяв, что со мной стряслась беда, на которой можно заработать. Лев Романович, вы моложе меня в два раза, но вы старший следователь, вы каждый день допрашиваете преступников, объясните мне, как, откуда, каким образом это воронье узнаёт, что ты падаль? Да, падаль, потому что в этот день я действительно стал падалью!.. По каким неуловимым, мельчайшим признакам все эти Кюны и Крафты, Симановы и Сальманы вдруг начинают чуют, что «Тер, который не берет», — так они прежде обо мне говорили, — вдруг «может взять»? Мне не пришлось просить денег у Кюна — в тот вечер он сам их мне предложил, и я, сгорая от стыда, позора, грязи, продался ему, как девка с Невского!..

Когда уже поздним вечером я пришел к жене и протянул ей деньги, она плакала от счастья, без конца обнимала меня, говорила, что никогда этого не забудет. И тут же, боясь, что ее Жорж не выдержит, оделась и отвезла ему деньги... Честное слово, это была самая страшная ночь в моей жизни, страшнее, чем первая ночь в тюрьме!..

Конечно, я давал себе клятву любыми путями — экономией, сверхурочной работой, продажей личных вещей — рассчитаться с этим Кюном, но налог ему все-таки пришлось снизить...

И вот ровно через месяц я снова застал жену в полубезумном состоянии. Георгий Михайлович, оказывается, решил отыграться и проиграл во Владимирском клубе уже не десять, а пятнадцать тысяч... Опять он заявил Гале, что покончит с собой, опять она его умоляла, опять она кричала мне, что если я не достану денег и Жорж погиб-

нет, то она бросится в Неву, и я.. снова обещал. Тем более, что она клялась, что уже порвала с ним.

Я сам позвонил Кюну. Он сразу приехал, и я пролепетал, что очень прошу одолжить мне еще пятнадцать тысяч. Он удивленно на меня посмотрел и сказал, что «считает себя со мной вполне в расчете», но из уважения ко мне готов помочь. Я обрадовался, но выяснилось, что помочь он мне хочет по-своему — он посоветует своему другу, шоколаднику Крафту, дать мне эту сумму. И через час он привез ко мне Крафта и перепродал меня тому, как барана.. И опять меня целовала жена и клялась, что никогда этого не забудет, и опять она помчалась к своему ненаглядному Жоржу с этими деньгами и вернулась только утром, успокоенная и радостная..

Тер-Аванесов замолчал и стал раскуривать папиросу. Уже зажглись фонари на Фонтанке, с реки доносились смех и голоса молодежи, катавшейся на лодках; где-то в районе Марсова поля играл военный духовой оркестр.

Потом я вызвал конвой и отправил Тер-Аванесова в тюрьму.

Прощаясь, он тихо сказал:

— Моя последняя просьба — не давать жене разрешения на передачи. Каждый раз, принимая посылку с этой «художественной» надписью, я схожу с ума!.. Неужели этот подлец не понимает, что мне это противно, нестерпимо, страшно видеть?.. Вот и все, о чем я хочу вас просить.

После того, что я узнал от Тер-Аванесова, мне особенно захотелось разыскать скрывшегося Кюна. Мне было известно, что Кюн имел две семьи — старую жену, с которой не хотел расставаться, и вторую жену, точнее — содержанку, молодую, красивую брюнетку, которую звали Марией Федоровной. Было установлено, что эта одинокая женщина занимает квартиру на Дворцовой набережной, в одном из аристократических особняков, что в средствах она не нуждается и, несмотря на внезапное исчезновение Кюна, продолжает жить широко, ни в чем себе не отказывая. Она не ищет работы и, по-видимому, поддерживает связь с Кюном.

Я вызвал ее на допрос, но она твердо и спокойно заявила, что «совершенно не представляет», где находится Кюн, никаких вестей от него не получает и вообще ничем в этом смысле помочь следствию не может.

Это была смуглая элегантная женщина с большой выдержкой и тактом. И было ясно, что она ничего не скажет. В разговоре случайно выяснилось, что Мария Федоровна дружит с женой одного из обвиняемых по этому делу, тоже молодой женщиной, гораздо менее интересной, чем Мария Федоровна.

Хотя я был еще молодым следователем, но уже знал, что если дружат две женщины подобного пошиба, причем одна из них менее интересна, чем другая, то чаще всего она в глубине души ненавидит подругу и жгуче завидует ей. Я вспомнил эпизод, имевший место в самом начале следственной работы, еще до перевода в Ленинград. Мне пришлось как-то допрашивать в качестве свидетельницы по бытовому делу пожилую даму, которая в течение многих лет содержала ателье шляп в Столешниковом переулке. По обстоятельствам дела возник вопрос о дружбе двух знакомых ей женщин. Свидетельница язвительно усмехнулась и, лихо затянувшись папиросой, процедила:

— Товарищ следователь, я тридцать лет торгую шляпами. Не было случая, чтобы дама выбирала себе шляпу без подруги, и не было случая, чтобы подруга дала правильный совет... Вот все, что я могу вам сказать о женской дружбе.

Увы, эта своеобразная притча старой шляпницы не раз приходила мне на память. Правда, надо учесть, что я, как криминалист, сталкивался по работе главным образом с женщинами определенного круга, а следовательно, и с вполне определенной психологией.

Но ведь и Мария Федоровна с ее приятельницей принадлежали именно к этому кругу. Вот почему, когда эта приятельница пришла в очередной четверг за орденом на свидание, я, между прочим, завел с нею разговор о Марии Федоровне. Она бросила на меня быстрый взгляд и, перейдя почему-то на шепот, произнесла:

— Ах, да что Машке, катается, как сыр в масле!.. До того обнаглела, что и Кюна своего вытребовала... Сама мне сегодня сказала: «У меня теперь вроде медовый месяц».

Через полчаса, выписав постановление на производство обыска, я подъехал к особняку, где жила Мария Федоровна. Меня сопровождали дворник, комендант облсуда и его помощник. Мы долго звонили у парадной двери, предварительно выяснив, что в этой квартире нет черной лестницы. Наконец за массивной дверью послышались легкие шаги, и молоденькая горничная в кокетливом фартучке открыла дверь. На мой вопрос, дома ли Мария Федоровна, она ответила утвердительно. И в самом деле, в переднюю вышла хозяйка в домашнем халатике. Я предъявил ей постановление на производство обыска и пояснил, что «обыск производится на предмет обнаружения Николая Артуровича Кюна, скрывающегося от следствия и суда». Она выслушала эту формулу очень спокойно, улыбнулась и сказала:

— Ах, пожалуйста, квартира к вашим услугам! Но только все это зря! Кюна у меня нет, где он — я не знаю. Напрасно, товарищ следователь, вы так недоверчивы к женщинам.

В этой квартире было семь великолепно обставленных комнат. В отличие от обычных нэпманских квартир того времени, обставленных дорого, но безвкусно, квартира Марии Федоровны отличалась строгим стилем, вещи были подобраны тщательно и со вкусом. Начав с передней, я и мои помощники постепенно обследовали комнату за комнатой. Никаких признаков Кюна не было, и я, признаться, уже начинал думать, что приятельница Марии Федоровны солгала. Однако, войдя под конец в спальню, я обратил внимание на то, что отделанная бронзой, широкая, низкая кровать карельской березы почему-то открыта, сняты две подушки, а на ночной тумбочке справа тикают массивные мужские карманные часы. Я взглянул на руку Марии Федоровны — ее часики были при ней. В пепельнице, рядом с часами, лежало несколько окурков с характерным, чисто мужским прикусом на мундштуках.

Перехватив мой взгляд, Мария Федоровна немедленно достала коробку модных тогда папирос «Сафо» и начала курить. Я решил ответить на эту молчаливую демонстрацию и, выждав, пока Мария Федоровна докурила свою папиросу, попросил у нее окурков. Она удивленно протянула мне его. Конечно, никакого прикуса на мундштуке папиросы не было. Я показал ей этот мундштук и тут же взял из пепельницы окурков папиросы, которую курил мужчина.

— Как видите, Мария Федоровна,— сказал я,— вот эти папиросы курили не вы, а Николай Артурович Кюн. Кроме того, вот эти мужские часы тоже, я полагаю, принадлежат ему, ибо они не в стиле этой изящной спальни. И, наконец, судя по степени влажности окурков, он курил здесь не более часа тому назад... Я спрашиваю поэтому, где Кюн?

— Я могу только повторить,— ответила женщина с плохо скрываемым раздражением,— что не знаю, где находится Николай Артурович, давно его не видела, и ваши подозрения напрасны. Что же касается каких-то прикусов на окурках, то я давно не читала Конан-Дойля и не могу судить о вашем дедуктивном методе... Кажется, он называется так?

И она язвительно улыбнулась.

Я стал продолжать обыск. Из платяного шкафа был извлечен костюм Кюна, а в карманчике оказалась плацкарта к железнодорожному билету на скорый поезд Москва—Ленинград. Из проколотой железнодорожным компостером даты было видно, что Кюн приехал в Ленинград два дня назад. Я предъявил плацкарту Марии Федоровне и спросил, считает ли она, что и эта плацкарта тоже относится к дедуктивному методу.

— Этот костюм, как и эта плацкарта, не имеет никакого отношения к Кюну. Они принадлежат другому мужчине, моему другу, но я не обязана его называть, поскольку речь идет об интимной жизни женщины. А теперь думайте что хотите!..

Обыск продолжался, но, кроме мужского летнего плаща, шляпы и ботинок, ничего обнаружено не было, а об этих вещах Мария Федоровна тоже сказала, что они принадлежат ее таинственному другу.

Наконец уже в кухне я обратил внимание на то, что большой белый кухонный шкаф закрывает одну из стен, и попросил Марию Федоровну сказать, что находится за этим шкафом.

— Обыкновенная стена,— произнесла она и как-то странно взглянула на дворника, присутствовавшего в качестве понятого при обыске. Пожилой грузный дворник в белом фартуке отошел в сторону, сделав вид, что ничего не слышал. Я предложил моим помощникам отодвинуть шкаф, и за ним оказалась дверь, ведущая в большую темную кладовую. Мария Федоровна стала нервно покусывать губы. Я вошел в кладовую, тесно заставленную старыми креслами, сломанными стульями, шкафами. В кладовой никого не было. Но когда я подошел к одному из шкафов, то явственно услышал тяжелое дыхание. Я постучал в дверцу шкафа и сказал:

— Николай Артурович, милости просим!..

— Сейчас,— отозвался басом человек и сразу вышел из шкафа. Это был Кюн — высокий, полный, очень румяный мужчина с козлиной бородкой и блестящей лысиной.

— Ну вот,— обратился он к Марии Федоровне,— все писала: «Приезжай — поцелую, приезжай — поцелую»,— вот и поцеловала... Есть арабская поговорка, вполне подходящая к данному случаю: «Выслушай совет женщины и поступи наоборот». Увы, я не посчитался с арабами и потому наказан. Не посчитался я также с мудрым Янаки, который уговаривал меня не ехать в Ленинград. Старый плут как в воду глядел.

— Значит, Янаки в Москве? — спросил я.

— Третьего дня был там. А где сегодня, не знаю... Ну, уж этого вы не поймаете, даю голову на отсечение!..

И Кюн начал одеваться.

Прощаясь с Марией Федоровной, он сказал, улыбаясь:

— Ну-ну, Машет, не надо огорчаться. Ты же все-таки действительно меня поцеловала, а ради этого стоило рискнуть. Мне грозит максимум пять лет. Я же только давал взятки, а не получал их... Ауф видерзеен!

Кюн оказался человеком, отлично понимающим свое положение и не лишенным юмора. Как только я привез его в свой кабинет, он сразу точно и подробно рассказал об обстоятельствах, при которых дал взятку Тер-Аванесову, а затем свел последнего с Крафтом.

— Таким образом, неприступный Тер обошелся мне лично в тринадцать тысяч. К сожалению, мне тогда не пришло в голову, что это — роковое число...

— Позвольте, почему тринадцать? — спросил я его.

— Десять тысяч — Теру и три — посреднику, или, вернее, наводчику, не знаю, как его точно назвать...

— Вы имеете в виду любовника жены Тер-Аванесова? — сразу догадавшись, о ком идет речь, спросил я.

— Ну да, Жоржика,— ответил Кюн.— Я вижу, что вы не теряли времени в ожидании меня. Он запросил пять, но мы сошлись на трех...

И Кюн подробно рассказал о том, как, отчаявшись «подобрать ключи» к Тер-Аванесову, он случайно узнал о том, что жена начальника налогового управления завела себе любовника.

— Я понял, что имею шанс подобрать ключик. Через неделю мне удалось познакомиться с Жоржином, и я понял, что имею дело не с Ромео и не с Гамлетом, а с обыкновенным прохвостом и сутенером, готовым на все. Мы провели вдвоем вечер и разработали сценарий: крупный проигрыш казенных денег, перспектива самоубийства и прочее. Я полагал, что жена Тер-Аванесова при такой ситуации вытряхнет из мужа все его принципы. И в намеченный день я пошел к Тер-Аванесову на прием. Вы знаете, когда я увидел его измученное лицо, гражданин следовательно, мне даже стало жалко, что я все это придумал... Но, что поделаешь, такова жизнь...

Я подробно записал показания Кюна и, к своему особому удовольствию, получил все законные основания для ареста подлеца и сутенера, сыгравшего зловещую роль в жизни Тер-Аванесова. В тот же вечер Жоржик — Георгий Михайлович Мейлон — был арестован. Как и все люди этого тина, этот подонок оказался трусом, дрожал на допросе, как в лихорадке, плакал и лгал, но в конце концов во всем признался. Выяснилось, что двадцать пять тысяч рублей, полученных им в два приема от любовницы, он аккуратно положил на свой счет в сберкассе. При всех своих прочих предоступлениях он был еще фсномсально жаден и смуд.

Его конфетная физиономия, вкрадчивый голос, подхалимские ужимки и манера выражаться в высоком, как ему казалось, стиле, подбритые брови и подчеркнuto модный костюм вызывали чувство почти физического отвращения. Было трудно понять, как могла жена Тер-Аванесова поверить этому профессиональному сутенеру и бросить ему под ноги и свое чувство, и свою честь, и судьбу своего несчастного мужа...

И я был доволен не только потому, что этот подлец понесет заслуженную кару, но и потому, что привлечение его к ответственности правильно осветит и дело Тер-Аванесова и роль Кюна.

Я знал убийц, в которых при всей тяжести их преступлений все же угадывались человеческие черты. Они не вызывали того жгучего презрения и чувства отвращения, какие вызывал этот смазливый фатоватый молодой человек, торгующий собой и способный на любую подлость. Конечно, шакал не тигр, но насколько же он противнее тигра!..

Тер-Аванесов и его роль в этом деле заслуживали презрения. Но при всем том он попал в западню, которую ему соорудили Кюн и Мейлон. И суд, естественно, учел это и сохранил Тер-Аванесову жизнь, осудив его на десять лет лишения свободы.

Словесный портрет

После того как был разыскан скрывавшийся Кюн, перед следствием оставалась последняя задача: обнаружить еще одного участника дела ленинградских нэпманов — Христофора Янаки. Перед тем как скрыться из Ленинграда, Янаки уничтожил все свои фотографии, и это, естественно, усложняло его розыск.

Со слов Кюна я знал, что Янаки находится или, во всяком случае, находился в Москве, но скрывается там под чужой фамилией. Однако все мои попытки выяснить, под какой именно фамилией он скрывается, успехом не увенчались. Между тем Янаки был одним из крупных взяточдателей и нажил нечистыми путями большие средства.

Неожиданно из достоверных данных выяснилось, что Янаки время от времени появляется в одной из дачных местностей под Ленинградом.

Обдумывая, как организовать его розыск, я решил прибегнуть к так называемому «словесному портрету». Система «словесного портрета» была впервые разработана в 1885 году директором института идентификации парижской полицейской префектуры, известным французским криминалистом Альфонсом Бертильоном. В дальнейшем эта система была доработана швейцарским криминалистом Рейсом, к которому, между прочим, в 1912 году царское министерство юстиции направило на стажировку группу русских судебных следователей и криминалистов.

Под понятием «словесный портрет» криминалисты имеют в виду точное описание внешности человека (тела, головы, лица) при помощи специальной терминологии. Конечно, каждый человек, описывая чью-либо внешность, пытается, так сказать, «живописать» при помощи слов. Но эпитеты из обыденной разговорной речи никогда не дадут безошибочно точного представления о человеке. Между тем для розыска преступника очень важно точное описание его наружности.

В словесном портрете профиль человеческого лица подразделяется на три части — лобную (от линии волос до переносицы), носовую (от переносицы до основания носа) и ротовую (от основания носа до конца подбородка).

Следователь, объявляя розыск или прибегая к опознанию преступника или трупа при помощи словесного портрета, должен точно пользоваться терминами, употребляемыми для этой цели.

Разрабатывая словесный портрет Янаки, я допросил большую группу свидетелей. Затратив немало труда, я выяснил все его мельчайшие приметы и разработал словесный портрет, из которого явствовало, что Янаки имеет средний рост, телосложение полное, лицо овальное, лоб низкий и скошенный, брови дугообразные, сросшиеся, рыжеватые. Нос у него был длинный, с горбинкой и опущенным основанием, рот средний с толстыми губами, причем нижняя отвисала, а углы губ были опущены. Подбородок у Янаки тупой, раздвоенный, слегка оттопыренные большие уши имели три угольную форму, чуть запухшие глаза были зеленоватыми, а волосы — рыжими.

Я так старательно разработал этот словесный портрет, что ясно представлял себе внешность Янаки, хотя никогда еще с ним не встречался.

Словесный портрет я разослал в установленном порядке, рассчитывая, что неуловимый Янаки будет в конце концов пойман. В субботу я поехал в Сестрорецк, решив провести там и воскресный день. В те годы по воскресеньям, в теплые летние дни, великолепный сестрорецкий пляж привлекал множество ленинградцев.

На следующий день, лежа на пляже и мирно беседуя со следователем Рагинским и инспектором Ленинградского уголовного розыска Бодуновым, я обратил внимание на двух молодых людей. Они медленно шли по пляжу, внимательно разглядывая отдыхающих и, видимо, кого-то разыскивая. Бодунов, очень талантливый криминалист и наблюдательный человек, тоже обратил на них внимание и сказал:

— По-моему, это ребята из транспортного отдела, и они кого-то ищут..

Вскоре они подошли к нам, и один из них сказал:

— Товарищ Шейнин, мы приехали за вами. В отделении Детскосельского вокзала задержали по словесному портрету вашего Янаки. Начальник просил вас приехать. У вас дома сказали, что вы в Сестрорецке, и мы приехали сюда..

Я обрадовался, мгновенно оделся и помчался в Ленинград. На Детскосельском вокзале меня действительно поджидал начальник отделения. С довольным видом озаявил:

— Ну и дали вы нам жару!.. А хитрая штука этот словесный портрет, я впервые с ним столкнулся.. И мои ребята тоже о нем раньше не слыхали.. Ну, я, конечно, с утра собрал своих орлов, прочел им ваш словесный портрет, и мы начали искать этого рыжего..

— А где же Янаки? — нетерпеливо спросил я.

— Да их там уже больше десятка,— весело ответил начальник и повел меня в дежурную комнату.— Уж один из них, как факт,— Янаки.

Я похолодел. Начальник отделения Детскосельского вокзала, увы, действовал явно вопреки Бертильону и Рейсу.

— Поймите,— воскликнул я, запинаясь от волнения,— поймите, что по словесному портрету может быть задержан только один человек, и человеком этим должен быть только Янаки!..

— Не спорю,— весело ответил начальник,— один из них и есть Янаки. А остальные в обиде не будут — мы их всех очень вежливо задержали, и они не в камере, а в дежурной комнате. Кто чай пьет, кто в шашки играет, кто журнальчик читает.. У нас культура..

Я опрометью бросился в дежурную комнату. Она полыхала полымем от скопления темно-рыжих, светло-рыжих и огненно-рыжих мужчин, которые в испуге метались по комнате, не понимая, что с ними стряслось. Их страх возрастал с появлением каждого нового рыжего, которого доставляли «орлы» Детскосельского отделения. Помощник начальника отделения — молодой человек в роговых очках, — по-видимому, очень заинтересовавшийся словесным портретом, действительно вежливо встречал каждого нового рыжего, но тут же, на глазах остальных, начинал внимательно измерять и разглядывать его уши, нос, линии рта и другие элементы словесного портрета, делая при этом какие-то загадочные отметки в записной книжке и что-то про себя бормоча. Все это приобретало в глазах задержанных почти мистический характер, тем более, что помощник начальника в ответ на их вопросы туманно отвечал, что «тут все дело в «словесном портрете» Бертильона и Рейса, скоро придет старший следователь и разберется, а до его приезда просил бы обождать».

Никто из рыжих никогда не слышал ни о Бертильоне, ни о Рейсе, ни о словесном портрете. Никто из них не пил чая, не играл в шашки и не читал журналов. Они спорили, выдвигая самые различные предположения о возможных причинах своего странного задержания.

Я появился, видимо, в разгар спора. Рыжие окружили меня толпой и внимательно выслушали мои извинения. Я счел своим долгом объяснить, что произошло недоразумение, что мы разыскиваем одного скрывшегося преступника, тоже рыжего, но сотрудники Детскосельского отделения, к сожалению, перестарались. Проверив документы задержанных и установив по документам и по словесному портрету, что Янаки среди них нет, я снова извинился и сказал рыжим, что они свободны. Они врассып-

ную бросились на перрон вокзала. И только один из них задержался, сделал мне таинственный знак и, отойдя со мной к сторонке, тихо сказал:

— Тут трое дураков придумывали разные небывлицы, но я внимательно следил за тем, какие носы и уши интересуют этого помощника начальника отделения. И даю голову на отсечение, что именно такой нос и такие уши носит Янаки... Я его знаю. Но в Ленинграде Янаки теперь нет. Говорят, он в Москве. Между прочим, он очень любит оперетту. Вот все, чем я считаю себя обязанным вам помочь. Будьте здоровы, товарищ старший следователь!..

И он удалился с видом человека, выполнившего свой гражданский долг.

Оставшись наедине с начальником отделения, я откровенно высказал ему все, что думал о нем и его «орлах». Смущенный начальник извинялся и что-то лепетал насчет того, что с завтрашнего дня начнет изучать криминалистику и займется «освоением словесного портрета». И действительно, через месяц он пришел ко мне и доложил наизусть историю «словесного портрета», его терминологию, схему и методологию разработки. Он цитировал Бертильона и Рейса, Вейнгартга и Якимова, а в заключении сказал:

— Теперь стоит мне закрыть глаза, как я ясно вижу лицо этого проклятого Янаки, из-за которого так опозорился... Я уж не говорю о том, что огреб за этих рыжих строгий выговор от начальства. А Бертильон, что ни говори, — башка!.. Лихо придумал этот словесный портрет!..

А спустя два-три дня после того, как начальник отделения Детскосельского вокзала продемонстрировал свои успехи в освоении криминалистики, в областной суд на мое имя поступило письмо от самого... Янаки. Вот что он писал:

«Уважаемый старший следователь Шейнин!

Оказывается, вы жаждете меня видеть. Я не могу сказать это про себя, а любовь счастлива только тогда, когда она взаимна. Я очень смеялся, когда мне сказали, как вы меня ищете по какому-то дурацкому словесному портрету, придуманному каким-то профессором Рейсом. Наплевал я и на этого профессора и на его словесный портрет. Адью!.. Янаки».

Я разозлился не на шутку. Доложив областному прокурору этот любопытный документ и обратив его внимание на то, что письмо отправлено из Москвы, я поставил вопрос о своем выезде в Москву. Я еще сам не знал, что буду предпринимать для розысков Янаки, но заранее рассчитывал на помощь своих старых друзей из МУРа. Областной прокурор, которого тоже разозлило это письмо, разрешил мне выехать.

Через день я уже сидел в МУРе, в кабинете Осипова, и рассказывал ему, Тильнеру, Ножницкому и другим работникам обо всем, что произошло со словесным портретом Янаки. Потом я показал им его письмо. Осипов побагровел от возмущения.

— Ребята, — сказал он, обращаясь к своим помощникам, — неужели мы позволим, чтобы какой-то паршивый нэпман, взяточник и спекулянт, насмеялся над криминалистикой и правосудием? Что будем делать, ребята?

— Как что делать? — спросил неизменно спокойный, корректный и уверенный Тильнер. — Есть словесный портрет этого жулика, и я не сомневаюсь, что Лев Романович его верно разработал. Следовательно, надо размножить этот портрет, во-первых. Есть данные, что Янаки, как, впрочем, и все нэпманы, любит оперетку. Значит, надо пошуровать в «Аквариуме» и «Эрмитаже», во-вторых. Наконец, Янаки — торговец мебелью. Значит, у него не может не быть приятелей среди московских мебельщиков. Надо поработать и здесь, в-третьих. Поскольку это дело приобретает принципиальный характер, я думаю, что наша группа, Николай Филиппович, независимо от общего розыска Янаки, должна принять в нем участие, в-четвертых...

— Я такого же мнения, — как всегда тихо, сказал Ножницкий, очень добрый человек, страстный собачник и любитель книг. — Придется по вечерам бывать в оперетте... Будем по очереди слушать «Сильву» и «Летучую мышь», ничего не поделаешь...

— Решено, — коротко заключил Осипов и встал, давая этим понять, что совещание закончено.

В тот же вечер я и Осипов были в летнем саду «Аквариум». Шла «Сильва». Мы сидели в третьем ряду с правой стороны. Где-то за нами расположились работники Осипова: Яша Саксаганский, худощавый молодой грузин с черными усиками, счи-

тавшийся одним из лучших специалистов по словесному портрету, и Ваня Безруков — его лукавые серые глаза, как говорили в МУРе, всегда видели не только то, что находится впереди него, но и то, что находится сзади.

Уже в первом антракте, когда мы с Осиповым медленно прохаживались среди тощих лип «Аквариума», к нам подошел Саксаганский и сказал:

— Значит, картина такая: сегодня «Сильву» смотрят двенадцать рыжих. У двух подходят уши, но не годятся носы. У трех как раз те носы, какие нам нужны, но совсем не те уши. С отвислой губой обстоит совсем плохо — отвисает губа только у одного рыжего, но и то не так чтобы очень... Тем более, что я «срисовывал» его в тот момент, когда он держал в зубах трубку, а при этом почти у всех губа отвисает...

Услыхав это сообщение, я вздрогнул и мгновенно вспомнил дежурную комнату Детскосельского вокзала. Но я напрасно волновался, потому что имел дело с Осиповым, что и не замедлило сказаться.

— Яша,— перебил Саксаганского Николай Филиппович,— ваш доклад напоминает мне невесту из «Женитьбы» Гоголя. Эта дура мечтала о том, чтобы нос одного жениха соединить с губами другого. Меня не интересует произведенная вами инвентаризация носов, товарищ Саксаганский. Меня занимает только один нос, и то при условии, что он принадлежит именно Христофору Янаки. Я спрашиваю, этот нос сегодня в наличии или нет?

— Николай Филиппович,— ответил Саксаганский,— ко второму антракту я внесу ясность в этот вопрос.

— Проверьте второй ряд слева,— сказал Осипов.— Мы сидим далеко оттуда, но мне показалось, что там есть одна фигура, которая... Одним словом, поинтересуйтесь, между прочим, и вторым рядом, Яша.

Нужно ли говорить о том, что во втором действии я не столько смотрел на сцену, сколько на левую сторону второго ряда, где действительно между отполированной, как бильярдный шар, лысиной, с одной стороны, и пышной затейливой дамской прической, с другой, и впрямь пламенела чья-то огненно-рыжая голова. Из-за дальности расстояния я не мог хорошо разглядеть уши, нос и рот этого человека. Но зато я видел, как исполнительный Яша Саксаганский дважды прошелся мимо второго ряда, придерживая рукой щеку, как человек, у которого внезапно разболелся зуб.

Во втором действии, когда Эдвин и Сильва, обнявшись, начали свой знаменитый дуэт: «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?», в проходе, у которого мы сидели, неслышно появился Яша Саксаганский и, горячо дыша мне в ухо, прошептал:

— Лев Романович, сдается, что в шестом ряду сидит Янаки... Правда, есть одно несоответствие с данными словесного портрета, но во всем прочем подходит... Если выяснится, что это не Янаки,— завтра подам рапорт об увольнении из МУРа... В антракте я вам покажу этого человека...

Я тут же передал Осипову слова Саксаганского. Ни на мгновение не меняясь в лице и продолжая покачивать головой в такт музыке с видом меломана, Осипов тихо ответил:

— Скорее всего, Саксаганский горячится. А впрочем, все может быть... В антракте проверим...

В антракте Осипов взял меня под руку, и мы стали медленно кружить по ярко освещенным дорожкам сада среди нарядной, оживленной публики. Это была специфическая публика московского «Аквариума» тех лет. Пожилые, солидные мануфактуристы с Никольской и Петровки поблескивали модными пенсне и золотыми зубами. Молодые пижоны в коротеньких, узеньких брючках и кургузых, по тогдашней моде, клетчатых пиджачках стаями гонялись за девицами, стриженными под мальчишек, с вызывающими чолочками.

И вдруг я увидел жгучего брюнета, медленно шагавшего рядом с роскошной блондинкой в белом летнем манто, с голубым песком, небрежно переброшенным через руку. Лицо его показалось мне знакомым, хотя я мог дать голову на отсечение, что никогда раньше не встречал этого человека.

Я поглядел на крашенные волосы его дамы, отличавшиеся тем мертвенным оттенком, который дает применение пергидроля, и вдруг понял, чем мне знакомо лицо жгучего брюнета,— его мясистый горбатый нос, его низкий, скошенный лоб, густые

сросшиеся брови, раздвоенный тупой подбородок, красные треугольные уши — все это были элементы словесного портрета Янаки!..

Заметив, что он курит, я бросился к нему и попросил разрешения прикурить. Брюнет медленно достал спички и зажег одну из них. Я посмотрел на его руки, и сердце мое забилось — они поросли густым рыжим пухом и были усеяны веснушками. Тогда я поднял глаза на его лицо и увидел зеленоватые запухшие глаза и рыжие ресницы. Да, это был Янаки, но только перекрашенный!

Отойдя от него, я увидел Яшу Саксаганского, стоявшего вблизи с самым рассеянным видом и таким выражением лица, как будто его вовсе не интересуют ни Янаки, ни летний сад «Аквариум», ни оперетта «Сильва», ни вопрос о том, будет ли он завтра подавать рапорт об увольнении. Саксаганский подошел ко мне и тихо шепнул:

— Ну, я счастлив, что и вы заметили этого перекрашенного индюка. Или я ишак, или это Янаки!..

Еще раз поглядев на «черное издание» Янаки, я шепнул Осипову, что, по-моему, Саксаганский прав. Я обратил внимание и на то, что черные волосы Янаки имеют странный фиолетовый оттенок.

— Возможно,— с напускным равнодушием протянул Осипов и еще крепче взял меня под руку.— Очень возможно, что этот прохвост переокрасил волосы и потому так нахально держится. Но это еще надо проверить, потому что лавры начальника Детскосельского отделения мне ни к чему. Но если это действительно Янаки и если мы его «накололи» в первый же вечер, то я начинаю верить в загробную жизнь и в то, что старики Бертильон и Рейс сговорились на том свете помочь нам поймать Янаки, чтоб он не издевался над их словесным портретом.

После третьего звонка я и Осипов уже не сидели на своих местах, а стояли у стены, недалеко от шестого ряда, где находился подозрительный брюнет. Перед этим Осипов сходил за кулисы и, вернувшись оттуда с довольным лицом, таинственно прошептал, что сейчас будет произведен «забавный психологический эксперимент».

Оказалось, что мой хитроумный приятель решил произвести проверку при помощи самой «Сильвы», как это ни покажется странным на первый взгляд. Зная, что в оперетте допускается актерская отсебятина, Осипов уговорил актеров в той сцене, где, к ужасу отца Эдвина, выясняется, что мадам Воляпюк была в молодости певицей варьете и ее называли «Соловей», добавить, что она, кроме того, была дочерью мебельного торговца Янаки.

Публика, конечно, не обратила на эту подробность никакого внимания, но жгучий брюнет, сидевший в шестом ряду, нервно вздрогнул и, видимо решив, что ему померещилось, наклонился к своей даме, явно спрашивая, какую фамилию произнесли на сцене.

— Он! — со вздохом облегчения шепнул мне Осипов.— Золото этот Яша Саксаганский!.. И ты хорошо разработал словесный портрет. Пошли, мы будем его приветствовать у выхода...

Час спустя Янаки уже находился в кабинете Осипова и все не мог прийти в себя от удивления, что его поймали благодаря словесному портрету, несмотря на то, что он переокрасил себе волосы.

— Ну, Янаки,— спросил его Осипов,— надеюсь, теперь вам ясно, что профессор Рейс был гораздо умнее вас и что жулики не должны плевать на такую великую науку, как криминалистика?

— Гражданин инспектор,— уныло ответил Янаки,— к несчастью, я это понял слишком поздно. Мое письмо было выходкой нахала, и я прошу занести это в протокол. Еще в мои детские годы покойный папаша мне говорил: «Христофор, ты не уважаешь науку, и это не кончится добром». Объясните мне, гражданин инспектор, как мог родиться у такого мудрого отца такой глупый сын и как объясняют такие странные явления природы криминалистика и глубоко отныне мною уважаемый профессор Рейс?

— Я готов вернуться к этим законным вопросам,— ответил Осипов,— но после того, как вы, Янаки, отбудете наказание за свои преступления и за свое нахальство. А теперь, выражаясь вашим стилем, адью!..

Так был реабилитирован «словесный портрет» Бертильона и Рейса.

ЛЮБОВЬ МИСТЕРА ГРОВЕРА

1

Колхозники деревни Глухово, Старицкого района, Калининской области, вероятно, и теперь еще помнят тот удивительный случай, когда 13 ноября 1938 года, уже на исходе дня, из облаков внезапно вынырнул и сел прямо на колхозное поле очень маленький, ярко раскрашенный иностранный самолет, из которого вылез пилот и, обратившись к колхозникам, окружившим машину, сказал по-русски, но с сильным иностранным акцентом:

— О, здравствуйте!.. Я англичанин, да, и я прилетел к вам из Лондона.. Я прилетел за своей русской невестой, да..

— Будет врать-то! — сердито закричала бригадирша тетя Саша, сын которой командовал авиационной эскадрилей.— На этакой стрекозе да прямо из Лондона!.. Ишь, какой ловкий!.. Мы тоже в авиации смыслим не хуже других.. А ну пошли, жених, в сельсовет, там разберутся.. Своих, видишь, девок им не хватает, так за нашими прилетел..

По сообщению сельсовета на место прибыли представители следственных органов, которым неизвестный подтвердил, что он английский инженер-нефтяник Брайан Монтегю Гровер, работал раньше в Грозном и Москве, а теперь прилетел из Лондона через Стокгольм, совершив на своей авиетке беспосадочный перелет Стокгольм — колхоз деревни Глухово. Гровер добавил, что в СССР он прилетел без надлежащей визы — к женщине, которую давно любит и без которой не хочет и не может жить.

На следующий день Гровер был доставлен в Москву и, сидя перед столом следователя, подробно рассказывал о причинах своего перелета. Это был светлый, высокий блондин с серыми, очень прямо глядящими на мир глазами. И он начал с того, что хотя он, Брайан Монтегю Гровер, уроженец города Фолгстона, тридцати семи лет, прежде чем вылететь в Советский Союз без визы, выяснил, что это предусмотрено советским уголовным кодексом, все же иначе он, Брайан Гровер, к сожалению, поступить не мог.

— О, я знаю, что есть такая статья номер 59-зд, я выучил эту статью наизусть и готов по ней отвечать. Я знаю, да, что по этой статье я могу иметь приговор на десять лет, да. Но английский юрист мне сказал, что в Советской России есть еще одна статья, номер 51, и что эта вторая статья может смягчить первую, да.. Я думаю, господин следователь, что эта вторая статья как нельзя лучше подойдет для Брайан Гровер..

Гровер сравнительно свободно изъяснялся по-русски, хотя иногда путал падежи и склонения. У него было милое, тонкое лицо, четко вырезанный, упрямый рот, крупные, крепкие зубы. Слушая его неспешный рассказ, следователь с каждой минутой начинал все больше ему верить, хотя и задавал по обязанности контрольные вопросы, ибо, как-никак, перед ним был человек, нарушивший государственную границу. Самым подкупающим в поведении Гровера было то, что он считал правильным свой арест и внутренне был готов даже и к тому случаю, если «вторая статья не подойдет для Брайан Гровер».

Вот что он рассказал об истории своей любви.

2

В начале тридцатых годов, будучи молодым, но знающим инженером-нефтяником и оказавшись на родине без работы, Гровер принял предложение поехать в качестве инспециалиста в Грозный. Его манили и перспективы неплохого заработка, и интересная работа, и, наконец, эта загадочная и совсем ему не известная «Совет Раша» — Советская Россия, о которой он слышал и читал самые противоречивые и туманные суждения.

И вот он в Москве, в отеле «Метрополь», среди французов и немцев, американцев и шведов, бельгийцев и англичан. Кого только не было среди них!.. Коммерсанты и туристы, разного рода специалисты и дипломаты, специальные корреспонденты и профессиональные разведчики. Одни не скрывали враждебного отношения к этой стране и

посмеивались над советскими пятилетками. Другие, напротив, признавали, что большевики — что там ни говори! — осуществляют свои планы, хотя и непонятно, на какие средства, каким образом и какими руками. Третьи с уважением отзывались об усилиях народа, решившего в поразительно короткие сроки, отказываясь от многих предметов первой необходимости, преодолеть отсталость своей необъятной страны.

Гровер слушал эти споры, потом выходил на московские улицы, дивился храму Василия Блаженного и простору Красной площади, башням и стенам Кремля, кривым арбатским переулкам с их булыжными мостовыми и извозчиками на перекрестках.

Гровер встречал на улицах комсомольцев с кимовскими значками, и, право, это были довольно славные и вполне воспитанные ребята, никто из них на него не рычал, не вербовал его в «агенты Коминтерна» и не подговаривал похитить британскую корону или взорвать Вестминстерское аббатство. Напротив, они охотно отвечали на вопросы иностранца, блуждавшего по незнакомому городу, а нередко с самой приветливой улыбкой провожали его туда, куда он хотел попасть.

Незаметно для Брайяна Гровера ему начинали все больше нравиться и эта страна, и этот древний город, и этот народ.

Когда же он приехал в Грозный и стал там работать, его встретили так тепло и гостеприимно, что уже через несколько месяцев ему показалось, что он живет здесь много лет и потому приобрел так много друзей. Это чувство особенно окрепло после того, как Гровер познакомился с Еленой Петровной Голиус, работавшей фармацевтом в одной из грозненских аптек. Ему сразу понравилась эта тихая миловидная женщина с ясным взглядом человека, которому нечего скрывать и не за что краснеть.

Елена Петровна немного говорила по-английски, но у нее страдало произношение. Гровер взялся его исправлять; она же по его просьбе стала обучать его русскому языку. Оба делали успехи.

Через год Гровер болтал немного по-русски, а произношение Елены Петровны заметно улучшилось. Впрочем, отец Елены Петровны, тоже фармацевт, стал уже тревожно перешептываться с супругой касательно того, что «этот длинноногий чересчур часто гуляет с их дочерью по вечерам». Мать Елены Петровны робко отвечала, что Брайян Монтегюевич — милый человек, на что старый аптекарь отвечал сердитым кашлем и не лишенным логики утверждением, что «в СССР и своих женихов достаточно», а он не для того растил дочь, чтобы она погибла от чахотки в Лондоне.

На вопрос жены, почему же Леночка должна обязательно заболеть чахоткой — живут же в Лондоне несколько миллионов человек и далеко не все чахоточные, — старик разъяснял, что англичане привыкли к своему климату, а нашим стоит туда поехать — чахотки не миновать.

Могла ли прийти в голову родителям Леночки мысль, что в эти самые дни далеко от Грозного, за двумя морями, в туманном Лондоне, другое материнское сердце тоже сжималось от тревоги, и почтенная миссис Гровер, читая письма от сына, не без волнения отмечала, что в них все чаще упоминается русское имя «Елена»...

А когда миссис Гровер получила из Грозного фотографию, на которой ее сын был снят рядом с молодой женщиной, на чьи плечи был накинут его пиджак, она долго разглядывала фотографию, ревнуя своего сына к этой незнакомой женщине, как ревнуют своих сыновей все матери на свете — русские и англичанки, крестьянки и горожанки, независимо от цвета кожи и звезд, под которыми они живут. А после этого миссис Гровер удивила библиотечаршу, у которой много лет брала книги, принявшись вдруг читать исключительно русских писателей.

3

— После Грозного, господин следователь, я был переведен в Московский нефтяной институт, и Елена тоже переехала в Москву. А в 1934 году мой контракт кончился, и я уехал в Лондон. Я хотел снова приехать в Россию, но не было нового контракта, и я не имел визы, да... Но я видел, что без Елены я, Брайян Монтегю Гровер, жить не могу...

И Гровер решил прилететь за любимой. Он записался в лондонский аэроклуб и в несколько месяцев овладел техникой пилотирования. Накопив немного денег, Гровер

приобрел за 173 фунта подержанную авиетку и 3 ноября 1938 года с аэродрома Броксборн вылетел в СССР. Он летел через Амстердам—Бремен—Гамбург—Стокгольм. Из Стокгольма он взял курс на Москву и совершил беспосадочный перелет Стокгольм — деревня Глухово.

Сообщения об этом удивительном происшествии появились почти во всех газетах мира. Я вспоминаю наиболее характерные заголовки газетных статей того времени: «Самое романтическое дело XX века», «На крыльях любви», «Любовь англичанина способна на чудеса», «Даже пространство дрогнуло перед любовью».

23 ноября английские газеты сообщили, что консерватор Кейзер намерен сделать в палате общин запрос Чемберлену по этому делу. 28 ноября агентство Рейтер уведомило человечество, что этот запрос сделан и сэр Чемберлен заверил палату, что английский поверенный в делах в Москве запросил советские власти по этому вопросу.

Гитлеровская пресса в те же дни стала печатать сенсационные статьи о том, что Гроверу угрожает смертная казнь, «ибо коммунисты не в состоянии понять, что такое любовь. Разве мы не знаем, что в СССР любят только по путевкам, которые выдают так называемые месткомы? Как могут там понять Гровера и его поистине шекспировское чувство? Нет, красная Москва — это не убежище для современных Ромео и Джульетт!..»

В противовес таким зловеющим предсказаниям один британский юрист писал по этому же поводу:

«Да, Москва имеет правовые основания для того, чтобы осудить Брайяна Гровера. Любовь и закон — какая старая и вечно живая проблема!.. Закон и трепещущее, горячее и столь любящее сердце!.. Не дрогнет ли при виде этого трагического конфликта и сердце самого холодного судьи?.. Мы далеки от мысли, что суд над Гровером превратится в расправу. С большим оптимизмом ожидаем этого суда...»

4

Между тем для окончательной проверки показаний Гровера была допрошена Елена Петровна, полностью подтвердившая его показания. После этого ей было объявлено, что он прилетел в СССР и она сейчас получит с ним свидание. Когда Гровер узнал, что через несколько минут он увидит Елену, его обычно спокойное лицо заметно побледнело. Оставив его со своим помощником, следователь вышел в комнату, где ожидала Елена Петровна, и возвратился с нею.

Гровер бросился к ней, и они обнялись. Они смеялись и что-то шептали друг другу, опять смеялись сквозь слезы и снова начинали что-то шептать.

И если еще оставался в этом деле хоть один вопрос, до конца не выясненный следствием, то это был именно вопрос о том, что же шептал своей Елене Брайян Гровер.

Шептал ли он ей о том, как в то хмурое ноябрьское утро он оторвался от аэродрома Броксборн и потом, добравшись до Стокгольма, летел оттуда над свинцовой и штормовой Балтикой, взяв курс на Москву? О том, как проплывали под крыльями его маленькой машины огромные пространства и как она трещала под сильными порывами ноябрьского ветра, а он все летел и летел, вцепившись в штурвал своего самолета, летел, как на маяк, на свет ее карих глаз, единственных для него в мире? А может быть, он шептал о том, как измучился в ожидании этой встречи и, что бы там дальше ни было, счастлив уже потому, что вот сидит сейчас с нею рядом и держит ее маленькую руку? Или о том, что его старая мать просила поцеловать Елену и сказать ей, что старая английская женщина благодарит эту русскую молодую женщину за то, что она подарила ее сыну такую любовь?..

А потом, 31 декабря 1938 года, Московский городской суд рассматривал это дело. Почти весь состав английского посольства приехал в суд, чтобы присутствовать при рассмотрении дела «по обвинению Брайяна Монтегу Гровера, гражданина Великобритании, 1901 года рождения, уроженца города Фолгстона, в преступлении, предусмотренном статьей 59-зд Уголовного кодекса РСФСР». Приехали дипломаты и их жены, английские и американские корреспонденты и чинные атташе.

Скромный зал, в котором слушалось дело, еще никогда не видал такой публики. У подъезда городского суда сверкали дипломатические «роллс-ройсы» и «бьюики».

Председатель суда — белокурый человек с добродушным лицом — и два народных заседателя — пожилая ткачиха с Трехгорки и молоденькая работница с Электрозавода, обе в красных косынках, — вышли из совещательной комнаты и сели за судейский, крытый красным сукном стол. Публика почтительно затихла, с любопытством разглядывая судей, и этот маленький зал, и портрет Ленина над судейским столом, и всю простую и строгую обстановку суда.

Да, не было в этом суде ни статуи Фемиды с весами, ни распятий, ни мраморных колонн, ни полицейских в парадных мундирах, ни пышных эмблем правосудия. Не было на судьях ни черных шелковых мантий с белыми туго накрахмаленными воротниками, ни золотых цепей, ни средневековых париков. Не было в этом суде ни знаменитых присяжных поверенных в черных фраках, ни ядовитого прокурора, ни строгих судебных приставов, ни кокетливых стенографисток с модными прическами. Не было!..

Но были в этом скромном судебном зале, в открытых и доброжелательных лицах судей, в лишенной театральной торжественности процедуре, в спокойных и вдумчивых вопросах суда и сторон, во внимательных взглядах судей те удивительные и никогда ранее этой публикой не виданные черты, которые невольно внушали уважение и веру и очень ясно отвечали на вопрос, почему этот суд, впервые в человеческой истории, получил право величаться народным...

— Судебное заседание объявляю открытым, — тихо произнес председатель суда. — По желанию подсудимого его защищает член Московской коллегии защитников адвокат Коммодов...

А через три часа, внимательно выслушав подсудимого и его защитника, суд удался на совещание. Зал гудел. А Брайян Гровер, только что рассказавший советским судьям, как он полюбил советскую женщину и как она полюбила его, сказал в своем последнем слове:

— Я рассказал вам, господа судьи, всю правду. Свое последнее слово я хочу говорить по-русски, хотя имею переводчика, хочу, потому что полюбил вашу страну, ваш народ, как полюбил свою Елену. Я несколько лет прожил в России, работал вместе с русскими и вместе с ними отдыхал. В океане вашего огромного труда есть и моя маленькая капля, и Брайян Гровер позволит себе сказать, что он этим горд.. Да, я жил и работал с русскими, с ними смеялся и пел, и я считаю для себя честью породниться с этим народом... Брайян Гровер кончил, господа судьи, да.

И вот судьи совещаются, а зал гудит. И Гровер сидит в ожидании приговора и думает о том, что ему не страшно, что его могли не понять эти простые русские люди, решающие теперь его судьбу, и что если бы все вопросы в мире решались вот такими простыми английскими, русскими, американскими, немецкими людьми, то вообще никому и никогда не было бы страшно..:

5

Потом раздался звонок, и судьи вышли из совещательной комнаты. Председатель огласил приговор. Да, Брайян Гровер нарушил советскую границу и незаконно прилетел в СССР. Да, его действия предусмотрены статьей 59-зд Уголовного кодекса Республики, и суд осуждает его по этой статье.

— Однако суд, — продолжал председатель, — не может пройти мимо мотивов, по которым подсудимый совершил это преступление. Суд считает установленным, что подсудимый искренне и горячо полюбил советскую женщину, ответившую ему взаимностью. Их чувство выдержало испытание временем и разлукой и потому заслуживает уважения. Это чувство и явилось причиной, по которой подсудимый прилетел в СССР. Поэтому, руководствуясь статьей 51 Уголовного кодекса, суд приговаривает Брайяна Гровера к одному месяцу тюремного заключения с заменой штрафом в размере полторы тысяч рублей..

Громом аплодисментов встретил судебный зал этот приговор. И в вечер того же дня приговору Московского городского суда аплодировала и Англия, услышав о нем по радио.

Через три дня Гровер и его жена Елена Петровна, также получившая соответствующую визу, уехали в Лондон.

Снова зашумели газеты. «Дейли телеграф энд Морнинг пост» 6 января 1939 года писала: «Мораль всей этой истории такова: Советская власть может быть очень человечной». Эта же газета напечатала заявление Гровера после его приезда в Лондон, в котором тот писал: «Судебный процесс, назначенный ввиду моего незаконного перелета через границу СССР, происходил в условиях полной откровенности и справедливости».

Так кончилось это дело. Семнадцать лет прошло с тех пор. Мне ничего не известно о судьбе мистера Гровера, его жены и даже, может быть, их детей. Но я хорошо помню их лица, их встречу, их взволнованный и счастливый шепот, всю историю их любви.

Мне остается добавить, как криминалисту, что любовь этих двух людей, будучи уже установлена судебным приговором, вступившим в законную силу, поскольку подсудимый его не кассировал, должна тем самым рассматриваться как доказанная бесспорно, окончательно и навсегда..

Вот почему я от всего сердца желаю счастья и мистеру Брайяну Монтегу Гроверу и его жене, их детям, которые, принимая во внимание настойчивость и добрую волю обеих сторон, не могут у них не быть.

Вот почему, наконец, ошибочно весьма распространенное мнение, что криминалистам будто бы суждено сталкиваться только с отрицательными явлениями жизни.

Честное слово, это совсем, совсем не так!..



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

БОРИС СМИРНОВ

★

ИСПАНСКИЙ ВЕТЕР

Из воспоминаний добровольца

ОТЪЕЗД

Весна 1937 года. Уже сошел снег, и первая зелень разлилась по нашему аэродрому. Солнце. На одиноканные крыши ангаров больно смотреть.

Утром газеты приносят прямо на аэродром. Мы расхватываем их, и каждый сразу же просматривает сводку сообщений о военных действиях в Испании.

Для нас испанские события не только вооруженная борьба республиканцев с мятежниками. Мы отчетливо сознаем: фашизм вышел в свой первый военный поход. Мы предчувствуем, что этот поход — лишь пролог, лишь репетиция будущей войны.

Салют, Испания! — стучат наши сердца.

Салют, Испания! — повторяют миллионы людей во всех уголках земного шара.

И из разных стран, прорываясь в Испанию сквозь все преграды, на борьбу с фашизмом идут люди, проникнутые гневом и ненавистью, идут для того, чтобы отразить нашествие на Пиренейский полуостров орд Гитлера и Муссолини. В один боевой строй с войсками республики, с испанским народом встают батальоны имени Тельмана, Чапаева, Эдгара Андре, Домбровского, Линкольна, Гарибальди, Парижской коммуны, встают немцы, итальянцы, русские, поляки, чехи, югославы, болгары, австрийцы; коммунисты, социал-демократы, беспартийные; рабочие, моряки, летчики, писатели...

Интернациональная бригада! Как бы и нам попасть в нее? Право, у нас есть все основания для этого: мы молоды и всей душой стоим за свободных испанцев. Мы летчики, для республиканцев наша профессия — клад.

Первым отваживается перейти от мечтаний к делу Саша Минаев — посылает письмо в испанское посольство. Но ответа пока нет и нет.

Неудача Минаева не обескураживает нас; мы вновь обращаемся к различным организациям, лицам. По-разному пишем об одном и том же; наша мечта — стать бойцами интербригады.

В Испании в это время республиканцы одерживают несколько побед. После тяжелой осени 1936 года, когда иной раз казалось, что дни Мадрида сочтены, после кратковременного затишья фронт снова приходит в движение. Воодушевленные первыми успехами, защитники республики вместо «No pasaran!» («Они не пройдут!») провозглашают: «Pasaremos!» («Мы пройдем!»)

А на наши письма все нет ответа.

Но вот перед Первым мая 1937 года мы узнаем, что в Москве гостит испанская делегация. В послепраздничных газетах на первой странице крупный фотоснимок: товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович среди испанцев.

— Знаешь, Борис,— говорит мне однажды Минаев, откладывая газету,— весна, что ли, на меня действует, но хорошие у меня предчувствия: по-моему, сбудутся наши мечты...

Наконец-то! Едем! Мы в Севастополе. С вокзала вместе с Сашей Минаевым и Петром Бутрымом едем прямо в порт.

Печатается в сокращенном виде.

Здесь мы знакомимся с человеком, который должен устроить нас на испанский пароход. Сам он тоже поплывет в Испанию, и уже не первый раз. Он неоднократно сопровождал груз, которому нет цены: подарки советских людей испанскому народу. Тонны сливочного масла, печенья, ящики с консервами, теплые вещи, купленные на деньги ленинградских школьников и рыбаков Дальнего Востока, скотоводов Туркмении и горняков Урала. Только позже — на пароходе, в минуты опасности, — мы по-настоящему ощутили всю тяжесть ответственности, которую неприметно нес этот «сопровождающий», как он сам, шутя, называл себя.

Спрашиваю у него: поедет ли еще кто-нибудь с нами?

— Человек пять-шесть, не больше, — отвечает он. — Вас трое, еще один летчик, Иванов, тоже только что приехал... Да, впрочем, вот он и сам — видите, вон там, возле мешков...

Неподалеку в картинной позе стоит высокий, красивый парень, на вид заправский спортсмен. Шляпа лихо сдвинута на затылок. В углу рта — папироса. Пиджак нараспашку, галстука, конечно, нет: наверняка лежит, засунутый в угол чемодана, ни разу не завязанный, но уже измятый. Нужно очень хорошо знать летчиков, чтобы сразу представить себе характер Иванова. Еще совсем не зная его, вижу, однако: парень чувствует себя уверенно на земле, а значит, не пасует и в воздухе.

Знакомимся с Ивановым и устраиваем маленький военный совет. Испанский пароход еще не пришел. Можно было бы обосноваться в городе, в гостинице. Однако решаем остаться в порту. Надежнее: уж здесь-то мы не прозеваем прибытия парохода.

— Можно достать палатку? — спрашиваем сопровождающего.

— Конечно!

Находим ровную каменистую площадку с несколькими зелеными кустиками. С нее открывается прекрасный вид на море.

Утром к нам является новый спутник. Запыхавшись, шариком подкатывается к палатке. Первый вопрос: «Летчики?» Никто из нас не может сдержать улыбки. Отвернувшись в сторону, одним углом рта улыбается Бутрым, и даже Панас¹ столбенеет на месте от удивления.

Вот это экипировка! Несмотря на жару, застегнутое на все пуговицы немислимое клетчатое пальто. Ослепительный канареечный галстук, широченные брюки и шляпа с огромными полями, из-под которой сияет круглое веснушчатое лицо.

— Волощенко! — простодушно отрекомендовывается наш новый знакомый. — Здорово, ребята!

Заметив, что к одному из его чемоданов привязана еще и тросточка, мы уже не можем сдержать смеха.

Волощенко смущен. Как выяснилось потом, бедняга немало потрудился над ображением своего внешнего вида. И вот, пожалуйста, этакий прием!..

Он сердито ставит чемоданы на землю.

— Подожди, подожди... — встает Панас. — А это что за чемодан?

Новый взрыв хохота: Панас держит в руках... патефон.

Да, наш новый спутник оказался на редкость веселым малым...

Пароход не пришел и на другой день. Сопровождающий пожимает плечами.

— Отдыхайте, загорайте, — говорит он нам.

Больше и в самом деле ничего не остается делать. Загораем, ведем неторопливые беседы. Времени много, и можно лучше познакомиться со своими товарищами. Как знать, не свяжет ли судьба с ними накрепко, на всю жизнь?..

Высокий, костлявый и, как большинство людей такого склада, медлительный, Бутрым выглядит старше нас всех. Я думаю, что он может оказаться нашим командиром, и сравниваю его с Сашей Минаевым. Так же как Бутрыма, я знаю Минаева давно и так же давно люблю. Мы почти одногодки с ним, но я привык считать его старшим. Спорить с ним трудно — он умеет находить веские, неотразимые доводы:

¹ Я сразу же буду называть в своих записках Иванова Панасом, хотя на самом деле он получил это прозвище лишь гораздо позднее. Ниже будет рассказано, почему его так прозвали.

поссориться с ним невозможно — он предельно честен в отношениях с друзьями. За что бы он ни брался, все у него выходит ладно, толково и красиво.

В разговоре кто-то вспомнил об Анатолии Серове. Я о нем слышал не раз, но видел его только однажды, и то мельком. Помню, он с первой минуты произвел на меня хорошее впечатление: рослый, широкоплечий, с открытым, энергичным лицом.

Лежа на горячей севастопольской земле, с удовольствием слушаю рассказы о Серове и молча присоединяюсь к общему мнению: хорошо бы и ему тоже попасть в Испанию.

Майское солнце припекает изрядно, и беседа наша течет неторопливо. Тихо плещут о берег волны, и так же тихо рассказывает что-то Панас. Я прислушиваюсь: Панаса ли это голос? Приглушенный, сдержанный и странно печальный.

— Батьку порубили петлюровцы. Мать говорит, веселый был: начнет плясать — хата ходуном ходит. А я ничего не помню. Только помню — борода у него была колючая, он любил щекотать бородой... И брата тогда же я потерял старшего — махновцам попался в лапы. В братской могиле похоронили. Сейчас там памятник стоит, и на памятнике фамилия «Иванов»...

Я слушаю Панаса, и мне становится ясно, почему и этого парня потянуло в Испанию.

Все жарче и жарче печет солнце. Бухта пустынна. На приколе стоят два буксирчика, несколько шаланд — и все.

— На чем же мы поплывем? Не на этих же броненосцах? — спрашивает Бутрым, и в голосе его слышатся нотки нетерпения.

Испания представляется сейчас очень далекой страной. Гораздо более далекой, чем это нам раньше казалось.

Как в сказке: заснули после обеда, а в это время произошло чудо. Просыпаемся — в бухте стоит большой двухтрубный пароход. Видно, только что подошел: по всей бухте еще морщится вода. На палубе суетятся черноволосые, загорелые матросы.

— Испанцы, — догадывается кто-то из нас, и, охваченные внезапной радостью, мы кричим, перебивая друг друга: — Привет, товарищи!

Нас замечают. Матросы подходят к самому борту и, приветственно подняв сжатые кулаки, отвечают:

— Салуд, камарадас!

Первое знакомство. Пароход подошел так близко, что мы отчетливо различаем лица матросов, видим, что они возбуждены встречей, и сами радуемся, как дети.

Сразу начинается погрузка. Испанцы умеют работать темпераментно и легко. Мы любимся ими, и кто-то, кажется Бутрым, не выдерживает:

— Чем глазеть без толку, пошли бы помогли...

Но его прерывает сопровождающий:

— Я советую вам заняться другим: изучением испанского языка. Пригодится. Кстати говоря, я могу быть вашим учителем. Вчера я закончил свои дела, с удовольствием помогу вам.

Толковое предложение. Мы уже и сами не раз задумывались над простым вопросом: а как мы будем разговаривать с испанцами?

АНАТОЛИЙ СЕРОВ

Спросонок ничего не могу понять: невероятный шум, крик, хохот. Вскикиваю с постели, и мимо меня пролетает подушка.

— Довольно спать, соня! — весело кричит здоровенный детина и стаскивает за ноги с постели ничего не соображающего Волощенко.

Протирая глаза, всматриваюсь: Серов! А он, не давая опомниться, уже командует: — Ну-ка, быстро в море! Утро какое, а они спят! Лежебски!

И он заразительно смеется. Удивительный человек этот Серов: почти никто не знает его, а он врывается, ведет себя так запросто, словно все мы его старые друзья. Не остается места ни для обиды, ни для смущения. Уж на что молчалив Бутрым, но и тот громко смеется и весело расталкивает все еще полусонного Волощенко.

Не одеваясь, в трусах, обступаем Анатолия и забрасываем его вопросами. От радости ему не стоит на месте. Жестикулируя, рассказывает, как по дороге в Севастополь боялся, что мы уже отплыли...

— Ну, так когда же? Когда? — спрашивает он нас.

Мы показываем на пароход: мол, грузится. Серов круто поворачивается, внимательно смотрит на пароход и покачивает головой.

— Н-да... Ясно. Самый обычный грузовой пароход. На этом корабле нам долго придется шлепать до берегов Испании. Скорость не больше восемнадцати километров в час, и то по праздникам.

Утром начинаем второе занятие по изучению испанского языка.

— Вчера мы занимались только три часа, — говорит наш учитель. — Советую вам наилучшим образом использовать свободное время и отдавать языку каждый день часов шесть.

Панас пробует о чем-то заикнуться, но его обрывает Серов:

— Шесть часов мало. Восемь часов нормально. Будем заниматься столько, сколько нужно. Язык-то испанский!

Выражение его лица становится сосредоточенным, брови сдвигаются над переносицей. Он достает блокнот, чинит карандаш и выжидающе глядит на учителя. Теперь я вижу Серова в деле. Как он быстро и резко изменился!

— Ну что ж, повторим испанский алфавит и произношение отдельных звуков, — размеренно говорит сопровождающий.

Серов просит слова.

— Извините, — говорит он преподавателю, — все это — и звуки и грамматику — мы будем учить днем и ночью. Это я вам обещаю. Но прежде всего научите нас приветствовать испанцев. А то вот он, пароход, люди на нем — наши товарищи, а мы и поздороваться с ними не умеем...

Учитель улыбается.

— Ну что ж, тоже правильно. «Здравствуйте, товарищи!» по-испански: «Салуд, камарада!»

Серов повторяет за переводчиком слова по слогам и тут же размашисто, русскими буквами записывает их в блокнот.

— А как «друг» по-испански? Как «русский летчик»?

И с явным наслаждением выводит карандашом: «амиго», «авиадор русо»...

В ДАЛЕКИЙ ПУТЬ

Уже истощилось все наше терпение, а пароход по-прежнему стоял у причала. Трюм его казался бездонной ямой. Десятки груженных платформ и вагонов подходили к подъемным кранам, быстро опорожнялись, на их месте появлялись новые, и так четыре дня подряд.

Правда, нам не приходилось скучать. Изучение испанского языка шло полным ходом. К вечеру голова гудела от испанских существительных и глаголов.

Но вот наконец по широким сходням поднимаемся на пароход. У борта стоят испанцы. Почти все без пиджаков, в пестрых, цветных рубашках. Бронзовые лица, гладко зачесанные назад волосы, лихо сдвинутые набекрень береты. И несется над бухтой громовое, восторженное:

— Салуд, камарада!

Мы отвечаем по-испански, вызывая ликование экипажа. Вступив на палубу, сразу же попадаем в горячие объятия. От волнения мы забываем все испанские слова. Не растерялся, кажется, один только Серов. Живо жестикулируя, он что-то говорит, потом поднимает кулак, и матросы покрывают его речь громкими аплодисментами.

Откуда то появляются глиняные баклажки с вином. Испанцы показывают, как нужно пить из них: держа баклажки прямо перед собой, высоко поднимают их — из короткого узкого горлышка вырывается золотистая струя. Они пьют стоя, искусно направляя струю прямо в рот. После первой неудачи и нам удается отведать чудесного испанского вина.

Солнце стоит уже высоко. Матросы сменили праздничную одежду на рабочую.

Подается сигнал к отплытию.

Тихо поскрипывая, пароход медленно отшвартовывается от причала. Между нами и берегом появляется полоска воды. С каждым мгновением она становится все шире и шире. Мы смотрим на эту полоску воды, не в силах оторвать от нее взгляд. За ней севастопольский берег. Родина...

Без слов прощаемся мы с родной землей.

Ближе знакомимся с экипажем. Среди матросов немало пожилых, уже поседевших на морской службе.

Капитан парохода моложе многих своих подчиненных, на вид ему не больше тридцати лет. Это человек с черными вьющимися волосами и небольшими бакенбардами. Все его жесты и манеры выражают спокойствие бывалого моряка и твердую уверенность в своих силах. Несмотря на молодость, у капитана, видимо, достаточный опыт.

Капитан приглашает нас к себе. Просит садиться и сразу же приступает к деловому разговору.

Экипаж, говорит он, как мы уже могли убедиться, не слишком многочислен... Ничего не поделаешь, война, на фронте люди нужнее. Поэтому каждый новый человек представляет на борту большую ценность. Вот почему он просит русских летчиков включиться в «боевые расчеты». Это значит, что в случае тревоги или («Помоги нам избежать напастей, пресвятая дева!») в случае нападения фашистов, особенно вероятного в районе острова Майорка, русские товарищи должны занять свои места у огневых точек и действовать так, как будет приказано. Немного позднее он сам покажет нам эти огневые точки...

— Как вы на это смотрите, сеньёрес? — спрашивает нас капитан и, не дожидаясь ответа, удовлетворенно кивает головой: по нашим лицам видно, что мы всей душой согласны.

Гораздо более неожиданной для меня оказывается вторая часть речи капитана.

...Сеньёрес авиаторы, конечно, понимают, что, поскольку пароход испанский, да еще торговый, на нем не предполагается иметь ничего, кроме моряков-испанцев. Фашисты стараются хотя бы через вторые руки задержать любого интербригадовца, едущего в Испанию. Пойдем через Турцию, мимо Греции и Италии... Наличие на пароходе русских может вызвать придирки и привести, например, к задержке или аресту парохода. Поэтому капитан включил всех нас в списки экипажа под вымышленными испанскими именами. Капитан чрезвычайно доволен, что некоторые из нас брюнеты... Внешность — залог успеха, полицейские чиновники редко разговаривают с матросами.

— Итак...— Сделав паузу, капитан начинает перечислять: — Камарада Анатоль — матрос, камарада Педро — матрос, камарада Борес (я встаю) — официант.

Вот тебе и раз! Я официант! Но капитан уже громко смеется.

— Вы меня совсем не поняли. Ваша должность — простая формальность, необходимая лишь на случай проверки судовых документов.

Я успокаиваюсь, но ребята, черти, все-таки ухмыляются: им что — они матросы!

Выходим из каюты. На палубе уже полным ходом идет оборудование огневых точек. Вместе с экипажем осматриваем и проверяем оружие, советуемся с испанцами, где лучше установить пулеметы. Капитан ведет нас по палубе к укрепленным на бортах двум спасательным шлюпкам, покрытым брезентом. Глаза его лукаво щурятся.

— Что думают сеньёрес авиаторы об этих шлюпках?

Что мы можем думать о них: шлюпки как шлюпки.

Капитан останавливает двух матросов, те что-то быстро делают, и вдруг каждая из шлюпок распадается на две половинки, открывая взору пушку небольшого калибра. Капитан смотрит на нас с победоносным видом: как нравится сеньорам маскировка?

Мы часто по душам беседуем с матросами. «Вас с нетерпением ждут у нас, — повторяют испанцы, — до сих пор республиканская авиация слабее фашистской. Бомбежки замучили жителей Мадрида, Валенсии...»

Как тяжела война в Испании и сколько она причиняет людям бедствий, мы знаем теперь не только из газет. Об этом нам много рассказывают моряки.

Прогуливаясь по палубе, заходим как-то в матросский кубрик и видим: матросы спят после смены, и только в углу одиноко бодрствует пожилой сутулый человек с шапкой пепельно-седых волос. Перед ним пальцы, на которых натянута рукоделье. Мужчина, занимающийся вышиванием? Спрашиваем моряка, что он делает. Вначале он мнетя, но потом отбрасывает смущение и просто отвечает: «Скатерть, сеньоры». «Скатерть? Зачем? На продажу?» — «Нет, сеньоры, не на продажу». Моряк вздыхает и говорит, что зарабатывает он, как и все остальные моряки, не много. Между тем есть у моряков обычай: обязательно привозить родным из далекого плавания какие-нибудь подарки. Вот он и решил вышивать своей старухе скатерть. Выйдет дешево и красиво. А где он научился вышивать? О! Чему не научишься за долгую жизнь!

И моряк грустно покачивает головой.

— Здесь, пожалуй, тесно работать, — говорим мы ему. — Заходите к нам. У нас просторнее. Можно свободно растянуть всю скатерть.

— Благодарю, сеньоры. Непременно зайду.

И он заходит к нам в свободное время, подшучивая над собой, раскладывает рукоделье, ловко, искусно вышивает и рассказывает нам о своем житье-бытье, о войне, о погибших знакомых и родственниках, о детях. («Бог вдвойне наказал меня, — говорит он, — не дал собственных детей и заставил смотреть на мучения чужих».)

Один рассказ моряка запоминается нам надолго.

Была у моряка соседка Пепита. Веселая, как огонь. Муж ее ушел на фронт. Она верила, что муж вернется, и не унывала. «В Астурии он, — говорила Пепита, — как оттуда пришлешь письмо? Вот кончится война — придет». Все свои силы она отдавала пятилетнему сыну. Хуан — звали сына. Понятливый мальчик. Все матери дрожат над своими детьми, но не так, как Пепита. Она, поверите ли, когда начались бомбежки, на ночь начала уходить из города. В горы. Десять километров туда, десять — обратно. И все на руках таскала Хуана. А утром — на работу. А какая работа, бомбят и днем! Когда она спала, никто не знал. Да и спала ли? Исхудала. Стала заговариваться. Но стоило только ей увидеть Хуана, снова делалась она веселая, как огонь. И все ей было нипочем: десять километров в горы, десять — обратно. Идет и не жалуется, песни поет.

Ушел моряк в далекое плавание. Было у него предчувствие, что плохо кончит Пепита. И сбылось это предчувствие. Вернулся — и встретил не Пепиту, а ее мужа. Тот приехал из Астурии. Без ноги. Боялся моряк его спросить, где жена, потому что на нем лица не было. Уехал молодым, а вернулся стариком — пальцы сухие, лоб желтый. Или его здесь так скрутило? Уже от других моряков узнал, что стало с Пепитой. Однажды, когда бомбежка ночью была особенно жуткой, Пепита не пошла в горы, потому что очень устала. Небо полыхало со всех сторон. Пепита с ребенком выбежала на улицу, хотела спрятаться в соседнем доме: тот дом повыше, покрепче. Но добежать не успела. Убило мальчика, убило Хуана. Видели это многие. Но только вот что странно: наутро не нашли ни Хуана, ни Пепиты. Кто-то принес слух, что видели ее с мертвым ребенком на руках. Шагает по дороге, смеется. «Куда ты?» — спрашивают ее. «К мужу», — отвечает. «А где твой муж?» — «В Астурии, на фронте». И смеется.

Мы молчим. Серов поднимается и медленно идет на палубу. Долго стоит, облокотившись о борт...

На третьи сутки входим в турецкие воды. По заранее намеченному плану мы должны пройти Босфор с наступлением темноты. Останавливаемся, минут тридцать ждем турецкого лоцмана, который должен прибыть на пароход и провести его через пролив в Мраморное море. Таково международное правило.

Мы беспокоимся, не пронохает ли лоцман, что на пароходе находятся русские. Капитан, посасывая трубку, усмехается:

— Мы предусмотрительны и подготовили для «дорогого гостя» все необходимое. Только об одном прошу вас: не попадайтесь ему на глаза.

Вскоре к борту парохода пришвартовывается катер, и через минуту на палубу, отдуваясь, поднимается маленький толстый турок. Ночь, на наше счастье, темная.

Капитан любезно принимает «гостя», разговаривает с ним по-английски и проводит кратчайшим путем в каюту.

Пароход идет вдоль турецкого берега на расстоянии не более ста пятидесяти метров. Светятся огнями бесчисленные портовые кабачки.

Часа через два изрядно охмелевший лоцман вываливается из кают-компании и ковыляет по трапу. Из его карманов торчат две бутылки коньяку. Его любезно поддерживают капитан и старший помощник.

Сгрузив «дорогого гостя» на катер, капитан облегченно вздыхает:

— Глотает коньяк, как воду...

Настроение у капитана превосходное. Он громко отдает распоряжение идти полным ходом и желает всем спокойной ночи.

На другое утро берегов уже не видно. Турция осталась позади. Мы снова в открытом море.

В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

Внезапно стала портиться погода. Перистые облака исчезли. По небу поползли рваные тучи зловещего черного цвета. Ветер крепчал с каждой минутой.

К вечеру поднялся шторм. Пароход начало бросать из стороны в сторону.

Мы с завистью смотрели на моряков: им хоть бы что, по-прежнему занимаются работой, напевают песенки, насвистывают. Даже как будто повеселели. В нашу каюту заглянул капитан и посочувствовал нам, измученным морской болезнью. Но тут же высказал странное пожелание:

— Хорошо бы такая погода продолжалась до самого конца плавания.

Мы удивленно посмотрели на него.

— Ясное дело, сеньёрес, — разъяснил он, — в сильный шторм наш пароход трудно заметить с моря и с воздуха, а тем более в перископ подводной лодки.

Ну что ж, это — немалое утешение.

К ночи буря усилилась. Качало так сильно, что трудно было удержаться на койке. Порой мы теряли ощущение пространства. Потолок оказывался где-то сбоку, стена — наверху.

Но установленную с первого дня вахту у огневых точек мы несли по-прежнему.

Шторм утих так же неожиданно, как и начался. Наступил полный штиль. Солнце, появившись на небосклоне, словно решило наверстать упущенное и пекло так, что приходилось то и дело окатываться водой.

Теперь, когда шторм миновал, мы уже вспоминали о нем с благодарностью. Пока море бушевало, нам удалось благополучно пройти солидный отрезок пути. Осторожный капитан вел пароход вдали от основного морского пути, вдоль северного побережья Африки. До берега было не более двух-трех километров. Близость земли вносила в душу некоторое успокоение. Видеть берег для людей «сухопутных», должно быть, то же, что лететь на небольшой высоте для «нелетающих»: как-то оно спокойнее... Хорошая штука — земля: не упадешь с нее, не утонешь на ней!

Берег пустынный, нелюдимый, но нам он нравится.

— Опасность сесть на мель исключена, — говорит капитан, — мелей здесь нет. Однако не исключена возможность подвергнуться атакам вражеских подводных лодок, тогда в критический момент можно будет выбросить пароход на берег.

Капитан молчит некоторое время, затем добавляет:

— Сегодня начинается самый ответственный этап пути. В этих водах всюду шныряют итальянские и немецкие бандиты. Необходимо усилить наблюдение за морем и воздухом. Ночью мы будем пересекать море курсом прямо на испанский порт Картахену. Там — дом.

И он глубоко, с удовольствием вдыхает воздух.

Вечером того же дня сопровождающий посвящает нас в некоторые подробности предстоящего пути.

— Самое неприятное, — говорит он, — остров Майорка. Нам предстоит пройти на незначительном расстоянии от него. С Майорки фашисты контролируют подходы к берегам республиканской территории. На острове расположены крупные авиационные

и морские базы. Если нам удастся проскочить это место, главная опасность останется позади. За Майоркой нас уже должны встретить военные корабли республики и эскортировать до самого порта.

Солтровожающий советует держать спасательные пояса наготове, особенно в ночное время.

После полудня пароход разворачивается, ложится на курс и с максимальной скоростью начинает удаляться от берегов Африки. Мы вновь в открытом море. Напряжение растет с каждым часом. Капитан не уходит с мостика ни на минуту. Пробегая по палубе, матросы часто останавливаются, подолгу смотрят на море. Нам тоже не сидится в кубрике, вообще никакое дело не идет на ум.

Медленно наступает ночь. Тщательно соблюдаем светомаскировку. Даже разговариваем почему-то вполголоса. Ночь кажется бесконечной, но темнота для нас — спасение.

Рассвет У всех одна мысль: прошли ли Майорку? Спрашиваем капитана. Не отрываясь от бинокля, он отвечает: «Прошли». Но еще каждую минуту мы можем нарваться на вражескую подводную лодку.

В десять часов утра мы должны встретиться с республиканскими военными кораблями. Почти весь экипаж собирается на носу корабля. Капитан заметно волнуется, поминутно подносит к глазам большой морской бинокль и пристально всматривается в морскую даль.

— Смотрите! — вдруг восклицает Панас. Но мы ничего не видим. — Да что вы, ослепли, что ли? Я вижу на горизонте два дымка!

— Верно, верно, — радостно подхватывает Бутрым. — Сейчас и я вижу.

На горизонте отчетливо вырисовываются столбики черного дыма. Два, три, четыре, пять! Вот уже их можно различить невооруженным глазом. А вдруг это фашистские корабли?

— Чьи это пароходы? — спрашивает Серов капитана.

— А чьи это самолеты? — шурится капитан, указывая на небо.

На большой высоте виднеются две точки.

— Трудно сказать... Они слишком далеко.

— Вот и я не могу определить по этим дымкам принадлежность кораблей. Ясно одно — корабли военные и идут встречным курсом.

Самолеты проходят вдалеке от парохода. Корабли все ближе и ближе. Уже ясно видны их контуры. Но еще нельзя ничего сказать определенно.

Неожиданно из рубки стремительно выбегает радист и во весь голос возбужденно кричит капитану: «Сигнал получен!» Капитан опускает бинокль и, выпрямившись, подает команду: «Полный ход! Держать так!»

Эскорт кораблей берет наш пароход в кольцо. Два корабля на несколько мгновений подходят к нам совсем близко.

Капитан спускается с мостика, на котором он простоял целые сутки, закуривает трубку

— Еще несколько часов, и мы будем в Картахене, — говорит он. Голос у него хриплый, простуженный. Едва заметно дрожат руки — не то от усталости, не то от возбуждения.

...Над водой медленно поднимается ровная коричневая полоска земли. На коричневом фоне возникают зеленые пятна, белые кубики далеких зданий. Картахена!..

— Какое сегодня число? — задумчиво, словно самого себя, спрашивает Серов.

— Двадцать шестое мая... — отвечает ему Бутрым.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Картахенский порт подвергался частым бомбардировкам, поэтому сразу же по прибытии моряки, не мешкая, приступили к разгрузке парохода.

Мы сошли на землю, на жесткую, без единой травинки землю, и невольно обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на пароход. Капитан, распорядившийся на палубе, на минуту оторвался от дела, подошел к борту и дружески помахал нам рукой.

Мимо проходили матросы; согнувшись под тяжестью ящиков, они улыбались нам. Так мы простились...

Откуда-то из-за тюков вынырнул сопровождающий. Лицо его сияло от радости: груз благополучно доставлен в Испанию. Мы попрощались с ним, как старые товарищи.

Испания встречает нас не как гостей, а как солдат — просто, скромно, не скрывая своего горя.

У шофера, который везет нас в автобусе на аэродром, усталые глаза, вялые от бессонницы веки. «Бомбежки...» — вздыхает он и кивком головы показывает на груды развалин возле самого порта. «Вчера...» — говорит он и резко переводит скорость.

Странно шипят покрышки колес автобуса. Не сразу догадываемся: едем по щебню. Вот они, следы войны, о которых нам раньше доводилось только читать... Город зверски изуродован бомбежками. Вот посредине мостовой в ржавой кирпичной пыли валяется синяя эмалированная дощечка с названием улицы. Автобус переезжает через нее... Длинный ряд обнаженных огнем жилищ. Возле одного из них горит костер: почти в самом центре города люди варят пищу...

Женщины, дети, мужчины бродят по развалинам, копаются в пепле.

В тени деревьев, прямо на земле, подложив руки под голову, спят те, кто недоспал ночью. Возле немногих открытых магазинов толчея, очереди. Люди выбиты войной из нормальной колеи.

Ссутулившись, напряженно смотрит по сторонам Серов. Молчит побледневший Волщенко, молчит Минаев, оцепенел Бутрым.

Уже пять, десять минут мы едем за чертой города. Здесь как будто бы мир и тишина. Поднятая автобусом пыль медленно оседает на подступающие к дороге полоски посевов. Вдалеке курчавятся оливковые роши. Над ними голубое, предательски голубое небо. Лучшую летнюю погоду трудно придумать.

И здесь, на этом мирном поле, на каждом шагу тягостные приметы войны. Вот сбившиеся в кучу фургоны, палатки; возле них понурые фигуры женщины; между деревьями вьется дымок походного очага. Это беженцы. Навьючив на себя последние пожитки, идут женщины в туфлях из бечевки, плетутся с посохами старики, за ними — едва научившиеся ходить дети.

Я смотрю на своих товарищей, и меня не удивляет, что никто из них за всю дорогу еще не проорнил ни слова. Мне тоже не хочется говорить.

Неожиданно из-за поворота шоссе показывается аэродром. Под сенью раскидистых пробковых деревьев стоят самолеты. Почему-то сразу становится легче на душе. Вот то, что нужно нам сейчас, чтобы успокоиться. Сесть бы сейчас в самолет — и в дело! Не случайно Серов снова выпрямился и, не отрываясь, смотрит на мелькающие за деревьями боевые машины. Я понимаю его. И Бутрым понимает и Минаев. Каждый думает: «Скоро ли первый боевой полет?»

Автобус подкатывает к широкому одноэтажному дому. Это так называемый сборный пункт летчиков. До войны здесь была усадьба крупного помещика-фашиста. Он сбежал. Но у входа в дом остались стоять «бронированные швейцары» — так мы называли потом фигуры рыцарей в стальных латах.

В доме тихо, пустынно. Холодный паркет, темные стены, увешанные рыцарскими щитами, мечами, рогами оленей. На обширной веранде, увитой плющом и диким виноградом, стоят столики: видимо, здесь столовая для летного состава. За одним из столиков сидят чегверо летчиков в желтых кожаных куртках, с тяжелыми, большущими кольтами на поясах.

Невольно вглядываюсь в одного из них. Где я видел этого человека? Этот глубокий шрам на правой щеке...

Но я не успеваю сообразить, кто это, как слышу возбужденный голос:

— Борис! Какими судьбами?!

Акуленко! Мой однокашник! До чего же здорово! Мы обнимаемся, хлопаем друг друга по плечам и без конца повторяем: «Вот не ожидал! Да!.. Вот здорово!..»

Еще бы не здорово! Только вступить на чужую землю — и в первый же день встретить земляка. И не просто земляка, а товарища. В 1933 году в Сталинграде мы вме-

сте закончили летную школу и с того времени ни разу не виделись. Не виделись на Родине и встретились в такой дали от нее!..

Акуленко возмужал, окреп. Кожаная куртка лоснится на плотных плечах, лицо загорелое, посуровевшее.

Друзья засыпают его вопросами. Настойчивее всех спрашивает, конечно, Серов. Ему не терпится, ему хочется сразу же все узнать: какие машины у франкистов, какой тактики они придерживаются, часто ли у противника бывает численное превосходство и вообще, черт возьми, как их лучше всего бить, бить!..

Акуленко пристально смотрит на нас, словно решая, говорить ли всю правду или нет.

— Садитесь. Все расскажу,— произносит он после паузы.— Первое: не обольщайтесь, друзья,— говорит он глуховато, медленно, будто взвешивая каждое слово, прежде чем сказать его.— Война здесь тяжелая, трудная. Легких побед у вас не будет.

Серов порывается что-то возразить, но Акуленко останавливает его взглядом: подожди, дослушай!..

— Почти все время я летал на прикрытие легких бомбардировщиков. Почти каждый вылет — воздушный бой. И хоть бы раз случилось так, чтобы на каждого из нас, республиканцев, приходилось по одному фашисту! Нет, всегда по два, по три, по четыре!

Акуленко зажигает папиросу. Затягивается. Взгляд его, тяжелый, неподвижный, устремлен в одну точку. И хотя эта точка — обыкновенная пепельница, мы тоже пристально смотрим на нее.

— Здешние бои, как вы понимаете, мало похожи на наши мирные, учебно-боевые «сражения»,— продолжает он.— Во всем сплошная перегрузка: перегрузка мотора, самолета, перегрузка нервов. Приходится выжимать из самолета все, что он может дать. Больше того: часто нужно рисковать вариантами перегрузки. Мы с вами привыкли считать, что самолет имеет строго определенные летно-технические данные: «от» и «до». Здесь обстановка вынуждает забывать о пределе, установленном конструкторами. Часто именно за этим пределом и лежит победа! И крепко помните об одном — это мой самый важный совет,— добавляет он,— помните о дружбе. Если кто попробует здесь воевать в одиночку, я на таком заранее ставлю крест!.. Все время я летал с испанскими летчиками. Золотые ребята! Если бы не они, то прощай, Акуленко, поминай, как звали! Выручали, и как выручали!

Мы расспрашиваем о событиях на фронте.

— Вы счастливы,— говорит Акуленко,— приехали сюда после Гвадалахары. Весна, успехи на фронте. А что здесь было осенью? Многим тогда казалось, что дни республики сочтены. Талавера сдана, Толедо у франкистов, фашистские войска уже в предместьях Мадрида, просочились в Университетский городок, в Каса дель Кампо, в Западный парк. В Карабанчель-Бахо, в рабочем предместье, идут жестокие бои на баррикадах. Днем и ночью бомбежки. Приходят по двадцать—тридцать вражеских самолетов. Идут нахально, на небольшой высоте. Бомбят, тщательно прицеливаясь. А тут еще слухи, листовки, Франко передает по радио программу торжества по случаю предполагаемого занятия Мадрида. Генерал Мола вопит, что «национальные войска» — это они о себе: «национальные»! — идут на столицу четырьмя колоннами, а пятая выступит в самом городе. Именно тогда и появились эти слова «пятая колонна». Говорят, в Мадриде было тогда не менее пятидесяти тысяч шпионов. Старались они вовсю. Сеяли панику, сигнализировали своим самолетам, стреляли в патрульных. Представьте такую картину: идешь вечером по улице — пусто, тихо, идешь словно не по городу, а по горному ущелью. Вдруг из-за угла свет фар, вой сирены, выстрелы!.. Черт знает что!

Акуленко нервничает, ломая спички, зажигает папиросу. То, о чем он рассказывает, более или менее известно нам из газет. Но в устах очевидца факты приобретают особенно зловещую окраску.

— Да, многие, очень многие поддались тогда панике. Даже Ларго Кабальеро со своим правительством. Если бы не коммунисты, судьба Мадрида, возможно, была бы иной и вы бы не ехали сейчас туда. Я убежден, что осенью тридцать шестого года именно коммунисты спасли Мадрид. Они подняли рабочих на защиту города. Мне

рассказывали, что Долорес Ибаррури и Хозе Диас вместе с жителями строили оборонительные укрепления. Они же организовали Пятый коммунистический полк, который в боях показал чудеса храбрости. Долорес сказала: «No pasapan!» — и смотрите, как народ подхватил этот лозунг! Мадрид должен быть благодарен коммунистам и интерровцам. Помню, в канун нашего Октябрьского праздника в Мадрид из Альбасете прибыла интернациональная бригада. Мельком видел ее на улице. Спешил на аэродром. С вокзала, не останавливаясь, интеровцы шли прямо на фронт. На первый взгляд странное впечатление: пожилой бородач и рядом с ним юноша. Не все умеют ходить в строю. Некоторые в очках, со впалой грудью. Но что-то говорило, что эти сражаться будут здорово. В тот же день они выбили марокканцев из нескольких траншей. Кстати, говорят, что командир в этой бригаде наш, советский...

— Наш?! — восклицаем мы.

— Его зовут Лукач, но это партийная кличка, псевдоним, а настоящая фамилия — Залка. Мате Залка. Венгерский писатель, коммунист, живший у нас. О нем здесь ходят легенды. В его бригаде бойцы многих национальностей, и со всеми он находит общий язык. Бойцы его обожают и слушаются беспрекословно. Наверное, читали, как в марте на Гвадалахарском фронте одна наша бригада не только задержала две фашистские дивизии, но и рванулась вперед и позволила республиканцам начать общее наступление? Это была бригада Лукача.

— Сейчас положение, в основном, устойчивое, — после паузы продолжает Акуленко. — В Мадриде фашисты много месяцев не могут добиться успеха. На Гвадалахаре наши удерживают позиции. Тревожно в Астурии — очень трудно помочь баскам: они заблокированы со всех сторон. А впрочем, — смотрит на нас Акуленко, — как там, так и всюду, даже мелкие бои носят ожесточенный характер. Идет борьба за метры, а это мясорубка. Да что вам говорить — сами увидите!

Шумной ватагой в столовую входят испанские летчики в расстегнутых куртках, со шлемами в руках. Увидев нас, на мгновение замолкают:

— Aviator ruso?! — не то спрашивает, не то восклицает один из них.

Испанцы бросились обнимать нас, мы — их. Волощенко неожиданно обрел дар речи: он произнес короткую пламенную речь, в которой на двадцать русских слов приходилось одно испанское. Но, удивительное дело, испанцы поняли его: они так аплодировали ему, что Волощенко даже смутился.

Не помню, по чьей инициативе, но тут же мы дружно сдвинули столы и разместились за ними одной семьей. Нас усадили в центре. Один из испанцев поднял бокал вина и сказал просто, коротко и взволнованно:

— Выпьем за здоровье наших гостей, за их будущие дела!

В тот же день нетерпение гонит нас в Мурсию, тыловой испанский городок, где мы должны получить машины.

МУРСИЯ

Мурсия окружила нас тишиной, спокойствием, позволила нам любоваться всеми своими прелестями: вековым, запущенным парком, в густой зелени которого прячутся статуи античных богов; улочками, узкими, как расщелины, куда и в полдень не забредает солнце; витринами колониальных лавчонок, где самые товары будто излучают палящий зной Африки. Весь город перед нами как на ладони в первый же день. А мы? Мы ругаем его на чем свет стоит по той причине, что на Мурсийском аэродроме нам сказали: «Машины будут через три дня, не раньше». Перед нашими глазами еще стоит изувеченная Картахена, и нам трудно мириться с вынужденной задержкой, так же как размахнувшемуся в ярости человеку трудно опустить руку.

Свободного времени уйма, его всегда много, когда ждешь чего-нибудь, и мы вновь и вновь осматриваем город, бродим по грубо мощенным улицам. Прежде чем сдружиться со взрослыми, быстро сходимся с ребятами. Мимо гостиницы с утра до вечера бегают стайки мальчуганов. Судя по тому, что их одежда залатана и заштопана, это не бедомные дети, но заплат так много, что ясно: ребята живут несладко. Почин в знакомстве делают, конечно, сами «чикос» — мальчишки. Узнав, что мы русские, они

проводят все свое время возле гостиницы. И стоит нам показаться, как с чисто южным темпераментом, помноженным на безудержный пыл юного возраста, на нас набрасывается целая толпа: ребята предлагают свои услуги. Один готов сходить за какой-нибудь мелкой покупкой, другой вприпрыжку бежит показывать ближайшую лавочку... Как тут отказаться! Мы даем деньги и посылаем их что-нибудь купить. Сдачу оставляем мальчуганам. Но если лишних денег оказывается много, они не берут их, несмотря на все наши уговоры.

Чикос нам очень нравятся. Мы даем им поручения даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. Получив свою награду, ребята чаще всего бегут к хлебным лавочкам или стремглав, не чувствуя под собой земли, домой — поделиться своим счастьем.

Уже на второй день мы знаем многих ребят по именам. Особенно привлекает нас один мальчик. Он ведет себя необычно: стоит перед гостиницей часами, но, когда мы появляемся, не бросается к нам со всех ног, а остается в стороне. Только смотрит — жадно, пытливо, напряженно. На вид ему лет двенадцать. Лицо бледное, с синеватыми жилками на лбу, рубаха — штопаная-перештопанная.

Подзываем его; он подходит к нам, краснея. Тихо называет свое имя — Карлос. Я смотрю на его многочисленные заплатки и думаю, как помочь мальчику. Способ один: «Не сходишь ли ты, Карлос, купить нам зажигалки...» Карлос вспыхивает и часто, горячо повторяет: «Да, да!» Получив деньги, стремительно убегает.

Проходит час, два, а Карлоса нет...

Вдруг раздается тихий стук в дверь. Саша бросается к ней, открывает. «Карлос! Какой молодец!» Усаживаем мальчугана и начинаем его расспрашивать:

— Ты уроженец Мурсии, Карлос?

— Нет, я родился в Сантандере.

— Почему же ты живешь не в родном городе, а здесь?

— Мы уехали оттуда, когда фашисты стали бомбить город.

— У тебя есть отец и мать?

— Да, мамита есть, кроме нее — маленький брат и еще совсем маленькая сестренка, а об отце мы ничего не знаем...

— Где же твой отец?

— Падре в Астурии, — говорит мальчик и вздыхает. — На самом тяжелом фронте...

— Почему ты говоришь «на самом тяжелом фронте»?

— Отец мне говорил, что коммунистов всегда посылают туда, где тяжелее всего.

Он повторяет эти слова с гордостью. Но, не выдержав, отворачивается и вытирает наворачнувшиеся слезы. Мы молчим: труднее всего на свете утешать детей, когда у них большое, недетское горе.

Мы молчим, и, воспользовавшись нашим молчанием, Карлос засовывает руку за пазуху и достает оттуда две коробочки.

— Это вам... — И густо краснеет. — Я задержался потому, что хотел найти для вас самые лучшие зажигалки.

Минаев берет четыре больших яблока и кладет их на колени мальчику, отдает ему оставшиеся от покупки три пезеты. Карлос снова вспыхивает.

— Вот спасибо! Мамита будет очень рада. Знаете, она сколько работает?! Этих денег хватит на целых четыре дня, и она сможет хоть немного отдохнуть.

Саша смотрит на яблоки, на мальчика и поднимается.

— Побродим, Борис, с мальчуганом по городу...

Не понимая Минаева, Карлос растерянно смотрит на него. Саша подходит к мальчику и легко приподнимает его.

— Ну, спасибо, Карлос! Будем считать, что ты нам сделал хорошие подарки, а теперь пойдем в магазин.

— Зачем же вам идти в магазин? Я могу купить вам что нужно.

— Нет, Карлос, теперь мы хотим тебе сделать подарок.

Мы выходим из гостиницы. Подбираем в ближайшем магазине самый лучший костюм, пару рубашек, ботинки и берет. Расплачиваемся и передаем сверток вконец растерявшемуся мальчику. Карлос не верит своим глазам. Прижав к груди драгоценный подарок, он лепечет:

— Что же я скажу маме? Она ведь спросит, откуда я взял все это.

— Так и передай ей, что это подарили тебе русские летчики,— улыбаясь своей доброй улыбкой, говорит Минаев.

Мы провожаем Карлоса взглядом до тех пор, пока он не скрывается за углом дальнего дома.

САМОЛЕТЫ

Дождались-таки! Рано утром Серов звонит по телефону и, не дослушав до конца ответа, кричит на всю гостиницу:

— Пришли!..

Через минуту мы на улице. Площадь перед гостиницей еще пустынна, окна закрыты тростниковыми жалюзи. Серов устремляется в какой-то переулок, и вскоре оттуда, недовольно фырча, словно не вовремя разбуженный, выкатывается автобус.

Город кажется нам непомерно большим. Едем, едем, и нет ему конца. Ох, уж эта Мурсия!

— Вот они! — кричит наконец Серов, высовываясь из окошка, с досадой взглядывает на шофера, хотя тот гонит машину на третьей скорости.

Желтая, выжженная площадка. В два ряда стоят истребители. Еще издали замечаем: машины разные — бипланы и монопланы «Мошки», — улыбаясь, говорит шофер, кивая головой в сторону монопланов... Машины действительно похожи на мошек — небольшие, с короткими широкими крыльями. Испанцам эти истребители нравятся больше всего. И мы с первого взгляда отдаем им предпочтение.

Один Серов отворачивается от «мошек» и внимательно рассматривает бипланы. Испанцы называют их «чатос», что в переводе означает «курносые». У этих истребителей тупая, несколько вздернутая передняя часть фюзеляжа.

Автобус резко тормозит и останавливается перед группой летчиков и механиков. Снова приветствия, объятия. И вдруг из толпы радостный возглас: «Товарищи!» Худошавый, среднего роста парень в кожаной куртке проталкивается к нам и рекомендуется:

— Михаил Якушин...

Еще один русский на испанской земле! Чудесно! Якушин поживаетеся от объятий Серова и объясняет, что тоже недавно прибыл в Испанию, правда, по другому маршруту. Он возбужден, говорит короткими, рублеными фразами. Видно, человек сдержанный, молчаливый, он произносит сейчас одну из своих самых длинных речей.

Все вместе — испанцы и русские — отправляемся к машинам. Испанские летчики показывают «мошек» с каким-то смешанным чувством: и с гордостью и со смущением. Мимо некоторых машин они стараются провести нас как можно быстрее. Мы не сразу понимаем почему. Неужели потому, что машины не новые, в заплатах?

Идем напролом, чтобы сразу рассеять это чувство неловкости у наших испанских друзей. Я подхожу к самолету и, показывая на рыжую заплату, спрашиваю механика:

— Что это?

Механик мнетя и нехотя отвечает:

— Ничего особенного, камарада... Случайные пробояны...

И вдруг обрадованно, словно нашел прекрасный выход из положения, добавляет:

— Пусть это вас не волнует!.. Мы сегодня же закрасим все заплаты, и они уже не будут портить вам настроение!..

Так вот в чем дело! Испанцы тревожатся за нас, боятся, что искалеченные в боях машины произведут на нас угнетающее впечатление.

Испанец-механик смотрит так доверчиво и вид у него такой виноватый, что смущаюсь уже я и, продолжая осматривать машины, стараюсь всячески подчеркнуть, что в восхищении от истребителя, уважаю его боевое прошлое. При каждой похвале механик расцветает. Он очень любит свой самолет.

В полдень нас принимают представители республиканского командования.

Пожилой полковник сухо, коротко сообщает нам летно-технические данные истребителей. Наши симпатии к монопланам оказались оправданными, у них большая скорость, чем у «чато». Правда, «чато» маневреннее. Но мы, истребители, знаем цену

скорости и, когда полковник спрашивает нас, на каких машинах мы хотели бы летать, почти в один голос отвечаем: «На монопланах».

Не отвечает один Серов. Он сидит, насупившись, исподлобья сердито смотрит на нас.

Недоволен и полковник. Мягко, но внушительно он замечает:

— Я прошу русских летчиков учесть одно обстоятельство: нам очень хотелось бы... — Он молчит, потом с подчеркнутой твердостью повторяет: — Нам очень хотелось бы, чтобы вы распределили свои силы между двумя эскадрильями. По-нашему, монопланы и бипланы должны взаимодействовать между собой, но не внутри одной эскадрильи. Мы не так богаты... Кроме того, управлять разношерстным по технике подразделением трудно... Между тем, если в одной эскадрилье будут русские, а в другой — остальные, то... Мои друзья — испанские летчики — не обидятся, если я скажу, что ваша эскадрилья будет намного сильнее. Поверьте, я говорю это не в качестве комплимента... Правда, я понимаю, что вы люди дружные и вам нелегко расстаться...

Не в силах больше сдерживать себя, поднимается со своего места Серов и, повернувшись к нам, гневно кричит:

— Ищете большую скорость, чтобы... чтобы легко было удирать!

— Анатолий! — вскакивает побледневший Минаев.

— Ладно. Извини... — Серов отворачивается. — Разозлился! — И, взяв себя в руки, уже другим тоном говорит: — Мы не гости. Мы солдаты. Надо это понимать, ребята... Почему вы недоверчиво относитесь к бипланам? Потому, что у них меньшая скорость? Чепуха! Зато биплан маневреннее. Я считаю, что храбрый и грамотный пилот будет с успехом драться на любой машине. Если говорить откровенно, на биплане, может быть, придется труднее. Но нам ли бежать от трудностей? По-моему, вы чего-то не подумали, когда поднимали руки за «мошек».

— Прав Анатолий, — говорит Якушин. — Дело бесспорное.

Анатолий еще раз смотрит на нас, улыбается и объявляет полковнику:

— Мы сейчас между собой договорились: пусть командование само решит, кого направить в одну эскадрилью, кого в другую. Моя личная просьба — дайте мне «чато».

— И мне биплан сподручнее, — бурчит Якушин, — попросил бы и за меня... Что ж ты?

Серов смеется: все вышло хорошо. Главное — честно.

Вечером узнаем: Серов и Якушин зачислены в эскадрилью бипланов, остальным предоставлено летать на «мошках».

Минаев признается мне, что чувствует себя неловко.

— Знаешь, Анатолий прав. Сейчас у меня такое ощущение, словно обманул самого себя.

— Бросьте, — утешает нас Серов. — Хорошо, что хорошо кончается... Будем взаимодействовать. Но держитесь: не отставать от нас!

По существующему в интернациональных частях правилу мы должны избрать командира. Узнаем, что среди нас, кроме испанцев, есть австрийцы, югославы, один американец.

Собираемся все вместе. Первым берет слово худощавый темноглазый испанец:

— Я считаю, что командиром должен быть у нас русский летчик.

Вся эскадрилья разом поднимает руки, потом аплодирует.

— Мы просим, — продолжает испанец, — советских товарищей предложить нам самую достойную кандидатуру.

Я смотрю на Сашу Минаева.

— Минаев! — коротко говорит Бутрым.

— Минаев! — повторяет Панас.

— Минаев! — улыбается Волощенко.

Саша поднимается, и одновременно, как по команде, встает вся эскадрилья. Она безоговорочно признала его своим командиром, а при командире не положено сидеть без разрешения.

— Спасибо, — просто говорит Саша. — Спасибо, товарищи, камарадас...

Вечером в гостинице Серов, избранный командиром в эскадрилье «чато», задумчиво говорит:

— Вы понимаете, какой это большущий факт, что избрали командирами нас, русских... Ведь избрали — это каждому ясно — не потому, что мы такие красивые и милые. Мы из Советского Союза, вот в чем дело. Такие не могут подвести, думают они, глядя на нас. Что ж, придется не подводить!

НАША ЭСКАДРИЛЬЯ

Мы стоим в строю. Если взглянуть на наш строй со стороны, то он, наверное, представляется очень странным. На правом фланге, будто каланча, возвышается американец Джон — тощий, светловолосый, без головного убора, в легкой полотняной куртке. Левифланговый, замыкающий строй, — Волощенко: коротенький, круглый, в шляпе, в галстуке. От Джона ступеньками спускаются все ниже и ниже кепки, береты, пилотки, фуражки: это если смотреть с левого фланга. Спереди, по фронту, не меньшее разнообразие: кожаные куртки, френчи, рубахи с засученными рукавами.

Никто из нас не носит военной формы. Мы, русские, отказались от нее, хотя при зачислении в республиканскую авиацию нам, как летчикам, были присвоены офицерские звания.

Только два человека на нашем аэродроме носят форму офицеров. Это французы. Они летают на авиатках, развозят почту. Оба очень молодые, они выглядят в своей форме щеголевато.

Мы отказались не только от офицерских нашивок, но и от денежных наград за сбитые самолеты. Джон искренне недоумевал.

— Друзья! — сказал он. — Ведь это же деньги. Пезеты.

Мы ответили ему, что приехали сюда не набивать карманы, а воевать за испанский народ.

— Одно другого не исключает, — пожал плечами Джон. — Наоборот! Захотите получше заработать — еще лучше будете драться. — Американец смотрел на нас с сожалением, как на чудаков.

Но зато нас хорошо поняли испанцы, к нам единодушно присоединились австрийцы Тобиаш и Карауз, югослав Петрович (все трое попали в эскадрилью Серова). Каждый из них с большими трудностями пробился в Испанию, прорвавшись сквозь все преграды, как десятки и сотни других страстных антифашистов, убежденных интернационалистов, для которых борьба за свободу и счастье народов — цель жизни. Петрович прибыл в Испанию не один, а вместе со своим братом, который был зачислен в мотоциклетный полк одной из интербригад. Когда зашла речь о денежной награде за сбитые самолеты, он усмехнулся: «Борьба в Испании — моя партийная работа. При чем здесь деньги?..»

Несмотря на общее решение отказаться от премии, Джон твердо стоял на своем. Ему уже довелось воевать на фронте; человек он храбрый, и он, кажется, уже прилично подработал. Впрочем, американец не стеснялся об этом говорить. «Что вы меня уговариваете, — твердил он. — У нас тоже есть коммунисты, а я не коммунист. Я приехал сюда ради заработка!» После этого оставалось одно: отступить от него.

Строй — лицо подразделения. Внешне наша эскадрилья выглядит чрезвычайно пестро. Но чем внимательнее приглядываемся к нашим сотоварищам, тем больше убеждаемся, что разнохарактерность одежды, языка, привычек не мешает нам соединиться в одну крепкую, нерасторжимую цепь. Порукой тому — наша общая тревога за судьбу Испании, ненависть к фашизму и преданность свободе.

С каждым днем мы все крепче привязываемся к испанским летчикам. Темперамент, горячность испанцев — превосходные качества, но как трудно ввести эти качества в строгие рамки дисциплины!

Вот мы проводим тренировочный учебный «бой» над Мурсней. Каждая пара истребителей должна действовать согласованно. И вдруг один из испанских летчиков — ведомый — увлекся боем, бросился в погоню за «вражеским» самолетом. Он не видит, что его заманивают в ловушку, он забыл о своем ведущем, обо всем на свете. Им владеет одно ослепляющее чувство — азарт.

Когда на земле Минаев говорит испанцу, что нужно быть хладнокровнее и осмотрительнее, что азарт — взбесившаяся лошадь, которая может унести невесть куда, чувствуется, что летчик не очень понимает Минаева.

— С холодным сердцем, — говорит он, — воевать нельзя!

— Правильно, — отвечает ему Минаев, — но холодное сердце и хладнокровие — разные качества. Вы бросили своего ведущего, оторвались от всей группы и подставили себя под удар. Почему? Потому что вы уже не управляли своими чувствами и, следовательно, действиями. Чувства управляли вами. Вас же собьют в первом бою!

— Я готов умереть за республику!

— Нужно жить во имя республики, камарада. Жить, чтобы бить, каждый день бить ее врагов. Сбивать не один самолет, а два, три... десять! Об этом мечтал ваш коллега Итурби.

Одно упоминание имени Итурби вызывает у испанцев чувство священного благоговения. В начале войны Итурби оказался в гарнизоне, целиком перешедшем на сторону Франко. Он долго не раздумывал — в одном из первых полетов убил двух сопровождавших его офицеров и приземлился возле Мадрида. Два месяца изо дня в день летал он на республиканских истребителях. Итурби не знал, что такое страх, что означают слова «не принять бой». Сколько бы ни было вражеских самолетов, летчик всегда бросался в схватку с ними. Попав однажды в безвыходное положение, Итурби пошел на таран и погиб.

Минаев испытующе смотрит на молодого летчика.

— Понял, камарада?

— Да, понял.

Но видно, что не совсем понял.

А на земле испанцы радуют нас своей дисциплинированностью. Наутро после избрания Минаева командиром эскадрильи мы вошли гурьбой в столовую. Ни один испанец не сел за стол, пока стоял командир. Испанцы любят запивать обед одной-двумя рюмками вина. Но Саша не налил себе вина. И никто не притронулся к бутылкам, хотя они и стояли на столе.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Под крылом — Кастилия. Бурные горбы холмов, выжженные долины. Зелень пригорья осталась далеко позади. Лишь возле речек иногда сверкнет серебро тополей, и снова сожженная солнцем, словно побывавшая в гигантской гончарной печи, красновато-бурая, незеселая земля...

Жарко, душно даже на высоте двух тысяч метров.

Командир эскадрильи несколько раз качнул свой самолет с крыла на крыло. Это условный сигнал — «внимание!». На горизонте, за белесой дымкой, проступили очертания большого города.

Мадрид!

Я вглядываюсь в мелкую россыпь далеких зданий, и в памяти мелькают Люберцы, наш клуб и в фойе клуба — большая карта Мадрида. Возле нее всегда толпились люди. Некоторые из них превосходно знали план города, хотя, конечно, никогда не были в нем. Когда франкистам удалось прорваться в Университетский городок и захватить несколько кварталов, возле карты разгорелся спор. Один из механиков, черноглазый, подвижной паренек, убеждал нас, что фашисты ничего не выиграли, потому что вот с этой улицы (он показывал по карте) можно легко пройти дворами на соседнюю улицу. Здесь (он твердо чертил ногтем по плану) есть другой проход. И доказывал, что связь между кварталами не только не нарушилась, но стала крепче, надежнее, а оборона республиканцев — прочнее. Мы не спрашивали механика, откуда ему известны все ходы и выходы в Университетском городке: мы сами знали некоторые районы Мадрида не хуже, чем он. Нам хотелось верить горячим словам механика, и несколько дней мы не переставляли красных флажков, обозначавших линию фронта республиканцев. Потом мы их переставили — неохотно.

Наконец-то мы сможем помочь республиканцам верить эти флажки на старое место! Как мы мечтали об этом. Черноглазый механик, должно быть, здорово завидует нам сейчас.

Все ближе, все яснее город.

Он распростерся у самого подножия хребта Сьерра-Гвадаррама. Горы серые, без единого пятнышка зелени. Задерживает внимание приземистая, с ровно обрезанной вершиной Столовая гора весьма приличной высоты — свыше тысячи метров.

Уже различимы зигзаги улиц, темные скалы зданий, серые лишай развалин. В западной части Мадрида гигантским удавом лежат на бульварах, на пестрой чересполосице улиц и переулков клубы дыма. Дым — густой, черный. Фронт...

Ведущий меняет курс. Показав нам город, он со снижением направляется к аэродрому Барахос. Все быстрее и быстрее мелькают под крыльями невысокие домики предместий. Издали замечаем летное поле, выжженное солнцем, без цементных полос. С востока к аэродрому подступают поросшие кустарником холмы, между ними светлой ниточкой вьется речка. Четкими прямоугольниками вытянулись вдоль поля широкие, плоские ангары.

Посадочные знаки на аэродроме не выложены. Направление и силу ветра показывает узкая полоска дыма от зажженной дымовой шашки. Впервые за всю нашу практику нам приходится самостоятельно определять место приземления самолета.

...Едва успеваю прорунуть несколько метров, как на крыло ко мне легко, по-кошачьи, вспрыгивает испанец в замасленном комбинезоне. Ветер от винта отчаянно треплет его волосы. Задыхаясь, он что-то кричит, показывая рукой вправо: там стоянка. Разворачиваюсь и рулю к ней. Испанец стоит на крыле, держась за борт кабины. Щуплый, худенький, почти мальчик, но глаза взрослые, печальные. Застенчиво улыбаясь, он протягивает мне руку, помогая вылезти из кабины, — и это наше первое рукопожатие.

— Хуан, — говорит он, показывая на себя пальцем.

Я называю свое имя.

— О! Борес! — с довольным видом повторяет он, словно ожидал услышать это имя, и замолкает.

— Вы механик? — спрашиваю я его.

— Да! Механик вашего самолета. Мы решили встретить вас на старте и отсюда проводить на стоянку. Вот я и прыгнул к вам на крыло...

Уже потом я вспомнил, что на крыле у Минаева тоже стоял механик...

— Хорошо, камарада Хуан! Спасибо...

— Слабенький паренек, — говорит мне Панас, когда мы отходим в сторону покурить. — А нагрузка, говорят, здесь большая. Если нам мало спать придется, то механикам — еще меньше.

— По-моему, выдержит! — Я еще не знаю, почему так говорю. Но Хуан с первого взгляда понравился мне.

— Авиадор русо! — кричит кто-то. Оборачиваемся. Прыгая через баллоны со сжатым воздухом, смешно выбрасывая вперед длинные ноги, бежит к нам долговязый испанец в расстегнутом нараспашку костюме. Еще издали кричит неизменное «salud!» и, подбежав, сразу же протягивает руку.

— Маноло! — сообщает он с некоторой гордостью — Штаб откомандировал меня в ваше распоряжение. Я ваш шофер.

И широко улыбается: мол, прошу любить и жаловать!

Ну, это истый испанец, насколько мы успели их узнать. Он совершенно не может спокойно стоять на месте. Улыбка не сходит с его лица. Сверкая карими глазами, Маноло успевает за несколько минут рассказать нам всю свою биографию. Она несложна: копил деньги, чтобы иметь собственный автомобиль, покупал машину, через некоторое время прогорал — и снова начинал опускать деньги в копилку. И так несколько раз. «Ха-ха-ха!» — оглушительно смеется Маноло: — Главное в жизни — не унывать!»

Внезапно он застывает на месте. С большой высоты доносится гул моторов. И вот над аэродромом разворачиваются двенадцать бомбардировщиков.

— Чьи это самолеты?

Маноло беспокойно пожимает плечами и смотрит уже не на нас, а на высокий забор из колючей проволоки, огораживающий аэродром.

— Сейчас узнаем... — И в этот момент раздается свист падающих бомб. Ложись!

Страшный грохот сотрясает все вокруг. Инстинктивно вдавливаюсь в сухую каменистую почву. Градом бьют по спине комья земли.

И внезапно становится тихо. Поднимаю голову. На меня тревожно смотрит Панас. Ресницы у него поседели от пыли. Он виновато усмехается: «Вот чертовщина какая...»

Поднимаемся и видим Сашу Минаева. Он идет прямо на нас, чистый, в несмятом костюме.

— Живы?

— Как видишь, — отвечает Панас, протирая глаза.

— А вы видели, как поспешно и неприцельно они бомбили? — деловитым тоном спрашивает командир.

— Кто это нас угостил? — в свою очередь спрашиваю я у Минаева.

— Видно, немцы, — отвечает Саша. — Бомбардировщики типа «хейнкель-111».

Вместе с Маноло, который, насвистывая, на ходу поправляет галстук и очищает рукой пыль с костюма, мы идем к стоянке самолетов. Выясняется, что никто не пострадал от бомбежки, лишь несколько машин слегка подарапано осколками.

— Ну, вот и боевое крещение, — говорит Панас.

— Ну, это крещение пока что на земле, — замечает Саша. — Настоящее крещение будет в воздухе. Кстати, учтите, товарищи: самолеты уже запровлены горючим. Может быть, сегодня же нам придется нанести ответный визит фашистам. Я думаю...

Шипение сигнальной ракеты обрывает речь командира. Немедленный вылет. Бро-саемся к своим машинам. Шлемы застегиваем на ходу. Не останавливаясь, Минаев оборачивается и кричит:

— Взлетайте вслед за мной! Ты, Борис, пристраивайся справа, а Панас слева!

Второпях не успеваю застегнуть парашютные лямки. Быстро поднимаемся, и через несколько минут пролетаем строго над центром Мадрида. Недалеко уже линия фронта. Впереди, на фоне ярко-голубого неба, вижу несколько точек: фашисты!

Неожиданно меня охватывает сильное волнение. Не страх, а какой-то особый род беспокойства, какой бывает, когда приступаешь к еще не испытанному делу. Смотрю в сторону Минаева: он летит рядом, спокойно кивает мне головой. Становится стыдно за свою излишнюю нервозность.

Вдруг Минаев резко разворачивается влево. Повторяя за ним маневр, я замечаю большую группу фашистских истребителей. Они идут наперерез нам. Несколько мгновений — и все смешалось и закрутилось в общем клубке. Огненные пулеметные трассы пронизали все вокруг.

Не знаю, что со мной: растерялся я, что ли? Не могу разобраться, где свои, а где чужие. В пестрой головокружительной путанице чаще всего вижу Минаева: может, потому, что стараюсь ближе держаться к нему.

Внезапно впереди, снизу вверх, взметнулся самолет, разукрашенный темно-зелеными и желтыми пятнами. Фашист! У меня удобная позиция для атаки. Я лихорадочно прицелился. Осталось только нажать пулеметные гашетки, но меткий огонь Минаева уже настиг противника, и, вспыхнув, самолет исчез из поля зрения.

Оглянувшись назад, я увидел еще два фашистских истребителя, приближавшихся ко мне. Нельзя было терять ни доли секунды. Развернувшись, открыл огонь. Оба самолета устремились в разные стороны. Я погнался за одной машиной, потом мне показалось, что легче догону другую.

Гочаясь, уже не видя ни одной машины, кроме той, которую хочу настичь. И, когда она ускользает от меня, неожиданно замечаю, что бой уже закончился. В воздухе остались только республиканские истребители...

• • • • •

— Камарада Борес, наверное, был сильный бой? — озабоченно спрашивает меня Хуан.

— Честно говоря, Хуан, я не совсем разобрался, какой был бой. Я ничего, ничего не понял...

На душе скверно. Стараюсь воспроизвести в памяти все происшедшее в воздухе и ничего не могу вспомнить достойного, ободряющего.

— Вы что-то скрываете, камарада Борес. Бой был тяжелым,— мягко возражает механик.— Посмотрите!

Хуан тянет меня к самолету и показывает отмеченные мелом пометки на фюзеляже и крыльях.

— Сколько?..

— Четырнадцать пробоев,— качает головой Хуан.— Зачем вы говорите, что ничего не поняли...

Горькое разочарование охватывает меня. Значит, я никуда не годен. Вот когда выяснились мои способности и умение применять на практике все то, чему учили меня раньше. Какое же это умение?! Какие, к черту, способности?!

Панас подливает масла в огонь: загибает пальцы, громко подсчитывает пробойны в моей машине,— пальцев не хватает.

Бутрым смотрит на Панаса и с усмешкой спрашивает его:

— А как у тебя дела?

— У меня?..— самодовольно переспрашивает Панас.— У меня?..— На мгновение он запнулся.— В общем, у меня все в порядке. Вот только две пули застряли в парашюте...

Петр хохочет.

— Чего ты смеешься? — сердится Панас.

— Ничего себе «все в порядке»! Если бы эти две пули пробили парашют насквозь, они застряли бы у тебя вот в этом месте. — И Петр хлопает Панаса пониже спины.

Панас переходит в атаку.

— А ты что хромаешь, Петя?

Но Бутрым отвечает Панасу серьезно, без улыбки:

— Нечего смеяться, друг. Смешки плохие... Вот и у меня пуля начисто отбила каблук.

Замолкаем. Да, воевать — это не говорить о войне. Чувствую острую необходимость встретиться с Сашей Минаевым, отвести душу. Вот у кого праздник: в первом же бою сбил самолет!

И правда, Саша успокаивает меня быстро и просто.

— Не унывай, Борис,— говорит он.— Посмотри на мой самолет, в нем пробоев не меньше, чем в твоём. А знаешь почему? Плохо мы смотрим по сторонам. В таком бою, как этот, летчик должен иметь глаза не только спереди, но и сзади.

— Но я так крутил головой, что сейчас шея болит!

— Выслушай меня до конца... Во-первых, надо не просто вертеть головой, но видеть и здраво оценивать сложившуюся обстановку. И, во-вторых, самый серьезный промах, который все мы допустили,— это то, что каждый из нас гонялся за фашистскими самолетами в одиночку и во что бы то ни стало сам старался сбить врага. Нам надо точно взаимодействовать друг с другом и выручать друг друга. По-моему, если товарищу грозит опасность, летчик может даже бросить свою цель и поспешить другу на выручку.

Это почти те же самые слова, что говорил Акуленко... Минаев глубоко затягивается табачным дымом и неожиданно улыбается:

— А знаешь, Борис, все же не такое плохое начало. Их ведь было больше, а мы им всыпали. Франко недосчитается сегодня двух «фиатов». Это посерьезнее, чем наши пробойны.

— Кто сбил второй самолет?

— Испанцы. Хорошие ребята! Смелые и скромные. Смотри, как к нам относятся. Словно мы уже разогнали всю фашистскую авиацию.

И действительно, вечером испанские летчики приглашают нас отпраздновать первую победу в бывшем здании аэропорта, где сейчас устроены столовая и буфет для летчиков.

— Ну, если такое дело,— говорит Минаев,— надо пригласить и механиков. Антонио! — кричит он своему механику.— Зови в столовую всех своих...

Антонио мнется.

— Вы все офицеры... Неудобно нам.

Минаев перебивает его:

— Антонио, мы все прежде всего русские, советские люди! Понимаешь... Словом, зови всех механиков — и быстрее в столовую.

И вот в просторном зале тесно сдвинуты все столы. Мы сидим попеременно — каждый летчик со своим механиком. Антонио, расхрабрившись, первый поднимает бокал виноградного вина.

— Позвольте мне... Я хочу поздравить славного русского летчика Алехандро с первой победой. Пью за его здоровье и за здоровье всех русских!

— Вива Руссия! — дружно восклицают испанцы и, опустив пустые бокалы, аплодируют.

И, наверное, не только у меня одного мелькает в это время мысль: «С такими друзьями мы пропадем. Научимся бить франкистов!»

Должны научиться! К этому обязывает нас Мадрид — мужественный и непреклонный Мадрид.

Нам не сразу удалось его увидеть, познакомиться с ним и полюбить его. Вечером первого дня мы уехали с аэродрома, когда уже повсюду зажглись огни. То и дело оборачиваясь к нам, Маноло говорил: «Ла Аламера... проезжает Канильехас... Ла Консепсион... Камарадас, Ла Консепсион — это уже Мадрид!» Но мы ничего не видели: светомаскировка. Жадно глядявались и различали только очертания плоских одноэтажных домиков. Потом пошли более массивные здания. Наше авто несло по широким магистралям, кружило вокруг площадей, в стороне мелькали едва различимые силуэты памятников. Маноло не умолкал: «Камарадас! Парк Эльрретиро! О! Вам нужно побывать здесь... Камарадас! Пуэрта дель Соль! Запомните, это Пуэрта дель Соль!» Маноло, голубчик... запомним!

Лишь через несколько дней нам удалось увидеть дневной Мадрид. Ла Аламера. Небольшой пригородный поселок. Такие же, как в деревнях, домики, сложенные из камня. На зданиях плакаты и лозунги, которые мы уже видели не раз в Картахене, Мурсии: «Но пасаран!», «Все на фронт!», «Смерть фашизму!», «Вива Руссия!»... Лишь только мы въехали в поселок, как навстречу нам высыпали дети, женщины, мужчины (откуда они узнали, что едем именно мы?). Вслед нам несло: «Вива Руссия!»

Такая же встреча в Канильехасе, в Ла Консепсион.

— Маноло! Не ты ли их предупредил, что мы поедем сегодня посмотреть Мадрид?

— Нет, камарадас! Вы еще плохо знаете мадридцев. Ни к кому не проявляют такого интереса, как к русским. Они узнали о вашем прибытии на Барахос в тот же час, когда вы опустились на аэродром. О! Камарадас! Извините, но вы мало наблюдательны. Неужели вы не замечали, что возле сграды аэродрома часто стоят группы людей? Вы думаете, что они интересуются самолетами? Они их видели немало. Барахос существует давно...

Въезжаем в город. Не знаю, как выглядели мадридские улицы до войны. Сейчас они поражают нас порядком, удивительным для города, живое тело которого разрублено фронтом. На некоторых зданиях заметны совсем свежие царапины, шербины от осколков: возможно, снаряд упал вчера или позавчера, но на мостовой никаких следов щепня. Уборщицы неторопливо подметают улицы, тщательно собирают мусор и уносят его куда-то в глубину дворов. Девушки с помощью мела и тряпок доводят до блеска оконные стекла, видимо нисколько не задумываясь над тем, что, может быть, через час эти стекла вылетят от взрывной волны.

Миновав проспект де Роида, едем по Алкала. Все чаще и чаще встречаются мужчины с винтовками за плечами. Широкая улица почти пустыня. В ноябре из города эвакуировались тысячи женщин, детей, стариков; мужчины воюют на разных фронтах. Только возле киосков с водой стоят небольшие очереди, да возле станций метро (оно пролегает как раз под де Энарес) сидят матери с детьми. Маноло утверждает, что некоторые из них сидят сутками: метро — прекрасное убежище от артобстрела.

Горячее дыхание фронта ощутимо здесь уже в полной мере. Машина огибает мадридский парк Эльрретиро.

— Парк закрыт для населения, — сообщает Маноло. — Впрочем, вас туда пустят.

Меж прекрасных каштанов поднимаются вверх дымки костров; у белоснежных мраморных статуй сидят солдаты; под сплошными зелеными сводами аллея стоят

автомшины, тягачи, пушки. До войны парк был любимым местом отдыха горожан. Сейчас не до отдыха: молчат запывлившиеся фонтаны; на газонах беспрепятственно пасутся кони; подстриженные кусты разлохматились новыми побегами. И только клумбы с многолетними цветами, как в мирные дни, благоухают стойким ароматом.

Это второй эшелон фронта, которому нередко достается не меньше, чем передовым частям. Там и сям темнеют воронки. Фашисты знают, чем стал сейчас мадридский парк, и бьют по нему часто, методично, основательно.

После всего увиденного здесь нас уже не покидает ощущение близости фронта. Проспектом Свободы мы подъезжаем к всемирно известному музею Эль Прадо. У входа стоят бойцы народной милиции.

— Музей закрыт, камарада!

Мы слышали это уже от Маноло. Но слишком велик соблазн пройти по залам этой редчайшей сокровищницы испанского и мирового искусства. Слова «русские летчики» действуют на милицию магически.

Входим — и ничего не видим. Ни одной картины. Лишь темные четырехугольники на стенах. Полы засыпаны землей (для предохранения от зажигательных бомб), из зала в зал вытаскиваются пожарные шланги. Картины — в подвале. Мы спускаемся туда. Полумрак. Тускло светят небольшие электрические лампочки. Длинными рядами, прислоненные одна к другой, стоят здесь более пяти тысяч картин. Тускло, безжизненно поблескивает бронза рам.

В грозные ноябрьские дни музей спасли жители — простые люди Мадрида, народ. Это они снесли все картины в подвал, забили нижние окна металлическими щитами, завалили их мешками с песком. Работа шла днем и ночью. Гудели над городом немецкие бомбардировщики. В одну из ночей здание Эль Прадо окружили световым кольцом тридцать четыре ракеты. Не может быть сомнения в том, что фашисты знали, куда они метят... Но к этому времени картины все до одной покинули свои места на стенах, а наиболее ценные были вывезены из города.

Народ защитил гениальные творения своих лучших сыновей.

Маноло рассказывает нам об этом, и в голосе его звучат и гордость и гнев.

Поднимаемся наверх. Высоко-высоко над нами разрушенный бомбой купол зала Веласкеса...

Бить их, беспощадно бить в мадридском небе!

Этого ждет от нас Мадрид. Он верит в нас. Мы еще ничего, в сущности, не сделали, а нас уже окружают вниманием, любовью.

...Пусть Мадрид верит: мы научимся воевать!

ЭТО БУДНИ...

В ночь на восьмое июля нам не пришлось спать. Только собрались лечь, как где-то поблизости разорвался артиллерийский снаряд. За ним второй, третий... Отдельные разрывы быстро слились в сплошной гул артиллерийской канонады.

Еще днем, пролетая над линией фронта, мы заметили на территории противника лихорадочное движение. Передавали, что фалангисты начали сильные атаки в секторе Карабанчель и в районе Эстремадурской дороги и подтягивают к Мадриду свежие силы.

Мы вышли на улицу. Земля вздрагивала от ударов крупнокалиберных снарядов. Над соседним кварталом взвились языки пожара. Мадрид проснулся. С сонными детьми на руках женщины спешили в убежища. На перекрестках — группы наспех одетых людей. Возле одного подъезда раздался вопль. Никто не бросился на помощь: поймали на месте преступления ракетчика из «пятой колонны». Высоко зарево встало над рабочими кварталами Куатро Каминос. Смыкаясь в вышине, свет отдельных пожаров озарил все небо над Мадридом. Словно подоженные, пламенели облака. А снаряды все летели и летели, со свистом распарывая воздух..

Обстрел продолжался до рассвета.

В третьем часу утра мы едем на аэродром.

— Слышали, что говорят жители? — обращается к нам Минаев. — С самого начала войны не помнят такого огня.

Приезжаем на аэродром и узнаем, что ночью поступил приказ: летчикам и механикам не отлучаться от стоянки ни на минуту.

Все ясно.

Хуан докладывает мне о состоянии самолета и тотчас же принимается что-то мастерить под крылом машины.

— Что ты делаешь, Хуан?

— Ложитесь спать, камарада Борес!

А сам, сам-то разве высыпается? Но говорить об этом Хуану бесполезно — только удивится: «Я механик. Разве можно сравнить мою усталость с вашей?»

Прилечь не удастся. Сигнал: «По самолетам!» — и через три минуты, набирая высоту, наша эскадрилья разворачивается в сторону фронта. И опять, как вчера, с головокружительной быстротой кружится над Мадридом несколько десятков самолетов. Перед глазами мелькают раскрашенные итальянские истребители. Все это уже быстро становится привычным. Вот внизу распускается парашют, под белым куполом беспомощно раскачивается маленькая фигурка вражеского летчика. Справа дымит горящий фашистский самолет. Саша Минаев, качнув крыльями, подает мне сигнал следовать за ним и устремляется вниз. Под нами фашистский самолет. Он резко бросается в сторону, стараясь уйти от опасности. Мгновение — и стучат Сашины пулеметы. Самолет неуклюже переворачивается, показывая свой пятнистый живот, и камнем валится вниз.

В это время я замечаю, что мы сражаемся не одни. На выручку нам подошла вторая республиканская эскадрилья на своих «курносых» — «чато». Дерутся они здорово, смело. Итальянцы, наседавшие на нас, когда у них было численное превосходство, теперь быстро стушеваются. Еще одна наша атака — и «фиаты» ретируются.

В это время от «курносых» отделяется один самолет и совсем близко пристраивается к нам. В самолете — Анатолий Серов. Улыбаясь, он машет нам рукой, показывает большой палец: хорошо, мол! — и, немного пролетев с нами, возвращается к своей группе.

Встреча в воздухе для летчиков всегда полна особого смысла. Эта же встреча особенно знаменательна: с Анатолием мы не виделись с тех пор, как расстались в Мурсни. Он летает с аэродрома Сото, расположенного в семнадцати километрах от нас. Расстояние пустынное, но мы живем в Мадриде, а Серов — возле самого аэродрома. Днем же часто нет и минуты свободного времени... Очень хорошо, что мы его увидели сегодня, точнее — он нас увидел. И неспроста он подлетел к нам: Толя не такой человек, чтобы попусту красоваться. Сегодня наши эскадрильи первый раз встретились в бою; помогли друг другу, и своим появлением Серов, видимо, решил напомнить: «Не забыли Мурсни, где обещали тесно взаимодействовать? Вот друзья и перешли от слов к делу, и видите, как хорошо мы поработали сегодня».

Короткая, минутная встреча, а разговоров о ней без конца. Прерывает их только очередной сигнал на вылет. На этот раз нам приказано сопровождать на фронт легкие бомбардировщики. Это не добровольческое, а кадровое авиационное подразделение. Интересно познакомиться с ними. Встретив испанцев в воздухе, мы покачиваем крыльями в знак приветия. Они отвечают нам тем же. С первых минут полета мы убеждаемся, что испанцы действуют в строю слаженно, четко. Несмотря на ураганный зенитный огонь, они блестяще выполняют поставленную задачу.

А уж храбрости и стойкости республиканцам не занимать!.. Мы возвращаемся. Один бомбардировщик, видимо, серьезно, очень серьезно подбит. Идет по воздуху, словно по ухабам, заваливаясь то в одну сторону, то в другую. «Наверное, нарушено управление», — думаем мы и кружим, кружим вокруг него, подбадривая и оберегая экипаж. Ясно, что до своего тылового аэродрома машине не дойти. Да, бомбардировщик снижается перед Барахосом. Совершает посадку и останавливается у самой границы аэродрома с выключенным мотором. Из самолета никто не выходит. Странно...

— А ну, Борис, — говорит мне Минаев, — скорее!

Несемся на противоположный край аэродрома и видим: летчик сидит в кабине бледный как полотно, а его стрелок, спустив голову на грудь, совсем не подает признаков жизни.

— Амиго, что случилось? — встревоженно спрашивает Минаев.

Летчик с трудом поворачивает голову и спрашивает:

— Хорошо ли бомбили?..

— Вы ранены?

— Да. Ответьте скорее, как мы бомбили?..

— Замечательно, амиго! — восклицает Саша, и мы с ним вскакиваем на плоскость самолета. Перед нами страшное зрелище. У летчика оторвана кисть левой руки (как только он довел машину?!). Стрелок обеими руками сжимает свой живот, распоротый осколком зенитного снаряда. Мы хотим помочь ему вылезть из кабины, но он собирает последние силы и вятно шепчет: «Не надо.. Я умираю.. Помогите летчику...»

...Тот, кто воевал, знает: трудно идти во вторую атаку и сохранить самообладание, когда только что видел смерть.

Но вновь над аэродромом взрывается ракета. И мы вновь держим курс к фронту.

С каждым часом на земле и в воздухе бои принимают все более ожесточенный характер. Ни днем, ни ночью не прекращается артиллерийский обстрел Мадрида. Особенно ожесточенно фашисты бьют по рабочим кварталам Куатро Каминос и по центру города. Подъезжая к площади Пуэрта дель Соль, мы часто видим, как жители подбирают раненых и убитых. В темноте тихо уносят их в квартиры. Ни плача, ни криков — привыкли...

Почти одновременно с нами на Центральный фронт прибыл батальон имени Чапаева. Это — замечательное подразделение. Его одинаково хорошо знают друзья и враги республики. Радио Саламанки захлебывается от ненависти при одном упоминании о чапаевском батальоне. Чудом, минуя тьму почтово-таможенных преград, к чапаевцам доходят восторженные письма из многих уголков земли.

Батальон организовался в Альбасете, в октябре 1936 года. В его состав вошли антифашисты двадцати одной страны. Каждый боец — это героическая биография. Люди, не раз томившиеся в фашистских застенках, опытные подпольщики, годами мечтавшие об открытой, с оружием в руках, борьбе с фашизмом, как о самом большом счастье в жизни!

И вот они встали в строй — слесари и горняки, поэты и ученые; немцы и итальянцы, французы и шведы.. Тогда среди них еще не было ни одного русского, но все бойцы с восторгом поддержали чье-то предложение присвоить интернациональному батальону имя русского героя Василия Чапаева.

Накануне своего первого боя под Теруэлем батальон разучил «Песню чапаевцев». Ее пели на мотив «Белая армия, черный барон». Автор этого гимна и боевого марша чапаевского батальона, немецкий поэт-антифашист Ульрих Фукс, погиб под Теруэлем. Слова песни стали святыми для чапаевцев.

По всей Испании о них ходят легенды. Прошло немного дней, как мы приехали сюда, а уже слышали и от авиамехаников и от жителей, как в феврале этого года (23 февраля — в день праздника Советской Армии) чапаевский батальон осуществил необычайный по дерзости маневр в горах Сиерра-Невада, отбил у фашистов семь деревень, в том числе самую высокогорную в Испании деревню Треволес, захватил много оружия и боеприпасов, освободил окруженных фашистами в горах, измученных, голодных и почти безоружных восемьсот республиканских бойцов. Все восемьсот тотчас же встали в строй.

И вот чапаевцы на нашем фронте. Сознание, что мы сражаемся бок о бок с ними, что, может быть, нам доведется поддержать их всегда стремительные атаки, наполняет сердце особым чувством гордости. Где они сейчас стоят?

Ответ на этот вопрос мы получаем вскоре от самих же чапаевцев. Утром к Минаеву вбегают часовой.

— Прибыл представитель чапаевского батальона! С листовками.

Минаев одергивает рубашку, приглаживает волосы. Выходит подтянутый, молодеватый. Неподдалеку от стоянки самолетов, возле грузовой машины, уже толпятся люди. В центре толпы высокий, сухощавый человек в гимнастерке, стянутой ремнем и портупеей. На пилотке — алая звездочка.

Минаев взволнован, чапаевец тоже: мнет правой рукой портупеею, и от этого она врезается в плечо.

— Я очень рад, очень рад,— говорит он, мешая русские, немецкие, испанские слова.— Я рад видеть людей из страны Ленина.

Он с силой вскидывает вверх кулак. На мгновение все замирают, отвечая гостю тем же интернациональным приветствием.

...Мы сидим на траве, и наш гость, с трудом подбирая слова, рассказывает о своем батальоне: с серьезной мужской печалью — о погибших; сдержанно, но с нескрываемым удовольствием — о героях батальона; с глубокой заинтересованностью спрашивает о нашей стране. Его мечта, как и мечта каждого зарубежного коммуниста, — увидеть Советский Союз. И не только увидеть — дожить, довоевать до той поры, когда и его страна встанет на наш путь, пойдет вслед за нами.

Покидает нас чапаец в полдень. Знойно. Земля онемела от жары. Он садится в машину. Машет нам рукой.

— Не забудьте: мы под Романильссом... А листовки лучше сбросить сегодня!..

Долго потом вспоминал я эту встречу. Часто вспоминаю о ней и сейчас. Мы не говорили тогда об интернационализме, о великом и нерушимом братстве людей труда и борьбы. Но именно тогда я по-настоящему понял силу этого братства, силу любви и участия друг к другу, связывающую воедино всех стремящихся к свободе.

Чем тяжелее бои, тем громче звучит клич Пассионарии, клич стойкости и мужества: «No pasaran!»

«No pasaran!» — и мы, один из отрядов республики, вылетаем на фронт по пять, шесть, а бывает, и по семь раз в день. Почти каждый вылет сопровождается воздушным боем. Бои нелегкие. Как правило, с превосходящими силами противника. Но мы все же их бьем так, как полагается. У Саши Минаева на боевом счету уже четыре сбитых фашистских самолета. Делает почин Панас Иванов. Петр Бутрым сбивает второй «фиат».

Больше всего нас донимает жара. С боевой обстановкой мы, пожалуй, сжились. Во всяком случае, нервное напряжение в бою заставляет забывать о многом. Но лишь только выходим из боя, южный зной, словно душевой ватой, окутывает все тело, едкие струйки пота стекают по спине. Не спасает и высота. На земле не утихают пожары. Тяжелый пороховой смрад, смешанный с дымом, поднимается вверх до трех тысяч метров. Гарь проникает в кабины самолетов. Дышать трудно. Раскаленный солнцем воздух сушит легкие.

От постоянной незатихающей жажды у многих летчиков потрескались губы. На стоянке уже не слышно прежнего шума, шуток.

Чем ближе вечер, тем сильнее усталость. И все же именно предвечерние часы являются самыми благословенными.

После каждого удачного боя мы строим пролетаем над Мадридом. Мы пролетаем над ним даже в тех случаях, когда можно дойти до аэродрома иным, более близким маршрутом. Такова традиция, и не мы ее установили: она возникла еще в первые дни сражений.

Говорят, еще до войны было два Мадрида: Мадрид улиц и «Мадрид крыш». На улицах сверкали зеркальные витрины магазинов, кафе, ресторанов, из открытых окон учреждений сыпалась дробь пишущих машинок, по размякшему от жары асфальту проносились автомашины. А на плоских крышах трепетало на ветру чиненое и перочиненное белье, млели в глиняных цветочных горшках розы. Здесь же играли дети, грелись старики и старухи, занятые каким-нибудь домашним делом. На крышах стучали молотки сапожников, жужжали старинные веретена, художники рисовали картины.

Когда начались бои, жизнь на крышах стала еще более разнообразной.

Для нас, летчиков, пролет над городом — всегда волнующее событие. «Мадрид крыш» ликует: авиаторы республики одержали еще одну победу! И это чувство ликования передается нам, отгоняет усталость. Иногда — да впрочем, не иногда, а довольно часто — мадридцы становятся свидетелями воздушного боя. В это время крыши Мадрида усеяны тысячами людей. Мы не слышим их голосов, хотя говорят, что на крышах творится нечто невообразимое, но мы твердо знаем: каждая наша удача будет с радостью пережита многочисленными друзьями, а неудача... Нет, неудачи не

должно быть! Неудаче будет рад «нижний Мадрид», притаившийся сейчас в щелях и злорадно торжествующий, если сводки сообщают об отходе республиканских войск.

В вечерние часы, приблизительно после семи, когда возвращаются со службы рабочие, ремесленники, на крышах Мадрида особенно многолюдно. И в эти часы мы стараемся пролетать на небольшой высоте. Тысячи грозно поднятых кулаков говорят нам о единстве народа и республиканской армии, о том, что с нами рабочий Мадрид. Улучив удобную минутку, мы высовываем из кабины руку и отвечаем Мадриду тем же антифашистским приветствием.

В эти дни мы навсегда привязались к своим механикам и, наверно, навсегда полюбили их. Нет ничего долговечнее, чем память о настоящей дружбе. Сколько было боев, не сочтешь, и многие из них казались забываемыми. А забылись, стерлись в памяти... Но зато живы и до сих пор согревают душу простые, незатейливые воспоминания. Кажется, что в них особенного?..

Вот я подруливаю к стоянке после какого-то очередного, четвертого или пятого вылета. Хуан уже спешит навстречу мне, протягивает глиняный кувшин, улыбается: «Пиво, холодное...» Пиво, да еще холодное! С жадностью делаю несколько глотков. Хуан ставит кувшин на землю и помогает мне вылезти из кабины. «Не надо, Хуан...» — говорю я. Он словно не слышит, отстегивает парашютные лямки и предлагает мне отдохнуть на аккуратно сложенных чехлах под огромным расписным зонтом.

— С какого пляжа ты привез такой зонт? — удивляюсь я.

— Здесь их на складе сколько хотите. До войны под этими зонтами отдыхали пассажиры, ожидая воздушного рейса.

— А пиво откуда взялось?

— Пока вы летали, я сбегал в буфет.

Несмотря на все уговоры, Хуан продолжает обращаться ко мне на вы, и тут уже, видимо, ничего не поделаешь. Дважды я пробовал пить с ним на брудершафт, и, как только мы выпивали, Хуан виновато смотрел на меня.

— Я пил за дружбу, камарада Борес, и, поверьте, буду неплохим вашим другом...

— Почему «поверьте»? Почему «вашим»?

— ...я буду неплохим другом, но позвольте мне все же обращаться к вам по-старому. Вы старше меня.

— Но мы же почти одногодки!

— Дело не в возрасте... Но наша компартия — младший брат вашей компартии. Мы учимся у вас...

Осмотрев самолет после очередного вылета, он присаживается рядом со мной. Вытирая замасленные руки, молчит. Молчит, но я чувствую, что он хочет о чем-то спросить и не решается. Обычно так бывает, когда самолет не совсем в порядке: расспрашивать и напоминать о тяжелом бое Хуан не любит. Он деликатен, и я сам спрашиваю его:

— Ты хорошо осмотрел самолет?

— Как всегда.

— Ну, что?

— Спереди, — неохотно говорит Хуан, — в капоте мотора четыре пробойны. Вы должны были видеть, кто стрелял по вашему самолету.

— Почему ты так думаешь?

— Судя по пробойнам, атака произошла на встречных курсах; к счастью, пули прошли только через капоты, не повредив мотора.

— Да, досталось крепко... — говорю я. — Зато противнику я всыпал еще крепче: летать больше не будет.

— Значит, это третий! — восклицает Хуан, и его лицо выражает одновременно и радость и обиду. — Почему же вы сразу не сказали мне об этом, камарада Борес?!

Хуан возмущен. Он смотрит мне прямо в глаза, и, право, я чувствую себя неловко под этим прямым, честным взглядом. Он прав. И я корю себя за невнимательность. Хуаном владеет не праздное любопытство: он такой же боец, как и я, и все наши победы — общие победы.

— Если бы можно было уходить в полет вместе с вами! — говорит он.

Чего не отдашь за такие слова, когда знаешь, что они искренни!

НЕНАПИСАННОЕ ПИСЬМО НА РОДИНУ

Лежу под плоскостью самолета, прячусь от солнца.

Возникает мысль написать друзьям: мы ведь уже две недели в Испании.

Рядом Хуан читает газету. Черная траурная шапка на первой полосе режет глаза: «Разрушение Альмерии! Новое злодеяние фашистов!»

Германские военные корабли подошли к мирному беззащитному городу... После первых выстрелов население пыталось спастись в окрестностях города... Снаряды настигали женщин, стариков, детей... В больницах не хватает мест... Медицинские работники вынуждены стлать матрацы для раненых прямо на улицах... До сих пор число жертв не поддается учету...

— Послушай,— говорю я Хуану,— дай мне. Я буду читать.

Перед глазами мелькают строчки: «Репетиция тотальной войны... Поголовное истребление мирных жителей...»

Я вспоминаю мощную демонстрацию протеста против этих издевательств над испанским народом.

Вчера нас вызвали на «Телефоника» — на главный наблюдательный пункт, чтобы мы уточнили с него линию фронта. Нам нужно было как можно быстрее вернуться на аэродром. Маноло гнал машину во всю мочь. Но, подъезжая к бульвару Кастаньяна, он вынужден был остановиться. Весь бульвар был запружен людьми. Мы остановили Маноло на перекрестке и пошли пешком. Здесь-то я и увидел демонстрацию республиканцев. Солдаты и рабочие, женщины и юноши шли по мостовой, взявшись за руки. Над колонной трепетали алые полотнища: «Смерть палачам Герники и Альмерии!», «Долой фашизм!» И, гулко ударяясь о стены зданий, гремела любимая песня Мадрида с решительным, как клятва, припевом: «No pasaran! No pasaran!» Солдаты пели ее, потрясая поднятыми вверх винтовками.

Проталкиваясь вперед, мы обгоняли демонстрантов. Нам хотелось увидеть, куда идут все эти толпы людей, кто их ведет. Наконец мы приблизились к голове колонны.

И тут мы впервые увидели Долорес Ибаррури. Высокая, статная, с откинутыми назад глянцево-черными волосами, она шла, твердо сжав губы. Рядом с ней легко шагал сухошавый, похожий на молодого рабочего Хозе Диас. В одной шеренге с ними шли члены ЦК Компартии Испании.

— Вива эль Партидо Коммуниста де Эспанья! — воскликнул кто-то.

И тотчас вновь возникли звуки боевой песни бойцов республиканской армии — песни защитников Мадрида. Долорес улыбнулась и протянула руку Диасу. И сразу же вся первая шеренга взялась за руки.

Шла партия, партия беззаветного мужества и революционной стойкости, единственная партия в Испании, безраздельно преданная республике, свободе, народу. Шла партия коммунистов.

И отовсюду, из близлежащих переулков и улиц, вливались в колонну, не нарушая ее мерного движения, все новые и новые отряды рабочих и работниц, служащих мадридских учреждений. Вместе с партией шел народ, выражая свою непреклонную верность республике.

Через полчаса мы поднимаемся по крутым лестницам «Телефоника» — самого высокого здания в городе. Пятнадцать этажей этого здания выстроены в стиле американских небоскребов: плоские стены — ни единого выступа. Но шестнадцатый и семнадцатый этажи образуют типично испанскую средневековую башенку. Небольшая в сравнении с пятнадцатитажным основанием, она выглядит, в общем, нелепо.

Стиль этого мадридского небоскреба не случаен. Его строили американцы. Телефонная станция, разместившаяся в пятнадцати этажах, и принадлежит какой-то американской компании. Американцы чувствуют себя здесь независимо: служащие компании сохраняют видимость «нейтралитета», но в Мадриде хорошо известно, что добрая половина акций американского общества принадлежит заокеанским друзьям и сторонникам Франко.

Не нравятся нам эти «пятнадцать этажей», здесь все чужое, здесь веет холодком предательства... Возможно, и даже наверное, в «Телефоника» гнездится немало шпионов. Нашли же они себе надежное убежище в иностранных миссиях!. Многим извест-

но, что группа франкистов, именующая себя «белой колонной», приютилась под крышами южноамериканских посольств. Люди, приезжающие из Барселоны, рассказывают, что тамошнее французское консульство фактически находится в руках фашистской «социальной партии» полковника де ла Рока. Сие «дипломатическое» представительство самым наглым образом переправляет во Францию провалившихся франкистских шпионов.

Распахиваем массивную дверь на площадке шестнадцатого этажа. Узкая железная лестница ведет на наблюдательный пункт. Сверху доносятся голоса. На самом верху есть круглая комната с узкими, как башенные бойницы, окнами; в них глядят стереотрубы. Это уже другой мир. На НП шумно. По очереди знакомимся с собравшимися здесь командирами наземных частей и подразделений.

— Вот они, виновники непредвиденной атаки в Университетском городке, — улыбается, глядя на нас, коренастый полковник с седыми волосами, четко оттеняющими смуглое лицо.

Мы недоумеваем: какая атака и при чем здесь мы? Полковник рассказывает о нашем вчерашнем воздушном бое. Он протекал над Университетским городком, над самой линией фронта. Воздушная схватка привлекла всеобщее внимание: на земле прекратилась стрельба. И вот мы сбили одного фашиста. Несколько минут над окопами бушевала орация. А когда на землю упал второй вражеский истребитель, пехотинцы, не дожидаясь команды, поднялись и ринулись в атаку. И отбили у марокканцев полквартала.

В разговор вступает человек, одетый в простую солдатскую гимнастерку. Он представляется:

— Комиссар интербригады. — Потом кивает в сторону полковника: — Наш сосед. Вчера, увидев их атаку, один наш батальон не выдержал и тоже пошел на штурм здания. Без предварительной подготовки, без артиллерийской поддержки. Отбили у марокканцев здание, отбили! Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Вам пришлось читать это воззвание?

Он достает из планшета аккуратно сложенный лист бумаги.

«Мы пришли из всех стран Европы, часто против желания наших правительств, но всегда с одобрения рабочих. В качестве их представителей мы приветствуем испанский народ из наших окопов, держа руки на пулеметах... Вперед, за свободу испанского народа! Двенадцатая интернациональная бригада рапортует о своем прибытии. Она сплочена и защитит ваш город так, как если бы это был родной город каждого из нас. Ваша честь — наша честь. Ваша борьба — наша борьба. Салуд, камарадас!»

— Замечательное воззвание, — говорим мы.

— О да! Мы написали его в ноябре, когда многие профашистские газеты за границей поспешили сообщить, что Франко уже вступил на белом коне на площадь Пуэрта дель Соль. Теперь нам легче: у нас есть опыт борьбы.

Разговаривая, мы подходим к окну. Просим показать нам, где проходит линия фронта в Университетском городке. От «Телефоника» до северо-западной окраины Мадрида, где расположен городок, около трех километров. Невооруженным глазом можно различить лишь наиболее крупные здания.

Долго глаз стереотрубы смотрит на Толедский мост. Возле этого моста, ведущего через Мансанарес в центр Мадрида, уже несколько месяцев кипят кровопролитные бои. Первой обороняла этот мост бригада Лукача — Мате Залка. С той поры защитники Мадрида считают высокой честью стать на охрану моста... Круто поворачиваясь, стереотруба останавливается на зеленой пуганице ветвей парка Каса дель Кампо. Здесь марокканцы ближе всего подошли к центру Мадрида. От «Телефоника» до парка не больше двух километров.

Часть парка Каса дель Кампо, Университетского городка, западный берег реки Мансанарес — вот все, что захватили мятежники. Здесь проходит линия фронта (заметьте, кстати, что защитники Мадрида держали врага на этой линии два с лишним года!).

Оторвавшись от стереотрубы, мы долго смотрим с высоты шестнадцатого этажа на Мадрид. Узкой синеватой лентой вьется по его западным и юго-западным окраинам Мансанарес. В сущности, совсем небольшая речушка, нечто вроде нашей Яузы,

чуть пошире ее. Но слава о ней гремит сейчас по всему свету. Ежедневно ее упоминают военные сводки, поэты слагают о ней песни. Мансанарес — рубеж, о который споткнулись фашисты. Защитники Мадрида поют:

Через Каса дель Кампо
И Мансанарес
Хотят пройти мавры...
Никто не пройдет!

К востоку от Мансанареса к центру города тянутся лучи улиц. Многие из них забаррикадированы мешками с песком. На зданиях колышутся красные флаги... Город прекрасен красотой солдата, вставшего на пути врага и уверенного в своих силах.

По знойной солнечной улице Алкала еще движутся демонстранты. Тише, не разговаривайте.. может быть, мы услышим их... Слышите?

До нас доносится песня демонстрантов.

— Наши поют... — тихо говорит полковник, положив руку на плечо Минаева.

Наши поют! Мы, русские, и они, испанцы, — одно целое. Ни границы, ни обычаи, ни язык — ничто и никогда не разъединит народов, если их влечет одна цель — свобода.

Вот о чем я напишу товарищам в Москву.

Через час на аэродроме вырываю листок из блокнота, достаю перо. Но в этот момент взлетает огненно-красная ракета.

Ветер, поднятый пропеллером, отбрасывает далеко в сторону и белый листок и взъерошенный блокнот!

Взлетаем прямо со стоянок, не теряя времени на выруливание.

НАШИ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Нас поселили в Бельяс Артэс. Это — одно из красивейших зданий Мадрида. До войны в нем размещался один из музеев Испании.

Здание огромное и безлюдное. Идешь по коридорам — ни души! Пустынно. Тихо. Когда в вестибюле с шумом закрывается тяжелая дубовая дверь, слышишь это на третьем этаже.

Единственная живая душа на весь дом — старичок швейцар. Но он до того дряхл, что, кажется, не покинул Бельяс Артэс лишь потому, что ему трудно было сойти вниз, на улицу.

Правда, нашу комнату кто-то прибирает, но кто — мы не знаем: уезжаем рано, а приезжаем поздно.

Однажды, возвратившись с аэродрома, увидели на кроватях свое белье — выстиранное, выглаженное и даже заштопанное. Что за фея заботится о нас?

— Могу узнать, — говорит всеведущий Маноло и тотчас же проворно исчезает.

Он возвращается минут через десять.

— Узнал?

— Маноло не узнал?! Компаньерос! Ха-ха-ха, за кого вы принимаете Маноло? Здесь осталось несколько уборщиц. Это славные люди, а старичок швейцар просто замечательный человек. Подумайте, он уже не помнит, сколько ему лет... А стирала вам пожилая женщина.

— Ей надо заплатит, Маноло, — говорим мы.

— Заплатить? Но она знает, кто вы!

— Ну и что же?

— Компаньерос! — восклицает Маноло, и густые ресницы его снисходительно опускаются — Вы еще очень плохо изучили мадридцев. У вас они не возьмут денег.

— Брось шутить, Маноло, — говорим мы. — Если тебе не трудно, лучше позови эту женщину.

— Пожалуй, ста...

Она входит — тихая, как тень, женщина в темном старом платье, в стоптанных башмаках. Из-под платка выбиваются пепельные пряди волос. Негромко произносит слова приветствия.

— Присаживайтесь, — говорит один из нас. — Мы хотели бы поблагодарить вас и заплатить вам за работу...

— Заплатить? — Слабый голос ее вдруг становится твердым. — Я ничего не возьму у вас! Разве вы могли бы взять деньги у людей, которые спасли от пожара ваш дом? Вы защищаете мой город. Вы солдаты. У меня сын тоже на фронте.

Говорит она так серьезно, что мы не решаемся ей противоречить.

— Спасибо! Большое спасибо вам за заботу, — говорим мы ей на прощание. — Пусть вам приснится сын...

Вскоре мы поняли, почему наш Маноло с таким воодушевлением отзывался о старике швейцаре.

Если говорить честно, то в первые дни пребывания в Бельяс Артэс мы почти не замечали его. Этот старичок казался как бы приросшим к своему месту. Высокий, ослабевший от старости, он неизменно сидел по утрам на своей табуретке возле массивной зеркальной двери. Но вечером табуретка часто пустовала — видимо, швейцар уже спал.

В огромном зале вестибюля был почему-то сооружен довольно большой бассейн. Возвращаясь с полетов, мы тотчас же раздевались и, не заходя в комнаты, начинали купаться.

Шумели мы во время купания на весь Бельяс Артэс и однажды, должно быть, разбудили старичка Заспанный, он вылез из своей каморки и подошел к краю бассейна. Посмотрел, улыбнулся. Стоять ему уже было трудно, да и отвык, наверное: он сходил за табуреткой, сел и стал внимательно наблюдать за нами. В это время Бутрым, не умевший плавать, рискнул ступить на глубокое место и чуть было не ушел под воду. Старичок испуганно вскрикнул, но Бутрым тотчас же ухватился за край бассейна. Старичок облегченно вздохнул и тонко, по-детски засмеялся.

На другой вечер, когда началось купание, он сразу же придвинул свою табуретку к воде. Пока мы плавали, с его лица не сходила улыбка.

Наверное, мы ему понравились. Может быть, он даже узнал кое-что о нас. Иначе нельзя было понять, почему он вдруг расстался со своим старым картузом, сменив его на республиканскую пилотку.

Теперь по утрам, когда мы выходили, он вставал и приветствовал нас, козыряя. К вечеру он уставал и козырял сидя.

Это было и забавно и трогательно. Но то, что мы узнали некоторое время спустя, показалось нам не только трогательным. Как-то вечером, проходя, как обычно, мимо швейцара, мы заметили: старик что-то бормочет. Первым услышал свое имя Бутрым.

— Слушайте! — тихо сказал он нам. — Честное слово, я отлично слышал слова «камарада Педро»!

На следующий вечер решили нарочно пройти мимо швейцара не всей группой разом, а поодиночке.

Вот вошел в вестибюль Панас. Старичок улыбнулся ему и едва слышно, почти про себя, прошептал: «Уно — камарада Панас». Следующим шел Минаев. Старичок немедленно отметил: «Дос — камарада Алехандро...»

Он пересчитывал нас!

— Как же мне не считать вас, — тихо сказал он в ответ на вопрос Бутрыма, — целый день вы там, в небе. А когда вы все приезжаете обратно, я могу спокойно уснуть.

Теперь утром и вечером, завидев нас, он, не таясь, сразу же приподнимает сухонький указательный палец и с явным удовольствием отсчитывает: «Уно — камарада Боррес, дос — камарада Педро, трес — камарада Алехандро...» Иногда мы думаем: что будет, если кто-нибудь из нас не вернется?..

ПАРТИЙНОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Минаев сказал, что, по его мнению, нужно срочно собрать партийное землячество.

— Неужели вы думаете, фортель Иванова — чепуха? На мой взгляд, он совершил антипартийный поступок. И недисциплинированность и потеря бдительности. Если хотите, он разболтал наши замыслы врагу! Нашел время воскрешать нравы Запорожской Сечи...

Произошло вот что: утром Минаев вызвал нас в свою комнату. Показал карту — рядом с красной линией фронта появился новый кружочек.

— По-моему, здесь находится фашистский аэродром, — сказал Саша. — Во время последнего боя я заметил, что «фиаты» уходили именно в этом направлении и там снижались. Скорее всего фашисты подтянули часть своих истребителей ближе к передовой.

— Я могу слетать сейчас на разведку, — тотчас же вызвался Панас.

— Разведка необходима, — сказал Минаев. — Но одному лететь рискованно. К тому же вылетать сейчас нецелесообразно. Подождем, когда солнце зайдет за горы. Тогда, до наступления полной темноты, можно будет успешно произвести разведку. Кстати, все самолеты противника возвратятся на аэродром, что значительно облегчит выполнение задачи. Я думаю так: Борис пойдет ведущим, а ты, Иванов, его прикроешь.

День был напряженный, но мы с Панасом урывками успели разработать план действий. Едва наступили сумерки и в воздух взвилась зеленая ракета — сигнал, означающий, что боевой день закончен, — как мы с Панасом снова взлетели и сразу же пошли к тому месту, которое указал нам Минаев. Благополучно пересекли линию фронта. Через четыре минуты я заметил впереди желтое пятно. Минаев не ошибся в своих предположениях. Это была небольшая площадка, на которой базировались итальянские фашистские истребители.

Чтобы точнее определить количество и тип вражеских самолетов, я решил подойти ближе к аэродрому. В воздухе, кроме нас, никого не было; без особого риска я спустился ниже, сделал последний разворот и, пролетев вдоль площадки на высоте двухсот метров, успел сосчитать пятнадцать «фиатов»...

Задача была выполнена, и на редкость легко: противник не ожидал нашего визита и не оказал никакого противодействия. Я уже взял курс на наш аэродром, но в это время Панас еще раз развернулся и снова пошел в сторону площадки. «Что он заметил?» — подумал я и последовал за самолетом товарища. И вдруг увидел: Панас идет в атаку. Это было очевидное самовольство. Цель нашего полета — только разведка. Уверен, что Минаев не одобрит наших действий: время на полет было рассчитано так, чтобы успеть вернуться засветло.

Но мне ничего не оставалось делать — я последовал за Панасом. Не подготовившись к атаке, я мог только прикрывать его.

Панас промахнулся. Видимо, раздосадованный неудачей, он вновь начал разворачиваться. Я сигнализировал ему: «Возвращайся на аэродром!» Тщетно! Он опять пошел в атаку. Снова пришлось присоединиться к нему.

Совместная атака оказалась удачной. Хотя противник и открыл сильный ответный огонь из пулеметов, один из «фиатов» вспыхнул ярким пламенем. «Хоть одно утешение!» — обрадовался я, думая о том, что теперь мы вернемся затемно и с посадкой нам придется туговато. Что, если поломаем машины? Ведь у республиканцев каждая на счету!

И тут я возмутился. Очумел он, что ли? Снова разворачивается в сторону аэродрома!.. На этот раз я не поддержал Панаса. Хватит! Это не героизм, а сумасбродство. Но и Панас не открыл огня. Снизившись, он только пролетел над аэродромом, и я заметил, как от его самолета отделился белый листок бумаги.

Уже совсем стемнело. Пришлось идти на предельной скорости.

— Ну, как дела? — волнуясь, спросил Минаев, лишь только мы приземлились, к счастью, без происшествий.

Я доложил, что аэродром противника нашли, обнаружили на нем пятнадцать самолетов и подожгли один «фиат».

— Вы очень долго были в полете, — заметил Минаев. — В такой поздний час надо было ограничиться только разведкой без атаки.

— Хотелось еще одного поджечь, — расплылся в улыбке Панас. — Да уж больно быстро темнеть стало, и я в третий раз зашел на площадку, чтобы сбросить записку.

— Какую записку? — насторожился Минаев.

— Да так, несколько слов. Я ее еще днем написал...

Панас замялся, предчувствуя грозу.

— Ничего плохого, Саша! «По нашему мнению, вы близко сели, фашистское отродье. Покая вы здесь не дождетесь». Вот и все.

Некоторые из присутствующих рассмеялись, но, заметив, что командир вовсе не расположен к веселью, разом утикли.

— Ты понимаешь, что ты наделал? — Минаев сжал кулаки.

Круто повернувшись, так, что скрипнул песок под каблуками, он быстро пошел к домику на аэродроме. Панас мгновение стоял, пораженный резкостью Минаева. Потом рванулся вперед...

— Саша! Подожди!.. Я объясню...

Минаев не оглянулся.

Собираемся в комнате Минаева. Партийное землячество — особая форма организации коммунистов. Она возникла здесь в интернациональном подразделении, где служат представители разных компартий. Общая партийная организация всей эскадрильи была бы чрезвычайно пестрой, разноязычной по составу.

Мы группируемся в землячество. Наше русское землячество невелико, оно состоит всего лишь из нескольких человек. Мы чувствуем, с каким вниманием и уважением смотрят на нас люди других стран: ведь мы — люди Советской страны. Здесь, в Испании, по нашим поступкам будут судить о нашем народе вообще. Это заставляет быть до предела требовательными к себе.

Вот почему нас особенно волнует поступок Панаса. Может быть, в ином месте, в иных условиях мы бы сочли его поведение легкомысленным, и только. Но здесь мы не можем быть снисходительными. И Панас это чувствует. Войдя в комнату, он не садится вместе со всеми. Стоит нелепо посреди комнаты.

— Садись! — отрывисто говорит ему Минаев.

Панас присаживается на край стула.

— Я считаю поведение товарища Иванова безобразным, — говорит Минаев. — Во-первых, в полете на разведку он грубо нарушил воинскую дисциплину. Я назначил его ведомым, а ведушим — Смирнова. Ведущий — командир пары, ведомый — подчиненный. Это истина для младенцев. Почему же Иванов начал действовать самостоятельно, не слушаясь своего командира?

Панас встает, порывается что-то сказать.

— Помолчи, — говорит ему Минаев. — Учись слушать правду до конца... Во-вторых, история с запиской. Глупая, мальчишеская история! Но, если употреблять точные слова, Иванов выдал наши замыслы врагу...

— Я?! — вскакивает Панас.

— Сиди! Ты коммунист и должен открыто, без истерики, смотреть в лицо фактам. Да, выдал... Здесь я могу сказать, что наше командование не случайно организовало разведку аэродрома сегодня. Завтра в район этого аэродрома должна вылететь эскадрилья наших легких бомбардировщиков. Это — твердое решение командования. Представляете, как их могут встретить после того, как Иванов своей запиской, по сути дела, предупредил фашистов о налете!

Мы молчим. Скверно. Совсем не смешная записочка... Панас сидит, глядя в одну точку.

— Кто хочет выступить? — спрашивает Минаев.

— Ясное дело! — говорит Бутрым. — Нечего рассуждать.

— Мы не можем наложить на товарища Иванова партийное взыскание, — продолжает Минаев. — Пока мы не возвратимся на Родину, взыскание все равно останется неутвержденным. Но в наших правах принять другое решение...

Панас рывком поднимается с места. Не знаю, что он хочет сказать. Все слова забыты перед угрозой позорного приговора.

— Только не это...

— Я тоже так думаю, — говорит Минаев. — Иванов — человек... исправный. Храбрый... Это я могу честно засвидетельствовать. Я думаю, ограничимся товарищеским внушением.

Бутрым облегченно вздыхает: «Правильно!» Панас растерянно смотрит на нас, еще не веря, что самая тяжелая кара миновала его. «Другое решение», о котором упо-

мянул Минаев, — это просьба землячества об откомандировании Иванова из интернациональной эскадрильи, это изгнание человека из круга друзей... Минаев не нашел в себе силы сказать об этом, но мы его хорошо поняли.

— Кажется, все, — говорит Минаев, распрямляясь. — Да, совсем забыл сказать: легких бомбардировщиков нужно будет навести на цель. Полетит Смирнов.

Панас вздрагивает от неожиданности. Бросается к Минаеву.

— Разрешите мне! Понимаешь, как мне это нужно? Прошу тебя! Бутрым! Петр, скажи им, что я должен лететь...

Бутрым кладет руку на плечо Панаса и поворачивает его к Минаеву.

— По-моему, Саша, можно доверить полет Иванову.

Минаев впервые за весь вечер улыбается.

— Хорошо!

Утром Панас просыпается раньше всех.

— Только не нервничай, — говорит ему Минаев, когда садимся в машину. — Держи себя в руках. Безрассудство, как трясина: оступившись, не возьмешь себя в руки — и будешь вязнуть все глубже.

На аэродроме Панас заправляет машину вместе с механиком.

Прикрываясь ладонью от солнца, мы провожаем самолет Панаса, пока он не скрывается вдаль.

— Хороший парень, — говорит Минаев. — Правда, взбалмошный. Но ничего — это пройдет...

И снова смотрит вдаль, хотя Панаса уже и след простыл.

К нам подходит его авиамеханик. Берет меня за рукав.

— Камарада Борес, когда должен вернуться Иванов?

— По-моему, минут через сорок, не раньше, — отвечаю я.

Механик смотрит на часы и сокрушается.

— Камарада Иванов улетел с бомбардировщиками один, а там могут быть фашистские истребители...

— Не беспокойся, дорогой, — говорю я ему. — Все будет в порядке. Командир договорился, что в тот же район вылетят «чато».

То, что я сообщаю механику, — правда. Но мы нарочно не сказали Панасу о «чато», не хотелось его разочаровывать. Вылетая, он был уверен, что пойдет с бомбардировщиками один. И один расплатится за свою вину, если придется расплачиваться...

Проходит сорок минут. Ветер доносит тонкое гудение мотора.

— Иванов! — восклицает механик, и мы видим под облаком темную движущуюся к аэродрому точку.

— Иванов! Наши хорошо пробомбили фашистов! — бурно радуется механик.

— Откуда ты знаешь такие подробности? — не без удивления спрашиваю испанца.

— Видите! — показывает он на истребитель, который, прежде чем идти на посадку, выдвигается в небо одну бочку за другой.

Судя по каскаду фигур, у Иванова превосходное настроение.

Через минуту, докладывая Минаеву о результатах полета, он сообщает, что к аэродрому противника республиканцы пришли вовремя: фашистские летчики запустили моторы, только-только собирались вылетать. Заметив республиканских бомбардировщиков, франкисты бросили свои самолеты и разбежались в разные стороны. После бомбометания на аэродроме горело пять «фиатов». На обратном пути встретилась группа вражеских истребителей, но тут подоспели «чато». Среди «чато» был самолет Анатолия Серова. Все республиканские бомбардировщики вернулись на свой аэродром. Иванов проводил их до места посадки.

— Хорошо, — говорит Минаев, выслушав доклад. — Хорошо, Панас!.

Для того чтобы читателю было понятно, почему вспыхнул, услышав эти слова Иванов, я должен напомнить, что его звали Николаем, а «Панас» было имя, которым он накануне в шутку подписал свою злополучную записку.

«Панас!» — с того памятного дня это имя навсегда прикрепляется к Иванову. Постепенно мы все реже и реже называем его Николаем и все чаще — Панасом. Мы забываем историю с запиской, и сам Иванов уже не видит ничего обидного в имени Панас. Честное слово, это имя почему-то гораздо больше к нему подходит. И когда че-

рез год мы приезжаем в Скоморохи, стучимся в квартиру матери Иванова и спрашиваем ее: «Панас дома?» — она без удивления отвечает нам: «Дома, дома, заходите...» А спустя еще полгода, когда мы хороним Панаса, героически погибшего при испытании самолета, я читаю на надгробном памятнике его настоящее имя, словно имя чужого, незнакомого человека: «Летчик-испытатель Николай Иванов».

Для меня он навсегда остался Панасом. Так я к нему обращался в последний раз... Вот почему и в этих своих воспоминаниях я с самого начала называю его Панасом.

Но вернемся к истории с запиской.

Вскоре после полета Панас подошел ко мне.

— Пойдем покурим, Борис. Ты все еще сердишься на меня?

— Нет, уже не сержусь.

Панас закурил. Было заметно, что ему хочется высказаться. Надо знать Панаса — это очень искренний человек.

— Скажу только тебе, Борис, — произнес он наконец, — причем под строгим секретом.

— Опять что-нибудь натворил? — невольно вскинулся я на него.

— Да, Борис! Но, даю слово, это уже действительно в последний раз! Я им еще одну записку сбросил.

Я остолбенел.

— Всего три слова: «Поздравляю с переселением на небеса».

Я посмотрел на Панаса и... расхохотался. Ну что с ним поделаешь! Позже он рассказал об этом Минаеву, тот и ругал Панаса и смеялся; в сущности, это — безобидное озорство.

ПРАЗДНИК

В полдень на аэродром привозят свежие газеты, журналы, письма. Мы с нетерпением ждем прибытия почты, хотя нам писем пока еще не шлют, а газеты и журналы — испанские: мы читаем их еще с трудом. Но желание узнать, что происходит на фронте, в мире, а главное, как живет наша Родина, так велико, что мы с жадностью разворачиваем и мадридские газеты.

И вдруг... Не ослышались ли мы? Наш почтарь веселым тенорком кричит нам, размахивая пачкой газет:

— Камарадас! Периодико русо! (Русские газеты!)

Что есть духу бежим навстречу почтальону. Никогда не думал, что можно так обрадоваться газете.. А впрочем, сейчас газета для нас — письмо издалска, из Советского Союза. Эх, а ведь трудно жить вдали от Родины!..

— «Правда!» — кричит Панас, потрясая номером газеты.

Волощенко осторожно, двумя пальцами, держит в руках «Огонек». Знакомый заголовочек «Известия» поглощает все внимание Бутрыма.

Кого благодарить? Кто так здорово придумал, прислав нам как раз те номера газет, о которых мы больше всего мечтали, — номера, посвященные перелету Чкалова и его друзей?!

Все разбрелись в разные стороны, чтобы никто не мешал читать.

Но чтение прерывает тревога. Взлетаем. День, видно, сегодня счастливый. Видим только «пятки» противника. При нашем приближении «фиаты» быстро сматываются за линию фронта.

Солнце, или, как мы говорим, «шарик», висит еще над Гвадаррамой, когда на востоке появляются темно-синие дождевые тучи. Они ползут тяжело, медленно охватывая небосклон. Погода хмурится. Лучшего сегодня и желать нельзя. Праздник так праздник! Авось зеленая ракета (сигнал об окончании летного дня) взвьется сегодня на часок-другой раньше захода солнца.

И это желание сбывается. Сегодня нам необыкновенно везет. Маноло открывает дверцу машины перед Минаевым.

— В город? — спрашивает, улыбаясь.

В город — это значит не сразу в Бельяс Артэс, а с заездом в кафе или кино. Такое удовольствие выпадает на нашу долю не часто.

В машине мы снова вытаскиваем из карманов аккуратно сложенные газеты. Маноло замечает это и везет нас осторожно, чтобы можно было спокойно читать.

Останавливаемся перед кафе «Алкала». Это около площади Пуэрта дель Соль. Бойкое место для такого заведения, однако нередко бывают дни, когда кафе пустует. Фашисты почему-то особенно усиленно обстреливают этот район. Хозяин вздыхает: действительно бойкое место — только и жди снаряда. Это отпугивает клиентов. Недавно большой осколок выбил стекло огромного окна, возле которого мы сидели. Посетители моментально бросились на улицу... Хозяин кафе уже привык к подобным передрягам: поднял осколок, положил его на поднос и, сокрушенно качая головой, удалился за стойку.

Что до нас, то мы заглядываем в «Алкала» по той причине, что от него рукой подать до Бельяс Артэс. Приглашаем с собой Маноло. Внезапно пропадает вся его живость. Он никак не может привыкнуть к тому, что мы относимся к нему по-товарищески не только в разговорах.

— Это неудобно, — смущается он. — Я простой шофер, и мне с вами не положено сидеть за одним столиком. Я лучше подожду в машине.

— Маноло, уже в третий раз говорю, что мы считаем тебя товарищем, помощником, а не слугой. — Минаев сердится. — У нас нет слуг. Долго засиживаться не будем, — предупреждает Минаев. — Бокал вина, чашка кофе — и хватит.

Чтобы скорее привыкнуть к необычной обстановке, наш водитель залпом выпивает большой бокал вина. И сразу же заинтересовывается соседями, сидящими рядом за столиком. Они часто поглядывают в нашу сторону и оживленно беседуют.

— Вы знаете, о ком они говорят? — шепчет Маноло Минаеву. — О вас. Они не подозревают, что я испанец. А я все слышу. Они говорят, что вы русские и что фашистские летчики вас боятся!

— Позволь, Маноло, ведь они нас видят впервые.

— Это неважно, — безапелляционно отвечает Маноло. — Добрая половина жителей Мадрида ежедневно наблюдает за вашими полетами. Слух о вас давно распространился по всему городу. Мадрид стал чувствовать себя спокойнее, когда в небе появились русские летчики.

Уже темнеет, когда мы выходим на улицу. Но возвращаться в Бельяс Артэс, пожалуй, рановато.

— Саша, может, зайдём в кино?..

Зашли и едва не испортили себе чудесно начавшийся вечер.

Шла американская картина под названием «Женщина-вампир». Женщина необычайной красоты усыпляла своих поклонников и высасывала из них кровь. Первым на четвертой части (а их было одиннадцать) не выдержал Бутрым: встал и бросился к выходу; за ним последовали все остальные. В фойе нас встретил хозяин и удивленно спросил:

— Почему вы так быстро, сеньоры? Неужели вам не понравился этот потрясающий фильм?

— Да, фильм действительно потрясающий, — вежливо ответил Бутрым.

До поздней ночи мы сидим, вновь читая и перечитывая советские газеты, рассматривая фотографии.

ДЕНЬ БОЛЬШОЙ ПОБЕДЫ

Минаев вернулся из штаба озабоченный.

— Все к моему КП. Есть серьезная новость.

Командный пункт у Минаева оборудован нехитро: возле своей стоянки он разбил палатку, в ней телефонный аппарат, дежурный, вот и все. Минаев считает, что КП у него расположен очень удобно: он всегда может взлететь первым.

Быстро собираемся возле палатки: всем в нее не вместиться.

— В последнем бою мы сбили двух итальянцев,— говорит Минаев.— Так вот эти молодчики сообщили: недавно на одном из совещаний Франко заявил, что в ближайшее время вся республиканская авиация будет разгромлена с помощью немецких истребителей новейшей конструкции. Заявление хвастливое. Но оно не случайное. Пленные фашистские летчики, правда, не знают летно-тактических данных нового немецкого самолета. Короче: есть сведения, что это машина с большими возможностями. Говорят, что на этих новых машинах будут летать только немецкие авиаторы, имеющие отличную подготовку и боевой опыт. Отборные летчики. Понимаете?

Мы уже могли убедиться, что Гитлер ничего не жалеет для Франко. К тому же ясно, что для немецкого фашизма Испания — полигон, где можно испытывать новые образцы оружия. Нужно серьезно готовить себя к встречам с более сильным противником, чем тот, с которым мы сейчас имеем дело.

— А что еще говорили в штабе? — спрашивает нетерпеливый Панас.

— Тебе мало? — усмехается Минаев. — Да, чуть не забыл — всем, всем вам горячий привет от Анатолия Серова.

Я всегда замечал, что люди, знавшие Серова, говорили о нем с искренним удовольствием. Даже человек меланхоличный, вялый оживлялся, вспоминая об Анатолии, словно в самом воспоминании о человеке мощной, редкой энергии была какая-то будоражащая сила.

Минаев рассказал нам, что Анатолий довел свой боевой счет до семи сбитых самолетов (это меньше чем за месяц!), что командование советует с ним по многим вопросам. Мы с некоторой опаской допытываемся, как Серов оценивает нашу боевую работу.

— Доволен,— коротко отвечает Минаев.— И больше всего доволен тем, что обе наши эскадрильи с каждым днем все лучше и лучше взаимодействуют друг с другом.

После такой оценки, кажется, и сам черт не страшен. Ведь лучшая похвала — похвала мастера...

Ладно, пусть только появятся эти новые немецкие машины...

Но они не появляются... Однако слухи о новых машинах не исчезают, напротив — множатся.словно яд, просачиваются они в Мадрид, в армию, кое-кто предрекает республиканской авиации «неминуемое поражение». «Пятая колонна» знает, как мутить умы...

Однажды, вернувшись с аэродрома, мы решаем заглянуть минут на двадцать— тридцать в кафе «Алкала». Приглашаем с собой Маноло. Не успеваем пройти и десяти шагов от Бельяс Артэс, как к Маноло подходит какой-то человек, что-то быстро говорит ему и, не дожидаясь ответа, исчезает в темноте.

— Кто это? — спрашивает Минаев.

— Я не знаю его, — пожимает плечами Маноло, — но, судя по его словам, это хороший человек. Он сказал, что русским товарищам рискованно ходить в такой поздний час, потому что по городу, пользуясь темнотой, шныряют фашисты.

Невольно нащупываю в кармане пиджака свой пистолет. Террористические убийства из-за угла в последнее время участились.

Вот и кафе. Почти все столики заняты — мужчины и женщины, штатские и военные, пожилые и молодые. Многие навеселе. Публика сегодня собралась довольно позорительная. Маноло то и дело настороженно оглядывается по сторонам.

— Обратите внимание вон на того геркулеса, что стоит недалеко от стойки,— говорит он.— Популярный мадридский тореро. Предпочитает драться на арене с быками...

— А почему его не заставят пойти на фронт?

— Видите ли, он считает себя человеком вне политики, человеком искусства. Открылся!

К тореро вразвалку подходит толстый, изрядно подвыпивший господин и с какой-то издевательской интонацией кричит: «Вива ла република!» Тореро оглушительно хохочет.

— Сошлись приятели...— говорит Маноло.— Это один из крупнейших владельцев парфюмерных магазинов. Днем торгует, вечером пьет... Темная личность.

— Значит, днем торговец, а вечером оратор?

— Можно сказать точнее: и днем и ночью замаскированный фашист.

Уходим из кафе с таким чувством, словно кто-то хладнокровно, расчетливо целится нам в спину...

После этого с удвоенным озлоблением ждем появления новых вражеских самолетов. Нам необходимо побыстрее определить способы ведения боя с новым противником, а главное, узнать, каковы летно-тактические возможности последних немецких истребителей. Нам важно во что бы то ни стало убить слухи, деморализующие население, остановить ползущий по Мадриду шепот «пораженцев».

И вот наступает восьмое июля.

Уже на рассвете этого дня наша эскадрилья была поднята по тревоге. Фашистские бомбардировщики проявили подозрительную прыть. Солнце еще не оторвалось от горизонта, а они уже попытались произвести налеты на некоторые республиканские аэродромы.

Мы отогнали их. Но активность вражеской авиации заставила насторожиться. Приземлившись, мы не вылезли из кабин. И правильно: едва механики кончили заправку баков, как над аэродромом с шорохом взлетела вторая сигнальная ракета.

В двенадцатом часу дня был дан третий по счету сигнал на вылет. Мы начали догадываться: нас изматывают... На этот раз линию фронта перелетела большая группа «фиатов».

Десять истребителей во главе с Анатолием Серовым вылетели немного раньше нас. Как рассказывали потом жители Мадрида, их поразило необычное поведение «фиатов», которые первыми бросились на республиканские самолеты. Непонятная храбрость фашистов удивила и серовцев. Правда, «фиатов» было в два раза больше, но ведь прежде при таком же соотношении сил они обычно не спешили завязывать бой.

Группа Анатолия Серова, как всегда, вела бой на пределе своих сил и мастерства. Приближаясь к центру Мадрида, я заметил горящий фашистский самолет, в стороне от него — второй. Несмотря на этот урон, «фиаты» не отступали. По-прежнему обладая большим численным превосходством, они начали теснить республиканцев. Воздушный бой постепенно перемещался к центру города.

Мы подоспели вовремя. Видимо, еще издали заметив нас, серовцы с новой силой обрушились на фашистов. В кипении атак забелело еще одно парашютное облачко.

Миняев развернулся и дал сигнал «Подготовиться к бою!». Несколько секунд — и мы схватились с «фиатами». Теперь силы были почти равными. При таком соотношении итальянцы раньше бросались сразу врассыпную. Сейчас происходило что-то невероятное. Мы били их, а они продолжали остервенело лезть на нас. Им удалось сбить один республиканский самолет.

«Что происходит сегодня с фашистами? Откуда такая смелость?» — подумал я, и, как бы в ответ, в синей высоте холодно блеснули серебряные крылья незнакомых самолетов.

Они!.. Восьмерка... Восьмерка самолетов новой конструкции уверенно шла в плотном строю «клин». Все стало ясно... Словно занесенный над нами кинжал, серебряные монопланы молниеносно развернулись и стремительно, вытянувшись цепочкой, пошли в пики... Чистый маневр, отличная слаженность. Ничего не скажешь...

Говорят, что в эту минуту замер весь Мадрид, наблюдавший за воздушным боем. Монопланы отвлекли не только наше внимание: «фиаты», видимо уже торжествуя победу, прекратили атаки.

И это была первая ошибка фашистов.

Немцы допустили и вторую ошибку. Они, очевидно, хорошо знали, что «чато», на которых летали серовцы, — машины маневренные, но с меньшей скоростью на пикировании, чем все остальные самолеты. Может быть, им было известно также, что нашими «чато» управляют летчики, не знавшие поражений, и им не терпелось в первую очередь разделаться именно с ними. Во всяком случае, они самонадеянно всем строем обрушились на эскадрилью Серова. И это позволило нам свободно ударить по немцам.

Удар был сильным. Строй немцев раскололся. В первую же минуту острой схватки Бутрыму удалось зажать одного гитлеровца. Тот попытался уйти от Бутрыма глубоко-

ким виражом, но Петр смело по диагонали срезал расстояние и ударил фашиста из двух пулеметов. Бил он наверняка, целясь прямо в легчика. И новенький лакированный моноплан, которому фашисты пророчили верную победу, неуклюже повалился вниз. В мадридском небе ему удалось побывать несколько минут.

Это был переломный момент боя. «Фиаты» заметались. Теряя самообладание, гитлеровцы скопом ринулись на нашу эскадрилью. Но это освободило руки Серову. Пользуясь его поддержкой, мы не упустили инициативы. Удачно поймав в перекрестие прицепа немецкую машину, я ударил по ней. Самолет не загорелся, но, по-видимому, мне удалось вывести из строя управление машиной, и фашистский летчик вынужден был выбраться с парашютом.

Итальянцы первыми стали уходить на свою территорию. Немцы перешли от наступательного маневра к оборонительному, отходя все дальше от центра города. И бросились наконец наутек.

Мы не преследовали их. Мы здорово устали. Я впервые заметил, что у меня дрожат руки.

По традиции мы собрались над центром Мадрида. И, разлетаясь по своим аэродромам, на прощание покачали крыльями своих самолетов. С особой силой эти безмолвные сигналы несли сегодня от одной машины к другой наши чувства дружбы, взаимной благодарности и гордости друг за друга. Только одно омрачало радость: жив ли тот из наших товарищей, что вышел сегодня из воздушного боя на горящем самолете?

Лишь только расстались с эскадрилей Серова, усталость дала себя знать с новой силой. Мучила жажда: язык во рту шершавый, горячий. Обрадовался, что можно воспользоваться приспособлением Хуана. На днях он смонтировал в кабине самолета термос с трубкой. Беру в рот костяной наконечник трубки и заранее предвкушаю удовольствие от холодного пива. Тяну в себя. Что такое? Густое, теплое молоко!

Рядом со мной летит Панас. Гляжу в его сторону: наверное, его проделка, чья же еще? Панас ухмыляется. Эх, Панас, Панас, кто и когда тебя исправит!

Мельком замечаю: за нами со снижением идет «чато». Кто это? Не Серов ли?

Ну, конечно, он! «Чато» приземляется вслед за мной. Оборачиваюсь и вижу, как, заруливая, Анатолий широко улыбается. Через минуту я уже «похрустываю» в его объятиях. Бутрым с опаской доверяется железным объятиям Толи.

Весь аэродром в волнении. Мы еще не знаем, что за нашим боем наблюдали десятки тысяч людей, что в Университетском городке воодушевленные нашим успехом республиканцы, не дожидаясь приказа, снова поднялись из окопов и пошли в атаку.

Нас окружают не только механики, не только солдаты охраны, а весь обслуживающий персонал аэродрома.

А в центре нашей группы летчиков и авиамехаников — Анатолий. Все наперебой спрашивают: кого подожгли итальянцы?

Анатолий называет нам фамилию испанского летчика.

— Уже третий раз поджигают его. Отчаянный парень! Несгораемый! Думаю, все будет в порядке. Горел-то не бензобак, а обшивка правого крыла.

У Серова замечательное, неоценимое качество, которым владеет далеко не каждый летчик: ему удается видеть почти все, что происходит в воздушном бою. И меня и Бутрыма, например, удивляет, откуда, собственно, Анатолий знает, что именно мы сбили немцев.

Серов отвечает просто:

— А что вы нашли удивительного? Я же почти каждый день встречаюсь с вами в воздухе. Нетрудно запомнить, на каком самолете летает каждый из вас. Вот, например, у Саша Минаева хвостовой номер двойка, у тебя, Борис, — пятерка, у Петра — шестерка... А тебе, Панас, кстати сказать, один «фиат» здорово всыпал снизу.

— Откуда ты мог заметить это, если я сам ничего не видел?..

— Пойди и посмотри свой самолет.

Идти Панасу не приходится. К нам прорывается его механик с изодранным парашютом в руках. В складках белого шелка торчат несколько осколков крупнокалиберных разрывных пуль.

И, как это часто бывает с Серовым, он круто поворачивает разговор в новое русло.

— Как вы думаете, прилетят они сегодня еще раз или нет? По-моему, нет. Мы им высыпали так, что дай бог если опомнятся к вечеру... Но все-таки стоит быть настороже. Какие выводы? Нам на «чато» драться с новыми машинами гораздо труднее, чем вам на своих самолетах. При новых встречах вам надо связывать боем немцев, а с итальянцами мы как-нибудь сами справимся.

Неожиданно Серов снова меняет тон, усмехаясь:

— Вообще говоря, если вы и подбросите в мою сторону одного из этих немецких пилотов, я в обиде не буду.

Он быстро жмет руки всем, кто стоит возле него, и круг размыкается.

— Ладно, ребята. Еще наговоримся. Спешу к своим. Будьте здоровы. До встречи в воздухе!

Фашисты в этот день уже больше не появляются. День нашей большой победы оказывается в какой-то мере днем отдыха. К вечеру над Гвадаррамой сгущаются тучи, свежий предгрозовый ветер выдувает с аэродрома застоявшуюся духоту — раздражается сильный, проливной дождь. Сняв одежду, в одних трусах, мы сечем руками прямые, словно натянутые между небом и землей струи дождя, смеемся, прыгаем, как мальчишки, освобождаясь от усталости.

А вечером Маноло везет нас в город. Кажется, уже третий раз за день он рассказывает нам, что сегодня улицы Мадрида были переполнены народом, многие залезли на крыши. Все стояли, будто загнипнотизированные. Двух итальянцев-летчиков, спустившихся на парашютах прямо на улицы, схватили, и, честное слово, Маноло не знает, что бы с ними стало, если бы не вмешались подоспевшие патрули.

— Мы уже слышали об этом, Маноло.

— Неважно, что вы слышали, — отвечает Маноло. — О хорошем можно говорить много раз — и хорошее не станет от этого плохим. Слушайте, что было дальше. Когда появились новые белые самолеты, толпа закричала: «Немцы! Немцы!» На миг показалось, что перевес на стороне фашистов. О! Это было страшно. Но вдруг один немецкий самолет повалился на землю, за ним и другой! Если бы вы видели, камарадас, что творилось в этот момент на улицах. В воздух летели береты, шляпы, пачки сигарет, спички — все, все, что попадалось под руку!

Вдруг Маноло круто тормозит: на перекрестке дежурный патруль. Маноло открывает дверцу.

— Авиадор русо, — говорит он, кивая головой в нашу сторону.

Старший патруля — офицер — восклицает: «О-о-о!» — и с любопытством заглядывает через опущенное стекло внутрь машины. Увидев нас, расплывается в улыбке.

— Спасибо, товарищи, за сегодняшний день! Можете следовать.частливого пути!

В кафе, куда мы завернули по дороге домой, к нам подходит пожилой испанец с серебряной проседью в волосах, с глазами редкого у испанцев цвета — голубого. Почтительно останавливается в некотором отдалении от нашего столика, просит извинения и стоя обращается к нам:

— Сеньёрес... камарадас... простите, не знаю, как к вам обратиться...

Мы приглашаем его сесть за стол. Мгновение он колеблется, но тотчас, тряхнув головой, садится.

— Наблюдая сегодня за боем, — медленно говорит он, — я подумал, что так смело сражаться с фашистами могут только люди, защищающие свою землю. Но мне сказали, что немцев бьют русские. Я не поверил вначале. Русские?.. Зачем им нужно жертвовать собой? Их земля далеко. Простите, я никак не могу понять: что заставляет вас биться на смерть, рисковать жизнью?

Мы молчим: что ответить этому человеку? Ведь и просто и трудно ответить!..

Минаев мягко кладет руку на плечо испанцу.

— Видите ли, — говорит Саша, — мы интернационалисты. Мы за свободу всех народов и против всякого рабства и угнетения. Такими нас воспитала наша Коммунистическая партия.

— Вы, молодой человек, говорите загадками, — улыбается испанец.

Саша отпивает глоток лимонной воды и внимательно смотрит на собеседника.

А тот устремил свой взгляд куда-то в пространство и молчит. Вдруг мы замечаем в глазах испанца слезы.

— Понимаю вас, теперь я понимаю... — волнуясь, говорит он. — Разрешите пожелать вам большого счастья. Пожелать вам жизни!

И, крепко пожав нам руки, не оборачиваясь, быстро выходит из кафе.

— Это один из лучших наших музыкантов, — говорит Маноло. — Он сочиняет музыку к народным испанским песням. И еще я слышал, будто его сын недавно погиб в Астурии, сражаясь в рядах республиканцев.

...Когда мы подъезжаем к Бельяс Артэс, Бутрым спрашивает Минаева:

— Ты не знаешь марки новых немецких монопланов?

— Знаю, — говорит Минаев, — «мессершмитты»..

— «Мессершмитты»?

Мы еще не предполагаем, что вскоре это слово станет одним из самых зловещих на всех языках Европы.

На другой день стало ясно, почему «мессершмитты» появились над городом именно восьмого июля.

Почти три месяца после победной Гвадалахарской операции фронт был в основном стабильным. Напряженные бои шли только в воздухе. На земле было сравнительно спокойно. На многих участках передней линии бойцы сумели даже благоустроить окопы: выстлали дно траншей каменными плитками, досками, соорудили парусиновые тенты от солнца.

Конечно, это никого не вводило в заблуждение. Было хорошо известно, что фашисты производят перегруппировку своих сил, вводят в Испанию новые, свежие части, готовят новые удары.

Республика предупредила эти удары, начав пятого июля Брунетскую операцию. Брунете — городок на фланге Мадридского фронта, маленький, но имеющий серьезное значение: это ключевая позиция, с которой фашисты могли начать фланговый обход Мадрида. Удар республиканцев был неожиданным. В первые же дни наступления им удалось подойти к Брунете, ворваться в город и завязать уличные бои. Фашистское командование вынуждено было спешно подтянуть к Центральному фронту резервные части. Слишком еще свежа была в памяти Гвадалахара.

С определенной целью — деморализовать авиацию республиканцев — на Мадрид были брошены отряды «мессершмиттов».

День нашей большой победы явился вместе с тем днем боевого успеха и наших товарищей из батальона имени Чапаева. После первой встречи мы еще ни разу не видели комиссара батальона, но не забыли его слов: «Помните, Романильос!»

Мы точно узнали, где расположены чапаевцы: перед высотами, закрывающими небольшой населенный пункт Романильос. Пролетая над передним краем, мы не раз приветно покачивали крыльями и видели, как солдаты в окопах потрясают в ответ винтовками.

Не встречаясь, мы стали друзьями. Нас интересовало все, что происходит под Романильосом. В сводках мы в первую очередь искали это слово. Но сводки упоминали его редко.

И вдруг утром девятого... «Штурм высот под Романильосом»!

Снова и снова перечитываем сообщение с фронта. Под Романильосом завязалось серьезное дело: жестокие бои с применением всей имеющейся у каждой из сторон техники. Читаем: «В результате многочасового боя высоты взяты республиканцами». Чапаевцами!

— Когда это было? — спрашивает кто-то.

— Вчера! Понимаешь, вчера!

— Может быть, когда мы били «мессершмиттов»?

— Может быть. Вполне!

Газета переходит из рук в руки. Хочется, чтобы именно сейчас был дан сигнал на вылет и чтобы командование направило нас именно туда — в район, где «батальон двадцати одной нации» идет вперед по бурым кастильским высотам.

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА

Вот и минул ровно месяц с того дня, как мы прилетели в Мадрид. Можно подвести первые итоги.

Серьезный месяц, что и говорить! Изю дня в день, с рассвета до заката, мы или ждали боя (реже), или сражались (чаще). А летом такие длинные дни и такие короткие ночи! Сто двадцать раз наша эскадрилья поднималась в воздух и уходила на фронт, и сто двадцать раз мы возвращались с победой, не имея за это время ни одной потери. Небо Мадрида по-прежнему принадлежало республиканцам.

Был какой-то удивительно приятный предутренний воздух, свежий, бодрящий. Торжественно пересчитал нас старый швейцар: «Уно, дос, трес... Счастливого пути, сеньор Алехандро... Дай бог вам счастья, сеньор Педро...» Мягко, словно по воде, катил нас на аэродром Маноло, и впервые не хотелось досыпать в машине. Нежная, лимонная заря обнимала Мадрид, и витрины магазинов казались перламутровыми от росы.

Празднично начинался этот день. Если бы мы только знали, как он кончится!..

В полдень был дан сигнал на вылет: к линии фронта под прикрытием тридцати «фиатов» шла волна вражеских бомбардировщиков.

Минаев приказал моему звену действовать по бомбардировщикам, а сам с двумя звеньями врезался в группу истребителей. С первых минут воздушный бой принял угрожающий для нас характер. На каждого нашего летчика приходилось по три-четыре истребителя противника. Они теснили нас со всех сторон. В конце концов противнику удалось разрознить эскадрилью.

Впервые минаевцы дрались в одиночку, еле успевая стряхивать с себя наседающих «фиатов».

И вдруг — надежда! — сразу два «фиата» вспыхнули ярким пламенем, через мгновение взорвался третий. Мне почудилось, что я слышу, как со свистом посыпались вниз горящие обломки.

Серов! Это он с шестеркой своих «курносых» подоспел в самый критический момент. Он с такой силой и неожиданностью ворвался в бой, расшвыривая облепивших нас фашистов, что те, не сообразив, в чем дело, бросились врассыпную.

Мы с Бутрым вышли из боя последними.

Каждый раз, когда приходилось садиться последним, я не мог отделаться от безотчетной тревоги, заставлявшей проверять количество приземлившихся самолетов. Такова участь замыкающего, он знает, что после него уж едва ли кто-нибудь совершит посадку. А на земле иногда ждут не только его...

И вот снова, прежде чем приземлиться, я осматриваю сверху весь аэродром. Не хватает одного самолета. Пустая стоянка... Сашина стоянка?! Не может быть! Наверное, он летит сзади нас...

Я разворачиваю машину и осматриваю воздушное пространство. Ослепительно ясное небо. Ни облачка.

В каком-то оцепенении, механически повторяя эволюции Бутрыма, иду на посадку. Навстречу нам бегут летчики, механики.

Они останавливаются перед самолетами и ни о чем не спрашивают нас. С опущенной головой подходит Панас. Я вижу его бледное, землистое лицо. Спрашиваю:

— Скажи, что случилось с Сашей?

— Я сделал все, что мог. Я старался до последней возможности держаться рядом с ним. Вначале мне это удавалось. Потом Саша стремительно пошел вверх за одним из «фиатов». Тут я отстал... и потерял его... совсем...

— Восемь минут, — нервно говорит Бутрым, глядя на часы. — Мы вылетели в час сорок. Сейчас... Да, еще есть в запасе восемь минут. Может, он прилетит?..

Снова вспыхивает надежда. Целых восемь минут! Как мы могли поверить в гибель Саши, когда еще впереди столько времени! Тишина. Слышно дыхание людей. Напряженно прислушиваясь к небу, механик Минаева инстинктивно отодвигается от толпы.

Тишина. Мертвая, равнодушная, проклятая тишина!

— Все! — говорит Бутрым и отводит взгляд от часов.

Нет, не все! Еще тлеет искра надежды. Может быть, Саша где-нибудь поблизости произвел вынужденную посадку? Бежим к телефону, к его же, Сашиному, командирскому телефону. Звоним по всем соседним аэродромам. Отовсюду один ответ: «Нет, не садился...»

И вдруг резкое дребезжание звонка. «Барахос?.. Да, Барахос... Барахос, слушай, Барахос, возле нас упал ваш самолет. У летчика найдены документы. Его зовут Александро. Александро Минаев. Грудь летчика пробита навывлет тремя пулями. Барахос, ты слышишь меня, Барахос...»

Замер механик Минаева. Стиснув ладонями щеки, отвернулся в сторону Бутрым. Куда-то вбок, спотыкаясь, пошел Панас. И только Волощенко как стоял, так и остался стоять, глядя в землю полными слез глазами...

Страшно, товарищи, очень страшно, когда беззвучно плачут мужчины.

Снова телефонный звонок. Я машинально поднимаю трубку. Из штаба передают боевое распоряжение: всей эскадрилье немедленно вылететь в район Брунете с целью прикрытия наземных войск.

Возле телефона столпились летчики. Кто там еще говорит и что? Я быстро сообщил поставленную задачу и вместе со всеми бегом бросился к самолету. На полпути внезапно остановился.

«Кто же теперь поведет эскадрилью на фронт?»

Панас и Петр, бежавшие рядом, тоже остановились. Я растерянно посмотрел на них. Петр угадал мою мысль.

— Мы с Панасом пристроимся к тебе, Борис, — сказал он, — и пойдем ведущими, остальные звенья пристроятся к нам.

Панас в знак согласия кивнул головой.

Хуан уже запустил мотор и держал наготове мой парашют. Стремительно подбежал к самолету Антонио — механик Минаева.

— Камарада Борес! Камарада Борес! Отомстите за Александро!

Впервые среди нас не было в боевом полете Саши. Мы летели по проложенному им пути. Вот здесь он сбил первый самолет. Здесь выручил в трудный момент Панаса, а вот там мы провели с ним один из своих славных боев.

«Камарада Борес! Отомстите за Александро!»

Мелькают, отлетая назад, крыши Мадрида. Дачи, виноградники, огороды. Уже виднеется черепица Брунете. На земле идет ожесточенный бой. Чтобы отвлечь наши силы от Брунете, франкисты начали наступление под Сеговией, контратакуют в районе Вильянуэвы. Еще вчера мы узнали, что на фронт прибыли свежие марокканские части. Делаем круг над полем боя. Ждать приходится недолго. Опять «фиаты»! Ну что ж!

Врезаемся в строй фашистов стремительно и легко. С первой же атаки кто-то кажется Панас, поджигает «фиат». Молодец! Сегодня ему во что бы то ни стало нужно сбить самолет — отомстить за своего ведущего. Иначе не успокоить совесть... Еще один самолет рушится вниз. Фашисты не выдерживают и, вырываясь из боя, уходят поодиночке.

Чем сильнее натиск врага, тем упорнее сопротивление республиканцев. Это бесит фашистов. Победа, которая казалась им близкой осенью 1936 года, отодвигается все дальше и дальше. Мальчишки поют на улицах Мадрида:

Белая кобыла генерала Мола застоялась в конюшне,
Ей не увидеть нашу площадь Пуэрта дель Соль.

Пытаясь сломить волю народа, франкисты идут на откровенный массовый террор. ...Я помню, как, привалившись к шасси самолета, тихо заплакал авиамеханик, прочитав в газете о том, что в Бадахосе фашисты расстреляли всех, у кого на руках были мозоли. Механик плакал, а мы стояли поодаль, и у нас ныли кулаки от обиды, что нельзя сегодня же, сейчас же найти именно тех, кто в Бадахосе, согнав на арену цирка полторы тысячи человек, скопил всех до одного пулеметными очередями, — найти эту сволочь и не одной очередью, а десятками очередей уничтожить. Немедленно. Не задумываясь. Я помню, как спустя два года в жаркой монгольской степи мы

нашли однажды труп советского летчика, нашего товарища... Руки и ноги его были скручены колючей проволокой. Мы представили себе живого человека, нарочно оставленного в степи японцами на долгую и мучительную смерть,— и тогда нам тоже было очень нелегко сдержаться, чтобы не броситься тотчас же к самолетам.

Вечером того же дня Маноло, как обычно, везет нас к Бельяс Артэс. Но сегодня он молчит, всю дорогу молчит.

Мы выходим из машины... и останавливаемся. Что мы скажем нашему старику швейцару? Сейчас вот, через полминуты, он спросит нас: «Где он? Где вы его потеряли?»

Медленно входим в вестибюль.

— Уно — камарада Борес (улыбка)... Дос — камарада Педро (улыбка)... Трес — камарада Панас... А где... где камарада Алехандро?

— Дедушка! — забыв все испанские слова, по-русски говорит Бутрым. — Погиб Александр... Понимаешь, дед?

Швейцар смотрит на нас, быстро мигая выцветшими ресницами, и вдруг, сморщившись и покачивая головой, опускается на свою скамеечку.

Мы медленно идем в свою комнату.

Нечего делать. Абсолютно нечего делать, не о чем говорить... И нет сна. Стук в дверь. Голос: «Здесь?» Широко раскрыв дверь, входит Серов.

— Ну, что? — И останавливается у порога.

Мы не ожидали его появления.

Он подходит к каждому из нас и крепко жмет руки.

— Еле разыскал вас. Вот это жилище! Но пусто очень, тихо. Идешь по коридору — и слышишь только самого себя...

Слова Серова звучат странно, как-то некстати, и, наверное, именно поэтому действуют на нас отрезвляющим образом. Панас оживает и не сводит с Анатолия взгляда. Бутрым, потянувшись за папироской, забывает ее закурить.

Положив руки на стол и глядя прямо в глаза каждому, Серов говорит:

— Плохо, ребята, получилось. И вы виноваты. Вы все виноваты. Плохо взаимодействуете! Вот урок — страшный урок... Какого летчика не стало! О нем песни будут петь здесь, в Испании!..

Никто не отводит глаз под тяжелым взглядом Серова. Анатолий откидывается назад на стуле, упираясь руками в край стола.

— Самое главное: будем их бить. А за Сашу Минаева — в три раза крепче! Только не зазнаваться. Не думать, что одни мы можем сбивать самолеты. И они могут. И еще как, если мы будем действовать разрозненно, недружно.

Он встает из-за стола и начинает рассказывать по комнате. Он рассказывает нам о своих тактических новинках и замыслах, тут же объясняя, как он их осуществит. И ему удается сломить наше подавленное настроение, заставить думать о будущем. Я замечаю, как Бутрым, отойдя в сторону, что-то чертит на бумажке, готовясь к спору.

Но Анатолий спохватывается.

— Ого! Времени-то сколько уже! Ну, мне надо гнать обратно.

Он останавливается на пороге.

— Проводите-ка меня. Освежитесь.

Мы спускаемся в вестибюль. Анатолий шагает по лестнице через две ступеньки. Как вовремя он приехал!

...Швейцар сидит на скамеечке, опустив голову. Уже поздно, но ему не спится.

За полночь усталость все же валит нас на кровати. Беспкойно засыпает Панас. Он что-то бормочет и часто вздрагивает. Начинаю дремать, отяжелевшие веки смыкаются. И вдруг Панас вскакивает с постели. Бледное лицо Панаса кажется окаменевшим. Мертвенный лунный свет падает в окно, роняя в комнате восковые блики. Насколько секунд Панас стоит неподвижно. Затем его пальцы судорожно сжимаются. Похоже, что он нажимает двумя руками на гашетки своих пулеметов и «стреляет» по невидимому противнику.

— Панас! Панас! — тихо окликаю я его. — Успокойся! Ложись и отдохни..
И я вижу, как он покорно ложится.

На рассвете, как обычно, едем на аэродром. У меня не выходит из головы ночное происшествие с Панасом. Неужели он так устал, что уже начинает галлюцинировать? И еще одно странное обстоятельство смущает меня: верно ли я заметил, что Панас неправильно стреляет? Ясно ведь, что, когда он ночью нажимал на несуществующие гашетки, его действиями командовала привычка.

— Скажи, пожалуйста, Петр, — обращаюсь я к Бутрым, — как ты стреляешь в бою?

— Как я стреляю? — устало пожимает плечами Бутрым. — Как обычно, большим пальцем правой руки или всей ладонью нажимаю гашетки и веду огонь короткими очередями. А почему ты вдруг спрашиваешь об этом?

— Потому что Панас стреляет, по-моему, иначе. Он нажимает пулеметные гашетки обеими руками и, значит, бросает в этот момент сектор газа и не управляет мотором.

Панас, всю дорогу сидевший с закрытыми глазами, резко стряхивает дремоту.

— Откуда ты это знаешь? Ты что, в кабину ко мне, что ли, заглядывал во время воздушного боя?

— А разве это не так?..

— Да, так... — тяжело признается Панас. — А откуда ты все-таки знаешь это?

— Я видел сегодня ночью, как ты стрелял во сне.

— Ночью? Когда? — Панас изумленно смотрит на меня.

— Было дело, Панас... Но не это важно. Важно то, что в самый ответственный момент боя ты бросаешь управление мотором. Рано или поздно противник поймает тебя на этом и сшибет, как желторотого птенца. Тогда будет поздно исправлять ошибку. Понял, друг?

...Низкое солнце освещало лишь верхние этажи зданий, когда через Мадрид потянулась похоронная процессия. За гробом шли летчики, авиамеханики, обслуживающий персонал аэродрома. Узнав, что хоронят русского летчика, мадридцы присоединялись к нам. Когда мы уже приближались к кладбищу, я оглянулся и не увидел конца процессии. Шли женщины с черными траурными косынками (когда они успели их надеть?), шли солдаты республиканской армии в помятых пилотках, с винтовками за плечами, шли рабочие в спецодежде, видно возвращавшиеся домой после смены, степенно, как взрослые, шагали тихие дети.

Окраина Мадрида. Над стенами кладбища недвижима темнеющая зелень деревьев. Скрипит под ногами песок широких аллей. Остро пахнет вербена. На земле стынет мягкий, сыроватый сумрак. Между двумя цветниками пунцовых роз чернеет разверстая могила. Все огромное кладбище запружено народом. Но так тихо, что слышен полусонный щебет птиц.

Бутрым произносит короткую речь:

— Прощай, Саша. Мы не смогли уберечь тебя... Прости... Это большой и тяжелый урок, и вот где он отпечатался — в сердце. Каждый из нас возьмет теперь на себя долю твоей боевой работы. И не пригнет она нам плечи. Потому что память о тебе светла. Тебя любит Мадрид, он пришел к тебе сегодня...

Чей-то одинокий вскрик вырывается из толпы. И снова тихо. И снова говорит Петр, нервно разминая рукой комок земли.

А потом мы по очереди прощаемся с Сашей. И мимо гроба проходят испанцы — суровые солдаты и молчаливые дети, женщины с широко раскрытыми влажными глазами и спокойные старики. И сначала громко, а потом все тише и тише падает на гроб сухая земля.

Испанцы устанавливают невысокий гранитный обелиск. Последний солнечный луч чудом пробивается сквозь ветви деревьев, и на обелиске вспыхивают испанские слова: «Здесь похоронен русский летчик Александр Минаев, погибший в бою с фашистами за республиканскую Испанию».

НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ...

Состоялся допрос пленных итальянских летчиков и одного немца, выбросившегося на парашюте. Они сообщили: «мессершмитт БФВ-109» недавно прошел заводские и государственные испытания в Германии. В Испанию прибыла первая партия этих истребителей.

— Здесь, в Испании, — лучшие летчики Германии, — сказал немец. — Мой товарищ, которого вам удалось сбить в том же бою, где не повезло и мне, летал еще в первую мировую войну в составе группы Рихтгофена.

— Чем же вы объясняете свою неудачу? — спросили пленного.

— Мы были неправильно информированы о качестве ваших самолетов, а главное, о подготовке русских летчиков, которые сражаются в рядах республиканской авиации, и поздно поняли это.

Допрос подтвердил многое, что мы уже слышали раньше. Мы хорошо понимали, что первый бой с «мессершмиттами» далеко не последний. Вся борьба с ними еще впереди.

И действительно, с девятого июля «мессера» все чаще и чаще стали появляться над Мадридом. В первые дни они летали совместно с «фиатами», но вскоре перешли к самостоятельным действиям отдельными группами.

После нескольких встреч в воздухе мы поняли главное — тактику нового противника и раскусили многие его «хитроумные» повадки. Однако немцы вели бои смелее, чем итальянцы, лишь вначале. Потеряв за несколько дней около десятка самолетов, они начали проявлять большую осторожность, вступали в бой только при благоприятных условиях и заметно обособились от итальянской авиации.

Это обстоятельство помогло нам бить тех и других в отдельности. Но противник решил подавить нас численностью. Нельзя сказать, чтобы это был глупый расчет. Количество — это количество, с ним всегда приходится считаться.

С каждым днем бои становились тяжелее. Напряжение росло. В скором времени, говорили пленные, в Испанию будут прибывать самолеты из Германии и Италии не десятками, а сотнями. Этому можно было верить.

На что мы могли рассчитывать и надеяться? Только на то, чем располагала республика. Предательски заблокированная английскими лордами и «социалистами»-блумовцами, республиканская Испания изнемогала от нехватки вооружения, военных материалов.

Трудно, тяжело... Но Мадрид непреклонен. Мадрид гордо заявляет: «Они не пройдут!»

Однако нам ясно, что, используя свое численное превосходство, мощное (по тому времени) вооружение «мессеров» — пушка, два крупнокалиберных пулемета, — немцы во что бы то ни стало попытаются сломить наше сопротивление.

В эти дни во всю ширь и мощь раскрылся творческий талант Анатолия Серова. На земле мы видим его редко, чаще встречаемся в воздухе, в бою: мелькнет рядом — и скрылся. Но до нас доходят слухи о нем.

«На Серова ничто не действует: ни усталость, ни постоянная опасность, — рассказывают о нем. — Все устали, похудели. Только он на удивление всем раздается в плечах, даже полнеет».

Еще приятнее и радостнее слышать о его тактических новинках. Это он бросил клич, облетевший все республиканские эскадрильи: смело идти в лобовые атаки и расстреливать врага только в упор, только наверняка! Серов ломает установившиеся тактические нормы. Воздушные бои проходят на враже, или, как летчики говорят, «на карусели». Анатолий впервые с успехом применил вертикальный маневр, получивший распространение лишь во время Великой Отечественной войны. Чтобы обеспечить быстрый и одновременный взлет всей эскадрильи, он рассредоточивает самолеты по всему летному полю (и эта новинка прочно вошла в арсенал авиации во время второй мировой войны).

Мы стараемся воевать, как воюет он, — дерзко, творчески. Мы пока не имеем новых потерь, а противник потерял от нашего огня еще семь самолетов.

Приблизительно в середине июля фашистам удалось задержать продвижение республиканских войск в районе Брунете.

Оставалось перейти к обороне, чтобы удержать завоеванные рубежи. Мадрид замер, предчувствуя новый штурм франкистов.

Закопошилась «пятая колонна».

Ночи становятся тревожными. Над Столовой горой, что возвышается за городом, как передовой форпост Гвадаррамы, ночью вспыхивают ракеты. Там аэродром Алкала. Ясно, что ракетчики пытаются нанести вражеских бомбардировщиков на нашу авиационную базу, вместе с которой размещается и наш авиационный штаб. Шпионы развивают свою деятельность в районе Барахоса. Мимо нашего аэродрома проходит шоссе. Бутрым замечает, что некоторые автомашины, проезжая по нему вечером, зажигают фары. Мы подстерегаем одну из таких машин. Гонимся за ней, стреляем по покрывкам, но нагнать ее нам не удается...

Напряжение растет...

Двадцать четвертого июля противник начал контрнаступление в районе Брунете. Одновременно усилились атаки в Университетском городке и Каса дель Кампо. Пьяные марокканцы пытались даже перейти Мансанарес, но их довольно быстро отрезвили пулеметным огнем.

Каждый день мы летаем над Брунете и каждое утро перед вылетом с тревогой думаем: остался ли город у республиканцев? Слишком силен натиск врага.

Наступает критический момент: город начинает переходить из рук в руки. То днем, то ночью франкистам удается с боем взять его. Через несколько часов республиканцы идут в решительную атаку — нет, они не хотят расстаться с рубежами, которые политы кровью товарищей! — и на улицах Брунете вновь разыгрываются ожесточенные смертельные схватки.

И все же город приходится отдать. Происходит это двадцать седьмого июля.

В эти дни уехал Джон. Подал рапорт командованию с просьбой об отчислении из состава республиканской авиации. Отказать в просьбе нельзя: Джон — доброволец.

Рано утром мы узнали, что сдана Сеговия.

СМЕЛЫЙ ПОЧИН

Эскадрилья Серова разместилась возле самого аэродрома Сото, в большой красивой вилле с множеством затейливых башенок, веранд, стеклянных галерей.

Мы завидуем серовцам: просыпаются — не надо никуда ехать, кончились полеты — могут сразу ложиться спать.

Мы не высыпаемся. Месяц назад мы высчитали по календарю, что к концу июля у нас прибавится лишний час свободного времени. Целый час! Тридцать минут утром и тридцать вечером.

Но вот и конец июля. Южная ночь подросла, вытянулась на шестьдесят с лишним минут, но сон наш по-прежнему короче воробьиного носа. Даже стало хуже, чем прежде: только отъедешь вечером от аэродрома, а над Мадридом уже слышится: ву-у-у, ву-у-у, ву-у-у... И всю ночь забивает уши ноющий, нудный звук!

Это фашистские бомбардировщики. Мы сковали их действия в дневных полетах. Теперь при солнечном свете над Мадридом они появляются только с истребителями. Ночные полеты фашистов особого вреда не приносят: они просто рассыпают бомбы куда понало. Однако фашистам удается держать и город и республиканские войска на переднем крае в известном напряжении. По ночам беспокойно стало и на аэродроме: франкисты пытаются налетать на наши базы. Правда, обычно их бомбы рвутся далеко от самолетов или вообще за пределами аэродрома. Но авиамеханики, вынужденные ночевать возле стоянок, чтобы успеть до нашего приезда подготовить машины к вылету, тяжело переносят непрерывную бессонницу. Хуан тает на глазах, и я за мечая, как иногда во время работы его руки механически повторяют уже не нужные движения: он засыпает...

В конце концов так долго продолжаться не может! Нельзя допустить, чтобы фашисты, летающие ночью, считали себя в полной безопасности. Но что делать? Что

делать, если республиканская армия не располагает средствами для борьбы с воздушным противником ночью: прожекторных установок не хватает даже для обороны портов, а в Мадриде их совсем нет. Ни одной! Зенитные средства слабы, к тому же без прожекторов зенитчики бьют наугад и, может быть, не столько успокаивают, сколько нервируют население своим неорганизованным, бесполезным огнем.

Так что же делать?

В Мадриде только мы, летчики, можем на этот вопрос ответить. И не в силах ответить...

У себя на родине каждый из нас летал ночью. Но в каких условиях: взлет и посадка производились на больших ровных аэродромах, при хорошем освещении. Эти условия считались обязательной, неременной гарантией успеха.

Наш аэродром — Барахос — невелик, он строился в расчете на пассажирские и почтовые самолеты. У эскадрильи Серова положение еще хуже: она базируется на бывшем помещичьем поле. Трава на нем растет великолепная, с цветочками, зато взлетать и садиться на этом поле нелегко. К тому же с трех сторон оно сжато холмистыми отрогами Гвадаррамы.

Но главная беда не в этом. Мы сможем и ночью подниматься со своих аэродромов. Но при посадке уже никак не обойдешься без освещения. Никто еще за всю историю авиации не осмелился приземляться на затемненный аэродром, да и как можно осмелиться совершить посадку наугад, не видя самой земли!

Но осветить аэродром мы не можем, так как находимся возле самой линии фронта... Вот в чем непреодолимая трудность.

Что же делать, что делать?

Мы ломаем голову, пытаюсь найти ответ на этот вопрос, и вдруг слух: Серов и Якушин решили летать ночью. Это кажется невероятным.

С трудом дозваниваюсь до Сото.

— Да, Борис, слух верный,— слышу голос Серова.— Решил летать. Не могу сидеть и ждать, когда бомбы начнут сыпаться на наши головы. Что у нас, глаз нет, что ли! Мы же летали ночью!

— Да, но освещение!..

— Я кое-что придумал. Поставлю возле посадочной полосы две-три автомашины с зажженными фарами, одну против другой, так, чтобы они не очень выдавали расположение аэродрома.

— И все?

— Все. Больше ничего нельзя сделать. Иначе бомбы посыплются на нас не когда-нибудь, а в ту же ночь, как мы начнем экспериментировать. Ты же понимаешь...

Он молчит несколько секунд, я уже думаю, что нас разъединили, и вдруг снова слышу его голос.

— Знаешь, дело не в освещении... Трудно добиться у командования разрешения на вылет. Попытайся и ты. Может быть, обоюдными усилиями мы уговорим, вырвем согласие...

Звоню в штаб, прошу принять меня.

— Серьезное дело? — спрашивает командующий.

— Да, очень серьезное.

— Какое? Если можете, говорите по телефону!

— Хочу просить вашего разрешения на вылет ночью.

— Вы что, вместе с Серовым с ума, что ли, сошли? Особенно вы! Ведь для ваших самолетов требуется аэродром еще больших размеров, чем для «чато». Я и разговаривать не хочу на эту тему. Не разрешаю приезжать...

На другом конце провода слышится шелк: трубка повешена.

Теперь вся надежда на Серова. Добьется ли он разрешения? Какое-то внутреннее убеждение подсказывает мне, что добьется, хотя это будет стоить ему немалых трудов.

Он и Якушин «нажимают» на командование — один раз, два, три... И командование наконец соглашается на пробный полет с лучшего в Мадриде аэродрома Алкала. Вся организация и ответственность за ночной эксперимент возлагаются на Серова.

Дело не шуточное. Но готовность рискнуть всегда жила в Серове. Он был летчиком-новатором, а новые пути нужно торить, рискуя.

И вот от Гвадаррамы уже тянутся и растут фиолетовые, густеющие тени. Затихает последний мотор. Тишину нарушает лишь добродушное ворчание трех автомашин. Серов производит последнюю репетицию: ставит машины возле посадочной полосы, под некоторым углом, и велит шоферам включить фары. Три параллельных луча падают на летное поле.

— Выключите! — тотчас же командует Серов: боится, как бы раньше времени не сели аккумуляторы.

Фары молниеносно вбирают в себя лучи. Становится еще темнее. На востоке загораются первые звезды, в их мерцающем свете безоблачное небо кажется отполированным.

Ожидание... Якушин молча прохаживается возле своего самолета. Все время курит, и только поэтому можно догадаться, что волнуется. Серов то и дело смотрит на часы.

— Пора, Миша, — говорит Серов, приминая каблуком тлеющий на земле окурок. Надевая парашют, Анатолий уточняет последние детали предстоящего полета.

— Значит, условились: ты патрулируешь на высоте трех тысяч, а я буду искать бомбардировщиков ниже — на двух тысячах метров.

И Серов и Якушин твердо сходятся на одном: заметив вражеский бомбардировщик, всячески стремиться вплотную сблизиться с ним. Стараться подходить к врагу снизу, маскируясь на фоне темной земли. Бить в упор, наверняка, ибо последующие маневры уже могут оказаться лишними — бомбардировщик легко ускользнет и скроется.

...Одно-два мгновения машина Якушина скользит в свете фар, затем устремляется в ночную тьму. За ней — машина Серова. Самолеты поднимаются все выше и выше. Звук моторов становится слабее, вскоре и совсем пропадает.

Никто не расходится. Вся эскадрилья — летчики, механики — напряженно вслушивается в тишину, ждет...

Небо безмолвное, глухое. И вдруг ухо ловит далекое гудение. Люди на аэродроме замирают. И в тишине кто-то громко, с досадой басит: «Немец!» Да, немецкий бомбардировщик... Шум моторов с каждой минутой нарастает. Бомбардировщик проходит аэродром и разворачивается на обратный курс: не торопится, видимо высматривает, куда лучше сбросить бомбы.

— Подождите! Тише! Тише! Слышите?.. — кричит кто-то.

Вслушиваемся... Точно. В шум немецких моторов вплетается другой звук — знакомый, родной звук «чато». Кто-то из двух, Серов или Якушин, ищет немца. Видят ли они его? Немец уходит от аэродрома. В том же направлении удаляется и «чато».

— Неужели уйдет? — высказывает кто-то вслух общее мнение.

И в тот же момент молнией вспыхивает огненная трасса, за ней — вторая, третья. Отчетливо слышится пулеметная трескотня.

— Горит! Горит! — восторженно кричит толпа.

Кто горит, ясно: огонь резко очерчивает силуэт вражеского бомбардировщика. Безуспешно пытаюсь сбить пламя, самолет набирает скорость. Огонь вытягивается за машиной длинным желтым хвостом. Поздно! Теряя управление, бомбардировщик валится вниз. Небо гаснет, издали доносятся глухие удары взрывающихся бомб.

Не отрываясь, толпа продолжает смотреть в ту сторону, где только что разыгрался бой. И люди с удивлением замечают, что ночь не такая уж темная, как казалось. Ясная, замечательная ночь!

Никто и не думает уходить. Шоферы включили свет, и он буравит темноту, отодвигая ее подальше.

Первым совершает посадку Серов. Летчики, авиамеханики бегут к нему. Улыбаясь, Анатолий отмахивается:

— Не я! Не я! Михаила будем качать. Он сбил.

Несмотря на отсутствие специальных посадочных огней, Якушин приземляется мастерски, останавливаясь возле самых автомашин. Широко шагая, Анатолий идет навстречу ему. Оба сияют. Серов крепко обнимает своего друга.

— Поздравляю, поздравляю, Миша! А мне не повезло!

— Хватит и на твою долю,— смеется Якушин.— Уверен, что они не сразу поймут, в чем дело, и еще будут летать.

Почин сделан... И какой почин — доказавший полную возможность борьбы истребителей с бомбардировщиками в ночных условиях!

Первый ночной бой. Первые строки в новой главе истории авиации.

В НОЧЬ С 26 НА 27 ИЮЛЯ...

На другой день стало известно, что четыре человека из состава экипажа немецкого бомбардировщика были убиты еще в воздухе, пятый выбросился с парашютом и был взят в плен.

Удар Якушина оказался максимально точным.

Республиканское правительство в тот же день, двадцать шестого июля, наградило Якушина и Серова именными золотыми часами. Несмотря на тяжелый летный день, Анатолий твердо решил вылететь снова этой ночью. «Ты же не спишь третьи сутки», — возразил ему кто-то. Серов отмахнулся: «У меня долг, надо расквитаться».

Нетерпение томило его. Лишь только окончились дневные полеты, он сразу же принялся готовить ночной вылет. Анатолий решил патрулировать не над городом, как это было прошлой ночью, а над линией фронта. Серова привлекала более вероятная встреча с врагом.

К вечеру погода стала портиться. По небу медленно плыли густые облака. От предгорий потянул необычный в эту пору знобящий холодок. Серый закат незаметно сменился свинцовыми сумерками. Горы словно шагнули к аэродрому, обступив его глухой стеной.

Встревоженные переменой погоды, испанские друзья Серова и Якушина посоветовали им пропустить ночь, но ни тот, ни другой и слышать об этом не хотели.

— Мы, русские, должны уметь летать лучше немцев, — заметил Анатолий.

Если Серов принял решение, переубеждать его бесполезно.

И вот они снова взлетели. На этот раз летчики проводили их с еще большей тревогой.

— Ну и ночка, будто сатана чернила пролил! — сказал кто-то.

Ровный гул моторов успокаивал. Умение держаться в строю, летать крыло в крыло было доведено Серовым и Якушиным до совершенства. В самых жестоких схватках Якушин оставался возле своего ведущего, словно привязанный.

— Сегодня командир без победы не вернется, — сказал один из испанских летчиков, и эта фраза заглушила последний, слабый звук моторов, долетавший с неба. Вновь наступила тишина — и вновь началось ожидание. Если бы летчики знали в тот час, какой тяжелой окажется эта ночь!

Серов рассказывал потом.

Набрав высоту в две тысячи метров, он оставил Якушина над Мадридом, а сам пошел дальше к линии фронта. На земле — ни огонька. Кое-где по дорогам вспыхивали автомобильные фары и тотчас же гасли. Напряженно вглядываясь в темноту, он видел под крыльями самолета лишь смутные очертания города. Через несколько минут он был уже над передним краем. Приходилось ежеминутно делать отвороты в сторону, чтобы пламя из выхлопных патрубков не мешало осматривать пространство, лежащее впереди. От напряжения начало ломить глаза. И вдруг неожиданное облегчение — выглянула луна. Почти в ту же минуту, когда она посеребрила края облаков, Серов увидел совсем недалеко от себя черный силуэт вражеского бомбардировщика, летевшего к Мадриду. Цель найдена! И Анатолий теперь ни на секунду не выпускал ее из виду. Быстро, незаметно приблизился к бомбардировщику. Прильнув к прицелу и выбрав удобный момент, нажал на гашетки. Сразу из четырех пулеметных стволов брызнули огненные струи. Немецкий самолет накренился и повалился вниз. С правой стороны фашистской машины вспыхнуло и внезапно погасло пламя. Серов уже приготовился добавить несколько очередей, но в это время над фашистским бомбардировщиком поднялся целый огненный столб.

И все? Так просто? Серов разочаровался. Победа досталась без большой борьбы. Такой легкий успех не мог удовлетворить Анатолия. Патроны еще оставались. И, развернувшись, он снова стал искать противника. Через несколько минут ему удалось обнаружить второй бомбардировщик. Но и противник заметил «чато» и отвернул в сторону. На одно мгновение Серов потерял врага из виду, но луна вновь помогла ему отыскать немца. Анатолий гнался за бомбардировщиком, позабыв обо всем. Только бы догнать! Но расстояние сокращалось медленно: гитлеровцы выжимали из своей машины предельную скорость. И вдруг луна опять предательски скрылась, и темнота, словно занавес, закрыла цель. Бомбардировщик пропал в облаках.

И в этот момент Серов взглянул на приборы. Взглянул и похолодел — горячее на исходе... Под самолетом он различил контуры незнакомой местности. Азарт преследования далеко завел летчика. «До своего аэродрома не дотянуть», — понял Серов. Круто развернувшись, он пошел прямо на Мадрид. Остатки бензина убывали катастрофически. С какой радостью Серов увидел вдали костер. Вначале удивился: что такое? Но тут же сообразил: догорает сбитый бомбардировщик.

Сразу отлегло от сердца: Серов был уверен, что бомбардировщик упал на республиканской территории. И так как бензин кончался, решил садиться где-нибудь поблизости от горящего самолета: все-таки посветлее будет!

Но выбрать подходящую площадку для приземления было почти невозможно. Планируя на малой скорости, Серов заметил узкую светлую полоску на темном фоне земли. Иного выбора уже не было: надо было садиться. Сделав последние расчеты, Анатолий перед самой землей выключил мотор. Колеса коснулись земли. Самолет пробежал несколько десятков метров и остановился.

Не веря тому, что произошло, Серов неподвижно сидел в кабине. Он не только дотянул до своих, не только приземлился, но его «чато» остался совершенно целым и невредимым.

Серов вышел из машины и прошелся из края в край по узкой крестьянской полоске, устланной золотистой соломой сжатого хлеба. Покачал головой: вряд ли днем он решился бы произвести здесь посадку... Самолет стоял в пяти метрах от глубокого оврага.

Совсем близко слышна была вялая ночная перестрелка. Где-то неподалеку проходила линия фронта. Оставив машину, Анатолий пошел на восток: если он действительно приземлился у своих, то надо поскорее найти людей, которые помогли бы до рассвета оттащить самолет подальше от переднего края.

Пробираясь между камнями и глубокими воронками, Серов осторожно продвигался вперед. Вдруг перед ним мелькнули тени. Анатолий на всякий случай вынул пистолет. Тени снова скользнули и скрылись где-то совсем рядом.

Летчика тихо окликнули. Анатолий замер на секунду, но тотчас же решился ответить:

— Компаньерос!..

Впереди зашевелились, и Серов во весь голос сказал по-испански:

— Компаньерос! Авиадор русо!

— Наш летчик! — раздались в ответ радостные возгласы.

Из темноты выскочили несколько республиканских бойцов, к ним, появившись словно из-под земли, присоединились другие.

Через минуту в блиндаж командира пехотной части уже звонили телефоны. Соседняя танковая часть обещала немедленно привезти бензин. Солдаты отправились расчищать площадку, на которой стоял «чато». Бережно они отгребали в сторону сжатую пшеницу, выворачивали камни, унося их к оврагу. С помощью бойцов Анатолий заправил самолет горючим и развернул его носом в обратную сторону.

— Теперь я могу взлететь, — сказал он.

— Взлететь? — переспросил командир и задумался. — Я ничего не смыслю в авиации, но мне кажется, что вы, камарáда Серов, идете на большой риск. Площадка крайне мала. Не лучше ли попробовать с нашей помощью вытащить самолет на ближайшую дорогу, там разобрать его и в таком виде отвезти на аэродром?

— Это невозможно! На несколько дней я останусь без машины и не смогу летать.

И потом,— Серов улынулся,— если я благополучно приземлился, то, наверное, и поднимусь нормально.

— Вы, несомненно, коммунист?

— Да.

— Это ясно... Я не буду настаивать на своем предложении. Только прошу вас, будьте настороже: фашисты очень близко от нас. Вашу вынужденную посадку они, конечно, заметили.

— А почему же они сейчас молчат?

— Ждут рассвета. Кроме того, они, наверное, думают, что самолет неисправный и потому не сможет улететь.

— Тем лучше,— усмехнулся Анатолий.

Бойцы тесным кольцом окружили Серова. Те, кто стоял сзади, привстали на цыпочки, тянулись, стараясь увидеть освещенное луной лицо русского летчика.

— Можно пожать вам руку? — неожиданно спросил молоденький солдат с пятиконечной звездочкой на пилотке.— Я давно мечтал пожать руку советскому человеку.

Волнение солдата передалось Серову.

По приглашению солдат Серов пошел по траншеям от одного блиндажа к другому. Бойцы наперебой задавали летчику вопросы. Ему протягивали походные фляги, наполненные вином («Нет вина приятнее, чем в Андалузии!»), предлагали закурить сигареты («Попробуйте наших, солдатских!»), карманы его куртки и брюк были набиты яблоками и апельсинами («Вы не можете отказаться: мне их прислали на фронт родные...»).

Небо бледнело, предвещая чистую зарю.

В это время Михаил Якушин, облокотившись на крыло своего самолета, стоял в тяжелом раздумье.

В полете он видел, как далеко в стороне фронта загорелся в воздухе чей-то самолет. С недобрым предчувствием Якушин посадил машину и сразу же спросил:

— Анатолий не вернулся?

— Нет,— сказали ему.

Были запрошены все аэродромы, многие штабы. Отовсюду один ответ:

— Не видели, не знаем.

За полночь ожидание стало невыносимым. Молчал телефон. Молчали люди. Не расходились. Ждали.

Во втором часу ночи раздался звонок, первый за все эти тревожные часы. Якушин схватил трубку, люди затаили дыхание. Звонили из штаба Центрального фронта. «Что? Жив! — крикнул обычно сдержанный Якушин.— И сбил! А где приземлился? Возле линии фронта? Спасибо, спасибо за известие!..»

— Ну, видите!..— Якушин выпрямился.— Скорее бы, черт, прилетал!.. Терпения нет!..

Предрассветный сумрак, ключья тумана выстлали долины. Темнота отползла в ущелья, притаившись там.

Усевшись в кабину, Серов запустил мотор. Самолет послушно бежал по земле. У самой границы площадки Анатолий коротким точным движением заставил машину отделиться от земли. «Чато» послушно повис в воздухе над оврагом. Еще два-три лишних метра пробежки по земле, и трудно было бы надеяться на что-нибудь хорошее. Но Серов — мастер своего дела, недаром он трижды измерил шагами длину площадки.

Фашисты не успели ахнуть, как Анатолий оказался уже над ними и ударил по окопам из всех своих пулеметов: не возвращаться же домой с неизрасходованным боекомплектом! Расстреляв все патроны, он развернулся, покачал на прощание крыльями республиканцам и пошел на восток в направлении Мадрида.

Бойцы прощально махали пилотками, провожая взглядом летящий навстречу заре самолет.

А на аэродроме возле посадочной полосы уже собралась вся эскадрилья. Десятки сильных рук подхватили Анатолия и несколько раз подбросили вверх.

— Хватит, хватит, ребята. Во мне же весу... Надорветесь!..— уговаривал Серов.— Знаете, чему я больше всего радуюсь сейчас? — спросил он неожиданно.— Радуюсь, что не вижу здесь повешенных носов! Мне кажется,— и он, улыбаясь, посмотрел на тех, кто еще вчера сомневался в успехе ночных полетов,— в темноте можно летать и сбивать. Кто сомневается?

— Что ты, Толя! Какие могут быть сомнения? Две ночи — два бомбардировщика. Это же счет!

— Ну, так вот, друзья! — продолжал Серов.— Мы с Михаилом старались для чего? Ну, проучить немецких ассов. Это во-первых. А во-вторых, чтобы по нашему примеру республиканские истребители начали летать ночью на всех фронтах.

— Серова в штаб! — крикнул дежурный.

— Что такое? — спросил Анатолий.

— Привезли немцев... Тех, что вы сбили. Хотят вас видеть...

— А спросили меня, хочу я видеть их или нет? — сердито повернулся Серов. И сдержался, понимая, что дежурный здесь ни при чем. — Ладно. Иду.

Два уцелевших немецких офицера считали себя ассами. Держались они нагло, говоря, что дадут показания лишь в том случае, если им покажут летчика, который поставил их в положение пленных.

Анатолий вошел в комнату, где сидели пленные. Увидев его, оба немецких офицера, словно по команде, вытянулись в струнку и отдали честь. Серов обратился к переводчику и спросил, что гитлеровцам от него нужно. Один из офицеров, командир корабля, с апломбом начал, видимо подготовившись к долгому разговору.

— Я приехал сюда из великой Германии, чтобы бороться с коммунистами...

Анатолий резко оборвал его:

— Ваши политические убеждения меня не интересуют. Они известны всему испанскому народу, который страдает от войны, от фашизма. Говорите конкретно, что вам нужно?

Немец осекся, в голосе его появились льстивые нотки.

— Я очень много летал, и никому не удавалось меня сбить. Скажите, как вам удалось это сделать?

— У меня нет времени заниматься пустыми разговорами. В последний раз спрашиваю, что нужно?

— Вы поймете нас. Вы летчик...

— Я коммунист.

— Оставьте нам жизнь...

— Давно бы так! Теперь мне ясно — разговаривать не о чем!.. Товарищ переводчик! Извините. Если я побуду еще минуту с этими прохвостами и трусами...

Он не договорил и, взбешенный, выбежал из штаба.

Событий много — так много, что обо всем и не напишешь. Самое волнующее — весть с Родины: Михаил Якушин и Анатолий Серов награждены орденами боевого Красного Знамени.

Награда поднимает боевой дух всех летчиков. Почин Серова и Якушина сделал свое дело. Не только на Центральном фронте, но и в других местах организуются и тренируются республиканские группы истребителей-ночников. Все чаще и чаще ослепительными факелами вспыхивают в ночи горящие бомбардировщики Франко.

В АСТУРИЮ!

На Центральном фронте наступило некоторое затишье. Воспользовавшись этим, нашу эскадрилью командование на несколько дней освободило от боевой работы. Необходимо было привести в порядок изрядно потрепанные самолеты. Да и отдохнуть не мешало. И вот нас отвели на тыловой аэродром.

Мы отдыхали. Впрочем, отдых не удался уже в первый день. Волощенко, еще недавно мечтавший поспать этак часиков тридцать, проснулся, как всегда, на рассвете.

— Интересно, — удивился он, протирая глаза, — почему-то не спится. Ладно, днем отосплюсь, Меня всегда днем тянет ко сну...

Но и днем почему-то никому из нас не захотелось прилечь.

После обеда день показался нестерпимо длинным.

— Сколько времени мы будем здесь отдыхать? — уныло спросил вечером Бутрым, но никто не ответил на его вопрос. Ясно — пока не вызовут обратно в Мадрид.

Засыпали недовольные.

Утром нас разбудил шум: приехали испанские летчики. Человек десять. Они вошли в нашу комнату и смущенно остановились у порога: подумали, что мы спим.

— Откуда?

Из группы испанцев выступил стройный красивый парень с вьющимися, волнистыми волосами.

— Клавдий, — отрекомендовался он. — Вот письмо из штаба.

Прочитывая письмо. Штаб предлагает нам дня три-четыре потренировать группу испанцев. Они только что окончили специальную программу обучения в летной школе. Это — новое пополнение республиканской авиации. Штаб дает молодым летчикам лестные оценки: почти все они добровольцы из рабочей и студенческой молодежи, мужественны, храбры, преданы республике душой и телом.

— Ну что ж, — говорю я и замечаю, с каким облегчением вздыхает Панас. — На аэродром!

По пути знакомимся. Все испанские летчики — коммунисты или комсомольцы. Пылко жестикулируя, они говорят о том, как им не терпится скорее идти в бой. Они влюблены в авиацию, и не только потому, что профессия летчика кажется им романтической (впрочем, и этого никак нельзя отрицать), а по той главной причине, что самолет — мощное оружие. «О! Восвать на истребителе — это не стрелять из винтовки, — часто говорят они. — Франко не поздоровится, когда мы пойдем в бой». «Недаром же, — рассказывают сами испанцы, — когда Мадридская авиационная школа объявила набор курсантов, на триста мест было подано три тысячи заявлений!»

С утра до вечера на аэродроме гудят моторы. Каждый из нас взял под свою опеку одного испанца. Мой ученик — Клавдий. Он мне понравился с первого взгляда, и чем больше я узнаю его, тем сильнее укрепляюсь в своем первоначальном впечатлении.

— Пришлось покинуть университет, — рассказывает он мне, — хотя я уже учился на третьем курсе...

— Жалеете об этом?

Он удивленно смотрит на меня.

— Камарада Борес! Как вы можете говорить это? Что такое Клавдий и что такое республика! Клавдий — только Клавдий, а республика — это народ, это свобода и счастье народа! Вот победим, и я вернусь в университетские аудитории. А пока будем учиться в свободное время! — И он хлопает рукой по оттопыренному карману летной куртки: в этом кармане у него всегда лежит какая-нибудь книжка.

Скоро обнаруживается, что Клавдий в свободные часы занимается и другим делом — пишет стихи. Вчера испанцы спрашивают его:

— Написал?

— Да.

— Прочти, прочти, Клавдий!

Испанцам нравятся стихи: они слушают их внимательно, с горящими глазами, раздается восхищенное «Виено!» («Хорошо!»).

А я с удивлением отмечаю, что в поэтический ритм каким-то чудом уложились советы, которые я давал летчикам во время полетов: «Не горячитесь! Храбрость без выдержки может привести к глупостям. Учитесь владеть собой в любом, самом горячем бою, трезво оценивайте обстановку».

— Придется стихи Клавдия взять на вооружение, — смеется вечером Панас, когда мы собираем партийное землячество, посвященное обучению молодых летчиков.

Клавдий пишет стихи о тактике воздушного боя. И получается — хотя я и не знаток поэзии — замечательно! Мужественно звучит каждая строка стихотворения, жилистая, упругая, лишенная внешних красот, но зато энергичная, как боевой клич.

— Марш! — говорит кто-то.

— О, да! Марш! — подхватывают испанцы, и неожиданно звонкий тенор заводит новую песню. Оказывается, стихотворение написано размером широко известной песни республиканцев. Не ожидал этого эффекта и сам Клавдий.

Через очень короткое время я убеждаюсь, что из Клавдия выработается перво-классный летчик. Вчера в одиночном бою он меня «загонял»...

Учеба идет нормально, или, как принято говорить, планомерно. Нашу размеренную жизнь нарушает скандальное событие. Оно взволновало и нас и весь тыловой городок. А главное, мы никак не могли предвидеть, что явемся главными виновниками переполоха.

Приезжаем вечером в гостиницу: нас встречает обеспокоенная хозяйка.

— Сеньёрес! Это вы сегодня спускались низко над городом?

— Да, мы. Пролетали на бреющем... А в чем дело?

— О, что вы наделали! Я теперь так боюсь за вас!..

— Но мы и вчера и позавчера тренировались в воздухе над городом. Что же случилось сегодня?..

— Понимаете, ровно в полдень местные анархисты-чернорубашечники решили организовать свою демонстрацию, — объясняет нам хозяйка. — Публика уже начала собираться на площади, как вдруг ваши самолеты появились низко над самой толпой. Жители врассыпную — не успели разглядеть, чьи самолеты. Анархисты кричат, зовут обратно, но их...

На лице женщины и тревога и удовлетворение.

— Скажите, это вы сделали сознательно? Вы, наверно, знали о демонстрации?..

Куда там сознательно! Дали анархистам повод болтать, что, мол, испанские коммунисты мешают свободному развитию других партий в республике, применяют насилие. Сомнений и быть не может: нашу оплошность враги республики обязательно постараются использовать в своих агитационных целях. И еще как разукрасят картину! Чего доброго, появится и «пикирование» и «обстрел мирных жителей». За газетными утками дело не станет...

Смотрю на своих друзей: помрачнели, задумались. И только испанские летчики ликуют.

— Чему вы радуетесь? — спрашиваем их.

— Замечательно! Так им и надо, анархистам. Сволочи, пытаются изнутри разложить республику! Кричат на всех перекрестках: «Настоящая свобода не нуждается и в республике!» Замаскированные франкисты — вот кто они!

— Сеньёрес, — прерывает наш разговор хозяйка, — в народе говорят, что анархисты решили расправиться с вами. Они не могут вам простить своей неудачи.

Заходим в комнату. На столе лежит конверт с черной траурной каймой. Ну, это уже дешевый трюк. Ясно, кто подбросил это письмо.

В конверте записка-анонимка: «Убирайтесь из города, пока не поздно!» Вместо подписи — череп и крест.

Панас хохочет.

— Помнишь, Борис, такую же угрозу?!

Как же не помнить! Ту первую анонимную записочку, которую подкинули нам в Мадриде, трудно забыть. Ею порадовали нас господа троцкисты. «Русские летчики! — обращались они к нам. — Зачем вы приехали в Испанию? За каждым углом вам грозит выстрел троцкиста». Ну кто же, кроме троцкистов, мог проявить такую заботу о нашем здоровье? Мол, уезжайте подобру-поздорову.

Подхожу к окну: над городом опустились сумерки. Обычно в это время улица пуста, а сейчас вдоль и поперек ее шныряют какие-то подозрительные типы. Возле подъезда стоит группа людей. Э-э, да они вооружены!..

Клавдий выбегает из комнаты и спускается вниз. Напряженное молчание. Прислушиваемся, что происходит у парадного. Вдруг раздается выстрел.

Слышится торопливое топание нескольких десятков ног. Поднимаются наверх.

Мы вытаскиваем пистолеты.

Дверь открывается, и в комнату влетает Клавдий.

— Товарищи! Нас охраняют горожане! Ура!..

Они толпятся у двери — усачи с охотничьими ружьями, кое-как вооруженные юноши.

— Пусть анархисты болтают что угодно, — говорят горожане. — Народ все равно не поверит им. Ну, а с вами они ничего не посмеют сделать. Мы уже их предупредили, чтобы они сами убрались из города.

Наутро наша учеба начинается так же, как и всегда. Но над городом мы уже не летаем: кто знает, может, еще какая-нибудь банда готовит «манифестацию».

«Пятая колонна» распоясывается. В один из августовских дней мы узнаем о попытке анархистов арестовать эскадрилью Серова. Только мужество, решительность самого Анатолия спасли положение.

Слухи об этой наглой провокации анархистов доходят к нам не сразу: серовцы в это время далеко от нас. Они в Каталонии, на одном из приморских аэродромов. Послали их туда на несколько дней — прикрыть с воздуха разгрузку республиканского парохода: спасаясь от преследования подводных лодок он выбросился на мель.

Каталония — не Мадрид, влияние компартии там не так сильно. Анархисты решились, что их действия могут остаться безнаказанными.

Однажды, когда вернувшиеся с задания самолеты зарулили на стоянку, к машинам молча подошли люди в штатском. Пиджаки, куртки, гимнастерки, вооружение такое же разнохарактерное.

В этот момент Серов направлялся к своему самолету, намереваясь вылететь на патрулирование. Двое охранников преградили ему путь.

— Где ваш командир? Почему не вижу коменданта аэродрома? — спросил Анатолий, еле сдерживая готовый прорваться гнев.

Охранники пожали плечами. Серов шагнул к самолету, но в то же мгновение охранники взяли за оружие.

— Мне нужно немедленно вылететь! — повысив голос, требовательно сказал Анатолий.

— Но эс посибле (невозможно), — ответил один из непрощенных стражей.

— Как это «но эс посибле»? — взорвался Серов. — Вы кто такие — коммунисты или фашисты?

— Анархисты! — последовал короткий ответ.

— Ах, вот оно что! — усмехнулся Анатолий. — Значит, соратнички... Ну ладно, после разберемся, а сейчас мне надо лететь.

Прежде чем охранники успели что-нибудь сделать, Анатолий вскочил в кабину самолета. Мотор заработал. Четыре пулемета разом дали несколько очередей. Как обычно, Серов всего-навсего проверял готовность оружия к бою. Но на сей раз очереди произвели на присутствующих весьма отрезвляющее действие. Охранники отхлынули от самолетов. Серов пошел на взлет.

Пока Анатолий находился в воздухе, на аэродром примчался комендант, он же начальник охраны. Еще вчера старательный, вежливый, предупредительный офицер, он, выскочив из машины, набросился с руганью на команду, не сумевшую удержать Серова, и приказал сейчас же снять колеса со всех самолетов. В чем дело, что произошло? Якушин потребовал от коменданта объяснений. Вместо ответа комендант, усмехаясь, заявил, что здесь не Центральный фронт, а Каталония, и командует воздушными силами каталонский командующий... Якушин возразил, что у республиканской Испании единое командование, которому и следует подчиняться. Комендант, прищурившись, процедил:

— Анархисты борются против Франко самостоятельно, без помощи коммунистов.

Так вот в чем дело: провокация, предательство!.. И как раз в такой момент, когда эскадрилья очутилась вдали от своих товарищей, оторвана от своего непосредственного начальства, когда с Мадридом нет никакой связи.

— Потрудитесь, сеньёрес, выполнить приказ каталонского командования, — жестко звучит голос коменданта, — прошу садиться в автобус.

Летчики оглядываются: охранников уйма, видимо мобилизованы все местные силы анархистов..

Через полчаса летчиков привозят в гостиницу. У входа встает усиленный вооруженный наряд. Серовцам запрещено выходить даже на улицу. Эскадрилья фактически арестована.

На свободе один Серов. Он торопится, возвращаясь с задания, предчувствуя неладное. Беспокойство увеличивается, когда Анатолий заруливает на стоянку: ни одного знакомого лица (где летчики?), самолеты стоят на колодках, колеса лежат под крыльями (это что такое?).

Не выказывая волнения, Анатолий нарочито спокойно вышел из кабины. Посмотрел на соседний самолет, медленно подошел к нему. Залез под крыло, подпер его плечами, вышиб одну колодку, другую и, не торопясь, надел колеса.

Стоявший рядом охранник разинул от неожиданности рот.

Серов подошел к обомлевшему от удивления часовому и, подставив кулак к самому его носу, раздельно проговорил:

— Попробуй, гад, снять еще раз колеса!..

Сказано это было по-русски, но охранник, по видимому, прекрасно понял смысл фразы, подкрепленной весьма недвусмысленным жестом, и поспешно закивал головой.

Серов поднял колодки, зашвырнул их подальше и зашагал к гостинице.

Он прошел мимо патрулей твердо, не обращая на них внимания. Открыл дверь в комнату, где находились летчики. Переступив порог, спросил:

— Ну что?

Летчики бросились к Анатолию, обступили его и наперебой стали рассказывать о происшедшем. Серов слушал молча.

— Мне думается, Толя, что нас арестовали, — заметил Якушин.

Эти слова окончательно вывели Серова из себя. Хлопнув дверью, он выбежал из комнаты, пронесся мимо патрулей. Как раз напротив гостиницы находился гараж, ворота его были открыты. Перебежав дорогу, Анатолий вскочил в голубой «понтнак», машина рванула с места и, оставляя за собой клубы пыли, устремилась по дороге.

Все это произошло молниеносно и неожиданно. Оторопевший начальник охраны, беспомощно суетясь, вылил поток брани на своих подчиненных, потребовал от шоферов машину, чтобы догнать Серова. Те перемигнулись.

— Сеньор комендант, — пряча улыбку, заявил один из них, — в гараже была только одна исправная машина — ваша. Ее угнал русский командир!..

Решительность Анатолия спасла эскадрилью. Он отсутствовал четыре часа. За это время он успел добраться до Барселоны, поднять там шум, добился категорического распоряжения штаба каталонского командования немедленно освободить летчиков и создать им условия для нормальной летной работы. Затем сразу же вернулся обратно. Вместе с Серовым прибыли представители штаба. Они энергично принялись за дело: быстро разоружили часть охраны, заменив ее надежными солдатами. Комендант был арестован.

Обо всем этом мы узнали, когда серовцы уже вновь свободно летали в испанском небе. Могли бы узнать раньше, если бы было время слушать радио. В день ареста серовцев радиостанция Саламанки передала в эфир фамилии всех летчиков его эскадрильи.

Комендант работал оперативно!

Точка, тире, точка... тире, тире, точка... Из телеграфного аппарата медленно выползает белая лента. Я смотрю на нее спокойно: очередное приказание, что же еще может быть! Но телеграфист неожиданно круто поворачивается в мою сторону.

— Что там? — спрашиваю его.

— «Командиру эскадрильи Смирнову, — читает телеграфист. — Приказываем вашей эскадрилье сегодня же вылететь в район прежнего базирования. Командование эскадрильей возлагается на Бутрыма. Вам надлежит с эскадрильей испанских летчиков, вплоть до особого распоряжения... Ждите телефонного разговора с командующим...»

Что бы это могло значить!

Я успеваю поговорить с Бутрымом, передать ему приказ о вылете. С нетерпением жду звонка. Проходит час. Наконец-то!

— Вас просят к телефону!

И вот происходит следующий разговор:

— Мы вызвали вас, камарада Смирнов, чтобы поговорить с вами о важном деле. Прежде всего я хочу от имени командования поблагодарить всех русских товарищей, которые помогли нам сколотить новую республиканскую эскадрилью. Это — значительное подкрепление, и знаете, куда мы думаем направить его? В Астурию.

— Понимаю. В Астурии, говорят, жарко.

— Очень. Особенно в воздухе. Сейчас мы имеем там только одну республиканскую эскадрилью. Это эскадрилья героев. Уже несколько месяцев они ведут изнурительно неравную борьбу. Противник превосходит их численно чуть ли не в десять раз. Вы должны им помочь. Мы хотим назначить вас командиром новой эскадрильи испанских летчиков — той самой, которую вы обучали... Вы согласны? — спрашивает меня командующий.

— Да, — говорю я.

— Мы так и думали — вы не откажетесь. Ну что ж, принимайтесь за работу. Желаю вам успехов!

Выхожу из аппаратной все же в некотором смятении. Возле самолета стоит Клавдий.

— Они просили меня передать вам еще раз привет и пожелания скорейшей встречи.

— Как! Они уже улетели?

— Но вы же сами их торопили! Какой-нибудь час назад вы сами прощались с ними!..

Верно, совсем забыл...

— А мы скоро отправимся вслед за ними?

— Мы отправимся в Астурию, — отвечаю я.

— И вы? — живо спрашивает Клавдий.

— Да. Я назначен командиром вашей эскадрильи.

Мгновение Клавдий смотрит на меня широко раскрытыми глазами.

— Компаньерос! Компаньерос! — кричит он. — Скорее ко мне! Вы слышали новость?..

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ВРАГА

Итак, друзья улетели в Мадрид, я остался.

Сумею ли я хорошо управлять эскадрильей, состоящей из испанцев? Сможем ли мы, небольшая группа истребителей, к тому же молодых летчиков, успешно противостоять опытному и количественно сильному врагу? Что, если нас раскроют в первых же боях?

Никто не в силах ответить на эти вопросы. Впрочем, нет времени для праздных размышлений. Нужно действовать. Уже ближайшая задача, стоящая перед эскадрильей, требует особого внимания. Нам нужно перелететь в Астурию. А это не так просто.

— Мне кажется, — сказал на приеме командующий, — что лучше всего вам подняться с аэродрома Алкала. Оттуда до Сантандера по прямой наименьшее расстояние.

Я посмотрел на карту: вот так наименьшее расстояние!

— Да, — сказал командующий, перехватив мой недоуменный взгляд, — расстояние, конечно, солидное. Но оно действительно наименьшее. С других аэродромов вы вообще не достигнете Сантандера. С Алкала же, если будете идти строго по прямой, дойдете до цели.

Командующий еще раз положил на карту линейку, и я вместе с ним мысленно разметил маршрут от Алкала до Сантандера. Прямо под обрезом линейки оказался Бургос — столица мятежников. Лететь над Бургосом, который наверняка охраняется не одной фашистской эскадрильей?

— Ничего, долетите, — сказал командующий и вздохнул. — Ну, а что касается Бургоса, то мой совет: ни в коем случае не ввязывайтесь в бой. И не только над Бургосом — на всем маршруте. Если не будет в пути задержек, у вас хватит горючего как раз до Сантандера. Но помните, если не будет задержек!

Этот разговор не выходит у меня из памяти. Лететь придется на предельную дальность, какую имеют наши истребители. До Сантандера от Алкала триста сорок километров. Но как избежать возможности боя?..

Ответ один: лететь на большой, на предельной высоте. Во всяком случае, если враг и заметит появление нашей эскадрильи, он не успеет нагнать нас.

Ну, а что будет, если фашисты поступят умнее — не станут гнаться за нами, а просто предупредят следующий аэродром: встречайте республиканцев на такой-то высоте?..

Попробуйте ответить на этот вопрос!

Скрывать от испанцев я не хочу ничего. Хуже всего рисовать боевую работу розовыми красками. Мужественные люди ценят откровенность. «Мои» испанцы — такие люди. Без колебаний я собираю их, раскладываю карту... Мне нравится, что летчики воспринимают мое сообщение сдержанно: ни возгласа удивления, ни тени замешательства. Выслушав меня, Клавдий еще раз наклоняется над картой, спокойно перекидывает кашне через плечо и говорит:

— Мы постараемся сделать все, что нужно.

Ну что ж, в воздух! Я взлетаю первым. Набираю высоту: тысяча метров, две, три... Свежо, руки слегка синеют от холода. Четыре тысячи: дышится еще легко, но по всему телу разливается предательская слабость. Пять тысяч: вдыхаю воздух глубокими глотками. Подняться еще? Еще на тысячу! Смотрю по сторонам. Все летчики отлично держатся в строю. Ни одного отстающего.

И я уверенно направляюсь в Мадрид, к родному Алкала. Смотрю на Клавдия, он летит рядом со мной: потемнел от напряжения, жадно, торопливо глотает разреженный воздух. У меня, более опытного летчика, и то усталость уже сковывает тело, появилась сонливость. Хочется закрыть глаза, а еще больше — ринуться вниз, поближе к теплой, милой земле.

Но я разрешаю это себе и своим новым товарищам, когда мы уже различаем горизонт на фоне коричневой цепи Гвадаррамских гор россыль мадридских зданий.

Приземляемся организованно. Навстречу нам бегут летчики, авиамеханики.

— Откуда ты привел нам такую подмогу? — весело кричит мне Панас.

— Из Валенсии.

— Ну, теперь мы короли!

Мне остается лишь улыбнуться.

Коротко рассказываю о положении на севере Испании. Астурия истекает кровью. Фашисты бросили туда большие силы и пытаются любой ценой закончить операцию на севере. Оторванные от центра страны, республиканцы сгорают удержать небольшую территорию, прилегающую к морю.

Ночью нам не спится. Бутрым лежит с открытыми глазами, молчит. Панас то и дело курит, лежа в постели. Только Волощенко хочется спать — и он с удовольствием заснул бы, но ведь никто не спит!..

Странные у меня друзья. Хорошие товарищи, но не любят излишней даже тогда, когда они, может быть, и нужны. Молчат, изредка кто-нибудь сделает замечание о моем предстоящем полете, но я убежден — думают они сейчас обо мне, о нашей дружбе, о предстоящей разлуке. Я сижу за столом, пишу письмо на Родину: из Астурии его не пошлешь.

Рано утром все готово к вылету. Еще раз напоминаю испанцам порядок перелета. Неожиданно из строя делает шаг вперед Клавдий.

— Несколько слов, товарищ командир...

Он встряхивает кудрявой головой.

— Я говорю от лица всех летчиков эскадрильи. Среди нас четверо из Астурии. Мы летим защищать свой родной край и заверяем вас, товарищ командир, что никакая сила не заставит нас дрогнуть. Мы знаем, что в боях за свободу испанского народа погиб ваш любимый друг и командир Алехандро Минаев. Мы будем такими же честными и смелыми воинами, как Алехандро! Будем!

— Ну что же, по самолетам! — говорю я и иду к своей машине.

До вылета — несколько минут. Возле самолета стоит Хуан, ждет, как всегда, держа наготове парашют.

— Камарада Борес, — вдруг тихо и настойчиво говорит Хуан, — я все приготовил.., чтобы лететь вместе с вами.

Еще вчера весь день он ходил за мной по пятам и уговаривал взять его с собой.

— Дорогой Хуан! — с мольбой в голосе отвечаю я. — Ты прекрасно знаешь, что каждый лишний килограмм — это перерасход горючего. А перелет трудный, ты знаешь, что в этом самолете конструктор не предусмотрел второй кабины для пассажира. Как же я заберу тебя с собой?

— Очень просто! — восклицает механик. — Я помещусь в том месте, куда мы обычно складываем самолетные чехлы.

Не знаю почему, но я сразу же теряю всякую решительность. Если бы Хуан настаивал, я бы, наверное, ни за что не сдался. Но он просит меня, как товарищ товарища.

Хуан угадывает, что я уже, в сущности, согласился.

— Мне много места не требуется, камарада Борес. Разрешите, я покажу вам.

— Ну, быстрее!

Хуан мигом пролезает в фюзеляж самолета и усаживается на аккумулятор, установленный сзади сиденья летчика.

Последнее сомнение вызывает еще один вопрос.

— Сколько в тебе веса, Хуан?

— Пустяки! — ликует механик. — Каких-нибудь двадцать — тридцать килограммов!

Громкий хохот покрывает этот ответ.

— Возьми его с собой, — уговаривает меня Панас. — Он к тебе привык, и ты к нему. Легче будет! А до Астурии дотянете. Горючего хватит.

— Ладно, Хуан, тащи свой инструмент, чемодан.

— Все уже здесь, камарада Борес!

Ну что ж, надо прощаться.

— Давай руку, Петр! Увидимся?

— Уверен! — коротко отвечает Бутрым и крепко, до хруста жмет руку. — Рано умирать нам...

Самолет бежит по аэродрому и через несколько секунд отрывается от земли. Прекрасно! Добрая примета: вес Хуана совсем не оказал влияния на летные качества машины. Она так же, как и прежде, набирает высоту и безукоризненно слушается рулей управления. Рядом со мной, умело пристроившись, летят мои новые боевые друзья.

Беру курс строго на север. С левого борта за сиреновой дымкой виднеется Мадрид. Горы впереди вздымаются сплошной серой стеной все выше и выше. У подножия гор начинается территория, захваченная фашистами. Надо набирать высоту.

И снова повторяется то, что уже было при перелете в Мадрид. Вначале в кабину проникает холод: остается теплой только ручка, с помощью которой управляешь машиной (у истребителя нет штурвала). Потом становится все труднее и труднее дышать. Пьешь воздух глубокими глотками. Стрелка альтиметра нервно дрожит, неуклонно поднимаясь от одной цифры к другой. Вот она уже легла на цифру «5 300». Когда и куда утекла вся энергия, как это выдуло из здорового человека всю бодрость? Не хочется делать ни одного движения. Апатия. Полное равнодушие ко всему. Даже простой поворот головы требует напряжения, труда. А ведь нужно и дальше набирать высоту. Быть как можно выше — первое и единственное условие успеха.

Заставляю себя снова и снова подниматься вверх. Холодно дьявольски. Мороз, а мы в легкой летней одежде.

Пересекаем гряду гор Сиерра де Гвадаррама. Вот железная дорога. Минуем город Аранда де Дуэро-Лока. В воздухе чисто. Посмотрим, что будет через восемьдесят километров, когда подойдем к Бургосу.

И вот вдали показывается город. Бургос! Мы подходим к нему на высоте семь тысяч метров. Ставка главного командования фашистских войск уже предупреждена о появлении республиканских самолетов. Выше эскадрильи нет ни одной вражеской машины, зато внизу творится что-то невероятное. Черные шапки разрывов зенитных снарядов устилают огромное пространство. Фашисты, видимо, палат изо всех стволов,

но тщетно: снаряды рвутся намного ниже нашей эскадрильи. Болтаются внизу и самолеты. Их не менее сорока. Карабкаясь вверх в бессильной злобе, они ведут бесполезный огонь по нашим машинам. Маловато, маловато высотенки наскребли! А теперь уже поздно. От сознания, что первый этап пройден удачно, вновь появляется и бодрость и сила. Как говорят спортсмены, открылся второе дыхание. Смотрю на своих товарищей. Они так близко пристроились к моему самолету, что я свободно различаю лица некоторых из них. Испанцы бледны, осунулись. Ничего, это только результат кислородного голодания. Скоро начнем снижаться — оживут!

Убедившись в бесполезности преследования, фашистские самолеты отстали.

Теперь благоприятный исход нашего полета зависит уже от скорости. Необходимо дойти до места посадки раньше, чем франкисты сумеют организовать вторичную встречу. Используя большую высоту, которую эскадрилья набрала на первой половине маршрута, мы значительно увеличиваем скорость за счет снижения. Погода стоит ясная, безоблачная. Впереди лежащая местность просматривается на несколько десятков километров. Напряженно вглядываемся в даль. Хочется скорее увидеть Кантабрийские горы — это уже север Испании. И вот далеко-далеко впереди начинает проступать темная полоса. Над светлой линией горизонта еле заметно вырисовывается зубчатый гребень.

Снижаемся. Пять тысяч метров. Чудесная высота! Почему она показалась вначале такой тяжелой? Дышать стало гораздо легче, в занемевшие мускулы вливается свежесть, сила, пронизывающий холод сменяется приятной теплотой. Невольно хочется ещё увеличить скорость, кажется, что время тянется слишком долго.

Проходит еще несколько минут, и от зубчатого темного контура начинают отделяться скалистые вершины, покрытые снегом. Наступает решающий момент. Тревожит одна мысль: успели фашисты предупредить свою авиацию о перелете республиканской эскадрильи или нет?

Успели. Над горными вершинами показались маленькие точки. Самолеты...

Фашисты ждут нас. Обойти их стороной не позволяет запас горючего, который подходит к концу. Остается единственное — самим решительно ударить по врагу.

Плотнее сжимаемся и готовимся к атаке. Эскадрилья на большой скорости, со снижением приближается к неизвестным самолетам. Но что это такое? Фашисты не одни, похоже, что они ведут бой. К всеобщей радости, замечаем машины с республиканскими опознавательными знаками. Их мало, фашистов во много раз больше. Ни те, ни другие не замечают приближения нашей эскадрильи. Значит, Бургос запоздал, не успел предупредить фашистское командование на севере о перелете республиканцев.

Отлично! Ну как не воспользоваться таким моментом?

Даю сигнал начала атаки. И разом из всех пулеметов хлынул мощный огонь. Ошеломленные внезапным нападением, фашисты бросились в разные стороны. Мы атакуем с ходу на большой скорости с таким расчетом, чтобы после атаки, не меняя курса, можно было продолжать полет в направлении аэродрома. Атака удается блестяще: по-моему, фашисты даже не поняли, что произошло. В течение нескольких минут небо очищено от противника. Республиканцы благодарно машут нам крыльями. Мы начинаем переваливать через горный хребет. Еще несколько минут — и мы будем у себя дома, в Астурии. Вот уже горы позади, впереди море — необъятное, приветливо сияющее под солнцем. На самом берегу — Сантандер, а немного южнее его, к подножию Кантабрийских гор, — аэродром.

Смотрю на этот аэродром — и холодею. Всего-навсего узкая полоска ровной земли, настоящий «пяточок». Чтобы благополучно посадить на него самолет, требуется большое летное искусство. Справятся ли мои птенцы с такой сложной задачей?..

Но делать нечего. Решаю садиться последним. Из-за тесноты на таком аэродроме последнему приземляться наиболее тяжело. Но у меня все-таки есть опыт.

Даю сигнал Клавдию: покажи пример! Он приземляется точно и, пробежав все поле, останавливается у его границы. Вслед за ним поочередно садятся другие машины. Вот уже последний самолет на земле. Облегченно вздыхаю и сам снижаюсь. Остались капли горючего.

Все! Прыжок через вражескую территорию совершен.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ

Астурия не похожа ни на один из других районов Испании. Это край суровой природы и таких же суровых людей.

«Моряку, плывущему к Валенсии, не нужен компас,— с шутиливой гордостью говорят испанцы.— Он найдет ее по запаху цветов». Очень многие города и села Испании напоминают в этом смысле Валенсию: с весны и до поздней осени бесчисленные инжирные, гранатовые, персиковые, лимонные сады источают стойкое благоухание. В Валенсии, в нескольких километрах от порта, мы однажды заметили, что кромка берега пожелтела. Когда подошли поближе, увидели тысячи мандаринов, прибитых волнами к песку. Мандарины были целые, неиспорченные — они очутились в море при погрузке, вывалились из треснувших ящиков.

В Астурии все по-иному. Здесь суровый климат, который не вынести неженкам персикам или мандаринам. Только яблоки приживаются в здешних долинах. И если ботанической эмблемой Испании могла бы служить оливковая ветвь, то для Астурии пришлось бы сделать исключение: здесь оливковые деревья растут, точнее — прозябают, лишь в парках. Зато пейзаж Астурии немыслим без бронзовых прямоствольных сосен и темно-зеленых пиний.

Под стать этой простой, лишенной всякой декоративности природе люди Астурии. Баски так же не похожи на испанцев, как, скажем, чехи или даже норвежцы. У них иные вековые традиции, иной язык, иные обычаи. В них нет южной пылкости, они умеют глубоко прятать чувства. «Баски не плачут»,— гласит их древняя, мужественная поговорка. Но и нелегко вызвать улыбку баска.

Это мужественный, трудолюбивый народ. В Астурии много рудников, промышленных предприятий, главным образом металлургических. Рабочий класс — основной костяк населения. И это тоже факт огромного значения. Влияние компартии здесь велико, как нигде в Испании, кроме, быть может, одного Мадрида — штаба и цитадели республики.

Не случайно франкисты питают особую ненависть к Астурии и ее народу. Так же, как на Мадрид, они двинули на Астурию свои лучшие, отборные дивизии. Они зверски уничтожили Гернику — национальную святыню, древний центр баскской культуры. Они ведут здесь самую настоящую тотальную войну, подвергая жестоким бомбардировкам не только города, но и небольшие горные деревушки.

Но Астурия не сдастся. Отрезанная от остальной республиканской территории, фактически блокированная и с моря, она яростно сопротивляется.

«Прежде чем мы станем рабами, реки, темные от крови, окрасят море в красный цвет»,— поют баски. Поют протяжно, но в мелодии слышится четкий, железный ритм.

Против фашистов воюет вся Астурия. Это поистине всенародная борьба. Компартия сумела здесь сплотить людей в один монолитный отряд. Не случайно «пятая колонна» никак не может вползти в Астурию. Здесь воюют с врагом мужчины и женщины, юноши и старики.

Это я понял в первый же день пребывания в Сантандере.

Вскоре после того, как мы приземлились на аэродроме, в городе завывли сирены. Вдалеке показались фашистские бомбардировщики. Вылететь им навстречу мы не могли: бензобаки были пусты.

Грохот рвущихся бомб сотрясает землю. Потом наступает тишина. Черный дым, смешанный с пылью, застилает весь аэродром. Один самолет горит; к счастью, это старая машина, давно вышедшая из строя. Но появляется вторая волна немецких бомбардировщиков.

И на этот раз нам не удастся подняться в воздух. И опять грохот разрывов, пронзительный свист осколков. Обиднее всего лежать пригвожденным к земле, сознавая, что ты не в силах оказать врагу хоть какое-нибудь сопротивление.

Встаем. С тревогой осматриваем свои самолеты. Одну машину сдвинуло с места воздушной волной, в других — пробоины от осколков. Но все это чепуха, один-два часа работы механикам.

Хуже обстоит дело с летным полем: уйма глубоких воронок по всей площадке. Что делать? Мы не можем ни взлететь, ни садиться... Припечатаны к земле...

— Нужно немедленно начать работу,— говорю я.

— Придется работать ночью,— замечает Клавдий.

— Может быть, всю ночь,— добавляет кто-то.

Сбрасываем с себя куртки, беремся за лопаты. Грунт тяжелый, каменистый, лопаты то и дело скрежещут о камни. Не до разговоров, не до курения. Кто-то уже снимает рубаху.

Проходит час, а мы, ни разу не присаживаясь, с грехом пополам засыпали всего лишь две воронки, да и то не самые глубокие. Летчики падают духом, у меня опускаются руки: нет, одним нам не справиться! Неожиданно замечаем на противоположной стороне аэродрома группу людей. Что они делают? Кажется, работают лопатами. Оборачиваемся — со стороны стоянки к нам направляются несколько женщин, за ними бегут ребятишки. У женщин в руках лопаты, мотыги.

Они подходят и низко кланяются.

— Мы слышали, у вас аэродром не в порядке..

Ребята держат в руках корзиночки с бутылками молока, с хлебом. Пришли не на час... А в воротах аэродрома показывается еще одна группа.

— Сантандер идет к нам на помощь! — радостно кричит кто-то из механиков.

Не тратя лишних слов, деловито осмотрев поле, крестьяне из соседней деревни и женщины из города идут к воронкам. А за поворотом дороги, проходящей возле аэродрома, видна еще одна группа людей с огромными фруктовыми корзинами...

Скоро во всех концах поля звенят лопаты, кирки. Женщины насыпают землю во фруктовые корзины и подносят их к воронкам. Откуда-то появились носилки.

К вечеру добрая половина поля восстановлена. Теперь мы и сами закончим дело! Но никто из басков не уходит. Женщины расстилают одеяльца и укладывают ребят спать. Старики присаживаются перекурить.

Сгущаются сумерки. Уже почти неразличимы фигуры людей. Но по голосам, которые доносятся с разных сторон, можно понять, что темп работы не ослабевает.

Глубокой ночью мы не спеша обходим аэродром. Светим фонариками. А когда возвращаемся к стоянке, я с удивлением замечаю, что большая толпа людей ждет нашего прихода.

— Как? — слышится только один вопрос.

— Как? Замечательно! Словно и не было бомбежки, вот как!

Мы сердечно пожимаем руки нашим помощникам, провожаем их. И они уходят в ночь, неторопливо, молча, только изредка перебрасываясь скупыми словами. Железные люди!..

С этого дня жители Сантандера становятся нашими верными помощниками. Когда через два дня аэродром был вновь разбомблен, я уже не сомневался: помощь будет! И действительно, вскоре на дороге показались женщины, старики, подростки.

Они приходят к нам каждый раз, когда нужна помощь.

ЛЮДИ МУЖАЮТ В БОРЬБЕ

Нас мало, нас очень мало: две эскадрильи на всю Астурию. У противника несколько авиационных соединений.

Каждая боевая машина, каждый летчик в республиканской Астурии — величайшая ценность. Мы это знаем и стараемся выжать все, что возможно, из нашей техники.

Вот взрывается ракета. Взлетаем — и недалеко от Сантандера встречаем группу фашистских бомбардировщиков, идущих в сопровождении истребителей.

Я навсегда запомнил этот бой, в сущности, первый в Астурии. Трудно описать, с каким упорством и беззаветной храбростью сражались молодые летчики.

Самолеты противника настойчиво пытались прорваться к городу. Они уже не раз сбрасывали свой смертоносный груз на мирных жителей Сантандера.

Мы преградили им путь к городу. От наших ударов два вражеских бомбардировщика рухнули в провалы горных ущелий. Немецкие истребители потянулись обратно

к своим аэродромам. Чувство гордости за своих учеников наполнило мое сердце. Молодцы! Сбылось то, о чем они мечтали и к чему упорно готовились.

Мы все до единого возвращаемся на аэродром. Приятно ласкает ухо порывистые звуки сирен, оповещающие жителей о том, что опасность миновала.

Я вижу, как Клавдий выскакивает из машины и горячо обнимает своего товарища. — Ты слышишь эти гудки? Это наша победа!

Да, первая значительная победа! Наконец-то мы остановили врага на подступах к Сантандеру.

Но главное, что меня радует, это даже не самый боевой успех, а его причины. Я почувствовал, что молодые летчики стремятся к взаимодействию, заботятся о взаимовыручке, о дружных, совместных действиях. Порой во время боя я забывал, что сражаюсь вместе с новыми товарищами. Казалось, что вот ту машину ведет Панас, а рядом со мной летит не Клавдий, а Бутрым.

Однако неотвратимо надвигается опасность перенапряжения сил. Оно часто непосильно и для опытных воздушных бойцов. Франко рассчитывает, что блокированная со всех сторон северная группировка республиканских войск не сможет долго продержаться. Вот почему фашисты изматывают войска и население ежедневными бомбардировками с воздуха. И вполне понятно, почему фашистское командование с таким остервенением бросает стаи своих истребителей против нашей эскадрильи. Мы им путаем все карты.

Почти каждый вылет сопровождается ожесточенными боями. Не одолев нас в первых воздушных схватках, фашисты вновь принимают бомбить наш аэродром. Они стараются прилетать как раз в те минуты, когда мы заправляем машины горючим и боеприпасами. Рассчитать время посадки наших самолетов не слишком сложная задача.

В результате наш боевой день проходит так: с рассвета улетаем на задание и обычно через несколько минут встречаемся с противником. Возвратившись, сразу же начинаем торопить механиков: скорее заправляйте машину! Уже с первых дней мы усвоили правило: прилетел — не вылезай из кабины, — может быть, механик еще не успеет полностью залить бензобак, как уже придется вновь подниматься в воздух. Нередко мы взлетаем с неполноценным боекомплектом.

Осенние дни сравнительно коротки; это уже не те летние дни под Мадридом, когда заря спешила догнать закат. Но я подсчитываю число боевых вылетов и вижу, что мы, в общей сложности, находимся в воздухе столько же времени, что и летом. В среднем мы делаем семь-восемь вылетов в день. Если учесть, что летчики лишь изредка получают возможность вылезти из кабины и поразмяться, что с утра до вечера они находятся в машинах, в полусогнутом положении, что обедать нам приходится урывками, на ходу, то станет ясно, как достается каждому из нас.

От многочасового сидения в кабине многие стали сутулиться. Плохо спят: несмотря на усталость, ворочаются, бормочут во сне, что-то выкрикивают.

Не легче и механикам. Они дежурят на аэродроме с начала до конца полетов. Но ведь редко выдается день, когда мы возвращаемся целехонькими. Наоборот, каждый день в машинах пробоины. Ремонт приходится делать ночью.

Напряжение страшное. С тревогой я думаю: вытерпят ли мои летчики нечеловеческую перегрузку, не сдадут ли у них нервы?

Тот, кто воевал, знает, как вдохновляет человека победа, сколько новых сил и возможностей открывает он в себе, если добился успеха. Нам удастся иногда за один день сбить несколько вражеских самолетов. Это бывает в самые нелегкие дни. Но летчики словно преображаются. Вечером Клавдий достает свою заветную тетрадку и при свете электрического фонарика пишет стихи.

В дни, когда мы возвращаемся без особого успеха, люди кажутся усталыми.

Победа — вот лучшее средство восстанавливать силы.

Молодые летчики успешно овладевают искусством воздушных боев.

Однажды утром я прохожу по стоянке и вижу, как один из летчиков вместе с механиком старательно замазывает краской огромного коричневого тигра, нарисованного на фюзеляже. Примета зрелости!.. Попробовали бы вы месяц назад сказать, что все

эти тигры, орлы, коршуны на фюзеляжах — чепуха, несерьезное молодечество, так же как бесчисленные амулеты в кабинах — старомодное суеверие!.. Даже Клавдий и тот постоянно возил в своей кабине разноцветную фигурку клоуна. Правда, он отшучивался: «Это мой второй пилот. Он мне рассказывает, куда нужно лететь».

Теперь поняли: врага не испугаешь разинутой пастью тигра и в бою не спасет амулет. Не спас же амулет Мигуэля, хотя у него был амулет из амулетов — браслет, свитый из волос любимой девушки. Не спас амулет и Педро...

Двух летчиков потеряли мы. Двух способных летчиков. Потеряли из-за собственной оплошности: они оторвались от нас, а мы вовремя не помогли.

Мы сполна отплатили за гибель товарищей и продолжаем платить врагу смертью за смерть. В моей записной книжечке против каждой фамилии летчика стоят палочки. Каждая палочка — сбитый вражеский самолет. Больше всех сбил Клавдий — шесть фашистских истребителей.

Иногда мы низко пролетаем над передовой, и я вижу, как солдаты в окопах поднимают винтовки, приветствуя нас. В эти моменты белый шарф Клавдия развевается, как вымпел.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ХУАНА

Я держу на ладони четыре смятых кусочка свинца. Угоди они в мой самолет вчера, мне бы не сдобровать. А сегодня я ощутил лишь дробный глухой стук за спиной и в бою не придал ему особого значения.

Хуан очень доволен.

— Хорошо, что мы придумали эту спинку!

— Не мы придумали, а ты, Хуан! — говорю я механику.

Золотой, чудесный парень! И скромник, каких свет не видал. Поменьше говорить и побольше делать — вот жизненное правило Хуана.

В тот день, когда мы прилетели в Астурию, я лишь под вечер смог поговорить с ним.

— Как ты себя чувствуешь после полета? — спросил я.

Хуан удивленно приподнял брови.

— Спасибо, камарада Борес! Чувствую себя хорошо. Правда, в полете немного замерз, но когда услышал, что вы стреляете, забыл о холоде.

— Не страшно было? — улыбнулся я.

— Нет, что вы! Я все думал, что хотя мое тело — лишний балласт для самолета, но зато в случае чего оно могло послужить защитой для вас сзади. Это меня успокаивало.

Хуан говорил искренне. Я знал это, но возмущился и резко сказал ему:

— Не говори глупостей, Хуан!

— Какие глупости, камарада Борес! Говорю вам, я всю дорогу думал о том, что сзади летчик совершенно не защищен, и сейчас об этом все время думаю.— И тихо добавил: — Надо что-то придумать. Так дальше нельзя воевать.

Я не придал значения этим словам. Что можно придумать? Броню за сиденьем летчика? Но ведь это — дело конструкторов: уж кто-кто, а они-то знают, что в бою смерть всегда подкарауливает летчика сзади. Видимо, конструкция самолета не позволяет устроить броневую защиту за спиной пилота. Броня утяжелит вес самолета, снизит его летно-тактические данные. Ну, а что касается того, можно ли так дальше воевать или нельзя, то жизнь говорит: можно. Можно, если хорошо усвоишь одно правило: «Не подставляй в бою спину, а иди на врага грудью». Правда, правило правило, а бой боем, и у человека не сто глаз. Но что поделаешь?

Не оценил я слов Хуана и скоро забыл о них, так же как и о вопросе, который он мне задал тем же вечером.

— Скажите, камарада Борес, как вела себя машина в воздухе, когда мы летели сюда?

— Отлично,— коротко ответил я.

— Очень хорошо...— задумчиво произнес Хуан и расплылся в улыбке.— Прекрасно!

Гибель Гарсиа — молодого испанского летчика — окончательно утвердила Хуана в его решении.

Произошло это во время одного из налетов бомбардировщиков, когда франкисты приближались к аэродрому. Наша эскадрилья успела взлететь. Мы врезались в строй фашистов. Воздушный бой завязался над самым аэродромом. Наши атаки вскоре увенчались успехом. Два бомбардировщика упали на окраине Сантандера. Но тут же на горизонте показалась большая группа немецких истребителей. В плотном строю они шли к месту боя.

Мы пошли в лобовую атаку. Нас было значительно меньше, чем немцев. Повсюду мелькали крылья с фашистской свастикой и черными крестами. Но испанцы дрались умело. Буквально в течение нескольких минут немцы потеряли еще два самолета. Но и «мессерам» удалось сбить одного республиканца. Он упал на окраине аэродрома, словно и в смерти своей не желая расставаться с родным гнездом.

Гарсиа был убит в воздухе. Несколько пуль поразило его сзади.

— В спину? — переспросил меня Хуан.

— Да.

— Камарада Борес, так больше продолжаться не может, я не могу спокойно смотреть на это! Вы помните, как погиб над Мадридом ваш друг Алехандро Минаев. Он тоже был убит в спину!

Впервые я видел Хуана горячо жестикулирующим.

— Разрешите мне на несколько часов уехать в город, а ваш самолет обслужит другой механик.

Я удивился, но дал согласие: Хуан никогда не отлучался без крайней необходимости.

...Наступали сумерки, когда на летное поле лихо вкатил маленький грузовичок. Машина круто затормозила перед нами, и с нее прыгнул Хуан. За ним степенно перелез через борт пожилой незнакомый человек.

— Камарада Борес! — подбежал ко мне возбужденный механик. — Я привез рабочего с судоремонтных верфей, и вот посмотрите, что еще мы привезли, — это листовая сталь. Настоящая сталь!

И он показал стальную плиту причудливой формы...

— Камарада Борес! Мы вырезали из стали такой кусок, который будет закрывать сзади спину и голову летчика. Весит он всего 19 килограммов. Вот! — И Хуан торжественно поднимает над головой плиту. — Камарада Борес! — Сталь со звоном падает на землю. — Я в три раза тяжелее, чем эта плита...

— А ну-ка, принесите винтовку и несколько бронебойных патронов, — попросил я одного из авиамехаников.

Мы ставим плиту возле большого камня. Я заряжаю винтовку и отхожу на сто пятьдесят метров. Выпускаю всю обойму. Тотчас же винтовка в сторону, и мы бежим к плите. Ни одна пуля не прошла навывлет: сделав лишь вмятины, все пять пуль, сплюсненные, лежали на земле. Здорово! Первую минуту все стоят, как зачарованные, не отрывая глаз от чудесной плиты.

— Давайте-ка попробуем ударить со ста метров, — говорю я.

Бью снова, и еще быстрее мы бежим к плите.

— Нет, ничего нет! Смотрите! — ликует Хуан.

И правда: ни одного отверстия. Ну и здорово!

— Теперь один вопрос: когда вы можете, — спрашиваю я рабочего, — нарезать плиты для всех самолетов?

— О! — восклицает рабочий. — Завтра же!

И вот я держу на ладони четыре бесформенных кусочка свинца и не могу оторвать от них глаз. Сколько жизней сбережет для республики простое изобретение Хуана!

Вот и он стоит — худощавый, щуплый, как подросток, в замасленном старом комбинезоне — и ковыряется в моторе. Пожалуй, уже забыл наш разговор. Может быть, новые заботы одолевают его.

Я не хочу подходить ближе: он не любит, когда ему мешают во время работы.

Вновь и вновь мои мысли возвращаются к бронированной спинке. Пройдут годы, и каждый боевой самолет обрстет броневым прикрытием сзади. И будет это прикры- тие прочнее, надежнее, чем стальная плита, грубо вырезанная автогенном на сантан- дерской судовой верфи. Но этот первый броневой заслон я не забуду никогда. Не забуду его, не забуду и горячее сердце Хуана.

ТЯЖЕЛОЕ ЗАДАНИЕ

Ночью по палатке мелкой дробью постукивал дождь, под одеяло ползла липкая сырость. К утру стихло, но небо оставалось затянутым провисшими от влаги тучами. Рассвет начинался нехотя. Нелетная погода.

Дольше обычного я лежал на койке: делать-то нечего! И вдруг задрезжал теле- фонный звонок.

— Слушаю вас.

Голос командующего. Глуховато, неторопливо он сообщает, что за перевалом фа- шистские бомбардировщики усиленно бомбят республиканские позиции, расположен- ные в одном из горных проходов.

— Неужели за перевалом хорошая погода?

— Да. Ведь это же Астурия, горы. Здесь в каждой долине своя погода.

Командующий спрашивает: можем ли мы вылететь на помощь? «Помощь очень нужна», — подчеркивает он. Франкисты решили любой ценой завладеть этим проходом, чтобы вывести через него свои войска к Бискайскому заливу, к городам Кихону и Сан- тандеру.

Одно мгновение я колеблюсь. Мы действительно едва ли сможем вылететь. Но ведь нас ждут! Сотни солдат — астурийских горняков — не знают, что над нашим аэродромом висит свинцовая облачная пелена. Видят над собой ясное небо и в нем фашистов и думают: а где же наши, что же наши?..

— Мы вылетим сейчас же.

— Хорошо. Желаю вам успеха.

Выхожу из палатки, и меня невольно берет оторопь. Резкий, порывистый ветер. Полотнища палаток приподнялись и готовы оторваться от кольев. Со стороны моря тя- нутся и тянутся хмурые тучи. Все небо наглухо закрыто ими, а они продолжают клу- биться в высоте, опускаясь все ниже и ниже. М-да, погодка... Пробивать облачность вблизи высоких гор немыслимо. Что же делать?

Стою в раздумье и невольно вспоминаю Серова. Анатолий, наверно, нашел бы выход. Серов... А что, если осуществить его идею — он ее раз высказывал и, может быть, уже применял. Идея дерзкая: пробивать облачность не так, как это мы делали обычно — порознь, а в плотном строю, крыло к крылу. «Понимаете, что это значит? — говорил Анатолий, защищая свои мысли. — Это значит, что командир за время полета ни на минуту не выпустит из своих рук управление подразделением. Раз! Это значит, что эскадрилья наверняка не потеряет ориентировки в слепом полете, если, конечно, у нее толковый командир. Ну, а командиры должны быть толковыми. Два! И это зна- чит, что самолеты выйдут из облачности не поодиночке, а все вместе и смогут уда- рить по врагу со всей силой, крепко сжатым кулаком! Три! Вы понимаете, что это значит?!»

Понимаю, все понимаю, Толя. Помню, как ты вместе с Михаилом Якушиным даже демонстрировал нам пробивание облачности строем. Но ведь это ты и Якушин, люди, обладающие редкостным мастерством! Недаром же о Михаиле говорят, что он ходит с тобой так, словно держится рукой за твою плоскость. А что, если по неопытности мои летчики в тумане, в «молоке», столкнутся друг с другом?

Но почему я так плохо думаю об испанских летчиках? Пролетели же мы через всю территорию мятежников на большой высоте без кислородных приборов? Показали же испанцы в боях незаурядное летное искусство? Почему же они непременно столк- нутся в воздухе, если строем войдут в облачность? Чепуха! Нужно и можно рискнуть. Главное — нужно. Тогда мы действительно дадим жару фашистам. И в конце концов только одному командиру придется вести слепой полет, а остальные будут ориенти- роваться в пространстве по плоскостям соседей. Для всех летчиков полет не будет

слепым. Ну, а для того, чтобы убавить риск, можно будет пробивать облачность не всей эскадрилей сразу...

Решено! Собираю летчиков. Клавдий бросает на меня вопрошающий взгляд. Некоторые с досадой посматривают в сторону Кантабрийских гор, до половины окутанных тучами.

Рассказываю о задании командующего.

— Задание действительно тяжелое. Будем выполнять так: после взлета мы пойдем не в горы, а в сторону моря, километрах в десяти от берега попробуем пробить облака и выйти выше них на чистый простор. Всей эскадрилей сделать это едва ли удастся, оставлю часть ее над облаками, а затем вернусь за остальными самолетами.

Летчики плотнее обступают меня.

— Одно следует твердо запомнить и выполнить, — продолжаю я. — Перед тем, как войти в облака, сомкните крыло в крыло и все внимание — впереди идущему самолету. После выполнения задания на обратном пути пробивать облачность вниз каждый будет самостоятельно, выдерживая направление полета только к берегу. Ясно?

Раздаются голоса:

— Крыло в крыло...

— Значит, всей эскадрилей выйдем в район боя!

— Это здорово!

— Ну, что ж, если ни у кого нет сомнений, по самолетам! Желаю всем успеха! Быстрее собирайтесь.

Взлетаем. Пристраиваемся, и я беру курс к морю. Потом нам рассказывали, что жители Сантандера чрезвычайно удивились, увидев, что республиканские истребители впервые почему-то уходят в сторону, противоположную фронту. Пошли толки: не покидает ли авиация Астурию? Сомнения несколько рассеялись, когда я с первой группой истребителей вошел в облака, временно оставив вторую группу над морем. Загадочный маневр, но он несколько успокоил жителей: уж если бы самолеты уходили, так сразу все. В это время мы уже пробивали облака. Словно привязанные один к другому, самолеты шли тесным, плотным строем. Я понимал, что успех дела зависит сейчас только от меня, от ведущего.

Нервы напряжены до предела. Кажется, что мы уже давно идем в «молоке». Где же край этой толщи облаков?

И вдруг в кабину брызнули яркие лучи солнца. Я невольно зажмурился. Потом, щурясь, посмотрел вниз. Под самолетами расстилалось необозримое, слегка холмистое облачное поле. И среди этих белых холмов поднимались острые вершины Кантабрийских гор, покрытые искрящимся снегом.

Через несколько минут тем же путем провожу и остальные самолеты. Самое тяжелое осталось позади. Теперь к району боя!

Обе группы сливаются в одну. Летчики отлично держатся в строю. Постепенно облачная пелена, прикрывающая землю, истончается. Наконец вдали показывается край облачного поля. Удивительное дело, дальше ни облачка!

Не изменяя боевого порядка, мы стремительно приближаемся к месту боя. Мы появляемся как раз в тот момент, когда вторая волна фашистских бомбардировщиков готовится сбросить бомбы. Немцы, видимо, всерьез решили, что появление республиканских самолетов из-за неблагоприятной погоды исключено. Оглядывая воздушные окрестности — ни одного вражеского истребителя.

Даю сигнал: «Приготовиться к атаке!» — и только в этот момент немцы замечают нас. Поздно! Они не успевают принять контрмер, мы раскалываем их строй, и в первую же минуту два бомбардировщика, объятые пламенем, падают вниз.

Фашисты в панике. Беспорядочно сбрасывают бомбы (кажется, на своих. Совсем хорошо!). Мы их преследуем, но не долго. Из-за хребта показываются истребители с черными крестами и паучьей свастикой.

Одно-два мгновения, всегда полных огромного напряжения. Мы сближаемся. Успеваю лишь приблизительно сосчитать гитлеровцев: много, очень много. Но что это такое: справа еще целая эскадрилья?! Сколько же их, сволочей, здесь в Астурии...

Звучит сухой треск первых очередей. Не обороняться, а нападать, иначе сразу же

сомнут, — вот правило, которого мы постоянно придерживаемся в таких неравных боях.

Испанцы сражаются отчаянно. Нам удастся крепко держать инициативу в своих руках. Один за другим валятся на землю три немецких истребителя. Вспыхнул и один республиканский самолет. Кто это, кто?..

Драться парами, не позволять противнику расколоть пару, — это наше второе правило. Рядом со мной дерется Клавдий. Молодец Клавдий! Отбиваясь от немцев, он швыряет их в разные стороны, помогая мне. Фашисты почему-то с особенным остервенением бросаются сегодня на Клавдия. Неужели им удастся оттянуть его в сторону?

Немцы наваливаются на нас кучей. Клавдий делает все, что может. Но что можно сделать... И вот я теряю его из виду. Четыре «мессера» непрерывно атакуют меня с разных сторон. Стараюсь бить в упор по немецкому самолету, на борту которого нарисован удав с разинутой пастью. Сраженный истребитель валится вниз. Успеваю развернуться навстречу другому, нажимаю на гашетки, но пулеметы молчат. Патроны вышли.

Конец?

И вдруг сухой треск раздается совсем близко сзади. Мотор делает несколько неровных рывков, и винт останавливается. Леденящая мысль заставляет на мгновение оцепенеть: «Неужели действительно конец?»

Внизу облака. Земли опять не видно. Скрыться в облаках? Но как скрыться, если мотор не работает? Где я приземлюсь? Здесь же кругом горы, горы, горы!..

Невольно тянусь к парашютному кольцу, и тотчас же отдергиваю руку. Ветер дует в сторону противника: выброситься — неминуемо попасть в плен.

Но искра надежды не угасает в сознании. Что делать? Что делать? Только одно — идти в облака, планировать, а там уж что будет...

Иду вниз, стараюсь направить самолет к республиканской территории. Жутко: мотор молчит, слышу, как за кабиной свистит встречный поток.

Фашисты не успевают повторить свою атаку. Белая масса облаков смыкается над моей головой. Самолет быстро теряет высоту и с нарастающей скоростью падает в бездну. Напрягаю зрение, стараюсь пронзить взором глухую, облачную пелену и хоть за что-нибудь уцепиться взглядом. И вдруг впереди мелькнуло какое-то темное пятно, и разом все кончилось...

Очнулся от страшного озноба, пробиравшего до костей. В голове невероятный шум, что-то теплое и липкое клопочет в горле. С трудом приподнимаю тяжелые, словно оловянные веки и первое мгновение не могу понять: вижу или не вижу? Нет, вижу: это непроницаемый белый туман окружил меня. Руки упираются во что-то холодное и мокрое. Трудно дышать. Кашляю, выплевываю черный сгусток крови. Сразу становится легче. Быстро проясняется сознание. Резко, отчетливо вспоминаю все, что произошло. Спас меня глубокий рыхлый снег, местами лежавший на вершинах гор. Я врезался как раз в такое снежное поле.

Жив!

Теперь нужно собрать все силы, всю энергию, чтобы сохранить жизнь. Надо быстрее уползть со снежного поля. На мне легкая шелковая майка и летние брюки, они уже насквозь промокли от тающего снега. Выбираюсь из-под обломков самолета и на ощупь ползу по снегу вниз. Ползу, потому что чувствую: на ноги мне сейчас не подняться — мало сил, упаду. Оглядываюсь: на снегу алеют пятна крови.

Но вот снег остается позади, на камнях озноб начинает почему-то пробирать еще сильнее. Больно, очень больно на камнях. Боль ломит кости. Как ни поворачивайся, все равно плохо. Но ползти надо, иначе погибну.

Стараюсь не останавливаться. Не знаю, сколько времени продолжается этот мучительный спуск: может быть, час, два, а может быть, и пять. Чувствую лишь, что становится теплее, туман разрежается. Граница облаков близка: не за тем ли большим камнем?

И вот — неужели?! — передо мной открывается слегка затуманенная даль. Синее море и где-то внизу, далеко-далеко смутные очертания Сантандера. И веселое, ласковое солнце. Теплая земля.

Величайшая, ни разу не испытанная мною радость охватывает меня. Я пробую встать, но изнеможение валит снова на землю... На теплую землю... Очень хочется спать. Не помню, как вновь приходит забытье...

По-видимому, прошло еще несколько часов. Грубые толчки в бок заставили меня открыть глаза. Гляжу: надо мной три человека в крестьянской одежде. Лица суровые, испытывающие: кто я? У одного крестьянина в руках большой камень, у другого увесистая дубина. Пытаюсь привстать, но тут же падаю навзничь. Собравшись с силами, прошу, чтобы мне помогли спуститься вниз. Услышав ломаный испанский язык, крестьяне молча переглядываются.

— Ну, конечно, немецкий летчик! — презрительно сплевывает один из них.

— Пришибить его на месте, и все! — добавляет другой.

— Я республиканец!

— Э-э, нас не проведешь! — усмехается пожилой крестьянин и режет, глядя мне прямо в глаза: — Республиканцы так не говорят.

С ужасом чувствую, как силы вновь оставляют меня. Кричу, но губы не шевелятся:

— Я русский, вон там внизу мой аэродром...

И снова мрак, пустота...

Крепкое вино обожгло горло. По всему телу разлилась приятная теплота. В третий раз вернулось сознание.

Чистенькая, выбеленная мелом комнатка. Женщина в белом халате стоит у моей кровати и держит в руках ложку и небольшую бутылочку. Осматриваюсь. Ничего не могу понять: где я?

— На своем аэродроме, — улыбается женщина, — только лежите, пожалуйста, вам сейчас необходим полный покой.

— На своем аэродроме? Но как я сюда попал?

— Лежите тихо, молчите. Вас принесли сюда крестьяне из соседней деревни. Они нашли вас в горах.

Значит, те трое все-таки поверили, помогли?!

— Принесли и страшно испугались, когда узнали, что вы действительно республиканский летчик, да еще командир эскадрильи. Успокойтесь... Вам нужно лежать спокойно. Они сказали, что придут завтра навестить вас и просить прощения.

— Прощения? Ведь они спасли меня!

— Боже мой! Я уйду... Я вам запрещаю разговаривать. Ведь все так ясно: они вас приняли за немца. Они узнали, что вы русский лишь после того, как вы снова потеряли сознание. Нашли в вашем кармане удостоверение и прочитали его... Хватит, хватит разговаривать. Я ухожу.

Женщина направляется к двери, но, прежде чем доходит до нее, в коридоре раздается вежливое, нерешительное шарканье.

— Нельзя, нельзя! — говорит она, открывая дверь.

А я вижу своих дорогих ребят. Они стоят, боясь переступить порог.

— Пустите их, — говорю я. — Пустите...

Женщина вздыхает и покорно опускается на табуретку возле двери. Я бы на ее месте тоже не смог отказать... Хуан входит в комнату на цыпочках. Летчики стараются сохранить серьезность, но это им не очень удается.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивает Клавдий.

— Кости как будто целы, а остальное заживет. Вы лучше скажите, чем кончился тот злополучный бой?

— Одного мы потеряли, товарищ командир, зато сбили пять фашистов и ясно, что сорвали все их планы.

— Кого потеряли?

На минуту в комнате воцаряется тишина: «Гардиа!..» Молчаливый юноша с порывистыми движениями.

— Ведь это Гардиа запевал нашу любимую песню: «Широка страна моя родная»? — спрашиваю я.

— Да, он хорошо пел... — тихо говорит Клавдий. — Мы, товарищ командир, совсем было повесили головы, когда узнали, что и вы не вернулись. Мы решили еще раз слетать туда же, чтобы отомстить за вас и за Гардиа.

— Ну, если вы и впредь так же будете «вешать головы», то это совсем не плохо. А как вы прошли туда? Погода улучшилась?

— Нет, — качает головой Клавдий, — погода была такая же, но мы пошли «проторенным» путем — по тому же самому маршруту и точно тем же способом...

— Кто вел эскадрилью? Ты, Клавдий?

— Да, я, — отвечает он, не скрывая своей гордости.

Я крепко, насколько могу,жимаю ему руку.

Это рукопожатие обходится нам недешево. Женщина, молчавшая до этого момента, решительно заявляет, что она больше не допустит присутствия посторонних лиц. Она врач и знает лучше, что ей нужно делать. Целое собрание людей, и, видите, уже начались рукопожатия. Нет, нет, сию же минуту все должны уйти отсюда!

Она наступает на летчиков, и те вынуждены подчиниться.

На следующее утро в дверь осторожно постучали.

— Войдите!

Дверь скрипнула, и я увидел вначале большую кожаную бутылку, затем показался бородатый широкоплечий дядя. За ним стояли еще двое крестьян с корзинами. Все трое виновато улыбались.

Они!

Крестьяне несмело вступают в комнату, оглядываются: не наследили ли? Не дойдя до кровати, бородач глуховато басит:

— Просим прощения, что признали вас за немца... Вы уж нас, камарада, извините. И еще вот... Это мы вам винца принесли для поправки здоровья и фруктов... Что есть — вы не обижайтесь...

Лицо его расплывается в добрейшей улыбке.

— Легкий ты парень, — говорит другой. — Втроем было совсем легко тащить.

Они садятся возле кровати, и я с удовольствием слушаю рассказ бородача о том, как они нашли и выручили меня из беды, рассказ долгий, подробный, с многочисленными отступлениями.

А потом рассказываю я: о Советском Союзе, о нашей жизни.

Прошло несколько дней, и я вышел на аэродром. На том месте, где обычно находилась моя машина, стоял новый самолет. На его хвостовой части ярко вырисовывалась цифра «3».

— Послушай, Хуан, ведь на нашем самолете стояла пятерка! Почему же теперь тройка?

— Старый номер несчастливый, — ответил Хуан. — Притом фашисты хорошо знают, что командир эскадрильи летал на самолете с номером «5». Вот я и решил изменить номер.

— И зря сделал! Нарисуй снова пятерку, да поярче, чтобы ее за километр было видно. Они думают, что им удалось сбить командира республиканской эскадрильи. А мы им покажем, что это не совсем так.

Хуан постоял, подумал и рассмеялся.

— Правильно, камарада Борес.

Через час на руле поворота вновь красовалась большая цифра «5» с прежней белой окантовкой. В тот же день я снова поднялся в воздух вместе со своими испанскими товарищами. Я не знал, что это один из последних полетов над Астурией.

В полночь над Сантандером появился самолет. Что за гость? Если вражеский бомбардировщик, то почему он идет один? Разведчик? Но что можно увидеть в такой кромешной тьме?

Мы высыпаем из палаток. На самолете горят бортовые огни. Каким-то чудом ориентируясь в пространстве, он идет в направлении нашего аэродрома.

— Транспортный самолет... — заметил кто-то.

Медленно снижаясь, он делает круг над городом и идет на второй заход.

— Да что же мы стоим! Ведь он к нам прилетел!

Быстро зажигаем костер, расстилаем возле него посадочное «Т»: большего мы сделать не можем — у нас нет даже завалящего прожектора. Экипаж транспортника, приглушая мотор, идет на посадку.

Через несколько минут грузная машина приземлилась. В неимоверно тяжелых условиях летчик посадил ее мастерски.

Бежим на звук невыключенных моторов. Самой машины не видно, вообще ни черта не видно: того гляди, наскочишь на впереди бегущего.

От самолета отделяется коренастый летчик.

— Мне нужен командир эскадрильи, — говорит он. Называет свое имя, показывает документы.

— Слушаю вас, — говорю я.

— Командование приказало мне сообщить вам устное распоряжение, — четко, по-военному докладывает летчик, — вам надлежит передать эскадрилью своему заместителю Клавдию и сегодня же ночью на нашем самолете прибыть в Валенсию.

— Сегодня ночью? Но когда мы должны вылететь?

Летчик смотрит на часы со светящимися стрелками.

— Через час. Не позже.

Я смотрю на своих друзей испанцев.

— Камарада Борес!.. — трогает меня за рукав Клавдий.

Я знаю, о чем он думает, и сразу говорю ему:

— Ты уже не тот, что был два месяца назад, ты уже не юнец. На днях эскадрилья уже воевала под твоим руководством, и как хорошо воевала! Отбрось все сомнения.

Услышав имя Клавдия, командир транспортного самолета обращается к нему:

— Камарада Клавдий! Разрешите поздравить вас: командование присвоило вам звание капитана-колонеля.

Клавдий в смятении. «Капитан-колонель» — большое и почетное звание в республиканской авиации, не многие из летчиков носят его.

— Я постараюсь оправдать новое звание! — взволнованно отвечает он на поздравления.

Час проносится, как несколько минут. Мы с Хуаном еле успеваем сбегать за своими чемоданчиками, взяв инструменты Хуана (он неразлучен с ними), поговорить на прощание с летчиками.

Трудно расставаться с товарищами. Особенно трудно, если прощаешься второпях. Все время кажется, что забыл кому-то сказать очень важные слова.

Но командир экипажа торопит: «Мы должны затемно вернуться в Валенсию. Ведь лететь придется над вражеской территорией...» Мы садимся в самолет. Дверца плотно захлопывается. Машина вздрагивает всем корпусом и устремляется в ночную тьму. Я смотрю в окно, на земле ничего нельзя различить. Но я знаю, что все мои друзья молча стоят сейчас и прислушиваются к удаляющемуся гулу моторов.

Вот и Астурия стала родным для меня местом. Сколько раз с благодарностью я буду вспоминать о ней — о родине мужественных, крепких телом и духом людей.

Хуан сидит рядом, примолк. Наверное, тоже грустит.

— Ну как, Хуан, — хочу я ободрить его, — опять мы улетаем в новые края.

— Да, камарада Борес.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Камарада Смирнов... — повторил мою фамилию командир авиационного соединения и неожиданно распрямылся, взяв руки по швам.

Я почувствовал необычную торжественность момента и невольно тоже вытянулся, еще не подозревая, что командир скажет дальше.

— ...Поздравляю вас с большой наградой. Мы получили сообщение из Советского Союза. Ваша Родина отметила заслуги нескольких русских летчиков перед республиканской Испанией. Вы награждены орденом Красного Знамени.

Командир крепко жмет мне руку.

— А помнит о вас Родина, — говорит он. — Следит за вами. Как мать, которая, чем дальше от нее уехал сын, тем больше думает о нем.

Я взволнован неожиданным известием и не могу подобрать ответных слов. Родина!.. Как хорошо и правильно только что сказал о ней командир: мать!.. В памяти возникают Москва, Люберцы, наш аэродром. Мой учитель Губенко, далекие друзья-товарищи. Отчетливо ясно вижу Красную площадь, Кремль, первомайскую демонстрацию, над которой мы пронеслись в полный солнечного света день.

— Спасибо за радостную весть, — волнуясь, отвечаю я на поздравление командира.

— Давайте подумаем о будущем, — говорит он. — В Астурии почти безнадежное положение...

Он произносит это глухо, с трудом. Только тут я замечаю, что у командира глубоко запавшие от бессонницы глаза, что за последний месяц он ссутулился и поседел.

— Безнадежное, — повторяет он, искоса, словно с опаской, взглядывая на верхний угол карты. — Да... Именно поэтому мы вас и вызвали.

Я начинаю догадываться, в чем дело.

— А летчики? Моя эскадрилья?

— Они прикроют отход партизан в горы. После этого снова совершат перелет через территорию врага.

Командир задумывается на минуту, потом резко встряхивает головой, словно сilyась отогнать дурные мысли.

— Хватит об этом. Перейдем к делу. Отдохните пару дней и принимайте свою прежнюю эскадрилью.

После всего, что я услышал, проявления радости не очень уместны, но как хорошо было узнать, что скоро увидишь своих старых друзей.

— Да, кстати, — говорит командир, досадливо потирая лоб, — чуть не забыл, плохая у меня стала память... Поздравьте своих друзей — Петра Бутрыма и Иванова. И они награждены орденами Красного Знамени.

Еду обратно на Валенсийский аэродром, обуреваемый самыми противоречивыми чувствами. Радуюсь, что увижу дорогих мне ребят, но как только подумаю о Клавдии, о только что покинутой эскадрилье, о ее нелегкой, многострадальной судьбе, невесело становится на душе...

Командир соединения выделил нам на Валенсийском аэродроме самолет.

В тот же день вместе с Хуаном лечу на аэродром Ихар. Там базируется моя старая эскадрилья.

Снижаюсь. Подруливаю на подходящее для стоянки место и, не торопясь, вылезая из кабины.

Никто не встречает меня, никто не бежит к самолету. Не ждут. Ну, а к посадке чужого самолета уже привыкли относиться без особого интереса. Что ж, в неожиданных встречах есть особая прелесть!

Освобождаюсь от парашюта. Волнуюсь. Иду к камышовому сарайчику, примеченному еще с воздуха, стараюсь идти медленно, но волнение подхлестывает меня. Уже не иду, а бегу... Стоящие у навеса летчики замечают меня — и вдруг все разом бросаются навстречу. Еще издали Панас кричит:

— Борис! Дружище! Да ты никак живой!

Подбегает, целует.

— А мы по тебе хотели поминки справлять...

— И то хорошо! Значит, вспоминали...

— У нас прошел слух, что тебя сбили на севере и ты погиб в горах! — кричит Волощенко.

С разных сторон к нам подходят испанские летчики, механики. Приветственные слова раздаются со всех сторон.

— Что же мы стоим под солнцем! Пойдемте в ваши хоромы, — говорю я.

Подходим к камышовому навесу. «Наше дневное обиталище и вместе с тем КП», — жестом заправского гида объясняет мне Волощенко. Навес мне нравится. С него спускаются полотняные пологи, хорошо защищающие от солнца, ветра и пыли. Заходим внутрь: прохладно и даже уютно. Посредине стоит стол, накрытый скатертью, вокруг стола — аккуратно расставлены плетеные кресла и стулья. В одном углу висит старый, знакомый телефон, наш спутник во всех кочевках.

В палатку заглядывает повар.

— Обед готов! — провозглашает он.

Появляется вино, и мы всей семьей усаживаемся за стол, я поднимаю тост за Бутрыма и Панаса.

— Поздравим их с орденами Красного Знамени!

Панас от волнения расплескивает вино.

— Шутить? — спрашивает он меня, но, видимо, сразу убеждается, что я вовсе не намерен шутить. — Борис! Дорогуша! Дай я тебя еще раз поцелую!

Активность фашистской авиации начала заметно усиливаться. Но бои пока не стали ожесточенными, как над Мадридом или на севере. Объясняется это, пожалуй, тем, что на Арагонском фронте, где мы сейчас действуем, преобладает итальянская авиация, а с нею легче драться, чем с немцами.

Основную нагрузку несет эскадрилья Серова. Во-первых, она ближе других располагается к тому участку фронта, где чаще всего появляются «фиаты» и «капропи». Во-вторых, итальянские истребители охотнее вступают в бой с «чато», чем с нашими монопланами. От «чато» в критическую минуту они могут удрать, так как обладают большей скоростью на пикировании, а от наших самолетов им ускользнуть трудновато. Ясно, что на долю Серова, Якушина, Тобиаша, Петровича и других летчиков этой эскадрильи — слава о которой, кстати сказать, гремит по всей Испании — приходится больше боев, чем на нашу.

Мы признаем первенство серовцев в боевых делах, видим, насколько им сейчас труднее, и стараемся всячески помогать своим соратникам.

Когда нам удается вести бой вместе с серовцами, каждый чувствует огромное удовлетворение. Но, к сожалению, это случается теперь гораздо реже, чем в дни боев над Мадридом. Здесь приходится летать на разные участки растянутого фронта. Бывает так, что эскадрилья Серова ведет бои в районе Сарагоссы, и мы в эти же минуты сражаемся где-нибудь возле Теруэля. Скверно то, что связь с главным аэродромом, на котором обычно находится командование, в основном телефонная, а она не обеспечивает четкого управления авиацией. И случается так: наша эскадрилья получает распоряжение немедленно вылететь на подмогу Серову, и хотя на сбор и взлет мы тратим не более трех минут, все же и эта мобильность не помогает: эскадрилья прилетает к месту боя с большим опозданием.

Командование ответило нам определенно: раций нет, и достать их в Испании нельзя. Но безвыходных положений не бывает. Мы настойчиво ищем и в конце концов находим новые реальные возможности взаимной выручки. Анатолий Серов первым применил воздушных связистов. Его примеру не замедлили последовать другие подразделения. И вот теперь нередко над нашим аэродромом неожиданно появляется самолет, который несколько раз покачивает крыльями. Это означает, что где-то поблизости идет воздушный бой и необходима помощь. Истребители немедленно взлетают и направляются вслед за воздушным делегатом. И теперь, как правило, нам удается подоспеть к району боя вовремя.

Однако этот прием чуть-чуть не подвел нас сегодня. Впрочем, мы ничего не проиграли.

...В полдень над аэродромом появилась такая же, как у нас, машина — моноплан. Летчик снизился до бреющего полета, покачивая крыльями. Я тотчас же дал сигнальную ракету — приказание на общий вылет. Не более как через две минуты эскадрилья пристроилась к прилетевшему самолету. По опознавательным знакам я легко установил, что самолет принадлежит соседней испанской эскадрилье. Бой завязался недалеко от Ихара. На испанцев навалилось десятка два «фиатов». Мы подошли в самый разгар боя. В течение нескольких минут итальянцы потеряли три самолета и в панике бросились в разные стороны.

Мы возвратились на аэродром, но не успели зарулить на стоянку, как на горизонте опять появился «делегат». Он летел со стороны фронта прямо к аэродрому.

— «Чато!» — воскликнул Панас и бросился к своему самолету. За ним чуть было не последовали и все остальные, но в этот момент Бутрым крикнул:

— Опомнитесь! Какой «чато»? Самый настоящий «фиат»!

Все затихли и стали ожидать, что будет дальше. Панас, раздосадованный своей ошибкой, подбежал ко мне.

— Разреши, Борис, я его сшибу!

— Подожди минутку...

Тем временем «фиат» стал виражить над аэродромом на высоте семисот — восьмисот метров.

«Может быть, заблудился...» — подумал я и попросил Бутрыма:

— А ну-ка, Петр, зажги дымовую шашку, дай ему разрешение на посадку. А ты, Панас, подготовься, если не сядет — догоняй, не дай уйти.

Петр ударил шашку капсюлем о каблук и бросил ее в сторону. И сразу стало ясно, что итальянец заблудился. Увидев сигнальный дым, он по всем правилам искусства, учитывая направление ветра, стал заходить на посадку. Я почему-то невольно вспомнил детство: когда мы, мальчишки, гоняли голубей, бывало, с таким же нетерпением, как и сейчас, ждешь, когда какой-нибудь вислокрылый чужак спустится к твоей голубятне.

«Фиат» с шумом пролетел над самым навесом, так что нас обдало ветром и пылью. Вот он уже у самой земли, сейчас приземлится, но вдруг мотор взревел и самолет снова стал набирать высоту.

— Опознал наши самолеты! — крикнул Бутрым. — Уходит!

Панас кинулся к своей машине.

— Далеко не уйдет! Догоню!

Он быстро вскочил в кабину и, запустив мотор, уже приготовился взлететь, как вдруг «фиат» зачихал. Винт остановился. Планируя, вражеский самолет приземлился в полутора километрах от аэродрома.

Не удалось в воздухе — удастся на земле! Панас выпрыгнул из самолета и побежал к легковой машине.

— Быстрее, Маноло, а то еще улизнет!

Маноло направил машину кратчайшим путем через летное поле. Самолет сильно накренился: у него была поломана левая стойка шасси. Летчик торопливо копошился в кабине, стоя на плоскости. Увидев подъехавшую машину, он выпрямился в струнку и отдал Панасу честь. Затем как ни в чем не бывало спросил на ломаном испанском языке:

— Скажите, где я нахожусь?

— В Испании, — коротко ответил Панас.

— Это я знаю, но чья это территория?

— Наша, — ответил Панас.

— А вы кто?

— Республиканец.

Как рыба, выброшенная на берег, фашистский летчик начал лихорадочно глотать воздух, не в силах ничего сказать, и поднял руки.

— Опустите руки и садитесь в машину, — спокойно приказал ему Панас.

Итальянец оказался «зеленым юнцом». Его новый темно-коричневый комбинезон с мудреными застежками чист, словно вчера получен со склада. Летный шлем, перчатки и планшет тоже новенькие. Кажется, что этого молодчика только что обмундировали и выпустили в первый полет. Впрочем, это почти так и есть. Еще раз мы убеждаемся в том, что фашистская интервенция в Испании приобретает все больший и больший размах. Итальянское командование, так же как и немецкое, производит смены летного состава каждые два-три месяца. Цель ясна: фашисты готовятся к большой войне и стремятся приучить к боевой обстановке возможно больше летчиков. Испанию они цинично рассматривают, как учебный полигон.

Однако вояки что-то плохо закаляются в Испании. Заметив у итальянца пистолет в кобуре, я упрекаю Панаса в неосторожности. Он с искренним удивлением смотрит на меня.

— Что ты, Борис! Ты посмотри на него, он трясется, как осиновый лист, не может выговорить слова «мама», а если бы и вздумал вытаскивать пистолет, так я его одним щелчком уложил бы.

И в самом деле, откуда появиться закалке у этих молодцов, если воспитывают их идиотски: вдалбливают в голову одну идею — знай, что противник слаб и ничтожен, а ты могуч и непобедим.

И вот плоды воспитания: до приезда в Испанию пленный слышал, что республиканские летчики бегут с поля боя при первой же встрече с итальянцами. Первый бой «героя» оказался последним.

— Когда начался воздушный бой, — говорит он, — я не знал, как выбраться из этого ада. Местность мне плохо знакома. Кончился бензин...

Нет, неинтересный тип. Решаем отправить его в авиационный штаб группы.

В эти же дни на аэродром прибыла врачебная комиссия, вызвавшая большой переполох в эскадрилье. На мой вопрос, чем вызван ее приезд, старший врач ответил, что командование серьезно обеспокоено состоянием здоровья летчиков и приказало осмотреть весь летный состав: те, кто особенно нуждается в отдыхе, будут отправлены в санатории.

Врачи, не слушая возражений, тут же на аэродроме под навесом расставили свои хитрые приборы и предложили пациентам раздеться до пояса.

Не успели мы исполнить их просьбу, как зазвонил телефонный звонок. Не закончив разговора, я потянулся за шлемом. Петр взял ракетницу, и я утвердительно кивнул ему головой. В воздух взвилась ракета. Все бросились к самолетам. Через три минуты мы в компактном строю удалились от аэродрома по направлению к фронту. Врачебная комиссия осталась без пациентов.

К великому огорчению врачей, в этот день нам пришлось вылетать пять раз. Эскадрилья штурмовала марокканские части, которые укрепились на окраинах Бельчите, вела воздушный бой над Ихаром, вылетела на помощь Серову. Никелированные медицинские приборы тускло поблескивали под навесом. Врачи терпеливо сидели возле них.

Но на другой день погода испортилась, и комиссия сумела поработать вволю. Как командир эскадрильи, я спросил вечером у старшего врача о результатах медицинского осмотра.

— Нервы серьезно пошаливают у всех без исключения, — ответил он. — Очень серьезно! Отдых необходим всем. Абсолютно всем!

И, спокойно оглядев меня профессиональным взглядом врача, спросил неожиданно:

— Сколько вы сделали боевых вылетов?

— У нас у каждого почти по двести с лишним вылетов.

— С какого времени?

— С конца мая.

— Да-а... — протянул врач. — Такую нагрузку нельзя назвать двойной или даже тройной... Боюсь, что некоторые из вас скоро станут вообще непригодны для летной работы.

И снова смотрит на меня, но уже не как врач, — с удивлением... Комиссия уезжает. Когда машина скрывается за поворотом, Панас спрашивает:

— Ну, что председатель сказал о наших внутренностях?

— Ничего особенного, — отвечаю я. — Молодцы, говорит, ребята, все здоровы.

Но от какого-то неприятного предчувствия сосет у меня под ложечкой. Ох, не зря навестила нас эта комиссия.

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР

Близится осень, а с нею — нелетная погода. Видимо, это беспокоит фашистов. За лето им не удалось и в малой степени подорвать боеспособность республиканской авиации. Рассчитывать на решающий успех осенью им будет совсем трудновато...

Авантюризм, явная переоценка своих сил и принижение возможностей противника, а короче говоря — спесь, зазнайство, весьма характерные черты в поведении фашистов.

Вот опять поползли слухи об очередной их затее. И не только слухи... Наша воздушная разведка и наблюдательные пункты точно установили, что противник спешно сосредоточивает свою авиацию на прифронтовых аэродромах западнее Сарагоссы. Пленные летчики, сбитые в последних боях, подтверждают, что готовится массирован-

ный удар по нашим аэродромам. «Последний удар»,— говорят они, вкладывая в эти слова вполне определенный смысл.

Ну что же, пусть будет еще один «последний»! Посмотрим. Ведь наше командование зорко следит за намерениями фашистов. Не сомневаюсь, что оно выработает план, который позволит разрушить замыслы врага.

И вот раздается телефонный звонок. Командование республиканской авиации вызывает на главный аэродром всех командиров истребительных эскадрилий. Срочно! Через двадцать пять минут все должны быть в сборе.

Маноло везет меня, не задерживаясь. Выхожу из автомобиля и сразу попадаю в объятия Анатолия. Он, как всегда, приехал раньше всех: наверное, раньше нас и о совещании узнал. Он нетерпелив, каждую новость стремится узнать скорее, и это не от простого любопытства, а от желания быстрее включиться в новое дело и двинуть его вперед.

— Не знаешь ли, зачем нас вызвали?

— Не знаю,— пожимает он плечами и шурится,— но думаю, что предстоит интересное дельце.

И мельком бросает взгляд на часы: скорее бы начинали!..

Ждать придется недолго. Вскоре нас приглашают к командующему. Он подробно рассказывает об обстановке на фронте, о соотношении авиационных сил, которое складывается явно не в пользу республиканцев. Собственно говоря, все это мы хорошо знаем. Видимо, чувствуя это, командующий неожиданно прерывает плавное течение своей речи и тяжело опускает кулак на карту.

— Вот! Вот что нужно сделать — произвести налет на их аэродром Гарапинильос. На этом аэродроме, по предварительным данным, сосредоточено более сорока вражеских самолетов. Мы не можем ждать, когда они поднимутся и ударят по нашим республиканским базам. Не имеем права ждать!

Правильно! Но почему же не пригласили на совещание бомбардировщиков? Почему здесь нет ни одного командира бомбардировочной эскадрильи? Ведь речь-то идет об ударе по вражескому аэродрому?

— Во время последних полетов над Сарагоссой и в районе ее, — продолжает командующий, словно угадав мой вопрос, — наша бомбардировочная авиация встречала большие группы истребителей противника и сплошную завесу зенитного огня. Естественно, что мы имели в этих полетах потери. Как избежать их при налете на аэродром Гарапинильос? Попробовать ударить силами одних истребителей?

Серов порывается что-то сказать, взволнованно потирает руки. Мы изумлены и еще не можем осознать всю сложность, а точнее говоря, необычность задачи. Ведь еще нигде, никогда истребители не применялись для штурмовки аэродромов без участия бомбардировочной авиации. У нас нет пушек, нет бомб. Одни пулеметы. Можно ли только пулеметным огнем уничтожить боевую технику, размещенную на земле, и уничтожить не один, не два самолета, а по крайней мере десяток? Иначе налет не даст желаемого результата.

Но задача заманчивая, очень заманчивая...

Командующий выслушивает наше мнение. И нас вновь удивляет Анатолий: он выступает с глубоко и всесторонне продуманным планом, словно размышлял о предстоящей операции давно и упорно. У Серова тонкое тактическое чутье, ясное предвидение и умение заранее взвесить и рассчитать все шансы на успех.

Командующий соглашается с планом Анатолия.

— Что ж, товарищи командиры, за дело! Я думаю, налет мы не будем откладывать. Сегодня. Под вечер. Правда, времени на подготовку маловато. Но зато в наших руках будет козырь — внезапность. Желаю успеха! — напутствует он каждого командира.

Мы выходим из штаба, прибавляя шаг. Скорее на аэродром! Опять Маноло мчит меня без задержки. Ворчит: «Беспокойные пассажиры... Нет того, чтобы остановиться возле киоска с фруктовой водой... Считают каждую минуту...» Он любит поворчать, когда знает, что спутник занят делом и его трудно вызвать на разговор. И это ворча-

ние — особая форма разговора с самим собой. В такие минуты Маноло никогда не задает вопросов.

Приезжаю и сразу же созываю летчиков. Рассказываю им о задании командования.

— Основная задача — уничтожение самолетов на земле — возложена на эскадрилью Анатолия Серова. Мы прикрываем их. Другие эскадрильи будут патрулировать выше и несколько в стороне от района действий. Таким образом, вражеский аэродром будет оцеплен в воздухе со всех сторон. Серов просил передать вам, что если завяжется воздушный бой с самолетами противника, чтобы вы особенно не увлекались, главное — старайтесь не подпускать врагов к штурмующим «чато».

Отпускаю летчиков. Вместе с механиками они проверяют самолеты, готовятся к полету. Я работаю вместе с Хуаном. Увлечшись, не замечаю, как на горизонте появляется большое грозное облако.

— Камарада Борес, — вдруг говорит Хуан, — смотрите!

Закрыв полнба, иссиня-темная туча быстро наплывает на аэродром.словно дозорные, впереди нее бегут тревожные, рваные хлопья облаков. Заметно усиливается ветер.

— Что будем делать? — спрашивает, подбегая ко мне, Панас.

— Приказа никто не отменял. Передай всем летчикам, чтобы сидели в кабинах.

Не успеваю сесть в кабину, как на плоскость самолета с шорохом падают первые дождевые капли. Представляю, какие молнии мечет сейчас Анатолий.

— Камарада Смирнов! Камарада Борес! Вас к телефону! — кричит издали Маноло.

Наверное, звонит Анатолий... Конечно, он: издали доносится знакомый, слегка глуховатый бас.

— Понимаешь, чертовщина какая... Ну, кто думал? А? В общем, до завтра. А завтра ровно в шесть ноль-ноль.

— Понял, Толя. Завтра в шесть ноль-ноль.

И вот в пять утра все уже на своих местах. До рассвета минут сорок. После дождя воздух свеж и чист. На востоке занимается заря, еще синеватая, холодная...

Сидя в кабинах, ждем сигнала. Ждем с нетерпением. Вижу, как Панас ерзает в своей кабине. Бутрым сидит, подперев рукой щеку. Минуты тянутся томительно: даже быстрая секундная стрелка на часах движется почему-то вяло.

И вдруг, заставляя вздрогнуть, взрывается сигнальная ракета. Разом загудели все двенадцать моторов. С разных сторон аэродрома блеснули огоньки вспышек. Светящиеся нити трассирующих пуль пронизали предрассветный сумрак: это летчики проверяли перед взлетом оружие.

Поднимаемся в воздух и идем к реке. Один из ее изгибов выбран ориентиром для сбора всех эскадрилий.

Летим минут пять — семь. Земля покрыта легкой дымкой. Предметы видны сквозь нее, как через кисею: ориентироваться нетрудно. Приходим точно в установленное время. Над стальной лентой реки уже кружатся самолеты.

Ниже всех в плотном строю — «чато», возглавляемые Анатолием Серовым. Вот он берет курс на цель. В кильватере за «чато» с небольшим превышением следует наша эскадрилья. Маршрут выбран кратчайший, но все равно рассвет обгоняет нас. Почти над самой линией фронта на обшивке самолетов вспыхивают первые солнечные лучи.

Фронт позади, и тотчас же Анатолий увеличивает скорость. Быстрее вперед! Мы же рассчитываем на внезапность действий.

Через десять — двенадцать минут показывается аэродром противника. Гарапинильос... Он ясно выделяется прямоугольным светлым пятном на общем рыжевато-коричневом фоне местности. Вдали, за аэродромом, неясно различимо нагромождение городских зданий. Сарагосса.

До цели не больше пяти километров. «Чато» быстро перестраиваются в пеленг и переходят на бреющий полет. Выполнение всей задачи рассчитано на три-четыре минуты, позволяющие произвести две атаки. Мы летим вслед за «чато», но значительно выше их. Мы прикрываем серовцев, и меня больше всего волнует сейчас одно: успеют ли истребители противника взлететь с соседних аэродромов? Успеет ли подняться хоть часть самолетов с Гарапинильоса?

Куда там! Я смотрю на Гарапинильос и не верю своим глазам. Картина совершенно небывалая в боевых условиях: по всему аэродрому в виде буквы «П» расставлено, как по ниточке, не менее шестидесяти самолетов... фашисты потеряли всякое чувство меры. Это уже не беспечность или зазнайство, а просто ротозейство.

Хорошо. За уроком дело не станет.

Строго держась за своим ведущим, «чато» выскакивают к аэродрому с брющего полета, молниеносно набрав горкой метров двести высоты. Первым бросается в атаку Анатолий Серов, и почти тотчас же на земле вспыхивает один из «фиатов». Почин сделан! Вслед за Анатолием открывает огонь вся его эскадрилья. Через минуту один за другим над аэродромом встают восемь дымных, огненных факелов. Сильный ветер разносит огонь по всему аэродрому.

Анатолию и этого мало: он производит вторую атаку, третью, четвертую... Летчики вошли в азарт и пикируют буквально до двадцати метров, в упор расстреливая вражеские самолеты. В клубах дыма ясно различимы две полосы горящих самолетов, окаймляющие аэродром двумя жаркими, высокими стенами огня.

Едкий запах дыма, гари доходит до нас. Мы по-прежнему кружимся на втором «этаже», но, глядя на то, что происходит на земле, так хочется тоже ринуться вниз! Тем более, что истребители противника не появляются. Видимо, их основная масса сосредоточена на этом аэродроме. Вначале по «чато» вели огонь два зенитных пулемета, но нам не пришлось заняться и ими: кто-то из летчиков Серова быстро подавил их.

Но приказ есть приказ, и мы продолжаем прикрывать действия серовцев, наблюдая небывалое зрелище. Картина сверху потрясающая. Горят самолеты, взрываются бомбы на бомбардировщиках. Огромные клубы черного дыма беснуются на огромном пространстве. И смешно: непрерывно бьют сарагосские зенитки, ведут ураганный, но бесполезный огонь. Облако разрывов висит между городом и аэродромом. Ни один из снарядов не достигает своей цели.

Атаки серовцев ослабевают. Очевидно, боеприпасы подошли к концу. Серов подает сигнал сбора и ведет истребителей уже другим маршрутом на свои базы. Я несколько раз оборачиваюсь: взрывы на летном поле продолжаются. Пылает весь аэродром. Едва ли с таким чудовищным пожаром справятся технический персонал и охрана авиабазы франкистов.

Возвращаемся домой. Летчики выпрыгивают из машин и спешат рассказать о случившемся механикам. Ни одна бомбардировка не дала подобного результата. Блестящая победа, и заслуженная победа! Атаки серовцев были великолепны.

Вдруг кто-то замечает:

— Смотрите! Что это такое?

Вдали вырастает огромное черное облако дыма, медленно плывущее от линии фронта к морю.

— Это фашистские самолеты перебазируются в неведомые края, — смеется Хуан, и его шутку покрывает дружный смех.

От столовой к самолетам бегут девушки-официантки, радостно поздравляют летчиков. Волощенко растерян — его зацеловали. В разговорах приближается обеденное время, но никто не хочет уходить со стоянки, даже повар. Тем более, что вдали показывается «чато». Наверное, Серов!

«Чато» мастерски приземляется.

— Здорово, орелики! — кричит Анатолий, приглушив мотор.

Спрыгивает на землю — и тотчас его окружает тесное людское кольцо. Со всех сторон перекрестный огонь вопросов!

— Подождите, подождите, ребятки, давайте по порядку, — отбивается Анатолий. — Прежде всего спасибо вам за хорошее прикрытие. Куда ни гляну, везде вижу свои «монопланчики». Чудно! Спокойно на душе! Я сейчас летал докладывать командованию о результатах. Очень довольны нашей работой. Объявлена благодарность всем эскадрильям.

— Кстати, скажи, пожалуйста, Анатолий, — деловито спрашивает Бутрым, — чем это вы стреляли, не спичками ли? Что ни атака, то новые самолеты горят!

— Эх, Петр! Ты лучше спроси, чем я завтра стрелять буду.

— Патронов мало, что ли?

— Не в том дело, патронов-то много, да не тех, что надо. Я вчера приказал механикам зарядить самолеты одними зажигательными. Собрали все, что было. Сейчас на аэродроме остались только простые да бронебойные.

На мгновение Серов задумывается, и мы понимаем его: республика прочно заблокирована и с суши и с моря, — боеприпасов не хватает.

— Ладно! — встряхивает головой Анатолий. — Они потеряли больше, чем мы. Боеприпасы — это еще не самолеты!

И, улыбнувшись, расставляет руки:

— Ну, пока, орелики! Полечу к своим, время идет, а мы еще хотим подлетнуть сегодня ночью.

Круг разрывается. Две-три минуты — и он снова в воздухе.

Через несколько дней пленные летчики показали: «На аэродроме Гаранинильос уничтожено сорок самолетов. Большая часть оставшихся выведена из строя и требует длительного ремонта. Фашистское командование обрушилось на охрану и зенитчиков, которые разбежались во время штурмовых действий республиканских самолетов. На следующий день после налета двадцать солдат были выстроены вдоль линии сгоревших самолетов и расстреляны на месте».

Впервые в истории истребительной авиации республиканские летчики во главе с русским командиром применили свое оружие как мощное средство не только в воздушных боях, но и для уничтожения вражеских самолетов на их базах.

Республиканцы высоко оценили успех серовцев. Через несколько дней до нас дошел слух: испанское командование обратилось к Советскому правительству с ходатайством о присвоении Анатолию Серову звания Героя Советского Союза.

— Это правда, Анатолий? — звоним мы Серову.

— Не знаю. Не загадывайте вперед.

Значит, правда, иначе бы рассердился: не любит пустых слухов.

САБАДЕЛЬ, САБАДЕЛЬ...

В последних числах октября наша эскадрилья перебазировалась на аэродром вблизи небольшого городка Сабадель, у самого подножия живописных гор. Отсюда мы летаем на прикрытия портов Барселоны и Таррагоны: фашисты часто пытаются производить налеты на них с острова Майорка.

Мы разместились в маленькой гостинице из пяти-шести комнат, занимающих весь второй этаж. Внизу столовая. Крошечный, прикрытый сверху позолоченными осенью купами деревьев, Сабадель пришелся нам по душе. За какие-нибудь полчаса его можно обойти кругом. На улицах всегда тихо и спокойно. По утрам хозяйки подметают мостовые метлами из олеандровых веток. За оградами — чистые желтеющие палисадники с синими, пунцовыми, оранжевыми клумбами.

Первый раз за все время пребывания в Испании мы оказались в тылу, хотя и продолжаем выполнять боевую работу. Но по сравнению с фронтом это настоящий отдых. На каждого летчика приходится не более одного вылета в два дня. Поэтому мы придерживаемся здесь такого правила: два звена дежурят на аэродроме, а третье располагает временем по собственному усмотрению.

И сейчас у нас свободного времени уйма! Мы с наслаждением гуляем по городу, знакомимся с нравами и бытом испанцев. Здесь у людей сохранились в неприкосновенности не только довоенные, но и более давние обычаи.

Вот наступает доминго — воскресенье. Доминго в Испании — святая святых: этот день должен быть до последней минуты отдан отдыху, работать в воскресенье просто неприлично. Война, конечно, внесла в этот обычай существенные коррективы, но, очевидно, только на фронте. Правда, и на фронте воскресные дни не отличались особым боевым напряжением: изредка лишь прозвучат отдельные выстрелы. Но, во всяком случае, в боевой обстановке воскресные традиции были существенно нарушены.

Зато в Сабаделе эти традиции остаются нерушимыми. Ранним утром над городом поднимаются бесчисленные синие дымки: хозяйки готовят кушанье на целый день. К полудню по крайней мере половина жителей высыпает на улицы. В палисадниках томно воркуют гитары. Девушки, обнявшись, ходят из конца в конец улицы, напевая песенки — это нечто вроде репетиции. По-настоящему, во весь голос, они запоют вечером, при звездах. К вечеру в любом доме трудно найти даже стариков: молодые гуляют по улицам, те, что постарше, сидят в садиках — пьют вино, лакомятся фруктами. И во всех концах города звенят старинные романсы и новые песенки, льются сладчайшие серенады.

Хорошо! Но не совсем... Пусть кто-нибудь попробует приехать в Сабадель в воскресенье. В гостинице не найти ни администратора, ни служанок, на всех без исключения магазинах, ларьках вы увидите опущенные жалюзи. Даже чистильщики обуви предпочитают в этот день гулять, а не чистить ботинки... Впрочем, с голоду здесь не умрешь. Народ в Сабаделе радушный. С продовольствием туговато, как и везде, но для гостя поставят на стол последнее, что есть. Нельзя отказываться: обидятся не на шутку. Гостеприимство сабадельцев мы оценили в первые же дни пребывания в городе.

Прошло всего три-четыре дня после нашего прибытия, а горожане уже специально поджидают нас вечером у подъезда гостиницы, чтобы потолковать о Советском Союзе, о котором они слышали больше небылиц, чем правды. Побеседовать с человеком из Советского Союза для них огромное удовольствие. Они слушают, не прерывая. Часто видишь, как во время беседы человек набьет трубку табаком, но заслушается и забудет закурить. Не меньше, чем испанцев, эти разговоры волнуют и нас.

Великое, всеобъемлющее чувство — любовь к родине. Самая тоска по ней окрыляет человека, вливает в него силу и бодрость. Неразговорчивый Бутрым часами говорит испанцам о Советском Союзе, и сухощавое лицо его молодеет, покрывается румянцем. Любовь к родине — чувство, понятное и близкое каждому трудовому человеку.

Через несколько дней жители знают всех летчиков по именам. Идешь по улице, а из инжирного садика несетя:

— Камарада Борес! Зайдите!..

Ответишь: «Некогда, ждут дела». Понимающе кивнут головой, и вслед прозвучит: — Аста ла виста! (До свидания!)

А в доминго хоть и не показывайся на улице. Окружат еще у подъезда гостиницы, поведут в свой садик, усадят за стол и ни за что не отпустят, пока не отпробуешь всех фруктовых богатств Сабаделя.

Наибольшую любовь испанцев снискал Волощенко. Он кумир Сабаделя. Идти с Волощенко по улицам — мука. Трещат, открываясь, тростниковые жалюзи: «Добрый день, камарада Волощенко!» А на противоположной стороне перегулась через изгородь девушка: «К нам, к нам заходите! Забыли!..» И надо отдать должное Волощенко — каким-то чудом он умудряется поговорить со всеми, никого не обидев. Сейчас, разговаривая с испанцами, он соблюдает иную, чем прежде, языковую пропорцию: на десять испанских слов у него приходится два-три русских, не больше. И так как к этим словам добавляется еще его выразительная жестикуляция и мимика, то собеседники понимают его прекрасно. А если знать, что Волощенко смеется так заразительно и непосредственно, что сможет рассмешить самого унылого человека на свете, то окончательно станет ясным, какой это чудесный человек — русский летчик Волощенко!

В воскресенье Волощенко исчезает из гостиницы ранним утром и возвращается, когда замирают последние песни. В доминго его можно увидеть на каменной скамеечке возле какого-нибудь каменного домика, где он вместе с девушками щелкает орехи или, уминая за обе щеки яблоки, рассказывает им какую-нибудь смешную историю.

Сабадель, Сабадель... Самые безмятежные воспоминания об Испании были бы связаны именно с тобой, если бы не трагический, нелепый случай, если бы не свежая могила, которую оставили мы на твоём маленьком кладбище.

Несчастье всегда обрушивается на летчиков внезапно.

Прекрасно начался тот день. Накануне вечером я договорился с Панасом, что утром мы махнем за город, посмотрим на руины старинного замка, построенного много

веков назад. Маноло выяснил, что туда можно проехать на машине. Чуть свет мы поднялись, пожелали Волощенко и Бутрыму счастливого дежурства на аэродроме и двинулись в путь.

Чем выше мы поднимались в горы, тем шире открывались перед нами картины дикой, почти не тронутой человеком природы. Огромные каменные глыбы причудливой формы нависали над самой дорогой. Ветвистые деревья, держась оголенными корнями за края отвесных обрывов, казалось, вот-вот упадут вниз. Минут через сорок мы выехали на небольшое плато. Мы увидели несколько хижин, прилепившихся к скалам.

Маноло остановил машину у крайнего домика. За забором, сложенным из камней, старик, не торопясь, разбивал мотыгой земляные комья. Он не заметил нас или просто не обратил внимания на приезжих. Маноло открыл калитку и, войдя во дворик, попросил воды. Старик, ни слова не говоря, прислонил мотыгу к дереву и не спеша направился в дом. Через некоторое время он вышел, держа в руках глиняный кувшин и такую же глиняную шершавую кружку. Внимательно из-под нависших бровей осмотрел нас. Что-то заинтересовало его, скорее всего чужая речь: мы переговаривались с Панасом по-русски.

— Кто эти люди? — спросил он, приблизившись к Маноло.

— Русские летчики, — ответил тот.

Старик еще пристальнее оглядел нас и неожиданно опрокинул кувшин, разом вылив всю воду на землю. Мы остолбенели. Маноло растерялся.

— Зачем, отец, ты вылил воду? — закричал он.

— У меня нет для русских воды, — выпрямляясь, сказал старик, и в его голосе зазвучали торжественные нотки. — У меня есть для них вино. — И, положив сухую руку на плечо Панаса, пригласил: — Зайдите ко мне!..

Мы начали было отказываться, благодарить за приглашение, но старик и слышать ничего не хотел.

— Нет, нет, не отказывайте старому человеку. Мне нельзя отказывать. Мне немного осталось жить, и, может, я больше никогда не увижу русских.

Хозяин вытер чистой тряпкой скамейку, усадил нас за стол, стоявший под оливковыми деревьями, и принес из погребка в том же самом кувшине холодного виноградного вина и чашку моченых маслин.

— Куда едете? — спросил он, присев рядом.

Мы объяснили ему.

— Туда вам сейчас не попасть, — покачал головой старик. — На днях случился обвал, всю дорогу засыпало, а пешком идти далеко. Лучше отдохните у меня и поезжайте обратно.

Разговорились. Старик жил один. Сыновья ушли на фронт, а старуха недавно умерла.

— Трудно одному? — спросил Панас.

Старик усмехнулся:

— Мы к лишениям привыкли. Вот они — все на виду! Посмотрите-ка, сынки, на этот клочок земли. Из него мой отец, я и мои сыновья вынули столько камня, что его хватило бы сложить вот этот домик и эту стену вокруг. А камень все растет и растет из-под земли. Нет, и внукам нашим не перетаскать его. Сколько бы ты его ни выбирал — еще больше останется.

Мы смотрим на старика, на его нищее поле, и в памяти невольно всплывают десятки рассказов о многострадальной судьбе испанских крестьян. Пожалуй, нигде в Европе нет таких живучих пережитков феодализма, как в Испании. Однажды нам довелось прочитать в газете «Эль соль» о том, как в Мадрид из провинции Логранье пришли ходоки с просьбой снять с них какой-то налог. Тридцать крестьянских семейств деревни Соляр каждый год уплачивали этот налог натурой: пшеницей, вином, домашней птицей... Получала этот налог местная кулацко-помещичья комиссия и распределяла... между своими членами. Министерство земледелия заинтересовалось: что за налог? И выяснилось: в 800 году (в восьмисотом!) некий феодал, может быть с королевским титулом, дал землю нескольким пахарям, обязав их одновременно охранять рубежи какой-то части его владений. За эту «честь» крестьяне должны были ежегодно

выплачивать королю оброк натурой. Прошло больше тысячелетия, сгнили многие десятки королев, а потомки «королевских стражей» продолжали из года в год вносить налог... Один этот факт громче любых словесных доказательств свидетельствует о феодальных нравах в современной Испании. Недаром республика — надежда испанского крестьянина, она открывает перед ним новые горизонты.

...Старик отхлебнул вина, замолчал. Мы все смотрели на клочок земли, огороженный каменной изгородью: и без того крохотный участок еще и разделен — часть его занята кукурузой, часть отведена под виноградник, да еще растет несколько оливковых деревьев, под которыми мы сидим. Невольно вспомнились нам необъятные плодородные колхозные земли.

— Ну, а как у вас живут крестьяне? — спросил старик, словно угадав наши мысли.

И мы начали ему рассказывать о колхозах, о тракторах и комбайнах, которые помогают людям воевать за урожай, о трудовых, об общем и счастливом труде. Старик преобразился. Он ожил, начал забрасывать нас вопросами и в конце концов задумался.

— Если мои сыновья отстоят республику, будет у нас такая жизнь, о какой вы рассказывали мне? — вдруг спросил он.

— Рано или поздно будет, — сказал я. — Придет такое время, когда все народы станут свободными.

— Да, сынок, — улыбнулся старик, — будет такое время. Будет! Жаль только, не доживу я. Ничего... Внуки увидят.

Беседуя, мы забыли о времени. Спихнулись, когда солнце уже стояло в зените. А мы обещали вернуться к обеду домой. Расстаемся со стариком. Он долго жмет нам руки, словно не хочет расставаться.

...Въехав в Сабадель, мы сразу заметили, что размеренная, спокойная жизнь городка чем-то нарушена. Люди стояли на улицах небольшими группами, тихо беседовали. Подъехали к гостинице. Навстречу нам выбежала хозяйка.

— Камарада Борес! У вас на аэродроме несчастье... Самолет разбился и, кажется, камарада Волощенко...

Женщина закрыла лицо руками и заплакала.

Мчимся на аэродром. Панас сидит, согнувшись, смотрит в одну точку. Издали замечаем толпу людей у стоянки. Летчики молча расступаются, увидев нас.

На траве — изуродованное тело Волощенко, покрытое самолетным чехлом.

— Час назад, — медленно говорит Бутрым, — над аэродромом появился фашист. Разведчик. Волощенко увидел его первый и сразу решил взлететь. По-видимому, наблюдал только за разведчиком. И, понимаешь, не заметил впереди вон то дерево...

Я смотрю туда, куда показывает Петр, и вижу рядом с разбитым самолетом расщепленное, как от удара молнии, дерево, разбросанные сучья. Дикий, нелепый случай...

И вот мы хороним Волощенко. Мы несем гроб на руках до самого кладбища. За гробом движется огромное для Сабаделя шествие. Все жители провожают в последний путь своего любимца — камарада Волощенко. За гробом идут девушки с венками из живых цветов. За ними пожилые люди, замыкают шествие старики. Женщины одеты в траур, многие тихо плачут...

Кладбище еле вмещает всех пришедших проститься с русским летчиком — собралось не менее трех тысяч сабадельцев. Наступают последние минуты прощания. Вперед выходит председатель городского самоуправления.

— Я не был лично знаком с храбрым летчиком камарада Волощенко, — говорит он. — И я горько сожалею сейчас об этом. Только замечательной души человек может привлечь к себе любовь всего города. Я вижу здесь и старых и молодых, я вижу детей и глубоких стариков... Мир твоему праху, русский герой. Сабадель будет всегда помнить тебя...

Председатель хочет еще что-то сказать, но горько покачивает головой и отходит. В толпе слышатся рыдания. Испанцы задвигают гроб в каменную нишу, и в этот момент над кладбищем вихрем проносится звено истребителей.

Как же это случилось? Вот нас осталось трое... А двое уже никогда не вернуться на Родину...

Сабадель, Сабадель...

В РЕУСЕ

Через несколько дней мы получили приказание перебазироваться на аэродром Реус, еще ближе к морю. На фронте наступило затишье, вызванное осенней непогодой, непрерывными дождями. Но возле моря фашистская авиация, преимущественно бомбардировочная, продолжала действовать активно.

Ранним утром к аэродрому потянулась длинная вереница горожан, узнавших, что эскадрилья покидает Сабадель. Люди шли с громадными букетами осенних цветов. Некоторые несли красные флаги. Все оделись так, как одеваются только в доминго. А день был будничный. Народ со всех сторон обступил стоянку самолетов.

Эскадрилья взлетела и сделала прощальный круг.

В последний раз прошли мы над местом, где был похоронен Волощенко, и развернулись в сторону моря.

И вот мы в Реусе. Несем береговую охрану, встречаем республиканские корабли, ведем разведку. Вместе с нами на аэродроме базируется эскадрилья бомбардировщиков, укомплектованная испанскими экипажами. Но командует ею наш русский летчик Александр Сенаторов. Мы впервые располагаемся по соседству с бомбардировщиками и, надо сказать, сначала относимся к ним с некоторым гонорком. Истребители всегда считают свой род оружия выше всех других видов авиации. Однако этот гонорок у нас довольно скоро улетучился. Бомбардировщики летают почти круглые сутки. По нескольку раз в день, без прикрытия, пересекают они морские воды и бомбят вражеские базы на острове Майорка. Фашистские истребители частенько встречают их на подходе к Майорке, но обычно не могут преградить им путь: бомбардировщики смело принимают бой и с боем прорываются к цели. Нередко после возвращения с задания мы слышим, как Сенаторов по телефону докладывает в штаб: бомбы сброшены точно, сбито столько-то истребителей.

Мы чувствуем себя в большом долгу перед бомбардировщиками, так как не можем на своих самолетах сопровождать их на дальние расстояния.

— Вот тебе и бомбардировщики! — говорит Бутрым. — А то: истребители — короли воздуха!.. Хотел бы я видеть нас на их месте. Пожалуй, не каждый бы справился с такой работой.

Короче говоря, профессиональную спесь с нас как рукой сняло. Мы быстро сдружились с бомбардировщиками, и сдружились крепко. Особенно с Сенаторовым.

«Наш Серов», — с гордостью говорят о нем летчики его эскадрильи. И действительно, он чем-то напоминает нам Серова, хотя Анатолий, конечно, темпераментнее, порывистее. Эти черты характера запрятаны в Сенаторове где-то глубоко. О них можно лишь вдруг догадаться по мгновенной ослепительной улыбке, которая внезапно озарит его лицо и тотчас же пропадет, сменится обычным спокойствием, или по короткой, неотразимо точной фразе, которой он разрешит долгий спор летчиков, перечеркнет чьи-то сомнения, отбросит чьи-то путаные размышления...

Заметнее всего сближает Сенаторова с Серовым мастерство, дух новаторства, поиски нового. В своем деле Сенаторов такой же непревзойденный мастер, как Анатолий в своем. Он знает всю Испанию и часто ориентируется без всяких карт, по памяти, потому что облетал всю страну вдоль и поперек по нескольку раз. Это он впервые начал в Испании совершать полеты на дальние расстояния, отказавшись тем самым от прикрытия истребителей. У Сенаторова немало побед в воздушных боях. Он первый разработал в Испании новые боевые порядки бомбардировщиков, позволяющие одинаково успешно обороняться и нападать. Он в совершенстве овладел штурманским искусством и на труднейшие задания водит летчиков сам. О сенаторовской эскадрилье знает вся республиканская Испания. Попасть в эту эскадрилью мечтает каждый летчик-бомбардировщик.

Силой командирского авторитета Сенаторов сколотил действительно изумительное по своей боеспособности подразделение. Даже в воздухе его подразделение легко отличить от других: оно идет обычно плотно, крыло к крылу, словно единая рука управляет летчиками. Красиво ходят сенаторовцы, внушительно!

Кажется, что ничто на свете не может нарушить точный, как расписание поездов, вылет бомбардировщиков на задание. Они и с погодой не хотят считаться.

Но погода чем дальше, тем становится хуже и хуже. В конце концов она заставляет «приземлиться» даже сенаторовцев.

Вот еще со вчерашнего вечера начался дождь — и льет, льет, бесконечно нудный. Над морем низко ползут косматые, тяжелые тучи. Нет, сегодня и бомбардировщикам не выбраться в воздух.

В полдень к нам стучится Сенаторов. Входит сердитый: недоволен погодой. Неожиданно говорит:

— И в Куйбышеве сейчас, наверно, сеется такой же мелкий дождичек. На Волге ни одной паршивой лодочки не увидишь...

В Куйбышеве? Почему он вспомнил мой родной город?

— Да я же родился в нем, — отвечает мне Сенаторов.

— В Самаре?

— Ну, конечно, в Самаре.

Земляки! А для земляков нет ничего милее, как узнать, кто на какой улице жил, где учился, в какой парк ходил гулять. Произносить старые и новые названия улиц необычайно приятно. Словно вновь попадаешь в родной город.

С радостным удивлением мы смотрим друг на друга.

— А где ты жил?..

— А ты?

Оказывается, в один и тот же год мы родились в Самаре, почти одновременно ушли добровольцами в военные летные школы, а жили все время на соседних улицах, на тех самых улицах, мальчишеские племена которых вечно враждовали между собой.

— Вот тебе и Самара-городок!

Впервые я вижу его возбужденным. Он взволнован воспоминаниями. Ему не сидится на месте — вскакивает, ходит по комнате, снова садится.

Теперь нам особенно хочется вместе пойти на одно задание. Но ничего не выходит: несколько раз мы усаживаемся за карту, вновь и вновь измеряем расстояние до Майорки — нет, не удается... Слишком велико расстояние: долететь долетим, а обратно недотянем.

АМЕРИКАНСКИЙ «ПОДАРОК»

Глубокая осень. Летное поле — зеленое в июне, пожелтевшее в августе — теперь отликает старческой сединой. Кажется нескончаемой пора дождей. Низкое небо, бесконечная череда разбухших от влаги туч, цепляющихся за каждую мало-мальски приличную гору...

Нелетная погода раздражает и злит, как вынужденная посадка. Правда, положение на фронте более или менее стабилизировалось. Однако, по данным разведки, фашисты готовят новое наступление — пополняют свои армии свежими итальянскими и марокканскими дивизиями, обновляют вооружение только что вышедшими с немецких заводов пушками, танками, бронемашинами.

Республиканская армия страдает не только от недостатка оружия, но и от недостатка обмундирования. Уже не только ночью, но и днем холодно. Не все солдаты обеспечены шинелями и вынуждены кутаться в окопах в домашние одеяла.

Словно в насмешку, американские благотворители прислали нам, летчикам, новенькие авиационные костюмы. Выглядят они шегольски, блестят за километр множеством никелированных застежек, и холодно в них. «Костюмчики-то подбиты рыбьим мехом», — усмеваются летчики и предпочитают надевать свои старые кожаные куртки.

Жалкие, издевательские подачки. «Помощь» американцев не вызвала ничего, кроме разочарования. Горького разочарования, потому что в то время у многих еще теплилась надежда, что западные «демократии» не позволят фашистам потопить в крови Испанскую республику, помогут народу в его справедливой борьбе. Дипломатическая возня в лондонском комитете по невмешательству, медлительность «демократических» правительств тогда казались еще многим дурной игрой тупых политиканов, а не преднамеренной предательской политикой империалистов и их лакеев, лицемерных врагов испанского народа, душителей свободы, где бы она ни заявляла о себе — в Испании или Индонезии, в Греции или во Вьетнаме...

Время сорвало все маски — и сейчас я не могу отделить некоторые воспоминания об Испании от событий последующих лет. Видимо, не без причины дорогие и холодные куртки на «рыбьем меху» ассоциируются у меня с американскими самолетами «тамагауками» и английскими «харрикейнами».

Нет, не без причины. Посудите сами, 1942 год. Гитлеровцы у стен Сталинграда. Все честные люди мира требуют от англо-американских союзников: откройте второй фронт, помогите русским в их тяжелой, кровопролитной борьбе. Словно стремясь заглушить эти призывы, печать западных держав трубит о помощи, которую они оказывают Советскому Союзу. О помощи «благородной», «бескорыстной», «щедрой».

Вместе с группой наших летчиков я приезжаю в Архангельск — встречать транспорт, идущий из Англии с самолетами. Транспорт запаздывает, но что ж поделаешь: время военное — не всегда можно уложиться в график рейса. Мы терпеливы, хотя, по правде сказать, очень хочется поскорее увидеть обещанные нам заморские машины. Говорят, они совсем недурны.

— О! «Харрикейн!» «Тамагаук!» — восклицает английский вице-маршал авиации мистер Кольер, прибывший с транспортом. — Это замечательные машины. Лучшее, что есть в Англии и Америке. Вы в этом скоро убедитесь.

«Чем скорее — тем лучше», — думаем мы. Огромные ящики с частями машин мы быстро перевезли из порта на один из близлежащих аэродромов. Задача предстояла сложная: в полевых условиях, без стационарного оборудования нужно было возможно быстрее собрать самолеты и испытать их в воздухе. Однако специально прибывшая на помощь нам английская техническая команда не спешила. Один денек задержалась в Архангельске, другой — бродила по аэродрому, уныло твердя, что летное поле никуда не годится, погода паршивая и что вообще начинать работу в таких условиях нельзя — надо построить сборочные мастерские.

Мастерские? Что ж! Мы засучиваем рукава и приступаем к круглосуточной работе — строим эти самые мастерские. Англичане нам помогают после завтрака с десяти часов утра до двенадцати. Затем у них двухчасовой обеденный перерыв, после чего они работают до шести вечера. Ладно, и то дело!..

Наконец мастерские готовы. Пора бы начинать сборку машин.

— В какой срок нам удастся собрать первую партию самолетов? — спрашиваю я мистера Кольера.

— Я думаю, господин полковник, — лениво отвечает он, — что каждую неделю вы будете выпускать в воздух одну-две машины.

В неделю по самолету?! Ну нет, такие черепашии темпы — самое настоящее преступление. Я смотрю на Кольера. По его лицу бродит тусклая усмешка. «Да не издевается ли он?»

— Господин вице-маршал, — говорю ему, стремясь сдержать возмущение, — приезжайте завтра к вечеру — будете присутствовать на первом облете.

— Шутите? — не то настороженно, не то с прежней издевкой спрашивает Кольер. — О! Русские любят шутить!

Нет, мы не шутим: не до этого нам сейчас! Судя по поведению англичан и их главного шефа — мистера Кольера, нам придется собирать машины одним. И мы будем собирать!

Вице-маршал явился на аэродром не к вечеру следующего дня, а в полдень. Как раз в тот момент, когда первый «тамагаук» был вывезен на взлетную дорожку. Видимо, сей сюрприз пришелся вице-маршалу не по душе. Подойдя к английскому инженеру, он резко спросил его:

— Как это случилось?

Не знаю, почему мистер Кольер допустил оплошность, — то ли он рассчитывал, что никто из нас не знает английского языка, то ли волнение помешало ему вообще что-либо взвешивать, — но мы стали свидетелями чрезвычайно любопытного разговора. При этом особенно примечательными были даже не слова мистера Кольера, а раздраженная интонация, с которой он произносил их.

— Они не хотели дожидаться подъемных механизмов, — развел руками инженер в ответ на вопрос шефа. — Это сумасшедшие люди. Они на руках подняли фюзеляж,

подвели под него крыло, водрузили самолет вот на эти козлы и по нашим чертежам начали монтаж.

— Но вы говорили русским, что так нельзя собирать самолеты? Кроме того, вы обязаны были сказать, что не можете нести ответственность за качество такой сборки.

— Все это мы говорили, но они упрямые люди. Они отвечают, что соберут самолеты сами.

— Сами?! Но американские летчики откажутся облетывать эти машины. Вы так им и заявите! — Мистер Кольер покраснел.

— Я и об этом им говорил. Они отвечают: облетаем сами.

— Ого! Так, может быть, они думают вообще обойтись без нашей помощи?

— Похоже на то, — растерянно пожал плечами инженер.

Взбешенный мистер Кольер направился к американским летчикам, прибывшим для облета машины, и о чем-то долго беседовал с ними. В результате беседы один из летчиков нехотя взял парашют и направился к самолету. Минут двадцать американец гонял мотор на всех режимах, видимо пытаясь найти хоть малейшую недоделку — благовидный предлог для того, чтобы отложить полет. Ничего не мог обнаружить: все смонтированные агрегаты и приборы работали нормально. Волей-неволей летчик поднялся в воздух и показал, на что способна машина. Этого момента мы ждали с нетерпением: мы хорошо запомнили слова вице-маршала: «Лучшее, что есть в Америке и Англии». И здесь нам пришлось особенно жестоко разочароваться: «тамагаук» обладал паршивой скоростью и еще худшей маневренностью.

Кольер стоял, не глядя на нас. Обман, наглый обман! И на этот раз неисправимый: большего, чем дает машина, из нее не выжмешь. Но, может быть, американец совершил полет формально, по обязанности, может быть, машина лучше?..

— Разрешите взлететь, товарищ командир, — обратился ко мне летчик Храмов.

Я разрешил: пусть проверит машину в воздухе, по крайней мере не останется никаких сомнений. Увидев, что Храмов надевает парашют, американский летчик Льюис и Кольер подошли к нам.

— Господин Храмов собирается в полет?

— Да.

— Но ведь «тамагаук» — самолет строгий, его надо хорошо изучить, прежде чем подняться в воздух, — взволновался американец. — Я обучил несколько десятков английских летчиков, и практика показала, что из трех-четырёх пилотов один обязательно ломал самолет.

— Не волнуйтесь. Храмов уже знает эту машину.

— Во всяком случае я снимаю с себя ответственность за благополучный исход этого полета, — почти угрожающе заявил американец.

Храмов усмехнулся:

— Не беспокойтесь, господин Льюис. Я думаю, что этот полет не будет моим последним полетом.

Через несколько минут присутствующие на аэродроме стали свидетелями блестящего по своей виртуозности высшего пилотажа. Мистер Кольер неоднократно бросал вопросительные взгляды на американских летчиков. У них был, скажем прямо, вид оторопелый. Как выяснилось впоследствии, Храмов выполнил ряд фигур, которые американцы не решались выполнять на «тамагауке».

Чем дальше продолжался полет, тем горше становилось у нас на душе: мастерство Храмова не только не ступевывало недостатков машины, а еще яснее обнаруживало их.

Напротив, мистер Кольер светлел.

И как только Храмов приземлился, Кольер и Льюис одновременно задали ему один и тот же вопрос:

— Ну, теперь вы убедились, что это за прекрасный самолет?

Прежде чем ответить, Храмов отвернулся в сторону.

— У русских есть пословица, господа, — неохотно процедил он, — «дареному коню в зубы не смотрят», а если этот «конь» продан еще и за деньги, то на сей счет мы говорим: «Всякий цыган свою кобылу хвалит».

Мистер Кольер оглушительно расхохотался.

— Я же всегда говорил, что русские любят пошутить!..

Злой, мрачный, Храмов в упор посмотрел на вице-маршала.

— Признаться, мне не до шуток, мистер Кольер. Этот истребитель полностью соответствует своему названию «тамагаук». В воздухе это действительно настоящий топор.

От неожиданности Льюис чуть не проглотил свою резиновую жвачку. Кольер замигал, не находя ответа. Стоявшие рядом английские техники, поняв смысл сказанного, рассмеялись, но злой взгляд вице-маршала тотчас же заставил их прикусить язык.

А в моей памяти в тот миг вновь воскресла Испания: осень, сырые холодные ветры, бойцы, кутающиеся в домашние одеяла, — и на складе «подарок» от американцев: украшенные никелем куртки, чудовищно дорогие и издевательски ненужные.

Темными ночами в прифронтовых городах бесчинствует «пятая колонна». Народ пытается схватить ее за горло, но ему не всегда это удается. Ползут слухи — нелепые, противоречивые, провокационные. Смысл их один — республика подрублена под корень, дальнейшая борьба безнадежна.

Армия отменяет эти слухи. Народ не верит им. А они льются, льются — то медоточивые, то напоенные змеиным ядом.

Обидно сидеть на аэродроме без дела. А мы вынуждены сидеть и буквально ждать у моря погоды (из окон нашего общежития видно море — оно стало свинцовым, потеряло свою летнюю синеву). Тем более обидно, что приближается наш большой праздник — двадцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции.

Вечерами мы допоздна размышляем, как у нас на Родине сейчас готовятся к великому юбилею, вспоминаем праздники прошлых лет. Некоторые из нас не раз участвовали в воздушных парадах над Красной площадью, бывали в Кремле, на приемах участников парада. С какой радостью пролетели бы мы над кипучей, расцвеченной флагами и транспарантами площадью и послали бы привет любимой, дорогой Москве.

Чем ближе праздник, тем все чаще наши мысли возвращаются к Родине. И Родина по-праздничному, щедро напоминает нам о себе. Неожиданно раздается звонок. Говорят из штаба группы, просят прислать человека получить подарки, присланные из Советского Союза. Нашей радости нет конца. Испанцы бросаются в разные стороны искать пропавшего куда-то Маноло.

— Скорее, Маноло, быстрее отправляйся за подарками. Понимаешь — из Советского Союза!

И вот Маноло пригоняет грузовую машину, доверху нагруженную объемистыми ящиками. Сперва почему-то решаем вскрывать их в день праздника, но через пять минут любопытство берет верх. Панас осторожно распаковывает свою посылку и начинает перебирать свертки. Ахает от удовольствия: лучшие сорта копченой колбасы, баночки с зернистой икрой, балыки и шпроты... Панас вынимает один сверток за другим. Лицо у него озабоченное: главного он еще не увидел.

— Неужели они забыли?.. — бубнит он себе под нос. — Ура!!! — вдруг кричит на всю комнату. — Не забыли! — И вытаскивает со дна ящика бутылку «особой московской» с белой головкой. — Ну, братцы, — ликует он, — праздник есть чем встретить!

Продуктов действительно такое изобилие, что одной посылки хватило бы на всю эскадрилью. Отправляем все посылки в распоряжение повара. Тот изучает каждый сверток в отдельности и, все более и более изумляясь, не выдерживает напора чувств и прибегает к нам.

— За всю свою жизнь не видел ничего подобного! — восторгается он. — Я устрою вам такой стол, какого не бывало у самих королей. Вот посмотрите! Эти банки с икрой в Испании на вес золота. А это... А это... Ведь это мечта! Чудо гастрономии!

Панас перебивает его:

— Главное чудо — вот! — И он подносит повару водочные бутылки. — Береги их как зеницу ока!

— О! Несомненно! — подмигивает повар. — Я много слышал о русской водке, но еще никогда не пробовал ее.

— Не хочешь ли ты этим сказать, — хохочет Панас, — чтобы я сейчас же налил тебе стопку?

— Нет, нет, камарада Панас! Я думаю, что вы не забудете меня в день праздника.

— Кого, кого, а тебя забыть невозможно. Ты каждый день готовишь такие вкусные блюда!

— И все из одной картошки! Учите!

Праздник выдался на славу! Не знаю, какой ветер дул в предпраздничную ночь, но это был очень добрый и благосклонный к нам ветер. За ночь он угнал в неведомые края всю армаду туч, давно гостившую над нашим аэродромом. Просыпаемся и не верим своим глазам.

— Да ведь летная погода!

Замечательно! Быстро собираемся — и к машинам. Звонят из штаба, поздравляют с праздником, дают боевое задание.

День проходит с большим подъемом. Сенаторовцы непрерывно гудят в воздухе: сегодня фашистам на Майорке не поздоровится!. Мы в свою очередь тоже довольно успешно «поздравляем» вражеских истребителей. Еще утром над Таррагоной нам удается сбить один немецкий самолет. К полудню мы доводим свой праздничный счет до трех сбитых машин. После обеда Бутрым вгоняет в землю четвертую машину.

Наши часы показывают сегодня московское время — мы перевели их накануне. В перерывах между полетами мы смотрим на циферблаты и живо представляем себе все, что сейчас происходит в нашей стране.

— Да, пожалуй, уже проходят танки. Сейчас над Историческим музеем появится флагманский корабль. Интересно, кто открывает сегодня воздушный парад.

— О, демонстрация идет полным ходом, Петр! Хочешь попасть сейчас на Красную площадь?

— Не дразни. Не маленький... — отмахивается Бутрым.

В четвертом часу дня разгорается спор: окончилась демонстрация или нет? В шесть часов московского времени мы уже гуляем по улице Горького, отдыхаем на Пушкинском бульваре и затем идем дальше, к площади Маяковского. Бутрым возражает: ему почему-то не нравится маршрут, и мы не спеша возвращаемся на Манежную площадь. Там в сиянии огней кипит народное гулянье. Мы вмешиваемся в гигантскую толпу людей.

День проходит великолепно. Наш праздник отмечает и Испания. Над Таррагоной мы видим красные флаги, республиканские суда в портах расцвечены флажками всех цветов. На улицах царит оживление, ясно заметное с воздуха. Испания радуется вместе с нами и гордится великими победами нашей страны.

Солнце спускается за горизонт. Спешим к себе в общежитие. В нижнем этаже здания в большом зале повар и три официанта суетятся у стола, заканчивая последние приготовления. Панас стремглав спускается туда и отдает распоряжение налить водку в бокалы.

Придав себе вполне «банкетный» вид, мы спускаемся вниз. Все летчики и механики в сборе, все выглядят по-праздничному. Маноло расхаживает в новом костюме, который мы ему недавно подарили. Повар приглашает всех за стол. Стол действительно «королевский». Чего только не намудрил повар!

— Я сегодня держал экзамен! — говорит он.

Я поднимаю бокал, доверху налитый прозрачной русской водкой. Все встают.

— Выпьем за нашу любимую Родину! Ура!

— Ура! Вива Руссия! — подхватывают испанцы.

Испанцы впервые пьют настоящую русскую водку — кашляют, чихают, но пьют до дна.

— Ну и вико!

Повар терпеливо ждет, когда последний человек поставит пустой бокал на стол. И только после этого залом выпивает свою порцию.

— Динамит!

СНОВА — И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ — НАД МАДРИДОМ

Вскоре после праздника меня срочно вызвали в штаб и приказали немедленно перебазироваться в Мадрид, на знакомый аэродром Барахос.

Сборы недолги. На стоянке Сенаторов озабоченно спрашивает меня:

— Чем объяснить, Борис, что вас опять отправляют на Центральный фронт, ведь там пока относительно тихо?

— Я думаю, вот почему: операция на Арагонском фронте оттянула туда почти всю авиацию из столицы. Говорят, что сейчас в Мадриде базируется всего одна республиканская эскадрилья истребителей. Мадриду это маловато. До Гвадалахары рукой подать, а на этом фронте схватки с фашистами в воздухе происходят почти ежедневно.

— Ну что же, ни пуха ни пера вам, братцы!

Прощаемся со всей эскадрилей бомбардировщиков. Я уже сижу в самолете, когда Сенаторов подбегает к машине и, сложив ладони рупором, кричит:

— А все-таки в Самару-то поедем!

— Обязательно поедем, Саша! — кричу я ему в ответ, запуская мотор.

Мы в воздухе. Реус отодвигается назад... Проходит полчаса, и вдаль уже виден Мадрид. Над городом нависли хмурые тучи. Осень преобразила знакомый ландшафт. Горы наполовину покрыты снегом. Там, где курчавилась зелень бульваров, тянутся темные полосы облетевших деревьев.

Вот и знакомый прямоугольник летного поля, окаймленный с севера лентой реки. С волнением смотрю я на Барахос — в памяти воскресают минувшие события. Как много здесь было пережито в первые дни воздушных боев! Именно здесь, на этом аэродроме, мы впервые познали и радость победы над врагом и горечь неудач. В небе Мадрида мы получили боевую закалку, приобрели опыт, который позволяет нам теперь с уверенностью смотреть в свое будущее.

Я приземляюсь и ставлю самолет на то место, где раньше стояла машина Александра Минаева. Остальные летчики заруливают туда, где стояли раньше.

Освободившись от парашютов, сходимся в круг, закуриваем сигареты. Машинально достаю записную книжечку и делаю пометку: «Снова над Мадридом».

— Над Мадридом?.. — замечает Бутрым. — Но ведь мы только пролетали над городом. Боев-то еще не было.

— Будут, и еще какие! — возражает Панас. — Над Мадридом никогда не бывает прохладно!

«Предсказания» сбываются уже на другой день. Пулеметные стволы накаляются с утра и не остывают до вечера. Мы вылетаем то на Гвадалахарский фронт, то ведем бои в районе Мадрида. Напряжение то же, что было летом. Только дни стали значительно короче, и у нас появляется свободное время. В остальном все напоминает недавнюю жизнь. Поселяемся мы в том же Бельяс Артэс, в центре Мадрида. В комнатах все осталось по-старому. Висит даже фотография девушки, которую Александр Минаев когда-то приколол над своей кроватью. Опустел только бассейн: холодно, не до купания. И вот старичка швейцара нет с его трогательным «уно, дос, трес...» Говорят, уехал в деревню на покой...

Мадрид посуровел. Улицы опустели. Большинство магазинов закрыто. По дороге беспрерывно проходят воинские части. Днем и ночью дежурят патрули. Три-четыре оставшихся во всем городе кинотеатра работают один-два раза в неделю.

По старой памяти мы как-то забрели в знакомое кафе «Алкала». Хозяин, увидев нас, рассыпался в комплиментах: еще бы, кроме нас, в холодном кафе нет никого.

— А где ваш квартет? Помните, был летом — хорошо играли, особенно скрипач... — спросил Бутрым.

Хозяин вздохнул:

— Разбежались... Такое время.

Посидели немного, выпили по рюмочке коньяку и с удовольствием вернулись в общежитие. Там есть шахматы, шашки и даже целая стопка потрепанных книг на русском языке. Откуда мы их достали? Их раздобыл вездесущий, всезнающий Маноло. Надо иметь действительно огромный круг знакомых, чтобы разыскать в Мадриде не только произведения Щедрина, Толстого, но и неведомо как попавшую сюда «Ниву».

Вечером наши комнаты похожи на читальню. Но читать приходится не каждый день. Иногда мы так устаем, что только бы дойти до кровати — и спать, спать, спать...

Но силенка у нас еще есть. Уже в первые три дня мы сбили три фашистских самолета: по одному на день — не так плохо. За это же время мы выполнили несколько разведывательных заданий. Правда, один из полетов в разведку чуть не кончился для нас трагически...

Эскадрилье предстояла сложная задача: произвести одновременно разведку нескольких дорог в тылу противника на Гвадалахарском фронте. Мы решили вначале лететь всей эскадрильей, а затем разойтись звеньями по разным направлениям. Благополучно дошли до развилки трех дорог, в двадцати километрах за линией фронта, и уже чуть было не разошлись по своим маршрутам, как вдруг один из летчиков резко развернулся. Я увидел: десять «мессершмиттов» шли на нас в атаку.

Силы почти равные: это хорошо. Мы принимаем бой. Фашистские истребители рассчитывали на внезапность атаки. Теперь они растерялись, не сумели быстро найти нового плана боя и в конце концов довольно скоро перешли на оборонительный маневр. Мы усилили натиск. Не выдерживая его, «мессершмитты» начали отходить в глубь своей территории.

Кажется, все нормально, можно продолжать полет. Но что это? Самолет Панаса снижается?.. Я лечу вслед за ним, подхожу к нему почти вплотную и вижу, что правая плоскость его самолета во всю ширину распорота вражеской пулей. Не глядя по сторонам, весь устремившись вперед, Панас настойчиво тянет к линии фронта. Распорота плоскость уже вздулась, с ужасом я замечаю, как от крыла начинают отделяться куски верхнего покрытия: отлетел один кусок фанеры, другой, третий...

«Тяни, Панас! Тяни, дорогой!» — кричу я, будто он может услышать меня. Он тянет, тянет, вкладывая в управление машиной все свои силы, все свое умение, воюя за каждую сотню метров.

Половина крыла уже оголена и похожа на решетчатый скелет. Вот-вот самолет потеряет устойчивость и перейдет в бесформенное падение. Инстинктивно вся эскадрилья прижимается к нему плотнее: если бы можно было, как на земле, подхватить падающего человека, уберечь его, защитить!..

Еще один кусок фанеры отрывается от плоскости. «Спешите, Панас, не медлите!» — кричу я что есть мочи и в это же мгновение вижу, как он хватается рукой за край кабины и, пересиливая сопротивление встречного потока воздуха, ложится грудью на борт. Самолет резко накреняется, и в тот же момент Панас соскальзывает в бездну.

Где-то далеко, вижу, появляется белое пятнышко — купол распустившегося парашюта. Я даю сигнал Петру, чтобы он вел эскадрилью дальше; задание должно быть выполнено. А сам устремляюсь вниз. Парашют, распластавшись, лежит на земле. Панас с пистолетом в руке пробирается между огромных камней в сторону своей территории. Вокруг ни души. Увидев мой самолет, Панас, протестуя, машет рукой: «Уходи! Будешь кружиться надо мной — дашь противнику знать о моем местонахождении» Сообразив это, я сразу же улетаю вслед за эскадрильей...

Солнце уже заходило за горы, когда мы произвели посадку. Механик Панаса бегал от одного летчика к другому, спрашивая одно и то же: «Скажите, он жив? Он не разбился? Вы видели его живым?» Маноло даже попросил разрешения поехать на тот участок фронта, где приземлился Панас, и разузнать все, что можно. Его поддержали.

— Езды туда не более трех часов. Пусть едет!

С Маноло отправился механик Панаса.

И вот проходят три, шесть, восемь часов, а Маноло не подает никаких сигналов. Наступает утро. У всех на устах один вопрос:

— Маноло не вернулся?..

Часто смотрим на дорогу. И потому вначале не обращаем никакого внимания на показавшийся вдали самолет. Но самолет приближается к нам. Вот он уже с оглушительным ревом пронесется над аэродромом. Ликуя, восторженно делает одну восходящую «бочку» за другой.

— Панас! Панас! — раздаются крики.

Самолет приземляется, и из него действительно вылезает Иванов.

— Что за чудо! — удивляются летчики.

— Ты что, волшебник, что ли?

Панас рассказывает: минут через двадцать после приземления он встретил республиканских солдат. Те тотчас же провели его к командиру, который выделил для летчика машину. Панас отправился на наш аэродром. Но по дороге вздремнул, а шофер спутал адрес и привез его на аэродром к нашим соседям. На счастье, у соседей оказались два резервных самолета. Панас спокойно переночевал, а полчаса тому назад вылетел к нам.

— Вот и все. Просто и хорошо! — заключает Панас.

Этот случай долго служит предметом оживленных разговоров, пока его не заслоняет другой, не менее острый боевой эпизод, героем которого явилась уже вся эскадрилья.

Произошло это в один из декабрьских дней. Рано утром мы получили приказ штурмовать наземные войска противника в районе населенного пункта Брунете. Быстро пересекли линию фронта. Подходя к цели, заметили справа и слева две группы немецких истребителей. Оглянувшись назад, я увидел еще одну большую группу «фиатов».

Создалось весьма невыгодное положение. Принять бой почти немисливо — это значит наверняка иметь потери. Но и уйти некуда.

Единственный выход — ударить по «фиатам». Эти, пожалуй, не выдержат. Покачиваю крыльями. Летчики смыкаются в плотный строй. В этот момент ведущий «фиатов» в свою очередь покачал крыльями своим самолетам. Ого! Не собираются ли они идти в лобовую атаку?

И вот с огромной скоростью на одной высоте, лоб в лоб, самолеты начинают стремительно сближаться. Кто кого? Остается уже метров восемьсот. «Фиаты» не выдерживают, открывают огонь. Рановато!.. Мы пока не стреляем. Бить — так бить точнее!

Один-два мига, и настал наш черед. Хлынул огонь из наших пулеметов. Ведущий «фиат» вздыбился вверх, остальные отвернули в стороны.

Кольцо разорвано. Смотрю по сторонам — немцы держатся на почтительном расстоянии.

Вечером записываю в блокнотик дату боя, помечаю «психическая атака» и задумываюсь. «Психическая атака... Противнику она стоила самолета. Мы возвратились на аэродром без материальных потерь, но лишь только схлынуло возбуждение, вызванное боем, многие почувствовали страшную, гнетущую усталость. Нервы сдают...»

— Что они зачастили к нам? — недоумевает Панас. — За каких-нибудь три месяца целых три комиссии! Боюсь: не сделали бы они серьезного вывода.

Каждый приезд медицинской комиссии меня повергает в тревогу. Ахи и вздохи врачей относительно нашего здоровья становятся все откровеннее. У Панаса действительно пошаливают нервы. Бутрым подозрительно кашляет, у меня после Астурии побаливает грудь. Наши друзья испанцы тоже выглядят отнюдь не здоровяками. Но ведь идет война — не на курорты же нас посылать, когда нужно воевать, воевать и воевать.

Однако кто их знает, что думают эти врачи. В последнее их посещение, осматривая меня, председатель комиссии сокрушенно покачал головой и как бы невзначай заметил:

— На днях мы были в летной школе, как раз после выпуска летчиков. Вот я вам скажу, где здоровяки! Молодежь!..

Как будто мы уже старики!..

Прошло три дня, как комиссия покинула эскадрилью. Начинаем успокаиваться. И вдруг звонок: вызывает командующий. Вхожу к нему. Он встает из-за стола, приветливо улыбается.

— Садитесь, — говорит. — Ну, как ваши дела?

Не люблю я эту фразу: «Как ваши дела?..» Всегда за нею следует неожиданный поворот в разговоре.

— Наши боевые дела вам известны... — отвечаю я.

— Я спрашиваю о другом. Как вы себя чувствуете? Как здоровье других летчиков?

— Здоровье нормальное. Чувствуем себя хорошо.

— Так и знал! — смеется командующий. — Хоть бы один летчик признался, что чувствует себя неважно.

Командующий открывает ящик стола и достает мелко исписанный лист бумаги.

— М-да... А между тем — читайте-ка!

Он передает мне акт медицинской комиссии. Внимание мое сразу же привлекают слова, подчеркнутые красным карандашом: «...Абсолютно необходим продолжительный отдых с прохождением соответствующего курса лечения... Иначе в ближайшее время многие летчики могут оказаться неспособными к полетам ввиду крайнего физического и нервного истощения».

— Да, но...

— Никаких «но», — внушительно прерывает меня командующий. — Летная школа в Алкасарес выпустила новый большой отряд летчиков. Они заменят вас. Иначе и вы не сможете отдохнуть и молодые летчики останутся не у дел. Сами знаете: машин у нас мало.

Я возражаю. Как всякий пытающийся доказать недоказуемое, я стараюсь быть изворотливым в своих доводах.

Командующий смотрит на меня пристально и, мне кажется, с огорчением.

— Помните, — тихо говорит он, — именно потому, что вы добровольцы и приехали к нам из Советского Союза, мы не можем допустить, чтобы вы раньше времени вышли из строя. Вы еще понадобится своей Родине. А отказывать мы вам ни в чем не хотим. Наоборот, мы требуем только одного: полечитесь месяц, другой. Потом милости просим вновь к самолетам.

— Мы же умрем от скуки за это время!

— Да... — соглашается командующий. — Столько времени трудно отдыхать. А знаете что? — резко поворачивается он, обрадовавшись внезапно мелькнувшей мысли. — Что, если вы проведете это время у себя, в Советском Союзе? В том же Севастополе, о котором вы мне как-то рассказывали...

У себя, на Родине!.. Слушайте, да ведь это же... это замечательно! За несколько дней мы дольвим до Севастополя. Пробудем там с месяц — и обратно! Месяц на Родине — за это можно полжизни отдать!

— Хорошо, — говорю я командующему. — Очень хорошо!

Улыбаясь, он протягивает руку.

— До свидания. Ждите особого распоряжения.

Прошло несколько дней. По-прежнему с утра до вечера мы летали на боевые задания. О разговоре с командующим я, конечно, рассказал своим друзьям. Так как я рассказывал в той же последовательности, в какой происходил разговор, то реакция слушателей так же менялась, как и моя: вначале негодование, возмущение, уверения в полном здоровье, затем постепенное согласие и, наконец, восторг.

И вот наступает памятный день: двадцать пятое декабря. Утром меня вызывают к телеграфному аппарату. Волнуясь, смотрю на узкую белую ленту, испещренную точками и тире. Она медленно ползет из-под валика. Я тороплю телеграфиста: «Читай!..» И он читает: «Перегнать самолеты для сдачи. Посадка Валенсия».

Отвечаю коротко:

— Понял, выполняю.

Кладу телеграфную ленту в карман и выхожу на аэродром.

В последний раз поднимаю ракетницу и даю сигнал на вылет. Летчики бросаются к своим самолетам. Усаживаюсь в кабину, обращаюсь к механику:

— Хуан! Передай инженеру: после вылета немедленно перебазировать все имущество на Валенсийский аэродром. Мы произведем посадку там. А ты, Маноло, позаботься забрать из общежития все личные вещи летчиков. И приезжайте скорее!

В последний раз мы над Мадридом. Истребители проносятся низко, над самыми крышами, и разворачиваются на Валенсию.

Я чувствую, что летчики недоумевают, ведь я им не объяснил цели полета. Они думают, что это очередной боевой вылет, и не понимают, почему я держу курс на

десять градусов восточнее, чем обычно, когда мы летали на Гвадалахарский фронт. Панас пристраивается ко мне и старается показать, что на Гвадалахару нужно лететь немного левее. Я улыбаюсь в ответ, отрицательно покачивая головой и показывая рукой — идти прямо. Через несколько минут эскадрилья стало ясно, что она идет не на фронт, а в тыл.

После посадки ко мне подбегает взбудораженный Панас.

— В чем дело, Борис? Почему мы прилетели сюда? Неужели пришло распоряжение?

— Да, нам приказано сдавать самолеты.

И вот наступил час расставания.

Механики приехали на автомашинах ночью и, не ложась спать, принялись чистить, подкрашивать наши машины. Мы заблаговременно съездили в город, закупили механикам подарков. Кто знает, что будет через полтора-два месяца, — вернемся, могут ведь назначить в другое подразделение...

Передаю подарок Хуану, он берет его машинально.

— Я многим тебе обязан, Хуан, — говорю ему. — И прежде всего тем, что сейчас живой и невредимый еду на Родину.

— О, камрада Борес! Как я рад за вас! Вы увидите свою Родину — Советский Союз.

Из-за поворота дороги показывается автобус: едет наша смена. Мы идем навстречу молодым летчикам. Высовываясь из машины, они приветствуют нас: «Салуд, камарада!» Объятия, поцелуи, возгласы. Что же это — прощание или встреча?

И то и другое. Минут пять назад я видел, как Бутрым и высокий, худой испанец улыбались, а сейчас уже разговаривают серьезно, загрустили.

Панас стоит возле своего самолета и нежно гладит его рукой, словно живое существо. Рядом с ним — молчаливый, задумчивый испанец. Механик Панаса, потупясь, смотрит в землю. Если хотите хорошо расставаться, не затягивайте расставания!

— Товарищи! — говорю я. — Пора ехать.

— Подожди минутку, Борис, — просит меня Панас.

Он вытаскивает карандаш и смущенно выводит на борту самолета свое имя. Улыбнувшись, испанский летчик немного ниже вписывает: «Хозе» — и заключает оба имени в кружок.

Обнявшись, они направляются к машине.

СПУСТЯ МНОГО ЛЕТ...

Белыми мухами кружатся у электрических фонарей снежинки. Мы идем не спеша по улицам родного города. Как он изменился! Но мы помним каждый поворот, каждый дом и даже эти развесистые клены, сторожами стоящие у знакомых калиток.

— Хорошо! — говорит Саша Сенаторов и вбирает полную грудь свежего волжского воздуха. — Красивая она, наша Самара, это тебе уже не «городок», а замечательный городище!

Мы идем не спеша и вспоминаем наши первые встречи. Вспоминаем Испанию, ее людей, небо над Мадридом. Думали ли мы тогда, что бои за республику станут прологом к мировой битве с фашизмом?

Сенаторов вспоминает о друзьях испанцах. Я слушаю его, и в памяти оживают образы моих боевых товарищей. Хуан... Маноло... Клавдий... Где они? Что с ними?

— Мы еще услышим о них, — говорит Сенаторов и вдруг спрашивает: — А где она, Испания? Я что-то плохо ориентируюсь...

Перед нами гранитная набережная, за ней белая лента Волги.

— По-моему, в той стороне, — отвечаю я, и мы долго всматриваемся в ночную мглу, словно пытаемся разглядеть далекую испанскую землю.



ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

А. МАРКИН

★

СТРАТЕГИЯ ВЕЛИКИХ РАБОТ

(Заметки инженера)

Глубокая ночь. Наши машины мчатся по притихшим улицам Москвы к Внуковскому аэропорту. Сегодня вылетает в Сибирь комиссия ученых для ознакомления с работой Восточносибирского филиала Академии наук СССР и оказания ему помощи.

Пассажиров приглашают в самолет «ТУ-104». И вот уже промелькнули московские огни; врезавшись в облака, воздушный корабль через несколько минут попадает в какой-то другой мир. Вверху ярко горят звезды, а под нами беспредельная «снежная» равнина из облаков, освещенная лунным светом. Глухо гудят реактивные турбины, толкая самолет со всей мощью своих 50 тысяч лошадиных сил. Ни скорости, ни высоты не чувствуется, хотя мы поднялись на десять тысяч метров и летим с быстротой 950 километров в час. Снаружи жестокий мороз — более 50 градусов.

Самолет держит курс «встречь солнца». Позади остался Свердловск. Теперь — Сибирь. Словно желая скорее показать нам эту сказочную страну, облака ушли куда-то в сторону, и внизу развернулась без конца, без края живая карта Сибири.

Был конец октября. Хлеб уже убран, видны огромные массивы вспаханной черной земли. Извиваясь змейками, тянулись на север, к Ледовитому океану, реки. Где-то справа угадывался Великий сибирский путь — стальная нитка тянулась с запада на восток через весь континент Советской Азии. К этому жизненному нерву жалось все — города, заводы, пашни, линии электропередачи. Чем дальше отсюда, тем слабее рассматривались приметы человеческого труда. Сотни, тысячи километров севернее земля давно ждет человека, чтобы раскрыть перед ним свои исполинские сокровища.

То, что сейчас делается в Сибири, лишь прелюдия грандиозных преобразований, подготовка к таким работам, которых еще не видел мир.

Пока на Омском аэродроме наш самолет жадно глотал свой завтрак — двадцать пять тонн керосина, мы, собравшись под его крылом, заговорили об этой величественной проблеме.

— Как сложно будет научной мысли нарисовать лик будущей Сибири, — раздумчиво говорил член-корреспондент Академии наук СССР Л. М. Сапожников. — Ведь главное — это выделить основные идеи в инженерно-экономической схеме всестороннего развития этого края, в схеме, рассчитанной на труд целых поколений.

Он был прав. Пожалуй, еще никогда не приходилось подходить к решению научных проблем так широко, как в вопросе преобразования сибирского континента. Здесь бездна комплексных тем. Вот почему создание целостной научной картины развития Сибири, скажем, вперед на сорок лет, на восемь пятилеток, — на первый взгляд, фантастическая, отвлеченная задача — является, между тем, в наши дни одной из наиболее насущных, актуальных. То, что нет до сих пор такой, пусть самой грубо ориентировочной, схемы, может отрицательно сказаться в недалеком будущем, уже в обстановке практических дел. Не имея этих наметок, мы не можем гарантировать себя от ошибок в размещении производительных сил, в определении производственных мощностей вновь построенных предприятий, в выборе технологических процессов. А ведь даже, казалось бы, незначительный просчет может обойтись, учитывая сибирские

масштабы строительства, в сотни миллионов, в миллиарды рублей, огромное количество напрасного труда, не оправдавший себя расход материалов.

Но в чем искать эти отравные «красные нити»? Какой должна быть наша коммунистическая Сибирь?

Этот вопрос давно занимает мысли многих инженеров и экономистов, работающих в данной области проблем. Он снова и снова возникал в наших недавних беседах с сибиряками в далеком Олѣкминске на Лене, в Баргузине на Байкале, в высокогорном Боксоне, в Тункинской долине, Иркутске, Ангарске и многих других местах Сибири.

Мысли с большим „загадом“.

В течение нескольких дней московские ученые изучали работу лабораторий и институтов Восточносибирского филиала Академии наук СССР, посещали промышленные предприятия и стройки Иркутской области, давали консультации, выступали с докладами, разработали конкретные меры по улучшению исследований.

Но где бы мы ни побывали, с кем бы ни беседовали, каждый раз разговор сводился к одному: Сибири нужна генеральная схема на длительный срок, необходимы ясность самых широких перспектив, вехи на столбовой дорожке развития края.

В Иркутском обкоме КПСС нас встретил первый секретарь Борис Николаевич Кобелев, спокойный человек с энергичным лицом и крепкими руками рабочего. Он знал сибирские дела досконально и направил разговор сразу по конкретному руслу.

— Как идут дела с получением металлургического кокса из черемховских углей? — осведомился он у профессора Сапожникова.

Сапожников подробно информировал его, потом достал опытные образцы формованного кокса и, по ходу своего рассказа, колотил один о другой, с силой швырял образцы на пол, чтобы показать их прочность и так называемую сахарную структуру.

Здесь не говорили об огромном значении этих научных работ, оно было ясно. Как известно, от Сталинска до Южной Якутии пока не обнаружены коксующиеся угли, поэтому решение проблемы получения металлургического кокса из углей типа черемховских развязывает руки и позволяет строить металлургические заводы в любом пункте Восточной Сибири. В обкоме же речь шла о промышленном опыте изготовления такого кокса в Черемхове и в Ангарске.

— Согласятся ли директора поставить у себя этот эксперимент?

— Согласятся, — уверенно ответил Кобелев. — Решения Двадцатого съезда партии о техническом прогрессе обязательны для всех. Мы сначала попросим директоров похорошему, а затем, если нужно, попросим построже. С министром я говорил только что по телефону, он обещал поддержать эту работу.

Затем начался разговор с химиками, тоже по строго деловым, практическим вопросам. Вот, например, Тулунский гидролизный завод. Он только что выдал первую продукцию — на столе секретаря обкома стоит колба с винным спиртом из древесины, лежат образцы новых химических продуктов. Но впереди еще очень много дел, работы только развертываются.

— У нас здесь еще мало решительных, смелых творцов и новаторов в науке, — пожаловался Б. Н. Кобелев. — Нам нужны такие ученые, которые полюбили бы этот богатейший край, стали бы его патриотами. А иной раз сюда прибывают люди с видом мучеников: вот, дескать, совершили «подвиг» — променяли московский метрополитен на тайгу и «дикие» берега Ангары.

В этом развернувшемся разговоре местных партийных работников с московскими и сибирскими учеными все отчетливее вырисовывалось желание шире раздвинуть завесу, за которой скрывается будущее сибирского континента. Да, план дальнейших перспектив развития советского Востока нужен уже сегодня. Смысл этого плана будет заключаться в том, что он должен ориентировать в тех направлениях и масштабах работ, которые нужны для преобразования не только Сибири, но всей страны.

О каких сроках может идти речь?

По-видимому, следовало бы приступить к разработке контуров общей гипотезы развития производительных сил СССР примерно на период до 2000 года. Возможно, что такое предложение вызовет кое у кого недоумение и сомнение.

Обратимся к истории строительства нашего Советского государства. Вспомним, какую борьбу пришлось вести В. И. Ленину с критиками знаменитого плана ГОЭЛРО, которые называли этот план «электрофикцией». Особо сокрушающий огонь критики Ленин сосредоточил на противниках, кичащихся «резвым» подходом к экономическому строительству, на работниках «без загада», живущих только сегодняшним днем. История показала, насколько оказался реальным ленинский план электрификации страны.

В истекшем году наши электростанции выработали примерно 192 миллиарда киловатт-часов электроэнергии — в 384 раза больше, чем в 1920 году, когда народ приступил к осуществлению плана ГОЭЛРО. Ни одна страна мира не знала таких огромных темпов производства электроэнергии.

Таким образом, тридцать шесть лет назад, когда экономика нашей страны, разоренной двумя войнами, значительно отставала от многих государств, Коммунистическая партия сочла возможным предложить народу смелый план широких преобразовательных работ. Теперь по общему объему промышленной продукции СССР вышел на второе место в мире, у нас создана прочная материальная база, выращены замечательные кадры. Все это позволяет охватить перспективным проектированием гораздо больший период.

Для этой цели небесполезно учесть инженерные мечты и предложения многих выдающихся русских людей. Напомним, что Д. И. Менделеев намечал конкретные пути использования богатств Сибири. Выдвигались замечательные проекты переброски части вод сибирских рек на юг, в пустыни, соединения Волги и Дона, Аму-Дарьи и Каспия, Волги и Москвы-реки. Вынашивались широкие планы использования Волги, Ангары, Днепра, грандиозных месторождений железной руды, Курской магнитной аномалии, Кузбасса. Это были мечты, отражающие чаяния нашего народа. Самый план ГОЭЛРО, рассчитанный на десять—пятнадцать лет, с его полутора миллионами киловатт звучал для многих, как несбыточная мечта. А какое в 1919 году огромное впечатление произвела на всех мечта Ленина о ста тысячах тракторов! «Вы прекрасно знаете, — сказал он, — что пока это фантазия». Но это была научно обоснованная фантазия. В 1955 году на полях страны работало свыше одного миллиона четырехсот тысяч тракторов (в пятнадцатисильном исчислении).

Смотреть вперед.

Мы должны знать, что нам надо сделать в течение пятилетия, но очень важно ясно представлять себе также, что будет дальше, за его пределами. В противном случае может создаться и такое положение, когда какое-либо крупное сооружение, хорошо обоснованное для нужд одной пятилетки, в последующие годы не только потеряет свое прежнее экономическое значение, но окажется просто нерентабельным в народно-хозяйственном отношении.

При проектировании и сооружении города Ангарска проектировщики жили, конечно, «сегодняшним днем». В результате пришлось отойти от наилучшей схемы ангарского каскада гидроэлектростанций.

— Без учета перспективы сооружался этот громадный промышленный комплекс в Ангарске, — с горечью сказал нам секретарь Иркутского обкома партии Б. Кобелев. — В него вложили огромные средства. Город со стотысячным населением до самого последнего времени почти не давал никакой продукции и ежедневно проедал около полутора миллионов рублей. Положение сейчас быстро исправляется, но какой это тяжелый опыт!

Вопреки протестам многих союзных и местных организаций Иркутская гидроэлектростанция запроектирована Министерством электростанций без шлюзов. Глухая плотина уже отрезала город Иркутск и западные районы от Байкала. Не только судно, но и лодка не может пройти на Байкал или выйти из него. Но этого мало. Нанесен жестокий удар замечательной идее создания сквозного водного пути: Карское море — Енисей — Ангара — Байкал — Селенга — Амур — Тихий океан. Сколько русские люди мечтали об этом великом водном пути для морских судов из Северного Ледовитого

океана в Тихий, о морских гаванях у стен Иркутска, на Байкале! Министерство знает о возмущении, которое вызывает его отказ строить шлюзы. Поэтому оно обещает построить их после.

— Думаем, что это «дипломатическая» игра, — сказал нам председатель Восточно-сибирского филиала Академии наук СССР В. А. Кротов. — После пуска Иркутской ГЭС все строительные механизмы будут отсюда отправлены, строители уйдут, и вопрос о сооружении шлюзов будет отложен на долгие годы.

Железнодорожники, приступая к строительству Ленской железной дороги, конечно, знали о схеме ангарского каскада, но они жили одной пятилеткой. Теперь плотина Братской ГЭС затопит большой участок этой дороги, стоящий государству немалых средств.

Недостаточное проникновение железных дорог в глубь тайги приводит к массовой вырубке лесов вокруг существующих городов и населенных пунктов, вдоль существующей Сибирской железнодорожной магистрали. Мы ехали в автомобиле по старому сибирскому тракту от Иркутска через многие села, через города Ангарск, Усолье-Сибирское до Черемхова. Везде голо, леса почти нет. Его безжалостно вырубili. В этом также нет заботы о будущем.

Мы живем в такое время, когда все крупномасштабные работы, начиная от закладки новых садов и подъема новых земель и кончая созданием мировых центров металлургии (два-три Рура!) на базе месторождений железа Курской магнитной аномалии и Кустаная, требуют планов на десятки лет.

В период процветания культа личности научные коллективные поиски решений громадных инженерных проблем нередко недооценивались или не принимались во внимание. Иногда многомиллиардные капиталовложения ложились тяжким бременем на плечи народа, не давая никакой прибыли, не умножая богатства страны. В этот период без основания и обсуждения, например, отвергались варианты сооружения самотечных каналов. В основу была положена электронасосная подкачка громадных масс воды. Таким образом, судоходство, водоснабжение, орошение пытались поставить в зависимость от работы электронасосов, поглощающих огромное количество электроэнергии. Решение о сооружении Главного туркменского канала не имело никакого научного обоснования. К счастью, это было потом исправлено.

Этот период характеризовался искажениями ленинской политики в размещении производительных сил страны. Очень медленно развивалась экономика восточных районов, неоправданно продолжали расти некоторые города, в которых сосредоточивались крупные промышленные предприятия.

Двадцатый съезд нашей партии с особой силой подчеркнул важность и актуальность таких проблем, как наиболее целесообразное комплексное размещение промышленности по экономическим районам, приближение предприятий к источникам сырья, топливно-энергетическим ресурсам и к районам потребления, эффективное использование природных и трудовых ресурсов. Быстрейшее решение этих задач будет способствовать дальнейшему развитию народного хозяйства, укреплению экономической мощи нашего государства, улучшению бытовых условий советских людей.

Распределение промышленности и городов подготовлено всем ходом развития энергетической техники и является одним из неотложных вопросов. Как известно, концентрация промышленных предприятий в ряде крупных городов приводит к тому, что все коммуникации к городу чрезмерно разрастаются и перегружаются. Жилищное строительство и коммунальное хозяйство не поспевают за потребностями искусственно разбухшего населения города. Предприятия торговли, общественного питания, городского транспорта и т. д. работают все время с предельным напряжением.

Жизнь подсказывает необходимость научной разработки перспективных комплексных схем использования водных ресурсов страны.

На важнейших притоках Каспия — Волге, Тереке, Куре — сооружаются гидроэлектростанции с огромными водохранилищами, строятся оросительные системы. Исследователь Каспия Ю. Е. Очаковский считает, что за последние двадцать пять лет Волга недодала Каспию около девяти сот кубических километров воды (два Азовских моря!), море быстро мелеет, уровень его уже понизился на два метра; подсчеты пока-

зывают, что неизбежно дальнейшее понижение. Каспий мелеет, создается угроза рыбодоводству, портам, прибрежным городам, промышленности и сельскому хозяйству; ухудшается климат.

Состояние с обеспечением пресной водой центральных и южных районов европейской части страны, а также сохранение нормального уровня Каспия уже сейчас требуют серьезных забот о завтрашнем дне. Следовало бы внимательно разобраться в проекте переброски вод северных рек — Печоры, Северной Двины, Мезени — в русла Волги, Днепра и Дона. Предложение о такой межбассейновой переброске воды делалось уже давно, однако, к сожалению, должного внимания оно не привлекло. Надо полагать, что, учитывая жизненные интересы страны, эта идея будет реализована, осуществится содружество Северного и Волжского бассейнов.

Инженерная мысль работает и над другими вариантами поддержания уровня Каспийского моря и обводнения засушливых прикаспийских районов. Гидроэнергетики выдвинули идею перехвата стока Днестра, Южного Буга, Нижнего Днепра и даже Дуная и переброски его искусственным каналом в Прикаспийскую низменность.

Однако все эти научные гипотезы почти не разрабатываются, очевидно считается, что это — дело далекого будущего. Но жизнь не ждет. Продолжающееся падение уровня Каспия угрожает сегодняшним производственным планам некоторых министерств и ведомств. Они начинают разрабатывать каспийские проекты только для себя. Институт Гидрорыбпроект Министерства рыбной промышленности составил уже схему рыбохозяйственных мероприятий в Волго-Каспийском районе, которая включает строительство рыбоводных заводов, обводнение и мелиорацию естественных нерестилищ. Министерство Морского Флота намечает продолжить дноуглубительные работы во всех морских каналах Каспия, перестройку существующих причалов и реконструкцию портов. Конечно, все эти проекты являются вынужденными, так сказать, ведомственными мерами. Они не способны решить комплексную проблему поддержания уровня Каспийского моря.

Комплексный подход к использованию наших рек позволит успешно бороться с излишними затоплениями земель, загрязнением рек, хищническим отношением к рыбным, лесным и другим природным богатствам. Надо учесть, что в результате гидроэнергостроительства в течение ближайших пятилеток площади зеркала водохранилищ вырастут до огромных величин.

В Гидроэнергопроекте работает опытный эконимист Галина Сигизмундовна Вызго. Всю свою душевную горечь по поводу расточительства земель эта скромная женщина изложила так:

— Вы хотите знать, как велики предстоящие потери земель в результате не всегда продуманного гидроэнергостроительства? Вот смотрите!

Она раскрыла передо мной карту Советского Союза. В ряде мест реки как бы выступали из берегов и широко заливали земли. Что это, «потоп», который мы готовим сами себе в этих однобоких проектах, не жалея для этого ни огромных средств и труда, ни плодородных обжитых земель, лесов и садов, отвернувшись от тайн наших недр?.. Эта площадь «планируемых затоплений» будет огромна; водохранилища затопят многие миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, главным образом плодородных пойменных земель, и миллионы гектаров леса. Таковы плоды ведомственного, лишь только энергетического, подхода к использованию рек, забвения интересов других отраслей народного хозяйства.

Здесь уместно сказать о разработке проектными организациями схемы обского каскада гидроэлектростанций.

За годы Советской власти земледелие продвинулось в пределах лесной зоны далеко на север, особенно в поймах Иртыша, Нижней Оби и других рек. Здесь все благоприятствует сельскому хозяйству — замечательные почвы, роскошные пойменные луга, спокойный рельеф. Запасы тепла весной и летом не меньше, чем в Центральной Европе. Западно-Сибирская низменность в будущем приобретет значение величайшей житницы мира. Считают, что площадь земель, перспективных для сельскохозяйственного освоения, в пределах Западной Сибири достигает 85 миллионов гектаров. По мнению профессора Н. Н. Колоссовского, придет время, когда по массе произво-

димой сельскохозяйственной продукции Западная Сибирь перекроет Соединенные Штаты Америки.

Существенный недостаток северных районов Западно-Сибирской низменности — переувлажнение, заболоченность, хотя осадков здесь выпадает меньше, чем в европейской части страны.

Чем это вызвано?

Западная Сибирь — это преимущественно равнина. Представьте себе сотни километров абсолютно ровной, как стол, земли. Эта исполинская площадка имеет северо-западный наклон, в направлении которого медленно, еле заметно, текут реки, имея почти неощутимые уклоны. Паводки и ледоставы в нижних и верхних участках рек не совпадают. Вода слабо дренируется. Во время разлива Обская долина превращается в море.

Освободиться от лишней воды, расширить фонды земель для сельского хозяйства можно только одним путем: сооружать гидроэлектростанции на южных, горных участках рек, плотины которых будут регулировать здесь сток воды. Это сократит сроки и высоту паводков. Понижение уровня воды в реках будет дренировать почву, и вода беспрепятственно начнет скатываться в реки.

Что же делают проектные организации Министерства электростанций и отдельные проектировщики? Они проектируют каскад гидроэлектростанций на Оби, плотины которых перекроют средний и нижний участки течения Оби. Эти исполинские, шириной в 50—85 километров, плотины должны перегородить речные долины, будет затоплено до 35 миллионов гектаров земли. Огромные водохранилища поднимут грунтовые воды, окончательно переувлажнят земли, возникнет опасность потери сельскохозяйственного значения большей части Западной Сибири.

Обратимся теперь к другой стороне проблемы освоения этого края. Западно-Сибирская низменность представляется в геологическом отношении грандиозным белым пятном. Геологи только-только начинают ее изучение, и уже первые сведения обнадеживают. Возможно, что здесь мы стоим накануне открытия величайших природных ценностей. Известно, что в Западно-Сибирской низменности давно обнаружены признаки громадных ресурсов нефти и газа, об этом свидетельствует, например, недавно открытое крупнейшее месторождение природного газа в Нижней Оби, в районе Березово. Одностороннее (в смысле лишь энергетического использования западносибирских рек) проектирование, несмотря на всю его неповторимую грандиозность и заманчивость с точки зрения гидроэнергетики, может привести к печальным результатам: исчезнет возможность хозяйственного использования земель с их неиссякаемым плодородием, на дне искусственных морей будут погребены бесценные дары природы — полезные ископаемые.

Подобного рода узковедомственные проектировки нарушают гармоническое, всестороннее развитие экономики. Нужно скорее возобновить работы по составлению крупных комплексных водохозяйственных схем, которые учитывали бы интересы всех отраслей народного хозяйства. Такие схемы уже составлены в Китае при помощи советских гидроэнергетиков. Они охватывают бассейны рек Хуанхэ и Янцзы и рассчитаны на сорок—пятьдесят лет. Почему же у нас самих задерживаются работы аналогичного порядка?

Все это говорит о том, что теперь, когда мы подходим к развитию производительных сил своей Родины с новыми, небывалыми еще масштабами, остро необходим перспективный, рассчитанный на десятки лет вперед генеральный план комплексного использования водных ресурсов страны.

Сибиряки просят химиков...

Земля отдает человеку богатства своих недр, не требуя ничего взамен. Но всякое грубое, хищническое отношение к ее верхнему слою — почве, толщиной едва ли в полметра, к этой тонкой, но живой, наполненной жизненными соками и дышащей «кожице», земля воспринимает болезненно. Однако есть поистине изумительные средства, восстанавливающие силы почвы.

Если на каждый квадратный метр земли дать одну чайную ложку азотных удобрений (пять граммов) стоимостью меньше копейки, наша страна получит от своей пашни добавочной продукции на 125 миллиардов рублей за один год. Только зерна будет собрано дополнительно три миллиарда пудов. Это достаточно для того, чтобы прокормить в течение года 175 миллионов человек.

Химия открывает нам широкую дорогу к сельскохозяйственному освоению Сибири. Огромные, еще не распаханые площади расположены здесь в зонах резко континентального климата. Во многих районах короткое, но очень жаркое лето. Если дать хорошие удобрения растениям, то рост их намного ускорится, они успеют до ненастья и морозов полностью созреть и принести обильный урожай. Химия здесь выступает в тесном содружестве с энергетикой. Химия ускоряет созревание, а энергетика, двигая армией машин, быстро проводит посевы, обработку и уборку сельскохозяйственных культур. С таким оружием, как энергетика и химия, не страшны быстротечные весна и лето. Азотные удобрения позволяют широко развить в Сибири посевы кукурузы, бахчевых и многих других теплолюбивых культур.

Производство связанного азота считается теперь чуть ли не таким же важным, как производство электроэнергии, металла, нефти, угля, станков и машин. И здесь придется еще и еще раз сказать об отставании отечественной химической промышленности.

В Соединенных Штатах Америки азотный завод производительностью триста тонн в сутки строится примерно один год. В нашей стране с такой задачей справляются лишь в течение восьми—десяти лет. В США в 1956 году внесли в почву жидких азотных удобрений около четырехсот тысяч тонн, а у нас — едва ли две тысячи тонн. В 1956 году советские химики дали самое скромное питание азотом только для двух процентов площади посевов зерновых, для пяти процентов посевов кукурузы и для десяти процентов площади картофеля.

В США до семидесяти процентов азотных удобрений готовится на основе дешевых природных газов. В нашей стране, где имеются неисчислимы запасы природного газа, нет еще ни одного такого завода. Гигантский резерв для производства аммиака лежит втуне.

В связи с усилением животноводческого направления многих районов нашей страны, а также превращением некоторых совхозов на бывших целинных землях в крупные животноводческие хозяйства проблема кормов приобретает огромное значение. Решение этой проблемы связано с широким применением жидкого аммиака.

Намечая стратегические линии великих работ в области сельского хозяйства, Коммунистическая партия призывает вместе с дальнейшим освоением целинных и залежных земель к интенсивному землепользованию на возделываемых и обжитых площадях, особенно вокруг городов, требующих постоянной и близкой продовольственной базы. Для этого нужны высокая агротехника, обильные химические удобрения.

— Мы ждем большой и незамедлительной помощи от химической науки и производства, — сказал нам секретарь Иркутского обкома КПСС Б. Кобелев. — Наряду с расширением посевов мы намереваемся уже в ближайшее время организовать интенсивное землепользование — заливать не менее ста тысяч гектаров жидким аммиаком. Это — начало подлинной технической революции в сибирском земледелии. Урожайность на этом массиве должна намного повыситься.

Прогрессивная агротехника как бы расширит пашни Иркутской области.

Наука и жизнь.

Несколькими днями позже я встретился в Иркутске с технологом Макаровым. Иван Андреевич — инженер с большим практическим опытом и острым чутьем к новому.

Мы заговорили о судьбах сельского хозяйства в Восточной Сибири. Я спросил: — Если в Иркутской области геологи откроют природный газ, сколько вы можете тогда дать аммиака?

Он на минуту задумался, подсчитывая что-то в уме, потом ответил:

— Один миллион тонн на той же производственной мощности, больше годовой производительности Англии и Франции, вместе взятых.

Знают ли геологи, что может дать природный газ Восточной Сибири? Но в том или ином случае вывод ясен: надо форсировать разведку на газ.

Рассуждая о перспективах развития Сибири, мы опять загрозули тему о помощи науки. Я вспомнил выступление академика А. Л. Курсанова перед своими научными сотрудниками. Он говорил о необходимости быть в курсе новейшей мировой литературы по своей специальности, иметь определенные точки зрения на выдвигаемые наукой вопросы:

— Ученый не может жить на проценты, а обязан непрерывно учиться, перечитываться и доучиваться. Ученый — это не воздушный шар, который, поднявшись на известную высоту, способен долго пребывать на ней за счет того, что его когда-то наполнило. Он «тяжелее воздуха» и скорее напоминает самолет, которому приходится непрерывно работать, чтобы сохранять высоту или подниматься еще выше. Без систематической работы неизбежен планирующий спуск, тем более крутой и стремительный, чем моложе ученый, прекративший совершенствовать свои знания. И иногда такой ученый падает очень низко.

...Над Иркутском спустился вечер. За городом, там, где-то за Ангарой, угасало сияние золотисто-светлого заката. Макаров продолжал рассказывать о себе и своих товарищах по работе. Мы говорили о том, как опасно, когда некоторые наши ученые без меры пользуются материальными и административными привилегиями. Иногда такая вольная или невольная «монополизация» науки похожа на анекдот. Беседуя как-то с членом-корреспондентом Академии наук СССР Д. М. Чижиковым, мы коснулись вопроса системы рецензирования. Он жаловался, что ему, как специалисту по цветным металлам, присылают на экспертизу множество работ, словно он только один и работает в этой области.

— Был такой случай, — улыбнулся Чижиков. — По заданию директивного учреждения я составил записку о перспективах развития цветной металлургии. Чтобы обеспечить объективное обсуждение, подпись автора убрали и разослали записку во многие организации. Каково же было мое изумление, когда все эти организации обратились ко мне с просьбой дать отзыв о моей же работе. У меня на письменном столе выросла груда копий собственной записки, заштампованных многими учреждениями...

Хочется поведать читателям еще об одном интересном разговоре. Это было на строительстве Иркутской гидроэлектростанции.

Мы стояли на огромной насыпи левого берега — два инженера в брезентовых плащах и высоких сапогах и автор этих строк. Шел мокрый снег. Мимо нас шумно пробегали мощные «МАЗы», груженные гравием. Невдалеке виднелось здание гидроэлектростанции, еще без крыши. Там монтировали две первые турбины. Стесненная человеком Ангара рвалась, как живая, ее бирюзовые воды становились белыми в бешеном кипении.

— Вы знакомы с инженером Сухановым, по проекту которого мы строим Иркутскую ГЭС? — спросил один из моих собеседников.

Да, я хорошо знал Германа Константиновича. По его чертежам появлялись искусственные моря, каналы, менялся облик целых районов. По проекту Суханова и его коллектива построен сложный Мингечаурский гидроузел в Азербайджане.

— Суханов совершил настоящий научный подвиг, который уже воплощен в это гигантское сооружение. — Инженер широко повел рукой, показывая панораму строительства. — Но он не имеет никакого научного звания.

Технические науки, говорили мои собеседники, не могут развиваться, не вовлекая постоянно в свою орбиту талантливых проектировщиков, строителей-практиков, выдающихся деятелей промышленности. Вне этого пути неизбежны творческий застой и анемия этой важнейшей области наук.

С этим нельзя не согласиться. Я знаю инженера Николая Александровича Малышева, под руководством которого составлен проект Куйбышевской гидроэлектростанции. Трудно даже представить, сколько пришлось ему самостоятельно решить научно-технических вопросов.

Инженер Михаил Васильевич Инюшин строил Свирскую, Усть-Каменогорскую и другие гидроэлектростанции. Сейчас он сооружает Бухтарминский гидроузел на

Иртыше. Анатолий Федорович Васильев построил в сложнейших условиях за Полярным кругом крупную гидроэлектростанцию Нива-3. Сейчас он закончил строительство Камской ГЭС.

Вот другой энергетик — Валериан Алексеевич Семенцов. Позади у него сорок лет большой инженерно-проектной работы, он объездил, обошел, буквально обшарил всю Сибирь, спроектировал группу гидроузлов на Нижнем Енисее, выдвинул идею сооружения канала Ока—Москва для дополнительного водоснабжения столицы и теперь принимает участие в составлении развернутого проекта. Валериан Алексеевич не ставил себе задачи защитить научную диссертацию, хотя мог бы это сделать без особого труда.

В нашей стране есть сотни и тысячи талантливых инженеров, которые по совокупности проведенных ими подлинно научных работ и их внедрению заслуживают высоких ученых званий. Серьезные научно-практические экзамены огромной ответственности они держат в жизни каждый день, и результаты их трудов отливаются в железо и бетон. Привлечение их к активному участию в разработке научных проблем окажет неоценимую помощь. Использование этой большой творческой силы в научно-исследовательских институтах, лабораториях будет содействовать более быстрому техническому прогрессу. Вот это и было лейтмотивом нашей беседы с сибирскими инженерами.

Здоровым стремлением технических наук является их слияние с жизнью промышленности. На этом правильном принципе строится работа Восточносибирского филиала Академии наук СССР. Развивая свои лаборатории, филиал все больше проникает в промышленность, создает там опорные научные базы.

На карте и в действительности.

В павильоне геологии и нефти Всесоюзной промышленной выставки мы поинтересовались сведениями об изученности недр нашей страны и особенно Сибири. Нас подвели к карте, которая была сплошь закрашена двумя красками — все якобы охвачено геологической съемкой в двух масштабах.

Бесспорно, советские геологи очень много сделали для изучения недр нашей Родины. Открыто много крупных месторождений полезных ископаемых, сильно увеличился фонд разведанных природных ресурсов. Но известно также, что мы находимся только у начала открытия самых главных, самых значительных богатств недр страны. Не будем говорить о геологических съемках на Востоке, пусть на совести некоторых геологов останется то, как производили они эти съемки. Чрезвычайно важно, что, убеждая в стопроцентной разведанности территории страны, некоторые геологи неправильно ориентируют в путях развития и размещения производительных сил. Часто, вместо того чтобы сказать: «не знаю», геолог говорит: «там ничего нет» — и этим вводит в заблуждение экономистов и плановиков-проектировщиков.

Сколько у нас еще белых пятен! Северные районы Западной Сибири, все между речью Енисей и Лены, весь северо-восток — все это крайне слабо изученные районы.

В Якутии пробурено едва ли два десятка скважин на ничтожной площади на берегу Лены. Этими скважинами обнаружены громадные монолиты высококачественной соли и газ. Однако вряд ли будет ошибкой утверждать, что ни одна из геологических организаций не отходила от Лены в глубь тайги, не производила там разведочных буровых работ. Какие сокровища лежат под спудом на огромных материках северной Советской Азии, никто толком не знает.

В октябре минувшего года в 320 километрах к северо-западу от Якутска из скважины ударил мощный фонтан с дебитом в два миллиона кубометров высокосортного газа в сутки. Газ вырывается из недр с колоссальной силой — с давлением в 250 атмосфер. Оправдываются вещие слова выдающегося ученого И. М. Губкина о том, что придет время, когда в Сибири найдут в изобилии нефть и газ.

Известно, что гору Магнитную наши металлурги уже почти «съели». Откуда снабжать железной рудой магнитогорский металлургический гигант? Геологи утверждали, что вблизи железной руды нет, пришлось скрепя сердце идти на привоз руды за тысячи километров. Но вдруг недавно, совершенно случайно, с помощью местного

населения открыли невдалеке от завода грандиозное месторождение железных руд. Кустанайские залежи оказались богаче знаменитой Эльзас-Лотарингии, которая служит базой для металлургии Франции, Германии, Бельгии.

Председатель Иркутского облисполкома С. Н. Щетинин рассказывал:

— Геологи утверждают, что у нас здесь нет меди. А все колокола на церквях Иркутской области выплавлены из верхнененской меди! Нас убеждали, что в нашей области нет природного газа, нефти. Недавно около Жигалова при бурении скважины из нее ударил фонтан замечательного газа. Найдена (пока еще мало) уникальная светлая нефть.

Открытие природного газа близ Иркутска почему-то встречено здесь довольно хладнокровно. В район Жигалова не были брошены силы геологов, дополнительные средства. По всему видно, что значение этого факта здесь недооценивается. Но ведь крупное месторождение природного газа под Иркутском или еще где-либо в области должно открыть новую страницу в развитии всей Восточной Сибири. Можно было бы газифицировать Иркутск и другие населенные пункты. Избавить город от копоти, вечной дымной завесы. Сейчас сажа вьется поземкой на асфальте его улиц, лезет в окна. Природный газ решает проблему производства дешевых аммиачных удобрений для сельского хозяйства. Наконец, наличие природного газа подсказывает более простую и экономичную схему производства алюминия и других цветных металлов.

Важнейшее условие.

В Сибири началось сооружение новых гигантов энергетики, металлургии, химии. В будущем намечаются еще более крупные работы. Но к Сибири подступить вплотную можно только тогда, когда ее территорию испещрят новые пути сообщения большой протяженности. Сибирская природа, как скупой рыцарь, таит в своих подвалах все — начиная от урана и кончая алмазами фантастической ценности. Уже века ждет человека великий «зеленый океан» Сибири. Вальятся друг на друга и превращаются в труху стройные лиственницы, кедры, сосны, пропадают зря неоглядные массивы корабельного леса. Сотни миллионов кубометров прекрасного леса, переспевая, гибнут в дебрях тайги.

Сибирскую лесную целину — богатство мирового значения — мы по существу еще не поднимали. И в Сибирь надо идти, как говорил председатель технического совета лесной промышленности СССР Е. Лопухов, не за сырыми бревнами, а за высоко-транспортальной лесопродукцией в виде печатной и писчей бумаги, тарного картона, фанеры, вискозной целлюлозы, спирта, сухих досок, изделий и деталей деревообработки. Но от Красноярска до горных хребтов Тихоокеанского водораздела у нас пока еще нет ни одной бумагоделательной машины, нет ни одного целлюлозного котла, нет ни одного фанерного пресса, нет картонного производства и нет цехов древесноволокнистых плит.

Масса лесоматериалов восточных районов должна сослужить бесценную службу делу нового разворота жилищного строительства. И пожалуй, ни одна отрасль народного хозяйства не будет давать нам такой огромный эффект от капитальных вложений, как лесная промышленность и промышленность, перерабатывающая древесину в бумагу, в искусственное волокно, пластмассы и многое другое. Эти предприятия дадут народу необходимую ему продукцию и окупятся буквально в течение нескольких лет. Но Сибирь требует дорог, без них она не выдаст своих сокровищ.

На основе опыта прошлого и современных проектировок будет складываться транспортная модель нашей страны на Востоке. Это будут сверхмагистральные электрические железные дороги, водные пути, густая сеть всякого рода подъездных дорог и автомагистралей.

Протяженность путей сообщения Сибири будет измеряться сотнями тысяч километров. Дополнительно к существующей в будущем нужно построить еще две-три мощные трассы и ряд дорог меридиального направления.

Представьте себе, например, магистраль протяженностью более пяти тысяч километров, которая пересечет районы, приобретающие все большую славу валютных цехов

нашей Родины (золото, платина, алмазы, редкие металлы, «мягкое золото» — сибирские меха), протянется от Прибайкалья до мыса Дежнева, лежащего на стыке двух материков. И тогда перед народами Америки и Европы встанет во всей ошутимости одна из интереснейших проблем — соединение испанским мостом или тоннелем двух великих континентов, разделенных сейчас 85-километровым Беринговым проливом. Проект создания межконтинентальной электрической магистрали Лондон—Париж—Берлин—Москва—Берингов пролив—Вашингтон в этом случае приобретает вполне реальные очертания.

Сибирское строительство — прежде всего борьба с пространством. Как был прав Г. М. Кржижановский, когда еще более четверти века назад ожесточенно боролся с деляческим подходом к Сибири. Он говорил:

— Здесь с карандашиком в руках, с детализацией тарифных подсчетов такой задачи не решить. Мы должны быть отчаянно смелы, мы должны нарисовать рисунок, действительно вполне соответствующий по смелости очертаний и по глубине подхода величине этой проблемы, ибо это задача мировая, а не только наша задача... Сибирь — это форпост для всей Азии. Если бы меня спросили, к чему приводит подсчет величин решающего значения в проблеме сверхмагистральной Сибири, я бы ответил: к непреклонному убеждению, что считать нечего, и надо сказать, товарищи, что мы из-за этих подсчетов, в различных полях строительства, так теряем время, что никакие выгоды от уточнений не вознаградят нас за потерю времени.

Это было очевидным еще в то время. Это тем более справедливо теперь, когда мы разворачиваем небывалый план великих работ с запасом опыта и новыми могучими средствами. Некоторые путейцы, проектируя сибирские дороги, ищут опору только в расчетах грузооборота. Так мы никогда не построим большого перспективного плана путей сообщения Сибири.

Если заглянуть в 2000 год...

Больше энергии! Этим призывом проникнута вся шестая пятилетка народного хозяйства.

За пределами этого пятилетия открывается мир все большего господства энергии. Каковы же основные черты энергетики будущего? Это прежде всего электрификация всей страны, создание единой энергетической системы, огромная энерговооруженность труда, позволяющая двигаться быстро по пути технического прогресса, новых открытий, покорения сил природы и использования их на благо людей.

Будущее нашей страны — в освоении Сибири. Но, признавая правильной эту мысль, мы не должны забывать о задаче дальнейшего подъема европейской части СССР и, в первую очередь, таких ее областей, которые в экономическом отношении сильно отстали. Это области густой населенности, с большой выпашанностью и распаханностью земель — Курская, Орловская, Черниговская, Сумская, Брянская и другие. Если среднестатистическое потребление электроэнергии по стране достигает сейчас примерно 900 киловатт-часов, то в этих областях оно не превышает 100—120 киловатт-часов. Идя в Сибирь, мы должны как-то одним плечом поднять здесь обрабатывающую промышленность, оживить истощенные земли и интенсифицировать сельское хозяйство, резко поднять энерговооруженность труда. Грандиозные преобразовательные работы на советской земле, создание обилия продуктов и предметов народного потребления возможны только на очень высоком уровне электрификации.

Как будет расти выработка электроэнергии в нашей стране до конца XX века? На этот вопрос дать ответ очень трудно. По нашим грубым подсчетам, к этому времени электробаланс Советского Союза достигнет колоссальных величин — 12—15 тысяч миллиардов киловатт-часов.

Такой уровень электрификации соответствует уже новой, более высокой ступени советского общества с изобилием электроэнергии и высокой энерговооруженностью труда, автоматическими системами машин, развернутым производством продуктов и предметов народного потребления.

Вскоре после возвращения из Сибири я пришел к академику Г. М. Кржижановскому. Небольшой кабинет, обставленный книжными шкафами. В этом кабинете бывал В. И. Ленин в период составления плана ГОЭЛРО. С тех пор здесь ничего не меняли. На столе лежит гипсовая маска с дорогами сердцу каждого чертами лица великого человека. Вот кресло, в котором сидел Владимир Ильич, вникая во все стороны составления первого плана работ молодой Советской республики.

— Это был трудный, грозный 1920 год, — вспоминает Глеб Максимилианович. — Какая огромная прозорливость должна была быть у Ленина и всего коллектива инженеров комиссии ГОЭЛРО, чтобы рассмотреть грядущее, поставить вехи на десятипятнадцатилетнем творческом пути советского народа. Немало было людей, которые сомневались в успехе ленинского плана электрификации. Помню, вскоре после VIII Всероссийского съезда Советов, который с большим подъемом обсудил и утвердил план ГОЭЛРО, я выступил в Колонном зале Дома союзов с докладом о плане электрификации. Я стоял в пальто на трибуне и смотрел на худые, измученные лица людей, собравшихся в полутемном зале с роскошными люстрами. В середине доклада меня кто-то прервал, прокричав высоким голосом с места: «Что он говорит! На улицах Москвы валяются дохлые лошади, люди умирают от голода и тифа, а он тут рассуждает о том, что будет через пятнадцать лет!»... Раздавая делегатам съезда Советов план ГОЭЛРО, мы в каждый том вложили замечательный листок. На нем было изображено большое сердце с надписью «Электрификация». От этого сердца шли нити к пяти клеткам. Каждая из них означала самую насущную, самую жизненную потребность народа:

жилища,
пища,
одежда,
транспорт,
культура.

Удовлетворение этих пяти человеческих потребностей является конечной целью социалистической электрификации и всего развернутого фронта индустриализации, конечной целью всех преобразовательных работ в стране... Эта закладка в том плана ГОЭЛРО, которая составлялась с ведома и одобрения Владимира Ильича Ленина, должна была всегда и везде напоминать каждому делегату Восьмого съезда Советов об этой вдохновенной цели...

Задумавшись, Глеб Максимилианович подошел к окну. На улице большими хлопьями падал снег. Мы говорили уже четыре часа, и темой беседы были вопросы стратегии предстоящих великих работ в европейской части страны и восточных районах Сибири.

— Какая отрадная разница эпох! — продолжал он. — Между 1920 и 1957 годами лежит полоса героической борьбы целого поколения, но каждое поколение имеет свое неповторимое лицо. Теперь уже созрели условия для разработки нового плана великих работ, который мог бы, как этого хотел Ленин от плана ГОЭЛРО, увлечь массы ясной и яркой, вполне научной в основе перспективой. Нужны предвидения. Они оживляют, дают силы, надежды...

Дальнейшее развитие электрификации по ленинским вехам — одна из наиболее важных задач нашего народа. Еще в первые годы Советской власти В. И. Ленин показал внутреннее единство между политикой партии и планом электрификации. Перспективный план ГОЭЛРО, рассчитанный на десять—пятнадцать лет, он называл «второй программой партии».

«Не бойтесь планов, рассчитываемых на долгий ряд лет: без них хозяйственного возрождения не построишь», — говорил Владимир Ильич.

Эта ленинская идея на новом уровне развития подчеркнута Двадцатым съездом партии. Съезд разработал задание на шестое пятилетие и дал вместе с тем основные направления дальнейшего пути. «Нам предстоит, — говорится в отчетном докладе

ЦК КПСС Двадцатому съезду партии, — большая работа по созданию проекта новой программы партии, который пока еще не подготовлен. Очевидно, что проект программы должен составляться одновременно с перспективным планом развития экономики и культуры нашей страны в разрезе нескольких пятилеток».

Декабрьский Пленум ЦК КПСС принял важное решение по дальнейшему развитию нашей экономики. Пленум определил пути наиболее эффективного использования капиталовложений, материальных трудовых и денежных средств. Пленум призвал к тому, чтобы в борьбе за технический прогресс мы еще тверже, смелее опирались на величайшие преимущества социалистической системы хозяйства.

Поставленные партией и правительством проблемы правильного размещения производительных сил, неуклонного увеличения объема промышленного производства в интересах коммунистического строительства требуют составления планов и на длительный срок, на много лет вперед. Вот почему наметка генеральных направлений, по которым будет развиваться наша экономика, научное обоснование проектов с большим «загадом» будет способствовать улучшению текущего планирования и проектирования.

Всякий раз, когда мы размышляем о будущем нашей страны, это будущее как бы переключается с настоящим и придает нам силы для воплощения в жизнь плана шестой пятилетки.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

„НЕТ“ И „ДА“

К польским литературным спорам

К концу декабря минувшего года московским подписчикам были доставлены очередные номера польских литературных изданий, содержащие первые информации и статьи о VII Всеобщем съезде делегатов Союза польских писателей, который работал с 29 ноября до 2 декабря 1956 года.

Это были покуда лишь сжатые изложения нескольких выступлений на съезде и краткие отклики писателей, написанные в первые послесъездовские дни. По этим материалам, естественно, трудно с достаточной полнотой информировать советских читателей о том, что происходило на съезде; тем менее эти отклики позволяют нам взять на себя миссию оценки работы съезда. Однако нам кажется возможным остановиться на некоторых общих существенных чертах, которые явственно видны уже в этих первых материалах послесъездовской литературной прессы, а также вкратце припомнить в этой связи и некоторые обстоятельства польской литературной дискуссии, предшествовавшей съезду, длившейся более полугода и вовлекшей большое число участников.

В части дискуссионных выступлений выявилось понятное стремление осудить догматизм и сектантство в литературных делах, объединяя все силы польской литературы вокруг большого общего дела. С другой стороны, во многих выступлениях нельзя было не ощутить стремлений, куда менее благородных и плодотворных.

Обсуждались в этой дискуссии не только «домашние дела» польской литературы, не только ее внутренние проблемы, но и вопросы более широкие. В частности, многие участники дискуссии касались проблем истории советской литературы, теории социалистического реализма, оценок отдельных произведений советских писателей. Такое расширение дискуссии можно только приветствовать. Ничего, кроме пользы общему нашему делу, не может принести углубленное всестороннее обсуждение насущных проблем советской литературы совместно с теми зарубежными друзьями в странах народной демократии, которые искренне хотят, чтобы их творчество способствовало построению социализма. Слишком часто ограничивали мы до сих пор наши общие разговоры о литературном деле обменом взаимными комплиментами, а серьезные споры подменяли застольными тостами, словно опасаясь возможных обид. Но разве может быть обидной дружеская искренность? И разве не обиднее, не бесплоднее молчаливое обоюдное расшаркивание, скрывающее истинные убеждения людей, которые в результате ясного обмена мнениями смогли бы быстрее пойти рука об руку к общей цели.

Мы в своей литературной среде со всей откровенностью и решительностью осудили некоторые вредные тенденции, проникшие под влиянием культа личности в нашу литературу. При этом следует сказать, что далеко не сейчас разоблачена советской литературной критикой пагубная «теория» бесконфликтности, которая в открыто проклами-

Польша

«Новая культура» («Новая культура»), еженедельник. № 50. 1956. Год издания 7-й. Варшава. Главный редактор Виктор Ворошильский.

«Пшеглонд культуральный» («Культурное обозрение»), еженедельник. № 49. 1956. Год издания 5-й. Варшава. Главный редактор Густав Готтесман.

«Жице литератцне» («Литературная жизнь»), еженедельник. № 50. 1956. Год издания 6-й. Кранов. Главный редактор Владислав Махеек.

«Творчость» («Творчество»), ежемесячный журнал Союза польских писателей. № 11. 1956. Год издания 12-й. Варшава. Главный редактор Ярослав Ивашкевич.

★

рованном — оформленном, так сказать, — своем виде не просуществовала и двух лет, немало навредив, но и развеявшись затем столь бесславно и быстро, как только и может развеяться любая мнимая «теория», не имеющая под собой ни корней, ни почвы. Не первый год боремся мы и против литературных лакировщиков, отворачивавшихся от живой реальности и поступавшихся порой совестью художника, чтобы выдать желаемое за сущее и якобы «приподнять» действительность, на деле же приглаживая ее, обескровливая и принижая, лишая изображение нашей жизни той подлинной красоты, которая заключена в трудной борьбе за утверждение нового.

Еще далеко не все сделано нами, но разоблачать подобные явления в советской литературе и бороться с ними мы можем тем успешнее потому, что все это лишь частные, хстя иногда и уродливо разросшиеся явления в нашем развивающемся литературном процессе; потому, что наряду с плохими книгами, о которых участники литературной дискуссии справедливо вспоминали, у нас из года в год появлялись и книги хорошие, о которых иные из участников этой дискуссии были склонны забыть. А ведь именно эти хорошие книги знаменовали движение советской литературы вперед, находили дорогу к сердцу читателя.

Нельзя понимать эти слова примитивно, буквально, — так, что если, дескать, в 1938 году Шолохов выпустил четвертую книгу «Тихого Дона», то в следующем, 1939 году мы сможем констатировать движение литературы вперед лишь в том случае, коль на протяжении этого года явится произведение, еще более совершенное и значительнее. Нет, книги, подобные «Тихому Дону», не рождаются ежегодно. Они могут не появляться и десятилетиями даже в самой передовой и преуспевающей литературе. Но если мы сравним общую картину нашей литературы в 1956 году с той общей картиной, какую наша литература являла в 1936 или, скажем, в 1926 году, то мы увидим с неоспоримой ясностью, насколько значительнее (прежде всего в смысле общественной значимости) стал круг тем, привлекающих сегодня к себе советского писателя, насколько глубже проникает наша литература в жизнь, насколько увереннее и отточнее стало общее литературное мастерство. Если мы обратимся, например, к стихам, то, конечно, вынуждены будем сказать, что Маяковский, бесспорно, остается непревзойденным и вакансия, оставленная им в поэзии нашей, продолжает оставаться незанятой. Но разве так и не осталась никогда и никем не замещенной вакансия, оставленная Пушкиным, и разве, несмотря на это, попытается кто-либо утверждать, что русская поэзия остановилась или даже вспять пошла с пушкинской поры (а польская — со времен неповторимого Мицкевича)?! А если сравнить, скажем, любой средний отдел поэзии в рядовом номере обычного советского «толстого» журнала, выходящего в наши дни, с таким же рядовым отделом поэзии, не блещущим бессмертными именами, в журнале, выпущенном лет двадцать — тридцать назад, то мы не сможем не увидеть и расширившегося горизонта поэтов и более совершенной (в массе) техники, вобравшей в себя, в частности, и наследие творческой лаборатории Маяковского и опыт многих других поэтов, формировавших развитие нашей поэзии.

Таков поступательный путь нашей литературы, так создается почва для появления выдающихся, резко вырывающихся над общим уровнем, но появляющихся отнюдь не повседневно великих произведений.

И можно с полным правом сказать, что такова именно созидательная творческая среда, создаваемая литературой социалистического реализма, в то время как творческая среда современного модернизма несет в себе преимущественно деструктивные, разрушительные тенденции.

Вернемся, однако, к польской литературной дискуссии, чтобы вспомнить две главные, на наш взгляд, ошибочные тенденции, отчетливо в ней проявившиеся. Каждая из этих тенденций имела в ходе споров немало своих адептов.

Первая из них выразилась в попытке искусственно разделить историю советской литературы на два периода, утверждая при этом, что все, что писано до 1934 года (то есть до Первого Всесоюзного съезда советских писателей), было прогрессивно и хорошо; все же, что создано после 1934 года, писалось по административному понуждению и уводило литературу вспять.

Вторая же ошибочная тенденция заключается в утверждении, будто бы литература социалистического реализма целиком обращена в XIX век и прикована к образцам,

оставленным великой плеядой русских классиков, ученически повторяя эти образцы и игнорируя все, что достигнуто мировой литературой в последующие годы.

Рьяные защитники первой тенденции прибегают к методу нехитрой и, по сути своей, антиисторической. То, что было «до 1934 года», они характеризуют при помощи перечня имен, сваливая в этот перечень все и вся — от Есенина до Замятина, причем рядом оказываются Владимир Маяковский и Осип Мандельштам, Михаил Кольцов и Пантелеймон Романов, Виктор Кин и Борис Пильняк... Когда же речь заходит о том, что было «после 1934-го», список уступает место черной краске, сплошь заливающей все сделанное советскими писателями. Ни ворох имен, о которых сами называющие их имеют зачастую весьма смутное представление (например, в еженедельнике «По просту» роман Б. Пильняка, вышедший под двумя названиями — «Красное дерево» и «Волга впадает в Каспийское море», — был представлен как два различных произведения), ни эти разливаемые ручьи черной краски не имеют ничего общего с деловым анализом конкретных исторических фактов. Совсем невооруженным, если не считать резвости пера да броской фразистости, предстал, например, перед читателем К.-Т. Теплиц, не обнаруживший в своей статье «Крушение пророков» даже поверхностного знания процессов формирования советской литературы, но оперировавший, тем не менее, со всей беспечностью теми оценками писательских «авторитетов», какие могли быть почерпнуты разве что в заплесневелых анналах русской эмигрантской печати двадцатых и тридцатых годов. Это он предложил в качестве утраченных вершин литературного пейзажа двадцатых—тридцатых годов имена П. Романова, Б. Пильняка и Е. Замятина в сочетании с именами С. Есенина, В. Маяковского, М. Кольцова и других, рассматривая самый этот пейзаж как нечто целостное и идиллическое и забывая о жесточайшей идейной борьбе, происходившей не только между различными журналами, группами и направлениями, не только между «рапповцами» и «попутчиками», но и в самой среде этих групп, и прежде всего в самой среде той чрезвычайно разной и пестрой литературы, которая именовалась «попутнической».

Ведь нельзя же забывать о том, что, в то время как В. Маяковский начинал в труднейшем, подвижническом, но уверенном поиске новую линию советской поэзии, такой поэт, как О. Мандельштам, пусть талантливо, но все же только запоздало завершал символистско-акмеистский этап, уже пройденный к тому времени в русской поэзии, а С. Есенин преодолевал и так и не смог до конца преодолеть противоречия между патриархальным мировоззрением и социалистическими взглядами, что и явилось источником его трагедии.

А когда сближают литературную манеру Б. Пильняка и А. Веселого, то нельзя забывать, что, в то время как А. Веселый одним из первых привел в литературу нового героя — русского пролетария, который с оружием в руках поднялся на бой за коммунистические идеалы, Б. Пильняк воспевал абстрагированную анархическую стихию, выдавая ее за исчерпывающее выражение революции.

Его книга «Красное дерево» потому и была отвергнута советской критикой, что роман этот выражал мысль, будто конец анархической стихии означает и конец революции. Если же говорить о Е. Замятине, то он никак и не маскировал своего органического неприятия пролетарской революции, и отъезд в эмиграцию был для него естественным и логическим, а отнюдь не вызванным какими-либо «поисками рапповцев» (кстати сказать, ведь и рапповцы-то появились отнюдь не «после съезда», как можно было бы предположить по идиллическому изображению литературной жизни до 1934 года в некоторых статьях польской дискуссии). Не скрывал своих политических симпатий и П. Романов, явственно выражавший мещанско-собственнические мечты и чаяния.

Говоря о борьбе идей и взглядов в советской литературе в раннюю пору ее становления, мы знаем и говорим прямо, что борьбе этой в условиях, созданных культом личности, впоследствии были приданы формы, ничего общего не имеющие с идейной борьбой, — формы уродливые, повлекшие за собой результаты, для многих трагические. Но это не может заслонить от историка и исследователя реальную суть фактов, не может заставить нас объявлять сегодня своим и близким то, что не только было, но и остается для нас чужим, потому что является антисоциалистическим.

Конечно, в историческом отдалении пестрая и бурная картина литературной жизни того времени может показаться мимолетному взгляду более привлекательной, чем

более спокойный и дружнее целеустремленный литературный пейзаж тридцатых годов. Поле, изобилующее сорняками, всегда внешне живописнее возделанной нивы. Но не нужно забывать, что именно на этой ниве развернулся в полную силу и талант А. Н. Толстого, и зрелое мастерство М. Шолохова, и серьезное новаторство Ю. Крымова, и... Но не будем повторять методологическую ошибку оппонентов. Обойдемся без перечня.

Литература — дело живое, может быть, одно из самых живых дел, к которому когда-либо обращался и обращается человек; теоретикам же литературы свойственен, естественно, аналитический образ мышления, который иных приводит к схоластике, к стремлению уложить живой, непрерывно развивающийся процесс в прокрустово ложе оцепенелых канонов и кропотливо вычерченных, но мнимо точных схем. Порой бывало — появилось крупное произведение, нашел кто-либо из писателей новые пути проникновения в тему и новые средства образного воздействия на читателей, и вот уже это произведение не только рассмотрено критикой в его составных частях, не только сделана попытка определить в нем новое некими терминами, но уже и раздаются поучительные голоса: «Вы, остальные! Видите? Вот он, в чем корень-то!.. Вот так и пишете. Тогда и у вас будет все ладно...»

Но нет! Не тут-то было... «Ладно»-то все будет только тогда, если «остальные» (учтя, конечно, весь верный опыт, выявленный критическим анализом) не станут все же писать «так», но будут идти своим путем, продолжая и углубляя собственный, постоянный разведывательный поиск.

Критики, которые вместо широкого исследования создают жесткие схемы и утверждают те или иные «незыблемые» каноны, не помогают прояснению теории социалистического реализма, находящейся в процессе разработки, о чем и нужно говорить прямо. Ибо странно было бы и даже противоестественно, если бы оформление теории опередило самый литературный процесс, развивающийся, как обычно, в сложной борьбе, в столкновениях острейших противоречий. Знает ли история литературы на всем своем протяжении такие примеры, когда какой-либо литературный манифест исчерпал бы характеристику последующего литературного движения? Это бывало разве лишь с многоразовыми манифестами таких мертворожденных группочек и течений тех же приснопамятных двадцатых годов, как «биокосмисты», или «формлибристы», или пресловутые «кничевоки», когда и самое бурно прокламированное «движение» мыльным пузырем лопалось едва ли не в самый день опубликования соответствующего манифеста.

Если же говорить о серьезных явлениях литературы, то можем ли мы сказать, что исчерпан уже полностью теоретический анализ таких даже, например, течений, как немецкий романтизм или французский классицизм, давно уже отошедших в историю и накопивших целые библиотеки скрупулезных исследований? Что же попрекать социалистический реализм незавершенностью его теоретических обоснований или поспешно объявлять его «мифом», закрывая глаза на то, что течение это непрерывно развивается в литературной практике?! Да, теоретическая работа еще далеко не завершена, и нам предстоит продолжать ее, горячо споря, освобождаясь от сектантской узости и не увлекаясь скороспелыми догмами. Но самый-то социалистический реализм не «закроется» на время этих споров. Литература наша твердо избрала эту стезю, не свернет с нее и не остановится на месте. И сама практика ее будет непрерывно питать теорию.

Почему же, однако, можем мы говорить о том, что советская литература уверенно выбрала путь социалистического реализма, признавая вместе с тем, что теория этого метода еще нуждается в разработке?

Потому, что главные, наиболее важные вехи на пути литературы, избравшей путь социалистического реализма, поставлены уже давно, стоят незыблемо, и именно они привлекают к себе честного писателя, видящего свою задачу не только в «чистописании» с различными присущими этому школьному предмету каллиграфическими ухищрениями и не только в том, чтобы беспредметно «будоражить» своего читателя, но в том, чтобы вести его, быть — не побоимся немного «старомодного» слова — властителем его дум (и в этом-то смысле советская литература и обращается пристальнее всего к великим предтечам, составившим славу русской реалистической литературы XIX века), чтобы формировать характеры, стремления людей, быть помощником партии в деле

коммунистического воспитания, изображать действительность не ради самого процесса ее изображения, а ради участия в ее переделке, в борьбе за торжество коммунистических идей.

Первая и важнейшая вежа, отмечающая путь социалистического реализма, — это идейность писателя, его партийность. И, конечно же, не «вообще партийность», но именно подчинение всего своего творчества, независимо от формальной принадлежности к Коммунистической партии, задачам построения наиболее разумно и справедливо устроенного коммунистического общества, то есть самой высокой цели, какую когда-либо ставило перед собою человечество.

Партийность — это означает и непримиримость к иной, враждебной нам идеологии.

Партийность — это подразумевает и моральную дисциплину художника, при которой истинная свобода творчества понимается им в соответствии с тем простым и ясным принципом, который впервые был высказан уже Энгельсом и который не раз впоследствии повторял Ленин: «Свобода есть понимание необходимости» и «свобода воли означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со знанием дела».

Партийность — это, наконец, страсть художника, выраженная в утверждении всего, что приближает нас к цели, и в отрицании, разоблачении, ниспровержении всего, что силится нас от этой цели отдалить.

Вторая вежа, ясно указывающая путь социалистического реализма, — это высокий гуманизм литературы этого направления, ее служение Человеку, именно с большой буквы, и опять-таки без боязни прибегнуть к трюизму, ибо социалистический реализм понимает выражение это в его первоизданном и самом прямом значении.

Третью вежу можно точно обозначить, напомнив о том, что в творчестве социалистического реализма непременно присутствует ясное понимание перспективы исторического развития. Только видя и раскрывая эту перспективу, литература может выполнить свой высокий долг перед народом, помогая его поступательному движению.

Глубоко неверны попытки, говоря о социалистическом реализме, отбросить эти существеннейшие его приметы, обойти их и представить дело так, будто бы метод этот заключается в том, чтобы писать так, «как писали русские классики XIX века». Да, конечно, социалистический реализм — это именно реализм, а значит, глубокое проникновение в действительность, отражение правды жизни и плодотворная творческая учеба у великих реалистов прошлого. Но, опираясь на эти традиции, именно в области стиля социалистический реализм, освобожденный от узких сектантских догм, предоставляет художнику широкую свободу, однако не во имя абстрактной «новизны ради новизны», а во имя успешного решения задач, возникающих из основных принципов, определяющих суть этого творческого метода. Советские писатели хранят и развивают бесценное наследие классической русской литературы, которая в лучших своих образцах всегда была глубоко человеческой, всегда связывала свои цели с заботой о судьбах народа.

И уж совсем беспочвенны по меньшей мере легкомысленные попытки объявить метод социалистического реализма скомпрометированным и даже вовсе «упразднить» его на том основании, что под флагом этого метода появлялись плохие книги, а в области литературоведения писались статьи, извращавшие его принципы.

Быть может, наибольший вред нашей литературе нанесли именно статьи, восхвалявшие плохие, ничего общего с социалистическим реализмом не имеющие книги, превращавшие эти книги в эталон, вместо того чтобы подвергать их беспощадному и принципиальному анализу. Исправить эти беды можно, лишь развернув самую серьезную литературоведческую работу, исследующую, что в нашей литературе рождено социалистическим реализмом, а что чуждо ему, и начало этой работе уже положено.

Давно уже в литературной среде бытовал анекдот:

— Гофман пишет: «В комнату вошел черт...» Так убедительно написано, что верю. Реализм!.. Писатель Н. пишет: «В село приехала молодая учительница...» Так неубедительно написано, что не верю. Мистика!..

Этот старый анекдот нес в себе немало правды: многие книги у нас рассказывали о самых обыденных событиях так, будто авторы их нарочито отворачивались от жизни и уносились помыслами в область мистики и апокрифа — туда, где в кисельных бе-

регах текут молочные реки и бесплотные ангелы играют на арфах. Но книги эти не могут скомпрометировать социалистический реализм; они попросту непричастны к нему.

В польской же литературной дискуссии, предшествовавшей писательскому съезду, слишком часто не делалось различия между тем, что представляет собой действительную суть метода в теории и на практике, и тем, что извращает его.

В этой дискуссии преобладал пафос отрицания, и взвинченный этим пафосом Виктор Ворошильский, толкуя о социалистическом реализме, поторопился вслед за Теплицем воскликнуть:

— Прощай, миф!

Наряду с такими несерьезными, хотя и шумными демонстрациями были в ходе дискуссии попытки разобраться в сути затронутых вопросов более глубоко, с более тщательным изучением конкретного материала, с более ясным определением собственных идейных позиций.

Но все статьи, вызванные дискуссией, — и те, которые содержат в себе верные положения, и те, которые кажутся нам в значительной мере ошибочными, и те, наконец, которые главным образом создавали дискуссионный шум, не содержа в себе сколько-нибудь серьезного материала, — были, как уже сказано, проникнуты по преимуществу лишь пафосом отрицания, не неся в себе какой-либо конструктивной программы. Ко времени же съезда польских писателей, видимо, уже назрела в литературной среде всеобщая потребность услышать, чему согласны сказать «да» те, кто с патетической силой говорил «нет», замахиваясь на «пророков», мнимых или подлинных, падавших от удара или продолжавших по-прежнему незыблемо возвышаться над суетящимися «вятизьями» отрицания.

Обозреватель еженедельника «Пшеглонд культуральный», подписавшийся инициалами И. Б., в статье, посвященной итогам съезда, сослался на высказывание видного критика, утверждавшего, что «группы... сумевшие сказать свое твердое «нет», очутились перед кризисом, когда от них потребовалась программа, основанная на своем «да».

Ждали участники съезда такого «да» и от Виктора Ворошильского, очень активно выступавшего в предсъездовские дни со статьями, в которых пафос отрицания был доведен до градуса столь высокого, что за ним уже стираются грани между публицистическим выступлением и кликушеской истерикой.

Но вот что пишет писатель Владзимеж Мационг в статье, также посвященной итогам съезда и опубликованной в еженедельнике «Жице литератцке»:

«Для многих аудиторий, в том числе и для тех, которые состоят из интеллигенции, характерно, что реагируют они прежде всего на политическую температуру речей и что нравится им более всего так называемая смелость. Однако сегодня смелость сама по себе уже не является свидетельством интеллекта... Если Ворошильский имеет сегодня для выступления с трибуны лишь пару будоражащих зал реплик о роли Советского Союза в Венгрии, отождествляя при этом роль Польши с ролью мюнхенцев, то он не может этим вызвать моего доверия».

Ну, а какие же «да» были все-таки произнесены с трибуны съезда?

Тут и В. Мационг и авторы других послесъездовских статей сходятся на том, что более или менее связную программу действий изложил лишь известный польский критик и искусствовед А. Сандауэр.

Какова же эта программа?

В еженедельнике «Нова культура» помещено сокращенное изложение выступления А. Сандауэра на съезде.

Условно называя группу писателей, которую он представляет, «Новейшими», А. Сандауэр так говорил о программе этой группы:

«Видеть в нашей программе только борьбу за форму произведения, в то время как, в сущности, речь идет о приобщении Польши к современной европейской культуре, — это значит расписаться в своей ограниченности или злой воле. Тот, кто выступает против европеизации, в защиту самобытности нашей культуры, будет неизбежно проти-

виться также научным и техническим новшествам... Ликвидировать отсталость, овладеть техническими достижениями Запада и создать с их помощью собственную культуру — вот задача, которая стоит в настоящее время перед всеми нами как художниками и творцами».

Если не считать предложений о создании новых журналов, которые явились бы печатными рупорами возникающих творческих групп, то в вышеприведенном тезисе и нашла свое исчерпывающее выражение вся конструктивная программа «Новейших», провозглашенная А. Сандауэром с трибуны съезда. Остальная часть его выступления содержала все те же «нет», выраженные с присущей автору иронической парадоксальностью, и формулировала общее понимание им термина «литературная группа».

Такая программа не кажется ни новой, ни перспективной. Вероятно, многим литераторам старшего поколения вспомнятся при словах А. Сандауэра все те же буйные наши двадцатые годы, когда столь многие стремительно возникавшие и угасавшие литературные группы усматривали всю соль современного искусства в равнении на модернистский Запад. (Легко заподозрить и А. Сандауэра в пристрастиях того же рода, ибо единственное имя, названное им в разговоре о том, от кого же и в чем отстала, по его мнению, польская культура, — это имя Франца Кафки.) Автору этих строк хорошо запомнилось, например, возникшее на Украине в 1927 году левовского толка объединение «Нова генерація» (то есть «Новое поколение», что и по названию весьма близко к «Новейшим»). Члены этого объединения выпускали желтенькие тетрадки ежемесячного журнала, с трудом собравшего несколько сот подписчиков, печатали на страницах этих тетрадок переводы из дадаистов и сюрреалистов, писали восторженные комментарии к репродукциям причудливых, но однообразных композиций Жоржа Брака, Хуана Гри и первых «беспредметников», и даже немецкий экспрессионизм того времени казался им едва ли не старомодным и бюргерским. Собственные же стихи, проза и литературные манифесты «Новой генерації» изготовлялись с использованием всех «технических достижений» вышеупомянутого «современного Запада», сочетавшихся порой с отъявленным хуторским шовинизмом. Протянув так года полтора, участники объединения разбежались сами, ощутив, что задыхаются в невыносимо провинциальной атмосфере сектантской группки, под флагом «новаторства» рабски повторяющей чужие зады и делающей то, что решительно никому вокруг не нужно.

Эта всеми заслуженно забытая старая литературная группка — лишь крохотная частичка того негативного опыта литературы, который неоспоримо показывает, что беспринципно-космополитическая мнимая широта, ориентирующая писателей на пеструю и пустую моду, принимаемую за подлинную прогрессивность, ничего, кроме провинциальной отсталости, породить не может.

Не знаю, примыкает ли к «Новейшим» молодой прозаик Марек Хласко, о котором много пишет нынче польская критика, более всего говоря о прочных связях его творчества с современной американской прозой, и прежде всего с рассказами Эрнеста Хемингуэя.

Получив последнюю книжку журнала «Творчество» («Творчество», 1956, № 11), я прочитал там то ли большой рассказ, то ли небольшую повесть Марека Хласко «Восьмой день недели».

Критики правы: за письменным столом Марек Хласко, несомненно, помнит и почерк Хемингуэя и почерк Фолкнера. Об этом говорят и отрывистый диалог, не перебиваемый описательными репликами автора порой на протяжении целых страниц, и образная скупость со стремлением к почти протокольной точности, и, наконец, явное предпочтение, оказываемое Хласко героям с опустошенной душой, с неизлечимым надрывом.

Есть в этой повести Хласко только один душевно здоровый человек: монтер Завадский. Однако он неинтересен писателю. На протяжении всей повести он лишь сосредоточенно и молчаливо чинит свой испорченный мотоцикл и ждет из провинции невесту — для того лишь, чтобы в финале получить этакий подготовленный ему писателем «апельсин»: невеста приезжает, и хотя сам-то Завадский ничего плохого о ней не знает, но героиня повести, Агнешка, узнает в ней девушку, которую она уже накануне встретила в Варшаве, мертвецки пьяную и нагую, на мерзком чужом диване, в квартире цинического «мышинного жеребчика»... Так и в цельную жизнь Завадского вкрадывается

червоточинка, заставляющая предположить, что червоточинка эта, ого, как еще разрастется, как искалечит и изломает обе эти мельком нам показанные жизни — и самого Завадского и его невесты!..

В центре же повести находятся три пары с тесно переплетенными изуродованными судьбами.

Самая молодая — Агнешка и Петрек, с их бесприютной первой любовью. Совсем юные, чистые сами, но ежеминутно щедро обливаемые грязью окружающей жизни, они бродят по повести, ища, попросту говоря, любой укрытой от чужих глаз постели. (Плотские подробности у Хласко даны нарочито грубо и откровенно.) Они попадают то в чужую нечистоплотную комнату, в развалины не восстановленного еще после войны варшавского дома, то в окружение пьяных мастеровых, чьи цинические реплики, отпущенные по адресу Агнешки и приведенные на протяжении двух с половиной журнальных страниц со всей стенографической точностью, прежнего католического цензора привели бы, надо полагать, в состояние крайнего смущения. Смятенная опустошенность нарастает у Агнешки с каждой страницей, укрепляя ощущение, выраженное наиболее точно в старой «блатной» песне:

Ведь все равно наша жизнь поломатая...

Исходя именно из убеждения в том, что жизнь ее «поломатая» непоправимо, Агнешка начинает даже и девственностью своей тяготиться настолько, что бросает ее первому встреченному в кабаке незнакомому мужчине, чтобы, выйдя из его квартиры, тут же встретить Петрека с ключом от чьей-то комнаты, где они смогли бы остаться вдвоем. Агнешка навсегда прощается с Петреком и одиноко уходит в непроглядную тьму своей «поломатой» жизни...

Вторая пара — старший брат Агнешки, архитектор Гжегож, и его так и не появляющаяся в повести возлюбленная. Она должна прийти и сказать Гжегожу, любит ли она его или не любит, останется с ним или так и не уйдет от своего мужа. Но она все не приходит, а Гжегож, тоже опустошенный и не видящий перед собой никакой жизненной цели, как и его сестра, пьет, переходя из кабака в кабак, теряя человеческий облик и опускаясь ниже всех последних пределов. Где-то за повестью, перед финалом ее, узнает об этом возлюбленная Гжегожа, отказывается от него — именно потому, что тот превратился в спустившегося пропойцу, — и мы прощаемся с Гжегожем, оставляя его на улице, у фонарного столба, пьяного, безвольного, лишенного всяких надежд.

Третья пара — отец и мать Агнешки и Гжегожа. Большая, озлобленная мать, ставшая не только близким, но и себе самой в тягость, и раздавленный пустой и бесплодно прожитой жизнью отец, который не понимает своих детей, глухо ненавидит жену и для которого единственной радостью остается ожидание воскресного дня, когда он сможет оторваться от своего дома и уехать на рыбную ловлю...

Но воскресенье приходит, принося с собой обложной дождь, и остается все тот же дом, все та же обрыдлая и треклятая жизнь.

Но воскресенье проходит, — где-то на улице бродит или валяется в канаве пьяный Гжегож, поднимается к обыденным делам после бессонной ночи Агнешка, злобно язвит больная мать, встречает свою оскверненную любовь монтер Завадский, а отец смотрит за окно, где все еще падает дождь:

— Боже, хотя бы уже пришло следующее воскресенье...

Так заканчивается «Восьмой день недели» — повесть, в которой так и не слышится никакого авторского «да».

Читая ее, я не мог не думать о ежедневных польских газетах, полученных вместе с книжкой журнала и так наполненных свидетельствами бурной активности народа перед лицом новых задач демократизации страны. Я вспоминал отчеты о рабочих собраниях, напечатанные там, фотографии этих собраний, лица людей на фотографиях.

Конечно же, нет у меня оснований говорить о том, «бывает» или «не бывает» в действительной польской жизни такая Агнешка, или такой Гжегож, или, скажем, такая легкомысленная невеста, как у монтера Завадского. Бывают, и даже наверное, что и впрямь именно бывают. И даже не о «типичности» или «нетипичности» этих образов хочется здесь говорить. Но стоило ли так скрупулезно (и, добавлю, талантливо,

потому что Марек Хласко по присущим ему изобразительным средствам — писатель несомненно талантливый), с такой почти сладострастной настойчивостью погружать персты в живые язы живых людей для того лишь, чтобы только продемонстрировать эти отверстые язы и тут же равнодушно от них отвернуться?!

Писатель, «глядающий с холодным бесстрашием вокруг», писатель, регистрирующий людское несчастье, как зарегистрировала бы его регистраторша «Скорой помощи», но невыгодно отличающийся от помянутой регистраторши тем, что он и не попытается повести потерпевшего туда, где ему смогли бы оказать помощь, — это и есть позиция, свойственная модернизму и, в частности, той самой современной американской прозе, у которой чересчур, на мой взгляд, старательно и некритически учится Марек Хласко.

Если рядом с Агнешкой существует не только оскорбляющая ее грязь, но существуют и душевная чистота и демократические идеалы, вдохновляющие рабочих Жерани, молодых и старых строителей социалистической Польши, то не является ли более высоким долгом писателя хотя бы приоткрыть перед Агнешкой подлинную красоту этих идеалов и попытаться вывести ее из пустоты, вместо того чтобы усугублять эту пустоту, соглашаясь с безвыходностью искалеченной судьбы?!

Если она действительно безвыходна, например, для героини фолкнеровского «Святилища», то так ли уж она безвыходна для Агнешки в народной Польше?

Но тут мы и подошли к существеннейшему различию между социалистическим реализмом и программой «Новейших». Совращать же «Новейших» в иную веру не входит в нашу задачу. Вера — это, как говорится, дело совести, сугубо личное дело. Нам же хотелось лишь сопоставить «конструктивную программу» А. Сандауэра с конкретной творческой практикой.

Если попытаться определить эту практику коротко и откровенно, то нам она кажется прежде всего антидемократической, как оскорбительно антидемократической показалась в свое время и пресловутая «Поэма для взрослых» Адама Важника, вызвавшая много споров и старательно, несмотря на весь свой антидемократизм, водружавшаяся на щит многими участниками польского съезда писателей.

После многих «нет», звучавших в польской литературной дискуссии очень громко, хотя и не всегда основательно, настоящее веское «да» все еще не произнесено.

А время требует этого все настоятельнее, и первые писательские голоса, раздавшиеся в польской печати после съезда и выразившие неудовлетворенность отсутствием на нем позитивных высказываний, свидетельствуют об этом со всей неопровержимостью.

Александр МАРЬЯМОВ.

СЪЕЗД В ДАМАСКЕ

Ливан

«Аль-Адаб» («Литература»), ежемесячный журнал по вопросам литературы, культуры и политики. №№ 10 и 11. 1956. Год издания 4-й. Бейрут. Ответственный редактор и директор Сухейль Идрис.

★

Когда просматриваешь последние номера ливанского журнала «Аль-Адаб», бросается в глаза и широковещательная коммерческая реклама, рассчитанная на состоятельного читателя, и рекомендации книгам, входящим в серию под достаточно красноречивым названием «Великие любовники». Есть и в самом журнале проза не очень высокого класса и вкуса. Более значительные материалы помещены в критическом отделе журнала. Здесь мы прочитали серьезные рецензии на новые современные и интересные книги о палестинской проблеме и о современной иракской прозе. Довольно полно освещен ход лингвистической дискуссии, происходившей недавно в Дамаске. Свежи по теме, хотя и риторичны, стихи Хасана аль-Байяти «Последний мост», посвященные борцам за свободу в Алжире. Интересно ведется отдел «Культурная жизнь в арабских странах». В нем привлекает внимание очерк о литературе Туниса. За годы французского господства литературная жизнь Туниса находилась в состоянии длительного застоя. Но уже в первые месяцы независимости в стране появились несколько литературных журналов. Стихи и рассказы стали обычным явлением в газетах.

Интересна заметка о литературной жизни в молодой Суданской республике, рассказывающая о рождении новой суданской поэзии. Ее лирический герой молод, упорен и верит в жизнь. Вот заключительные строки стихотворения Джафара Хамида аль-Башира, которые, как нам кажется, хорошо отражают содержание и пафос новой суданской литературы:

Борись, мой брат, и в победу верь,
Ясное завтра уже у дверей.
Исчезнет ночь, и вспыхнет заря,
В каплях росы на цветах горя.

Но самое главное и принципиально важное в журнале — материалы недавно состоявшегося второго съезда писателей арабских стран.

«Литература не может быть отделена от жизни, потому что литератор выражает радости и печали народа», — сказал министр просвещения Сирии на открытии второго съезда арабских писателей, созванного по инициативе ливанского литературного объединения «Люди пера» в конце минувшего года в Дамаске. В работе съезда приняли участие делегаты почти всех арабских стран.

За последние два года в литературной жизни арабских стран произошли значительные изменения. В работе первого съезда арабских писателей участвовали главным образом молодые прогрессивные писатели. На втором съезде были представлены уже самые различные художественные и идейные направления в арабской литературе. Бок о бок работали такие литераторы, как Таха Хусейн, Ихсан Абд аль-Каддус, Махмуд Амин аль-Алям (Египет), Михаил Нуайме, Хусейн Мурувве, Раиф Хури (Ливан), Ханна Мина (Сирия), Мухаммед Махди аль-Джавахири (Ирак), и другие писатели и поэты. Характерно, что еще совсем недавно многие из участников съезда резко, а иногда и недоброжелательно, спорили друг с другом. Разумеется, различия в идейных и художественных взглядах писателей сказались и на втором съезде, но одна мысль была общей для всех выступлений: «Долгом литератора является активное участие в борьбе народа». И эта общая исходная позиция, думается, определяется теми коренными процессами в жизни арабских стран, которые связаны с подъемом национально-освободительного движения.

Последние полученные нами номера «Аль-Адаб» посвящены в основном материалам съезда. Посмотрим же, какие проблемы волнуют арабских литераторов в ответственные для арабских народов дни борьбы за их национальную независимость.

С большой речью, посвященной взаимоотношениям писателя и критика, на съезде выступил известный ливанский критик, новеллист и драматург Михаил Нуайме. Его высказывания о критике носили противоречивый характер. Он связывает появление значительных критиков с общим подъемом литературы. «Уровень критики падает и повышается в зависимости от упадка и подъема литературы. Большие писатели прокладывают путь большим критикам, а не наоборот... Не удивительно поэтому, — заключает Нуайме, — что наша критика до сих пор находится на уровне дюн, а не высоких гор». С другой стороны, Нуайме как бы ставит под сомнение ценность критической мысли, подчеркивая ее субъективный характер. «Что я считаю истиной, — говорит он, — ты можешь считать ложью. Что ты считаешь добром, я могу считать злом... Поэтому мерилом критика являются его личные представления о добре, праве и красоте».

Иные взгляды на критику высказал выступивший след за Нуайме ливанский писатель Раиф Хури. Он подчеркнул, что различные представления людей об истине, добре и красоте не являются чем-то неуловимым и непостижимым, а зависят от объективных факторов (в том числе от материальных условий существования людей). И именно эти объективные факторы должен уметь выявить критик. Раиф Хури — и это стоит особенно отметить — говорил о том, что литератор должен уметь видеть подлинные движущие причины событий, в том числе и международных. «Ведь именно экономические интересы толкают агрессоров не признавать права Египта на Суэцкий канал, хотя они и одевают свою ложь в одежды «правды», которые слабее и прозрачнее паутины», — заметил он. Касаясь более специальных вопросов арабского литературоведения и критики, он подчеркнул их заслуги в деле возрождения арабского литературного наследия.

Острые споры вызвал пространный доклад сирийского литературоведа Фуада аш-Шаиба «Литератор и государство», в котором литератор безоговорочно противопоставляется всякому государству. С горячей отповедью докладчику выступил молодой египетский писатель Юсуф Идрис. Он сказал:

«Мы собрались здесь, чтобы обсудить наши проблемы, приехали, чтобы еще теснее связаться с народом, чтобы противостоять силам империализма, которые нам угрожают. Англичане готовят прыжок на Египет и Сирию... Мы собрались на этот съезд, чтобы защищать себя, свое национальное наследие, литературу и культуру... Мы представляем различные идейные и художественные направления, но все мы — арабские писатели... Из доклада аш-Шаиба я не увидел связи между нами и нашими государствами... Позвольте мне спросить: о каком государстве он говорит?.. Есть государства, которые хотят нас поглотить, и есть государства, которые хотят нам помочь... Личность и государство, как явствует из доклада аш-Шаиба, всегда находятся в борьбе. Но ведь есть империалистические государства и государства, которые ни над кем не господствуют и никого не эксплуатируют. Между теми и другими государствами находятся наши государства, во главе которых стоят правительства, стремящиеся к полному освобождению и независимости. Каково же наше отношение к этим государствам?.. Ведь такое, скажем, государство, как Египет, основало верховный комитет по делам литературы и искусства... Цель этого комитета — дать все возможное литератору, деятелю культуры, чтобы они творили без какого-либо вмешательства... Создано также общество литераторов, которое образовано, как гласит его устав, для обеспечения прав литераторов, их идейной свободы, для урегулирования связей писателей с издателями... Государство в Египте, следовательно, не препятствует свободе литератора, а создает ему гарантию для жизни и работы, чтобы он мог выразить то, в чем убежден... Без свободы нет литературы, и нет свободы без ответственности. Поэтому мы должны определить свою позицию по отношению к государствам империалистическим, которые нападают на нас, по отношению к тем государствам, которые протягивают нам руку дружбы, а также по отношению к нашему государству, которое защищает нас, нашу литературу и наше наследие...».

Писатели арабских стран все глубже осознают свою ответственность за судьбы своего народа, родной культуры и включаются в общественную борьбу, и этот мотив прозвучал во многих выступлениях участников съезда. Но вместе с осознанием своего гражданского долга они ставят перед собой и новые художественные требования, прежде всего требование большого, подлинно реалистического искусства. Иракский критик ас-Сайяб считает, что творчество многих современных писателей еще далеко от правильного понимания реализма. «Многие стихи и рассказы, — говорит ас-Сайяб, — достойны быть всего лишь газетными передовицами... Но это не значит, что в нашей литературе нет настоящих реалистических произведений большой художественной силы. Повести Наджиба Махфуза, Мухаммеда Абд аль-Халима Абдаллаха, рассказы Абд аль-Малика Нури тому свидетельство». Отметив заслуги этих литераторов, ас-Сайяб резко говорил о тех произведениях, которые «разлагают нравы подрастающего поколения, щекоча животные инстинкты и возбуждая низменные желания». Ас-Сайяб назвал их крайне опасными. «Такого рода «творчество» — одно из самых отвратительных преступлений. Тем не менее издание подобных книг растет», — с негодованием и горечью отметил ас-Сайяб.

В журнале напечатаны решения, принятые съездом. В них прежде всего подчеркивается гражданский долг писателей арабских стран, их роль в борьбе народов за мир и национальную независимость.

Съезд принял обращение к писателям и интеллигенции всего мира, в котором говорится, что участники съезда призывают писателей арабских стран стать рядом в борьбе «за поддержку права Египта проводить национальную политику...». «Призываем вас, — говорится далее в резолюции, — стать рядом с нами в отражении несправедливого нападения на наши земли».

Участники съезда говорили о том, что создание в каждой арабской стране объединения литераторов поможет создать затем всеарабский союз литераторов.

Второй съезд арабских писателей был важным событием в культурной жизни арабских стран, и последние номера журнала интересны прежде всего тем, что они содержат широкую информацию о съезде.

Какова же оценка этого события, которая содержится на страницах журнала?

«Съезд показал, что арабская литература идет в ногу с проблемами, которыми живет сейчас арабская нация... Каждый писатель почувствовал, что он призван мобилизовать свое дарование и творческую энергию на пользу народу», — говорится в передовой статье ноябрьского номера. На страницах журнала «Аль-Адаб» еще многое не соответствует этой декларации. Но, вступая в пятый год своего существования, «Аль-Адаб», как об этом оповещает читателей редакционная заметка, «намерен совершить прыжок к прогрессу», с тем чтобы каждый арабский интеллигент мог найти на страницах журнала ответы на интересующие его вопросы литературы и искусства. Пожелаем же журналу успешно выполнить это намерение.

В. БОРИСОВ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА

★

ЖИВОЕ ЕДИНСТВО

Несколько лет назад я встретила моего старого знакомого — литератора Н. Писатель он не из крупных. Во всяком случае в первом десятке «маститых» не числится. Но принято считать, что «литературным пером» он все же владеет. В его произведениях умело чередуются производственные и любовные коллизии, а диалоги он перемежает лирическими пейзажными зарисовками. («Вечерело... прихотливые очертания сиренево-дымных облаков...» и т. д.) Персонажи его говорят каждый «своим языком»: старики мудро-рассудительны, молодежь задорно-весела. Он избегает говорить о том или ином событии простыми и прямыми словами. Никогда не напишет, скажем: «У мастера Ивана Кочкина умерла жена», но примерно так: «Тяжка долгая бессонная ночь, когда холодная луна пристально смотрит в окно, а Иван лежит и думает о том, что нет уже рядом тепло-го и покорного дыхания Маши...»

Но не будем слишком глубоко внедряться в творческую лабораторию литератора Н. Речь идет сейчас об иной его особенности. Считается, что он всегда «в курсе» литературных дел и веяний. Вот и при встрече, о которой я говорю выше, лицо Н. сразу же приняло торжественно-взволнованное выражение: «Поздравляю! С пресловутой теорией бесконфликтности наконец-то покончено... Раз и навсегда! Ведь читателя мутило, прямо-таки мутило от этой розовой водички, от лакированных идеальных героев! Ему надо новое, другое — острое, глубокое, с гоголевским и щедринским ядом!»

Но ровно через неделю, когда я встретила его снова, — тот же шепот оказался не менее взволнованным: «Спешу поздравить! С нигилистической теорией показа отрицательных явлений и сомнительных людей раз и навсегда покончено! Ведь

читателя мутило, прямо-таки мутило от этих моральных помоев! Гоголевский и щедринский яд отжил свое время. Читателю надо другое — светлые, бодрящие, горьковские тона!»

Примерно такие же категорические заявления, каждый раз с поворотом на 180°, я слышала от него потом не раз.

Наше литературное развитие представлялось ему схожим с полетом качелей, попеременно взлетающих то в тень, то в свет.

А между тем стоило бы этому мастеру прогнозов пристальнее всмотреться в действительное органическое развитие нашей литературы, перед ним раскрылись бы совсем иные закономерности.

Лучшие произведения советской литературы, выдержавшие испытание временем, при неизменном утверждении ведущего, положительного, оптимистического начала, отражали и тень и свет действительности в их живом, правдивом сочетании. Причем без всякой натяжки, без всякой предвзятости победа всегда оставалась за светом. Даже в тех случаях, когда концовка произведения была трагичной, даже когда погибали любимые читателем герои, читатель закрывал книгу с ощущением победы жизнеутверждающего, идейного начала.

Не авторская тенденциозность сказывалась в этом. Нет! Это в советском искусстве отражалась и отражается великая историческая правда нашей жизни.

Первая в истории нашей планеты страна, где навсегда сметена эксплуатация человека человеком, где с каждым днем все шире и полнее воплощаются предначертания бессмертных учителей человечества — Маркса, Энгельса, Ленина, завоевала право на несокрушимый, действительно погорьковски поднимающий человека оптимизм.

Каждый наш год — живое тому подтверждение. И грандиозный размах шестой нашей пятилетки, и такие порой даже непредвиденные подарки стране, как миллионы гектаров земель, поднятых молодыми целинниками, и такие чудеса, как первая на земном шаре атомная электростанция, работающая на мирные цели, — все это еще и еще говорит нам, на какой твердой почве строится этот оптимизм.

И разве охватишь в кратких строках все факты, которые озаряют каждого советского человека, будь он даже меланхоликом от природы, светом бодрости и, мы бы сказали, особой исторической гордости. Однако это совсем не значит, что художественное воплощение наших беспримерных исторических побед должно походить на изображение гладкой проторенной дороги, напоминать, согласно ироническому выражению Н. Чернышевского, «тротуар Невского проспекта». Лучшие наши художники смело показывали, что путь к победе — это путь неустанной, подчас тяжелой борьбы. Это соответствовало жизненной правде и заставляло читателя остро и глубоко сопереживать изображаемые события.

Вспомним название одной из выразительнейших в этом смысле книг: «Как закалялась сталь». Не «Закаленные, как сталь», тем более не просто «Стальные», то есть данные как вполне готовые, от природы негнибальные герои, а ставшие такими в процессе революционной закалки — в процессе революционной борьбы.

«Сталь закаляется при большом огне и сильном охлаждении. Тогда она становится крепкой и ничего не боится. Так закалялось и наше поколение в борьбе и страшных испытаниях...» — такими словами определил Николай Островский основную идею своей бессмертной книги.

В большом огне гражданской войны и в период строительства, когда революционное горение вчерашних бойцов должно было выразить себя в трезвой практичности, вплоть до «учитесь торговать!», в упорном, суровом труде закалялись и росли лучшие люди страны, весь советский народ.

Мне вспоминаются несколько наивные, но такие горячие и правдивые строфы песни моей юности:

Мы беззаветные герои все,
И вся-то наша жизнь есть борьба!

Смысл этой песни не отошел с молодостью поколения Павки Корчагина. Он не сдан в архив, как некая дорогая, но имеющая лишь историческую ценность реликвия.

От поколения к поколению передается знамя борьбы за коммунизм, за успешное и скорейшее его построение.

Не дистиллированный «идеальный герой», некий благонамеренный пастор, а человек-борец — вот подлинный герой нашего времени. А кем же иным может быть герой того молодого общества, которое, решительно порвав с тяготевшим над человечеством собственническим миром, его нравами, моралью, навыками, психологией, строит новую, невиданную до сих пор жизнь?

Многообразна его борьба.* Пядь за пядью отвоевывает он богатства у природы, расширяет до возможных пределов мощь техники, все к новым победам приходит в своем новом, социалистическом труде. Но вряд ли путь к этим победам следует считать легким. Нет, герою нашего времени в этом неустанном движении вперед препятствуют те темные силы, те пережитки собственнического мира, которые при всем нашем желании нельзя уничтожить одним «росчерком пера». Было бы непростительной близорукостью, опасной по своим последствиям, их не видеть, их не разоблачать. Как бы ни велики были наши успехи, а настроения благодушия и упоенности этими успехами нам органически чужды. Недаром в таком точном документе, как Устав КПСС, члену партии (то есть наиболее передовому человеку нашего общества) как прямая обязанность вменяется: «...выявлять недостатки в работе и добиваться их устранения, бороться против парадного благополучия и упоения успехами в работе».

Конечно, обязанность выявлять недостатки не имеет ничего общего с критикой ради критики, той критикой, которая, ограничиваясь констатацией отрицательных явлений, не имеет никаких положительных идеалов. «Отрицательный» лозунг, не связанный с определенным положительным решением... есть пустышка, голый выкрик, бессодержательная декламация», — говорил Ленин.

Прочная, органическая взаимосвязь утверждения всего положительного в нашей жизни с нетерпимым, поистине боевым отношением к тому, что тормозит наше коммунистическое развитие, — вот со-

четание, необходимое для всякого нашего деятеля, в том числе и для художника слова.

Мне вспоминается мысль Горького: «Умение находить, сравнивать, изучать полезное и вредное, красивое и уродливое вне себя и в самом себе — вот основная сила человека». И другое, афористически выраженное им утверждение: «Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить».

Именно об этой взаимосвязи, именно об этом сочетании света и тени — при конечном торжестве света, вернее, при определяющем его значении — говорят нам лучшие образцы советской литературы.

Вспомним героя «Разгрома», командира партизанского отряда Левинсона. Как органически сочетается в нем «несравнимая ни с каким другим желанием жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека» с тем, что во имя этого доброго человека в кровавых схватках он без колебаний уничтожает врага.

Как глубока картина, когда этот непреклонный командир, незольно залюбовавшись на добрую детскую улыбку молодого дневального у костра, старается отойти как можно тише, только бы не спугнуть эту улыбку. Но этому совсем не противоречит та страшная сцена, когда тот же самый Левинсон, «выхватив маузер» и «по-волчьи щелкнув зубами», направляет его на своих же. Он знает, что иного выхода нет, что иначе измученные бойцы не поднимут нечеловечески трудной, но в данной обстановке спасительной работы — гатить болото. И как четко этот действенный, мы бы сказали, боевой гуманизм страстного и в любви и в ненависти подлинного большевика подчеркивается безвольной, бездеятельной, слезливой мечтательностью прекраснодушного Мечика, пришедшего в конце концов к измене и подлости.

Изображение действительности во всей ее сложности, в ее подлинной светотени нашло у автора «Разгрома» глубокое выражение.

«Видеть все так, как оно есть, для того, чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть», — вот как выражена заповедная мысль, которой руководствуется большевик Левинсон.

Совсем в иной обстановке проходит борьба героя «Педагогической поэмы» — за

то, чтобы из вчерашних «правонарушителей» выковался трудовой коллектив «ослепительной прелести!» Через преодоление великих трудностей приходит к своей победе А. С. Макаренко. Стоит только вспомнить, что этот мужественный человек был однажды недалеко от самоубийства, узнав, что, вопреки его педагогическим усилиям, колонист Приходько все же решился на грабеж.

Анализируя знаменитый образ «дети — цветы жизни», Макаренко, этот гуманист горьковского типа, предостерегает от того, чтобы представлять себе их в виде роскошного букета в красивой вазе на столе. Он говорил, что это скорее цветы на яблоневом дереве, а чтобы оно плодоносило, его надо поливать, окапывать, снимать гусениц, обрезать сухие ветки.

Изображая героя нашего времени, мы должны помнить, что основным, определяющим его качеством является деяние. Социалистический реализм, писал Горький, утверждает бытие как деяние. Это «деяние», с которым, конечно, неразрывно связана великая, вдохновляющая цель, — вот аспект, дающий возможность наиболее верно воплотить людей коммунизма.

Фурманов не раскрывает нам жизнь Чапаева во всей ее личной многогранности, Серафимович — Кожуха, Фадеев — Левинсона, Алеша-маленького, Валько, Проценко...

Но все эти образы взяты их творцами с наиболее определяющей их стороны — со стороны борьбы, со стороны деяния. При том обязательном условии, что деяние это, повторяем, происходит не в «облегченной» обстановке, гладкой, как «троюар Невского проспекта», а требует бесконечно разнообразного выявления всего богатства ума, воли и сердца этих борцов. Когда соблюдено это условие, перед читателем возникают не деревянные, скучные персонажи, которые, что бы с ними ни происходило, «в огне не горят и в воде не тонут», а понятные всем и подлинно живые люди. Таков борец за новую деревню рабочий Давыдов у Шолохова; таков Федор Солвейков у Тендрякова, борющийся не только за высокие урожаи на полях, но и против носителей старой, единоличной морали, которым он пришелся «не ко двору»; таков представитель упорного племени искателей, инженер-электрик Андрей Лобанов из романа Гранина «Искатели», смело вступающий в бой

с консерваторами, карьеристами типа Тонкова, Долгина, Потапенко; человек такого же склада и воjak колхозной деревни коммунист Мартынов в его схватке с зазнавшимся, с забюрократившимся Борзовым из «Районных будней» Овечкина; таков и другой его герой, директор МТС Долгушин, и смелые, правдивые коммунисты А. Калинина — Тарасов, Еремин, восставшие против «удобной» установки Неверова не подниматься выше «среднего уровня».

Все эти памятные и полюбившиеся нам люди предстают перед нами в аспекте горячей борьбы за новое, в борении со старым, отжившим, тормозящим. И потому, что обстоятельства их деяний даны полнокровно, не в некоей отвлеченной схеме и в литературно-условном мире, а в сугубо конкретной обстановке, читатель включается в их борьбу, каждый раз радуется не просто доставшейся им победе.

Оговорюсь хотя бы для того, чтобы литератор Н. не усмотрел в этом некоей «установки»... (Впрочем, есть гарантия, что, поскольку это исходит от рядового литератора, он не примет эти соображения слишком близко к сердцу.) Изображение строителя коммунизма в труде, в деле, конечно, не исключает иных творческих возможностей его раскрытия. Достаточно вспомнить хотя бы, как тонко обрисован в повести В. Пановой образ отчима Сережи — коммуниста Коростелёва. Главным образом в семье, в отношении к детям раскрываются качества передового человека и в Полине («Четыре весны» Н. Емельяновой) — душевной, по-настоящему мужественной женщине.

Примеры эти можно, конечно, значительно расширить.

Но резкого противопоставления личного и общественного, разумеется, не может быть. Признаться, топорными нам кажутся довольно распространенные, особенно в кинофильмах и пьесах, мелодраматические ситуации, когда умнейший, по утверждению автора, глубоко идейный герой все свое благородное сердце отдает какой-нибудь бездушной и красивенькой кукле. Правды характера в этом не найдешь.

А ведь как владели изображением единства личности при всем многообразии ее проявлений наши бессмертные мастера... Сановником-бюрократом остается Каренин и бездушно решаа дело об инородцах, и общаась с сыном, который при нем делается «воображаемым мальчиком»,

а не живым, реальным Сережей, и тогда, когда требует от жены соблюдения «приличий» взамен правды ее чувства. Все, вплоть до мелких деталей, вроде пристрастия беспечного бездельника Стивы Облонского к плоским каламбурам, проникнуто строгой внутренней закономерностью.

Единство личности передового человека нашего общества убедительнее всего раскрывается в свете идейной его устремленности, которая определяет в нем и личное и общественное. А если эта всепроникающая устремленность и органическая идейность у героя отсутствует, то, сколько бы ни твердить о его глубокой, примерной положительности, на бледных страницах возникают лишненные приметы времени, тронутые молю фигуры в лучшем случае вообще «порядочных людей». А подумать, в какие хитроумные ухищрения пускаются их создатели, дабы «оживить» того или иного «идеального» резонера! Здесь и его особое пристрастие к рыбной ловле, и неудача в любовных делах или поэтичное заблуждение вроде чухотки. Или он «смело» награждается теми или иными изъянами: ревнив, излишне доверчив, изменил жене, любит дочь больше сына, а также низкоросл, тучен, не прочь выпить, порывается петь, хотя начисто лишен музыкального слуха, и т. д. и т. п. Ничего хорошего из этих стараний не получается.

Ведь любое явление следует рассматривать не «вообще», а каждый раз находить в нем ту сторону, ухватывать то звено, которое в данной связи является решающим.

В книгах «Районные будни» и «Трудная весна» В. Овечкина довольно бегло говорится о личной жизни Мартынова. Но мы отлично постигаем его как человека в его индивидуальной человеческой сущности, определяемой твердой установкой: во-первых, видеть «все так, как оно есть», во-вторых, «приближать то, что... должно быть».

Возглавив МТС, старый коммунист, инженер Долгушин следует этим же заветам. Точно так же, как Мартынов, он зорко, без прикрас, так, как оно есть, то есть не обманывая ни себя, ни других, не теша собственное воображение маниловскими воздушными замками, устанавливает, что дела МТС запущены; коллектив разболтан; в некоторых колхозах процветают воры, лодыри, жулики, а временно заменяющий Мартынова секретарь райкома Медведев

выродился в служаку, от которого действительное положение дел закрывает ловко составленная сводка.

Но для Долгушина критика—менее всего та бессодержательная декламация, «голый выкрик», от чего предостерегал Ленин. Перед ним тут же встают большие задачи, требующие энергичного и творческого вмешательства. Ведь подлинному коммунисту надлежит «видеть все» не для разъедающего душу скептицизма и застенного осуждения, а, как бы неприглядна ни была картина, лишь для того, чтобы победило то, «что должно быть»!

И в борьбе за эту победу он берет на свои плечи нелегкий груз. И если герой книги «Районные будни» Мартынов в своем стремлении наладить колхозную жизнь в районе схватился с Борзовым и насаждавшимися им порядками, то Долгушин в его повседневной борьбе за подъем сельского хозяйства воюет с равнодушным карьеристом Медведевым.

И как естественно, что вокруг руководителей такого типа, как Мартынов и Долгушин, стойких борцов за приближение того, что должно быть, — короче, за коммунизм, — вырастает деятельный коллектив честных тружеников, таких, как бригадир Савченко, кузнец Сухоруков, бывший секретарь райисполкома Руденко, Борзова, Опёнкин и многие другие.

В Мартыновых, Долгушиных и Тарасовых («Неумирающие корни» А. Калинина) меньше всего от диктующих свою волю с олимпийских высот «сверхчеловеков». Рожденные народом, они являются живой его частью; и если ведут людей за собой, то только в силу своих высоких личных качеств, в силу своей действительной преданности делу коммунизма.

Конечно, не всё с должной художественной выразительностью нарисовано в книгах писателя-коммуниста Овечкина. Объемности, художественной полнокровности не хватает, скажем, такой фигуре, как Мартынов, но мы любим самый тип подобных Мартынову людей — скромных и смелых, внутренне добрых и человеческих, но непримиримо «злых» к враждебному, к тормозящему.

О неразрывной связи утверждения хорошего в борьбе с отсталым выразительно говорит один из героев первой повести Овечкина — «С фронтовым приветом».

«Если не сразу создашь ее, красоту, на месте вырубленных садов и выжженных

сел, пусть будет она в отношениях между людьми и в их трудовых подвигах... Хотим в партийных организациях видеть только вожаков и строителей — и ни одного шкурника. Многого хотим. Много крови пролили на этой земле, но и многого хотим от будущей жизни. Иначе и быть не может».

Петренко знает, что не самодовольное возлжание на старых рубежах ждет его по возвращении домой, а борьба за новые рубежи, и один из важнейших — «чтобы не было у нас опять через несколько лет этой старой болячки — отстающих колхозов».

А путь к новым рубежам, путь к новым достижениям поистине беспределен.

Дело не только в том, что, например, в «Районных буднях» оторвавшегося от народа, забюрократившегося Борзова сменил на посту секретаря районного комитета партии умный работник и честный коммунист Мартынов. Коллизия эта жизненно верная, исход ее закономерен.

При желании автор смог бы своего умного и честного героя увить лаврами и нежно любоваться им... Да его Мартынов, пожалуй, и стоит того, чтобы им полюбовались.

Но такие писатели, как Овечкин, менее всего склонны живописать подобные идиллии.

В последних главах «Трудной весны» писатель смело показывает, как и Мартынова в свою очередь заменяет еще более сильный и в сложившейся обстановке, о которой без прикрас рассказывает Овечкин, еще более нужный работник — старый партиец Долгушин...

Особенно знаменательным является то, что сам Мартынов, этот по-настоящему идейный человек, по собственной инициативе (чем вызывает глубочайшее недоумение у таких карьеристов, как Маслеников) выдвигает кандидатуру Долгушина на свое место, а себя просит назначить на работу в далекий и, пожалуй, еще более трудный район.

И хотя Овечкин без умолчаний рассказывает о трудной, именно трудной весне, а подчас заостряет наше внимание и на густо «теневых явлениях», его книга дает хорошую зарядку бодрости и стойкого, я бы сказала, продуманного оптимизма. Она по праву называется все же книгой о весне, пусть трудной, но той самой, которая приведет к хорошим урожаям!

Такое же чувство вызывает в нас книга А. Калинина «Неумирающие корни». И здесь ее герои, передовые люди, ведут на колхозных полях борьбу за «новые рубежи» нашего хозяйства, нашей жизни. И в этой борьбе, подобно Мартынову, Долгушину, Олёнкину, такие люди, как Тарасов и Еремин, преодолевают равнодушие Неверова и беспринципность Молчанова.

Для них это так же, как для героев Овечкина, некая абстрактно-моральная борьба, ибо, согласно мысли Мартынова, «...если об инициативе только кричать, декларировать ее, не подкрепляя декларации практическими делами, то из этого можно сделать очередную вселенскую говорильню».

Они реально изменяют жизнь, практически действуют, находят и предлагают свои решения так, как в самых трудных обстоятельствах нашел его коммунист Тарасов, победивший неверовский «средний уровень», или Андрей Лобанов, внедривший в производство ценное для страны изобретение — локатор. В этих скромно-мужественных героях нет ничего от скучного резонерства, а также от той сладенькой благостности, которые в иных произведениях выдаются чуть ли не за наиболее характерные черты «героев нашего времени». В свое время Антон Семенович Макаренко не без сарказма говорил о подобных попытках исказить облик нашего положительного героя. «Между нами говоря, — писал он, — ...его снабдили стандартными добродетелями, от которых за сто километров несет христианством...»

Да и должна ли наша литература, литература килучей, творческой, боевой жизни, призывать «у тихой речки отдохнуть»? Должна ли она в своеобразно подновленном виде утверждать какое-то духовное вегетарианство, своеобразное «непротивление злу»? Как это может быть в стране, где критика и самокритика являются основным орудием нашего движения вперед, где посредством этого острейшего и проверенного оружия расчищаются пути к великой, вдохновляющей всех нас цели?

Нет, не пустая декларация, которая действительно может лишь привести к «вселенской говорильне», а включение в большое реальное дело строительства коммунизма!

И та откровенная, по-настоящему партийная злость Мартыновых, Лобановых, Тарасовых ко всему косному, узкоэгоистическому, беспринципному, что тор-

мозит это общее наше дело! Ведь она не имеет ничего общего с разъедающим скептицизмом малOVERов и рефлектирующих мизантропов, в изображении которых так была сильна дореволюционная литература. Напротив, это в основе своей здоровое чувство верующих в жизнь, в свои силы, по-настоящему бодрых работников. Оно заостряло перо Маяковского в его атаке — по заслугам оцененной Лениным — на «Прозаседавшихся»; на «Кандидатов из партии», «Подхалимов», на персонажей «Клопа» и «Бани» — всех этих Победоносиковых, Оптимистенко, Бельведонских, Присыпкиных, Мезальянсовых. И это «старое, но грозное» оружие сатиры, разящего смеха, в творчестве поэта-революционера органически сочеталось с таким ярким утверждением новой, социалистической яви, как поэма «Хорошо!», как заявленное им «во весь голос» утверждение неизмеримого превосходства нашей социалистической страны.

О том, как велика практическая, непосредственная польза острой, направленной на теневые явления критики говорит и история такого произведения, как «Фронт» А. Корнейчука.

Какой это был меткий, разящий удар по зазнавшимся, самоуспокоившимся военачальникам типа Горлова!

Сколько Горловых задумалось над собой, увидев на сцене свой портрет, сколько Огневых, напротив, ощутило крепкую моральную поддержку! «Фронт» — это одно из тех по заслугам оцененных народом произведений, где автор также показал «тьму» и «свет», не разделив их по рецепту сверхинтуитивного литератора Н. по отдельным ретортам.

А ведь дни, когда создавалась эта пьеса, были, пожалуй, самыми тяжкими из всех пережитых нами. Разгар войны, наши временные неудачи на фронте, беспомощность некоторых, подобно Горлову зазнавшихся военачальников перед лицом хорошо натренированного, натасканного на агрессию врага... Возможно, смелое обличение Горловых вызывало и злорадство наших врагов и злопыхательское, обывательское зубоскальство. Но нет сомнения, что все это с лихвой было покрыто тем положительным, что дала своевременная и острая критика Горловых.

Иначе и быть не могло...

Нас не должно смущать то, что враги поднимают шум и крик, когда мы смело

сами себя критикуем. «Русские социал-демократы уже достаточно обстреляны в сражениях, чтобы не смущаться этими шипками, чтобы продолжать, вопреки им, свою работу самокритики и беспощадного разоблачения собственных минусов, которые непременно и неизбежно будут превзойдены ростом рабочего движения», — писал Ленин в статье «Шаг вперед, два шага назад».

Выраженный в искусстве взыскательно-критический взгляд на недостатки, все еще имеющие место в нашей жизни, не должен быть чем-то «сезонным».

Нет! Дозы щедринского яда и горьковское романтическое утверждение друг другу не противостоят и друг друга не «отменяют». Конечно, странно было бы рисовать Победоносикова той же кистью, что Мересьева... Но этого никто и не предлагает. Важно, с каких позиций, во имя чего раскрывает перед читателем автор фигуры, вроде карьериста от науки Тонкова («Искатели» Градина), или Чекменя, способного во имя узкоэгоистических интересов затоптать честного человека («В родном городе» Некрасова), или Полудина, клеветника под маской бдительности («Персональное дело» Штейна). Истинно гражданская ненависть ко всем «оборотням», ловко спрятавшим свое алчное нутро за обличьем честных советских людей, стремление каленым железом выжечь из нашей жизни эту нечисть определяется прежде всего уверенностью в неправомерности существования этих грязных пятен на здоровом теле нашего общества. Ведь не случайно, что одной из самых характерных особенностей этих «оборотней» является притворство. Откуда оно? Почему бы им с циничской откровенностью персонажей какого-нибудь Селина открыто не заявлять, что самое главное для них — это их собственное брюхо? Это невозможно! Со всех сторон они, как в осаде, окружены убежденными строителями социализма, чуждыми им по духу, честными тружениками. Ведь здоровое начало определяет всю нашу жизнь!

Они принуждены притворяться, чтобы сохранить себя. Почему же задача обнажить подлинные лица этих социальных оборотней, сорвать с них — подчас такие замысловатые! — маски не заслуживает творческих усилий писателя? Вспомним слова Станиславского: «Убить оружием своего искусства врага общества, государственного строя, своей родины — так же

почетно, как с такой же силой своего таланта воплотить образ положительного героя современности».

Ведь не «нытьем», от которого предостерегал Ленин, не ущербными, упадочническими настроениями, столь естественными для идеологов такой умирающей общественной формации, как капитализм, определяется стремление разоблачить зло. Гнев к конкретным носителям зла вызван тем, что их затаенная антиобщественная устремленность находится в резком противоречии с высоким строем всей нашей жизни.

Не безысходные идейки, некогда провозглашавшиеся отечественными нашими «смертяшкиными» типа Федора Сологуба и по-своему одаренного Леонида Андреева, что человек, мол, изначально порочен и зол, что в каждом из нас таится «зверь из бездны» или по меньшей мере «мелкий бес», а яркое жизнеутверждение, немеркнувшее стремление к «прекрасному, сильному и доброму» человеку.

Декадентствующим литераторам всегда было трудно нарисовать жизнь, как единоборство «доброе» со «злым», постигнуть то, что их идейный противник, Горький, выразил невеселым, но точным афоризмом: «Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить».

Утверждая дело большевика Кутузова, Сомовой, Спявк, великий писатель создал такую незабываемую фигуру, как присяжный поверенный Клим Иванович Самгин. До тонкости подробно раскрывая этот образ, художник не боялся даже такого приема: он как бы всматривается в мир через знаменитые самгинские очки, пропускает «впечатления бытия» через пристрастно скептическое восприятие своего «героя». Что ж! Тем сильнее звучат подытоживающие всю бесплодную и лживую самгинскую жизнь заключительные слова: «Уйди! Уйди, с дороги, таракан. И-эх, таракан!»

Только мельтешащим на пути «тараканом» предстает перед разбуженным залпами «Авроры» человеком из народа Клим Самгин, всю жизнь мнивший себя его высокомерным судьей.

Жестока, но по-своему закономерна намеченная Горьким концовка, когда на ярком фоне всемирно-исторической победы Кутузовых вместо презрительного мудреца в очках на мостовой остается лишь «мешок

костей... Грязный мешок, наполненный мелкими, угловатыми вещами».

И эта при поверхностном взгляде как будто бы «мрачная» книга укрепляет в читателе «антисамгинские», социально бодрые мысли и чувства. Так жизненно верно распределены Горьким «свет» и «тьень», так точно сопоставлены в его исторической хронике герои.

Мы не говорили здесь о романе Дудинцева «Не хлебом единым». Это произведение требует самостоятельного разбора.

В общей же форме можно заметить, что талантливый писатель, объемно вылепив такую фигуру, как Дроздов, до гротеска остро зарисовав Шутикова, Авдиева, Невраева и взяв этих моральных отщепенцев под точный прицел, к сожалению, не сумел, как мне кажется, раскрыть образы их непримиримых противников, воплощающих ведущие принципы нашей жизни, — академика Флоринского, Галицкого и других — с той художественной полнотой и силой, как они того, конечно, заслуживают.

Хотелось бы еще пожелать, чтобы, не закрывая глаз на наличие тех или иных пережитков капитализма в сознании людей нового общества, мы все-таки держали бы под постоянным прицельным огнем морального прародителя этих пережитков, законного их папашу, — «капитал его препахабне».

Прошло почти сороклетие, но разве потеряла свое значение запечатленная в стихотворении Николая Тихонова мольба задавленного колонизаторами маленького смуглого Сами к тому, кто

...живет за снегами,
Что к небу ведут, как ступени,
В городе с большими домами
И зовут его люди — Ленин¹.

¹ Так индийцы произносят имя «Ленин».

Разве отзвучал для нас набатный гром таких произведений, как «Война и мир» или «Мое открытие Америки» Владимира Маяковского?

Говоря же о произведениях, посвященных нашей советской жизни, добавим еще одно. При всем том, что так называемое критическое начало, при условии твердой, передовой, по-настоящему советской позиции автора, на наш взгляд, органически связано с утверждающим, нет необходимости вносить его во все произведения, независимо от материала, темы, жанра. У нас есть достаточные основания для своего рода «песни песней», посвященной и очищенной от корысти и расчета любви, и такому мужеству в единоборстве с суровой, а подчас и жестокой природой, которому позавидовали бы джек-лондонские герои!

Но, конечно, и здесь свои трудности, свои преодоления. И здесь, как в любом явлении живой, полнокровной действительности, рецептурки всеведущего литератора Н., с их механическим разграничением на «свет» и «тьень», окажутся непригодными. Иначе и быть не может — ведь в каждом нашем произведении речь идет о тех, чья жизнь прежде всего деяние.

И таким же трудным и славным делом является дальнейшее развитие нашей литературы, устремленной в будущее, взыскательной и зоркой к настоящему, непоколебимой в утверждении социалистических принципов нашей жизни, смелой в борьбе со всем, что мешает нашему неустанному движению вперед, в коммунистическое завтра.



МАРК ЩЕГЛОВ

★

ВЕРНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

Такая-то деталь описания особенно выразительна», «это яркая деталь...», «художник нашел «выигрышную» деталь», — так порой говорим мы под непосредственным впечатлением той или иной художественной страницы... Что это значит? Какое значение для «мышления в образах» имеет эта «деталь», какова суть ее эстетического воздействия, как дорожить ею?

Все, что касается человека, все, «чем люди живы», может быть охвачено искусством. «Искусство не брезгливо,— писал Герцен,— оно все может изобразить... бескорыстно поднимая всякую случайность бытия, всякий звук и всякую форму». Однако ни роман, ни повесть, ни поэма, ни пьеса, как искусство, не есть просто «списки» с действительности. Искусство не повторяет, не «показывает» просто явлений жизни — зачем бы оно тогда было нужно? Типы, изображенные писателем, как говорил Достоевский, «почти действительнее самой действительности». Поэтому, может быть, главное в словесно-образном творчестве — это и есть чуткий «сознательно-бессознательный» художественный выбор фактов и подробностей, словесных красок и оттенков, которые выразили бы знакомую нам правду жизни, но уже как утонченную и неотразимую правду искусства, сказанную во всем обаянии важной истины о жизни. И здесь, конечно, огромную роль играет та сторона писательского мастерства, которую называют художественной детализацией, искусством выразительной детали.

Вспоминая то или иное литературное произведение, мы можем пересказать его содержание, в общих чертах охарактеризовать

Рукопись этой статьи находилась в портфеле редакции журнала «Новый мир» и была отредактирована и подготовлена к печати при жизни автора.

тему, сюжет, раскрыть образную систему, найти те или иные соответствия с действительностью, отметить достоинства и указать на недостатки. Так обычно строится критическое суждение о книге. Художественная деталь часто в таких критических анализах выглядит как случайность и подробность, придающая в лучшем случае форму живописного проявления тому или иному отвлеченному тезису автора.

Конечно, революционное содержание образа Левинсона из «Разгрома» А. Фадеева — это главное в нем, а его «голубые, как омуты», «немутнеющие» глаза — это деталь. Конечно, царство пошлости в «Учителе словесности» А. П. Чехова — это существо дела, а скверная собачонка, которая лает на гостей из-под стула: «Р-р-р... нганга!» — это мимоходная художественная подробность, «второй план». По существу это все правильно. Неправильно лишь одно: подход к каким-либо чертам образа, к средствам художественной характеристики с мерой «второстепенности». Разумеется, в жизни, за исключением некоторых специальных положений, цвет глаз в отношениях между людьми играет не первую роль. В искусстве, в художественном образе человека вовсе не так.

В «Неведомом шедевре» Бальзака великий живописец, осматривая работы своих учеников, кладет на них своей рукой какой-то последний мазок, и от этого мельчайшего блика зависит, оживет картина или останется похожим, но мертвым, покрашенным холстом. В художественном произведении такое «чуть-чуть» имеет огромное значение. «Чуть-чуть» меньше или «чуть-чуть» больше в искусстве — значит почти все. Но ведь это зачастую и есть та самая завершающая, живительная деталь — блик, интонация, жест, оттенок слова, подробность

портрета или аксессуар, — через которую художественно изображение вдруг как бы «осветится», заживет, как будто даже задвигается и тепло задышит, неся с собой поток впечатлений, тревожа и умножая наши чувства и мысли.

Не раз говорил об этом Лев Толстой, как никто умевший дать чудотворное подобие жизни в своих шедеврах. Эмоциональное «заражение» человека искусством, считал Толстой, «...только тогда достигается и в той мере, в какой художник находит те бесконечно малые моменты, из которых складывается произведение искусства». Образы самого Толстого воспринимаются в большинстве случаев как реальные чувственные представления (их «хочется тронуть рукой», — говорил Горький), вплоть до того, что, кажется, видно, как у них «сквозь жилки голубые льется розовая кровь». Эта иллюзия создается у Толстого подчас с помощью самых лаконичных, «бесконечно малых», как бы беглых и случайных средств: постоянно возбуждаемым эпитетом, одной-двумя черточками внешности, жестиком, но с таким феноменальным проникновением в психологию, такой обостренностью наблюдения, что за этим «беглым» и «случайным», а именно за деталью, открывается целый мир человеческой индивидуальности, типический характер в типических обстоятельствах.

В романе «Воскресение» в ряде эпизодов участвует петербургская приятельница Нехлюдова Мариэтт. В ее внешности художник подчеркивает почему-то подробность — всего лишь родинку на соединении шеи с плечами. И как через эту интимную, дважды упомянутую женскую телесную черточку тонко передана эротическая атмосфера, окружающая в романе изящную светскую красавицу, — атмосфера, которая так действует на Нехлюдова, что ему и «приятно и гадко». И как после этого действительно легко переход к женщине, которую встречает Нехлюдов на панели Невского проспекта, возвращаясь из театра! Ощущение нечистоты всей той праздной, обеспеченной, «плотской» жизни, от которой отвертывается Нехлюдов, передано здесь сильнейшим образом.

И еще один пример из Толстого. В «Войне и мире» при появлении Александра I как-то встречается одна незначительная портретная деталь — «острые носки сапог». В этом как бы нет ничего особенного, но

вместе со всем, что говорит Толстой об Александре I, читатель чувствует (оценивает чувством через эту деталь) в поведении императора какое-то вкрадчивое щегольство, кокетливость, парадность. Насколько это исторически и психологически верно, показывает такой любопытный факт. На полях одной рукописи А. С. Пушкина есть рисунок, который пушкинисты зовут «портретом Александра I». Легким пушкинским штрихом набросан... сапог, нога в высоком ботфорте, с женственным бедром и острым носком... И это действительно «портрет»: «плешивый щеголь, враг труда» виден здесь как бы во весь рост!

Очевидно, под влиянием подобных неповторимых образцов художественного воздействия одной отдельной черты образа в литературе была произнесена мысль о тяготении художественной детали к единичности, в то время как простая подробность, так сказать, тяготеет к множественности (см. статью Е. Добиная «Искусство детали» в «Ленинградском альманахе»). Но нам сейчас же приходят на память многоэлементные, пестрящие подробностями описания и портреты у Гоголя или Тургенева, в которых каждая из перечисленных деталей и черт не просто имеет информационный характер, как подробность, но эстетически и психологически значительна, характерна, проникнута смыслом и обаянием.

Вот, например, описание комнаты Фенечки из романа «Отцы и дети», блестящий образец остро характерного «интерьера», в котором каждый предмет несет отпечаток непосредственного и уютного нрава хозяйки: «...в одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованным сундуком с круглою крышкою. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами «Кружовник»... Под потолком, на длинном шнулке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические

портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке, — больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой — Ермолов, в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб». Здесь все очаровательно и чуть-чуть иронически охарактеризовано; в этой комнатке все — Фенечка: и образок с яичком — это Фенечка, и варенье — Фенечка, и короткохвостый чирик, и башмачок для булавок, под который попал грозный Ермолов, — все это Фенечка. Как видим, деталей много, но все они нужны и художественно выразительны, все они «играют».

Такова роль художественной детали у классиков. Она выступает подчас как чуткий художественный определитель, показания которого, собственно, и создают у читателя то или иное захватывающее представление об образе человека, о его живой неповторимости и типичности, жизненно конкретизируют и эмоционально окрашивают изображаемое явление. Художественная деталь, таким образом, имеет идейный, психологический, эстетический и эмоциональный вес в произведении. По-видимому, единственно верным и общим пониманием места художественной детали будет понимание, связанное с широко известной горьковской мыслью о путях создания типического образа в реалистическом искусстве. А. М. Горький видел двоякую природу этого единственного творческого акта — «абстрагирование», художественное выделение сущности явлений жизни, коренного их смысла и «конкретизацию», сведение этой сущности к живому, индивидуальному образу. Отсюда художественная детализация как средство придать конкретную, очевидную, выразительную форму художественного образа творчески познанной «сердцевине» фактов.

(Не следует, однако, представлять процесс создания образа — выбора деталей и т. п. — слишком рассудочным, происходящим в некой, как говорят, «творческой лаборатории» писателя. Слово «лаборатория», даже употребляемое фигурально, неизбежно говорит о строгой «рентабельности», методичности, научной складке. Между тем вспомним, как писал И. А. Гончаров: «...всего страннее, необъяснимее кажется в

этом процессе то, что иногда мелкие, аксессуарные явления и детали, представляющиеся в дальней перспективе общего плана отрывочно и отдельно... потом как будто сами собою группируются около главного события и сливаются в общем строе жизни!»)

Такое первостепенное значение художественной детали связано с основным творческим актом «воплощения» в образах «замысла» произведения искусства, с самой специфической природой художественного образного мышления. Именно в конкретных и характерных живых реалистических деталях исторического и бытового фона, человеческого внешнего и внутреннего склада, жизненной судьбы, поведения, языка, отношений с другими персонажами и т. п. раскрывается и воздействует эстетически и этически то или иное знание о жизни, свод социального и интимного опыта, идеи и страсти художника, сгущенные в романе, пьесе или поэме.

Кстати заметим, что корень повсеместной (и в теоретических рассуждениях и в самой творческой практике) недооценки роли художественной детали, ее чисто иллюстративного употребления лежит еще и в ограниченном толковании известного энгельсовского определения реализма: «Реализм... помимо верности деталей предполагает верность передачи типических характеров в типических обстоятельствах».

Слова «помимо верности деталей» стали решающими. «Помимо» — значит, это менее важно, это «второй план», значит, может найтись художественное произведение, в котором передана вся правда деталей, но, увы, не сохранена, не уловлена абстрактная «правда жизни», и, наоборот, могут быть (здесь «творческая» практика чрезвычайно обильна) произведения, в которых пусть себе и нарушена элементарная художественная правда деталей, но зато как-то вне этих деталей, в чистом «идеальном» виде продемонстрирован так называемый «типический характер».

Подобная антихудожественная схоластика приводила в одних случаях к произведениям, в которых «типический характер» действовал в изумительной утопической среде, ничем не напоминающей, так ска-

зять, прозаический «текущий момент», а в других случаях часть литераторов и прямо шла на создание «идеального героя» — появлялся вполне типический характер героя-современника, но... с крылышками и арфой, — что значат какие-то внешние «детали костюма»?

Подобные суждения о «верности деталей» исходят из одной совершенно явной аберрации. Говоря «помимо верности деталей реализм предполагает...» и т. д., Ф. Энгельс, конечно же, не мог и не хотел сказать, что «типический характер» и «типические обстоятельства» существуют в художественном произведении действительно как-то «помимо» верности деталей. В этом изречении сформулирован смысл реалистического творчества, состоящий не в простом уподоблении действительности, а в субъективно-объективном открытии типического, характерного, существенного, так сказать, имеющего смысл. Речь идет о типическом характере в типических обстоятельствах, как о предмете изображения художника-реалиста.

Но, если подумать, в чем же, собственно, художественно реализуется на страницах романов, повестей и пьес типическое образное обобщение, сделанное художником, как словами изобразить картину огромной действительности, какие черты живо воссоздадут в воображении типический характер, выразительный внешний облик, язык и образ действия героя эпохи?

Все это, конечно, художественно живет лишь в глубоко угаданных, выразительных, характерных деталях. «Типический характер в типических обстоятельствах», таким образом, перестает быть допущением, схемой, абстракцией лишь тогда, когда он полно выражается через неподдельно живую «верность деталей», в которых мы видим отпечаток эпохи, нравов, психологии личностей и смысла событий. Только благодаря этой художественной «верности деталей» и возможно «полное воплощение в плоть» (прекрасные слова Гоголя) типического характера в манере реализма.

В одних только школьных сочинениях да еще в некоторых критических статьях можно встретить подробные «разборы» и «характеристики» художественных образов, лишённые всякого ощущения того, из чего, так сказать, реально «состоит» образ, как это написано и почему герои книг, как живые, сходят со страниц...

...И самое первое, что необходимо выделить в разговоре о роли художественной детализации в создании образа современности в литературном произведении, — это особую важность правдивости в деталях. Фактически реализм начинается тогда, когда мы обнаруживаем в произведении искусства черты сходства с тем, что нас окружает, что мы знаем, что доступно нашим переживаниям. Исторически это было именно так. Нас могут внезапно поразить, например, в общей условной системе искусства ранних эпох жгуче-естественные подробности жестов, складок одежды, экспрессии лиц так же, как и гармония целого. Но это верно и в применении к любому отдельному художнику, реалистически видящему мир. Метко выразить, «поймать» миг жизни — черту облика человека, ощущение природы, качество переживания — это всегда начало художественного творчества и огромное удовольствие. (Бунин вспоминает, как в бытность в Крыму его больше всего сближало с Чеховым «выдумывание художественных подробностей».) Художник-реалист видит мир, так сказать, в конкретных и характерных деталях.

К сожалению, в последние годы читателя не раз раздражало в произведениях литературы отталкивающее несходство той среды, в которой действовал литературный герой, с тем, что чаще всего окружает современного человека в его повседневной жизни. Антиреалистическая тенденция бесконфликтности и лакировки действительности, о которых сказано уже много заслуженно резких слов, выявлялась, может быть, более всего в том, что иные писатели создавали в своих книгах некую умозрительную идеальную обстановку, «зону комфорта», в которой были умышленно — из хороших, добрых побуждений! — искажены, приглажены, облечены конкретные будничные детали нашей жизни и борьбы. Теперь кажется историческим анекдотом, что, например, один известный и заслуженный журналист написал очерк о современной деревне, где самой острой проблемой дня являлась, так сказать, проблема колера, в который предстояло красить дома и заборы, — голубой или розовый. И это не в качестве какого-нибудь там символа или аллегии, а прямо так — последняя сельская новость! В очищенном от жизненной конкретности виде все это вы-

глядело совсем как голубой или розовый мираж.

И так в целом ряде псевдохудожественных произведений, особенно же в венчающем их знаменитом «Кавалере Золотой Звезды», типические обстоятельства (строительство, колхозы, электростанции и т. п.) были описываемы как утопические обстоятельства. Искажение, угодливый, пряный подбор жизненных деталей, какой-нибудь один невыносимо фальшивый штрих — все это вело к уже совершенно ослепленной, безудержной, аномальной лжи. Наши суровые, хорошие времена заблестали вдруг в этих книгах пошлейшей позолотой.

Но почему так? Если мы знаем, что страстная коммунистическая идейность лежит в основе художественного творчества в нашей стране и что одним из прямых качеств этой идейности нужно считать бескомпромиссную, категорическую для всякого подлинного художника правдивость его произведений, то требование писать «так, как есть в жизни», писать правду — лишь путем мудреной софистики можно слить с пресловутым лозунгом «классического» натурализма.

Подлинная художественность и воздействующая на людей сила образов состоит в том, чтобы никоим образом не навязывать читателю идейный результат, не делать из художественного творения второстепенного пособия для определения «хорошего» и «дурного» в действительности, а эмоционально завоевать читателя, вызвать в нем идейную реакцию силой художественного преображения, художественных доказательств, в ряду которых так называемой художественной детали принадлежит ответственное место.

Воспитательная тенденциозность в литературе выявляется в большинстве случаев не прямо в рациональной формуле и даже не в виде облегченно-назидательной раскраски образов, но, например, в форме тонкой «поэтизации» и «депоэтизации» изображаемого с помощью художественной детали. А этого не извлечь из произведения, как конфетку из бумажки; это надо чувствовать, потому что это — искусство, литература, а не дважды два — четыре! Вспомним, как, например, в последнем романе В. Пановой на фоне будничного, якобы безразличного чередования «времен года», во всей верности деталей, которую диктует самый жанр «летописей города Энска», на самом деле отчетливо поэтизирует-

ся прелесть, чистота, возвышенность и верность и «депоэтизируется» стяжательство, мещанство, ложь и жестокость.

Уже в самом вступлении к роману поэтически противопоставлены праздничная, новогодняя, милая сердцу суэта в честном трудовом городе, над которым реет долгий звон московских курантов, и — на пустынном шоссе за городом «сильный, блестящий новенький «ЗИС». В нем молодой человек — один-одинешенек... Выпятив губы, он равнодушно насвистывает песенку». Из всех бутылок звонко летят пробки, люди весело желают друг другу нового счастья, а тут — «выпятив губы» и «насвистывает...»

Еще яснее эта «депоэтизация» выступает в описании интимной жизни героев романа. Вот как любит молодой Боргашевич, будущий перерожденец и преступник: «Этот взгляд, таинственный и обещающий при свете дрянной, засиженной лампочки, сыграл роль искры, попавшей в бочку горючего... Бочка взорвалась. Конъюнктура прояснилась» и т. д. Оттенок пошлости, дешевки — налицо. А вот как поэтично, грациозно звучит тема любви в «переложении» на другие сердца, на их «скрипки». Андрей и Юлька мчат на велосипеде: «Его руки лежали на руле, Юлька была словно зажата между ними; и она чувствовала себя защищенной со всех сторон этими сильными молодыми руками, открытыми до локтя, в золотистых волосках и желтых крапинках веснушек по розовой коже». И, наконец, самая большая поэзия и тонкое мастерство детали содержатся в истории отношений Ларисы и Павла Петровича. Никто из критиков даже не отметил эти поразительно психологически чуткие сцены. Сам Павел Петрович, человек скованного излишним «умствованием» темперамента, книжник, изощренно чувствительный ко всякой черте будничности, пошлости, и — бедная, прелестная Лариса, «разведенная жена»; их объяснение, когда он видит, что «эта красивая женщина с белым шарфом на голове» уже «не та Лариса, которая звала его в гости и поила чаем», и душу этого сухого человека охватывает «бессмысленное ликование»; и вторая их встреча, когда Павел Петрович пугается идти в квартиру Ларисы и вдруг в отчаянии просит ее надеть тот самый белый шарф, как будто это поэтически оградит его любовь от житейских, обыденных проявлений, — все это достижения В. Пановой в мастерстве художественной детали.

Очень высокое свежее понимание того, как велика в повествовании роль художественной, психологической детали, заменяющей иной раз целые столбцы объяснений, обнаружил в повести «Не ко двору» В. Тендряков. Правда ее в том, что писатель лучше других увидел, как прямо «по живому» проходит тяжелый разрез, отделяющий в нашей жизни все душное, жадно-собственническое от открыто счастливого, бескорыстного, сердечного. Тендряков рисует драму нескольких людей правдиво, бесстрашно. Можно заметить, как мало в этой повести психологических монологов, объясняющих мотиваций от автора. Все здесь идет на естественном движении самого сюжета — на очень образном и ярком показе самого развития отношений, сложившихся между Федором и семьей Ряшкиных.

И, однако, по поводу повести Тендрякова могли в свое время прозвучать такие «резвённые» замечания, что-де в повести нет подлинной борьбы старого и нового, даже нет силы, могущей противостоять Ряшкиным, что положительный герой здесь не «положительный» и что в повести — явный оттенок объективистского подхода.

Между тем нужно лишь непосредственно, по-читательски взглянуться, войти душой в мир героев В. Тендрякова, почувствовать ряд художественных деталей ей, чтобы понять, как тут все верно. Как подчеркнуто одиноки и обозлены Ряшкины (вспомним: даже свадьба в доме Ряшкиных проходит почти без людей, и шум ее гложет в немоте зимней ночи), как уход Федора от молодой жены буквально рвет ему душу, и все-таки он уходит (это ли не борьба с миром ряшкинской домовитости?!). Наконец, не понятый до конца критикой финал повести, в сущности, несет подлинный художественный приговор Ряшкиным, их кулачеству. Дочь, которой они как будущей «хозяйке дома» отдали кровь и пот, несчастная, ничего не понимающая, «дурная», набрасывается на стариков с рыданиями и попреками. Самые «ветви» семьи Ряшкиных восстают против «корней»: Ряшкиных ждет гибель, вырождение.

А в это же время безудержный пляс Федора Соловейкова в клубе хотя и слишком наглядно демонстрирует его торжество и освобождение, но есть в нем и чувство огромной тоски, которую нужно «заплясать» во что бы то ни стало. И это тоже по-человечески так понятно, так психологически правдиво.

В. Тендряков порой прямо ставит тот или иной сюжетный поворот в зависимость от психологической детали. Он знает, что во всякого рода сложных историях люди редко отдадут себе отчет во всем, что они не читают монологов и самооправданий, что гораздо сильнее здесь воздействует то или иное отрывочное впечатление, один жест, взгляд, который может переполнить чашу, лишить самообладания, все сразу объяснить и выявить. Не забываем эпизод косьбы в лесу, когда Федор и тещь его Силан, накануне чуть не готовые возненавидеть друг друга, сближенные на этот раз общей «мужичкой» работой, все сильнее «сходятся» — в прямом и переносном смысле.. Но, может быть, они так и не взглянули бы друг на друга, не обмолвились словом.. И писатель нашел чудесную деталь, несущую какую-то разрядку всей напряженной сцены, — Федор нечаянно в траве задел косою крошечного зайчонка. И вот, когда в ладонях тещи лежал зайчонок — «к пушистой сгорбленной спинке крепко прижаты светлые бархатные ушки, без испуга, с какой-то болезненной тоской влажно поблескивает темный глазок», — разбился лед: общее несложное чувство, одно и то же отводящее энергию натянутых нервов переживание — и вот уже Силан и Федор вместе возвращаются с косьбы, а вечером «в доме чувствовался праздник».

Во всех разобранных выше случаях яркого, художественно целесообразного использования художественной детали при всем отличии индивидуальных манер художников и разнице в содержании примеров можно, однако, усмотреть одну общую и решающую черту.

Всегда, если говорить о действительном мастерстве художественной детализации, то, что мы называем деталью, имеет в произведении не самоценное значение. Данный факт, данное наблюдение художника мы воспринимаем в художественном тексте особенно обогащенно, в связи со всей системой образов, с темой и настроением вещи. Внешние, образно поданные художником черты той картины человеческой жизни, которую он воспроизводит, должны выразить для нас что-то большое, внутренне характерное, чем может заинтересовать, захватить нас событие, идея, лицо, отношения лиц.

Художественная деталь, как это следует из прямого смысла самого слова, — это не просто какая-то беспричинная мелочь, под-

робность. Это обязательно часть художественного целого; это, так сказать, полезная «радиоактивная» частица воздействующего в целом художественного образа. Выразительная деталь, таким образом, не должна в большинстве случаев играть слишком самодовлеющую роль — это может исказить картину, рисуемую автором. Она подчинена гармонии целого, всей образно-эмоциональной и идейной системе произведения. Здесь не принужденность должна сочетаться с необходимостью, чтобы, не впадая ни в нелепую демонстративность, ни в бестолковую игру деталью, дать образам искусства вполне зажить, стать индивидуальными, пленительными, в то же время вливая в их ни в чем не отступающие от живой естественности отношения и переживания какую-то особую, важную тебе мысль. Этой чудесной художественной целеустремленностью и достигается то, что принято называть идеей произведения.

Выразительность, высшая верность деталей, тесно связана с тем глубоко творческим процессом типизации, эстетического открытия жизни, который свойственен реалистически мыслящему и красочно выдающему мир художнику. Поэтому искусство детали — это искусство характерной детали. В начале статьи примеры из творчества Л. Толстого показали нам, как удивительно точно гениальный художник ощущает характерность даже самых мельчайших деталей внешнего облика человека. По такой детали мы, как палеонтологи по одной косточке вымершего животного, можем в общих чертах понять, увидеть, вырисовать всю внешнюю характерность и даже психологию персонажа.

Известен случай, когда целое исследование было посвящено всего одной фамилии, встречающейся у Л. Толстого. Был взят эпизод из «Воскресения», где графиня Екатерина Ивановна бранит «стриженных нигилисток»: «...Я их терпеть не могу... Халтюпкина какая-то хочет всех учить». Путем остроумного анализа состава слова исследователь показал, как полно выразилось в одной непринужденной реплике, в каждой «фонеме» брезгливого словечка «Халтюпкина» кровное, органическое презрение аристократки к плебеям, воспитанное потомственной близостью к кормилу правления. Вот как он воссоздает предполагаемый ход ассоциаций героини: «Халтюпкина... халда...

и тютка... Хамство плюс ничтожество»... Госпожа Халтюпкина — чье это потомство? Халтюпкино потомство. Халтюпка — вот кто ее достойный родоначальник. Представляете вы себе человека, которого назвали Халтюпка? Можно уважать Халтюпку? Можно хоть один миг верить, что Халтюпка и дети Халтюпкины способны создать что-нибудь устойчивое, большое, ценное? И кому противопоставлено это безобразное явление, этот уродливый фантом? Людям, значительности которых в русском государственном строительстве соответствуют значительность и внушительность их имен в звуках русского языка: Болконским, Иртеньевым... Такая острота классовой характеристики может содержаться в одном намеке, в одном слове гениального мастера.

Секрет искусства таков, что ощущение действительности, художественной правды может создаться только тогда, когда нет копировки, а есть творчество — умение воссоздавать жизнь не в любых попавшихся, но лишь в характерных, образных, существенных, ассоциативных деталях. Это и будет реалистической верностью деталей.

В этом отборе нужных деталей, как и во всем ходе творчества, конечно, присутствует все творческое «я» художника: его мировоззрение, талантливость, восприимчивость, его общественные и личные пристрастия, манера чувствовать, эстетический уклон, вкусы и т. д. и т. п. Это глубокая активность художественной природы. И, наоборот, встречается бестемпераментное описательство, литература низшей ступени, не заботящаяся ни о чем, кроме элементарного подобия, — скучное однолинейное перечисление каких-то бессвязностей... И вот когда, по словам Щедрина, «перед читателем проходит бесконечный ряд подробностей, не имеющих ничего общего ни с предметом повествования, ни с его обстановкой, — подробностей, ни для чего не нужных, ничего не характеризующих и даже не любопытных сами по себе...», — мы вправе говорить о натурализме. Здесь художественная деталь, как неотъемлемая часть идейно-художественного целого, обращается в лучшем случае в любопытную подробность, в «словцо», в узкожанровую картину, в знаменитую «клубничку». Полезно вспомнить по этому поводу известные слова Л. Толстого из письма Страхову: «И если близоруким критикам думают, что

я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрании мыслей, сцепленных между собою для выражения себя» (разрядка моя. — М. Ш.).

Вот это, думается, и есть то, что отличает реалистическую подлинность от натуралистической буквальности. «Поросенок визжал хорошо, но безыскусственно». В искусстве надо бежать этой дурной «поросычей» безыскусственности. Искусство — «сцепление мыслей для выражения себя» — даже и не граничит с натурализмом!

Однако порой воспоминания о натурализме возникают на том основании, что целомудрие критика не мирится с некоторыми так называемыми «натуралистическими» деталями художественного описания. Не вдумываясь в то целое, которое всего важнее писателю, не установив его, критика шумно «брезгает» обнаруженными слишком «натуралистическими» эпизодами и деталями. Чаще всего это бывают бытовые и физиологические детали, которых прямо-таки не выносит наше вегетарианство! Но в действительности натурализм состоит не в характере деталей, не в каком-то их «нецеломудрии», а, как было сказано выше, в характере целого или в его отсутствии, в крайней пассивности, в эмоциональной холодности.

Что же касается «натурализма» бытовых и физиологических деталей, то что тогда сказать о многих замечательных реалистических творениях, в которых такие детали есть? Что сказать о «Смерти Ивана Ильича», где есть «судно», голые трясущиеся ноги больного, где есть физиология умирания? Что сказать про «две морковинки несу за зеленый хвостик» Маяковского — это ли не «бытовой» образ? И, наконец, вот такой отрывок: «...Хуа-лу... поднялась на задние ноги, передние положила высоко надо мной... Мне было слышно, как она отрывала сочные виноградные листья, любимое кушанье пятнистых оленей, довольно приятное и на наш человеческий вкус. По ее большому вымени, из которого сочилось молоко, я вспомнил о ее олененке...» Это Пришвин. Одно из самых поэтических и бесконечно чарующих мест его книги «Жень-Шень», в которой бурные эпизоды

оленевого гона передают нежность и силу человеческой любви, немислимое тяготение двух людей друг к другу. Чистейший «натурализм» природы здесь трепещет, дышит обаянием человеческой чистоты и страстности. Это — искусство. Там, где оно кончается, идет путь к просто натурализму и к «нанатурализму» (как говорил Щедрин). В этом случае о чем бы, о каких бы общественно важных вещах ни заговорил писатель, — все будет натурализм. Мы помним бесчувственные натуралистические, так называемые производственные, романы в нашей литературе; помним ряд однообразных псевдообличающих натуралистических драм. И каждый раз такие произведения, сохраняя подчас чисто внешнюю «верность деталей» (производственных, бытовых), не утоляли нас каким-то общим осознанием вещей, искусством своим, своей эстетикой. Вещи, в которых были отдельные верные черты нашего обихода, отталкивали верхоглядством, пересмешничеством, налетом скверного анекдотизма.

И сейчас писатель, жаждущий передать в своем произведении правду каждодневных чувств и поступков, должен, как болезни, опасаться обыденщины; поэт, потянувшись к проблемам интимно-лирическим и бытовым, должен бежать унижительной «бытовщинки», которая в последнее время так и млеет во многих лирических песнях о свиданиях и стихах о несчастливых браках.

Поэт Степан Щипачев — мастер нежно-лирической миниатюры. Он дал вслед за Маяковским крылатую поэтическую формулу нашего «измерения» любви: «...А кто сказал, что наша любовь должна быть мельче наших дел!» Но вот бывает же так, что Степану Щипачеву нет-нет да изменит тонкий поэтический вкус. Вот отрывок из его не совсем давнего лирического стихотворения:

...И не потому ль пред расставаньем
Сердца стук под пиджаком слышней.
Чувствуя дыхание дыханьем,
Он придвинулся теснее к ней,
Милою назвал и дорогою
И впервые теплое плечо
Чувствует сквозь кофточку рукою
Твердою и робкою еще...

И дальше «небо в звездах все, кусты в росе. Сильно накренилось мирозданье» и т. д. Как это неизящно, неинтересно! Ни мирозданье, ни небо в звездах, ни счастье здесь абсолютно не идут к нарочитой «натуральности», банальности поэтических де-

талей «объятия»: к тому, что «парень» и «пиджак» к кому-то «придвинулись» и «робкою рукою» он чувствует что-то там «сквозь кофточку»... Большие слова о счастье и — какое-то парковое «мление» вместо страсти. А ведь «любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне!». Так не гармонично, не тонко выписанная поэтическая деталь мстит за себя... поруганием лирики.

Известно, как ответственно значение художественной детали в драматических произведениях. Здесь это прежде всего речевая деталь как средства характеристики персонажа, знак действия. В пьесе ни одно слово не может пропасть даром, каждая реплика имеет отношение к тому, что происходит на сцене, к событиям и характеристикам пьесы. Поэтому здесь — в прямой речи — слово особенно весомо; на сцене, как говорил Станиславский, словами сражаются, словами любят, словами ненавидят, словами убивают. Любая речевая деталь и подробность, любое «гм!» здесь несет содержание, соответствующее подчас целым страницам прозы. В каком-нибудь «Лабардан! Лабардан!» сказывается весь неосмысленный «кадрильный» нрав Хлестакова, а в щемящем: «Ай-ай-ай!» Люси Ведерниковой из «Годов странствий» А. Арбузова выражается вся внезапная горестная драма этого славного нелюбимого «человечка». Но существует два рода антихудожественных упрощений драматического языка наших пьес, мешающих поверить в происходящее на сцене, в написанное или читаемое, ослабляющих силу слов и необходимую в драме правду искусства. Во-первых, это своеобразный натурализм сценической речи, заключающийся в том, что речь героев бывает совершенно невыразительна, случайна, записана как бы стенографически. Она не связана ни с действием, ни с психологией действия и в лучшем случае содержит необходимую в пьесе информацию — такие диалоги можно убирать и вставлять без осязательной потери для пьесы. И, во-вторых, так называемое заострение речевой характеристики, при котором персонаж начинает объясняться с помощью того, что Ф. М. Достоевский называл «эссенциями»: в его речи характерные для определенного типического круга лиц словечки, жаргонизмы, интонации сконцентрированы в такой невозможной степени, что уж он «словечка в простоте не скажет», в

каждом слове виден «тип». Это производит нехудожественное впечатление.

Нередко мы видим, как незначительные, мельчайшие изменения в художественной детализации образов искусства (не то слово, не та фраза, выдуманный эпитет, отсутствие единственно нужной черты) нарушают читательское представление о том «целом», что хотел выразить художник. И — буквально — какие-то небреженные детали, штрихи роковым образом вливают на весь идейно-художественный облик произведения искусства, искажают мысль и чувство, вложенные в него автором. Поэтому-то в подходе к произведению со стороны критики не может быть «гршовых придинок». Говоря о частных случаях, критик тем самым говорит и о главном.

* * *

*

Выше уже говорилось о неправомерности «количественного» признака при определении детали.

Ведь тяготение к «множественности» или «единичности» художественной детали зависит от характера образного мышления различных писателей, от индивидуальной художественной манеры автора, от характера изображаемого. Литература, кстати, знает случаи такого злоупотребления выразительной силой детали, когда целый поток острых психологических наблюдений, неконтролируемое «смакование» сменяющихся «состояний» (словесно выраженных через непрерывный ряд образных деталей) приводили к потере элементарной художественной «определенности» образа, к неразграничению смысла и бессмыслицы. Словом, художественная деталь тяготеет к выразительности, и «количественные» критерии здесь неприменимы.

Художник может подробно, описательно детализировать образ героя — представить, в частности, полный, с головы до пят, острый внешний облик героя, его портретную характеристику или обрисовать помещение, обстановку, где обитает герой, пейзаж, дабы возможно более законченным и характерным вызвать его из тьмы. Такой способ дает преимущество для всесторонней оценки и анализа описываемого, но обращается более к уму читателя, нежели к его воображению. Зато другой, не менее могучий художественно-способ использования выразительной детали не стремится к полноте внешнего описания; художественная иллю-

зия основана здесь на уловлении действительно немногих, но наиболее острых и характерных черт, отличающих данное явление от других. Как в жизни, в действительности, мы, встречаясь с тем или иным явлением, не перебираем одну за другой черты его, но замечаем чаще всего в одном случае наиболее бросающую, решительную черту облика, манеру поведения, жест, звук речи; в другом — обаятельный миг в состоянии природы; в третьем — характерный, определяющий момент события или сцены, так и в искусстве при таком способе изображения мы узнаём по малому многое, по намеку — целое, по внешнему — внутреннее. Наше воображение по одной яркой художественной «мелочи» как бы дорисовывает весь облик, всю картину, заполняя ее, может быть, смутно, но целиком. Роль художественной детали как средства «оживления» картин и образов, средства психологического раскрытия и тематической иллюстрации резко возрастает при такой трактовке.

Это прежде всего умение с помощью немногих живых, безукоризненно угаданных черточек портрета, действия и обстановки наполнить страницы движением, трепетом, запахом жизни, сделать ее «захватывающе зримой». Все знают о гениальном «портрете одной черты» в произведениях Л. Толстого. Есть такие сцены в его произведениях, которые как бы стали частью реальной жизни, личной памяти каждого и возникают в душе, как воспоминание о лично пережитом, увиденном, а не о прочитанном в книге.

В лучших произведениях советской литературы можно найти удачные попытки на ином материале освоить классические средства создания иллюзии живой жизни в искусстве. Об этом говорят страницы А. Толстого, М. Шолохова, К. Федина, А. Фадеева. Вспомним, как мастерски создает А. Толстой динамичный, страстный, дерзостный образ Петра Великого в своем романе. «В человеке я стараюсь увидеть жест, характеризующий его душевное состояние», — сообщал писатель. И мы вспоминаем, «как живого», его Петра, длинноногого, шагающего бегом, долговязого, будто одетого не по росту, — само это «вырастание» царя-реформатора из прежних одежд уже многое значит! А тут еще жест — неряшливая, зло-нервная привычка грызть заусеницы и круглые, бешеные и требовательные глаза... И образ живет!

Можно назвать такие детали из «Хождения по мукам» А. Толстого, как дышащий живой прелестью портрет Даши (особенно в «Сестрах»), или противное «цоканье» зубом адвоката Смоковникова в момент, когда Кате все в ее доме и без того до ужаса тошно, или, наконец, белые томики стихов Бессонова, полные дурмана, которые, конечно, не могут быть иного цвета, кроме как белого, говорящего о пустоте, призрачности, бессилии.

Большое искусство обнаруживает художник, когда он в силах передать в внутренней, глубоко психологическое, подчас неосознанное, через внешнее — опять же портретную или динамическую деталь, через отражение человеческого состояния в вещах, в окружающем, через естественную насыщенную реплику. Здесь необходим некий высший поэтический лаконизм, умеряющий словесное богатство, дающий чувствовать в одной «пылинке» образа подчас целый душевный сдвиг. В «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого есть гениальное место, где герой повести, смертельно больной человек, обыкновенный пресный чиновник-мещанин, всю жизнь думавший о карьере и о комфорте, вдруг осознает весь ужас жизни, отданной пустякам, все горе бессмысленной и одинокой гибели... И тут впервые в повести, говорящей о пошлости и написанной трезвым, жестким языком, в этот момент трагедии появляется картинный поэтический образ. Иван Ильич входит в ту комнату, где при навешивании гардины он когда-то упал с лестницы и с тех пор смертельно болен. Какой жестокой иронии полна его мысль! «И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь... Как ужасно и как глупо!» Это всегда потрясающее своей правдой место. Действительно, все очень похоже. И здесь лесенка и на штурме крепости... И здесь и там — смерть. Но это звучит приговором всему суетному благоустройству, всему *comme il faut*. Да, он погиб, но не на штурме, а... на гардине. А многие гибли на штурмах!

Большое мастерство психологического раскрытия через ту или иную внутреннюю или внешнюю художественную деталь показывает Леонид Леонов. С особой выразительностью, подчас подчеркнuto, он рисует различные тяжелые психические смены в душе человека, острые душевные состояния. В романе Л. Леонова «Русский лес» есть большие удачи в раскрытии мира че-

ловеческого чувства и «подчувства». Как пример можно привести эпизод с белочкой, унесенной из леса Демидкой Золотухиным. В этом эпизоде с неожиданной силой выражена ранняя отравленность души ребенка ядом стяжательства и выгоды, хотя внешне он представляется всего лишь описанием простого мальчишеского жестокосердного озорства. Много в романе таких деталей, намеков и штрихов, которые в смысле психологизма дают больше, чем иные тягучие рассуждения в иных книгах о характерах и переживаниях героев. Вот, например, выздоровление Елены от тяжелого недуга после пожара, грабежа усадьбы и ночного блуждания по лесу: «Целый месяц длилась ее ночь, выздоровление началось однажды утром; вся розовая яблоня-сибирка гляделась в раскрытое окно, с горстку опавшего цвета нанесло ветерком на одеяло. Необыкновенная новизна сквозила в природе... Голова легонько кружилась от пьяноватого запаха тлеющих опилок, нагретых полуденным припеком, но, пожалуй, еще больше кружилась — от вольной обширности неба, где пронеслись облака, такие громадные, а бесшумные совсем». Почти чудесная передача словами не выразимого состояния — внезапно возвращенной жизни весной: «Особенно радостны эта горстка опавшего цвета на одеяле и громадные, бесшумные облака... В них ощущение прелести и слабости становящейся на ноги, готовой вновь расцвести жизни (оттого ли, что цветов здесь «горстка», а опилки «тлеющие»?) и великодушная, беспредельная сила природы, ощущаемая всем существом человека. Облака — «громадные и бесшумные»... Здесь, в этой детали, передано с неожиданной зримостью тихое, просторное, радостное великолепие вновь открытой красоты жизни: свежести неба, солнечного тепла, обаяния ярких красок, запахов, воздуха, принятого полной грудью!..

А вот пример того, как точно умеет Л. Леонэв воссоздать облик человека в проходных, эпизодических местах. На Коломяжское аэрополе приходит наблюдать полеты великий князь со свитой. «Опершись на палаш, великий князь любознательно расспрашивал авиатора, можно ли простудиться в полете, за какие снасти держался гофмейстер Столыпин, когда именно с Мацевичем летал два дня назад, и вообще какая сила способна поднять на воздух эту железную, с позволения сказать, карамору». Так и встал перед нами лощеный и

жизнерадостный великосветский обалдуй; особенно во фразе о «караморе» так и блеснул тон «острой» и «величественной» великокняжеской салонной беседы.

Много раз, когда говорили о прямом влиянии психологических приемов Л. Толстого на мастерство советских писателей, приводили в пример книгу А. Фадеева «Разгром».

Особенно удачно в этом романе продемонстрировано умение выразить существо психологического процесса в душе героя через внезапную деталь, связанную с тонкими, почти интимными наблюдениями. После совершенного им предательства и пошлых «мук совести» Мечик не смог покончить с собой, «потому что больше всего на свете он любил все-таки самого себя — свою белую и грязную, немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои поступки, даже самые отвратительные из них». Фразу можно было бы прервать на словах «самого себя», она вмещает весь смысл сказанного, но тогда это не было бы искусством, а просто констатацией факта. И художник страшно правдиво показывает нам противное себялюбие Мечика. Особенно эта «белая и грязная, немощная рука», которую, конечно, и увидел в этот момент Мечик прежде всего (ведь он хотел было стреляться), становится какой-то самой убедительной уликой против напыщенного и слабосильного романтизма этого белоручки. Любой из остальных героев романа — партизан, ведущий тяжелую, отчаянную, подчас грязную, в физическом смысле, борьбу в лесах, перед смертью, наверное, и не подумал бы о своей драгоценной индивидуальности, тем более не отметил бы, что рука его «белая и грязная», а голос «стонущий». Что-то невыносимо-комнатное, будуарно-дневниковое есть в самых этих ощущениях.

Такой способ художественной детализации: через внешнее — внутреннее — очень действителен, и немудрено, что порой он кажется слишком уж безотказным; им нередко злоупотребляют. Подчас в наших повестях и романах всякое появление персонажа и речь его сопровождаются какими-нибудь незначущими внешними наблюдениями над его жестами, костюмом, над обстановкой. По-видимому, считается, что уже тем самым тот или иной эпизод становится «живее», ошутимее, конкретнее. Но на самом деле, как ни странно, это создает во многих произведениях нестерпимо раздра-

жающее обилие ненужных, ложных подробностей, мельчащих предмет изложения, — художественное сырье, которое нужно еще десять раз «провенать», чтобы достичь подлинной характеристики. Это особенно свойственно робко начинающим авторам, ищущим «традиции». Но ведь художественная деталь — не просто информация о том, что, скажем, на герое надет такой-то костюм, или что глаза его или галстук такого-то цвета, или, например, что, сказав нечто, герой тряхнул головой.

Когда в повести В. Некрасова «В родном городе» мы узнаем о привычном жесте Шуры — она во время разговора машинально разглаживает юбку у себя на коленях, — так это именно ее жест, ее характеристика! Здесь как-то сказывается Шурина покорная выжидательность, нежность, простота, и, не получая никаких разъяснений от автора и от его героя, мы все же по таким вот деталям чувствуем, за что можно любить эту милую, тихую Шуру так, как ее любят в повести. Художественная деталь драгоценна тем, что тонко соответствует самому главному в образе — его типичности, типичности его переживаний, внешнего склада, характеристики его личных эмоций, психологии образа. И поэтому деталь любит бережность и меру. Несоответственно «выпятив» или уменьшив выразительность той или иной детали в одном лишь месте, сделав неверный образный акцент, писатель рискует не достичь общего художественного впечатления — так опасна роль невыверенной эстетическим чувством детали.

Примеры абсолютно нечувствительного, нехудожественного подхода к образной детали как к средству характеристики персонажей и их взаимоотношений можно найти в повести писателя Василия Кукушкина «В добрый час». Действие повести относится к нашим дням, ее герои — по замыслу — простые люди, наши современники. И очень странно, что почти все, например, лирические сцены повести имеют какой-то, как бы сказать... изысканный характер. Вот обольстительная героиня — инженер Ирина, которая сама о себе пылко заявляет: «Да, я не скрываю, что хочу нравиться даже и тем людям, с которыми еду в трамвае... Я женщина, а не чуело с огорода!» Муж ее — ресторанный артист, исполняющий «песенки настроения»: «во фраке, в петлице у него белая лилия, шляпа чуть сбилась набок, во рту обгоревшая сигара». Жена другого

героя повести, Клавдия, ожесточенно ревнует его ко всем женщинам, особенно к Ирине... Однажды она оставляет ему эффектную записку: «Григорий, вы свободны. Вину за расторжение брака возьму на себя. Это не повредит вам по службе».

Та же Ирина, выглядящая в повести «положительным» персонажем, утонченно-мучительно изводит Клавдию, читая ей наизусть, какой нужно быть женщине, чтобы удержать мужа: «Вам известно, что Григорий и я были очень дружны... Если бы он не отошел в сторону, если бы боролся за меня (?!), все было бы не так...»

Действительно, это женщина! Понятно, что ее «кавалер», демобилизованный техник Метелкин, желая провести с ней время, приглашает ее не просто пройтись или в кино, а, как истый жентильом, на поездку верхом. Детали описания этой светской прогулки таковы: «Метелкин одет был необычно... Небрежно постукивая хлыстиком по крагам (зачем, когда есть голенища? — *М. Ш.*), он предложил... поехать покататься...» Когда они возвратились, «кошки послушно шли следом...» пока вдаль не показалось «предместье» (а не застава, не окраина! — *М. Ш.*). Но ведь это парижская жизнь, «Буа де Булонь»!

Недостаток вкуса у автора повести, неумение почувствовать подлинные лирические детали любовных или семейных отношений героев, странное отсутствие чувства юмора сделали то, что серьезные вещи, описываемые в книге, выглядят как пародийно-смешные; эстетически беспомощная художественная детализация здесь так исказила картину реальной жизни, что сколько-нибудь реалистический, художественный эффект начисто исчез, уступив место, так сказать, эффекту... фосфорическому.

Так бывает в случаях крайне примитивного, внешнего украшения, когда художественные детали описания не выражают психологической сущности происходящего, не «воплощают его в плоть», а лишь внешне, нарочито-придуманно «помогают», поверхностно описывают. И, наоборот, когда художественная деталь глубоко внутренне оправдана, взвешена на тончайших весах, когда порой ее и не замечаешь, а лишь потом, исследуя, догадываешься: вот откуда это впечатление, эта сила образа! — тогда открываются безграничные возможности искусства слова, тогда им может быть исполнено все.

У Константина Федина есть чудесный маленький рассказ под названием «Гармонь». Начинается он с того, что деревенские мальчишки в отсутствие гармониста Мити Сажина подошли к его «саратовке» и «благоговейно» трогают «чудесную игрушку», нажимая ее звонкие лады. Возвращается хозяин и бьет мальчишек. Жалко. Обидно. И тут старичок Аникон, заступившийся за ребят, рассказывает им историю про «настоящую гармонию», настоящую музыку. Когда-то мужики изловили цыгана-гармониста, заподозрив его в конокрадстве. Был он избит до полусмерти и, искалеченный, истекал кровью. И вот перед смертью заиграл он на своей гармонии так, что развеселил целых две деревни. И, запертый на ночь в амбар, все-таки убежал на волю. А «гармонь» он с собой унес. Гармонь он, поди, до самой смерти целовал-миловал. Но чем же хуже гармонию Мити Сажина, завязанного гармониста, та «чудесная игрушка», которую любовно трогали мальчишки? Почему так ясно чувствуешь: вот это, у цыгана, — настоящее, это — музыка, воля, забубенная головушка? Не только потому, что у той гармони злой хозяин; она сама, ее душа иная. «Вишь, как я могу, вишь, как умею, — хвастала гармонь, взвизгивая пронзительными несогласными пищиками, звеня невпопад колокольцами, выдувая воздух животной одышкой басов». Разве такую визгунью «с животной одышкой» можно по-цыгански-то «целовать-миловать»? Разве это гармонист — Митька Сажин? И понятно, что мальчишки, «прислушавшись к далеку улетавшим всхлипам гармошки», которая их только что так чудесно занимала, теперь вслед за Аниконом «плюнули на бревна все по очереди». Так писатель вовремя обронил «словцо», дал такую эмоциональную деталь, которая стала нашим ощущением и психологически как бы «настроила» нас на «цыганский лад» в противовес хвастовству и корысти поддельной музыки с украшениями, колокольцами, грубостью.

Художественная деталь может не только влиять таким образом, но и определить весь эмоционально-стилевой облик вещи: «романтизировать», возвышать облик и образ действий героев, наоборот, «принижать» их, придавая повествованию характер иронии, издевки, сатиры.

Очень своеобразным мастерством художественной детали отмечены книги Эм. Ка-

закевича. Именно образная, эмоциональная, эстетическая деталь создает в них специфическую окраску горькой романтики фронтов, разбитых войной сердец, поэтических подвигов и скромного мужества. Легко, конечно, подобно критике З. Кедриной, с убийственной холодностью разбиравшей в «Литературной газете» одну из возвышенных сцен «Сердца друга», брюзжать: «локальные поэтические аксессуары... изящная метафористика» и т. п. Если мы действительно вспомним эту прогулку героев повести «Сердце друга» Акимова и Анчки в облетевшей осенней роще и то, как, глядя на руку любимой и свою, Акимов думает, что обе руки ему напоминают «узкий, изящный листок ивы рядом с большим кленовым листом», то мы ощути́м это как очень грустное, глубокое и красивое лирическое стихотворение, соответствующее самым затаенным и нежным чувствам героев. Сколько таких «лирических стихотворений» узнал каждый из людей в своей жизни! И как правдиво то, что молодые люди в военной форме в тяжкий час своей жизни так лирически, так печально и почти без надежд переживают свою любовь. Критик же считает, что все это не заключает в себе «никакого реального смысла, красоты, никакого тепла» и идет мимо сердца читателя. Надо было бы прибавить: мимо сердца данного читателя.

Во всех предшествующих рассуждениях о художественной «верности деталей», о способах психологического и живописного использования художественной детали мы оставались все время, в общем, на почве таких реалистических образов, которые можно условно назвать «индивидуальными». Но реалистическая литература знает и иной строй образного мышления, идущий навстречу особо приподнятым, заостренным, романтическим или обобщенным типическим картинам действительности. Вспоминая лучшие, наиболее художественные образы советской литературы, видишь, как разнообразно по стилю, по самому характеру образной детали все то, что мы объединяем в понятии творчества по методу социалистического реализма.

Например, художественная деталь очень нередко в творчестве советских писателей служит созданию образа до известной степени условного, сильного своей односторонней, почти символической заостренностью. Мы встречаемся подчас и с резко

выразительной деформацией образа путем подчеркивания одних и сглаживания других черт и деталей, с тем, что можно назвать «образ-призыв» или «образ-угроза».

Вот, например, подлинный монумент, созданный средствами художественной речи, образ, лишенный будничных индивидуальных черт, полностью воплощающий одну идею и достоинство. Это образ Кожуха из романа «Железный поток» А. Серафимовича. Это даже не человек, это олицетворенный образ несокрушимого вожака масс. Интересно, как временами в романе А. Серафимович перестает даже помечать своего героя конкретным именем. Собственное имя заменяет эпитет-прилагательное — «железный» или метонимия — «железный голос», «человек с железными челюстями» и т. д. И подобная «романтическая» детализация образа, конечно, совершенно сознательный прием. Сам автор писал потом: «В сущности говоря, персонажи «Железного потока» мало разработаны. У них оттенены только ударные стороны».

В эпопее «Железный поток» столь же обобщенно и своеобразно написан лик бунтующего, неистового в ненависти к врагу вооруженного народа. Этот образ создается и словоупотреблением, и синтаксисом, и всей образно насыщенной речью, полной метафор, содержащих представление о «потоке», о непрерывном многолюдном слитном движении. Что было бы, если бы писатель вместо эпически-величавого, «гомерического» повествования дал ряд реалистических биографий и развернутых характеристик? Может быть, получился бы образцовый, «нормальный» исторический роман, но не было бы книги, не только передающей фактическую историю похода Таманской армии, но имеющей значение эпиче-

ского образа гражданской войны угнетенных с поработителями.

Художественно выразительная деталь служит созданию реалистического, «типического в типических обстоятельствах» образа. Ее место везде, где есть конкретное художественное видение мира во всей характерности «воображаемых» лиц, картин, поз, жестов, вещей и реплик. От импрессионистического мазка, от мгновенного внешнего выражения чего-то сокровенного в человеке, до больших обобщений, до идейных символов (таких, как, например, «ломоть ржаного хлеба, сладко пахнущего жизнью» в романе А. Толстого «Хлеб» или зеленый луч в повести Л. Соболева) — всюду художественно верная деталь помогает художнику правдиво воссоздать ход жизни, идеи времени, то, что мы зовем правдой жизни.

Рассмотреть всю «применимость» художественной детали в искусстве, все возможности этого рода литературного мастерства — это значит исследовать творчество всех классических и советских мастеров художественной прозы, все возможности искусства, которыми оно пользуется для идейно глубокого, страстного, правдивого отображения жизни в ее больших и мелких проявлениях, в огромных исторических передвижениях и в биении каждого человеческого сердца. Ибо мастерство художественной детали — самая индивидуальная сторона творчества, одно из первейших средств, с помощью которого, говоря словами Лессинга, «поэт хочет сделать идеи, которые он возбуждает в нас, настолько живыми, чтобы мы воображали, будто получаем действительно чувственное представление об изображаемых предметах, и в то же время совершенно забывали об употребленном для этого средстве — слове».



ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

Иркутск,
Приморская ул., д. 1, кв. 2
Францу Николаевичу Таурину

ПО ПОВОДУ РОМАНА
Ф. ТАУРИНА „АНГАРА“

Дорогой Франц Николаевич!

Только что я закончил чтение Вашего романа «Ангара», опубликованного в двух первых номерах журнала «Дальний Восток» за 1956 год.

Я прочел его с большим интересом.

Как Ваш товарищ я, естественно, порадовался тому, что Вы первый откликнулись крупным произведением на великую созидательную работу, которая совершается сейчас, по чертежам шестой пятилетки, в неоглядных просторах Сибири.

Как читатель, знакомый с Вашей, кажется, первой книгой — «На Лене-реке», — я с удовольствием заметил, что Вы стали писать чище, ярче и энергичнее.

Ваш новый роман обнаруживает как бы новые грани Вашего дарования.

И все-таки, читая «Ангару», я не мог отделаться от чувства серьезного огорчения.

Это огорчение, как ни странно, связано именно с тем, что Ваш роман читается с большим интересом. Казалось бы, это хорошо. Казалось бы, можно только радоваться. Ведь так еще немного у нас романов о строительстве, которые читаются с интересом.

Однако главное, по-моему, в том, чем вызван интерес, на чем, на какой основе покоится, так сказать, пружина сюжета.

Мне приходят сейчас на память некоторые наши кинорежиссеры. Один из них получил большую известность тем, что делал фильмы главным образом о колхозной жизни, другой — о рабочем классе.

Их в минувшие годы сильно хвалили именно за то, что они берут так называемые актуальные темы. Их ставили в пример. И критики особо подчеркивали мастерство этих кинорежиссеров, умеющих занимательно строить действие. Вот, мол, работают на таком трудном для изображения материале, а фильмы смотрятся с интересом.

Интерес этот, однако, достигался очень недорогими средствами.

Оба режиссера, не будучи литераторами, энергично, тем не менее, вмешивались в построение литературных сценариев и в тех местах сюжетной канвы, где решались или должны были решаться острые жизненные проблемы, находчиво вставляли легкую любовную ситуацию с непременно и эффектным закатом, или восходом, или свадьбой в богато обставленном помещении. А то и попросту сажали посреди действия красивую артистку или артиста с гитарой или баяном и предлагали петь что-нибудь такое душеспитательное, чуть одобренное для порядка «идеологией».

Прибегали к таким средствам эти известные режиссеры — так же, впрочем, как и их последователи, — потому, что, очевидно, не верили в силу основного жизненного материала, привлеченного как бы в качестве фона в их фильмы, не верили, что материал этот, с истинным мастерством использованный в фильме, сам способен волновать и увлекать зрителей.

Я вспомнил сейчас этих «кинокорифеев» именно в связи с Вашим новым романом не случайно. Мне показалось, что нечто подобное увлекло и Вас.

В последние годы наши критики много дискутировали по поводу того, как надо изображать в художественном творчестве людей на производстве. Некоторых литераторов резонно упрекали в том, что они главное внимание в своих произведениях из заводской или колхозной жизни сосредоточивают не на людях, а на машинах — так сказать, на самом шуме производственной жизни, и люди у них остаются в тени.

Читатель справедливо не хочет читать таких шумливых книг.

И вот отдельные деятели литературы стали выдвигать даже такой тезис, что-де вообще следует поменьше касаться в романах производства и производственных дел, что важен-де главным образом духовный мир героев, что бессмертия добьются-де именно те авторы, которые с наибольшей полнотой изобразят чувства.

Но ведь понятно всякому активно живущему в нашем мире, полном противоречий и сложностей, что нет нормального человека без глубоких, серьезных интересов в сфере его основной деятельности, его труда. И если говорить по-настоящему в художественном произведении об истинно человеческих чувствах и духовном мире людей — это значит точно и полно изображать раньше всего, как действую т люди, какие они преодолевают препятствия.

Конечно, слов нет, мне интересно было читать Ваш роман. Я сразу Вам в этом признался. Мне интересно было, как выпутается из своей любовной истории начальник строительства на Ангаре Евгений Александрович Гусаров. Кстати, он, кажется, так и не выпутался?

Мне хотелось узнать, как уладятся любовные дела у Ани и у Кузьмы Семеркина, у Гали Москаленко и у Семена Перевалова. И особенно я тревожился, читая роман, за симпатичную Женю. Выйдет ли она замуж, торопился я узнать, за менее симпатичного мне Сергея Ракитина.

Уж больно он робкий в любовных делах, этот инженер Ракитин. Ему как будто и не хочется жениться. Да и когда он женится по воле автора, я думаю, Жене будет не очень интересно жить с таким мужем, если автор, конечно, не укрепит его характер в отдельном издании.

Все любовные истории в Вашем романе, Франц Николаевич, рассказаны, повторяю, интересно.

И все-таки Вы сами, должно быть, не поверили, что они достаточно интересны. Для чего-то Вы еще сделали Сергея Ракитина сыном Гусарова. Вы, наверно, надеялись поразить этим воображение читателя и заложили такой «фугас» с расчетом на неожиданный взрыв. Но я, например, не будучи от рождения особо проницательным, уже вначале угадал, кто будет чьим сыном, и опечалился, когда моя догадка вскоре подтвердилась.

Не надо, мне думается, делать Ракитина и Гусарова родственниками. И не к чему, пожалуй, вводить в роман крайне сентиментальную и вообще какую-то странную маму Сережи, тем более, что по линии сентиментальности Вы и так немало нагрешили в Вашем романе. Чего, допустим, стоят, опять же сказать, отношения Жени и Сергея! И та и другой стали выглядеть вдруг в результате авторской излишней осторожности несколько бесплотными.

Но это все, как говорится, еще ничего.

Всего больше меня огорчило то, что в Вашем интересном и в общем хорошо написанном романе я не увидел Ангары с ее холодной, стремительной аквамариновой водой, с ее неповторимым своеобразием.

Ведь все эти любовные истории, описанные с разной степенью удачи, могли возникнуть не только на Ангаре, но и на любой другой реке. И даже вдалеке от рек и озер. А роман называется «Ангара».

У меня, как Вы понимаете, особая претензия к Вам. И особое, сознаюсь, пристрастие. Я родился и вырос на Ангаре. И когда в прошлом году, почти четверть века спустя, я приехал в Иркутск, именно Вам я был — и всегда буду — признателен за то, что Вы познакомили меня с интереснейшими людьми на ангарском строительстве, с такими, как Андрей Ефимович Бочкин, Евгений Никанорович Батенчук, Алексей Петрович Шешуков, Станислав Петрович Шуликовский, Владимир Александрович Саломатов, и многими другими.

Вы помните, как мы с Вами восхищались энергией и осведомленностью, стойкостью и богатством мыслей этих наших товарищей — богатством мыслей, связанных не только с этим великим строительством на Ангаре, но и с жизнью всей нашей страны, с жизнью всего мира.

А я, кроме того, восхищался про себя и Вами — Вашей осведомленностью во всех делах и даже Вашим образом жизни. Вы живете в самой гуще дела, если можно так выразиться, Вы ведете на строительстве большую общественную работу. И в то же время пишете.

Я знаю, в каких труднейших условиях написан Ваш роман. Не всякий, пусть даже чрезвычайно одаренный, писатель мог бы выполнить такую работу в такой быстрый срок.

И все-таки я как читатель и ваш товарищ многим огорчен в Вашем романе.

Огорчен главным образом тем, что дело Ваших героев, о котором Вы так хорошо осведомлены и в котором принимаете столь горячее участие, оказалось изображенным в романе как бы в качестве только фона.

Ваши герои, озабоченные своими любовными делами, в большинстве своем мало напоминают тех интересных людей, с которыми Вы познакомили меня в прошлом году. И самое грустное — я не уловил в романе тех интересных, смелых и ярких мыслей, которыми живут сейчас строители по всей нашей стране и в том числе на Ангаре, не увидел сложностей и часто невероятных трудностей, с какими ведется это поистине беспримерное строительство.

А ведь об этом, не избегая любовных драм, можно очень интересно рассказать. И рассказывать в первую очередь, конечно, Вы должны, Франц Николаевич. Вам, как говорится, и карты в руки.

Неужели Вас в самом деле сбили рассуждения некоторых критиков о том, что производственный процесс не должен «замутнять» духовный мир героев романа? Неужели Вы сознательно решили как бы сделать крен в другую сторону, чтобы добиться занимательности?

Вот Вы ее, этой занимательности, как будто и добились. Но тут же — может быть, незаметно для себя — серьезно снизили социальное звучание романа, ослабили его идейную основу, проглядели Ангару.

А не мне Вас учить и не мне Вам рассказывать, что такое сейчас Ангара, когда она становится главным источником индустриального преобразования необозримого края, когда она уже тесно связана с судьбой всей страны.

Поэтому — как, вероятно, Вы согласитесь со мной — и судьбы людей, занятых на ангарском строительстве, судьбы людей, описанных в романе, могут и должны быть непосредственно и сердечно связаны с Ангарой.

Читатель, естественно, хочет взглянуть в живописную — вот именно в живописную — панораму Сибири, хочет понять в подробностях всю сложность строительства, хочет сравнить эту новую стройку со множеством других, уже завершенных в нашей стране, хочет познакомиться с деловыми мыслями, с чувствами строителей, собравшихся сюда, на Ангару, со всех краев нашего отечества.

Вот в чем, мне думается, можно искать самую могучую сюжетную пружину, вот где лежит основной материал романа.

Этот материал, разумно распределенный в романе, способен не только волновать читателей, но и обогащать их новыми знаниями о нашей жизни и подымать на новые подвиги.

Я узнал сейчас, что все опубликованное Вами в двух номерах журнала «Дальний Восток» есть только первая часть Вашего романа.

Значит, Вы будете писать вторую часть. Поэтому я надеюсь, что Вам, может быть, пригодятся эти мои не во всем бесспорные заметки. Я надеюсь, что Ваш роман, доработанный и дописанный, будет еще раз напечатан — может быть, в московском журнале и в московском издательстве. Он, честное слово, будет заслуживать этого. Я верю в плодотворность Вашего труда и знаю, с каким упорством Вы дорабатываете свои произведения.

Конечно, мне очень жаль, что я не смог в этом моем письме избежать некоторого налета этакой нравоучительности и наговорил Вам немало кислых слов. Но меня за мои сочинения так сурово ругали, что я сам невольно, хотя бы ненадолго, соблазнился ролью критика. Все-таки это чуть легче, чем писать романы.

Я знаю, что Вам будет неприятно читать в журнале мое письмо. Но я считаю своим долгом обратиться не только к Вам, но и к Вашим читателям. Может, нам есть смысл поспорить?

Во всяком случае, меня утешает убеждение, что Вам, так же как мне, известны слова великого труженика литературы Оноре Бальзака, любившего повторять, что писатель, который не решается выдержать огонь критики, не должен вовсе братья за перо, как путешественник не должен пускаться в путь, если он рассчитывает на неизменно прекрасную дорогу.

Вы, Франц Николаевич, не сегодня взялись за перо, и я знаю, как Вы умеете его крепко держать. Поэтому со всей сердечностью я желаю Вам самых больших успехов.

Ваш

Павел НИЛИН.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

С. Макашин. Встреча с Достоевским.— **И. Вайсфельд.** Шаг сделан...— **С. Корытная.** Строители новых дорог.— **А. Дирингерова.** Пьеса Леона Кручновского.— **С. Востокова.** Пробуждение гражданина Бриха.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Доктор юридических наук **Н. Полянский.** В защиту мира.— **Е. Козалев.** Китайская деревня на новом пути.— Академик **М. Тихомиров.** Новое о «Слове о полку Игореве».— **Г. Марягин.** Шестьдесят лет в труде.

Литература и искусство

Встреча с Достоевским

Биографический роман или повесть о великих людях прошлого — один из труднейших жанров художественной литературы. Материал здесь не находится в полном распоряжении автора. Писатель не может безнаказанно для исторической правды покидать почву реальной биографии своего невымышленного героя. Вместе с тем образное раскрытие темы, ее пластическая разработка требуют свободного, иногда лишь на одной интуиции основанного проникновения за пределы внешнего документально-биографического слоя, в сокровенные глубины характера и психологии гения, в скрытые первоисточники его мыслей, чувств и поступков.

Эти трудности в усугубленном виде должны были предстать перед писателем, поставившим перед собой задачу создать образ Достоевского — быть может, самого сложного человека из великих людей своего времени.

Михаил Никитин не испугался стоявших на его пути препятствий. Он задумал и написал повесть о Достоевском, вложив в нее много самоотверженного труда, серьезность

специальных знаний и большую, взволнованную любовь к своему «герою».

Хронологические рамки повествования нешироки. Они охватывают всего четыре месяца жизни писателя. Это зима 1854/55 года в Семипалатинске, куда Достоевский был доставлен по окончании четырехлетнего срока каторги для отбывания солдатчины в одном из сибирских линейных батальонов.

«...Выйдя из моей грустной каторги,— писал об этом времени Достоевский брату Михаилу,— я со счастьем и надеждой приехал сюда. Я походил на больного, который начинает выздоравливать после долгой болезни и, быв у смерти, еще сильнее чувствует наслаждение жить в первые дни выздоровления. Надежды было у меня много. Я хотел жить... Я не заметил, как прошел первый год моей жизни здесь. Я был очень счастлив. Бог послал мне знакомство одного семейства, которое я никогда не забуду. Это семейство Исаевых...» Слова эти не приводятся в повести, но они могли бы служить эпиграфом к ней.

Рассказ о великих надеждах Достоевского на возобновление писательского труда, прерванного арестом и каторгой, и о его борьбе за свое счастье с женщиной, которую он полюбил,— с Марьей Дмитриевной Исаевой — определяет основную фабульную ли-

Михаил Никитин. Здесь жил Достоевский. Повесть из тридцати трех сцен. Редактор **М. Чечановский.** 200 стр. «Советский писатель». М. 1956.

нию произведений. В повести отражены и все другие известные факты этого периода жизни писателя. Их очень мало. Документальные источники здесь так немногочисленны и скудны, что исследователи называют весь период семипалатинской ссылки «недостающим звеном» в биографии автора «Записок из мертвого дома». Средствами художника слова Мих. Никитин восстанавливает это «недостающее звено».

Автор стремился быть очень достоверным и точным в своем рассказе, притом не только в сообщении внешних биографических фактов, но и в передаче слов, мыслей, душевных движений и психологических состояний Достоевского. Пусть не все здесь удалось писателю, не все решено бесспорно. Несомненно одно: художественное «здание» повести опирается на прочный фундамент объективных документальных данных, извлеченных из писем и сочинений Достоевского, из воспоминаний о нем и других источников. Конечно, автор сохранял несбходимую свободу критического отбора и творческой интерпретации используемых материалов. В иных случаях произведенный отбор может быть, вероятно, оспорен. Например, в ответственной сцене обряда казни над петрашевцами, данной в воспоминании Достоевского, автор заставляет писателя рассказывать на эшафоте стоящим рядом товарищам план повести, которая сложилась у него в Петропавловской крепости. Мих. Никитин опирается здесь на воспоминание петрашевца А. И. Пальма. Но в биографической литературе о Достоевском существует и другая версия, восходящая к более достоверным источникам. Недавно авторитетность этой другой версии получила новое подтверждение в неизвестной ранее «Записке о деле петрашевцев», написанной в сибирской ссылке петрашевцем Ф. Н. Львовым при участии самого М. В. Буташевича-Петрашевского. В этом важном документе (публикуется в томе 63 «Литературного наследства»), сохранившемся в бумагах заграничного герценовского архива, дано описание поведения приговоренных к смертной казни петрашевцев в последние минуты перед ожидавшимся ими расстрелом. О Достоевском здесь сказано: «Достоевский был несколько восторжен, вспоминал «Последний день осужденного на смерть» Виктора Гюго и, подойдя к Спешневу, сказал:

«Nous serons avec le Christ». «Un peu de poussière»¹, — ответил тот с усмешкою».

Итак, стоя на эшафоте, Достоевский рассказывал или вспоминал повесть Виктора Гюго, а не свою собственную.

«Документированность» книги Мих. Никитина придает ей познавательное значение. Однако значение это отнюдь не ограничивается внешнебиографической сферой. В этой связи возникает вопрос: какова же основная идея книги, в чем суть ее замысла?

Ни в самой повести, ни в предваряющем ее «Вступлении» мы не находим авторской формулировки темы. Не передает ее и название повести, на наш взгляд, не очень удачное, напоминающее скорее надпись на мемориальной доске: «Здесь жил Достоевский». Идея книги и ее основная мысль остались не только вне авторской формулировки, что, разумеется, вовсе не обязательно, но они не совсем ясно выражены и в художественной системе произведения. При всем том главная устремленность авторского замысла очевидна. Мих. Никитин задался целью показать Достоевского в период его великого перелома, когда, выйдя из каторги, он начинал свою новую жизнь, причем показать не внешнебиографически, а психологически, изнутри. В соответствии с таким замыслом основным предметом изображения в повести является напряженная внутренняя жизнь Достоевского. Бытовая живопись книги — вся эта семипалатинская обстановка, превосходно написанная, — лишь воссоздает реально-биографические условия, в которых протекало подневольное существование Достоевского в дни и месяцы, когда он уже весь был устремлен к своему великому писательскому призванию, но еще не мог писать. Мих. Никитин сумел передать, хотя и с меньшим накалом и страстью, чем того требовал предмет изображения, глубокий драматизм и муки гениального писателя, когда внутренняя работа в нем кипела, не находя выхода.

Очень важно, что в повести есть подлинное ощущение личности Достоевского, с его живой, отзывчивой душой, с его огромной, часто болезненной впечатлительностью и страстностью, с его всегда напряженной, как струна, готовая лопнуть, внутренней жизнью.

¹ «Мы будем вместе с Христом». — «Горстью праха». — С. М.

Образ и личность Достоевского раскрываются в повести преимущественно посредством передачи речи писателя — прямой, в диалогах с другими героями, и внутренней.

Большая часть речевых характеристик Достоевского сделана с большим тактом и мастерством. Они основаны на пристальном изучении писем и сочинений писателя и передают их интонации, их стилистическую окраску. Однако есть и срывы. Внутренняя речь Достоевского дается порой в таких законченных и сложных синтаксических конструкциях, в такой грамматической завершенности, которые мало пригодны для передачи того, что мелькает в неоформленных мыслях человека, что входит в поток его сознания. Мало помогают в этом случае и текстуальные заимствования из самого Достоевского. Ведь то, что написано, тем более для печати, — это уже завершённый результат работы мышления, а не процесс его.

Иногда во «внутренние монологи», которыми широко пользуется Мих. Никитин, вводятся вовсе посторонние материалы с чисто служебными целями — развития сюжета, комментирования упоминаемых фактов и событий, уяснения авторских оценок и суждений. Вот, например, как передаются мысли Достоевского о современной ему литературе и писателях. «Литератор, — размышляет Достоевский, — обязан быть в курсе идей, которые для его современников являются наиболее жгучими. «Бедные люди» оттого и возбудили столько восторгу, что ответили насыщенным запросам общества...» «На небосклоне политическом ярко разгорелась звезда Некрасова. Появились и новые писатели, которых раньше не было... Но первое положение в литературе занимает Тургенев... он возвращен в Петербург из своего родового имения, где два года протомился в ссылке...»

Очевидно, что эти историко-литературные справки, изложенные к тому же в таких спокойных периодах, не способны дать представления о всегда клокочущих и жгущих, как лава, мыслях писателя.

«Я приближаюсь к кризису всей моей жизни», — писал Достоевский как раз в 1854 году. Изображению этого кризиса Мих. Никитин уделяет большое внимание.

Достоевский начинал свой путь убежденным сторонником идей, которым была провозглашена духовная и политическая культура русской революции на первых ее этапах от

Радищева, через декабристов, к Белинскому, Герцену и петрашевцам. Вернулся же он с каторги и ссылки столь же убежденным противником революционной борьбы, считая ее методом бесплодным, чуждым и непонятным народу.

Какие же силы заставили Достоевского свернуть с первого пути и перейти на другую? Сам писатель, как известно, утверждал, что глубокий перелом в его «душе, верованиях, уме и сердце» явился результатом той «великой, хотя и нелегкой школы», которую он прошел на каторге. «Там я научился народу», — писал он. Мих. Никитин справедливо придает этим словам важное значение. Однако он извлекает из них только субъективные выводы самого Достоевского.

Конечно, каторга познакомила Достоевского с жизнью простого русского народа, которого он, по собственному признанию, совсем не знал до того. Жизнь эта оказалась гораздо сложнее, индивидуализированнее и богаче, чем абстракции, созданные в интеллигентских кружках Петербурга сороковых годов. Эта сторона дела хорошо показана в повести. Но не менее важно было показать и другое. Каторга дала Достоевскому не только «золото характеров» народных. Из реального опыта страданий и унижений простого русского человека Достоевский талантливо, даже гениально, создал свой вредоносный миф о «смирении» как основном нравственном идеале русского народа. Достоевский, как и на более позднем этапе Толстой, оказался в известном смысле заплесканным стихией народной, крестьянской в первую очередь, идеологии, в которой так сильны были элементы (объективно-реакционные) общественно-политического индифферентизма и пассивности. Историческое и социальное осмысление перелома, пережитого Достоевским, отсутствует в повести, что несколько мельчит глубину идеологического образа писателя.

Рядом с главным героем в повести живут своей самостоятельной жизнью другие образы. Большое место занимают в книге образы Марьи Дмитриевны Исаевой — «великодушнейшей женщины», которую полюбил Достоевский, и ее мужа Александра Ивановича. В образах супругов Исаевых читатель сразу узнаёт будущих литературных героев Достоевского — Мармеладова и его жену Екатерину Ивановну. Это

происходит вследствие того, что Мих. Никитин применяет здесь прием прямого подражания не только манере Достоевского «вообще», но и определенным страницам из «Преступления и наказания». Прием этот представляется нам спорным. Есть отдельные места, особенно в главах «Бедный Иов» и «Терзания дрожащей твари», где близость к интонационному ключу Достоевского переходит в открытую имитацию знаменитых образов романа.

Говоря об образе Марьи Дмитриевны, следует указать, что в нем хорошо показаны сложность и трудность характера этой женщины, но остались недостаточно выясненными те ее черты, которые с такой силой привлекли к ней Достоевского, определявшего такими словами их взаимные отношения: «существо, любившее меня и которое я любил без меры...» Некоторая неполнота образа в указанном смысле компенсируется отчасти глубоко поэтической сценой «Зеленая звезда», завершающей рассказ о первом счастливом времени этой первой запоздалой любви Достоевского.

Очень интересно выполнен образ поручика Обуха — ученого и разведчика, «рыскающего по киргизской степи» и задумывающегося над проектом похода на Восток, в Индию. Образ этот особенно примечателен тем, что от него идут важные линии к будущему творчеству Достоевского: к «Преступлению и наказанию» (суждения о Бонапарте и о «своеволии»), «Братьям Карамазовым» (Обух совсем в манере Димитрия Карамазова дает деньги, предназначенные для помощи попавшей в беду девочке), «Дневнику писателя» (разговоры о роли России в судьбах Востока).

Менее объемно, а главное, с меньшей достоверностью написана фигура другого семипалатинского знакомого Достоевского — Врангеля. Мих. Никитин «подает» Врангеля в отрицательно-ироническом, даже карикатурном ключе, как самоуверенного остзейского барончика из петербургских канцелярий. Вероятно, именно таким и должен был показаться Врангель Достоевскому при их первой встрече (с нее и начинается повесть). Тут автор не погрешил против психологической правды. Однако в дальнейшем нужно было энергичнее и шире показать во Врангеле и те его качества, которые объяснили бы читателю причины дружеского сближения с ним Достоевского. В этом смысле автору следовало бы отне-

стись с большим доверием к следующим, например, отзывам самого Достоевского о своем семипалатинском знакомце: «Александр Егорович барон Врангель, человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, приехавший в Сибирь прямо из лица с великодушной мечтой узнать край, быть полезным... мы с ним сошлись и я полюбил его очень». Эта и другие подобные характеристики остались неразвернутыми в повести, более того, образ Врангеля, нарисованный Мих. Никитиным, оказался кое в чем полемичным по отношению к восприятию самого Достоевского (см., например, сцену на стр. 190: «Размеренные, тщательно округленные периоды барона вызвали в нем <Достоевском. — С. М.> гнев и раздражение»).

Книга Мих. Никитина написана отличным языком. Писатель не гонится за внешним блеском. Но фраза у него всегда крепко построена, эпитет точен, слова выбраны такие, какие нужны. Стилистические небрежности и огрехи единичны. Не следовало бы, например, писать, что Достоевский «уронил подбородок» («уронив подбородок на сцепленные ладони»), или вводить в его речь выражение «жизненные центры» в его современном значении («противник должен добраться до наших жизненных центров»).

На высоком уровне мастерства находится бытовая и пейзажная живопись, воссоздающая внешний фон жизни Достоевского в Семипалатинске: сцена зимнего гулянья, описание спектакля в казарме и пр. Особенно выразительны и пластичны скупые и точные — гравюрные — пейзажи, занимающие обычно всего несколько строк. Вот один из таких пейзажей: «...улица была безлюдна, над ней одиноко сияли круглые купола церкви, а вдали вонзались в небо облитые лунным светом тонкие иглы минаретов». Вот другой: «...обозники подняли лису, и она от дороги, сначала неторопливой рысью, а потом на полный мах, рыжеватокрасным огнем заскакала над белыми сугробами...»

Большая емкость содержания небольшой книги Мих. Никитина в значительной мере обеспечена ее умелой композицией. Именно композиция позволила автору провести много важных линий от Семипалатинска к предыдущему и последующему этапам жизни и творчества Достоевского. При всем том композиция повести не свободна от недостатков. К ним мы относим некоторые из-

лишества циркуля и линейки в чертеже произведения. Повесть построена из одиннадцати глав, каждая из которых состоит из трех подглавок, или «сцен», примерно равной величины. Не слишком ли это «геометрично» и «регулярно» для книги о Достоевском?

Вызывает далее возражения литературоведческое «Вступление» автора к повести, трактующее о неизученности биографии Достоевского в годы ссылки и о прочих историко-литературных вещах. И уже совсем странно выглядят встречающиеся кое-где источниковедческие примечания и реально-исторические комментарии, которыми автор снабжает под строкой свой собственный художественный текст.

Наконец, «Заключение». Оно выходит за пределы повести, ее фабульной линии. Повесть, в сущности, заканчивается в предыдущей главе — «Зеленая звезда», заканчивается сильно и глубоко поэтически. Глава «Заключение» оказывается и ненужной и даже непонятной для читателя, не занимающегося Достоевским специально. Последнее замечание относится к завершающим строкам о предполагаемом будущем тосте, который поднимет Достоевский «за Европу, чье назначение в мире увенчает Россия...». Тут заявка на новую большую тему, относящуюся уже к последующему

развитию взглядов Достоевского. Касаться этой темы, как и будущей жизненной судьбы Достоевского, такой скороговоркой не имело смысла.

В заключение нельзя не упомянуть о следующем обстоятельстве. Повесть Мих. Никитина была издана недавно, в связи с юбилеем Достоевского. Но написана она не сейчас, а лет десять — двенадцать тому назад. В ту пору, к стыду нашему, мы почти не говорили и не спорили о Достоевском. Автор, таким образом, работал над своим произведением в обстановке, когда не существовало объективных условий для широкой общественной поддержки предпринятого им труда. Почин Мих. Никитина делает ему честь. Вместе с тем этот почин свидетельствует, что обращение к теме Достоевского было внушено писателю неодолимым внутренним влечением. Эта глубокая творческая заинтересованность темой и определила писательскую удачу Мих. Никитина. Ему удалось создать на историко-литературном материале не иллюстративную беллетризацию, а художественное произведение, эмоционально волнующее читателя.

На страницах повести мы встретились с живым Достоевским, когда он, выйдя из каторги, вступал в новую жизнь, готовился ко второму началу своего писательского пути.

С. МАКАШИН.

★

Шаг сделан...

Перед нами книга, которая своим внешним видом и расположением материала может создать у читателя впечатление академического спокойствия и благонамеренной чинности. Об этом говорит и строгость шрифта на тисненном переплете, и блеск золотых линий, и хрестоматийная холодность наименований разделов книги: «Из истории советского кино», «Рецензии, творческие портреты», «О зарубежном кино» и т. д. Добавим к этому внушительную цену (27 руб. 50 коп.) — и перед нами возникают очертания вполне солидного, вполне ученого издания вполне «отстоявшегося» автора...

Но ведь речь идет об Эйзенштейне! Речь идет о художнике, который, подобно Мая-

ковскому в поэзии или Мейерхольду в театре, бесстрашно ломал в киноискусстве каноны, казавшиеся самыми незыблемыми, и создавал новое искусство. О человеке, который иногда бросался из крайности в крайность, чтобы найти истинный путь в киноискусстве социалистического общества, о смелом и великом мастере фильма, ушедшем от нас восемь лет тому назад, но и сейчас живом, и сейчас участвующем в наших спорах, и сейчас помогающем киноискусству избавиться от тяжелого наследия, накопленного за горькие для всех нас годы, когда советское кино испытало на себе влияние теории и практики культа личности.

Эйзенштейн оставил нам мало, очень мало готовых формул, которые могли бы спокойно почитать под тяжестью колени коровых переплетов. Он оставил нам большее: подвиг художника,

С. М. Эйзенштейн. Избранные статьи. Редактор-составитель Р. Юрнев. 456 стр. Издательство «Искусство». М., 1956.

Он творил буквально кровью своего сердца и умер за рабочим столом, обозначая в рукописи словами «здесь случилась сердечная спазма» моменты, приближавшие его к смерти.

Нам понадобились бы бесчисленные страницы, чтобы обозначить вехи жизни Эйзенштейна, передать драматизм его борьбы, внутренний смысл падений в его творчестве, казавшихся катастрофическими, и взлетов, открывавших всем нам неизведанные пути в искусстве. Творчество Эйзенштейна не раз подвергалось нападкам всяческих вульгаризаторов и чиновников от искусства. Но им, к счастью, не удалось ни дискредитировать художника, ни подорвать его веру в свои силы: преданность Эйзенштейна делу социализма была несокрушима. Он мужественно переживал все сложности пути, оставаясь в пятьдесят лет таким же молодым, неутомимым, неистребимым оптимистом и, отметим кстати, неистощимым автором каламбуров и парадоксов (которых многие, и не без основания, побаивались), каким был этот человек в молодости, в дни «Броненосца «Потемкина».

Как не вяжется этот образ с внешним обликом книги, выпущенной издательством «Искусство» в 1956 году!

Дело, разумеется, не только в характере полиграфического оформления, но и в самом подходе к задаче. Эйзенштейн ценен прежде всего как автор глубоких, отражающих его большой опыт и энциклопедические познания исследований, статей, заметок о мастерстве, о путях развития искусства в нашу эпоху. Но книга открывается публицистикой, во многом блестящей, богатой мыслями, но все же не составляющей главного содержания литературной жизни Эйзенштейна. В книгу вошли некоторые второстепенные небольшие статьи, но не включены работы большие, интересные и готовые к печати, например, написанная незадолго до смерти статья «30 лет советского кинематографа и традиции русской культуры» или статья «Поставщики духовной отравы», в которой подвергнуты сокрушительной критике буржуазные взгляды на киноискусство и реакционная продукция Голливуда. (Видимо, иные товарищи полагают, что развитие и укрепление дружеских международных связей не допускают дискуссий, опровержения антигуманистических концепций!) Нельзя также понять, почему на суд читателя не представлено капиталь-

ное исследование «Вертикальный монтаж», состоящее из нескольких статей. «Ввиду их чрезвычайной сложности и спорности некоторых положений...» — объясняют нам в примечаниях. Как будто в остальных опубликованных в сборнике работах нет «спорных положений» или «чрезвычайной сложности» и как будто в индивидуальном опыте и взглядах художника все бывает совершенно гладким. Исключение из книги работ, содержащих положения «сложные и спорные», не означает ли непреодоленного недоверия к читателю?

Приведем еще один пример. Многочисленные примечания написаны Р. Н. Юревым со знанием дела, спокойно, с достоинством. Именно поэтому так режет глаз примечание, которое кажется не то извинением, не то странным наставлением. В статье «О стереокино» Эйзенштейн анализирует пути развития стереокино и, проявляя художническую прозорливость и политический темперамент, критикует неверные взгляды Луи Шаванса на будущее этого вида кино. Почему-то статья сопровождается такой оговоркой: «Доводы, которые выдвигает здесь Эйзенштейн в защиту стереокино, на наш взгляд, имеют второстепенное значение. Отрицание Луи Шавансом стереокино ошибочно и вредно прежде всего недооценкой стереозффекта как важного дополнительного средства реалистического отображения жизни на экране».

Надо ли нам комментировать каждое движение мысли автора или лучше возможные споры переносить в печать, предоставляя читателю на основании общей характеристики творчества художника, данной во вступительной статье, самому выносить свой приговор?

Нельзя согласиться и с предисловием издательства, которое может создать у читателя впечатление, будто сборник охватывает почти все труды Эйзенштейна. «В сборник не вошли некоторые работы С. М. Эйзенштейна, — читаем мы в предисловии, — по истории и теории киноискусства, а также статьи, касающиеся театра, не связанные непосредственно с проблематикой кино».

В действительности в сборник вошла лишь незначительная часть литературного наследия Эйзенштейна. В шкафах Государственного института кинематографии пылятся десятки стенограмм лекций, прочитанных Эйзенштейном во ВГИКе за

многие годы. Живы его ассистенты и ученики, присутствовавшие на занятиях. Они могли бы восполнить стенограммы недостающими зарисовками, помочь восстановлению многих текстов и подготовке их к печати. Ждут публикации и некоторые незаконченные работы, хранящиеся в личном архиве Эйзенштейна и в Центральном архиве литературы и искусства. Никто еще не попытался поинтересоваться рукописями Эйзенштейна, находящимися в частных собраниях, его большим эпистолярным наследством. А ведь переписка Эйзенштейна была весьма обширной. Сохранились его письма режиссерам, писателям, актерам, ученым. В переписке с ним состояли Поль Робсон, Драйзер, Фейхтвангер, Муссинак и другие выдающиеся представители мировой культуры. Настало время, думается, создать авторитетную комиссию по литературному наследию Эйзенштейна.

Книга, таким образом, как принято говорить, не свободна от недостатков. И все же мы можем с уверенностью сказать, что выход «Избранных статей» Эйзенштейна — отрядное событие в нашей литературной жизни. Почему? Да потому, что, несмотря на «несоответствие формы содержанию» и отдельные компромиссы, страницы впервые собранных работ Эйзенштейна доносят до нас жар его души, его пылкую, ищущую мысль, которая тревожит, заставляет размышлять, всыскательнее относиться к тому, что ты сам делаешь сегодня или собираешься делать завтра.

Что-то звучит в книге как блестящее откровение, что-то заставляет спорить, не соглашаться, противопоставлять наблюдениям и взглядам автора свою точку зрения, свой опыт, но ничто не оставляет равнодушным. Есть страницы, поражающие ясностью изложения трудных, специальных вопросов, на иных сложная вязь мыслей уводит автора от живого материала и изложение становится громоздким, но это вызывает не раздражение, а интерес к самостоятельному постижению тех проблем, о которых с такой страстью и вдохновением пишет Эйзенштейн.

Многие статьи Эйзенштейна, несомненно, заинтересуют не только кинематографистов, но и писателей, художников, мастеров театра. Так, например, статья «Вопросы композиции», впервые опубликованная два года назад в сборнике «Вопросы кинодраматургии», вызвала большой отклик среди литературоведов и критиков. В этой

статье Эйзенштейн дает кинематографическое «прочтение» одной страницы повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда», представляющее интерес не для одного постановщика фильма, но и для каждого читателя, задумывавшегося над этим произведением. Сопоставление отрывка из повести Некрасова с другими примерами из смежных искусств, обращение к «Борису Годунову» Пушкина позволили автору сделать обобщения, связанные с проблемой композиции в искусстве. Пожалуй, ни в одной другой работе Эйзенштейн не показывает так ощутимо и так глубоко единство мысли и композиции и опасность того, что он называет болотом композиционной невыразительности.

Это одна из центральных проблем работ Эйзенштейна, посвященных мастерству. Тема, замысел, отношение художника к миру должны находить воплощение в его методе, во всей структуре произведения, в каждой детали.

В статье «Charlie the Kid» («Чарли-малыш») Эйзенштейн глубоко анализирует истоки «детскости» психологии чаплинских фильмов, сложную природу образа «маленького человека». Он напоминает об известном финале фильма «Пилигрим», когда шериф, растроганный благородством Чаплина — беглого каторжника, всячески хочет дать ему понять, чтобы он оказался за чертой, отделяющей государственную границу США от Мексики. Но Чаплин не понимает, что в этом его спасение.

«Теряя терпение, — пишет Эйзенштейн, — шериф посылает его за... цветком — по ту сторону границы.

Чаплин покорно переходит канавку, отделяющую свободу от оков.

Довольный шериф отъезжает.

Но вот детский честный Чаплин догоняет его с принесенным цветком.

Удар под зад ногой разрешает драматический узел.

Чаплину возвращена свобода.

И самый гениальный финал из всех его картин — Чаплин от аппарата убегает своей прыгающей походкой в диафрагму: по линии границы — одной ногой в Америке, другой — в Мексике.

Далее следует показательное для метода Эйзенштейна (хотя выглядящее в нашем упрощенном пересказе не так ярко и полно, как в книге) умозаключение:

«Как всегда, наиболее замечательной деталью, эпизодом или сценой в фильмах

бывают те, которые, помимо всего прочего, служат образом или символом авторского метода, вытекающего из особенностей склада авторской индивидуальности.

Так и здесь.

Одной ногой — на территории шерифа, закона, ядра да ноге; другой ногой — на территории свободы от закона, ответственности, суда и полиции.

Последний кадр «Пилигрима» — почти что схема внутреннего характера героя, сквозная схема всех конфликтов всех его фильмов, сводимых к одной и той же ситуации: график метода, которым он достигает своих удивительных эффектов...

...Как бы ни читал собственного финала сам Чаплин, маленькому человечку в современном обществе — некуда.

Какой бы области творчества ни касался Эйзенштейн, он всегда пытается раскрыть внутреннюю пружину, тайну воплощения авторского замысла, которую идеалистическая эстетика считает непознаваемой.

Так, например, заканчивая свой точный и яркий рассказ об операторе Э. Тиссэ, автор указывает на то, что всегда волновало их обоих: «В этом единстве видимого облика предмета и одновременного образного обобщения, решенном средствами композиции кадра, мы ощущаем важнейшее условие подлинно реалистического письма кинокадра... Ибо такая образная обработка изображения и есть важнейшее в творчестве оператора: «внедрение» темы и отношения к теме во все мельчайшие детали пластического разрешения фильма».

Эйзенштейн не завершил своих грандиозных замыслов, но и то, что он успел сделать для прогрессивной кинематографии мира, оказало огромное влияние на творчество мастеров кино не только у нас, но и за рубежом.

Большой заслугой Эйзенштейна было то, что он не замыкал своих изысканий в узкие рамки технологии, не противопоставлял (в последний период своей жизни) кино другим искусствам, а, напротив, искал внутренние связи, объединяющие художников разных жанров и видов творчества в их борьбе за создание реалистического образа. Установление общего в методе творчества писателя, режиссера, актера, композитора помогало полнее выявлять специфическое, неповторимое в каждом виде и жанре искусства, наносило удар по бесплодному, формалистическому пониманию

искусства. В этой связи особого внимания заслуживает статья о Гриффите и «Монтаж 1938 года», дающие обширный материал как для позитивных выводов, важных для творческой практики кино, так и для полемики с теми парадоксальными заострениями, к которым иногда прибегал автор, аргументируя свою точку зрения.

Некоторые публикации сборника помогают развеять и другую фальшивую легенду об Эйзенштейне — о том, что это якобы был замкнутый в стенах «башни из слоновой кости» ученый, отрешившийся от мирской суеты ради отвлеченных экспериментов. Многие статьи и заметки Эйзенштейна привлекают не только своей политической страстностью, беспощадностью к реакционным взглядам на кино и природу художественного творчества. Весьма важной их чертой является и глубокая заинтересованность в судьбах нашего кино, жизни студии «Мосфильм», в судьбах мастеров этого искусства, умение Эйзенштейна вовремя заметить в пестрой картине развития советского и мирового киноискусства все новое, важное, талантливое. Читатель, вероятно, оценит то, как Эйзенштейн сумел правильно понять молодого Довженко и после просмотра немой картины «Звенигора» предсказать большую будущность ее автору, его высказывания о Вс. Вишневском, о документальной картине «Освобожденная Франция», о путях развития советской комедии (статья «Большевики смеются») и другие.

Чрезвычайно любопытен также анализ путей освоения в кино цвета («Цветовое кино» — последняя работа Эйзенштейна), стереокино («О стереокино») и даже телевидения, которого Эйзенштейн знать не мог, но о значении которого в полный голос он сказал еще в 1946 году. Он писал, что актер театра и кино протянет руку «носителю высших форм будущего лицедейства — киномагу телевидения», который будет «прямо и непосредственно пересылать миллионам слушателей и зрителей свою художественную интерпретацию события в непосредственный момент самого свершения его, в момент первой и бесконечно волнующей встречи с ним».

Мы привели только некоторые примеры, которые показывают, что с выходом книги «Избранные статьи» произошла наконец встреча читателя с Эйзенштейном — теоретиком и критиком. Путь к этой встрече был очень трудным и сложным: годами различ-

ные издательские звенья откладывали свое решение, они видели только ошибки и промахи Эйзенштейна, не замечая того главного, что составляет сущность и пафос его жизни. Благодаря большой работе составителя и автора вступительной статьи Р. Н. Юренева, сотрудничавшей с ним

П. Аташевой и содействием издательской редакции наконец сделан первый шаг. Неуверенна походка составителей этой книги, временами кажется, что они еще порой оглядываются назад. Но шаг сделан, и это важно.

И. ВАЙСФЕЛЬД.

★

Строители новых дорог

Плеяда смелых итальянских художников-кинематографистов повествует миру правду о жизни и нуждах своего народа, о контрастах и проблемах сегодняшней Италии.

При всем стилистическом разнообразии прогрессивных итальянских фильмов, известных советскому зрителю, всем им присуще нечто общее, специфическое для искусства, которое итальянская критика именует «неореализмом»: глубокое уважение к рядовому человеку, стремление доказать, что каждый имеет право жить, работать, есть, любить. Фашистским концепциям нищезанского сверхчеловека, «героя», возвышающегося над безликой «толпой», парадной помпезности Д'Аннунцио и псевдо-исторической сусальности неореалисты противопоставили живые, реальные будни простых, рядовых людей.

Основной вопрос, волнующий сейчас, пожалуй, больше всего спорящих об итальянском кино, касается гуманизма — того, что мы иногда несколько бездумно называем любовью к человеку. От этой неточности начинается горячая, но бесплодная полемика: положительное значение оной «любви к человеку» ставится под сомнение в связи с тем, что на первый взгляд в этих фильмах отсутствуют конкретные «носители зла», которых можно бы ненавидеть, и таким образом, дескать, однобокая любовь превращается в колыбельную песню, усыпляющую классовое сознание. Кого прикажете ненавидеть в фильме «Рим в 11 часов» — не того ли хозяина конторы, искавшего машинистку, в ветхом доме которого произошел катастрофа? А «Умберто Д.» — кого ему ненавидеть за то, что на его мизерную пенсию невозможно прожить? Быть может, в «До-

роге надежды» или в «Машинисте» точнее указан классовый враг? Нет, этот враг нигде не персонифицирован, это не отдельный работодатель, помещик, фабрикант или иной эксплуататор. Это — государственная машина, общественный строй, повинный в существовании безработных, голодных, бездомных, неграмотных, проституток, контрабандистов.

Как же возбудить отвращение к этому режиму и как предостеречь народ от превращения общественного строя, существующего в Италии сегодня, в фашистскую диктатуру? Это главная тема итальянских прогрессивных кинодеятелей, испытывавших на себе гнетущие тиски фашизма. Путь к решению этой темы они ищут в пробуждении интереса к жизни и быту простого человека, в развитии самоуважения в человеке и уважения к нему других — всего того, что наиболее чуждо капиталистическому обществу.

Очевидно, здесь мы имеем дело не просто с любовью к человеку, — просто «любовь» проповедует и христианство, обещая хорошую загробную жизнь взамен плохой реальной. Здесь — другое: можно и не любить данного человека (не всех же персонажей итальянских картин мы любим!), но нельзя, говоря языком неореалистов и следуя их видению мира, возносить героев над «толпой»; народ, люди — не толпа и не стадо. В их возможностях — улучшать жизнь, ускорять ход истории по пути прогресса, была бы на то добрая воля, — вот основной девиз неореалистов.

И пробуждают они эту добрую волю, пропагандируя самые, казалось бы, элементарные истины реальной действительности. Для того чтобы жить, людям нужна работа. Кроме хлеба, людям нужна культура. Она станет народной, когда разомкнутся тиски беспросветной нужды, безработицы, бесправия. Искусство достигнет своих вершин, только служа народу, указывая ему пути к лучшей жизни, —

Джузеппе Де Сантис, Элио Петри, Джанни Пуччини. Дорога длиною в год. Киноповесть. Перевод с итальянского Г. Брейтбурда и Э. Вольф. «Иностранная литература» № 6 за 1956 год.

таковы основные мотивы творчества прогрессивных итальянских художников. Этими мыслями проникнута картина Де Сантиса «Нет мира под оливами», и роман Карло Леви «Христос остановился в Эболи», и рецензируемая киноповесть Де Сантиса, Петри и Пуччини «Дорога длиною в год».

Действие этой киноповести развертывается в горном селении Южной Италии, расположенном «среди скал, кактусов и рахитичных оливковых рощ». Здесь нет ни промышленности, ни сельского хозяйства. От плодородной долины, от железной дороги и вообще от всего мира Кьяравалле — так называется селение — отделено десяти километрами бездорожья. Ветхий «длижанс» — расшатанный телега шестидесятилетнего Джулио — единственный вид транспорта для населения Кьяравалле, рабочих без работы, мастеров без ремесла. Даже скудный урожай оливок погибает на месте: по такому бездорожью его не доставишь потребителю!

Голод и бесперспективность такой жизни гонят людей прочь от родного дома. Вот сегодня уезжает семья Гульельмо — жена, дочь-подросток, двое сыновей-школьников. Они едут куда-то к родным — погостить, перебиться, пока Гульельмо не найдет какого-нибудь заработка. А где его найти? Где достать работу?.. Столкновение со встречной повозкой (по этой ухабистой тропе без приключений не проедешь, вечно что-нибудь да случится!) напоминает, что работа, собственно, есть — вот она, лежит перед вами: ведь селению необходима хорошая дорога. Скольких людей могла бы прокормить ее постройка! Одна беда — область не дает денег на это, и мэр Кьяравалле вот уже в который раз отправляется на разведку в центр... Встретившись с ним на вокзале, Гульельмо почти незначай осведомляется:

«— Господин мэр, можно надеяться, что в этом году начнут строить дорогу?»

— Кому ты об этом говоришь? Просто позор! Я бы руку себе дал отрубить, лишь бы была дорога...

— Так давайте проложим ее!

— Но как? Ведь у мэрии нет денег. Вот я на два-три дня еду в область. Знаешь, ч им там все скажу!.. Ведь и денег не так уж много надо... Всего миллиона два-три. Стоит лишь взяться за кирку! Важно начать — а там уж дело пойдет...»

«Стоит лишь взяться за кирку!» — эти

слова служат толчком для дальнейших событий.

В то самое мгновение, когда поезд готов уже отойти от станции, Гульельмо вскакивает на подножку, силой заставляет сойти жену, потом вытаскивает вслед за нею ребят и, наконец, выбрасывает из вагона корзинки...

На следующее утро все Кьяравалле с недоумением наблюдает, как Гульельмо со всей семьей, с инструментами на плечах, отправляется к подножию земляной стенки — тому месту, где начинается дорога. И не только наблюдает, — вот за ними уже потянулась целая толпа любопытных и ревнивых: человек получил работу!

Гульельмо размахивает киркой. Никто не подрядил его, никто не обещал платить. Но... «стоит лишь взяться за кирку!..» Заметив наблюдающих за ним односельчан, он хитровато усмежается и затягивает песню.

«— Смотри, даже поют! — восклицает кто-то на площадке.

— Раз запели, значит хорошо платят, — замечает Антонио.

— Вот увидите, дорогу начали строить! Пошли!..»

С каждым днем все больше кирок и лопат вгрызается в скалистый грунт; вот уже все селение строит дорогу.

Разрешая все трудности, строители сталкиваются и с мэром и с карабинерами, попадают в тюрьму и, выйдя из нее, объявляют голодовку, воюют с лавочниками, с бароном из соседнего замка, даже встают против примиренческих советов мудрого старого учителя Даль Пра, которого все они любят и уважают и именем которого, после его смерти, они нарекают свою законченную дорогу. В этом, заметим попутно, отражается великолепное умение неореалистов придать конкретному факту обобщающее, символическое значение: дорога, названная именем старого учителя, — это путь от его вчерашней мудрости, от христианского смирения и любви к ближнему к завоеванному сегодня праву на труд, к сознанию собственной силы и к уважению своей коллективной воли.

Стоит лишь взяться за кирку... и люди осознают, что ничто не может остановить их, что мэрия, область, государство в конце концов вынуждены будут вознаградить их труд. В этом труде — их сила, их дорога к счастью. Вот, собственно, и все: год

строится дорога, и за этот год — за полтора часа фильма — мы узнаем ее строителей и их отношения, наблюдаем, как меняется их психология и формируется характер — личный и общественный.

Вот перед нами один из центральных персонажей повести — Гульельмо. Первая радость, вызванная сравнительно легкой победой, вскоре сменяется растерянностью от предчувствия огромной ответственности, свалившейся на его плечи, по мере того как брошенный им камень становится лавиной. Авторы неотступно следуют за развитием его характера, за теми мелкими, подчас еле уловимыми изменениями, которые возникают в нем, — не наклеивая никаких аттестующих этикеток.

Внимание к характеру человека, независимо от удельного значения его роли в картине, и составляет специфическую особенность прогрессивного итальянского кино, родственную русским писателям-реалистам, великим знатокам человеческого характера.

В «Дороге длиною в год» свыше восьмидесяти (!) действующих лиц, и едва ли удастся вам найти хоть одно из них, показанное в статике, вне развития характера! Вот, казалось бы, совсем эпизодический образ: фельдфебель, прибывший с карабинерами «наводить порядок» в селе:

«— В донесении ясно сказано..: ведение общественных работ без разрешения местных властей... противозаконное разрушение дома, расположенного рядом с кладбищем... Взорванного!.. Кто это сделал? Имя! Живо!»

А тридцатью строчками ниже:

«— Они-то и есть главари, вы сразу угадали, фельдфебель! — подобострастно говорит Аджео, в то время как карабинеры усаживают в машину остальных. Но его лесть не имеет успеха.

— Молчи, ты! — презрительно бросает ему фельдфебель».

И, наконец, шестью страницами дальше, в главе «Освобождение»:

«— Ну, вот и все в порядке, — вздыхает он. — Так-то, пожалуй, лучше. Но раз уже начали строить эту дорогу... надо бы ее закончить, — продолжает фельдфебель.

— Разумеется, надо бы!.. — вздыхает мэр.

— Так поднатужьтесь, — настаивает фельдфебель. — И нам, бедным карабинерам, легче будет».

Если уж тормозившие дело фельдфебель и мэр меняются по мере развертывания

строительства дороги, то насколько же ошутимее воздействует эта народная стройка на характеры самих строителей!

Когда учитель Даль Пра предлагает Гульельмо работу для двадцати человек, лишь бы он, Кьякьера и другие «зачинщики» оставили нелепую затею с постройкой дороги, Гульельмо, несмотря на соблазн возвращения семьи, наотрез отказывается: интересы селения, которому нужна дорога, стали для него уже выше собственных.

А Кьякьера, взявший кирку «за компанию», напившийся «на радостях» в первый же день работы, вскоре становится душой и организатором стройки.

А другие участники повести — строители дороги, разве они остались прежними? Вот четыре неразлучных друга: Аздрубале, Мариано, Этторе и Лоренцо, еще недавно забавлявшиеся игрой в чехарду и подглядыванием за девушками. Это они за одну ночь построили парапет, в котором, правда, оказалось больше доброй воли, чем мастерства: он просуществовал недолго, тем же утром рассыпался и вызвал обвал, но навсегда запомнится этим юношам то чувство, которое побудило их сделать этот «Дар призывников 1935 года рождения жителям Кьяравалле», как они торжественно начертали на своем парапете.

Раскрытие характера, становление черт гражданственности в каждом отдельном образе индивидуализировано — отсюда и бесконечное разнообразие характеров.

Паскуале и Анджела — молодожены. Как ни хочется им иметь ребенка, они не могут позволить себе эту роскошь, не имея работы. Участие в строительстве дороги делает их смелее, увереннее в будущем. Еще не платит мэрия, еще стоит дом Джузеппины, еще только крестьяне уступили свои участки, понимая, что дорога нужна и им, как Паскуале по-новому взглядывает на мир:

«Взяв Анджелу за руку, он ведет ее за собой. Они скрываются за кустом ежевики...»

Словом, вы уже поняли: Паскуале решился. Он готов теперь даже к тому, что будет ребенок, хотя о деньгах пока и речи нет...»

Самое сокровенное, самое интимное авторы не боятся показать в прямой связи с общественными, социальными факторами. «Какая тенденциозность!» — могут нам сказать. Но невольно приходит на память

письмо Ф. Энгельса к М. Каутской: «Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны. Но я думаю, что тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы ее особо подчеркивали».

Вот почему авторы киноповести, будучи в своем произведении «сплошь тенденциозными», избегают фальши: тенденция их органически вытекает из самого положения и действия.

...С грустью смотрит старый Джулио — последний извозчик селения — на автобус, мчащийся по новой дороге. Он еще надеется, что прошлое может вернуться... А может быть, оно действительно вернется? Дорога-то закончена, а работы по-прежнему нет! Авторы киноповести далеки от прогнозов на будущее, от подсказки новой цели. Единственным ответом пессимистам противостоит убежденность Гульельмо в том, что «нигде не сказано, что зло всегда должно оставаться злом» и что кьяравальцы и тысячи других жителей подобных селений должны всегда прозябать без работы. Разве вся Италия не их дом, и разве в этом доме нельзя найти дела для всех? «Стоит лишь взяться за кирку!» — вот мудрость, к которой пришли герои повести, а вместе с ними и мы. И достигнуто это не риторикой и не декларациями, а глубоким проникновением в жизнь простых людей, для которых труд — хлеб насущный и которые призваны прокладывать дороги, преобразующие землю и человеческую историю.

Замечательна техника, профессиональное мастерство кинодраматургов: действию, поступкам героев уделяют они особое внимание, все задачи ставятся и решаются поступками, а не рассуждениями. Форма и архитектура рассматриваемой повести заслуживают быть предметом специального анализа. Отметим здесь только, что, следуя системе Станиславского или совпадая с нею и тонко развивая ее, авторы «Дороги длиной в год» изложили материал в ста шести главах или режиссерских кусках, точно и метко озаглавленных согласно их «задаче». Поразителен их лаконизм, предельная экономичность: некоторые главы состоят из трех — шести строчек! Образы и характеры выписаны так ярко и подробно, пейзаж и интерьеры даны так вырази-

тельно и точно, что постановщику будущего фильма остается лишь «раскадровать» повесть — по ней можно снимать как по законченному режиссерскому сценарию.

Нам представляется полезным изучать и узнавать творческие особенности неореалистов не только для того, чтобы заниматься что-либо у них. Мы живем в совершенно иных исторических условиях: у нас нет проблемы безработицы, у наших рабочих нет необходимости стихийно браться за кирку, чтобы отстаивать право на труд. Огромные просторы целины, стройки коммунизма, неисчерпаемое обилие работ в нашей стране совершенно иначе ставят проблему труда и труженика. Но у нас есть зато свои конфликты, еще требующие раскрытия, а следовательно, в художественного отображения.

И не для того, чтобы учиться реализму у неореалистов, должны мы изучать их творчество. К счастью, у нас достаточно великих учителей на родной Руси. Именно великие русские писатели были в этом плане и учителями итальянцев: Толстой, Достоевский, Чехов, Горький. Неореалисты, по их собственным свидетельствам, обращались к нашим классикам прежде всего потому, что сами они разрабатывают сегодня все те же проблемы «униженных и оскорбленных», изблещают то же бесправие обездоленных, те же язвы классового общества. Нам труднее: новый общественный строй, новые взаимоотношения, новые люди — все это, впервые встречающееся в истории человечества, обязывает наше искусство искать новых, своих путей.

И все же нам есть чему поучиться у неореалистов! За последнее десятилетие мы — в силу ряда исторических причин — все больше делали парадные картины о выдающихся личностях, и даже наши фильмы о рабочих и крестьянах были чаще одами в честь кавалеров Золотой Звезды, чем рассказами о районных буднях наших людей. Нам предстоит еще сызнова научиться говорить с экрана о нашем современнике — рядовом строителе коммунизма — с той простотой и задушевностью, с тем интересом и вниманием, с той серьезностью и прямоотой, с которыми говорят, например, о своих рядовых соотечественниках авторы повести о «Дороге длиной в год».

С. КОРЫТНАЯ.

Пьеса Леона Кручковского

Леон Кручковский — один из крупнейших польских писателей старшего поколения. Первые его романы («Кордиан и хам», «Павлиньи перья») появились в начале тридцатых годов. Писатель-реалист талантливо изображал правдивую картину классовых противоречий польской деревни в период национально-освободительной борьбы. Книги его помогали читателю осмыслить важнейшие причины поражения национальных восстаний, от которых отошли народные массы, не поддержанные в своих требованиях шляхтой, овладевшей движением. Быть может, сегодняшнему читателю эта истина кажется избитой, не требующей доказательств, но в то время, в самый разгар «санационной» реакции, в период растущей фашизации страны, это были смелые мысли, по-новому освещавшие некоторые моменты истории польского народа. Тем, кто читал четверть века тому назад первые издания романов Кручковского, они не только доставляли эстетическое наслаждение, но и раскрывали глаза на многое. Книги эти воспитали целое поколение прогрессивных людей. Проза Л. Кручковского и В. Василевской, поэзия В. Броневского и Б. Ясенского наиболее ярко выражали в то время революционные стремления польского народа.

В послевоенном творчестве Л. Кручковского большое место заняла драматургия. И здесь Кручковский выступил как новатор. Его пьеса «Немцы» явилась, пожалуй, первым литературным произведением, написанным после второй мировой войны, в котором дифференцированно показывался немецкий народ. В столкновении разнообразных человеческих характеров писатель уловил элементы борьбы враждующих сил. Пьеса (не знакомая, к сожалению, советскому читателю и зрителю) шла на сценах театров многих европейских стран, в том числе и Германской Демократической Республики, где пользовалась большим успехом. Советский зритель знает пьесу Кручковского «Юлиус и Этель» в постановке Варшавского театра, приезжавшего в свое время к нам на гастроли. В прошлом году польские театры поставили новую пьесу Л. Кручковского «Посещение».

Следует сначала оговориться, что новая пьеса Кручковского не самое удачное его

произведение. Писателю не удалось полноценно осуществить свой творческий замысел. Однако и в этой пьесе отчетливо видно стремление Л. Кручковского поставить новые проблемы, найти для них не банальное решение.

Действие пьесы происходит на седьмом году существования народной власти. В старинном помещичьем доме располагается опытная станция института по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Руководитель станции Врона, его помощница Геля, лаборант Сульма разрабатывают здесь способы борьбы с колорадским жуком.

Но вот на станции появляются гости: профессор искусствовед, занятый реставрацией ратуши в соседнем городе, и его ассистент — молодая женщина Иоанна. Свое посещение профессор объясняет желанием ознакомиться с научными исследованиями станции. Однако читатель с самого начала чувствует, что дело здесь не только в научных интересах: недаром Иоанна так пристально рассматривает помещение станции, спрашивает, куда девалась прежняя мебель, топится ли старинный камин. Оказывается, она дочь бывшего помещика, в этом доме она родилась, здесь прошли ее детство и юные годы. Иоанна приехала, чтобы в атмосфере родного дома уяснить себе окончательно то, что ее беспокоило все это время. Ведь бывшие землевладельцы и фабриканты считают экспроприацию насилием, а себя — жертвами исторической несправедливости. Народ, по их мнению, лишь разрушитель, не способный на созидание. Посещение дома своих предков заставляет Иоанну глубоко задуматься над сутью исторических событий, осознать их великую правду и закономерность.

В романе Анны Зегерс «Мертвые остаются молодыми» воля народа трижды составляет Элизабет Ливен покинуть родовое имение в Прибалтике, и она трижды — при каждой победе реакции — возвращается туда. В этой опустошенной, циничной женщине горит лишь одно сильное чувство: тоска по дому, где прошло ее детство. Эта тоска усыпляет у Элизабет совесть, мешает ей осмыслить происходящее, приводит к гибели. В предсмертной молитве Элизабет с большой силой звучат ноты обреченности людей ее класса.

Л. Кручковский. Посещение. Авторизованный перевод с польского А. Горского. «Звезда» № 11 за 1955 год.

В пьесе Кручковского «Посещение» та же жизненная ситуация раскрывается по-иному. Иоанна навещает «свой» дом, гонимая тоской, но, убедившись, что она никому не нужна в старом дворянском гнезде, Иоанна покидает его. «За то, чтобы я могла вернуться в этот дом, мир должен заплатить слишком дорого», — говорит она. Ее возвращение этой ценой не стоит. К такому выводу Иоанну привела очная ставка с прошлым, покрытым доселе в ее глазах пеленой романтики.

Представитель этого прошлого, лаборант Сульма, был слугой у отца Иоанны. В народной Польше Сульма приобрел новую профессию. Он уважаемый человек, с его мнением считаются люди, он с гордостью ощущает пользу, приносимую им обществу.

Встреча Иоанны с Сульмой — основной стержень действия. Оба они — главные герои пьесы. Тонко, правдиво переданы автором те противоречивые чувства, которые овладевают Сульмой при встрече с «паненкой», его борьба за сохранение с таким трудом завоеванного чувства собственного достоинства. Не шутка ведь преодолеть вековое унижение, страх, зависимость от господ! Сульма встретил Иоанну в деревне до того, как она пришла на опытную станцию, и убежал от нее, как от призрака. В этом бегстве, кроме ненависти к прошлому, сказывается также неуверенность в своих правах. Ведь он, Сульма, хозяйничает теперь в панских хоромах.

Психологический рецидив прошлого у Сульмы особенно ярок во время его встречи с Иоанной в доме ее предков. На вопрос Иоанны, не осталось ли у него приятных воспоминаний о прежней жизни в этом доме, Сульма с внезапно воскресшим подобострастием вспоминает, как веселились господа, когда приезжали гости, как его посылали в погреб за вином и захмелевший пан утомлял его разговором.

Однако ночью, во время второй встречи с Иоанной, у Сульмы находят другие слова. Она выпрямляется на глазах у читателя. Сульма рассказывает Иоанне о себе: он с детства прислуживал господам, и от этой работы его «душа стала маленькой, слепой...»; он говорит о том, что после 1945 года пришли новые люди, открыли глаза на новую жизнь. И если Иоанна думает возвратиться сюда, пусть знает: нет возврата к прошлому для Сульмы и для миллионов таких, как он.

Как реагирует Иоанна на слова Сульмы? Что представляет собой эта женщина?

По избитым штампам, Иоанна должна быть заклятым врагом народной власти. Так прямолинейно, схематически думает руководитель опытной станции коммунист Врона. Он с крайним недоверием относится к Иоанне. Он столь же непроницателен, считая ее врагом, сколь непроницательны местные кулаки, считающие, что Иоанна должна быть в их лагере. Все они видят в ней имя, а не живого человека.

Писатель борется против такого бездушного «анкетного» отношения к людям. И делает это ненавязчиво, тонко. Жизнь, говорит он, ломает всякие схемы, человеческая душа богаче, глубже заранее созданных формул.

Иоанна Вельгорская нашла свое место в новой жизни — по ее собственным словам, совсем не плохое место. Она искусствовед. Дело, однако, не только в том, что Иоанна работает: для многих людей ее класса труд стал не делом чести, а печальной необходимостью. Иоанне просто нравится жизнь, в которой человека ценят за его труд. Она еще не связана органически с новой действительностью, в ней много неустойчивого, противоречивого. Ночь, проведенная Иоанной в беседе с Сульмой, имеет решающее значение для них обоих. Сульме она помогает закрепить завоеванное, Иоанне — отказаться от потерянного.

Если бы автор ограничился разработкой драматического конфликта, содержащегося в столкновении настоящего с прошлым, пьеса сильно выиграла бы. Писатель, к сожалению, решил помочь своей героине в ее внутренней борьбе. Вереница лиц, проходящих перед Иоанной после беседы с Сульмой, должна доказать ей всю мерзость прежней жизни. Но ведь Иоанна уже убеждена, она завоевала свою правду и без помощи наглядных иллюстраций. Этот прием выглядит не только излишним, но и наивным.

Не удался автору и представитель молодого поколения демократической Польши. Писатель сделал Врону очень принципиальным человеком, всецело преданным строительству социализма в своей стране. Но этот положительный герой говорит штампованным языком газетных передовиц, он недостаточно человечен, лишен чувства юмора.

По своему замыслу пьеса Л. Кручковского должна была отразить извилистый путь поколения, молодость которого падает на переходный период от старого к новому в Польше. Об этом свидетельствуют волнующие сцены первого и второго действий, полная драматического напряжения завязка конфликта. Однако на творческий замысел писателя наложила свою печать тенденция, присущая времени, в которое пьеса писалась, тенденция к лакировке, к бла-

гополучным концовкам, парадности. Не избежал этого в данном случае и такой крупный, своеобразный писатель, как Леон Кручковский.

Но весь творческий путь Леона Кручковского, путь писателя-революционера и последовательного реалиста, позволяет ожидать от него еще многих произведений — правдивых, глубоких и художественно убедительных.

А. ДИРИНГЕРОВА.

★

Пробуждение гражданина Бриха

О романе Яна Отченашека «Гражданин Брих» в Чехословакии много говорили, много спорили. Это объясняется не только тем, что молодой писатель («Гражданин Брих» только второе произведение Отченашека) поставил здесь волнующие, жгучие вопросы современной жизни Чехословакии, но и главным образом тем, что он сделал это в значительной степени по-новому.

Может быть, самая отрадная черта романа — это отказ автора от всякого рода штампов, предвзятых социологических схем и догм, в которые писатели нередко стремились «втиснуть» свои замыслы и которые явно тормозили поступательное развитие чехословацкой литературы. (Правда, не всегда Отченашеку это до конца удается, но неудачи его носят частный характер.)

Отченашек создает живые человеческие характеры, многосложные и многосторонние, показывая их в разнообразных взаимоотношениях с действительностью, в борении с собой, в противоречии развития.

Ни в коей мере не отказываясь от показа острых классовых столкновений и борьбы (это определяется и характером изображаемого исторического момента — февральские события 1948 года), Отченашек умеет показать, как эти столкновения влияют на внутренний мир героев, как они содействуют рождению нового человека, воспитывая не только сознание, но и чувства.

Центральный персонаж романа — Франтишек Брих — не схематичный «идеальный» герой без единого пятнышка. Это колеблющийся, сомневающийся, ищущий че-

ловек, далеко не сразу принявший новый строй народной демократии и пытавшийся даже бежать от него. И тем не менее это положительный герой, человек, обладающий высокими моральными качествами — честностью, прямоотой, искренностью. Его характер сложился в бурную переходную эпоху, которая определила весь строй его мыслей, чувствований и переживаний. Он страстно ищет свое место в жизни, ищет свою человеческую правду, одну-единственную. И эту правду он в конце концов находит именно там, где она объективно и существует, — в социалистическом строе, в людях, которые борются за него и создают его. Тем самым Отченашек утверждает силу, историческую закономерность, неодолимость и большую человеческую правду социализма, одну-единственную.

Эта мысль наметилась уже в первом романе Отченашека «Широким шагом» (1952). Но в своей первой вещи Отченашек еще во многом шел от схемы, характеры героев иногда были только намечены, производственный процесс часто заслонял человека. А образ инженера Вейделека, являющийся своего рода первоначальным наброском будущего Бриха, стоял как бы «на краю романа», в стороне от событий, не был связан с основными конфликтами.

В романе «Гражданин Брих» автор бросает нас в самую гущу бурных февральских событий 1948 года.

Министры-изменники подают в отставку. Рабочие под руководством Коммунистической партии берут власть в свои руки. На предприятиях, в учреждениях, в деревне создаются комитеты действия. Предприятия национализируются. Страна вступает на новый путь развития. В жизни чехословац-

Ян Отченашек. *Гражданин Брих*. Перевод с чешского Т. и Ю. Ансель, В. Чешихиной, Н. Арсевой. «Иностранная литература» №№ 7, 8, 9 за 1956 год.

кого народа происходит перелом огромного исторического значения, который требует от каждого человека точно и ясно определить свое место в происходящей борьбе, с кем он: с народом, вставшим на путь построения социализма, или против него.

Возникает этот вопрос и перед скромным чиновником Компании химических фабрик Франтишекком Брихом. После освобождения страны от фашистской оккупации ценой невероятных усилий Брех в короткий срок кончает университет, получает звание доктора прав. Он вырос на идеях, которые были господствующими в условиях Первой республики и были связаны с именем Масарика. Брех, если можно так выразиться, воинственно аполитичен. «Человек, который после нескольких лет «протекторатного» перерыва в учении сумел в кратчайший срок закончить юридический факультет, не может разрешить себе торчать на собраниях и препираться с запальчивыми членами разных партий о свободе личности, масариковской демократии, социализме и всех тех истинах, которые Брех и без того считал вполне ясными и давно признанными», — вот ход его рассуждений.

Но политика врывается в окна, стучит в дверь, требует ответа, решения и притом сейчас же, немедленно. Брех пытается сохранить «объективность», удержаться на нейтральных позициях. На вопрос своего приятеля, фабриканта Ража, за кого бы он стал голосовать на выборах, Брех отвечает: «...если верх будут брать коммунисты, я проголосую за «катэликов» или за...

— А если верх будем брать мы?

— Тогда наверняка за коммунистов. Демократия в нашей стране требует политического равновесия. Ей угрожают именно партийный фанатизм и догматизм — и левый, и правый».

«Верх» берут коммунисты, и Брех замыкается в свою скорлупу, отказывается от ответственного поста, который ему предлагают, затыкает уши и в прямом и в переносном смысле, когда с ним пытаются заговорить о политике: он не согласен, не согласен...

Можно, конечно, заткнуть уши, не слушать, что тебе говорят, можно сколько угодно заклинать «я — вне политики», но это не помогает Бриху. Политика окружает его со всех сторон, врывается в сознание, раскалывает голову: от мыслей-то никуда не убежишь!

Брех честен. Он не скрывает своих взглядов и своего «несогласия». Он открыто говорит об этом председателю комитета действия коммунисту Бартошу, соседу по квартире Патере, товарищам по работе. И Бартош ценит эту прямолинейную, честную и безоглядную откровенность и не терпит надежды завоевать Бриха, «вправить ему мозги».

С каждым днем Бриху все труднее сидеть на двух стульях. Разоблаченная попытка распространить листовку, подsunутую ему Ражем, толкает Бриха на роковое решение — бежать за границу, куда давно и настойчиво тянет его Раж.

Очувтившись в компании обанкротившихся торговцев, дельцов, фабрикантов, озлобленных и опустошенных людей, мечтающих о новой войне, чтобы силой оружия вернуть себе свои виллы, заводы, магазины, Брех понял наконец, где его место. В заброшенной сторожке лесоруба, в нескольких километрах от границы, где собралось все это отребье старого строя, приходит к Бриху настоящее решение. Почти иступленно, с болью, с горечью, с клокочущей ненавистью бросает Брех им в лицо свою с таким трудом обретенную правду:

«Чего вы, собственно, от меня хотите? Чтобы я шел с вами? А я не могу идти дальше! Не могу! Вы прогнали! Вы — грязные, преступные, вы — поджигатели! Какого труда мне стоило... пока я разобрался в вас... Но теперь вы вас понял! Вы... вы — враги людей! Чего вы хотите? Новой войны? Для чего?.. Только ради ваших денег, ваших лавок, — хрипло продолжал Брех, — ради них скулите вы, требуя демократии, свободы... Ложь, мошенничество!..»

И вот Брех снова за своим столом на работе. Снова против него знакомое худое, усталое лицо коммуниста Бартоша. Но теперь оно уже не раздражает его, не вызывает на дерзость, на отпор. И именно ему, Бартошу, доверяет Брех то новое, что пришло к нему той ветреной апрельской ночью на границе:

«Как вам это сказать? Наверное, я понял только... самое главное, как вы говорите. Понял основное. Где свет и где тьма, где жизнь и где смерть. Что такое будущее, мир... и где — прошлое. Вам, может быть, все это покажется смешным и патетичным, но вы поймете меня... Одно я знаю твердо: невозможно оставаться порядочным человеком, если ты... сложил ру-

ки за спиной... увиливаешь... если ты видишь зло — и не борешься против него... если ты — ни на чьей стороне. Знаете, в голове у меня до сих пор полный хаос, но я знаю одно: я должен быть на этой стороне... здесь мое место...»

Образ колеблющегося интеллигента, мучительно долго освобождающегося от буржуазных иллюзий и предрассудков, не нов в литературе. Не раз встречались мы с ним у советских писателей и писателей стран народной демократии, да и у самого Отчеша. Но в Брихе есть черты, которые отличают его от литературных предшественников и делают его внутренние переживания более сложными, раскрывают какие-то новые стороны жизни и человеческого характера. Брих не просто буржуазный интеллигент, он даже вовсе не буржуазный интеллигент. Сын прачки, рано потерявший отца, рабочего-машиниста, Брих всю жизнь мечтал «выбиться в люди». Бедность, нужда, унижения отравили ему детство и юность. И вот теперь, когда он получил образование, когда перед ним открывается широкая дорога, вдруг все, как ему кажется, рухнуло. К его протесту против власти «одной стороны», против нарушения абстрактно понимаемых «принципов демократии и гуманизма» неприметно примешивается и протест «маленького человека», которому, по его мнению, хотя бы мешать сделаться «большим». И эти мелкие, подспудные, не всегда осознанные самим Брихом мотивы также развеял апрельский ветер пограничных Шумавских гор.

Брих пережил глубокий духовный кризис, который не сломил, а возродил его, очистил от скверны мешанского мелкобуржуазного мировоззрения и психологии. Это было не только воспитание сознания, но и воспитание чувств. И лучшие душевные качества Бриха — честность, прямота, бескомпромиссность, гуманность — приобрели как бы новую окраску. Это сказалось прежде всего на его отношении к Ирене, которая, подобно ему, также пережила большое душевное потрясение и после долгих колебаний и сомнений также покидает зловещую сторожку, покидает мужа (Ража), отца ожидаемого ребенка, и возвращается на родину, к своим — к отцу, брату и... Бриху, которого когда-то любила, но от которого ушла, обиженная его боязнь решиться при своей материальной необеспеченности на женитьбу, на ребенка.

По замыслу автора, «Гражданин Брих» — это не только роман о Брихе и его пробуждении, но и книга о многих и многих людях, застигнутых февральской бурей и определяющих свои пути в новых условиях народно-демократической Чехословакии, свое отношение к социализму. Но в русском переводе книга значительно сокращена: из нее взята лишь одна треть. Выделена по существу только одна сюжетная линия романа — история Бриха.

Это сокращение произведено (за некоторыми исключениями, о которых будет сказано ниже) довольно искусно и не привело к тому, что вокруг живого человека Бриха оказались бледные подобию людей, существующих только в двух измерениях. Нет, это живые и сложные человеческие характеры, хотя и не всегда изображенные с достаточной полнотой.

Глубже и интереснее других раскрыт образ Бартоша, который сыграл немалую роль в просветлении Бриха. Бартош Отчеша — это не схематичный образ руководителя, который в качестве представителя партии быстро разрешает все конфликты и сомнения. Скромный труженик, бухгалтер, человек, отличающийся педантичностью, даже какой-то раздражающей аккуратностью, он создает у окружающих впечатление «сухаря». В нем и есть кое-что от «сухаря». Он привык раскладывать людей по «полочкам». Он завел тетради, в которые записывает характеристики окружающих его людей, мечтая об огромной картотеке, которая охватила бы все разнообразие человеческих характеров. Но вот Брих никак не умещался на его «полочке». Недаром начатая о нем запись так и осталась незаконченной, а после истории с Брихом Бартош и вовсе забросил свою картотеку.

Работа в комитете действия, непрерывное общение с очень широким кругом людей, история Бриха и, может быть, в особенности зарождение любви к Марии Ланд во многом изменили Бартоша, сделали его человечнее, растопили тот ледок, который почти неприметно стоял между ним и окружающими. Тогда стало ясно, что его сухость, педантичность и раздражающая аккуратность прикрывают другие необычайно привлекательные качества: глубокую принципиальность коммуниста, безоглядную преданность великому делу, которому он служит. Помогая другим расти и уча

других, Бартош учится и сам, сам растет и проходит свое «воспитание чувств».

Свой путь проходит и дядюшка Бриха — Мизина — приспособленец и карьерист, мешанин с холодной и мелкой душой. Он одним из первых поспешил вступить в коммунистическую партию, когда она пришла к власти. Он со всем «согласен», все «примлет», а сам думает лишь о карьере, о повышении по службе, систематически «ускоряя» приближение смерти своего начальника, родственника и «друга», в надежде занять его пост.

Особое место занимает в романе образ Патеры. В сокращенном варианте романа Патера играет чисто служебную, но и в известной мере символическую роль. Он выступает как образ простого рабочего-коммуниста, одного из тех, кто с винтовкой в руках отстаивал новый строй и готов положить за него свою жизнь. Недаром именно лицо Патеры бросилось в глаза Бриху, когда он наблюдал марширующие по улицам Праги отряды народной милиции — опору новой власти. Но характер Патеры как человека, его личная судьба в сокращенном варианте романа показаны очень скупно.

Великолепен у Отченашека коллективный портрет кучки обанкротившихся дельцов, собирающихся переправиться за границу в поисках «подлинной демократии и свободы». Здесь и дегенерат Тайхман-старший и убийца Борис Тайхман (крупные фабриканты); и велеречивый адвокат Лазецкий, мечтающий о крестовом походе против родины; и размякший от страха и бессильной злобы, превратившийся в какой-то мокрый мешок, крупный торговец мехами Калоус; и, наконец, Раж — энергичный и самоуверенный, не теряющий присутствия духа, но тем более опасный хищник.

Напрасно только Отченашек ввел сюда образ Евы — давно примелькавшийся тип опустошенной, циничной красавицы авантюристки, своего рода женщины-вампа, в которой вдруг пробуждаются какие-то

проблески подлинного чувства, толкающие ее на смелый поступок (она выбила оружие из рук Бориса Тайхмана, стрелявшего в Бриха).

И все же кое в чем сокращения, произведенные в русском переводе, уменьшили глубину показа действительности. Речь идет об изъятии из романа вступительной его части, так называемой «Прелюдии», рисующей начало «дружбы» Бриха с Ражем. Эта дружба-вражда, сложившаяся еще в гимназические годы, материальная зависимость от Ража приучили Бриха подчиняться ему, несмотря на неоднократные попытки выбиться из-под этого влияния. Брих всегда чувствовал себя рядом с ним «маленьким человеком». В памятную апрельскую ночь в пограничной сторожке произошло не только освобождение Бриха от прежних иллюзий и предрассудков, но и освобождение от подчинения Ражу, то есть от психологии «маленького человека», которая сковывала героя, лишала его веры в себя. Изъятие из русского перевода «Прелюдии» лишило в какой-то степени поведение Бриха психологической оправданности, убедительности.

Еще в одном отношении «обижен» автор в русском издании романа: это касается качества перевода. В целом перевод романа, произведенный коллективом переводчиков, сделан вполне квалифицированно и вдумчиво. Но язык романа сложен. В нем есть удивительная свежесть восприятия мира, энергия, красочность. Эта красочность, образность не всегда доносятся переводчиками.

Кто-то из наших советских переводчиков хорошо сказал, что надо стремиться переводить не слова, а воссоздавать образы. Вот именно это здесь больше всего и требовалось, так как роман Отченашека, насыщенный жгучими проблемами современной жизни, написан ярко, талантливо, образно.

С. ВОСТОКОВА.

Политика и наука

В защиту мира

Нападение Англии, Франции и Израиля на Египет является прямой военной агрессией, решительно воспрещенной Уставом Организации Объединенных Наций.

Эта агрессия вызвала могучее движение протеста во всех странах мира — в том числе в самих Англии, Франции и Израиле. Естественно, не могла остаться в стороне от этого движения и организация, специально созданная для ограждения мира и безопасности народов, — Организация Объединенных Наций. Однако меры, проводимые органами ООН против агрессоров, носят все черты политики «замедленного действия».

Трагедия Египта, члена ООН, которого ООН не смогла защитить от военной авантюры членов ООН — Англии и Франции, еще раз показала народам, что в некоторых странах продолжают действовать реакционные агрессивные силы, готовые любые факты и любые события использовать для развязывания войны и фашизма.

Теме защиты мира посвящена монография члена-корреспондента Академии наук СССР А. Н. Трайнина.

В книге обстоятельно изложена история того, как на протяжении тридцати лет — сначала в Лиге Наций, а потом в ООН — усилия подлинного борца за мир, Советского Союза, были направлены к определению самого понятия агрессии.

В 1953 году проект определения агрессии, внесенный представителем СССР в специальный подкомитет ООН, вновь столкнулся с сопротивлением агрессивных кругов Англии и США. «Соединенное Королевство, — говорил представитель Англии, — опираясь на длительный и успешный опыт сопротивления агрессии, абсолютно уверено, что определение не остановит потенциальных агрессоров и явится помехой для жертвы. Поведение агрессора определяется степенью риска и шанса на успех. Во всех случаях нападения сильных на слабых никакое определение агрессии не предоставило защиты жертве».

Верно, конечно, что определение агрессии само по себе не способно остановить

агрессора. Верно и то, что поведение агрессора определяется шансами на успех. Но ведь не вызывает сомнений и тот факт, что шансы агрессора на успех должны уменьшиться в результате четкого определения агрессии.

В настоящий момент, после того как Англия совершила открытое нападение на Египет, становится совершенно ясным, почему английский представитель в ООН так настойчиво выступал против определения агрессии.

Вслед за общим учением о преступлениях против человечества А. Н. Трайнин рассматривает отдельно преступления против мира, против законов и обычаев войны и преступление геноцид.

В книге дана характеристика двух противоположных политик в борьбе с преступлениями против человечества: одна твердо и неуклонно проводится Советским Союзом и выражается в решительной борьбе с преступлениями против человечества; другая, проводимая империалистическими державами, выражается в снисходительном, а порой и в покровительственном, благожелательном отношении к виновникам тяжчайших преступлений против мира и безопасности народов.

Проблема защиты мира охватывает и вопросы разоружения. И здесь противостоят друг другу две политики. Правительство Советского Союза предпринимает все шаги к тому, чтобы на деле было осуществлено разоружение и отказ от атомной войны. С другой стороны, правительства империалистических держав упорно отказываются от принятия действенных мер к сокращению вооружений. Не может быть более красноречивого показателя противоположности двух указанных политик, как то, что всякий раз, когда правительство Советского Союза выражает готовность в целях скорейшего разрешения проблемы разоружения принять предложения других участников переговоров, последние отказываются от своих собственных предложений и тем самым не допускают соглашения о разоружении, как об этом напомнил Председатель Совета Министров Н. А. Булганин в своем ответном послании президенту США Эйзенхауэру от 11 сентября 1956 года.

А. Н. Трайнин. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества. Ответственный редактор Б. С. Никифоров. 200 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1956.

Работа профессора Трайнина проникнута здоровым оптимизмом. В книге как лейтмотив не раз звучат слова, выражающие веру советского народа в то, что победа останется за силами мира. Книга заканчивается вдохновляющими словами К. Маркса: «...В противоположность старому обществу с его экономической нищетой и политическим безумием нарождается новое общество, международным принципом ко-

торого будет мир, ибо у каждого из народов будет один и тот же властелин — труд».

Рецензируемая работа написана рукой мастера, отлично знающего свой предмет и владеющего искусством точного юридического анализа. Монография А. Н. Трайнина удостоена премии президиума Академии наук СССР.

*Доктор юридических наук
Н. ПОЛЯНСКИЙ.*

★

Китайская деревня на новом пути

Книга «Социалистический подъем в китайской деревне» представляет собой перевод китайских материалов и статей, написанных главным образом партийными работниками и сельскими активистами. Редактированием китайского сборника руководил товарищ Мао Цзэ-дун. Им же написаны предисловие и замечания к большинству материалов.

Цель книги, как сформулировал ее Мао Цзэ-дун, состоит в том, чтобы «дать возможность еще большему числу людей разобратся в нынешней обстановке в деревне».

Коммунистическая партия Китая сумела творчески применить ленинский кооперативный план перевода мелкотоварного крестьянского хозяйства на путь социализма. В условиях мало развитого промышленного производства преобразовать отсталую китайскую деревню на основе коллективного труда оказалось поистине сложной и в то же время грандиозной задачей. Для ее решения Коммунистическая партия Китая применила гибкую тактическую линию по отношению к различным социальным слоям крестьянства.

Опираясь на бедноту, осуществляя союз бедноты с середняками и изолируя кулачество, партия в ходе аграрной реформы добилась ликвидации экономической основы эксплуатации крестьянства. Помещичьи земли были конфискованы и переданы в собственность безземельным и малоземельным крестьянам. Руководство крестьян-

ством со стороны китайского пролетариата усилилось, укрепился союз рабочего класса и крестьянства.

Аграрная реформа открыла китайскому крестьянству путь к зажиточной жизни. Однако серьезными препятствиями — напомним тяжелого прошлого — оставались аграрная перенаселенность и нехватка годной к обработке земли. После реформы в стране приходилось в среднем по одной пятой, а в некоторых южных районах — по одной шестнадцатой гектара пахотной земли на человека. Таким образом, без перехода к более высоким общественно-экономическим формам в сельском хозяйстве не могло быть и речи о том, чтобы поднять материальный уровень многомиллионных масс крестьянства.

Уже в ходе аграрной реформы трудовые массы китайского крестьянства активно поддерживали курс Коммунистической партии на социалистическое кооперирование деревни. Постепенность в переходе от одной формы сельскохозяйственной кооперации к другой, личная заинтересованность тружеников в кооперативном ведении хозяйства, исключение какого бы то ни было администрирования, строжайшее соблюдение принципа добровольного вступления в кооператив — вот решающие факторы, обеспечившие успех кооперирования крестьянства.

Первой, простейшей формой кооперации стали сельскохозяйственные производственные группы взаимопомощи, созданные в районах, где была проведена аграрная реформа. Преимущество этой формы кооперации перед единоличным хозяйством оказалось настолько убедительным, что в 1952 году участие в организациях взаимо-

«Социалистический подъем в китайской деревне». Сборник избранных статей. Подготовлен Канцелярией ЦК КПК. Редактор перевода Г. С. Согомонян. 504 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1956.

помощи принимало сорок процентов крестьянских дворов, а в 1954 году их количество возросло почти в полтора раза.

Проверив жизнеспособность групп взаимопомощи и опираясь на них, народная власть и партия стали подводить крестьян к низшей, полусоциалистической форме коллективного труда — сельскохозяйственным производственным кооперативам. Вступившие в них крестьяне вносили в качестве пая свои земельные участки, на которых велось единое хозяйство, хотя по-прежнему сохранялась частная собственность на землю и основные средства производства. К первой половине 1955 года число производственных кооперативов в Китае достигло 670 тысяч, охватив примерно семнадцать миллионов крестьянских дворов.

Партия неослабно следила за развитием кооперативного движения, на ходу выправляя ошибки. Резкий перелом в сторону кооперирования, наступивший летом 1955 года, объяснялся не только тем, что к этому времени — и это главное — партия добилась существенных сдвигов в социалистической индустриализации страны, укрепивших экономический и политический союз города и деревни, рабочего класса и крестьянства, но и тем, что партия сумела расколоть враждебные социалистическому кооперированию силы китайской деревни, изолировать или нейтрализовать их.

В результате правильного руководства партии кооперативное движение получило новое развитие, выразившееся в том, что кооперативы низшего типа стали превращаться в социалистические кооперативы высшего типа. В этой форме сельскохозяйственной кооперации земля и основные средства производства, в отличие от группы взаимопомощи и сельскохозяйственного производственного кооператива, находятся не в частной, а в коллективной собственности всех членов кооператива.

Свидетельством резкого изменения лица китайской деревни служит тот факт, что, по данным на июнь 1956 года, из ста двадцати миллионов крестьянских дворов в стране сто десять вступили в сельскохозяйственные производственные кооперативы. При этом две трети всех дворов вступили в кооперативы высшего типа.

Было бы ошибкой думать, что кооперирование деревни проходило и проходит без борьбы, без трудностей. Помещики и кулаки предпринимали неоднократные попытки развалить кооперативы. Они растас-

кивали и укрывали продовольствие, распространяли среди членов кооперативов провокационные слухи.

Одним из последствий аграрной реформы и социалистических преобразований в сельском хозяйстве явилась новая расстановка классовых сил. Пореформенная китайская деревня не представляет нечто однородное в социальном отношении. Слой бедняков и низших середняков все еще составляет от 60 до 70 процентов, слой зажиточных и сравнительно зажиточных середняков — от 20 до 30 процентов при незначительной прослойке кулачества.

Центральным звеном в политике партии в деревне в связи с ее кооперированием стала проблема укрепления союза рабочего класса с середняком.

Нижший слой середняков идет вместе с беднотой и активно поддерживает курс Коммунистической партии на кооперирование деревни. Зажиточные или сравнительно зажиточные середняки, хотя в массе своей и поддерживают политику партии, не всегда последовательны в своем отношении к кооперированию. Поэтому задача заключается в том, чтобы полностью перетянуть их на сторону кооперации.

«В первой половине 1955 г., — говорил Мао Цзэ-дун, — большинство зажиточных середняков еще отрицательно относилось к кооперированию. Но во второй половине того же года часть из них изменила свои взгляды и заявила о своем желании вступить в кооперативы, хотя некоторые делали это с целью занять руководящее положение в кооперативах. Другая часть зажиточных середняков испытывала очень большие колебания. На словах эти люди были за вступление в кооперативы, а в душе они не очень стремились к этому. Третьи все еще выжидали. В отношении этой группы середняков партийные организации деревни должны придерживаться политики терпеливого ожидания. Для того чтобы обеспечить за крестьянской беднотой и новыми маломощными середняками ведущую роль, известная отсрочка вступления некоторой части зажиточных середняков в кооперативы даже выгодна».

В политике укрепления союза с середняком очень важно вселить в него убеждение в бесперспективности капиталистического предпринимательства и, напротив, вдохнуть веру в прочность и преимущества кооперативного хозяйства. При этом большое значение приобретают экономические

формы воздействия государства на середняцкие хозяйства. Например, государственные централизованные закупки и сбыт зерна по справедливым ценам подрывают и ликвидируют попытки середняков заниматься капиталистической спекуляцией товарным зерном.

Сборник убеждает в том, что китайские коммунисты применили гибкие тактические средства, направленные к тому, чтобы сплотить вокруг дела социалистического преобразования деревни большинство сельского населения и даже те элементы, которые по природе своей враждебны социализму. Взяв курс опоры на бедноту и союз с середняком, китайские коммунисты дифференцировали кулаков и помещиков в зависимости от их отношения к социалистическим преобразованиям в деревне. «В Китае кулачество, — говорит Мао Цзэдун, — экономически очень слабо. В период аграрных преобразований у него была конфискована та часть земли, которая использовалась для полуфеодальной эксплуатации. Теперь большинство прежних кулаков уже не имеет наемной рабочей

силы. Общественный авторитет их тоже резко упал».

Решающая победа коммунистов в деревне позволила изменить отношение к бывшим помещикам и кулакам. В начальный период кооперирования «им, — как сказал на VIII съезде КПК Лю Шао-ци, — было запрещено вступать в кооперативы, и лишь только после победы, одержанной в движении за кооперирование, партия приняла решение дифференцированно, с учетом конкретной обстановки и различий в социальном положении, дать возможность бывшим помещикам и кулакам работать в кооперативе, определяя их положение в нем, предоставляя им равную оплату за равный труд, чтобы перевоспитать их и сделать из них новых людей».

Книга «Социалистический подъем в китайской деревне» знакомит читателя с ценнейшим опытом перевода десятков миллионов мелких крестьянских хозяйств на ступень более высоких форм кооперации. Значение этого опыта выходит далеко за пределы Китая.

Е. КОВАЛЕВ.

★

Новое о «Слове о полку Игореве»

Уже много лет профессор В. Г. Федоров работает над «Словом о полку Игореве». Пристально и с большим вниманием он изучает спорные вопросы, связанные с этим великим памятником русской средневековой поэзии, прежде всего с точки зрения военного искусства. Именно благодаря трудам В. Г. Федорова (генерал-лейтенанта инженерно-технической службы) удалось выяснить многие обстоятельства русского похода в степь в 1185 году, при каких условиях, с какой быстротой русские воины шли «неготовыми дорогами» в степь, в землю «незнаему».

Книга В. Г. Федорова ставит и другой, вечно интригующий всех почитателей «Слова о полку Игореве» вопрос о том, кто был автором «Слова».

Вопрос этот не новый. И раньше делались предположения, кем был древнерусский поэт XII столетия, написавший «Слово». Однако нельзя сказать, чтобы самые убедительные с первого взгляда предполо-

жения о том, кто был автором «Слова», оставались бы столь же убедительными после внимательной их критики историками, лингвистами, литературоведами, этнографами. Вопрос оставался открытым для новых исследований. Но уже постановка вопроса о возможном авторе «Слова», если только она основывалась на серьезном изучении источников, всякий раз делала новый вклад в богатую литературу о «Слове», настолько богатую, что одно краткое изложение содержания книг и статей о «Слове», сделанное с таким умением и любовью профессором Головленковым, едва вместились в объемистую книгу.

В. Г. Федоров выступает с новыми взглядами и предположениями о возможном авторе «Слова о полку Игореве». При этом он не ограничивается только рассмотрением чужих гипотез, выдвигая на их место свою; нет, он существенно меняет весь арсенал доказательств, которыми до него пользовались другие исследователи «Слова», привлекая новый, вернее сказать, почти не изученный исторический материал.

Наше мнение может показаться неожиданным и необоснованным. В самом деле,

В. Г. Федоров. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена рена Каяла. Редакторы В. Л. Коваленко, Н. С. Филиппова. 176 стр. «Молодая гвардия». М. 1956.

спросят, какой же новый материал мог обнаружить Федоров? Неужели он нашел новую летопись, грамоту? Отнюдь нет. Но Федоров оживил интерес к давно забытому материалу двухсотлетней давности, оставленному историками и литературоведами без должного внимания: речь идет о рассказе, помещенном в «Истории Российской с древнейших времен» В. Н. Татищева.

Странную судьбу имела эта «История», представленная в середине XVIII века в Академию наук и оставшаяся долгое время в рукописи. Только в 1774 году труд Татищева был напечатан в типографии Московского университета, и притом далеко не по лучшему списку. «История» вышла тогда, когда уже стали появляться различные статьи по истории России, когда М. М. Щербатов (1733—1790) готовил свою многотомную историю России, когда уже были напечатаны некоторые летописи, когда зародился и развился дух критицизма по отношению к историческим источникам и А. Шлецер (1735—1809) уже начал готовить своего «Нестора». Исторические труды Татищева в это время казались уже устаревшими, некритическими, и молодые русские историки того времени увидели в них только нагромождение источников. Тогда-то создалась легенда о «подлогах» Татищева, живучая и ядовитая, как всякая клевета.

Заслугой В. Г. Федорова является то, что он осмелился привлечь рассказ Татищева о походе Игоря против половцев, рассказ, о котором исследователи «Слова» обычно говорили с большим сомнением.

Что же представляет собой текст «Истории» Татищева, говорящий о событиях XII столетия? Тщательное изучение показывает, что в руках Татищева была какая-то летопись, близкая к Ипатьевской, но не тождественная с ней. Эта летопись была несколько полнее Ипатьевской и, видимо, основывалась на каком-то общем с ней протографе¹. Чтобы доказать это положение, стоит только сравнить текст Ипатьевской летописи с текстом Татищева, что в настоящее время и делает автор этих строк, надеясь в будущем опубликовать свои наблюдения в виде особой статьи. Пока же скажем только, что текст Татищева, посвященный походу 1185 года, восходит к древней летописи, а это позволяет

¹ Первоначальная рукопись, легшая в основу позднейших списков.

им пользоваться как историческим источником, совершенно несправедливо оставшимся до настоящего времени в забвении.

Рассказ о походе Игоря в степь дополнен в «Истории» Татищева повествованием о пребывании Игоря в плену и о бегстве его из плена. Предполагать, что этот рассказ был сочинен Татищевым, нет никаких оснований, так как в первой половине XVIII столетия, когда писал Татищев, «Слово о полку Игореве» известно не было. Следовательно, не было и оснований для совершения подлога. Впрочем, нельзя рассказ о бегстве Игоря считать и современным событиям 1185 года. Он написан спустя много лет, когда Лавор, помогавший Игорю бежать из плена, уже умер. Это вытекает из татищевского текста, который говорит, что дети Лавора и «ныне суть вельможами в Северной земли».

После этих предварительных замечаний остановимся на содержании книги В. Г. Федорова. Она разделяется на две части: в первой говорится о маршруте похода 1185 года, во второй — о значении «Слова» для истории оружия. Там же высказывается предположение об авторе «Слова».

Соображения В. Г. Федорова об оружии и военных особенностях русских походов в степь крайне интересны. Автор убедительно показывает, что русские войска перемещались в степи с гораздо большей скоростью, чем это предполагают некоторые исследователи «Слова», почему-то устанавливавшие для русских дружин киевского времени норму похоронных процессий. Конечно, при скорости переходов в 20—25 километров в сутки нельзя было бороться с кочевниками-половцами. Наличие в войске Игоря пеших воинов из числа «черных людей» также не говорит о том, что эти воины шли в степь пешими, а не сидели на конях. Напомним о битве при Липицах в 1216 году, когда новгородцы слезли с коней и бились пешими, как их предки, да еще босыми для большей легкости. Это объясняется тем, что новгородские ополченцы, набранные по преимуществу из ремесленников, плохо сражались на конях и предпочитали знакомый им пеший бой, но во время похода ехали верхом.

Значительно более спорными, хотя и очень интересными, представляются предположения В. Г. Федорова о маршруте и месте битвы русских с половцами в 1185

году. В основном наблюдения автора сходятся с наблюдениями К. В. Кудряшова, одного из крупнейших знатоков нашей исторической географии. Однако во всех построениях Кудряшова и Федорова ахиллесовой пятой является попытка объяснить слова летописи о море, в котором утонули многие русские воины, так, как будто речь идет об озере. Правда, летописец мог употребить выражение «море» и по отношению к озеру. Однако непонятно, каким образом «Слово о полку Игореве» могло бы спутать Азовское море с воображаемой соленой лужей в районе современной Макатихи.

«О далече зайде сокол, птиц бья к морю», «готские деды воспеша на брезе синего моря», «присну море полунощи», «черныя туча с моря идут», — читаем в «Слове о полку Игореве». Как понимать эти выражения, откуда они у автора, никогда не видевшего моря?

Следовало бы также доказать, что слово «море» в значении озера употребляется не просто в словесности, а в наших летописях. Приведенные же В. Г. Федоровым примеры очень неубедительны. Разве можно сравнивать такие озера, как Байкал и даже Чудское озеро, называемые иногда «морями», то есть громадные водоемы, с каким-то неизвестным озером в районе Донца? Не убедительна и ссылка на Перепетовское поле, где будто бы было «загадочное лукоморье», потому что в летописи как раз говорится о том, что князь Михалко спласса некогда «в луце моря». Из текста летописи видно, что здесь речь идет не о Перепетовском поле, а о каком-то случае с Михалком, происшедшем в лукоморье (см. в Лаврентьевской летописи под 1169 годом — «избави его от смерти, якоже и преже в луце моря»). Как раз из этого текста видно, что «море» совсем не было столь чуждо походам русских князей, как это представляется автору.

Неудачными оказались и поиски большого озера в степи. Карты XVI—XVII веков с их искаженными линиями рек и воображаемых озер помогают тут очень мало. Запись Василия Тяпина о больших озерах не дает еще права «утверждать о существовании громадного озера на Северском Донце». От большого до громадного — дистанция огромного размера.

Значительная часть книги В. Г. Федорова отведена вопросу о том, кто был автором «Слова о полку Игореве». Это вопрос

старый, по которому высказано было много мнений. К сожалению, в пределах краткой рецензии невозможно сколько-нибудь подробно рассказать о различных предположениях по этому поводу. В. Г. Федоров выдвигает гипотезу, что автором «Слова» был тысяцкий Рагуил. Наблюдения В. Г. Федорова заслуживают внимания, однако наиболее уязвимым в его построении является то, что он не приводит серьезных доказательств в пользу своей гипотезы. К тому же трудно поверить тому, что тысяцкий Рагуил, принимавший участие в киевских событиях 1147 года, это тот неизвестный поэт, который идет в поход в 1185 году и пишет около 1187 года гениальную поэму. В авторе «Слова» в этом случае надо предполагать человека в возрасте примерно семидесяти лет (а не шестидесяти, как предполагает В. Г. Федоров), потому что тысяцкими редко делались в ранней юности. Ведь между 1147 и 1187 годами лежит промежуток в сорок лет.

Но предположим даже, что Рагуил в семьдесят лет с юношеской энергией написал великую поэму. Остается непонятным, почему в событиях 1147 года тысяцкий Рагуил выступает врагом черниговских князей Ольговичей, а позже делается тысяцким одного из Ольговичей.

Кажется, в данном случае В. Г. Федоров следует непреодолимо стремлению многих авторов обязательно «пристроить» то или иное литературное произведение к определенному лицу, известному по летописям или другим источникам. Но это — дело весьма сомнительное, потому что летописи умалчивали о многих событиях и еще о большем количестве исторических деятелей. Достаточно сказать, что мы не можем составить, например, полный список русских митрополитов XI—XIII столетий, а казалось бы, это были достаточно видные люди в средневековье, да еще люди, связанные с образованными кругами того времени из числа духовенства.

Но если даже В. Г. Федоров имел какое-то право отождествлять Рагуила 1147 года с Рагуилом 1187 года, то совсем уже непонятно объяснение тех причин, по которым Рагуил покинул Мстиславичей и перешел на сторону Ольговичей: «тысяцкий Рагуил отказался принимать какое-либо участие в непристойных делах княжеских и ушел от Владимира Мстиславича». В. Г. Федоров говорит даже о каком-то суде в Печерском монастыре над князем

Владимиром Мстиславичем в 1169 году. Между тем речь идет не о суде, а о княжеском споре по поводу замыслов Владимира Мстиславича. Уход Рагуила от Владимира в том же году объяснен В. Г. Федоровым как поступок, обусловленный высокой моралью Рагуила. Однако «высокая мораль» Рагуила не помешала ему служить Игорю Святославичу, о жестокости которого собственными же словами Игоря повествуется в Ипатьевской летописи. А самое главное: в татищевском тексте говорится только, что дочь тысяцкого Рагуила выдана была за Лавора, который помог Игорю бежать из плена.

Летописи и другие литературные произведения древней Руси дошли до нас в обрывочном состоянии; в особенности это следует сказать о черниговских летописях. Поэтому попытки привязать «Слово о полку Игореве» к определенному автору, при всей их закономерности, пока еще остались безрезультатными. И едва ли это случайно. Ведь не упоминает наша летопись о Бояне, этом «словутном» певце, лишь мимоходом говорит о знаменитом певце Митусе и т. д. А неужели эти певцы были одиночками? Вероятно, таких певцов было немало, может быть не столь гениальных, как автор «Слова», но все-таки выдающихся.

Наши краткие замечания хотелось бы за- ★

Шестьдесят лет в труде

«Прочитав эти записки, я призадумался. Что это такое — воспоминания или основанный на личных впечатлениях очерк развития русского, советского горного дела, преимущественно Донбасса? Думаю, что это нечто среднее, сочетание того и другого». Так заканчивает свою книгу «Воспоминания горного инженера» старейший советский ученый-горняк, академик Александр Митрофанович Терпигорев, шестьдесят лет работающий в горной промышленности. Действительно, автор хорошо сочетал рассказ о своем пути в науке с очерком развития горного дела и подготовкой специалистов в этой области.

Среди деятелей дорволюционной высшей школы было немало людей, которые даже в самые мрачные годы, вопреки всем барье-

рерами кончить выражением удовлетворения, что библиография «Слова о полку Игореве» пополнилась новым и ценным исследованием.

Работа В. Г. Федорова заставляет задуматься над многими проблемами, связанными не только непосредственно с походом Игоря, но и с русско-половецкими отношениями. Где кочевали половцы, где находился центр их кочевий — вот некоторые из вопросов, которые невольно возникают при чтении «Слова о полку Игореве». И большой заслугой В. Г. Федорова является уже попытка разрешить эти вопросы, заново пересмотреть взгляды на характер вооружения и боевые порядки русского войска и походов в степь. Был ли Рагуил автором «Слова о полку Игореве» или кто-либо другой — неизвестно, но само «Слово» существует, и всякий дальнейший шаг в изучении этого великого памятника следует приветствовать.

Книга В. Г. Федорова принадлежит к числу таких произведений, которые читаются с удовольствием и интересом не только специалистами (они, может быть, и поморщатся, когда прочтут чересчур уж смелые суждения автора), но и широким кругом читателей. Эта книга, написанная о столь далеком от нас времени, будит интерес к прошлому русской земли.

Академик М. ТИХОМИРОВ

рам и холодному равнодушию властей, искали новых путей в науке и технике, горячо веря, что их труд нужен народу. Оный шли путем Тимирязева, Менделеева, Сеченова, Докучаева, Штернберга и многих других передовых русских ученых.

А. М. Терпигорев также принадлежит к числу тех, кто следовал заветам корифеев науки, ученых-демократов.

Его воспоминания ценны прежде всего тем, что автор не корректировал своих взглядов и настроений прошлых лет по заданной схеме, не «осовременивал» их.

С интересом читаешь главы о высшей школе девяностых годов прошлого века, о расслоении студенчества. Большую познавательную и историческую ценность представляют главы, посвященные описанию капиталистических шахт Донбасса. Пожалуй, впервые в популярной литературе описывается история возникновения в России новой технической школы, которая начала

Академик А. М. Терпигорев. Воспоминания горного инженера. Редактор Н. И. Игнатова. 272 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1956.

прокладывать путь от горного искусства к горной науке. Не случайно эта школа возникла в стенах молодого тогда Екатеринославского высшего горного училища (ныне Днепропетровский горный институт), не пользовавшегося ни вниманием, ни поддержкой царского правительства.

Молодые профессора и преподаватели Екатеринославского высшего горного училища — инженеры-практики, люди, получившие образование на медные гроши, формировавшиеся под влиянием революционно-демократических идей, практические сторонники развития промышленности в России, — неумоимо прокладывали путь горной науке, основам теории, механизации. А. М. Терпигорев, а впоследствии его ученики и сотрудники Л. Д. Шевяков, М. М. Протодяконов и другие обосновывали аналитический метод расчета, вскрытия и подготовки угольных месторождений.

В те времена к их работам относились скептически. С горечью вспоминает А. М. Терпигорев, как безразлично встречали его труды по технике безопасности работники горнопромышленных обществ. Даже после того, как взрыв на Рыковском руднике в Донбассе унес двести семьдесят жизней, ничего не изменилось.

Вторая часть книги рассказывает о восстановлении и развитии советской угольной промышленности.

Гражданская война парализовала Донбасс. Интервенты и белогвардейцы затопили его рудники. Передовые ученые-горняки включаются по призыву В. И. Ленина в работу по восстановлению угольного Донбасса.

Автору воспоминаний в то время было почти пятьдесят лет. Он мог бы спокойно продолжать академическую работу в институте. Но для А. М. Терпигорева, Б. И. Бокия, Л. Д. Шевякова, А. А. Скочинского и других основателей новой горной школы наступило время свершений, о которых только мечталось в прежние годы. В теплушках, по разрушенным дорогам Донбасса совершают они труднейший рейс, обследуя шахты Донбасса. За несколько месяцев было сделано описание более тысячи шахт, составлены карты годных площадей, выявлено и подробно описано около двухсот новых угольных участков.

Проникаешься гордостью, когда читаешь страницы, рисующие восстановление

Донбасса после гражданской войны. За шесть лет были введены в строй все шахты Донбасса. Уже в 1927 году они достигли уровня добычи 1912 года — было добыто тридцать шесть миллионов тонн угля. Вслед за восстановлением начинается реконструкция угольной промышленности. А. М. Терпигорев принимает самое активное участие в борьбе за новый механизированный Донбасс.

Сбылись мечты ученого. На смену обушку и кайлу приходят врубовые машины, комбайны, углепогрузчики. Несмотря на преклонный возраст, А. М. Терпигорев создает кафедру механизации горного дела, разрабатывает основы теории механизации, участвует в комиссиях по реконструкции шахт.

Поэмой о народном подвиге звучит рассказ академика о возрождении Донецкого бассейна после гитлеровского нашествия. Зарубежные экономисты утверждали, что его восстановление потребует не менее двадцати — тридцати лет. Советские люди сделали это за одно пятилетие.

В дни, когда наши войска были еще на подступах к Донбассу, семидесятилетний ученый уже участвовал в бюро по восстановлению «Всесоюзной кочегарки». Его воспоминания об этом сжаты, но цифры и факты красноречиво воссоздают огромный объем проделанной работы, показывают грандиозный труд восстановителей Донбасса.

В заключительных главах автор рассказывает о развитии советской высшей школы, о дальнейшей борьбе советской горной науки за механизацию шахтерского труда и о ее результатах.

Книга А. М. Терпигорева не только исторический очерк — это документ времени.

Хочется, чтобы с воспоминаниями академика А. М. Терпигорева ознакомилось как можно больше читателей. Но при десяти тысячном тираже книги это вряд ли осуществимо. Кстати, не пора ли некоторым нашим издательствам — «Молодой гвардии», Профиздату, Трудрезервиздату — начать выпуск серии воспоминаний выдающихся деятелей советской науки и техники об их пути, об их исканиях? Это поможет воспитанию молодого поколения, которому предстоит нести дальше знамя советской науки, множить ее величие и славу.

Г. МАРЯГИН.

ОТГОЛОСКИ МИЖУВШЕГО

Августина Врзала от 23 июня 1890 года.

Как и Мудры, Врзал в основном обращается к Чехову за разрешением переводить его произведения на чешский язык. Письмо

К ИСТОРИИ РУССКО- ЧЕШСКИХ СВЯЗЕЙ

Имя А. П. Чехова пользуется большой популярностью среди чешских литераторов.

Сохранилось около

ста писем чешских переводчиков и писателей к Чехову. Письма эти хранятся в Москве, в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (фонд А. П. Чехова). К сожалению, чеховских ответов найдено пока всего лишь четырнадцать (одиннадцать из них находятся в Праге, в Литературном архиве Национального музея), хотя из писем переводчиков видно, что отвечал Чехов весьма регулярно. Нет сомнения, что многие письма Чехова находятся и по сей день в архивах чешских деятелей и что со временем они будут обнаружены. Но и то, что имеется, представляет значительный интерес для характеристики Чехова как человека и писателя, а вся корреспонденция в целом хорошо показывает отношение чехов к великому русскому писателю и его творчеству, помогает прочесть малоизвестную страницу из истории русско-чешских культурных связей конца XIX — начала XX века.

Первое из имеющихся в нашем распоряжении писем к Чехову относится к 22 октября 1889 года; оно написано чешским писателем и переводчиком Кириллом Мудры. К. Мудры пишет, что он уже перевел на чешский язык рассказы и повести Л. Толстого, Короленко, Достоевского, Гнедича, Баранцевича и других и что переводы эти были одобрены чешской публикой. Мудры выражает надежду, что Чехов также позволит ему перевести «свои предельные рассказы» на чешский язык, и просит прислать ему «Невинные речи», «Пестрые рассказы», «В сумерках», «Рассказы», в особенности «Степь» и «Огни».

Интерес, проявлявшийся в Чехии в конце восьмидесятых годов к творчеству писателя, отчетливо выступает и в письме к нему чешского критика и переводчика

Врзала не застало Чехова. В то время он уже больше двух месяцев совершал свое путешествие «с препятствиями», пробираясь на Сахалин сквозь «грязь, дождь, злющий ветер, холод...». Лишь в декабре, вернувшись в Москву, Чехов ответил Врзалу, дал ему разрешение на авторизацию, а летом 1891 года послал также свою автобиографию, которую Врзал намеревался приложить к чешскому изданию рассказов Чехова.

Следующим корреспондентом Чехова, обратившимся к нему за разрешением переводить его произведения на чешский язык, является переводчица Е. Била. В архиве А. П. Чехова имеются три ее письма, относящиеся к 1895—1896 годам. Е. Била просит у Чехова разрешения перевести не только его рассказы, но и драматические произведения, которыми «в Праге очень интересуются». Имеется и одно ответное письмо Чехова.

Много писем (их сохранилось 48) написала Чехову переводчица Эльза Голлер. Правда, она переводила Чехова на немецкий язык, но печатала свои переводы главным образом в пражской газете «Politik» и тем самым не менее своих чешских собратьев способствовала ознакомлению общественности с творчеством великого русского писателя.

Наибольшего внимания заслуживает переписка между Чеховым и переводчиком Б. Прусиком, охватывающая период с 1896 по 1904 год. Что особенно важно, в этой переписке имеются десять писем А. П. Чехова, никогда не публиковавшихся.

Прусик регулярно извещал Чехова о выходе его произведений в Чехии, посылал ему экземпляры своих переводов. В письмах Прусика мы находим интересные данные о постановках пьес Чехова на сценах чешских театров («Чайка», «Дядя Ваня» и другие), о восторженном отношении к великому русскому писателю со стороны чешских читателей и зрителей. «Так, как любят Вас, у нас мало кого любят из современных русских писателей», — писал Прусик Чехову.

В июне 1897 года Прусик, взявшись написать большую статью о Чехове для журнала «Květu», обратился к писателю с просьбой сообщить ему свою краткую биографию. В ответном письме Чехов писал:

«Я учился в Таганроге в гимназии, затем окончил медицинский факультет в Москве. В 1890 году путешествовал по острову Сахалину, а теперь живу в своем небольшом имении в 70 верстах от Москвы. И это все...»

Вы спрашиваете, чем я занимаюсь помимо литературы? Занимаюсь медициной. Медицину считаю своей законной женой, а литературу своей подругой, которая мне милее, чем жена...»¹

Прусик, приведя эту автобиографию Чехова, оценил ее как «автобиографию настоящего художника, скромного до крайности». «Читайте,— писал он,— обстоятельные, утомляющие многочисленными деталями автобиографии, в которых тенденция к самовосхвалению тщетно прикрывается цитированием суждений других, и читайте это: учился, путешествовал, уединился, и больше ничего». И, подчеркивая, что «самое главное автор завещал истории литературы», которая «сумеет оценить его», Прусик предсказывает, что в будущем «о жизни Чехова выйдут толстые книги».

Переписка Чехова с Прусиком иногда выходит за рамки личных взаимоотношений. Через Прусика к Чехову неоднократно обращались другие чешские деятели литературы и искусства, и наоборот. Так, например, в письме от 27 сентября 1901 года Чехов обратился к Прусика со следующей просьбой. «В Московском Художественном театре,— писал он,— в скором времени пойдет пьеса Немировича-Данченко («В мечтах». — Ш. Б.); в этой пьесе, между прочим, действующим лицом является один ученый-путешественник, по происхождению чех. Так как наши артисты никогда не видели чехов, то могут произойти затруднения и даже недоразумения в гриме, и во избежание этого дирекция Художественного театра поручила мне обратиться к Вам с покорнейшей просьбой — выслать несколько фотографий чешских лиц, которые Вы находите типичными. Исподнением

этой просьбы очень обяжете и театр, и меня».

Б. Прусик с удовольствием выполнил эту просьбу.

Чехов, отправляясь за границу, не раз собирался побывать в Праге, ближе познакомиться с чешскими людьми. Об этом своем намерении он писал Б. Прусика еще в 1896 году и потом неоднократно повторял в других письмах к нему.

«Осенью,— читаем мы в упомянутой статье Прусика о Чехове в журнале «Květu», — когда наш автор поедет за границу («Гонят доктора!» — пишет он в своем последнем письме), его путь, возможно, поведет и через Прагу. Тогда узнаем его не только мы, и так уже знающие его по сочинениям, но и он узнает нас, коих до сих пор не знал, и увидит, что не только в России хорошо понимают его здоровый реализм, но и что далеко от себя он нашел понимание и искренних почитателей».

Известно, что приезд Чехова в Прагу тогда не состоялся, но его продолжали приглашать и в последующие годы.

Подобные приглашения Чехов получал и от представителей других славянских народов. Небезынтересно привести письмо словака Душана Петровича Маковицкого, домашнего врача и близкого человека Льва Николаевича Толстого. Еще зимой 1901/02 года, во время одной из своих встреч с А. П. Чеховым и Л. В. Срединым, Маковицкий приглашал писателя поехать к словакам и угорским русинам. В письме к Чехову от 13 февраля 1903 года, посланном из Жилины, Маковицкий напоминает о своей прошлой годней просьбе. «Нам,— пишет он,— небольшому числу национально сознательных словаков и русинов, Ваше посещение будет мило, ободрительно. Вам же хорошо будет узнать положение угнетенных малых наций, интересен будет наш народ и край...» Маковицкий подробно объясняет Чехову, как ему лучше проехать, предлагает выслать нужные книги и путеводители. Но и эта поездка, как мы знаем, не состоялась.

В 1904 году Маковицкий узнал из газет о пребывании Чехова в Баденвейлере. «Я слышал,— писал он тогда Прусика,— что Вы находитесь в регулярной переписке с Ант. П. Чеховым. Не могли бы Вы связаться с ним и письменно или устно посоветовать ему посетить Чехию и Словакию? Ч[ехов] однажды говорил, что охотно по-

¹ Этот отрывок из письма Чехова опубликован Б. Прусиком на чешском языке в журнале «Květu» (1897). Здесь дается в переводе с чешского.

сетил бы эти страны [народы]. Надо его пригласить. Будьте добры, займитесь этим».

Смерть А. П. Чехова оборвала эти планы и надежды.

Ш. БОГАТЫРЕВ.

★

СУДЬБА ПРОПАВШЕЙ СТАТЬИ ПИСАРЕВА

В литературе, посвященной Д. И. Писареву, существует мнение о том, что в период 1863—1864 годов Писарев отошел от традиций русской революционной демократии и лишь во второй половине 1865 года в статье «Новый тип» («Мыслящий пролетариат») и других вновь вернулся к идее революции.

При этом считается само собой разумеющимся, что статья Писарева «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»), посвященная роману Чернышевского «Что делать?» и опубликованная в октябрьской книжке «Русского слова» за 1865 год, написана осенью 1865 года.

Утверждают, что была у Писарева и другая статья, посвященная роману «Что делать?», написанная в 1863 году. Называлась она «Мысли о русских романах».

О ней нам известно из секретного письма петербургского генерал-губернатора князя Суворова министру внутренних дел Валуеву от 7 ноября 1863 года, где Суворов сообщал: «...В прошлом месяце препровождена была мною в Правительствующий Сенат статья Писарева «Мысли о русских романах». Возвращая эту статью, Сенат дал мне знать, что в ней не находится оснований, до дела Писарева относящихся; но сочинение это, содержащее в себе по преимуществу разбор романа литератора Чернышевского «Что делать?» и исполненное похвал этому литературному произведению, с подробным развитием заключающихся в нем материалистических воззрений и социальных идей, по мнению Сената, в случае напечатания оно, может иметь вредное влияние на молодое поколение, проникнутое этими идеями.

...Долгом считаю о вышеизложенном отзыве Правительствующего Сената сообщить Вашему Превосходительству для соображения при рассмотрении цензуры статьи поименованного подсудимого под заглавием «Мысли о русских романах».

На письме многозначительная виза Валуева: «Теперь же предварить гг. цензоров конфиденциально. 8 ноября».

Письмо это было опубликовано князем Н. Шаховским в «Русском архиве» (1897, № 2) и с тех пор прочно вошло в научный оборот. На этом следы о статье «Мысли о русских романах» в литературе, посвященной Д. И. Писареву, теряются. Л. А. Плоткин в своей монографии о Д. И. Писареве, процитировав письмо Суворова, пишет: «Статья эта до нас не дошла», но, судя по письму Суворова, «можно думать, что статья Писарева развертывалась в том же плане, что и напечатанная в 1865 году статья «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»).

Таким образом Л. Плоткин, как и другие историки литературы, полагает, что Писарев посвятил роману «Что делать?» две различные, но развивавшиеся в одном и том же плане статьи, первая из которых («Мысли о русских романах») утрачена.

Параллельно этому высказывалась и догадка о том, что «Мысли о русских романах» и «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»), возможно, одна и та же статья. Однако эта весьма заманчивая гипотеза не выходила за сферу предположения в силу того, что в подтверждение ее нельзя было привести ни одного факта: следы статьи «Мысли о русских романах» теряются в письме Суворова, опубликованном Шаховским.

Между тем в фондах Центрального исторического архива в Ленинграде имеются интересные данные о судьбе статьи «Мысли о русских романах» уже после того, как Суворов направил в адрес Валуева вышеприведенное письмо, а Валуев дал 8 ноября указание: «предварить гг. цензоров конфиденциально». Судя по этим данным, редактор «Русского слова» Г. Е. Благосветлов получил статью «Мысли о русских романах» в комендатуре Петропавловской крепости 11 ноября 1863 года, а 23 ноября 1863 года в журнале заседаний СПб Цензурного Комитета появляется следующая запись:

«С л у ш а л и: ...Статья г. Писарева под заглавием «Н о в ы е т и п ы», заключающая в себе развитие основных идей романа Чернышевского «Что делать?».

О п р е д е л е н о: ...Запретить к печатанию».

Не представляет сомнения, что статья Писарева «Мысли о русских романах», по-

священная роману «Что делать?», уже в 1863 году, во избежание цензурных рога-ток, была переименована редакцией и представлена в цензуру под заглавием «Новые типы». Но перемена названия не спасла статью. Мнение Правительственного Сената, конфиденциально доведенное до сведения цензоров Валуевым, сделало свое дело: статья была запрещена.

Однако редакция не теряла надежды каким-либо образом обойти цензуру и в будущем напечатать эту очень важную для журнала статью.

В объявлении «Об издании журнала «Русское слово» на 1864 год редакция обещала читателям:

«В следующих книжках из заготовленных материалов будут, между прочим, помещены: критический разбор романа Н. Г. Чернышевского: «Что делать?» — Д. И. Писарева» и др. Таким образом критический разбор Писаревым романа «Что делать?» под новым названием «Новый тип» после запрещения его цензурой хранился в портфеле редакции и был одним из тех уже «заготовленных» материалов, которые редакция собиралась напечатать в 1864 году. Однако в силу крайне тяжелых цензурных условий редакция не смогла этого сделать ни в 1864, ни в первой половине 1865 года. Лишь в сентябре 1865 года, в результате отмены предварительной цензуры и замены ее карательной, редакция получила возможность нарушить заговор молчания вокруг романа Чернышевского и опубликовать еще в 1865 году «заготовленную» статью Писарева о романе «Что делать?». В «Библиографическом листке» сентябрьской книжки журнала за 1865 год В. Зайцев, отметив, что после идиотских выходов реакционной журналистики по поводу «Что делать?» в 1863 году в печати наступило полное молчание, пишет: «Теперь, быть может, наступило время, более благоприятное для разумной и серьезной критики этого произведения, и если так, то наша литература должна по-

спешить выполнить, хотя поздно, этот долг в отношении его». И действительно, в следующем, 10-м номере журнала, втором номере, вышедшем без предварительной цензуры, журнал «Русское слово» печатает наконец критический разбор романа Чернышевского, написанный Д. И. Писаревым, под заглавием «Новый тип», за что и получает первое предостережение. Тождество заглавий, темы, а также то обстоятельство, что статья Писарева «Новый тип», как мы убедились, почти два года хранилась в портфеле редакции и ждала своей очереди, исключает предположение, что Д. И. Писарев писал в 1865 году о романе Чернышевского вторую, совершенно самостоятельную статью. Определенные изменения, очевидно, внесены были. В частности, в статье получила отражение полемика между «Русским словом» и «Современником» 1864 — начала 1865 годов. Но очевидно также и то, что статья Д. И. Писарева «Мысли о русских романах» и статья того же автора «Новый тип» («Мыслящий пролетариат») не две совершенно различные работы, но одна и та же статья, в крайнем случае — два варианта одной и той же статьи, которая в силу цензурных условий не смогла появиться сразу по ее написании и была опубликована редакцией тогда, когда к этому появилась возможность.

Установление истинного срока написания критиком статьи «Новый тип» («Мыслящий пролетариат») дает материал для более правильного понимания эволюции Писарева в 1863—1866 годах. Зная время написания статьи Писарева о романе Чернышевского, принадлежащей перу убежденного социалиста и революционного демократа, нельзя не поставить под сомнение версию о том, что в 1863—1864 годах Писарев отказался от идей социализма и революции и лишь во второй половине 1865 года в статье «Новый тип» и других вернулся к ним.

Ф. КУЗНЕЦОВ.



ОТКЛИКИ НА РЕПЛИКИ

(Обзор читательских писем)

Читатели журнала поддерживают и продолжают разговор, который ведут в разделе «Реплики» писатели, ученые, журналисты, художники, общественные деятели, высказывающие в этом разделе свои соображения и замечания на самые различные темы.

Первый обзор читательских писем был помещен в № 11 журнала за 1955 год. Некоторые из вопросов, поднятых в этих письмах, получили уже свое положительное решение; другие оказались «переходящими», продолжают занимать нашу общественность, находя отражение как на страницах журнала, так и в письмах читателей. Публикуя обзор откликов на «Реплики», полученных в 1956 году, редакция надеется, что пожелания читателей будут учтены всеми, кому они адресованы.

1. В поддержку реплик

«Ненаписанные страницы истории» — так назвали свою реплику, помещенную в № 5 журнала, пять старых большевиков, ветеранов нашей партии — Е. Стасова, Г. Кржижановский, Г. Петровский, М. Муранов, Ф. Петров. В реплике говорилось о том, что с каждым годом число непосредственных очевидцев и участников революционного движения в России все убывает, интереснейшие страницы истории нашего прошлого могут так и остаться незаписанными, если в это дело не включится общественность. Реплику горячо поддержали читатели разных поколений. В. Минин — старый большевик, «один из комиссаров, участвовавших в установлении Советской власти в Дмитровском уезде Московской губернии», ныне директор Дмитровского районного краеведческого музея, — пишет о необходимости использовать опыт людей, «которые могут рассказать молодежи о великой

эпохе не общими, стандартными фразами, а со множеством деталей, известных только участникам исторической борьбы». «А этот материал остается в моей памяти (или моих живых товарищей) и может быть получен только путем устной беседы». Если Союз писателей действительно возьмется за это дело, «выиграет не только история, но и литература». Студент МГУ В. Возчиков спрашивает, отозвался ли на реплику Союз писателей, «начата ли предложенная старыми большевиками работа и каким образом можно к ней приобщиться, если она уже идет».

Что же делается нашими издательствами и общественно-творческими организациями для решения этой важнейшей задачи? Сделано немало, и было бы неверным не замечать этого. Госполитиздатом, «Молодой гвардией» и другими издательствами выпущен ряд интереснейших дневников, мемуаров, воспоминаний (здесь прежде всего

следует назвать воспоминания о В. И. Ленине, дневники и письма Ф. Э. Дзержинского, сборники выступлений М. И. Калинина, Г. К. Орджоникидзе, переиздание мемуаров П. Н. Лепешинского и др.). В 1957 году Госполитиздат предполагает выпустить воспоминания товарищей Стасовой, Гордиенко, Никифорова, Шаповалова и других. Музей революции издает воспоминания участников революции общим объемом в тридцать печатных листов.

Но здесь еще непочатый край работы и для издательства и для писателей — для всех, кто желает, подобно товарищу Возчикову, включиться в это важное и благородное дело.

С репликой о ненаписанных страницах истории перекинулась реплика А. Бруштейн о ненапечатанных страницах истории литературы («О мемуарной литературе», № 2 за 1956 год). Следует отметить, что хотя выпуск мемуарной литературы в целом у нас сильно возрос за последнее

время (назовем выпущенные недавно воспоминания Пущина, Панаевой, дневник Никитенко и др.), однако это относится главным образом к материалам, посвященным литературе и искусству XIX века, мемуары же наших старших современников (не автобиографические повести, подобные повестям Паустовского, Бруштейн, Панферова, а именно мемуары) по-прежнему почти не находят дороги к читателям. Этот «долг» — за издательствами. Думается, и творческие наши организации должны более энергично и настойчиво добиваться положительного решения этого вопроса.

Несколько реплик в журнале было посвящено вопросам пропаганды искусства. О необходимости восстановления музей нового западного искусства писал в № 11 за 1955 год А. Дикий. Поддерживая это предложение, читатель А. Нагорных из Новосибирска считает закрытие музея неверным и спрашивает, «как в настоящее время разрешается вопрос о восстановлении этого интересного музея».

На этот вопрос мы не получили, к сожалению, прямого ответа ни от Главизо Министерства культуры, ни от Академии художеств. Но вот недавно в Музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва) развернута постоянная экспозиция мирового искусства, при этом в двух залах демонстрируется новое западное искусство конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Это факт, безусловно, оградный.

В популяризации сокровищ живописи, воспитании вкуса у зрителей большую

роль может сыграть кино (о чем писал М. Алпатов в № 7 журнала за 1956 год). И на эту реплику, как и на реплику С. Герасимова о сокровищах древнерусской живописи (№ 11 за 1955 год), Министерство культуры не откликнулось, а зря! Того, что делается в этой области (фильмы о Дрезденской галерее, о Русском музее), явно недостаточно: нужны циклы кинолекций со своеобразной «программой», нужны фильмы о творческой лаборатории художников (вроде французского фильма о работе Пикассо).

Важный вопрос поднимался в реплике В. Дуловой «Полюс и музыка» (№ 11 за 1955 год). Речь шла о музыкальном обслуживании полярников, о музыкальном воспитании и образовании, о преподавании, или, вернее, отсутствии преподавания, музыки в школах Севера. Ни от Главсевморпути, ни от Министерства просвещения, ни от Министерства культуры редакция ответов не получила. Но суть не столько в ответах на словах, сколько на деле.

Как же обстояло дело? Обстояло, прямо скажем, плохо! Побывали на Дальнем Севере в 1956 году артисты местных филармоний: Якутской, Хабаровской и других, — это хорошо, но мало.

Кто в этом виноват? Органы министерств морского флота и культуры долгое время кивали друг на друга, а полярникам от этого было не легче.

Как обстоит дело сейчас? Министр культуры СССР тов. Н. Михайлов дал указание разработать мероприятия по улучшению

обслуживания полярников. В настоящий момент Политуправление Морфлота ведет переговоры непосредственно с Центральным домом работников искусств о проведении этим Домом всей концертной работы в районах Дальнего Севера на 1957 год. Включается эта работа и в план будущего года ВГКО.

Что касается преподавания музыки в школах, то эта задача остается нерешенной. Кстати, о плохой постановке музыкального образования в средней школе писал недавно в своей статье, опубликованной в газете «Правда», композитор Дм. Кабалевский. Министерства просвещения РСФСР и союзных республик хранят по этому поводу затаенное молчание, не отвечают они и на реплики о плохом качестве букварей (см. реплику Л. Кассиля, С. Михалкова, Я. Тайца в № 2 журнала). Глухи к репликам о преподавании музыки в школах и о качестве букварей и Академия педагогических наук и Учпедгиз.

Несколько реплик в журнале было посвящено вопросу, который читательница Е. Урланис (Москва) называет «сердечным отношением к человеку». Речь идет о создании максимальных удобств для советского человека, оказавшегося в поездке, — от появления увлекательных и точных «книг-спутников» (см. реплику В. Захарченко в № 4) до постройки недорогих и удобных гостиниц для приезжающих (см. «О гостях и гостиницах» Н. Заряна в № 8). Нельзя допустить, пишет читательница, «чтобы любой советский рабочий, служащий, колхозник,

располагая временем и деньгами, не мог себе позволить такую «роскошь», как приехать и посмотреть Москву». Е. Урланис рассказывает о приезде юноше, которому пришлось три ночи провести в... подъезде одного дома, чтобы посмотреть на Сикстинскую мадонну. А сколько таких важных путешественников, восклицает она, приезжающих посмотреть и стадион в Лужниках, и метро, и выставку французской книги!

Реплика о гостиницах вызвала отклики читателей. Тем удивительнее, что ни от одной из непосредственно ведающих этим делом организаций — ни от Госстроя, ни от Министерства городского и сельского строительства, ни от Моссовета и Главмосстроя, ни от Академии архитектуры и строительства и Союза архитекторов — до сих пор не получено ответа. Строительство гостиниц — дело действительно затяжное, вероятно, сложные и вопросы, с ним связанные. Ну, а предложение А. Гегелло — вывешивать на вновь построенных домах доски с фамилиями строителей (см. его реплику «Кто построил этот дом?» в № 4 журнала) — тоже столь трудно для выполнения, что его даже и обсудить некогда?!

Одобрение читателей встретила реплика М. Прилежаевой «Забывшие имена» (№ 1 за 1956 год) Военнослужащий И. Горбатко предлагает вспомнить простые, «не модные» имена наших дедов и прадедов — Макар, Роман, Тарас, Тихон, Назар, Никита, Корней, Остап — и снабдить родильные дома «именниками», «откуда б мать мог-

ла подобрать имя для своего ребенка, если не подобрали еще до его рождения».

Поддерживая мысль авторов реплики «Одиночество «Крокодила»» (№ 5 за 1955 год) о создании второго сатирического журнала, С. Юдович (Чита) подчеркивает необходимость регулярного критического разбора материалов «Крокодила» на страницах «толстых» журналов. С этим предложением следует согласиться, но не в качестве «замены» нового журнала. Открытия такого журнала требует сама жизнь.

И думается, очень хорошую инициативу проявила секция сатиры и юмора, обратившись недавно в Президиум Московского отделения Союза писателей с предложением о выпуске в 1957 году альманаха сатиры и юмора. Это предложение одобрено. Надо надеяться, что читатели наши скоро получат новый альманах.

Некоторые реплики, помещенные в журнале, носили дискуссионный характер, вызвали споры, возражения. Редакция шла на это сознательно: ведь цель раздела, как он задуман, не внесение безапелляционных «приговоров», а привлечение к тем или иным проблемам внимания общественного мнения. Такой характер носила, в частности, реплика В. Фаворского «О реставрации храма Василия Блаженного» (№ 3 журнала), в которой подвергались критике как частные недостатки реставрации, так и неверность, по мнению автора, некоторых общих принципов, которыми руководствовались реставраторы.

ОТКЛИКИ НА РЕПЛИКИ

Реплика вызвала возражения руководителя работ по реставрации храма архитектора Н. Соболева.

Не считая себя вправе устанавливать в данном случае истину, редакция полагает, что она выполнила свою задачу, вынеся спорный вопрос на рассмотрение творческой общественности. В необходимости этого сходятся оба автора: В. Фаворский высказывает пожелание, «чтобы реставрационные проекты памятников большого художественного и исторического значения перед осуществлением широко обсуждались общественностью»; Н. Соболев, не соглашаясь с возражениями Фаворского, считает при этом, что они вызваны «недостаточной популяризацией у нас как самих памятников, так и тех исследований, которые проводятся на них».

2. Читатель подсказывает...

Наряду с откликами на реплики читатели в своих письмах выдвигают перед журналом и новые проблемы и пожелания.

Доцент Военно-транспортной академии подполковник Н. Шацев в реплике под названием «Два обещания» приводит примеры недопустимого равнодушия к важному делу. В 1937 году автор письма участвовал вместе с другими студентами в закладке памятника к столетию со дня смерти Пушкина «над Невой, на площади, названной тогда же именем Пушкина»; через несколько лет участники закладки обнаружили заложенную ими некогда плиту... у Русского музея, с надписью, приуроченной уже к столятидесятилетию

со дня рождения поэта (1949 г.); с тех пор прошло еще восемь лет, а памятник так и не поставлен. «Удастся ли нам, бывшим ленинградским студентам, ныне уже совсем не юным, увидеть этот памятник?»—спрашивает Н. Шацев и вспоминает еще об одном невыполненном обещании. В предисловии к первому тому академического полного собрания сочинений поэта, вышедшему в 1937 году, было сказано, что «особым томом издается альбом рисунков Пушкина»; в 1948 году издание закончилось, а особого тома так и нет.

Претензии и пожелания издательствам выражает целый ряд читателей. Военнослужащий П. Иванов предлагает, чтобы такие издательства, как «Советский писатель», «Молодая гвардия», Воениздат и другие, обязательно снабжали каждую выходящую книгу краткими биографическими сведениями об авторе и перечнем его произведений, а также предисловием или хотя бы аннотацией.

Чтобы вспомнить содержание прочитанной книги, говорится в письме доцента А. Оришина (Львов), достаточно взять ее в библиотеке. «Но как восстановить в памяти содержание когда-то просмотренного фильма, его режиссера и исполнителей?» Для этого А. Оришин предлагает выпускать программы кинофильмов (наподобие театральных) с кратким содержанием, списком действующих лиц и исполнителей и их портретами. «Министерству культуры следует подумать об этом»,— кончает свое письмо А. Оришин. Пожелания зрителей услышаны Главкинопрокатом, который при-

ступил к выпуску и продаже таких программ. Первые из них посвящены итальянским и финским фильмам; следует пожелать, чтобы их выпускалось больше.

Несколько писем посвящено культуре речи, которая рассматривается в письмах неотрывно от культуры книжных изданий. Профессор М. Брейтман (Ленинград) критикует такие «устоявшиеся», но неверные образцы словоупотребления, как «проворачивать» дело вместо «продвигнуть», «сколько время» вместо «котормый час» и т. д. Доцент Е. Панфилов (Ленинград) отмечает недостатки книг «Проблема знаковости языка» В. Звегинцева и «Очерк русской исторической лексикологии» П. Черных. Он находит в них много ляпсусов и опечаток.

Я. Довбыщенко (Красноярский край) посвящает свою реплику состоянию книжных иллюстраций. Он упрекает Гослитиздат за то, что тот издал сочинения Жюль Верна без чудесных иллюстраций Ру, неразрывно слитых в нашей памяти с образами, созданными писателем. Я. Довбыщенко критикует художника А. Васина за то, что его иллюстрации к сочинениям Драйзера (приложение к «Огоньку», тома 6, 7) не соответствуют, по мнению читателя, авторскому замыслу, и издательство — за очень неудачные, не к месту, вклейки.

Б. Ефетов (Москва) приводит примеры разночтений фамилии одного и того же иностранного автора в разных изданиях и перевода одного произведения под разными названиями. Б. Ефетов поднимает и другой важный вопрос — о пла-

нировании предполагаемых изданий. Вместо выпуска отдельных произведений Александра Дюма (Гослитиздат) и Фенимора Купера (Детгиз) он предлагает выпускать большим тиражом их собрания сочинений. Этот же вопрос применительно к другим авторам поднимается во многих письмах. Читатель О Куш—заместитель директора Львовской библиотеки АН УССР — пишет о «странных принципах отбора романов и рассказов Джека Лондона» для собрания, выпущенного Гослитиздатом: о непонятном «выпадении» таких произведений, как «Приключения рыбачьего патруля», «Приключение», «Дочь снегов», «До Адама», о сомнительной целесообразности издавать в восьмом (дополнительном) томе не эти произведения, а «Хозяюку большого дома» и «Сердца трех» и о «вопиющих небрежностях» перевода. О. Куш также предлагает в качестве приложения к будущему (более полному!) собранию сочинений Джека Лондона издать перевод книги биографа писателя — Ирвинга Стоуна «Моряк на коне».

Читатель И. Гашичев (Москва) благодарит журнал за «интересную и полезную статью М. Щеглова» о Есенине, критикует перестраховщиков, которые вычеркнули произведения поэта из школьных программ, «даже из начальной школы изгнали его чудесное стихотворение «Идет зима... аукает», и заявляет: выпустить Есенина тиражом в 150 тысяч экземпляров — это «курам на смех». Надо издать полное собрание сочинений Есенина, надо издать не-

большие, массовым тиражом, сборники стихов Есенина». (Кстати, в Гослитиздате сообщили, что скоро небольшой сборник Есенина выйдет массовым тиражом.)

Наши читатели требуют не только «восстановить в правах» Есенина, они говорят и о таких противоречивых, но крупных художниках, как Бунин, Гамсун. Посвящая Бунину тонкие и теплые замечания, Е. Зубов (Магаданская область) справедливо напоминает: «Нужны не только книги Бунина, но и книги о нем». Читатель Я. Довбыщенко считает, что следовало бы издать давно не переиздававшиеся у нас произведения Гамсуна, хотя и известно, что в последние годы своей жизни он занимал позорную профашистскую позицию, предательскую по отношению к норвежскому народу. Тов. Довбыщенко, конечно, не прав, когда объясняет этот черный период в жизни Гамсуна «возрастными изменениями его психики», — корни этого поступка уходят далеко... Но читатель прав, когда сомневается, «следует ли из этого, что надо зачеркнуть» все ценное в Гамсуне. Гамсун-художник отнюдь не сводится к Гамсуну-мыслителю, и лучшее в его творчестве остается, бесспорно, поучительным и по силе художественного мастерства, глубине психологического анализа и как память о путях и судьбах европейского общества на определенном этапе его развития. Издательствам следовало бы познакомиться советского читателя с лучшим в его творчестве.

Как видим, читатели предъявляют нашим изда-

тельствам большой и серьезный счет. К этому счету следует приплюсовать и еще один долг. О нем напомнил Б. Ефетов в заметке «Нельзя ли без посредников». Она посвящена борьбе со спекулянтами книгой. Писали об этом много, но «воз и ныне там» и не сдвигается с места до тех пор, пока тащить его будет одна милиция. Скажем прямо: она тянет его неважно, но корни зла в тех условиях, которые создают для спекулянтов произвольно составленные (и, как правило, заниженные) планы изданий наиболее популярных книг. Спекулируют тем, чего нет или не хватает! А разве не ясно было, что тиражи, которыми выпущены, скажем, давно не издававшиеся Есенин или Ильф и Петров, не удовлетворят и десятой доли желающих?! Разве не ясно было заранее, что тем самым издательство практически готовит почву для спекулянтов (ибо эти последние всегда проберутся к прилавку раньше рядового труженика, занятого на работе)?

Почему же так получается? Руководители издательств ссылаются обычно на нехватку бумаги. Но ведь хватает той же бумаги, чтобы печатать опять-таки по «теоретической» разнарядке множество книг тиражами значительно большими, чем практическая потребность в них! И лежат эти книги мертвым грузом на прилавках.

Что же делать? Где выход? По-нашему, не в уповании на милицию, а в организации предварительного учета потребностей в тех или иных книгах конкретно: в широком опе-

щении и неограниченном сборе «заказов» на ту или иную книгу, в неограниченности предварительной подписки и приведении тиражей в соответствие с реальными запросами читателей. «Дело — за Главиздатом Министерства культуры!» — как правильно пишет Б. Ефетов. Вероятно, с большой радостью встретили многие читатели недавнее сообщение Министерства культуры СССР о том, что с нового года вводится новый порядок установления тиражей подписных изданий. Они, как правило, будут определяться только после окончания подписки.

3. А вот здесь нужно и возразить

Среди многочисленных читательских писем есть два, которые, пожалуй, верны не во всем. Одно из них носит характер вопроса, другое — предложения. Поскольку нам кажется, что проблемы, в них поднятые, представляют общий интерес, останавливаемся на них.

В «Новом мире» № 9 в реплике И. Рахтанова был подвергнут критике язык сатирических «Окон» на улице Горького. В «Учительской газете» от 15 сентября в статье И. Янопольской художественный язык плакатов был охарактеризован как «яркий, лаконичный, меткий, острый». Товарищ В. Суровицкий из города Корма, Гомельской области, спрашивает, как ему, рядовому читателю, в Москве в тот момент не бывшему и плакатов не видевшему, «составить мнение об оценке этих плакатов, если два автора об одних и тех же плакатах пишут противо-

положное? Какому автору больше верить?» В данном случае противоречие — мнимое, ибо журнал критикует язык поэтический, то есть стихи, а газета хвалит язык художественный, то есть рисунок. Но могло оно быть и настоящим. Вообще, положение В. Суrowицкого как человека, желающего узнать истину, не видя в данном случае плакатов, действительно трудное. Но не вызвано ли недоумение товарища Суrowицкого в какой-то мере и той привычкой к непогрешимости оценок, которую в течение ряда лет прививала многим читателям догматическая критика? Вот почему хочется сказать не одному В. Суrowицкому, но и другим читателям, думающим так же, как и он: товарищи, ведь может случиться, что одна и та же картина, пьеса может одному из критиков понравиться, а другому нет. И ничего тут страшного нет; напротив, это даже хорошо, что критики спорят. Они вовлекают вас в свой спор, а уж кто из них прав — решайте вы сами: вы судья для них, а не наоборот!

Зачем же тогда критика? — спросите вы. Для того, чтобы убеждать читателя, а не для того, чтобы думать за читателя. Соглашайтесь с тем, кто представил более убедительные доказательства! И если В. Суrowицкий

вправе обижаться на оба печатных органа — и на журнал и на газету, — так не за то, что они не сошлись в оценках, а за то, что оценки эти и там и тут были недостаточно доказательными!

Очень правильные мысли высказаны в реплике Г. Елизарова (Ленинград). Тема, о которой он пишет, не нова: еще Ильф и Петров иронизировали над тем, как казенно-бюрократически, бездушно регистрируются у нас браки. Печать не раз выступала по этому вопросу, но результатов не видно. А жаль! Товарищ Елизаров справедливо возмущается тем, что оформление брака «выглядит скучнейшей, бюрократической, нудной процедурой...» Он предлагает, чтобы жених и невеста направлялись в загс на празднично украшенном транспорте, чтобы свадьба регистрировалась в просторном, светлом помещении, чтобы молодоженам вручались подарки от общественных организаций и т. д. Все это мысли правильные, и надо, чтобы к ним прислушались соответствующие организации. Не нужно только придавать этому хорошему начинанию бюрократический характер (а этим грешат некоторые предложения товарища Елизарова). Не стоит «вырабатывать обязательную церемонию»,

чтобы кто-то «возглавлял работу по созданию церемонии», а кто то в нее «включался»; вряд ли стоит устанавливать и «незыблемую» форму одежды. Вообще, свадьба не вахт-парад, она требует души, а не формы, в ней должны проявиться индивидуальности людей.

* * *

По откликам на реплики видно, как повысилась активность читателей, их желание воздействовать на жизнь в сфере культурного строительства, издательских дел, воспитания и т. д., помочь скорейшему искоренению неполадок. Вместе с тем отчетливо видно и другое: и авторами реплик и их читателями — теми, кто зачинает разговор, и теми, кто его поддерживает, — движет «не тщеславное стремление увидеть свою работу напечатанной, а горячее желание процветания нашей культуры» (из письма читателя товарища Чугунова). Ни писатель, ни читатель не хотят жить по принципу: «Писатель пописывает — читатель почитывает». Они хотят знать, что же сделано по их сигналам, какие меры приняты,

Напоминая этим обзором о вопросах, продолжающих ожидать своего разрешения, редакция надеется, что советы и пожелания читателей будут учтены соответствующими организациями.



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

ОШИБКА БСЭ?

Предостерегаем читателей! В одиннадцатый том БСЭ второго издания на страницу 213 в статью «Гигантизм» вкралась ошибка. Там говорится: «Самый высокий гигант, описанный в литературе, имел рост 3,20 м.».

Очевидно, редакции БСЭ не было известно о том, что, по сообщению журнала «Нева», Н. Г. Чернышевский на целых 65 сантиметров превысил этот рекорд. В десятом номере этого журнала за 1956 год, в статье «О памятниках и их судьбах», сказано: «Бронзовая, размером в 3 метра 85 сантиметров фигура Чернышевского (каким он был в 1850—1860 годах, в период пребывания в Петербурге)...» К сожалению, не указано, что было после петербургского периода—остановился ли на этом писатель или, несмотря на высылку из Петербурга, продолжал расти? Может быть, именно эта неполнота сведений и побудила БСЭ обойти молчанием такой потрясающий факт... А может быть, просто редактор статьи «О памятниках и их судьбах» недостаточно внимательно отнесся к работе над ее текстом?

Т. С.

★

«СИЛЕН СТАРИК!»

Нет, я решительно не согласен с теми критиками, которые, прочтя «Повесть

о Верещагине» К. Коничева (Лениздат, 1956), станут осуждать ее за безликость образа художника, за серость языка, за нечеткость представлений автора о месте и роли Верещагина в истории русской живописи.

Да, я буду настойчиво возражать против такой недооценки книги К. Коничева прежде всего потому, что в ней содержатся неоценимые сведения о некоторых важнейших фактах в развитии нашей художественной культуры, фактах, которые до сих пор освещались превратно.

Есть в повести К. Коничева страница, посвященная так называемому «бунту четырнадцати» в Императорской Академии художеств 9 ноября 1863 года. В тот день, как известно, группа окончивших академию молодых художников во главе с И. Н. Крамским бросила смелый вызов академической рутине и, пренебрегая разными привилегиями, отказалась писать картины на заданные советом Академии темы. Это событие, открывшее широкий простор для бурного развития национальной школы русского реалистического искусства, было многократно описано и самими участниками «бунта четырнадцати», и биографами русских художников, и историками нашего искусства, но никому из них ни при какой погоде не приходило на ум подвергнуть сомнению конкретную тему заданной картины: «Пир в Валгалле».

Вот почему необычайной свежестью художественного проникновения в события давно минувших лет веет на читателя со страницы 62 «Повести о Верещагине».

«...В Академии художеств,— пишет К. Коничев,— четырнадцать наиболее даровитых художников-студентов, во главе с талантливым, имевшим влияние на молодежь художником Иваном Николаевичем Крамским, отказались от предложения Совета Академии писать на конкурс жанровые картины на тему «Освобождение крепостных крестьян». Это был решительный, волевой и организованный протест не только против академической рутинности, но и против самодержавия, в защиту крестьян, обманутых царским манифестом».

Вот что значит художественное слово! Всего несколько строк — и побочку подробнейшие письма и статьи Крамского и Стасова, насмарку все мемуары, все архивы, все документы!

Конечно, и до К. Коничева было кое-что известно о конкурсной теме «Освобождение крепостных крестьян». Считалось, однако, что эта тема была предложена «жанристам», а не «историкам»; «историкам» же надлежало писать на мифологическую тему «Пир в Валгалле». Но в повести К. Коничева от «Пира в Валгалле» не осталось даже обидок: ни слова, буквально ни слова!

Как подобает художнику-новатору, К. Коничев то и дело отказывается слепо идти на поводу у истории, тащиться за историческими фактами. Автор «Повести о Верещагине» не останавливается перед тем, чтобы творчески переосмысливать даже хронологию. Пусть, например, читателя не удивляет, что во

время русско-турецкой войны 1877—1878 годов лежащего в госпитале Верещагина посещает румынская королева, хотя, как известно, Румыния была провозглашена королевством лишь в 1881 году, спустя три года после окончания русско-турецкой войны. Зато каким ярким антироялистом и чуть ли не «мужичким демократом» предстает Верещагин у Коничева на тех страницах повести, где автор сталкивает его лицом к лицу с досрочно коронованной румынской королевой:

«— Ах, королева! Пардон! Не тревожьте меня, я сплю. — Повернувшись лицом к стене, спиной к подошедшей королеве, он нарочито захрапел здоровенным мужичким храпом Королева вздрогнула и, положив на тумбочку подарок, безмолвно удалилась» (стр. 189).

А как хорошо знает автор разговорный язык конца девятнадцатого — начала двадцатого века! Вот, например, художник, возмущаясь Суворинным, иронизирует: «Ему нужна сладенькая правда, газированная...» (стр. 227), солдат же, вышедший из глухой вологодской деревни, рассказывает, как он брался «модельные туфельки сшить» (стр. 445). А уж Эдисон в изображении К. Коничева высказывается так, что его речь вполне можно было бы напечатать сегодня в каком-нибудь «Вестнике профсоюзного активиста»: «В Чикаго бастовали рабочие-железнодорожники на тринадцати линиях... Вожди тредюнионов сначала выступили во главе стачечников. Но как только экономическая борьба рабочих стала приобретать острые формы,

эти вожди, подкупленные хозяевами, выступили в роли уговаривающих...» (стр. 292).

Не менее глубоки по мысли и выразительны по языку лаконичные социальные характеристики, щедро рассыпаемые К. Коничевым по страницам его книги Рассказывая, например, об этюдах Верещагина «с изображением бродяг из Вашингтона», К. Коничев так описывает этих бродяг:

«С независимым видом — плывать на все — смотрят они на породивший их капиталистический мир» (стр. 280).

Да, ничего не скажешь, точные слова находит К. Коничев. Молодец автор! Или, как отзывается Верещагин на странице 275 той же повести о художнике Айвазовском:

«— Силен старик!»

Л. ГЕРАСИМОВИЧ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

С. И. БЕЛЯВСКИЙ. Село Шушенское. Красноярское книжное издательство. 1956. 92 стр. Цена 1 р. 65 к.

Шушенское. В письме к своей сестре, Марии Ильиничне, Ленин так описывал внешний облик этого сибирского села: «Окружено село... навозом, который здесь на поля не вывозят, а бросают прямо за селом, так что для того, чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти через некоторое количество навоза...» За годы Советской власти село неузнаваемо изменилось. Есть в нем теперь две школы — начальная и десятилетка, сельскохозяйственный техникум. Растет колхозное производство. В 1955 году из одиннадцати имеющихся в районе колхозов десять стало миллионерами. Значительны в Шушенском районе перспективы и для развития промышленности.

В Шушенском много исторических мест, дорогих каждому советскому человеку. Это места, где жил и бывал Ильич.

НИКОЛАЙ ПОПОВ. Путник. Повесть из жизни Грибоедова. Иллюстрации Н. Петровой. Детгиз. М. 1956. 198 стр. Цена 5 р. 50 к.

Лошади бегут ровной рысью. «Далекie светлооблачные вершины гор приблизились... Скоро Екатериноградская, а там Дарьял, Терек, Грузия». Грибоедов, известный в Петербурге своим острым умом и светскими похождениями, едет в Персию в качестве секретаря русской дипломатической миссии.

Автор аннотируемой книги начинает свою повесть именно с этой первой поездки Грибоедова в Персию осенью 1818 года.

А дальше будет служба на Кавказе у знаменитого Ермолова, знакомство в Тифлисе с будущей женой — Ниной Чавчавадзе — и дипломатическая карьера, а главное, творческая, вдохновенная работа над своей бессмертной комедией «Горе от ума».

Много исторических лиц проходит перед читателем, когда он знакомится с этой книгой. Здесь и друзья Грибоедова по службе и декабристы, с когорями Грибоедов был весьма близок.

Последовательно и убедительно проследил автор повести жизненный путь великого русского писателя.

Книга читается с интересом. Особенно она полезна будет нашей молодежи, школьникам, изучающим русскую классическую литературу.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. С. ПУШКИНА. Лениздат. (Автор-составитель Е. В. Фрейдель). 1956. 145 стр. Цена 3 р. 10 к.

Книга содержит обстоятельное описание замечательного памятника русской национальной культуры — музея-квартиры великого поэта в Ленинграде. Развернутые в комнатах музея интересные и богатые экспозиции рассказывают о последних годах жизни и творчества поэта, освещают события, которые привели его к трагической гибели. Книга дает читателю наглядное представление о каждой из этих экспозиций, о рукописях бессмертных произведений поэта, о библиотеке, которую он любовно собирал многие годы, об обстановке квартиры и о других мемориальных вещах, принадлежавших Пушкину и его семье.

В книге много фотографий, на которых запечатлены комнаты музея-квартиры, копии автографов поэта, различные документы и дорогие сердцу каждого культурного человека реликвии. Дана также пространная библиография, позволяющая читателю в случае надобности подробно изучить те или иные периоды жизни и творчества Пушкина.

АЛЕКСАНДР ИВИЧ. Творчество М. Ильина. Детгиз. М. 1956. 132 стр. Цена 4 р. 55 к.

Своеобразные, увлекательные книги М. Ильина, поэтически рассказывающие о природе и науке, о людях, перелазящих природу, известны каждому советскому школьнику. Да не только дети, взрослые с интересом читают их, находя в них много полезного и ценного. В чем же причина столь большой популярности книг М. Ильина и любви к ним читателей? В чем сущность его писательского метода, представляющего одну из линий развития советской литературы?

Ответить на эти вопросы стремится Александр Ивич в своей книге «Творчество М. Ильина». Автор в хронологическом порядке дает обзор творчества писателя, подробно рассматривает книги, наиболее характерные для М. Ильина.

В заключение своей книги А. Ивич делает вывод, что опыт М. Ильина, Б. Житкова и других писателей, работающих в жанре детской научно-художественной литературы, дает право поставить важную проблему создания учебников, учитывающих этот опыт, учебников, в которых детям о науке рассказывалось бы так, чтобы они полюбили ее действительно и прочно.

С. МУРАШОВ. Ленинская «Искра» и нижегородская организация большевиков. Госполитиздат. М. 1956. 152 стр. Цена 2 р. 40 к.

Популярно написанная книга С. Мурашова, построенная на материале исторических работ, печати и отчасти архивных документов, посвящена важным событиям в жизни нижегородской большевистской организации — одной из старейших организаций Коммунистической партии. В ней рассказывается о приезде Ленина в Нижний Новгород в 1893, 1894 и 1900 годах, о политической демонстрации в Нижнем Новгороде, состоявшейся 7 ноября 1901 года, связанной с именами А. М. Горького и Я. М. Свердлова — в то время шестнадцатилетнего юноши, вступившего на путь революционной борьбы, о связи нижегородских большевиков-ленинцев с ленинской «Искрой», об их деятельности во время II и III съездов РСДРП.

КУЗБАСС В ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ. Кемеровское книжное издательство. 1956. 126 стр. Цена 1 р. 60 к.

Решения XX съезда КПСС кладут начало новой эпохе в освоении несметных природных богатств Сибири. В книге (она представляет собой сборник статей) рассказывается о разнообразных естественных ресурсах Кемеровской области. Доходчиво показано все величие задач, стоящих перед Кузбассом в шестой пятилетке. За пять лет бассейн должен дать прирост добычи угля, в полтора раза превышающий всю добычу угля во Франции в 1955 году. В три с половиной раза вырастает мощность электростанций.

В Кузбассе разворачивается не только тяжелая, но и легкая и пищевая промышленность. В основу плана развития Кузбасса, как и всех важнейших экономических районов, положен принцип комплексного развертывания всех отраслей народного хозяйства.

Л. Д. ВОЕВОДИН. Государственный строй Китайской Народной Республики. Юридическое издательство. М. 1956. 272 стр. Цена 8 р. 90 к.

20 сентября 1954 года в жизни китайского народа произошло знаменательное событие: первая сессия Всекитайского собрания народных представителей единогласно приняла Конституцию КНР — первую в многовековой истории Китая подлинно народную конституцию. Основной закон Китайской Народной Республики определил общественное и государственное устройство страны. В исследовании Л. Д. Воеводина анализируется государственный строй Китайской Народной Республики, охарактеризованы государственные органы КНР, рассказано об основных правах и обязанностях граждан КНР, сообщаются основные сведения об избирательной системе в народном Китае.

Знакомству с книгой помогают редакционные примечания, в которых разъяснены основные политические события, даны справки по истории Китая.

М. ЛАУЭ. История физики. Перевод с немецкого. Гостехиздат. М. 1956. 231 стр. Цена 7 р. 35 к.

Книга одного из старейших современных физиков — профессора Геттингенского университета Макса Лауэ — вышла в свет в 1947 году. В течение трех лет она выдержала три издания на немецком языке, а затем была опубликована в Америке, Голландии и Франции. Ее автор не только историк физический науки, но и активный участник ее развития на протяжении последнего полувека. «История физики» имеет ряд крупных достоинств. Обилие фактического материала, ясность и простота изложения делают труд Лауэ интересным и доступным широкому кругу читателей. Книгу пронизывает глубокая убежденность автора в объективной реальности внешнего мира.

Отдельные главы посвящены важнейшим проблемам физики, таким, как измерение времени, гравитация, оптика, электричество и магнетизм, атомистика, ядерная физика, квантовая физика, и другим.

В приложениях к книге помещены автобиографическая статья автора «Мой творческий путь в физике» и обстоятельная статья П. Кузнецова о книге Макса Лауэ.

А. А. АЗАТЬЯН. А. П. Федченко — географ и путешественник. Географгиз. М. 1956. 128 стр. Цена 2 р. 15 к.

Осенью 1873 года из французского селения Шамуни поднялся на один из ледников Монблана молодой русский ученый. Застигнутый внезапно разыгравшейся снежной бурей, он не вернулся назад.

Так трагически, на двадцать девятом году, оборвалась жизнь А. П. Федченко, замечательного географа и неутомимого путешественника-исследователя.

Вся научная и общественная деятельность ученого связана со Средней Азией, с изучением ее богатой природы, с приобщением ее народов к передовой русской культуре. Отправившись во главе научной экспедиции в Туркестан вскоре после его присоединения к России, Федченко провел там обстоятельные и многосторонние наблюдения, которые позволили ему сделать важные теоретические выводы по географии и естественной истории Средней Азии.

Книга А. Азатьяна воссоздает образ А. П. Федченко, с именем которого связаны многие географические открытия.

Н. А. БЕЛИНСКИЙ, Ю. В. ИСТОШИН. Моря, омывающие берега Советского Союза. Военное издательство. М. 1956. 210 стр. Цена 4 р. 75 к.

Велико экономическое значение наших морей. Морской транспортный флот осуществляет значительную часть товарооборота с иностранными государствами. Неуклонно развивается промысел рыбы и морского зверя. Превращение Северного морского пути в постоянно действующую магистраль сделало возможным быстрое освоение северных районов страны. Со дна моря добывается нефть. На Каспии создан надводный «город нефти».

Из книги Н. Белинского и Ю. Истошина читатель почерпнет обстоятельные сведения о наших морях, об их истории, климате, о морских течениях, ледяном покрове, изменениях уровней воды, об обитателях морей и т. д.

СОВЕТЫ НАТУРАЛИСТУ-ЛЮБИТЕЛЮ. «Московский рабочий». 1956. 248 стр. Цена 7 р. 50 к.

Богат и разнообразен животный мир нашей страны. В изучении животных, в их охране ученым — зоологам и животноводам помогает большая армия натуралистов — и школьников-юниатов и взрослых любителей природы.

Книга «Советы натуралисту-любителю» рассказывает о том, как вести наблюдения над содержащимися в неволе рыбами, земноводными и пресмыкающимися, птицами, млекопитающими.

Э. КОЛЬМАН. Кибернетика. (О машинах, выполняющих некоторые психические функции человека). Издательство «Знание». М. 1956. 40 стр. Цена 60 к.

Эта книжка говорит о том, что может показаться совершенно неправдоподобным, — о машинах, моделирующих память челове-

ка, его внимание, производящих сложные логические действия: процессы счета, классификации, отбора, сравнения.

Кибернетика — математическая теория управляющих устройств, теория информации и контроля — одна из самых молодых наук. Многие читатели, быть может, впервые узнают о машине, регулирующей уличное движение, об автопилоте и автоводителе, машине — предсказателе погоды, о машине-переводчике и других не менее замечательных устройствах, представляющих собой новейшие достижения науки и техники.

Н. П. ИОЙРИШ. Лечебные свойства меда и пчелиного яда. Медгиз. М. 1956. 200 стр. Цена 3 р. 25 к.

Лечение продуктами пчеловодства уходит своими корнями в глубокую древность. Оно занимало видное место в народной медицине. Экспериментально-клинические исследования советских медиков, в том числе работы автора книги, доказывают значительную лечебную эффективность меда.

В книге подробно описаны и методы получения пчелиного яда и его применение с лечебными целями.

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

В 1955 году издательство «Советский писатель» выпустило 265 книг. В истекшем 1956 году чисто их возросло до 339. В наступившем 1957 году издательским планом предусмотрен выпуск 451 названия. С какими новыми произведениями познакомит издательство читателей в ближайшее время?

Значительный интерес представляет книга А. Фадеева «За тридцать лет». В этот сборник, готовившийся к печати еще при участии автора, вошли его наиболее значительные статьи, речи, письма и заметки, посвященные общим вопросам развития советской литературы, литературной теории и критики за последние три десятилетия. Читатели познакомятся с высказываниями А. Фадеева о творчестве различных писателей и деятелей советской культуры, о специфике писательского труда и о собственном творческом опыте автора. Поучителен и интересен раздел книги «По страницам изданных и неизданных рукописей».

Находящийся в производстве «Испанский дневник» Михаила Кольцова состоит из двух частей. Первая часть вышла в свет в тридцатых годах, вторая — объемом до двадцати листов — появляется впервые. М. Кольцов — очевидец в качестве корреспондента «Правды» драматических событий в Испании — правдиво и мужественно нарисовал картину самоотверженной борьбы народа против фашистских поработителей.

В своем романе «О душах живых и мертвых» А. Новиков показывает величие духа «живых» людей прошлого века — Гоголя, Лермонтова, Белинского, Герцена, их борьбу за раскрепощение родного народа, закабаленного «мертвыми» душами —

Николаем I, Бенкендорфом и другими носителями власти и душителями всего прогрессивного в царской России.

«Глаза земли» М. Пришвина — это выдержки из дневников писателя 1946—1950 годов, представляющие собой по существу сборник небольших новелл о природе родной страны, о писательском творчестве, о различных явлениях жизни.

Трилогия Ю. Либединского, первыми частями которой являются романы «Горы и люди» и «Зарево», завершается романом «Утро Советов», с которым читатели вскоре познакомятся. Они встретятся со знакомыми уже героями, участвовавшими в событиях 1916—1917 годов. В последнем романе трилогии повествуется о походе «дикой дивизии» на Петроград, об октябрьских боях в Питере и Москве, о победоносном шествии Октябрьской революции по стране.

Писатель Н. Вигилянский обратился к биографии Михаила Васильевича Фрунзе. «Повесть о Фрунзе» охватывает события его жизни и деятельности в Иваново-Вознесенске и во время гражданской войны. Рассказ ведется от имени вымышленного героя — человека, работавшего вместе с Фрунзе.

С. Гехт посвятил свою повесть «Будка Соловья» жизни рядовых советских людей: лесорубов, инженеров, счетоводов, ремонтных рабочих на «лежневке» — дороге, проложенной через болото в тайгу. Будка диспетчера Соловья — это своеобразный лесной рабочий клуб, где повседневно встречаются герои книги.

В переводе с латышского выходит роман А. Броделе «Кровью сердца». Ведущая тема романа — организация первых колхозов

в Латвии после окончания Великой Отечественной войны.

Наряду с книгами, выходящими первым изданием, план «Советского писателя» предусматривает и ряд переизданий. Часть их, несомненно, будет воспринята многими читателями, особенно молодежью, как новые, впервые выходящие книги, поскольку они в течение долгого времени — иногда более трех десятков лет — не переиздавались.

Сборник рассказов Елены Тагер «Зимний берег» впервые вышел в свет в начале тридцатых годов. С большой теплотой рисует автор, блестящий знаток Севера, этнограф и фольклорист, быт и образы крестьянок, их яркие характеры, полные обаяния и нравственной силы. Кроме семи рассказов, в книгу включена «пьеса для чтения» «Васька Буслаев». Читатель найдет в ней подлинные россыпи самоцветного былинно-

го языка, которым Елена Тагер владеет с высоким совершенством.

«Избранное» Переца Маркиша, куда вошли его лучшие стихи и поэмы (в переводе с еврейского), является посмертным изданием. В книге подведены итоги тридцатилетнего творческого пути поэта. Часть произведений публикуется впервые.

В «Избранное» Льва Славина вошли произведения писателя, созданные им за четверть века. Книга состоит из четырех разделов. Первый составляет давно не переиздававшийся роман «Наследники»; второй — повесть «Два бойца» и несколько рассказов; третий — большой очерк «Последние дни фашистской империи», а также литературные портреты писателей Э. Багрицкого, М. Залка, Б. Лапина, Э. Хацревина; четвертый раздел составляет пьеса «Интервенция».



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

М. А. Суслов. 39-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. 32 стр. Цена 30 к.

Д. Т. Шепилов. Суэцкий вопрос. Второе, дополненное издание. 160 стр. Цена 1 р. 70 к.

Листовки большевистских организаций в первой русской революции 1905—1907 гг. Часть 3. 912 стр. Цена 19 р. 30 к.

Гегель. Сочинения. Том 3. 372 стр. Цена 7 р. 60 к.

Жак Дюкло. Единство действий рабочего класса и народный фронт. 72 стр. Цена 85 к.

Н. Живейнов. Капиталистическая пресса США. 408 стр. Цена 8 р.

Идеологическая работа партийных организаций. 200 стр. Цена 2 р. 35 к.

М. С. Капица. Советско-китайские отношения в 1931—1945 гг. 144 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. О. Ключевский. Сочинения, в восьми томах. Том 1. 428 стр. Цена 11 р.

И. Лебедев. Атомную энергию — на благо народа. 80 стр. Цена 70 к.

А. И. Левковский. Некоторые особенности развития капитализма в Индии до 1947 г. 420 стр. Цена 9 р. 50 к.

А. Б. Маркин. Будущее электрификации СССР. 164 стр. Цена 2 р.

Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения. Том 2. 648 стр. Цена 10 р.

Вильгельм Пяк. Избранные произведения. 600 стр. Цена 12 р. 60 к.

Развитие электрификации Советской страны 1921—1925 гг. Сборник документов и материалов. 704 стр. Цена 11 р. 50 к.

Г. А. Фавстов, В. А. Шварев. Февральская революция 1917 г. в России. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

Н. А. Цаголов. Очерки русской экономической мысли периода падения крепостного права. 646 стр. Цена 10 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Беляев. Рассказы. 232 стр. Цена 3 р. 30 к.

Ф. Гарин. Командующий фронтом Исторический роман. 434 стр. Цена 7 р. 20 к.

Х. Ергалиев. Твоя река. Поэма. Перевод с казахского. 103 стр. Цена 2 р. 25 к.

И. Изотов. В Шишков. Критико-биографический очерк. 168 стр. Цена 2 р. 85 к.

Э. Крустен. Сердца молодых. Роман. Перевод с эстонского. 600 стр. Цена 11 р. 80 к.

Ю. Лаптев. Народный суд. Повести и рассказы. 255 стр. Цена 4 р. 65 к.

М. Луконин. Стихи дальнего следования. 76 стр. Цена 1 р. 25 к.

Г. Максимов. Звезды в полночь. Роман. 437 стр. Цена 7 р. 90 к.

К. Мурзиди. У нас на Урале. Роман. 492 стр. 8 р. 80 к.

И. Рабин. Повести и рассказы. Перевод с еврейского. 380 стр. Цена 6 р. 25 к.

Я. Смеляков. Строгая любовь. Книга стихов. 119 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Стельмах. Высокий полдень. Стихи. Перевод с украинского. 160 стр. Цена 2 р. 25 к.

И. Шульпин. Весна. Роман. 480 стр. Цена 8 р. 70 к.

А. Хорунжий. Родное село. Рассказы и очерки. Перевод с украинского. 218 стр. Цена 4 р. 10 к.

И. Эренбург. Оттепель. Повесть в двух частях. 256 стр. Цена 5 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

Ашот Граши. Лирика. 1934—1956. Перевод с армянского. 511 стр. Цена 8 р. 40 к.

Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Роман в 6 частях. 505 стр. Цена 19 р.

Елин Пелин. Летний день. Избранные рассказы. Перевод с болгарского. 165 стр. Цена 2 р.

М. Н. Загоскин. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. 272 стр. Цена 5 р. 90 к.

С. Кирсанов. Поэмы. 348 стр. Цена 10 р.

И. И. Лажечников. Ледяной дом. Роман. 390 стр. Цена 8 р.

В. Т. Нарезный. Избранные сочинения. В двух томах. Том 1. 624 стр. Цена 10 р. Том 2. 616 стр. 9 р. 30 к.

Л. В. Никулин. Сочинения. В трех томах. Том 1. 711 стр. 13 р. 25 к. Том 2. 548 стр. Цена 10 р. 85 к. Том 3. 613 стр. Цена 11 р. 85 к.

Рабиндранат Тагор. Последняя поэма. Роман. Перевод с бенгальского. 111 стр. Цена 1 р. 80 к.

Герберт Уэллс. Избранное. Перевод с английского. Том 1. 793 стр. Цена 16 р. 75 к. Том 2. 731 стр. Цена 15 р. 10 к.

Стефан Цвейг. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с немецкого. Том 1. 559 стр. Цена 12 р. 50 к. Том 2. 613 стр. Цена 13 р. 50 к.

Чешские народные сказки. Перевод с чешского. 280 стр. Цена 4 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. И. Ленин. О молодежи. 320 стр. Цена 5 р. 30 к.

А. Веляев. Избранные научно-фантастические произведения в двух томах. Том 1. 368 стр. Цена 10 р. 10 к. Том 2. 536 стр. Цена 9 р. 60 к.

Ю. Жилин. Изменился ли капитализм? 32 стр. Цена 35 к.

Илья Зверев. Там, на шахте угольной. 112 стр. Цена 95 к.

Н. К. Крупская. О коммунистическом воспитании. Избранные статьи и речи. 424 стр. Цена 6 р. 15 к.

Вл. Поляков. Вы их узнаете? 72 стр. Цена 1 р. 5 к.

Н. Чикирев. Как я стал рабочим. 72 стр. Цена 1 р. 5 к.

ДЕТГИЗ

Г. Березко. Повесть о боевом приказе, о любви и верности. 208 стр. Цена 4 р.

Д. Беркович. Рассказы о заводе. 280 стр. Цена 5 р. 20 к.

А. Васильев. Смело, товарищи, в ногу. Повесть. 496 стр. Цена 12 р. 30 к.

Е. Верейская. В те годы. Рассказы. 248 стр. Цена 6 р. 40 к.

Л. Воронкова. Повести. 600 стр. Цена 13 р. 30 к.

Греческая трагедия. Перевод с греческого. 368 стр. Цена 7 р.

Д. Гришин. История початка и ее продолжение. 96 стр. Цена 3 р. 50 к.

В. Елагин. Цель жизни. Повесть. 344 стр. Цена 6 р. 30 к.

Л. Кахас. Маленькие истории о Ялуксе. Перевод с эстонского. 160 стр. Цена 3 р. 75 к.

Р. Кинжалов, А. Белов. Падение Теночтитлана. 264 стр. Цена 7 р. 30 к.

А. Кожин. В горах и долинах Вьетнама. Очерки. 160 стр. Цена 3 р. 70 к.

А. Мошковский. Полет не отменяется. Рассказы. 96 стр. Цена 2 р. 65 к.

С. Павлович. Модели сельскохозяйственных машин. 144 стр. Цена 3 р. 20 к.

Е. Тудоровская. Приключения Одиссея. Прозаический пересказ. 148 стр. Цена 3 р. 30 к.

О. Хавкин. Моя чалдонка. Повесть. 232 стр. Цена 4 р. 70 к.

К. Чуковский. Чудо-дерево. 248 стр. Цена 13 р. 15 к.

С. Щипачев. Березовый сок. Повесть. 96 стр. Цена 2 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

С. И. Вавилов. Собрание сочинений. Том 3. 870 стр. Цена 42 р. 10 к.

Гольбах. Письма к Евгению. Здравый смысл. 454 стр. Цена 15 р. 85 к.

Игорь Грабарь. Новооткрытый Рембрандт. 94 стр. Цена 10 р.

М. А. Заборов. Крестовые походы. 278 стр. Цена 6 р. 55 к.

Избранные труды русских логиков XIX в. 404 стр. Цена 22 р. 65 к.

В. О. Ковалевский. Собрание научных трудов. 298 стр. Цена 20 р. 85 к.

Н. И. Лобачевский. Избранные труды по геометрии. 595 стр. Цена 22 р. 50 к.

П. М. Михайлов. США и Англия на капиталистических рынках. 138 стр. Цена 2 р. 15 к.

В. Франклин. Опыты и наблюдения над электричеством. 271 стр. Цена 10 р. 70 к.

А. В. Храмой. Очерк истории развития автоматики в СССР. Дооктябрьский период. 220 стр. Цена 12 р.

Д. Б. Шелов. Античный мир в северном Причерноморье. 194 стр. Цена 4 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мона Бранд. Под нашим небом. Пьеса. Перевод с английского. 104 стр. Цена 2 р. 10 к.

Б. Бхатгачария. Оседлавший тигра. Роман. Перевод с английского. 256 стр. Цена 6 р. 85 к.

Уилфред Бэрчетт. Севернее семнадцатой параллели. Перевод с английского. 294 стр. Цена 7 р. 80 к.

И. Веселы. Основание Коммунистической партии Чехословакии. Перевод с чешского. 235 стр. Цена 7 р. 15 к.

Вопросы организации производства в США. Перевод с английского. 230 стр. Цена 7 р.

Грэм Грин. Тихий американец. Роман. Перевод с английского. 189 стр. Цена 5 р.

Итоги выполнения хозяйственных планов 1955 г. в европейских странах народной демократии. Сборник материалов. 111 стр. Цена 3 р.

Коммунисты в борьбе за независимость Австрии. Сборник. Перевод с немецкого. 242 стр. Цена 6 р. 10 к.

Шон О'Кэйси. Юнона и павлин. Трагедия в трех действиях. Перевод с английского. 87 стр. Цена 1 р. 70 к.

Вильгельм Мах. Дом Явора. Перевод с польского. 277 стр. Цена 7 р. 65 к.

Г. Торизольо. Битва за Гватемалу. Перевод с испанского. 300 стр. Цена 6 р. 75 к.

И. Транчени-Вальдапфель. Гомер и Геосид. Авторизованный перевод с венгерского. 121 стр. Цена 2 р. 60 к.

Г. Харт. Венецианец Марко Поло. Перевод с английского. 317 стр. Цена 7 р. 85 к.

Прем Чанд. Ниммала. Роман. Перевод с хинди. 174 стр. Цена 4 р. 70 к.

В. Элленбергер. Трагический конец бушменов. Перевод с французского. 307 стр. Цена 11 р. 85 к.

МЕДГИЗ

В. С. Асатиани. Методы биохимических исследований. 472 стр. Цена 20 р. 50 к.

Гигиена труда, заболеваемость и профилактика травматизма в металлургической

и чернорудной промышленности. 232 стр. Цена 7 р. 15 к.

В. Ф. Зеленин. Болезни сердечно-сосудистой системы. 332 стр. Цена 17 р. 10 к.

А. Л. Мясников. Болезни печени и желчных путей. 292 стр. Цена 16 р. 70 к.

О. П. Ногина. Заочный курс обучения матерей (12 лекций). Лекция 1. Охрана здоровья женщин и детей в СССР. 252 стр. Цена 4 р. 30 к.

Труды Всесоюзной конференции патологоанатомов. 412 стр. Цена 18 р. 80 к.

Г. А. Шминке. Электрические измерения в физиологии и медицине. 208 стр. Цена 7 р. 25 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

М. Баскин. Что такое философия. 62 стр. Цена 60 к.

Д. Бахшиев. Ленинские принципы партийной демократии. 151 стр. Цена 1 р. 35 к.

Интеллигенция одного района. Сборник. 230 стр. Цена 5 р. 55 к.

С. Красивский, Л. Корсов. Механизация и автоматизация в промышленности. 119 стр. Цена 1 р. 90 к.

С. Скорняков. Организация производства в укрупненном колхозе. Заметка агронома. 107 стр. Цена 1 р. 40 к.

Г. Тихсв. Есть ли жизнь на других планетах? 62 стр. Цена 1 р.

НОВОСИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. И. Галунов. Заметки о революционном прошлом Новосибирска. 40 стр. Цена 50 к.

Н. Горбунов. Витька-тренер. Рассказы для школьников. 96 стр. Цена 2 р. 60 к.

Савва Кожевников. Юй-Гун передвигает горы. Репортаж из Китая. 232 стр. Цена 4 р. 85 к.

А. Коптелов. Сад. Роман. 576 стр. Цена 11 р. 65 к.

Тимофей Неверов. Записки о прошлом. 22 стр. Цена 4 р. 75 к.



Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренев,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 12 XII-56 г.

Подписано к печати 16 I-57 г.

А 00127. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 10 бум. л.—27,4 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 2825.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.